



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МОРАЛИ  
В ЛЕНИНГРАДЕ В 1941—1942 г.г.

# БЛОКАД НАЯ ЭТИКА

Сергей  
Яров

Сергей Яров  
**Блокадная этика. Представления о  
морали в Ленинграде в 1941–1942 гг.**

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=4885162](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4885162)*

*Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 — 1942 гг.: Центрполиграф;  
Москва; 2012*

*ISBN 978-5-227-03767-1*

**Аннотация**

Эта книга посвящена одной из величайших трагедий XX века – блокаде Ленинграда. В основе ее – обжигающие свидетельства очевидцев тех дней. Кому-то из них удалось выжить, другие нашли свою смерть на разбитых бомбежками улицах, в промерзших домах, в бесконечных очередях за хлебом. Но все они стремились донести до нас рассказ о пережитых ими муках, о стойкости, о жалости и человечности, о том, как люди протягивали друг другу руки в блокадном кошмаре...

## Содержание

Предисловие	8
Часть первая Представления о нравственных ценностях в 1941–1942 гг	11
Глава I Ленинградская трагедия	11
«Смертное время»	11
1	11
2	13
3	16
4	19
5	21
6	24
7	26
8	29
Признаки распада нравственных норм	30
1	30
2	33
3	35
4	37
5	39
6	39
Глава II Содержание нравственных норм	44
Понятие о чести	44
1	44
2	45
3	48
4	49
5	50
6	51
7	53
8	55
Справедливость	55
1	55
2	56
3	59
4	60
5	61
6	62
Милосердие	64
1	64
2	66
3	67
4	69
5	69
6	72
7	73
8	75

9	76
10	78
Отношение к воровству	80
1	80
2	83
3	84
4	87
5	90
6	90
Глава III Смещение границ этики	92
Нарушение нравственных норм: аргументы самооправдания	92
1	92
2	94
3	96
4	96
5	98
6	100
Принуждение к соблюдению нравственных норм: мотивация жестокости как средства спасения	101
1	101
2	103
3	105
4	106
5	108
6	110
7	113
Глава IV Влияние нравственных норм на поведение людей	116
Обращение за помощью	116
1	116
2	118
3	120
4	122
5	124
6	126
7	128
Благодарность за помощь	129
1	129
2	131
3	133
4	136
5	137
6	138
7	140
Часть вторая Пространство этики	142
Глава I Семья	142
Сострадание, утешение, любовь	142
1	142
2	144

3	146
4	147
5	150
6	152
7	154
8	156
9	157
10	159
Этика родственников: сохранение и распад	161
1	161
2	162
3	164
4	165
5	168
6	171
7	176
8	180
9	182
Похороны	184
1	184
2	187
3	189
4	191
Глава II Друзья и близкие	192
Друзья	192
1	192
2	193
3	195
4	197
Соседи	198
1	198
2	200
3	202
4	203
5	204
Сослуживцы	206
1	206
2	207
3	208
4	210
Глава III Власть	215
Правила поведения	215
1	215
2	216
3	218
4	220
Привилегии	223
1	223
2	223

3	226
Глава IV «Незнакомые» люди	230
Беспризорные дети	230
1	230
2	233
Ослабевшие люди на улицах	237
1	237
2	240
3	242
4	243
«Дистрофики»	245
1	245
2	247
3	248
4	250
5	251
Блокадники в «очередях»	252
1	252
2	253
3	254
4	256
Часть третья Средства поддержания этических норм	259
Глава I Представления о цивилизованном порядке: формы упрочения	259
Искусство, творчество, чтение	259
1	259
2	261
3	262
4	263
5	264
6	266
7	267
Рассказы о блокаде	267
1	267
2	269
3	270
Рассказы о прошлой и будущей жизни	270
1	270
2	272
3	273
4	275
Поддержание социального статуса	278
1	278
2	280
3	282
4	284
Дневники и письма	286
1	286
2	288

3	289
4	291
5	292
Государственный и общественный контроль	293
1	293
2	295
3	297
4	299
5	300
6	301
Глава II Самоконтроль	303
Программы поведения	303
1	303
2	304
3	306
4	307
Самонаблюдение	309
1	309
2	311
3	312
4	313
5	314
6	315
7	316
8	318
9	319
Ленинградцы в «смертное время»: человеческое, сверхчеловеческое	320
2	326

# Сергей Викторович Яров

## Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг

### Предисловие

*Господи, мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать.*

*У. Шекспир. «Гамлет»<sup>1</sup>*

Любой человек, приступающий к описанию блокадной этики, испытывает сильнейшее эмоциональное напряжение, увидев бездну неимоверных страданий, неисчислимых утрат, неизбывного горя. Холодное, бесстрастное повествование о ленинградском кошмаре 1941–1942 гг. невозможно. Людям свойственно чувство сопереживания, и потому страшное прошлое с заревом бесчисленных пожаров, с потрясающими картинами массовой гибели горожан на глазах их родных и близких, с истерзанными бомбежками улицами обжигает сегодня и будет обжигать всегда. Здесь могут показаться неуместными сдержанность, научный слог, обдуманность исследовательских приемов. Но другого пути нет. Чтобы понять, как выстоял человек, надо принимать его таким, каким он был – без попыток смягчить рассказ, без искажений и умолчаний. Лишь увидев ленинградца-блокадника во всем многообразии его противоречивых характеристик, рассмотрев те грани его облика, в которых светлое перемешивалось с темным, мы можем представить и глубину той чаши испытаний, которую ему пришлось испить, и цену, заплаченную за то, чтобы не только выжить, но и сохранить человеческое достоинство.

Ленинградская трагедия отражена в тысячах человеческих документов. Вряд ли другие события Великой Отечественной войны столь подробно описаны буквально по дням. Воспоминания, дневники и письма являются ценнейшим источником для освещения истории блокады, но даже еще совсем недавно они использовались с чрезмерной осторожностью. Отчасти причиной тому были идеологический контроль и самоцензура исследователей. Блокадная повседневность, какой она предстает перед нами со страниц дневников и писем, оказывалась исключительно бесчеловечной и жестокой. В научной и популярной литературе старались не допускать развернутых описаний слабостей людей и их беспомощности<sup>2</sup>. Поэтому приходилось либо не вчитываться в такие тексты глубоко, либо высвечивать одни эпизоды и отодвигать в тень другие. Сделать это было непросто. Как и любые другие исторические источники, блокадные документы можно было «смягчить» и отредактировать. Но ломать спаянные между собой записи дневников и пытаться соединить разрозненные цитаты, вырванные из писем, было трудно. Здесь не помогли бы комментарии и автокомментарии к дневниковым текстам времен войны – опыты такого рода можно встретить в публикациях о блокаде 1970–1980-х гг.<sup>3</sup>

Полноценному использованию дневников и писем препятствовали стиль и сценарии изложения, используемые авторами публикаций о блокаде. Они подчиняли свой замысел следующей схеме: испытания – героизм – победа как награда за подвиг. Миф стал частью

---

<sup>1</sup> Пер. М.Л. Лозинского.

<sup>2</sup> Блюм А. Блокадная тема в цензурной блокаде // Нева. 2004. № 1. С. 244.

<sup>3</sup> См., например: Память: Письма о войне и блокаде. Л., 1985; Память: Письма о войне и блокаде. Вып. 2. Л., 1987; Кулагин Г. Дневник и память. О пережитом в годы блокады. Л., 1978.



исторического сознания, но его возникновение не всегда может быть объяснено только идеологическим давлением. Это мы видим даже по тем исследованиям, которые были созданы после распада СССР.

Еще одним препятствием для воссоздания целостной и правдивой картины осады Ленинграда является самоцензура тех, кто писал о блокаде. Это одна из болезненных тем, и не коснуться ее нельзя. Публикация наиболее откровенных записок и дневников, передающих страшную правду о войне, до середины 1980-х гг. была крайне затруднена. Если они и печатались, то со значительными сокращениями. «Блокадную книгу»

А. Адамовича и Д. Гранина удалось выпустить в свет впервые только в Москве. Отметим и высказанный ленинградскими цензорами упрек Л. Гинзбург в том, что в своих записках она много места уделяет еде. Характерным являлся и отбор документов для публикации. Нередко обращались лишь к тем из них, где преобладали оптимистические ноты и смягчались ужасающие подробности распада человеческой личности. Неудивительно поэтому, что такие беспристрастные свидетели трагедии, как Д.С. Лихачев и В.М. Глинка, давали нелепые и неприятные оценки «блокадной» литературе 1940-1970-х гг.<sup>4</sup>

Меньше всего обвинений можно адресовать самим авторам документов. Их воспоминания, дневники и письма сейчас почти все стали доступными для исследователей, и мы имеем право утверждать, что они старались честно рассказать, хотя и с разной степенью полноты, о тех страданиях, которые им пришлось перенести. «Вы неудачно попали, если хотите услышать что-нибудь положительное», – скажет одна из блокадниц, когда у нее начали брать интервью<sup>5</sup>. Конечно, не во всех описаниях блокадных будней отразились темные стороны тех дней. Самоцензура чувствуется по обилию патетических вкраплений, чуждых большинству документов, созданных блокадниками. Ее обнаружить не сложно, видя зачеркивания в подлинных текстах, отредактированных авторами. Мы можем встретить и пометы, которые призваны смягчить высказанные в этих документах жесткие оценки. Так, в одном из дневников автор в предложении «как быстро мы докатились» вместо слова «мы» поставил «наши столовые»<sup>6</sup>.

Особо следует сказать о записках, предваряющих текст документов. «Считаю нужным отметить, что в некоторых случаях я отмечала не только факты, но и „слухи“, которыми жили и которые жадно ловили ленинградцы в тот период, когда не было ни газет, ни радио, отсутствовали телефон и почта» – это объяснение в письме в Гослитиздат 9 июня 1943 г., приложенном к тексту дневника М.С. Коноплевой<sup>7</sup>, больше похоже на оправдание. В ряде случаев, напротив, извинялись за то, что описания смягчены<sup>8</sup>.

Значительным оказалось влияние историографического канона, получившего окончательный вид в середине 1960-х гг. Обоснованно или нет, но именно в нем многие блокадники видели недвусмысленное признание совершенного ими подвига.

Отмечалось прежде всего то, что обратило на себя внимание необычностью и драматизмом, что являлось самым значимым для спасения людей. Спокойствия рутинных записей, оттеняющих незначительные детали, мы здесь почти не встретим. Это вполне оправдано и понятно, но иногда не позволяет исследователю выявить блокадную повседневность во всем многообразии ее связей, в сцеплении случайных и неслучайных обстоятельств. Подчеркнем также, что другой схемы они не знали и она сильнее усваивалась, в том числе и

---

<sup>4</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. СПб., 1997; Глинка В.М. Блокада // Звезда. 2005. № 1.

<sup>5</sup> Интервью с С.П. Сухоруковой // Нестор. 2003. № 6. С. 177.

<sup>6</sup> Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 8 сентября 1941 г.: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 368. Д. 1. Л. 66.

<sup>7</sup> Там же. Л. 1.

<sup>8</sup> Шулькин Л. Воспоминания баловня судьбы // Нева. 1999. № 1. С. 153.

потому, что активно пропагандировалась всеми средствами идеологического воздействия. В соответствии с этим канон очевидцы блокады выстраивали структуру повествования и последовательность своих описаний, заимствовали опробованные здесь различные формулировки и риторическую лексику.

Сдержанность в передаче кошмарных подробностей блокады в значительной мере была обусловлена и присущими человеку этическими запретами. Не все готовы были описывать крайние формы физиологического и нравственного распада людей, особенно родных и близких. В этом видели бестактность по отношению к жертвам войны, нарушение семейных традиций, проявление неоправданной жестокости. Этика сочувствия требует, чтобы взгляд не останавливался излишне долго на скорбных картинах агонии человеческой личности, отмеченных прежде всего именно в дневниках.

Но не только самоцензура авторов документов делает для историков трудным их использование. Эмоциональность рассказов о войне, вполне понятная, если учесть, какую чашу горя пришлось испытать горожанам в те дни, вместе с тем не позволяет в полной мере представить все детали конкретных событий – они иногда заменены имеющими пафосный характер обобщениями. Желание людей высоко оценить тех, кто помог им в трудную минуту, делает ряд их характеристик идеализированными, лишёнными противоречий и сложностей – иначе, впрочем, и быть не могло. Отметим также, что многие блокадники смогли наблюдать лишь малую частицу того, что происходило в городе в это драматическое время. Тысячи ленинградцев стали «лежачими». По поступкам нескольких человек они могли составить мнение

о поведении всех и отстаивали свои оценки бескомпромиссно и с убежденностью, хотя многие из них были основаны на свидетельствах других людей.

Вполне естественным являлось желание блокадников передать свои наблюдения в наиболее яркой форме, в литературном оформлении – в некоторых случаях это вело к хаотичности рассказа, преследовавшего в первую очередь художественные задачи, делало его менее достоверным. Изучая свидетельства блокадников, мы также должны иметь в виду, что их внимание к тому или иному событию не всегда отражает степень важности его в ряду эпизодов осады Ленинграда, а высказанные ими мнения не всегда типичны в целом для горожан. Должны обязательно учитываться уровень их культуры, преобладающие интересы, способность к глубокому самоанализу. И, конечно, должны обязательно приниматься во внимание их желание оправдаться в своих поступках, их личные симпатии и антипатии – только в этом случае можно оценить подлинные мотивы их действий.

Эта книга – о цене, которую заплатили за то, чтобы оставаться человеком в бесчеловечное время. Люди, не покинувшие город, возможно, надеялись, что беда обойдет их стороной. Никто и предположить не мог, что им придется пережить. Когда же они поняли, в какой пропасти оказались, им некуда было идти. Они должны были узнать, какими безмерными могут стать человеческие страдания, жестокость и безразличие. Пришлось увидеть все – своего ребенка, искалеченного после бомбежки, умирающую мать, просившую перед смертью крошку хлеба, но так и не получившую ее. И бесконечную череду других блокадников, призывавших к состраданию и умолявших о помощи. Светлой памяти этих людей, принявших смерть в невероятных муках, посвящается моя книга.

# Часть первая Представления о нравственных ценностях в 1941–1942 гг

## Глава I Ленинградская трагедия

### «Смертное время»

#### 1

«Смертное время» – так, по свидетельству В. Бианки, называли многие ленинградцы самые страшные, голодные месяцы конца 1941 – начала 1942 гг.<sup>9</sup> Истощение, холод, отсутствие цивилизованного быта, болезни, апатия во всех ее проявлениях, ослабление родственных связей не могли не повлиять на поведение людей. Произошло это не сразу, но трудно не заметить последовательности размывания нравственных правил.

В первые месяцы войны, до сентября 1941 г., несмотря на введение карточек<sup>10</sup>, о голоде никто не говорил. Но сокращение ассортимента продуктов со временем становилось все заметнее<sup>11</sup>.

Паника, возникшая после очередного снижения норм отпуска хлеба – 12 сентября 1941 г. стали выдавать 500 г рабочим, 300 г служащим, 200 г детям<sup>12</sup> – едва ли являлась случайной. Она, помимо прочего, была следствием и отражением неутешительных сводок с фронтов и «негативных» слухов о запасах продовольствия в городе. О голоде все чаще начали говорить в октябре 1941 г. Перестали продавать мясо, сахар и крупа стали отпускаться по таким нормам, которые не обеспечивали физиологических потребностей людей<sup>13</sup>. Именно тогда и стали массовыми вылазки горожан на пепелища разбомбленных в сентябре Бадаевских складов в поисках «сладкой» земли, которую промывали, снимали грязную накипь и использовали как сахар. Перестали чураться не очень привычной, «грубой» пищи. Когда на витрине одного из ресторанов в октябре 1941 г. вывесили объявление о продаже «конских котлет», в первый день, по свидетельству В.Г. Даева, «прохожие только покачивали головами, мало кто заходил»<sup>14</sup>. На следующий день объявление было сорвано, а у дверей стояла толпа<sup>15</sup>.

---

<sup>9</sup> Бианки В. Лихолетье. 22.VI. 41–21.V.42. СПб., 2005. С. 180.

<sup>10</sup> См. записи В.И. Кабытовой: «...В июле по этим карточкам выдавалось довольно прилично: рабочим – 800 граммов хлеба в день, служащим – по 600 граммов. Практически такую норму было и не съесть. Мяса рабочим в месяц полагалось по 2 килограмма 200 граммов, служащим – по 1200 граммов. Кроме того, без всяких карточек работали коммерческие рестораны и кафе... Всюду было сколько угодно мороженого, пива, пирожков» (Кабытова В.И. Об одной ленинградской блокадной семье // Нева. 2005. № 10. С. 147). Продукты по «карточкам» могли выдать сразу вперед за весь месяц, в столовых за питание талонов не брали (Там же). См. также воспоминания А.П. Бондаренко: «В начале августа 1941 г. давали по карточкам столько продуктов, что не выкупишь» (Бондаренко А.П. О блокаде: Архив семьи П.К. Бондаренко).

<sup>11</sup> «...Никаких пирожков, никакого мороженого. Магазины опустели в течение одного дня: все брали на карточки вперед» (Кабытова В.И. Об одной ленинградской блокадной семье. С. 148).

<sup>12</sup> Соколов А.М. Битва за Ленинград и ее значение в Великой Отечественной войне. СПб., 2005. С. 98.

<sup>13</sup> Байков В. Память блокадного подростка. Л., 1989. С. 39.

<sup>14</sup> Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 1273. Л. 102.

<sup>15</sup> Ср. с воспоминаниями Г.И. Козловой о том, как позднее, в конце 1941 г., ей удалось получить конину: «...Мне сказали, что одной работнице кто-то принес лошадиную ногу... Я разыскала ее... Она мне обменяла самую нижнюю часть ноги с

«Обычно я почти не ела мяса и питалась в вегетарианской столовой, теперь я его съедаю с жадностью и охотно ела бы ежедневно», – записывала в дневнике 5 октября 1941 г. М.С. Коноплева<sup>16</sup>. Ее сосед в столовой Эрмитажа 9 октября 1941 г. прямо спросил ее о том, голодает ли она, и признался: «А я теперь всегда голоден»<sup>17</sup>. «То же приходится слышать от всей молодежи», – так прокомментировала М.С. Коноплева его ответ<sup>18</sup>. Было ясно, что люди подходили к той грани, за которой начинался распад. Отмеченное многими в октябре 1941 г. «вечное сосание под ложечкой», по выражению К.И. Сельцера<sup>19</sup>, становилось с каждым днем все более угнетающим. Ничего сделать было нельзя: запасы у всех подходили к концу, нормы пайка снижались постоянно. И никто не знал, как выбраться из этой ямы. Поиски еще оставшихся в магазинах продуктов были самой распространенной, но малоудачной попыткой «подкормиться». Других способов не находили, а во многих случаях и не умели их искать; ожидали, что все это скоро кончится или не будет иметь ощутимых последствий.

Надежды на «черный рынок» быстро исчезли. В конце 1941 – начале 1942 гг. руководители лабораторий, учреждений и квалифицированные рабочие получали в месяц 800–1200 руб., профессор университета 600 руб., научные работники среднего звена и бухгалтеры – 500–700 руб., уборщицы – 130–180 руб.<sup>20</sup>. Государственная цена на хлеб до января 1942 г. составляла 1 руб. 70 коп. за 1 кг, с января 1942 г. – 1 руб. 90 коп. На рынке же в декабре 1941 г. 1 кг хлеба стоил 400 руб., мяса – 400 руб., масла – 500 руб.<sup>21</sup>. Еще в декабре 1941 г. на рынке стали отказываться продавать продукты за деньги<sup>22</sup>, и в январе-феврале 1942 г. хлеб обычно меняли на ценные вещи (золото, украшения).

Первые признаки настоящего, страшного голода проявились в ноябре 1941 г. Тогда и началось «смертное время» с нескончаемой чередой похоронных «процессий», дележкой крохотного кусочка хлеба, с лихорадочным поиском любых суррогатов пищи. «Этот голод как-то накапливается, нарастает и то, что еще недавно насыщало, сейчас безнадежно не удовлетворяет. Я чувствую на себе это резкое оголодание, томительную пустоту в желудке... Через час после относительно приличного обеда... подбираются малейшие крошки съестного, выскребаются до чистоты кастрюли и тарелки», – записывает в дневнике 9 января 1942 г. И.Д. Зеленская<sup>23</sup>.

Изучавший во время блокады тела «дистрофиков» известный патологоанатом В.В. Гаршин отмечал, что печень их потеряла  $\frac{2}{3}$  своего вещества, сердце – более трети, селезенка

---

копытом и подковой на туфли и старую кофточку... Подкова была тяжелой. На работе мне не смогли ее отбить. Пришлось нести все домой... Эту ногу мама потом варила... почти месяц – пока копыто не стало мягким, как резина, – все же был навар, а не вода» (*Козлова Г.И.* Мои студенческие годы (Страницы из воспоминаний бывшей студентки приема 1940 г.) // «Мы знаем, что значит война...» Воспоминания, письма, дневники университетов разных лет. СПб., 2010. С. 202).

<sup>16</sup> Коноплева М.С. В заблокированном Ленинграде. Дневник: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 125–126.

<sup>17</sup> Там же. Л. 135.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Сельцер К.И. Дневник. 12 октября 1941 г. Цит. по: Глезеров С. От ненависти к примирению. СПб., 2006. С. 44; ср. с записками Л. Эльяшевой: «В октябре желание есть, сосущее чувство голода становилось все назойливее... Оно гнало в буфеты и столовые в поисках еды с интересных лекций» (*Эльяшева Л.* Одним бы глазом увидеть победу. С. 252). См. также запись в дневнике Е. Мухиной, сделанную в октябре 1941 г.: «150 граммов хлеба нам явно не хватает... Я до школы ночами все съедаю, а целый день сижу без хлеба... Все время внутри что-то сосет... Как хочется поесть» (*Мухина Е.* Дневник: Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 51).

<sup>20</sup> Лазарев Д.Н. Ленинград в блокаде // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 5. СПб., 2000. С. 198; В.И. Равдоникас – Л.А. Равдоникас. 8 апреля 1942 г. // «Мы знаем, что значит война...». С. 537.

<sup>21</sup> Лазарев Д.Н. Ленинград в блокаде. С. 198.

<sup>22</sup> Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 8 (Запись 21 декабря 1941 г.).

<sup>23</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 9 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 50 об.; см. также записи в дневнике И.И. Жилинского 27 и 28 декабря 1941 г. (*Жилинский И.И.* Блокадный дневник. С. 15).

уменьшилась в несколько раз: «Голод съел их... организм потребил не только свои запасы, но разрушил и структуру клеток»<sup>24</sup>. Каждый месяц этого времени имел свою, не единственную, но особую, жуткую примету: санки с «пеленашками» в декабре, не убранные многочисленные трупы в январе, и трупы, убранные в февралье – в штабеля.

## 2

Можно говорить о нескольких последствиях принявшей угрожающие размеры массовой голодовки. Прежде всего это апатия. Проявления ее были многообразными и индивидуальными для каждого человека. Нетрудно, однако, назвать и общие признаки физиологического угасания, отмеченные в Ленинграде в 1941–1942 гг.<sup>25</sup> Это заторможенность, вялость – «отупение», как обычно характеризуется это состояние в блокадных записках и дневниках<sup>26</sup>. Это слабость, или, как сильнее выразился один из блокадников, «дряхлость»<sup>27</sup> – в мемуарной литературе неоднократно обращалось внимание на старческие лица «дистрофиков» независимо от их возраста. Многие не могли даже ходить по комнате, а обычно долго сидели или лежали на кровати. А. П. Бондаренко вспоминала о своем брате, который часами неподвижно стоял у стола, и о сестре, которая все время лежала в кровати, не притрагиваясь к находившейся рядом кукле<sup>28</sup>. Секретарь Дзержинского РК ВКП(б) З.В. Виноградова, обходившая «выморочные» квартиры в поисках детей, писала о том, как была поражена их безразличием: «Лежит человек на кровати, с ним же рядом ему близкий человек мертвый, и у него полное отупение»<sup>29</sup>.

Как и взрослые, дети быстро привыкали к смерти. Ее приметы были знакомы всем. Ее встречали даже и там, куда шли отмечать праздник. Пришедшие на «елку» в Театр музыкальной комедии в январе 1942 г. видели, как оттуда выносили умершего от голода служащего в ливрее<sup>30</sup>. «Нигде нет играющих детей. Нет вообще бегающих», – записывал в дневнике И.И. Жилинский<sup>31</sup>. Дети вели те же разговоры, что и взрослые, – о хлебе, о том, что «сегодня будут давать»<sup>32</sup>. И на «игры» их наложило свой отпечаток «смертное время». Н.А. Булатова, кото-

<sup>24</sup> *Гаршин В.В.* В дни блокады // Звезда. 1945. № 7. С. 118.

<sup>25</sup> Об апатии, ее причинах и проявлениях см.: *Ерохина (Клишевич) Н.Н.* Дневник. 15 июня 1942 г.: Рукописно-документальный фонд Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (РДФ ГММОБЛ). Оп. 1. Д. 490. Л. 34; *Бочавер М.А.* Это – было (Прядильно-ткацкая фабрика «Рабочий» в годы военной блокады. 1941/IX-1944/1. Быт и нравы блокадных лет): ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 18, 33; *Худякова Н.* За жизнь ленинградцев. Помощь комсомольцев населению Ленинграда в блокадную зиму. 1941/1942 год. Л., 1948; *Глухова Г.* И был случай... // Нева. 1999. № 1. С. 221; *Верт А.* Россия в войне 1941–1945. М., 1963. С. 251–252; *Францевич Н.* Кружка молока // Нева. 2002. № 5. С. 221; *Коц Е.С.* Эпизоды, встречи, человеческие судьбы // Публичная библиотека в годы войны. СПб., 2005. С. 192; *Капустина Е.* Из блокадных записей студентки // Нева. 2006. № 1. С. 220; *Хивилицкая М.И.* Симптоматология // Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде. Л., 1947. С. 164; *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. С. 261 (Дневниковая запись 5 декабря 1941 г.).

<sup>26</sup> См. воспоминания В. Адмони: «Одна наша бывшая... приятельница рассказала, что видела в середине блокадного января, как я неподвижно стоял на углу Моховой... глядя перед собой бесцельным, отсутствующим взглядом. Она прождала чуть ли не четверть часа, не шевельнусь ли я... Но ничего не изменилось» (*Сильман Т., Адмони В.* Мы вспоминаем. СПб., 1993. С. 250). См. также: *Витенбург Е.П.* Павел Витенбург: геолог, полярник, узник ГУЛАГа. (Воспоминания дочери). СПб., 2003. С. 280; *Баженев Н.В.* О том, как они умирали (Из записной книжки): Отдел письменных источников Новгородского государственного музея (ОПИ НГМ). Оп. 2. Д. 440. Л. 12 (Запись 15 января 1942 г.); Ф.А. Витушкин – В.Х. Вайнштейну. Цит. по: *Сивохина С.Л.* О жизни в блокадном Ленинграде (По материалам архива В.Х. Вайнштейна в собрании ОПИ НГОМЗ) // Ежегодник Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Новгород, 2009. С. 97.

<sup>27</sup> *Евдокимов А.Ф.* Дневник. 26 октября 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 р. Д. 30. Л. 10.

<sup>28</sup> *Бондаренко А.П.* О блокаде: Архив семьи П.К. Бондаренко.

<sup>29</sup> Стенограмма сообщения Виноградовой З.В.: Научно-исторический архив Санкт-Петербургского института истории РАН (НИА СПбИИ РАН). Ф. 332. Оп. 1. Д. 24. Л. 11.

<sup>30</sup> *Байков В.* Память блокадного подростка. С. 69–70.

<sup>31</sup> *Жилинский И.М.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 8. С. 12 (Запись 10 марта 1942 г.).

<sup>32</sup> Там же.

рой тогда исполнилось 7 лет, вспоминала позднее, как, получив порцию хлеба (5х5 см), она с сестрой соревновалась, «кто больше будет есть по крошечке этот кусочек хлеба и одновременно считали, сколько покойников по той или другой стороне улицы»<sup>33</sup>.

Стала заметной какая-то машинальность совершаемых людьми действий – они не сопровождались ни малейшим эмоциональным всплеском. «Все суровые, никто не улыбается», – вспоминала О. Соловьева о людях, встретившихся ей на пустынной улице<sup>34</sup>. Начали замечать, какими неповоротливыми, медлительными становились блокадники в конце 1941 – начале 1942 г.: они словно не видели друг друга, сталкивались, не уступали дорогу<sup>35</sup>. Иные из них казались обреченными: «Взгляд отрешенный, будто отлетающий»<sup>36</sup>. Обращали на себя внимание их молчаливость, вообще отсутствие всяких эмоций – удивления, радости, даже острого горя. Как точно подметил Е. Шварц, жизнь «теряла теплоту»<sup>37</sup>. Исчезало чувство самосохранения и опасности, утрачивался интерес к другим людям, к внешним событиям, ко всему, кроме еды. И, наконец, исчезал интерес к еде – это было преддверие смерти. «Голод вначале обостряет восприятие жизни. Голова ясная, но очень слабая. . . Иногда в ушах звон. Удивительная легкость перехода из одного состояния в другое. Оживают и материализуются образы прочитанных книг, увиденных людей, событий. Теперь вовсе не хочется есть. Состояние постепенно становится сходным с наркотическим оцепенением. Временами теряешь сознание» – в самонаблюдении И.С. Глазунова именно такими предстают перед нами этапы угасания человека<sup>38</sup>.

Апатия вела к ослаблению социальных связей, а нередко и к исключению человека из общества. И это не проходило бесследно для его этики. Именно в сообществе других людей человек ежедневно должен затверживать нравственные уроки – быть порядочным, честным, справедливым, отзывчивым, щедрым. Он не всегда может быть таковым, – но он живет в той же среде, где эти требования подразумеваются как обязательные. Ему приходится и маскироваться – но всегда учитывая при этом, как принято себя вести. И человек не только должен заучивать нравственные правила, но и своими поступками подтверждать решимость их соблюдать. Он чувствует взгляд других, его оценивающих и поправляющих, его упрекающих или одобряющих. Он должен ответить на замечания и оправдывать себя – приводя аргументы, почерпнутые из арсенала этики. Нравственные нормы могли оставаться живыми именно в этих пересечениях споров и патетических отповедей. Если нет кажущимися формальными «церемоний», то размывается и само содержание морали. Норма не ощущается тогда, когда нет контроля над собой, объяснения мотивов своих действий и нет критических

<sup>33</sup> Откуда берется мужество. Воспоминания петрозаводчан, переживших блокаду и защищавших Ленинград. Петрозаводск, 2005. С. 73.

<sup>34</sup> Соловьева О. Воспоминания о пережитой блокаде юной защитницы города Ленинграда (1941–1945 гг.): ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 25. Л. 5.

<sup>35</sup> «Люди сплошным потоком идут. . . пешком черные, страшные, с опухшими искаженными лицами. Все стали какие-то старые, неповоротливые, идут сплошным потоком, не сворачивая друг перед другом, толкая друг друга» (Янузевич З.В. Случайные записки. СПб., 2007. С. 62); «Сейчас получается так: если раньше от машины отворачивался народ, то сейчас идущий транспорт должен отворачивать от людей. Люди стали безразличные, глухи. . . их ругаешь, а они говорят спасибо» (Боровикова А.Н. Дневник. 7 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 98).

<sup>36</sup> Шулькин В. Воспоминания баловня судьбы // Нева. 1999. № 1. С. 151. З.С. Травкина замечала, что взгляд у блокадников был «неживой» (Воспоминания Травкиной Зои Сергеевны о блокадном Ленинграде: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 149. Л. 4). О «мертвящем, неживом выражении лица и глаз» сообщала и Ю.П. Маругина (Стенограмма сообщения Маругиной Ю.П.: Там же. Д. 85. Л. 23).

<sup>37</sup> Шварц Е. Живу беспокойно. Из дневников. Л., 1990. С. 659. См. описание семьи инженера Рохлина в дневнике Н. Михайловского. Рохлин – «совершенно истощенный человек. . . Куда-то в пространство смотрели безжизненные, стеклянные глаза». Его жена сказала ему о том, что у нее пухнут ноги «безразличным тоном». Их дочь «лежала все такая же печальная, безучастная ко всему» (Михайловский Н. На Балтике. Из дневника военного корреспондента // Девятьсот дней. Литературно-художественный и документальный сборник, посвященный героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Л., 1962. С. 99–100).

<sup>38</sup> Глазунов И.С. Россия спящая. Т. 1. Кн. 2. М., 2008. С. 98.

мнений со стороны. Она утрачивается и тогда, когда нет интереса к книгам и к искусству, отстаивающих нравственные ценности, когда безразличны к событиям, требующим моральной оценки.

Безразличный ко всему, ушедший от мира и от людей, сосредоточенный только на самом себе, человек утрачивал и способность эмоционально реагировать на что-либо. Но как раз посредством таких эмоций – радости, удивления, страха, горя, надежды – выражаются и быстрее воспринимаются моральные правила. Не случайно именно в притуплении эмоций видели тогда нечто спасительное. В городе мрачно, холодно, темно, и не превратиться в «кисель» помогало только это – относиться ко всему безразлично и не страдать. Таково содержание записи в дневнике Л. Эльяшевой, сделанной 19 ноября 1941 г.<sup>39</sup> Спасает только «звериное» безразличие к человеческому страданию – это отмечает в дневнике спустя несколько месяцев и М.В. Машкова<sup>40</sup>.

Угасание эмоций можно отметить в самых различных блокадных эпизодах, но, пожалуй, наиболее характерным было безразличие к бомбежкам и вообще к смерти. Первые обстрелы в начале сентября 1941 г. вызвали бурный отклик в Ленинграде. Горожане без всяких отговорок шли в бомбоубежище, пытались узнать, сколько людей пострадало и какие дома разрушены<sup>41</sup>. Потом бомбежки стали частью повседневности, к ним быстро привыкли и месяц спустя, в октябре 1941 г., в дневнике инженера В. Кулябко мы встречаем такую запись: «...Сейчас... мало интересуется, где разбомбили, сколько жертв. Ко всему привыкают, даже к ужасу»<sup>42</sup>. Голод, а не обстрелы, скоро стал главной темой разговоров ленинградцев<sup>43</sup>. В «смертное время» безразличие к обстрелам было нормой<sup>44</sup>. Находили в себе силы и относиться к ним с юмором<sup>45</sup>. Милиционеры даже начали штрафовать тех, кто не хотел идти в убежища и буквально выгоняли их с улиц<sup>46</sup>. Типичным можно считать рассказ В. Бианки об одной из его знакомых, жившей в Ленинграде – в нем этапы привыкания к обстрелам обозначены кратко, но отчетливо: «...Поднимала всех в квартире даже при отдаленной бомбежке.

<sup>39</sup> Эльяшева Л. Мы уходим... Мы остаемся... // Нева. 2004. № 1. С. 205.

<sup>40</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей // Публичная библиотека в годы войны. С. 15 (Запись 17 февраля 1942 г.); ср. с дневником Б. Злотниковой: «Последнее время я живу слишком собой и потому все остальное меня мало интересует. С одной стороны, это неплохо, потому что легче жить...» (Злотникова Б. Дневник. 16 ноября 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 40. Л. 14).

<sup>41</sup> По свидетельству П.М. Токсубаева, 8 сентября 1941 г. во время первого налета на город милиция даже «сдерживала напор любопытных лиц, желавших посмотреть <...> разрушения» (Стенограмма сообщения Токсубаева П.М.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 124. Л. 4 об).

<sup>42</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2 (Запись 6 октября 1941 г.). С. 237; ср. с письмом В. Мальцева М.Д. Мальцеву 15 декабря 1941 г.: «По радио объявили артиллерийскую тревогу. Это все так знакомо, что не производит впечатление. Обыкновенное дело. Даже разбитый дом, мимо которого ты прошел, обычен» (Девятьсот дней. С. 268).

<sup>43</sup> Характерен в этом отношении дневник М.С. Коноплевой, где имелись очень подробные записи о первых бомбардировках и обстрелах, а затем более частыми стали записи о хлебе и пайках.

<sup>44</sup> Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2000. С. 742; Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества. СПб., 2005. С. 115; Г.П. Гродецкий – В.П. Бианки. 29 сентября 1941 г. // Бианки В. Лихолетье. С. 58; Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 2 ноября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 157; Евдокимов А.Ф. Материалы блокадных записей. 5 октября 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 30. Л. 69; Эльяшева Л. Одним бы глазом увидеть победу. С. 252 (Дневниковая запись 8 октября 1941 г.); Шварц Е. Живу беспокойно. С. 656; Стенограмма сообщения М.И. Скворцова: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 110. Л. 8; Воспоминания о блокаде Александры Ивановны Костиковой // Испытание. Воспоминания настоятеля и прихожан Князь-Владимирского собора в Санкт-Петербурге о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. СПб., 2010. С. 32; Выступление по ленинградскому радио В. Кетлинской 29 октября 1941 г. // 900 героических дней. Сборник документов и материалов о героической борьбе трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг. М.; Л., 1966. С. 234; Бродский И.А. В дни блокады // Илья Яковлевич Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 283.

<sup>45</sup> См. записи В. Бианки о Ленинграде весной 1942 г.: «Юмор приговоренных к смерти. – Уходя из гостиной, не забудь потушить зажигательную бомбу. – Меняю фугасную бомбу на две зажигательных в разных кварталах» (Бианки В. Лихолетье. С. 171).

<sup>46</sup> Интервью с Е.И. Образцовой // Человек в блокаде. Новые свидетельства. СПб., 2008. С. 238; Грязное Ф.А. Дневник // Доживем ли мы до тишины. Записки из блокадного Ленинграда. СПб., 2009. С. 121.

Потом вдруг ей стало совершенно безразлично – ухает, нет ли. Теперь ее штрафуют за то, что она не прячется во время налетов и детей своих она не будит ночью во время бомбежки»<sup>47</sup>.

### 3

Сцены, когда горожане во время обстрелов спасались не только от бомб, но и от милиционеров, едва ли возникли случайно. Здесь сказался, конечно, и обычный «блокадный» прагматизм. Берегли последние силы и предпочитали отсиживаться дома, надеясь, что беда обойдет их стороной. Будучи истощенными, не рассчитывали до отбоя тревоги пробраться в убежище по обледеневшим лестницам, залитым нечистотами. Не рисковали уйти из очереди во время бомбежки, хотя магазины тогда обязательно должны были закрываться<sup>48</sup>. И имели для этого веские доводы: могли потерять место в ней, поскольку быстро образовывались очереди людей, не желавших признавать прав других.

Этот прагматизм удивлял тех, кто побывал в городе позднее. Так, В. Бианки, находясь во время обстрела в комнате с участковым милиционером, заметил, что он беспокоится не о том, упадет ли на дом бомба, а о том, не потухнет ли лампа<sup>49</sup>. В. Бианки даже подчеркнул, что это было сделано «без всякой рисовки»<sup>50</sup>.

Для горожан такая шкала средств выживания стала обыденной: поведение некоторых из них во время обстрела на Сытном рынке в декабре 1941 г. еще раз это подтвердило<sup>51</sup>. Безразличие к обстрелам, которое преимущественно являлось следствием крайнего истощения и усталости, не могло не сказаться на этике ленинградцев. Во-первых, утрачивалось чувство ответственности за судьбу незащитных людей – детей, стариков, инвалидов, нуждающихся в уходе. Сколь бы ни были тщетны попытки уберечь их от налета в убежищах, но они являлись все же более нравственными, чем упования на то, что бомба упадет далеко. Позволяя себе одно (и немаловажное) отступление от правил морали и оправдывая его, можно было затем допустить и другие исключения из них – во время осады это выявлялось особенно рельефно.

Во-вторых, ослабевали, а нередко исчезали и страх и ощущение опасности. Не боялись и за других и потому не видели повода их защищать. Не заботясь о своем спасении и не осознавая того, что им угрожало, не обнаруживали и признаков своей деградации или не придавали им должного значения.

Привыкали не только к бомбежкам – привыкали к смерти. Иначе и быть не могло: трупы лежали всюду. Они лежали у больниц и на улицах, в квартирах и на лестницах, в подвалах и во дворах. Председатель Выборгского райисполкома А.Я. Тихонов рассказывал, что «наибольшая цифра подобранных трупов за день... по району была 4,5 тысяч, но это только трупы, собранные на улице»<sup>52</sup>. Смерть была лишена присущей ей в цивилизованном обществе строгости ритуалов – стало обычным и неуважение к умершим. Мертвые тела соседи

<sup>47</sup> Бианки В. Лихолетье. С. 173.

<sup>48</sup> Черкизов В.Ф. Дневник блокадного времени // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 8. СПб., 2004. С. 34 (Запись 25 ноября 1941 г.); Ф.А. Витушкин – В.Х. Вайнштейну. Цит. по: Сивохина С.Л. О жизни в блокадном Ленинграде. С. 97.

<sup>49</sup> Бианки В. Лихолетье. С. 173.

<sup>50</sup> Там же. Ср. с записями Н. Тихонова: «Снаряды падали в темноте. „Это в соседнем квартале“, – спокойно говорил хозяин гостю и продолжал беседу» (Тихонов Н. Ленинград принимает бой. Л., 1943. С. 307).

<sup>51</sup> «...Снаряды попали в толпу на площади рынка. Женщина, бывшая там, рассказывала, что снаряд задел хлебный ларек и когда по чьей-то команде: „ложись“ бросились на землю, на них полетели хлебные буханки. Одни бросились их подбирать, другие отнимать» (Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 19 декабря 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 10).

<sup>52</sup> Стенограмма сообщения Тихонова А.Я.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 123. Л. 17.



нередко сваливали в кучу или относили к помойкам. Они могли лежать не один день<sup>53</sup>, их не сразу убирали<sup>54</sup>. Их накладывали в грузовики как дрова: развевавшиеся на ветру волосы погибших вызвали содрогание у горожан<sup>55</sup>. Л. Рончевская была потрясена, увидев, что на Невском проспекте, у павильона Росси, где находился морг, окоченевшие трупы приставляли к стене<sup>56</sup>. Неубранные тела лежали в квартирах, в общежитиях, в эвакуационных пунктах – рядом с ними другие люди ели и спали<sup>57</sup>. Через трупы перешагивали, не имея сил сдвинуть их к обочине дороги<sup>58</sup>. Ни страха, ни брезгливости – В. Никольская вспоминала, как в одном из скверов, где лежали мертвые, собирали снег для питья<sup>59</sup>.

«Навстречу нам мальчик тащил санки с пеленашками... Разговаривавшие, обогнав меня, не обратили никакого внимания на этот груз, не переглянулись даже, давая мальчику дорогу. В этот же день вечером на улице в центре я опять услышал это выражение: „в смертное время“ и опять разговаривавшие не обратили никакого внимания на двигавшийся им навстречу груз: молодая изможденная женщина везла на санках одну большую и две маленькие пеленашки... На повороте у садика против Русского музея длинная пеленашка... сползла с санок до половины в снег. Усталая женщина остановилась, досадливо толкнула труп ногой на место и с усилием опять потянула за веревку»<sup>60</sup>. Это безразличие к смерти, описанное В. Бианки, отмечается и другими очевидцами страшной блокадной зимы<sup>61</sup>.

<sup>53</sup> Д.С. Лихачев писал, что труп женщины лежал у Биржевого моста, недалеко от Института литературы, около двух месяцев {Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 477}, но такое все-таки было редкостью. См. также: Жилинский ИМ. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 7. С. 12 (Запись 10 марта 1942 г.); Тихонов А.Я. Стенограмма сообщения. С. 17; Стенограмма сообщения Аршинцевой Л.М.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д.4. Л. 4.

<sup>54</sup> См. воспоминания И. Ильина: «Я боялся споткнуться о труп умершего от голода человека, который... неделю лежал перед лестницей в нашей парадной» (Ильин И. От блокады до победы // Нева. 2005. № 5. С. 178); дневник А.И. Винокурова: «Около Петропавловской больницы видел три голых трупа. Они упали из... грузовика, перевозящего трупы... и валяются на улице целый день (никто ими не интересуется)» (Блокадный дневник А.И. Винокурова // Блокадные дневники и документы. СПб., 2004. С. 245); см. также: Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 472; Инбер В. Почти три года // Инбер В. Собр. соч. Т. 3. М., 1965. С. 193 (Дневниковая запись 12 февраля 1942 г.); Блокадный дневник Н.П. Горшкова // Блокадные дневники и документы. С. 57 (Запись 6 января 1942 г.); Запись рассказа В.В. Лишева (Ардентова К. О ленинградских скульпторах // Художники города – фронту. Воспоминания и дневники ленинградских художников. Л. 1973. С. 104).

<sup>55</sup> Третьякова Л.Н. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. Новосибирск, 2004. С. 256; Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 472; Соловьева Э. Судьба была – выжить // Нева. 2006. № 9. С. 219; Гречина О. Спасаясь спасая // Там же. 1994. № 1. С. 256; Саванин А.С. Ленинградская городская контора Госбанка в годы войны // Доживем ли мы до тишины. С. 226.

<sup>56</sup> Рончевская Л. С. Воспоминания о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1249. Д. 14. Л. 3.

<sup>57</sup> См. дневник И.Д. Зеленской: «Сегодня рано утром умер отец Чистякова. У него на койке, стоящей в рабочей комнате. Весь день лежит невынесенный. Сын рядом работает, ест, ложится отдохнуть на ту же койку... Много приходящего народа – труп никого не смущает. Мать его умерла дней 10 тому назад. До сих пор лежит в комнате общежития» (Зеленская И.Д. Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 61 об. – 62); воспоминания А.М. Соколова об эвакуационном пункте в Жихарево: «Умершие валялись везде. На трупах сидели, ели, спали» (Соколов А.М. Эвакуация из Ленинграда. СПб., 2000. С. 122).

<sup>58</sup> Ходорков Л.А. Материалы блокадных записей: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 р. Д. 140. Л. 7; Готхарт С. Ленинград. Блокада // Две судьбы в Великой Отечественной войне. СПб., 2006. С. 43; Муранова В.А. Центральный государственный архив работал всю блокаду // Выстояли и победили. Воспоминания участников обороны Ленинграда, воинов и тружеников Октябрьского района. СПб., 1993. С. 168.

<sup>59</sup> Никольская В.И. В очередях: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 907. Л. 13. См. также интервью с А.В. Андреевым: «За водой с отцом мы ездили на Обводный канал... Все берега канала были заполнены трупами» (Человек в блокаде. С. 263); воспоминания Т. Максимовой: «Как-то в колодец упала женщина, вытащить ее пришедшие на воду были не в состоянии, вернуться без воды не могли и набирали ее, отодвигая кружками превратившиеся в ледяные нити волосы погибшей» (Максимова Т. Воспоминания о ленинградской блокаде. СПб., 2002. С. 41); письмо З. Фомберг В.Х. Вайнштейну: «...В прорубь часто падали люди и не всегда удавалось их спасти. Тогда багром отталкивали в сторону... а люди тут же набирали воду» (Цит. по: Сивохина С.Л. О жизни в блокадном Ленинграде. С. 97).

<sup>60</sup> Бианки В. Лихолетье. С. 181.

<sup>61</sup> «Все мы привыкли к этому зрелищу. Детские саночки... а на них... тряпичные свертки стали повседневностью» (Молдавский Дм. Страницы о зиме 1941/42 годов // Голоса из блокады. Ленинградские писатели в осажденном городе (1941–1944). СПб., 1996. С. 356); «Люди валяются сотнями, до них никому дела нет, и никто не обращает внимания на трупы» (Гельфер Г. А. Дневник. 19 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 24. Л. 4); «Смерть теперь – обычное дело. Мы к ней привыкли. На улице чуть ли не через каждые 100 метров лежат трупы умерших или замерзших. Публика

Д.Н. Лазарев рассказывал, как ему пришлось хоронить своего друга, помогая его родственнице. Гроба для тела не имелось. Везти его нужно было не на кладбище, а в морг, но и здесь, очевидно, намеревались придерживаться, насколько возможно, цивилизованных обычаев. Все было тщетно. Обжигал мороз (температура  $-35^{\circ}\text{C}$ ), ооченели руки. Везли санки по очереди, чтобы один из них мог на какое-то время отвернуться от ледяного ветра. Идти было недалеко, но дорога казалась бесконечной. Морг находился в сарае. Открыв его, увидели гору наваленных, как дрова, трупов. «Еле живая от холода» привратница всячески их торопила, «понукала» – хотела быстрее уйти домой, на морозе ей стоять было невмоготу.

Нет ни обрядов, ни ритуалов прощания, ни слез. Каждый шаг в этих «похоронах», сделанный под давлением обстоятельств, означал последовательное отступление от казавшихся привычными моральных устоев: «...Привратница стояла в стороне, явно не склонная нам помочь. Отвязали тело от доски, безрезультатно попробовали его приподнять – в отошавших мускулах силы не было. Ничего не оставалось, как пытаться втянуть труп на кучу волоком. Легче всего, оказалось, взять труп за ноги. Пятясь, мы начали взбираться вверх по чьим-то твердым и скользким как лед животам, спинам, головам... Привратница подталкивала голову дверью, одновременно проверяя, может ли дверь закрыться»<sup>62</sup>.

Вот он, итог их пути: «Я помню, мы почувствовали тупое безразличие к смерти близкого человека, но были безмерно рады, что груз непосильной работы спал с плеч»<sup>63</sup>.

Безучастность к смерти могла обернуться и безразличием к живым людям<sup>64</sup>. Она вытравливала человеческие чувства: сострадание, милосердие, готовность защитить других от невзгод. «Оттащили мы ее... бросили ее бревно, а свои бревна потащили дальше», – так говорилось о женщине, умершей во время оборонных работ<sup>65</sup>. М.С. Коноплева писала и о «грустной иронии», которую вызывали покойные, и даже приводила примеры<sup>66</sup>. Видели не таинство смерти, на уважении к которому основывается достоинство человека, а ее неприглядную изнанку: лишенные благопристойности и оскверненные тела, трупы, через которые надо перешагивать, трупы, обглоданные крысами, без одежды или в тряпках, с вывернутыми карманами пальто. Видели это каждый день, слышали и передавали рассказы об этом друг другу. И это не проходило бесследно – снижался порог общей для всех этики. Каждая деталь блокадной смерти показывала, сколько жестокого и даже звериного обнаруживалось у людей и как легко они могли переступить границы дозволенного.

---

настолько... к этому привыкла, что все... проходят мимо» (Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 240–241 (Запись 8 января 1942 г.); «Не изменившись в лице, мы проходим в батальонной колонне мимо растерзанного тела молодой женщины возле Охтинского моста» (*Авербах В. А.* Рассказы ветерана. С. 6: Из семейного архива К.К. Смирновой); «Теперь перешагивали через них без всяких эмоций, картина стала привычной, сугробы были почти в рост человека, обходить трупы сил не было» (*Байков В.* Память блокадного подростка. С. 69).

<sup>62</sup> Лазарев Д.Н. Ленинград в блокаде. С. 203.

<sup>63</sup> Там же.

<sup>64</sup> См. дневник В.Ф. Черкизова: «К управхозу приходит женщина, активистка дома, и докладывает, что в квартире... умер мужчина... Управхоз: „Жена у него есть, пусть убирает его и увозит“ – „Жена также кандидат« – „Ну, тогда подождем, когда она помрет, заодно обоих свезем“» (*Черкизов В.Ф.* Дневник блокадного времени. С. 56); письмо С.В. Солдатенкова в Историческую комиссию Совета ветеранов ЛГУ: «Зашел в покойницкую, лежит женщина, лицом вниз, уткнувшись в маленькую лужицу. Вернулся в справочную, сказал: „Среди мертвых лежит живая“ служительница ответила: „Вынесли мертвую, на воздухе отлежалась – отошла. Что же мы сделаем, все равно умрет“ («Мы знаем, что значит война...»). С. 283).

<sup>65</sup> Постникова Э.П. Записки блокады: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 2 об. – 3.

<sup>66</sup> «...На листе фанеры, положенной на двухколесную тележку, везли сразу три зашитых в тряпки трупа, вероятно подростков, судя по их размерам... Один прохожий, посмотрев на них, заметил: „Сразу трех кукол снарядили“» (*Коноплева М.С.* В блокированном Ленинграде. Дневник: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 3). См. также *Альшиц Д.Н. (Д. Аль)* За нами был гордый город. Подвигу Ленинграда – достойную и правдивую оценку. СПб., 2010 (Запись 11 апреля 1942 г.).

## 4

Блокадная повседневность резко меняла прежний, налаженный быт. В прошлом даже на коммунальной кухне, имевшей скандальную репутацию очага конфликтов, жильцы квартиры соблюдали обычаи, определенные этическими нормами. Устанавливались, хотя и не без трений, очередность ее использования, правила поведения по отношению к старикам и детям. Там делились продуктами, обращались за помощью друг к другу. В блокаду о коммунальном быте в его привычном виде говорить стало сложно. Все изменялось неожиданно и парадоксально. Распадались те человеческие связи, где нравственные устои должны были поддерживаться ежедневно. Требовалось устанавливать какие-то новые правила применительно к новым условиям, но осадная жизнь менялась так быстро и так страшно, что о прочном их заучивании не могло быть и речи.

Приступы раздражения, ссоры и драки обычно случались именно там, где делили хлеб, получали тарелку супа или стакан кипятка. Чаще всего это происходило в столовых<sup>67</sup>. Огромные очереди в столовых и кафе стали наблюдаться еще в сентябре 1941 г.<sup>68</sup> В них до конца октября нередко продолжали выдавать супы и каши без талонов, и постоянное снижение норм продуктов по «карточкам» сделало их главной надеждой горожан, начавших испытывать чувство голода. «В столовых царил хаос: все кричали, ругались», – записывает в дневнике 12 сентября 1941 г. М.С. Коноплева, а 19 октября она же отмечает, что столовой, где зеленые щи можно получить без отрыва талонов, «стоит возбужденная шумная толпа, способная побить каждого, кто попытается подойти к кассе вне очереди»<sup>69</sup>.

Этот хаос подчинял себе и воспитанных, интеллигентных людей. Чуть замешкаешься, проявив щепетильность – и сомнут, отеснят, выгонят из очереди. «Обед, избавлявший от голодной смерти, казалось естественным добывать в любых условиях», – скажет позднее Л. Гинзбург<sup>70</sup>; заметим, что ссоры возникали даже в столовых Союза писателей и Публичной библиотеки<sup>71</sup>.

Скандалы начинались по разным поводам: из-за неправильного отрыва кассирами талонов, из-за опозданий, когда выяснялось, что положенная человеку порция пищи съедалась кем-то другим, из-за несправедливости привилегий при обслуживании или из-за его медленности, из-за того, что не рассчитали норму приготовления каши и ее хватило не всем<sup>72</sup>, и наконец, чаще всего потому, что кто-то хотел получить обед или ужин вне очереди.

<sup>67</sup> *Зеленская И.Д.* Дневник. 1 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 26, 26 об.; *Меттер И.* Избранное. СПб., 1999. С. 117–118; *Новиков В.Н.* Дневник. Май 1942 г. Цит. по: *Петров Ан.* Тетрадь в клеенчатой обложке // Нева. 1999. № 1. С. 217.

<sup>68</sup> В дневниковой записи Н.А. Рибковского 9 сентября 1941 г. говорится о километровых очередях у столовых и закусокных (*Рибковский Н.А.* Дневник. Цит. по: *Козлова Н.* Советские люди. Сцены из истории. М., 2005. С. 258 (Запись 9 сентября 1941 г.)). Возможно, это было связано с паникой, возникшей после бомбардировки Бадаевских складов. См. также: Академический архив в годы войны. Ленинград 1941–1942. Из дневников Г.А. Князева. СПб., 2005. С. 25–26 (Запись 23 сентября 1941 г.); запись в дневнике А.А. Грязнова 24 сентября 1941 г.: «Чтоб пообедать где-нибудь в открытого типа столовой, надо простоять в очереди 3–5 часов» (*Грязное А.А.* Дневник // Человек в блокаде. С. 20).

<sup>69</sup> *Коноплева М.С.* В блокированном Ленинграде. Дневник. 19 октября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 3. Л. 15; см. также дневник П.М. Самарина: «...Звонила со столовой. Народу много – скандал и драки» (*Самарин П.М.* Дневник. 12 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 л. Д. 338. Л. 841); воспоминания Е.И. Дмитриевой: «В столовой стоял бак с кипятком, за ним тоже очереди были и даже драки были» (Цит. по: *Чурсин В.Д.* «Сообщает 21-й о своей готовности» // Публичная библиотека в годы войны. С. 124); воспоминания Б. Михайлова: «В обеденный перерыв перед пуском в столовую... собирались все, и тут происходили бурные скандалы, доходившие до драк» (*Михайлов Б.* На дне войны и блокады. СПб., 2001. С. 40).

<sup>70</sup> *Гинзбург Л.* Записные книжки. С. 740.

<sup>71</sup> *Меттер И.* Избранное. С. 117; *Чурсин В.Д.* Указ. соч. С. 124.

<sup>72</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 25–26 (Запись 23 сентября 1941 г.); *Коноплева М.С.* В блокированном Ленинграде. Дневник. 27 октября 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 3. Л. 16, 16 об.; *Зеленская И.Д.* Дневник. 1 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 26 об.; Воспоминания Н.В. Ширковой: Архив семьи Е.В. Шуньгиной.

Одна и та же картина видна в различных записях о блокадных столовых. Нетерпение голодных людей, которые не имели сил больше ждать и, не стесняясь других, громко и настойчиво просили обслужить их в первую очередь. Озлобление официанток, видимо, более сытых и явно презиравших посетителей, готовых и умолять и оскорблять<sup>73</sup>. Впечатляющее описание этих ссор мы находим в воспоминаниях Г. Кулагина. И, заметим, речь здесь идет о «директорской» столовой, где питание было лучше, где должна была четче соблюдаться субординация, где «столующимися» являлись люди образованные и интеллигентные: «Это было в декабре, но люди еще не были истощены и вели себя достойно. Они еще подпитывались домашними запасами... У кого были связи со снабженцами, те выписывали с центрального склада крахмал и технический желатин. Потом и это кончилось. Столовая стала, как все. Поредели ряды посетителей. Смолкли и посторонние разговоры. Начальники стали нетерпеливо подстерегать время обеда, и без одной минуты час все стулья уже были заняты. Столующиеся сосредоточенно и молча поглядывали на кастрюлю с супом. Каждый развертывал бумагу с кусочком хлеба, оставшимся от завтрака. Некоторые извлекали из карманов пробирки с перцем, запасались солью. Через минуту-другую терпение истощалось:

- Анастасия Ивановна, мне тарелочку!
- Анастасия Ивановна, мне!
- Тасенька, мне двести граммов хлеба!
- Анастасия Ивановна, я давно сижую!

Все вдруг страшно оживлялись, вскакивали с мест, протягивали руки за супом, рискуя расплескать его на соседей.

Наконец первое роздано. Устанавливается полное молчание: слышно только хлюпанье и чавканье... Снова гвалт и крики – заказывают второе.

- Тася, Тасенька, мне две рассыпчатых, – басит могучий Вишняков.

– Анастасия Ивановна, а мне когда же? – врывается в общий гвалт чей-то тоненький умоляющий голос.

Тася растерянно и зло моргает глазами... Кто-то упрекает ее в нерасторопности, кто-то начинает рассуждать о грубости официанток, кто-то с сомнением смотрит на тарелку с кашей и, ища поддержки у соседа, спрашивает:

- Неужели здесь две порции?..

Потом опять все успокаиваются. Окончив обед, выстраиваются в очередь у расчетного стола... Официантки открыто сомневаются в честности расчета и, не стесняясь, оскорбительно громко переспрашивают, кто сколько съел...»<sup>74</sup>

Раздражение обнаруживалось не только в столовых<sup>75</sup>. «Все были раздражены до невероятности», – вспоминал Д.С. Лихачев<sup>76</sup>. Стычки и споры между людьми обычны для любого

<sup>73</sup> О «безразлично формальном отношении к столующимся, проявившемся в бескультурии», говорилось и в докладной записке бригады по обследованию работы ленинградских столовых и кафе Горкому ВКП(б), составленной в марте 1942 г. // 900 героических дней. С. 267.

<sup>74</sup> Кулагин Г. Дневник и память. О пережитом в годы блокады. Л., 1978. С. 153; ср. с записью в дневнике И.Д. Зеленской 20 сентября 1942 г.: «... Из-за всякого пустяка вспыхивают колкости и стычки между соседями и с официантками... Каждый стол старается зазвать ее и опередить соседний...» (Зеленская И. Д. Дневник. 20 сентября 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11 Д. 35. Л. 100 об.).

<sup>75</sup> Змитриченко А.О. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 93; Капранов Б. Дневник. Цит. по: Будни подвига. Блокадная жизнь ленинградцев в дневниках, рисунках, документах. СПб., 2006. С. 38 (Запись 19 ноября 1941 г.); Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. С. 274 (Дневниковая запись 29 января 1942 г.); Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 4 октября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 123; Н.П. Заветновская–Т.В. Заветновской. 5 февраля 1942 г.: Там же. Ф. 1273. Л. 32.

<sup>76</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 473. Свидетельства об этом, возможно, являются чрезмерно эмоциональными и пристрастными, но игнорировать их нельзя. См. дневник А. Лепковича: «Люди настолько огрубели, что в городе не узнаешь ни одного человека, пережившего это время тем, каким он был» (Лепкович А. Дневник. 20 мая 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 18 об.); письмо А.И. Зеленовой друзьям 22 февраля 1942 г.: «Мечтаем о любой еде. Перегрызли друг с

времени, не только для войны, но характерными тут являлись их накал и их причины. Раздражение вызывали и неприспособленные к блокадным тяготам, житейски беспомощные горожане и те, кто удивлял своим здоровым видом. Продавщицы неприязненно относились к тем, кто готов был часами стоять у пустых прилавков<sup>77</sup>.

Ехавшие в трамвае – к попутчикам, которые пытались втиснуться в переполненный вагон<sup>78</sup>. Люди в очередях – к отстаивавшим свое право быть впереди обладателям различных «номерков». Раздражал медленно бредущий прохожий, мешающий идти другим<sup>79</sup>. Раздражали крик голодного ребенка, даже уборщица, согревшая чай за полчаса до обеденного перерыва и лишившая всех надежд выпить его горячим<sup>80</sup>.

«Злоба была от голода», – отмечала А.О. Змитриченко<sup>81</sup> и она, несомненно, права. Но в блокадной повседневности, как и в любой другой, многое обуславливалось традициями воспитания, образования и культуры, зависело от стечения обстоятельств и от реалий, которые не могли изменить. Определить причины раздражения трудно еще и потому, что иногда сами блокадники не могли внятно их объяснить, а проявления их эмоций несоразмерны тем конкретным поводам, которые их вызвали.

## 5

Главной причиной деградации человека – физической и духовной – являлся голод. Наиболее зримая его примета – внешний вид людей. «На прохожих с нормальным розовым лицом оглядываются», – записал в дневнике 17 января 1942 г. Л.А. Ходорков<sup>82</sup>. Часто отмечали опухшие лица блокадников. Обычно опухание связывали с чрезмерным потреблением воды с солью – это несколько смягчало муки голода<sup>83</sup>. Возможно, здесь сказались и выдача «безкарточных» супов в ведомственных и фабрично-заводских столовых<sup>84</sup>. Разрешалось брать иногда несколько порций такой белесоватой жидкости, «пустой», без макарон, крупы и мяса; часть супов относили домой. Последствия не замедлили проявиться: сначала начинали опухать ноги, затем «водянка» распространялась по всему телу – заплывали даже глаза. Было трудно ходить, ощущалась сильная боль в ногах, привычная обувь становилась мала.

---

другом, презираем друг друга, ибо условия, в которых мы находились, обнажили все качества» (Анна Ивановна Зеленова. Статьи. Воспоминания. Письма. СПб., 2006. С. 115); запись в дневнике М. Тихомирова 21 января 1942 г.: «Толпа людей с ведрами и другими посудинами ругается, кричит; воду черпают, стоя на коленях, проливают, толкаются...» (Дневник Миши Тихомирова. СПб., 2010. С. 29). См. также: *Рабинович М.Б.* Воспоминания о долгой жизни. СПб., 1996. С. 189.

<sup>77</sup> См. дневник В. Базановой: «Прохожу мимо рынка. Стоят очереди. Если спросишь, зачем стоят, получишь раздраженный ответ продавщицы: „Они сами не знают, за чем стоят. Говоришь, что ничего нет“». (*Базанова В.* Вчера было девять тревог... // *Нева*. 1999. № 1. С. 129 (Дневниковая запись 22 ноября 1941 г.); Дневник Ф.А. Грязнова: «...Некоторые упорно стоят у дверей магазина, несмотря на предупреждение завмага, что... ничего в продажу не поступило» (*Грязное ФА.* Дневник. С. 124 (Запись 27 ноября 1941 г.)).

<sup>78</sup> О криках, «истерических воплях», ругани в трамваях говорилось даже в имевших оптимистический характер очерках Н. Тихонова; он, правда, подчеркивает, что они являлись редкими (*Тихонов.* Ленинград в ноябре // Тихонов Н. Ленинград принимает бой. С. 304); см. также: *Уманская А.С.* Дневник. 12 декабря 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 72. Л. 44; *Фадеев А.* Ленинград в дни блокады (Из дневника) // Фадеев А. Собр. соч. Т. 4. М., 1970. С. 118.

<sup>79</sup> *Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 476. По устному свидетельству блокадницы Е. М. (1910 г. р.) более всего она боялась, что кто-то упадет перед ней на дороге: не было сил ни перешагнуть через него, ни обойти его.

<sup>80</sup> *Ходорков Л.А.* Материалы блокадных записей. 4 марта 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 20; *Зеленская И.Д.* Дневник. 22 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 34 об.

<sup>81</sup> *Змитриченко А.О.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 93.

<sup>82</sup> *Ходорков Л.А.* Материалы блокадных записей. 17 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 15.

<sup>83</sup> *Стругацкий Н.З.* Дневник. Цит. по: *Скаладис А.* Братья Стругацкие. М., 2008. С. 34 (Запись 22 декабря 1941 г.); *Козлова Г.И.* Мои студенческие годы. С. 199; *Черкизов В.Ф.* Дневник блокадного времени. С. 39 (Запись 11 января 1942 г.).

<sup>84</sup> См. воспоминания Д.Н. Лазарева об обедах в Доме ученых в октябре – ноябре 1941 г.: «Мой сосед слева рассказывает, что он пропустил за день 8 тарелок супа...» (*Лазарев Д.Н.* Ленинград в блокаде. С. 196).

Очевидцы едины в своих наблюдениях – по ним без труда можно составить портрет блокадника, далекого от «хлебных мест». Бледные, исхудавшие, одутловатые, опухшие («опавшие и оплывшие», по выражению И.Д. Зеленской<sup>85</sup>), с желтоватым или землистым цветом лица<sup>86</sup>. Морщины, синяки, белесоватые, налитые водой мешки под глазами<sup>87</sup>. Походка – «особая» и «странная»<sup>88</sup>. Идут так, «будто ноги мешают, точно к ним привешены пудовые гири»<sup>89</sup>. Не ходят – переставляют ноги «по вершку», с особым усилием. «Никакого кокетства – ноги врозь и палка вперед», – писал о «сильно утилитарной» походке одной из женщин М.И. Чайко<sup>90</sup>. Движения медленные, идут тихо и осторожно, нередко даже дети ходят, опираясь на палки и костыли<sup>91</sup>.

Речь у многих замедленная – ее интонации очень рельефно удалось передать И. Быльеву в рассказе о художнике Я. Николаеве. Тот пролил суп и предложил обмен: «...Продолжает с теми же чрезвычайными усилиями... Я дам тебе свой крупяной талон, а ты... как его... это... а ты на него получишь и мы с тобой... как его... это...»<sup>92</sup>

Страшными были приметы цинги – особенно отчетливо они проявились весной 1942 г. На ногах кожа становилась фиолетовой и покрывалась багровыми пупырышками. Они остекленевали и ходить было очень больно; у некоторых хромота оставалась и много месяцев спустя. Возникали боли в желудке, тело покрывалось фурункулами, лица – «запекшимися болячками»<sup>93</sup>. Разбухал язык, кислая пища казалась горькой, сладкая – кислой<sup>94</sup>. Один из характерных признаков цинги – выпадение зубов из воспаленных десен. Медицинское точное и суховатое перечисление проявлений этого недуга у М. А. Бочавер сопровождается даже метафорой: «Мы у себя вынимали их просто, без труда, рукой, как сигареты из пачки»<sup>95</sup>.

К «блокадным» лицам быстро привыкли – приехавшим издалека они казались еще более страшными. Б. Бабочкин, побывавший в Ленинграде весной 1942 г., рассказывал позднее: «Пришла актриса, была красавица... Теперь вывалились зубы, развалина... Питалась тем, что у склада, рано утром, собирала раздавленных крыс – грузовиками ночью»<sup>96</sup>. Но

<sup>85</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 18 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 33 об.

<sup>86</sup> Петерсон В. Дневник. 6 января 1942 г.: Там же. Д. 86. Л. 7 об. – 8; М.В. Машкова – С.М. Машбиц. 5 ноября 1941 г. // Публичная библиотека в годы войны. С. 115; Янушевич З.В. Случайные записки. С. 62; Кулагин Г. Дневник и память. С. 203; Боровикова А.Н. Дневник. 15 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 101; Левина Э. Письма к другу // Ленинградцы в дни блокады. Сборник. Л., 1947. С. 204; Зеленская И. Д. Дневник. 18 ноября 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 1. Д. 35. Л. 33 об.; Из дневника Галько Леонида Павловича // Оборона Ленинграда. 1941–1944. Воспоминания и дневники участников. Л., 1968. С. 517 (Запись 18 января 1942 г.); Постникова Э.П. Записки блокады: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 2 об. – 3; Краков М.М. Дневник. 13 февраля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 12; Баженов Н.В. О том, как они умирали (Из записной книжки): ОПИ НГМ. Оп. 2. Д. 440. Л. 10.

<sup>87</sup> Петерсон В. Дневник. 6 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 86. Л. 7 об. – 8; Капица П. В море погасли огни. Блокадные дневники. М., 1974. С. 261 (Дневниковая запись 17 января 1942 г.); Грязное Ф.А. Дневник. С. 138.

<sup>88</sup> Стенограмма сообщения Трофимова П.П.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 126. Л. 20; Грязное Ф.А. Дневник. С. 138 (Запись 6 декабря 1941 г.).

<sup>89</sup> Грязное Ф.А. Дневник. С. 138.

<sup>90</sup> Дневник М.И. Чайко // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 5. С. 123.

<sup>91</sup> «Ноги опухли и не держат, падаю от малейшего толчка» (Краков М.М. Дневник. 26 февраля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 14). См. также: Блатина А. Вечный огонь Ленинграда. Записки журналиста. М., 1976. С. 240; Силина Е.М. Дневник. 27 февраля 1942 г. // Зимин И.В. Из дневника блокадницы. Битва за Ленинград: Проблемы современных исследований. Сборник статей. СПб., 2007. С. 253; Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 7 (Запись 21 декабря 1941 г.).

<sup>92</sup> Быльев И. Из дневника // Художники города-фронта. Воспоминания и дневники ленинградских художников. Л., 1973. С. 333.

<sup>93</sup> Лазарев Д.Н. Ленинград в блокаде. С. 208; Интервью с Е.И. Образцовой. С. 247; Зеленская И.Д. Дневник. 18 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 44 об.

<sup>94</sup> Бочавер М.А. Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 51–52.

<sup>95</sup> Там же. См. также: Лазарев Д.Н. Ленинград в блокаде. С. 208; Солдатенков С.В. В историческую комиссию Совета ветеранов ЛГУ // «Мы знаем, что значит война...». С. 283.

<sup>96</sup> Иванов В.С. Дневники. М., 2001. С. 203–204; см. запись рассказа красноармейца, приехавшего в отпуск в город: «...

были и такие люди, при виде которых приходили в ужас даже многие повидавшие блокадники: «Это что-то не знаю что. Если бы я не встретила его на улице... не узнала бы»<sup>97</sup>, «я испугалась, так он страшен, лицо опухло»<sup>98</sup>, «я была поражена его видом, он заметно опух»<sup>99</sup>, «как... изменился, этого нельзя рассказать, невозможно представить»<sup>100</sup>. Общаться с такими людьми, очевидно, было сложно. Они и сами стыдились своего вида (особенно женщины)<sup>101</sup>, старались отворачиваться. Да и что оставалось делать, когда было заметно, как их собеседники с трудом подавляют испуг, стесняются пристально вглядываться в лица. Как «дистрофикам», изуродованным голодом, с замедленной речью и жестами, вести обычный разговор, когда оцепенение, жалость и сострадание охватывает всех, кто их видит? И ничего не поправить – каждый голодный день делает их облик еще более неузнаваемым и страшным. Может быть, отчасти и поэтому люди переставали следить за опрятностью и чистотой своей одежды, умываться, заботиться о личной гигиене. Другими причинами (и, пожалуй, более важными) были немощность истощенных блокадников, отсутствие в квартирах света, тепла и воды, закрытие бань и пунктов бытового обслуживания<sup>102</sup>. Обилие грязных, закопченных лиц не раз отмечалось в свидетельствах о зиме 1941–1942 гг.<sup>103</sup>

Т. Нежинцева писала, как ей было стыдно идти в роддом невымытой: «...оказалось, что все были такие»<sup>104</sup>.

Нет дров, нет сил, чтобы их принести, нет тепла. Нет воды<sup>105</sup> – истощенным горожанам, которым трудно дойти до колонок и проруби, приходится всячески ее сберечь, использовать только для питья и приготовления пищи. Очень мало бань, их нечем топить – побывать в них можно лишь по нарядам и талонам, которые не всем были доступны. Как отмечала И.Д. Зеленская, бывали случаи, когда «даже баня становится непомерной роскошью, т. к. в ней ледяной холод, чуть теплая вода и страшные очереди»<sup>106</sup>. В обледеневших квартирах и общежитиях люди не моются неделями и месяцами<sup>107</sup>. Спят одетыми, стараются не вставать с постели, прячась от холода за ворохом одеял. Не работает канализация, квартиры, лестницы и дворы залиты нечистотами. Крысы и вши стали приметой «смертного

---

Говорит, что он... никогда не думал, что живые люди могут дойти до такого состояния» (Дневник Миши Тихомирова. С. 44 (Запись 21 февраля 1942 г.)).

<sup>97</sup> Боровикова А.Н. Дневник. 15 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 101.

<sup>98</sup> Н. Заветновская – Т.В. Заветновской. 22 декабря 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 1273 Л. 23 об.

<sup>99</sup> М.В. Машкова – С.М. Машбиц. 5 ноября 1941 г. // Публичная библиотека в годы войны. С. 115.

<sup>100</sup> Ерохина (Клишневич) Н.Н. Дневник. 15 июня 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1. Д. 490. Л. 35.

<sup>101</sup> См. запись в дневнике П. Капицы 17 января 1942 г.: «...Потупляют взгляд или стыдливо отворачивают худые носатые лица, чтобы мы не могли видеть преждевременных морщин, синяков и «цыпок» под глазами. А если какая взглядом невзначай, то смущенно» (Капица П. В море погасли огни. С. 261).

<sup>102</sup> Как отмечалось в отчете Ленинградской городской плановой комиссии, за период с 1 июля 1941 г. по 1 января 1942 г. число пунктов по ремонту обуви уменьшилось с 398 до 86, прекратили работу бани, и большинство пунктов бытового обслуживания, а также почти все прачечные (Из отчета Ленгорплана «Ленинград в период войны и блокады» // 900 героических дней. С. 297).

<sup>103</sup> Никулин А.П. В осажденном городе. Краткие записи. 13 января, 14–15 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 83. Л. 36; Зеленская И.Д. Дневник. 26 января 1942 г.: Там же. Д. 35. Л. 58 об.; Боровикова А.Н. Дневник. 15 января 1942 г.: Там же. Д. 15. Л. 101; Загорская А.П. Дневник. 30 декабря 1941 г.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 47. Л. 16; Силина Е.М. Дневник // Зимин И.В. Из дневника блокадницы. С. 253 (Запись 27 февраля 1942 г.); Заболотская Л.К. Дневник // Человек в блокаде. С. 132; С. А. Павлова – С.Н. Кондратьеву // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 5. С. 180.

<sup>104</sup> Нежинцева Т. Рассказу о своем муже // Голоса из блокады. С. 348.

<sup>105</sup> Зимой 1941–1942 гг. было заморожено 6369 водопроводных вводов (43 % от общего числа) (Ковальчук В.М. 900 дней блокады. Ленинград. 1941–1944. СПб., 2005. С. 76).

<sup>106</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 10 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 41 об.

<sup>107</sup> Из дневника Галько Леонида Павловича. С. 515 (Запись 4 января 1942 г.). См. также воспоминания Е. Капустиной о студенческом общежитии в Физическом институте ЛГУ: «Лежали люди, закрытые одеялом и тряпьем. Я предложила умыться. От умывания они... отказались, сказали, что потом будет еще холодней» (Капустина Е. Из блокадных дней студентки. С. 220).

времени»<sup>108</sup>. Педикулез грозил каждому: вшей находили не только у сирот, переданных в детский дом (что случалось чаще всего), но и у рабочих<sup>109</sup>. Нет света, не работают общественный транспорт, почта и радио<sup>110</sup> – нет возможности читать, писать, заниматься домашним бытом, встречаться с друзьями, узнавать новости.

Когда в сентябре 1941 г. запретили пользоваться электроприборами и ограничили (2,5 литрами в месяц) выдачу керосина, один из блокадников сетовал на то, что придется ходить в неглаженном белье<sup>111</sup>. Спустя несколько недель на эти мелочи перестали обращать внимание. Чувство озноба от холода, не проходившее, даже если накрывались несколькими одеялами или пальто (некоторые из переживших зиму 1941/42 гг. подчеркивали, что оно являлось куда большим испытанием, чем голод), заставляло горожан ходить в валенках и шубах не только весной, но и позднее, вплоть до июля 1942 г.<sup>112</sup> Истощенным было труднее согреться – не стыдились облачаться в «сборную одежду», по выражению Г.А. Князева, обычно более потрепанную и грязную<sup>113</sup>. И носили ее все: и рабочие, и интеллигенты. А. Фадеев, встретившись с ленинградскими писателями, сразу скомандовал в присутствии ему патетическом тоне: «Ордера! Ордера всем! Нужно одеться»<sup>114</sup>.

## 6

«Ест кашу медленно, ложка дрожит в костлявой ручке» – это отданный в детский дом изголодавшийся ребенок, у которого мать отбирала еду, «маленький тощий скелетик с боль-

<sup>108</sup> Секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ Б.П. Федоров вспоминал, как в одной из квартир на улице Глинки обнаружили истощенного мужчину: «Когда стали его осматривать, то оказалось, что у него пятки были объедены крысами. У него не было сил спасти себя от крыс, хотя он был жив» (*Федоров Б.П.* [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 467). О крысах блокадники всегда вспоминали с особым содроганием: «... Толстая крыса скачками бросилась в мою сторону, соскочив с лица умершей две недели назад тети» (*Глазунов И.С.* Россия распятая. Т. 1. Кн. 2. С. 102); «... Жрали они машинное масло, жрали мертвых, которые лежали на заводе в ожидании своей очереди» (*Гречина О.* Спасаясь спасая. С. 262). Инструктор по кадрам Петроградской конторы связи Л.М. Аршинцева сообщала о том, что почтальоны «на лестницах спотыкались на... покойников, которых грызли крысы» (Стенограмма сообщения Аршинцевой Л. М.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 4. Л. 2–2 об.). «У многих трупов съедаются конечности... Это примитивный морг вместе с крысами превратится в активный источник заразы», – отмечалось в письме начальника земснаряда «Волхов» М.Ф. Зыбина заместителю председателя Леноблисполкома Н.Н. Шеховцову 6 февраля 1942 г. (Водоканал Ленинграда. 1941–1945. Водоснабжение и канализация Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1995. С. 234).

<sup>109</sup> Даже осенью 1942 г. на заводе им. Егорова педикулез был обнаружен у 25–30 % рабочих (*Капитонова В.М.* Дневник. 22 сентября 1942 г.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 55. Л. 6).

<sup>110</sup> *Коган Л.Р.* Дневник. 1 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1035. Д. 1. Л. 1; В те дни. Ленинградский альбом. Текст Николая Тихонова. М.; Л., 1946. С. 26.

<sup>111</sup> *Кулявко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 1 (Запись 17 сентября 1941 г.).

<sup>112</sup> «Не могу расстаться с валенками и зимним пальто», – записывал в дневнике 15 мая 1942 г. Н.В. Баженов (*Баженов Н.В.* О том, как они умирали... (Из записной книжки): ОПИ НГМ. Оп. 2. Д. 440. Л. 14). Г. Гоппе рассказывал в 1945 г. знакомый о том, что «до сих пор холод из себя не выгнать». На вопрос о том, что страшнее – голод или холод – он отвечал: «Холод... к нему привыкнуть нельзя» (*Гонне Г.* Маршруты одного путешествия // Дети города-героя. Л., 1974. С. 77). См. также: Д.И. Митрохин – П.Д. Этингеру. 20 мая 1942 г. // Книга о Митрохине. Статьи. Письма. Воспоминания. М., 1986. С. 195; Алиментарная дистрофия в заблокированном Ленинграде. С. 130.

<sup>113</sup> См. рассказ А.С. Саванина об одной из работниц Госбанка: «...Ходила исключительно грязная, закопченная и в таком одеянии, что до войны, кажется, ни у кого такого и не было! Откуда-то были вытащены лохмотья, закопченные, замусоленные и все одето на себя» (*Саванин А.С.* Ленинградская городская контора Госбанка в годы войны // Доживем ли мы до тишины. С. 226); Стенограмму сообщения М.И. Скворцова: «Люди приходили к нам в партком, опираясь на палочки. Они были страшно истощены, грязны, замотаны в тряпки»: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 110. Л. 10. Из дневников Г.А. Князева С. 53 (Запись 7 февраля 1942 г.); см. также *Соловьева О.* Воспоминания о пережитой блокаде юной защитницы города Ленинграда (1941–1945 годы): ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 25. Л. 5; *Гаврилина Н.Е.* Воспоминания о блокаде: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 150. Л. 6; *Осипова Н.П.* Дневник. 5 декабря 1941 г.: Там же. Д. 93. Л. 16; Стенограмма сообщения Усова С.В.: Там же. Д. 131. Л. 39 об.

<sup>114</sup> *Вечтомова Е.* Вопреки всему. Из ленинградских блокадных записей // Литературное наследство. Т. 78. Кн. 2. М., 1966. С. 246; см. также: Воспоминания об Ольге Берггольц. Л., 1977. С. 256; *Лихачев Д. С.* Воспоминания. С. 473.



шим черепом над личиком в кулачок»<sup>115</sup>. Медленность в поглощении еды – не только от истощения, но и от жгучей потребности продолжить миг насыщения до бесконечности, в надежде, что это ежеминутное, ломающее все и вся чувство голода отступит. В жестах и мимике человека, поедающего хлеб, есть и ощущение страха от того, что он может лишиться своего крохотного кусочка. Есть и сосредоточенность только на этом кусочке, отрешенность от «мира» и от других людей. И есть «прислушивание» к себе, стремление удостовериться, что голод проходит. И есть болезненное ощущение от сдерживания себя – каким искушением являлось это желание съесть хлеб сразу и целиком! В артистическом действе Б. Бабочкина, рассказавшего своим друзьям о поездке в осажденный город, некоторые из этих деталей выявлены очень рельефно: «Мимическая сцена – как едят хлеб в Ленинграде: закрывает ломтик, оглядывается, отламывает кусочек с ноготок, – и его еще раз пополам, кладет в рот, откидывается на стуле и с неподвижным лицом ждет, когда крошка растает во рту... И опять к куску»<sup>116</sup>.

М.В. Машкова с отвращением писала об одном знакомом архитекторе, который делил хлеб на 50 кусочков, складывал их в две коробки, по коробочкам рассыпал мизерными порциями сахар, «мельчил» и другие продукты. «Хлеб не просто съедается, а предварительно по кусочкам раскладывается в шахматном и ином порядке», – узнав об этом, муж Машковой даже перестал делить хлеб на маленькие части<sup>117</sup>. Его можно было понять, но такие действия едва ли стоит оценивать только как патологические.

Каждый спасался как мог. Кто-то, разделив паек, обычно съедал его утром, днем и вечером, но для кого-то четырехчасовое ожидание обеда или ужина оказывалось непереносимым. Поделить на 50 кусочков – и терпеть придется только 15–20 минут. Пусть эти дозы микроскопические и не утолят они голода, но остается, хотя нередко и иллюзорная, надежда на то, что страдания удастся уменьшить. Раскладывание по коробкам – это средство сдерживания себя, и пожалуй даже, самоуспокоения: глядя на быстрое исчезновение кусочков в первой коробочке, можно утешать себя тем, что другая коробочка еще полна. И строгий «архитектурный» порядок расположения хлебных кусочков тоже можно объяснить как нечто, помогающее преодолевать искушение съесть все сразу. Другое дело, что эти манипуляции могут впоследствии усложняться, утрачивая первоначальные цели. В таких действиях человек приобретает психологическую устойчивость, но отдаляется от других людей. Им кажутся непонятными и иррациональными эти ритуалы и они оценивают их как начало деградации.

«Сейчас кажется, что никогда не будешь сыт. Такое чувство тяжелое, даже страшное, а страшное потому, что всего страшней это усиление еще большего голода», – отмечалось в одном из блокадных дневников<sup>118</sup>. Этот страх заставлял не только делить хлеб на десятки частиц и прятать сахар щепотками в коробочки. Некоторые блокадники, даже являясь крайне истощенными, готовы были копить хлеб и другие продукты, отрывая их от своего скудного пайка, сберегать деньги, позволявшие в будущем подкормиться на «черном рынке». Так, у одного из рабочих нашли после его смерти 3000 рублей и килограмм сахара, у другого – 1500 рублей. Домашние припасы обнаружили и у погибшего от дистрофии в декабре 1941 г. сотрудника Публичной библиотеки. Такие люди вызывали не только недоумение, но и презрение, особенно когда выяснялось, что кто-то из них «слезно просил... помочь с едой», а кто-то и «просил по крошке»<sup>119</sup>.

<sup>115</sup> Зеленская ИД. Дневник. 15 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 69.

<sup>116</sup> Иванов В.С. Дневники. М., 2001. С. 204.

<sup>117</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 26 (Запись 10 марта 1942 г.).

<sup>118</sup> Лепкович А. Дневник. 15 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 8 об.

<sup>119</sup> Кок Г.М. Дневник. 22–25 декабря 1941 г.: Там же. Д. 48. Л. 22 об.; Воспоминания Н.И. Заказновой. Цит. по: Чурсин

«Голод тем и страшен, что нередко хороших людей искажает», – так оценивала поступок библиотекаря его сослуживица<sup>120</sup>, но этим умершим людям было не до приличий. Наверное, они понимали, что так поступать нельзя, что могут умереть, но еще более чудовищным являлось то, что выворачивало наизнанку человека, заставляло его кричать, не давало ему успокоиться ни на минуту.

И возможно, чувствовали, что это нельзя будет вытерпеть, если не знать, что где-то есть припрятанные продукты и деньги, которыми в последнюю минуту, когда страдания станут невыносимыми, можно спастись.

## 7

Стала изменяться и культура еды. Особенно на это обращали внимание в столовых, куда ходили самые истощенные. Тарелки здесь вылизываются до блеска. Никто и не стесняется – рядом люди ведут себя так же<sup>121</sup>. Даже тут, на виду у всех, иногда едят невымытыми, закопченными руками – воды очень мало и ее трудно согреть. Еще в сентябре 1941 г. стали замечать, что в некоторых столовых отсутствуют ложки и вилки. М.С. Коноплева с раздражением писала в дневнике в это время о том, как «быстро докатились» столовые до уровня 1919-1920-х гг.: «Та же хорошо знакомая вобла, то же отсутствие приборов и та же раздраженная, жадная толпа»<sup>122</sup>. Есть ей пришлось стоя, поскольку все места были заняты: «Вилки в буфете не нашлось, я ела ложкой и суп и воблу, помогая, конечно, хлебом и рукой»<sup>123</sup>. Позднее это стало обычным. Так, в одном из официозных отчетов говорилось о Приморской фабрике-кухне и столовой № 1 Приморского района, где «часть столующихся пищу поедает тут же, без помощи ложек или вилок»<sup>124</sup> – ждать голодные люди не могли. И.И. Жилинский писал в дневнике 18 января 1942 г. о том, что из-за отсутствия ложек «многие суп – водичку едят через край или лакают»<sup>125</sup>.

В информационной сводке оргинструкторского отдела Ленинградского горкома ВКП(б) 26 марта 1942 г. приводятся и примеры работы таких столовых, которые отличались чистотой и уютом, вежливым отношением официантов к посетителям. Но чаще говорится о других столовых. Отмечалось, что в двух залах Кировской фабрики-кухни «царят хаос, беспорядок и антисанитария. Обеды выдаются зачастую в грязную посуду самих столующихся, обедают стоя за грязными столами, в залах холодно, грязно, обслуживающий персонал в грязных халатах, а у некоторых – черные от грязи руки и шея»<sup>126</sup>. В этом же документе имеются сведения о столовых Куйбышевского и Октябрьского районов. Везде одна и та же знакомая нам картина: «Некогда культурная столовая „Метрополь“... превращена в грязную харчевню. Все работники носят грязные халаты, особенно отличается руководящий повар, у которого за поясом висит грязная тряпка вместо полотенца... Столовая № 12 того же Куй-

---

В.Д. Указ. соч. С. 130.

<sup>120</sup> Чурсин В.Д. Указ. соч. С. 130.

<sup>121</sup> См. дневник А.С. Никольского: «Нравы голодные. Например: ходит обедать... один пожилой в сединах ученый. Он облизывает тарелки несколько раз. Другой помоложе, попроще одетый в шапке с ушами, в варежках, которые загадочно не снимал, взял с подноса, поданного официанткой, тарелку с супом. Она скользнула в руке, вернее в варежке и часть супа пролилась, на составленные стопкой использованные тарелки. Он не растерялся... Ничего не отвечая на упреки официанта, поставил тарелку на стол, слил с других тарелок пролившийся с них суп к себе, в тарелку, и стал есть» (Никольский А.С. Дневник. 2 января 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 901. Л. 28).

<sup>122</sup> Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 8 сентября 1941 г. ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 66.

<sup>123</sup> Там же.

<sup>124</sup> Из докладной записки бригады по обследованию работы Главного управления ленинградских столовых и кафе горкому ВКП(б). Март 1942 г. // 900 героических дней. С. 267.

<sup>125</sup> Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 7.

<sup>126</sup> ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 69.

бышевского района... Здесь, например, студень и сыр отпускаются грязными руками, а суп наливается в грязные консервные банки прямо над котлом... Столовая № 18 Октябрьского треста столовых... В помещении стоит невероятный дым (плита неисправна), от потолка и стен буквально течет вода, за окном у самой раздачи – свалка нечистот»<sup>127</sup>.

Чувство брезгливости, притуплявшее в человеке животное начало, в блокадное время неминуемо должно было исчезнуть, иначе никто бы не выжил. Об этом писали многие. Волна воспоминаний – без патетики и извинений. И. Меттер вспоминал, как повар госпиталя из-за отсутствия посуды налил кашу его брату, мойщику, в калошу<sup>128</sup>. Р. Мал ков а вспоминала, как головы селедок, полученные ею с военной кухни, оказались в густой черной саже и золе. Воды не было: «А есть так хочется. Терпения нет, и ели как пришлось»<sup>129</sup>. А.П. Бондаренко вспоминала, как военнослужащие разрешили ей взять ящик с очистками, окурками и обгоревшими спичками<sup>130</sup>. Такие случаи, может, и не являлись частыми – но излишне говорить, чтобы кто-то пренебрег хлебом, упавшим в грязь, или кашей, если не хватало посуды.

В пищу шло все: столярный и обойный клей, олифа, дуранда (жмыхи), отруби, ремни из свиной кожи, гнилые, почерневшие капустные листья («хряпа»), желуди<sup>131</sup>. Ели листья комнатных цветов и свечи<sup>132</sup>. Промывание «сладкой» земли на месте сгоревших Бадаевских складов стало обыкновением – копали ее сами или покупали на рынке<sup>133</sup>. Существовала даже особая такса: верхний слой этой земли, наиболее насыщенный сахаром (глубиной до 1 м) стоил 100 рублей, нижний – 50 рублей<sup>134</sup>.

Брезгливость исчезала быстро – притерпелись и к запаху, и к вкусу этих машинных масел, костяных пуговиц, клея, вазелина для смазки деталей. «...Получил жир технический. Он грязен и вонючий, но теперь ему очень рад, и он выручает» – последнее было главным не только для В.Ф. Черкизова, сделавшего в дневнике такую запись<sup>135</sup>, но и для сотен других горожан. Когда в июне 1942 г. строжайше запретили выдавать суррогаты (промышленное сырье) для питания, то выяснилось, что на заводе им. Жданова «рабочие настолько к ним привыкли, что остановить их было трудно»<sup>136</sup>.

«Сколько бы ни ели, все было мало», – заметил тогда один из руководителей завода<sup>137</sup>. Именно весной 1942 г., несмотря на увеличение норм пайка, ощущение голода для многих блокадников стало непереносимым. Месяцы недоедания ударили по ним страшным бумерангом. Некоторые были готовы теперь есть все, невзирая на брезгливость, и разыгрывались сцены, которые показались бы непривычными даже в декабре 1941 г. А.С. Уманская обратила внимание, как в мае 1942 г. одна из женщин, уходя из магазина, не удержалась и здесь

<sup>127</sup> Там же. Л. 72.

<sup>128</sup> Меттер И. Допрос. СПб., 1998. С. 51.

<sup>129</sup> Махов Ф. «Блок-ада» Риты Малковой // Нева. 2005. № 9. С. 221.

<sup>130</sup> Бондаренко А.П. О блокаде: Архив семьи П.К. Бондаренко.

<sup>131</sup> Меттер И. Избранное. С. 107; Борисова Л.Г. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 56; Кочетов В. Улицы и траншеи. Записи военных лет. М., 1984. С. 324; Трудное время детства. Воспоминания Галины Казимировны Василевской // Испытание. С. 165.

<sup>132</sup> Разумовский Л. Дети блокады // Нева. 1999. № 1. С. 30, 60.

<sup>133</sup> «Бойкая молодая баба с двумя девчуну[шка]ми (одна кассир, другая для рекламы: «ой покупайте, как вкусно, только переварить») без перерыва отпускали из огромного ведра баночки» (Кок Г.М. Дневник. 19–21 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 48. Л. 1); см. также: Соколов А.М. Битва за Ленинград и ее значение в Великой Отечественной войне. С. 98; Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 29 октября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 153; Байков В. Память блокадного подростка. С. 62; Воспоминания Анатолия Клавдиевича Лифорова // Испытание. С. 152.

<sup>134</sup> Берггольц О. Встреча. СПб., 2003. С. 170.

<sup>135</sup> Черкизов В.Ф. Дневник блокадного времени. С. 46 (24 января 1942 г.).

<sup>136</sup> Сеничев П.И. Ленинградский судостроительный завод им. А. Жданова в 1941–1943 гг. // «Я не сдамся до последнего...». Записки из блокадного Ленинграда. СПб., 2010. С. 163.

<sup>137</sup> Там же.

же начала есть «только что выданную селедку»<sup>138</sup> – но то ли еще видели весной 1942 г. Вот рассказ заводской работницы, посланной расчищать помойку в марте 1942 г.: «Сняли два или три мертвых тела, слой нечистот и под всем этим нашли довоенную картофельную шелуху, вмерзнувшую в лед, и съели ее тут же, разделив между собой»<sup>139</sup>.

Случай кажется неправдоподобным, если бы мы не узнавали из иных блокадных описаний о тех же трупах во дворах и на помойках, залитых нечистотами<sup>140</sup>, о том, как неудержимо съедалось тут же, на месте, все, что считалось съедобным: стоило лишь попробовать и не могли остановиться. Еще более страшное свидетельство об унижении, пережитом голодными людьми, мы обнаруживаем в дневнике Э. Левиной – и также в записи, датированной апрелем 1942 г.<sup>141</sup> Но и ранее не брезговали ничем, пытаясь хоть как-то утолить чувство голода. Об этом подробно и откровенно написано в воспоминаниях 12-летней Риты Малковой. Ее рассказ о том, как она «дежурила» у столовой госпиталя – одно из самых горьких свидетельств о блокаде. Очистки, вынесенные из кухни, они с матерью добавляли к соевому кефиру и «черной хряпке»: «А когда ничего нет, то сидим с мамой голодные... А когда выбросят еще до прихода мамы, то я не иду ее встречать... сижу и собираю разные отбросы»<sup>142</sup>.

Возвращаясь с работы, мать сразу, не заходя домой, шла к помойке. Так и спаслись они в первую военную зиму. Туда приходили и другие люди, столь же голодные: «И когда выносили из столовой бак или ящик с капустными листьями, то все даже дрались и ругались, каждый хотел, чтобы ему дали»<sup>143</sup>. Память выхватывает из прошлого фрагменты разных блокадных историй, неожиданно обрывая их, делая их предельно простыми. Они не связаны между собой, но отмечают всегда одно – безысходность. У них есть ответвления, но в этом и особая их ценность. Только так, узнавая о всех деталях блокадного быта, мы можем почувствовать это страшное время, эти страдания затерянных на блокадном дне людей. Обессиленным, не ждущим ни от кого помощи, им не оставалось выбора, и они шли на все, чтобы выжить: «Но вот один раз, в воскресенье, мама была выходная и сидела дома, все прибирала. А я пошла дежурить около столовой, чтобы перехватить бак. В воскресенье все хорошее выбрасывали. И вот вынесли бак, я его схватила, а он тяжелый. Я его волоку по земле. Но вот больше не хватает сил и я стала кричать в окно маме. Мама прибежала»<sup>144</sup>.

Она поправила свой рассказ через 60 лет: «Нет, неправильно я тогда написала. Мама не могла, конечно, бегать. Она едва ходила. Держалась за стенку дома. Иногда падала. Помню, один раз упала прямо в лужу и у меня не было сил ее поднять. „Дяденька! Тетенька! Помогите поднять маму“, – просила я прохожих»<sup>145</sup>.

<sup>138</sup> Уманская А.С. Дневник. 19 мая. 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 72. Л. 31.

<sup>139</sup> Рассказ блокадницы, выступавшей в школе в 1979 г., был записан О. Гречиной (*Гречина О.* Спасаясь спасая. С. 240). Примечательно его продолжение: «Ела не только торф, а и сырые головы от рыб, которые приносила ей из кухни ее подруга – уборщица» (Там же). См. также дневник А.Т. Кедрова: «...В домохозяйстве во двор с верхнего этажи был сброшен труп, на который затем жители сливали нечистоты» (*Кедров А.Т.* Дневник. 16 февраля 1942 г.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 59. Л. 119).

<sup>140</sup> Одно из таких описаний мы встречаем в дневнике И.И. Жилинского: «На Дибуновской ул. у помойной ямы лежит женщина, и у ног ее ребенок...» (*Жилинский И.И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 8. С. 12 (Запись 10 марта 1942 г.)).

<sup>141</sup> *Левина Э.Г.* Дневник // Человек в блокаде. С. 164 (Запись 1 апреля 1942 г.).

<sup>142</sup> *Махов Ф.* «Блок-ада» Риты Малковой. С. 226. Ср. с записью в дневнике А.Ф. Евдокимова: «Выходя из... столовой, я споткнулся в коридоре на сидевшего старика. Он бессильно полулежал у стены и, выбирая из помойного бачка грязные конские кости, с волчьей завистью грыз их дряхлыми зубами» (*Евдокимов А.Ф.* Дневник. 5 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 р. Д. 30. Л. 75).

<sup>143</sup> *Махов Ф.* «Блок-ада» Риты Малковой. С. 226.

<sup>144</sup> Там же.

<sup>145</sup> Там же. С. 227.

## 8

Стояние у кухонь в ожидании каких-либо остатков съестного наблюдалось и в других местах. Так, лечившийся в госпитале Г. Юрмин описал очередь у столовой военторга. В ней находились вольнонаемные на военной службе: от слесарей-водопроводчиков до уборщиц. Все истощены до крайности, все с тарелками в руках, все в белых халатах – возможно, боялись, что их выгонят как не имеющих отношения к госпиталю. Г. Юрмин пишет, что у всех из них дома оставались опухшие и отекавшие родные и близкие – вероятно, здесь же рассказывали о своих семейных бедах, ожидая встретить сочувствие. Не до приличий, некого стыдиться – все такие же голодные. Все терпеливо ждут: «Каждый рассчитывает, что хоть какая-то малость ему все же перепадает. О полноценной порции никто и думать не смел, а вот на остаточки с тарелок рассчитывали все»<sup>146</sup>.

Кто-то пройдя через унижения, мог все же в столовых – военных, заводских, учреждений, академических – получить какую-то «добавку». Другим это не удавалось. Не имея сил терпеть голод и потеряв надежду вымолить хоть что-то, они должны были унижаться еще сильнее, здесь же, на глазах у всех облизывая чужие тарелки<sup>147</sup>.

И.Д. Зеленская, работавшая в столовой на электростанции, видела таких унижающихся каждый день. Отличительная их примета – какая-то безропотность умирания. Не обижаются, не ищут виновных, не жалуются, принимают смерть как неизбежность. Сопротивление ей – скорее инстинктивное, чем осознанное. «Какая страшная вереница погибших перед глазами», – вспоминала она в июле 1942 г. – «... Мальчик Зеленков... Как он прилипал к столовой загородке, не в силах отойти от зрелища еды, которой он не мог получить... Старый Фролов, вымаливающий второй „супчик“»<sup>148</sup>.

Она пишет и о другом рабочем. Тот грубо и требовательно вел себя в столовой. Вскоре он потерял «карточки» и документы. Она встречала его здесь же, «такого пришибленного, даже сгорбившегося, деликатно благодарящего за одинокую тарелку бескарточного супа, которую мы ему отрываем и за кусочек хлеба из добавочного пайка»<sup>149</sup>. И.Д. Зеленская, возможно, готова была увидеть у него проявление раскаяния, но чувствуется, что и в нем что-то сломалось.

Кроткие, какие-то неестественно ласковые, покорно выслушивающие упреки – такими становились некоторые блокадники после многодневной голодовки. «Дойти я, конечно, не могу. Кисулька повезет меня на санях. Это очень унижительно, но ничего не поделаешь, хочешь жить, не смотри на это... Киса... не дает ничего в руки, чтобы я не тратил оставшихся еще сил. Меня это очень угнетает, но я ничего поделать не могу. Я в ее власти, она знает, что делать со мной и что мне лучше» – это запись технолога-нормировщика Н.В. Фролова о том, что ему пришлось пережить в начале февраля 1942 г.<sup>150</sup> Когда М.К. Тихонова (жена поэта) увидела в апреле 1942 г., как люди плакали, встречая первый трамвай и уступали место в нем, то почувствовала в этом что-то «дистрофическое»<sup>151</sup>. Бороться, добиваться чего-то, постоять за себя сил не было. Оставалась одна надежда – на жалость других людей. Только бы не

<sup>146</sup> Юрмин Г. Санкт-Ленинград // Нева. 2004. № 1. С. 254; см. также дневник И.Д. Зеленской: «Каждый вечер в столовой выстраиваются очереди за остатками» (Зеленская И.Д. Дневник. 3 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 37 об).

<sup>147</sup> Намочилин И.С. Дневник. 19 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 79. Л. 22 об.; Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 461; Гречанина О. Спасаясь спасая. С. 240.

<sup>148</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 23 июля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 92 об.

<sup>149</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 12 декабря 1941 г.: Там же. Л. 42 об.

<sup>150</sup> Фролов Н.В. 1–3 февраля 1942 года // Краеведческие записки. Исследования и материалы. СПб., 2000. С. 321–322. «Кисулькой» называет Н.В. Фролов свою жену.

<sup>151</sup> Фадеев А. Ленинград в дни блокады (Из дневника). С. 118.

отказали в куске хлеба, в полене дров, не оттеснили бы от печки, не отобрали «карточки», не выгнали из дома. Они, и еле двигаясь от недоедания, старались казаться не лишними, пытались отблагодарить хоть чем-то. Этих людей, готовых прибиться к любому очагу, даже ничего не просящих, видели в то время многие. Н. Ерохина описывала одного из них, который, будучи самым слабым, не разрешал никому выносить ведра: «Стал стариком, с лихорадочными глазами истощенного, худой... говорит в нос. Такой покорный, виноватый... стал чувствительный такой, сентиментальный. Даже несколько раз готов был прослезиться»<sup>152</sup>.

Видеть в этом лишь нравственное «просветление» трудно: интерес нередко сохраняется только к еде, утрачивается воля к сопротивлению. Чем пристальнее вглядывались блокадники в лица таких людей и придирчивее оценивали их поступки, тем отчетливее обнаруживали у них признаки распада – физиологические, духовные и социальные. «Эта кротость, как мы уяснили потом, была действительно началом смерти. Как раз в этом состоянии человек начинал все говорить с употреблением суффикса „ика“ и „ца“: кусочек „хлебца“, „корочка“ и „водичка“ и становился безгранично вежливым и тихим». Это признание О. Берггольца, одной из самых чутких и беспристрастных летописцев блокады<sup>153</sup>.

Так происходило изменение всех форм цивилизации – разрушение одной из них обусловливало и исчезновение других. Выстоять удавалось не всем. В распаде человека в «смертное время» есть что-то неизбежное. Сама цепочка причин и следствий, итогом которой была деграция людей, выглядит неумолимо логичной<sup>154</sup>. Кто мог поделиться хлебом и кашей? Человек, готовый идти на любые унижения, чтобы их получить? Прячущий запасы еды, но выпрашивающий ее у других? Разорвавший связи с близкими людьми, замкнутый и безразличный к чужим страданиям? Опустившийся, утративший представление о стыде и достоинстве, движимый лишь животными чувствами?

Люди не сразу становились такими. Но изучая любую историю блокадной смерти, нельзя не заметить последовательность проявления одинаковых для всех признаков распада – даже у самых стойких. Блокадный человек подтачивался и с ошеломляющей быстротой и постепенно, исподволь – все зависело и от его жизненных условий, часто менявшихся, и от присущей ему силы сопротивления.

## Признаки распада нравственных норм

### 1

Самыми характерными приметами распада нравственных норм в «смертное время» являлись обман, воровство, грабеж и мародерство. Чаще всего обманывали на импровизированных рынках<sup>155</sup>. Схема обмана была традиционной: предлагались на продажу или обмен суррогаты, по внешнему виду похожие на натуральные продукты. Так, вместо конфет могли продать мастику, вместо масла олифу, вместо манной крупы – «состав, из которого делался

<sup>152</sup> Ерохина (Клишевич) Н.Н. Дневник. 15 июня 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 л. Д. 490. Л. 35–36.

<sup>153</sup> Берггольц О. Встреча. С. 162.

<sup>154</sup> См. запись З.А. Игнатович о главном бухгалтере лаборатории, в которой она работала: «Нас, всех сотрудников поражающей какой-то исключительной культурностью и большой деликатностью, которые как-то даже не вязались с его должностью... Быстро худел и как-то сразу невероятно опустился: перестал за собой следить, не причесывался, не мылся и ходил как потерянный... За стол садился раньше всех и ждал с нетерпением этой раздачи [питательного порошка. – С. Я.]. Свою порцию он моментально съел в сухом виде и продолжал с каким-то лихорадочным взглядом следить за окончанием раздачи, буквально впившись в банку с порошком и слезно умолял: „... дайте пожалуйста мне облизать ложку“» (Игнатович З.А. Очерки о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 26. Л. 33).

<sup>155</sup> Интервью с А.Н. Цамутали // Нестор. 2003. № 6. С. 263; Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 18 (запись 30 декабря 1941 г.).

клей»; «химический продукт», по выражению одного из блокадников, был, собственно главным объектом этих мошеннических операций<sup>156</sup>. Впрочем, варианты могли быть самыми неожиданными – о них сообщалось даже в сводке германской службы СД, составленной весной 1942 г.<sup>157</sup>.

Были и более запутанные и драматические истории. В. Инбер рассказывала, как одна «аферистка», выследив мать и дочь в очереди, познакомилась с ними, «втерлась в доверие» и обещала устроить дочь судомойкой в военном госпитале: «Взяла у девочки обе карточки, ее и матери, за весь месяц и сорок пять рублей денег, взятые матерью у кого-то взаймы. Все это якобы для выкупа продуктов. И тут же в темноте исчезла»<sup>158</sup>. Это, видимо, было последнее, что они имели<sup>159</sup>, и «аферистка», выманивая и жалкие по тогдашним рыночным меркам 45 рублей, несомненно знала об этом.

Существовали и более «легальные» приемы обмана, например, обвешивание в булочных и магазинах. Продавцам быстрее удавалось обмануть покупателей, когда хлеб выдавался сразу по нескольким карточкам и хищение его было не так заметно<sup>160</sup>.

В. Базанова, не раз обличавшая в своем дневнике махинации продавцов<sup>161</sup>, подчеркивала, что и ее домработницу, получавшую в день 125 г хлеба, «все время обвешивают грамм на 40, а то и на 80»<sup>162</sup> – она обычно выкупала хлеб для всей семьи<sup>163</sup>. Продавцам удавалось и незаметно, пользуясь слабой освещенностью магазинов и полуобморочным состоянием многих блокадников, вырывать из «карточек» при передаче хлеба большее количество талонов, чем это полагалось. Поймать в таком случае за руку их было сложно<sup>164</sup>.

В чем-то схожими были манипуляции с «карточками» в больницах и госпиталях. Они обнаруживают столь же простую схему обмана. Так, В.В. Враская, забрав дочь из больницы «в самом заморенном виде» 6 ноября 1941 г., увидела, что из ее «карточки» (она сдавала ее врачам, пока ребенок лечился) вырвали «праздничный» талон для детей за 7 ноября. В.В. Враская добилась справедливости, только дойдя до главного врача<sup>165</sup>. Воровство в больничных учреждениях видимо было явлением распространенным. Недаром так сильно желали

<sup>156</sup> Интервью с С.П. Сухоруковой // Нестор. 2003. № 6. С. 177; Ковальчук В.М. 900 дней блокады. С. 74; Стругацкий А. Дневник. С. 34 (Запись 27 декабря 1941 г.).

<sup>157</sup> Выдержка из доклада СД об обстановке весной 1942 года // Звезда. 2005. № 9. С. 182.

<sup>158</sup> Инбер В. Почти три года. С. 191 (Дневниковая запись 3 февраля 1942 г.).

<sup>159</sup> «Мать раздирающим... голосом все повторяла: „Люля, Люля, что ты со мной сделала! Ты меня живую в гроб уложила!“ А Люля, судорожно прижимая муфточку к груди, глядя в одну точку, шептала: „Какая ночь предстоит!“ (Там же).

<sup>160</sup> См.: Змитриченко А.О. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 93.

<sup>161</sup> Базанова В. Вчера было девять тревог... С. 128 (Дневниковая запись 5 ноября 1941 г.).

<sup>162</sup> Там же. С. 129 (Дневниковая запись 8 декабря 1941 г.); о фактах обвешивания покупателей и последующем обмене похищенного хлеба на антикварные вещи см.: Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. Л. 1985. С. 174. В информационной справке, составленной Приморским РК ВЛКСМ, отмечалось, что комсомольские контрольные посты обнаружили «ряд недовесов 5-10 гр. в магазинах № 6, 50, 56» (Информация Приморского РК ВЛКСМ Ленинградскому ГК ВЛКСМ. 15 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. К-118. Оп. 1. Д. 78. Л. 5).

<sup>163</sup> Ср. с записью в дневнике И.И. Жилинского: «В магазине нас... 2-й раз обвесили на хлебе: первый раз меня на 102 гр., а теперь Олю на 133 гр.» (Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 27 (Запись 16 января 1942 г.); см. также запись 18 января 1942 г. (Там же. № 7. С. 7).

<sup>164</sup> См. дневник А.И. Винокурова: «Нередко какая-нибудь женщина целый час стоит в очереди и, передав продавцу карточку, узнает, что продовольствие по ней... получено. Обычно в таких случаях начинается плач или поднимается крепкая ругань, сопровождаемая взаимными оскорблениями... Продавщица стремится уверить, что талоны израсходованы покупательницей или ее родственницей в какой-нибудь столовой» (Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 254 (Запись 17 марта 1942 г.)).

<sup>165</sup> Враская В.В. Воспоминания о быте гражданском в военное время: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 17. См. также воспоминания М.Н. Фетинг о том, как жил ее ребенок в детском саду: «Когда мой сын заболел, его положили в изолятор, в котором полагалось усиленное питание... Когда я его навестила через несколько дней, я увидела, что он не стоит... очень слаб. Я его спросила, что он кушал. Он ответил, что ему и другим детям в изоляторе доктор не разрешил давать еды. Я поняла, что... их паек съедала медицинская сестра!» (Воспоминания Марии Николаевны Фетинго войне и блокаде Ленинграда // Испытание. С. 125.

устроиться в них на любую должность и даже не скрывали тех выгод, которые это сулит в будущем. Во время проверки в феврале 1943 г. выяснилось, что в больницах им. Нахимсона и К. Либкнехта ежедневно «столуются» 6–8 медицинских работников. Схема махинаций была немудреной: своих «карточек» они не сдавали в столовую, а питались за счет больных<sup>166</sup>. Стоит предположить, что этот обычай возник не в феврале 1943 г., а ранее. Акты проверки госпиталя № 109 показал, что речь идет не о крохах хлеба и остатках с тарелок. Больные недополучили в декабре 1942 г. 22,7 % жиров, 49 % картофельной смеси, 9 % овощей, 50 % чая<sup>167</sup>.

Пытались «объедать» даже детей в ДПР (детских приемниках) и детдомах, хотя, возможно, такие случаи являлись единичными. Прямых свидетельств почти нет, а косвенные (они имеются, хотя их тоже немного)<sup>168</sup> не всегда являются надежными. Контроль здесь, очевидно, был более строгим. Как вспоминал Л. Ратнер, достаточно было детям поднять крик, увидев, как «старуха-воспитательница» для себя «с быстротой фокусника стала ложкой сбрасывать что-то с каждой тарелки»<sup>169</sup> – как ее уволили: быстро, без шума, без угроз отдать под трибунал и публикаций в газете о расстреле за воровство. В другом детдоме решили уволить воспитательницу, принятую на работу всего лишь три дня назад. До этого она, видимо, сильно голодала и не могла терпеть и поступать так, как иные опытные служащие детских домов: «...Разнося пищу детям, с подноса рукой взяла кашу и в углу ела»<sup>170</sup>. Примечательно, что во всех этих случаях «разоблачителями» выступали сами дети.

Хищения же в общественных и ведомственных столовых стали притчей во языцех<sup>171</sup>. С этим, похоже, отчасти примирились и руководители города. Говоря о том, что «в общественное питание идет столько народа работать, что отбоя нет», А.А. Кузнецов советовал воспользоваться этим, чтобы отбирать для работы здесь «самых лучших», не заметив, сколь двусмысленно обоснован этот призыв: «...Потому что вопрос питания очень острый»<sup>172</sup>. Даже в столовой Союза писателей и не в очень голодные времена (в сентябре 1941 г.) обнаружилась «панاما», по выражению Э. Голлербаха: «Отпускалось по 100 г хлеба и мясные продукты без карточек, между тем столовая отбирала у обедающих хлебные и мясные талоны»<sup>173</sup>. Воровали и в столовых для детей и подростков. В сентябре представители прокуратуры Ленинского района проверили бидоны с супом на кухне одной из школ. Выяснилось, что бидон с жидким супом был предназначен для детей, а с «обычным» супом – для преподавателей. В третьем бидоне был «суп как каша» – его владельцев найти не удалось<sup>174</sup>. И в столовой,

<sup>166</sup> Ленинград в осаде. Сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941–1944. СПб., 1995. С. 253.

<sup>167</sup> Там же.

<sup>168</sup> См. дневник Л.К. Заболотской: «Зина и Маруся (когда Маруся работала поваром в детдоме) приобрели много хороших вещей за хлеб, например, ручные часы за 1 кг хлеба» (*Заболотская Л.К.* Дневник // Человек в блокаде. С. 131).

<sup>169</sup> *Ратнер Л.* Вы живы в памяти моей. Воспоминания блокадного мальчика // Нева. 2002. № 9. С. 149.

<sup>170</sup> *Миронова А.Н.* Дневник. 3 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 61. Л. 12.

<sup>171</sup> Как подчеркивалось в информационной сводке оргинструкторского отдела Ленинградского горкома ВКП(б) 26 марта 1942 г., нарушения, в частности, были отмечены в столовой фабрики им. К. Цеткин («обманывались столующиеся, были случаи воровства») и столовой № 12 Кировского района («нередки случаи недовеса первых и вторых блюд»): ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 68.

<sup>172</sup> Протокол заседания Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) 10 апреля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 11.

<sup>173</sup> *Голлербах Э.* Из дневника 1941 года // Голоса из блокады. С. 185. О случаях обворовывания посетителей в столовых имеются и другие свидетельства (*Мансветова Н.В.* Воспоминания о моей работе в годы войны // Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков. СПб., 2006. С. 557; *Краков М.М.* Дневник. 5 мая 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 21).

<sup>174</sup> *Разумовский Л.* Дети блокады. С. 15.



где обслуживались учащиеся 62-го ремесленного училища, был тоже отмечен «ряд фактов обмера, обвеса в хлебе»<sup>175</sup>.

Обмануть в столовых было тем легче, что инструкция, определявшая порядок и нормы выхода готовой пищи, являлась весьма сложной и запутанной. Техника воровства на кухнях в общих чертах была описана в цитированной ранее докладной записке бригады по обследованию работы Главного управления ленинградских столовых и кафе: «Каша вязкой консистенции должна иметь привар 350, полужидкая – 510 %. Лишнее добавление воды, особенно при большой пропускной способности, проходит совершенно незаметно и позволяет работникам столовых, не обвешивая, оставлять себе продукты килограммами»<sup>176</sup>. Случаи обвешивания скрыть было труднее, но они также не являлись исключением – особенно в столовых школ и детсадов, не говоря уж о яслях. Официальные проверки, вероятно, обнаруживали лишь верхушку айсберга. Проводились они не каждый день, не всегда скрупулезно и далеко не во всех столовых. И, скажем прямо, бывало, что проверяющих кормили на тех же обследуемых ими кухнях. С этим злом бороться было тем сложнее, что многие, в том числе и люди, горячо протестовавшие против хищений, честные и порядочные, готовые помочь в беде другим, не всегда могли устоять перед соблазном получить лишнюю порцию еды. Один из них, например, пытался через знакомую работницу столовой приобрести съестное: «... Вчера было очень удачно. Я все же дипломат. Хотя не Литвинов, но...»<sup>177</sup> Другую блокадницу назначили заведующей стационаром, где питались «дистрофики»: «Может быть, что-нибудь выйдет в части подкормления», – записывает она в дневнике<sup>178</sup>. В семье педагогов решали как продержаться в трудное время: «План был такой. Мама, например, устроится, может быть, работать в детдом»<sup>179</sup>. И так было везде. Почти каждый был хотя бы однажды кем-то облагодетельствован – военными служащими, работниками столовых, госпиталей, больниц, партийных и комсомольских комитетов и государственных органов, детских учреждений, складов, пекарней, булочных, кондитерских и табачных фабрик.

Брали, не спрашивая себя, откуда это взялось – то оправдываясь, что еда нужна для детей и истощенных родных, а то и без всяких извинений, потому что не могли дальше терпеть голод.

## 2

Еще одним признаком размывания этики являлись грабежи квартир. Это облегчалось тем, что многие из них пустовали – их хозяева либо эвакуировались, либо все погибли. Грабежи, по свидетельству З.С. Лившиц, приняла «чудовищные размеры».

Грабили не только чужие квартиры. Случаи воровства отмечались и в общежитиях, институтах; один из рабочих, убиравших бомбоубежище, украл из находившегося там сейфа

<sup>175</sup> Информация Приморского РК ВЛКСМ Ленинградскому ГК ВЛКСМ. 15 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. К-118. Оп. 1. Д. 78. Л. 5.

<sup>176</sup> 900 героических дней. С. 267. «Многочисленные факты обвеса, повышения против стандарта влажности вторых блюд» отмечались и в постановлении Ленинградского горкома ВКП(б) 10 апреля 1942 г. (Протокол заседания Бюро Ленинградского горкома ВКП(б). 10 апреля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 35). См. также запись в дневнике М.М. Кракова о выдаче блюд в столовой «повышенного питания»: «Сытно, питательно. Вкусно! Но крадут – 15–20 %» (*Краков М.М. Дневник. 5 мая 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 21*); сообщение председателя Выборгского райисполкома А.Я. Тихонова о посещении стационара: «Придешь, спросишь – как кормят? Отвечают: „Ничего, да мало дают. Обворовывают“ и начинают рассказывать, что обвешивают, не додают столько-то граммов... Давали масло, так просили, чтобы эти 10 гр. масла давали кусочком на хлеб... потому что когда кладут это масло в каши, то обворовывают» (Стенограмма сообщения Тихонова А.Я.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 123. Л. 28 об.).

<sup>177</sup> ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 13 об.

<sup>178</sup> Цит. по: Будни подвига. С. 54.

<sup>179</sup> Дневник Миши Тихомирова. С. 57 (Запись 23 марта 1942 г.).

даже «неприкосновенный запас» детского сада – галеты<sup>180</sup>. О. Гречина вспоминала, как врач, выписывая рецепт для больной матери в соседней комнате, унес оттуда почти все леденцы<sup>181</sup>. Перечень похищенного имущества нередко определялся нищенским блокадным бытом. Воровали, конечно, и ценные вещи, и одежду, но чаще всего дрова<sup>182</sup>. Расхищали и личные библиотеки, иногда прямо на развалинах разбомбленных домов<sup>183</sup> – и не только для растопки печей, но также из-за возможности выгодно сбыть книги: спрос на них не исчезал даже во время блокады. Во время пожара в Гостином дворе задержали несколько десятков человек, у них отобрали одеколон, мыло, зубной порошок<sup>184</sup>. Воровали и те, кого посылали разбирать завалы, в частности, «ремесленники». «После этих раскопок один мальчик притащил галоши», – сообщал замполит школы ФЗО В.П. Былинский<sup>185</sup>. Это происходило у всех на виду – что же говорить о тех случаях, когда не удавалось проследить за каждым.

Расхитителями чужого имущества нередко считали управдомов (управхозов) и дворников<sup>186</sup>. Они печатали квартиры не только эвакуированных (и здесь было чем пожить)<sup>187</sup>, но и умерших – а вот в этих случаях можно было даже обогатиться.

В.М. Глинка с присущей ему пластичностью рассказал об одном из таких управдомов: «Это баба с ухватками и словарем кабака в это страшное время, в феврале 1942-го, несколько не похудела, а приобрела еще более начальствующий голос и стала, не стесняясь... никого, ругаться матом. Как-то, когда мне случилось быть свидетелем того, что она выносит из соседней, вымершей начисто квартиры чемоданы и узел, она бросила мне, очевидно, на всякий случай: „В кладовую несу, чтобы в собес сдать“. Квартиру печатали. Ни о каком собесе тогда и речи быть не могло»<sup>188</sup>.

Иногда, когда скрыть хищения в чужих квартирах было трудно, управдомы делились частью присвоенного имущества с другими жильцами, – тем больше была уверенность, что последние не скажут об этом властям<sup>189</sup>. Возможен был и другой вариант: соседи, обворовывавшие чужие квартиры, действовали при попустительстве, едва ли бескорыстно, управдомов<sup>190</sup>.

Еще одним источником наживы стало утаивание управдомами и дворниками сведений о смерти или эвакуации квартирантов. Это давало возможность получать по их «карточкам»

<sup>180</sup> Горышина Т. Ради жизни // Нева. 1999. № 1. С. 192; Зеленская И.Д. Дневник. 18 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 33 об.; Якушев В.И. Из воспоминаний о жизни в блокадном Ленинграде // Краеведческие записки. Исследования и материалы. Вып. 7. СПб., 2000. С. 295.

<sup>181</sup> Гречина О. Спасаясь спасая. С. 234.

<sup>182</sup> Хрусталева Н. Воспоминания о четырехлетней девочке // Нева. 1999. № 1. С. 205; Зеленская И.Д. Дневник. 23 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 56 об.; Кондакова Е.А. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 124; Лившиц З.С. Дневник. Цит. по: Будни подвига. С. 54 (Запись 22 марта 1942 г.). Одна из блокадниц рассказывала, как оберегала дрова, вынесенные из подвала: «Я побежала во двор, опасаясь, что на наши дрова найдутся желающие... Перетаскивать поленья по одному означало на какое-то время потерять остальные из виду. Оставалась одна возможность – передвигать всю кучу, перекачивая поленья» (Максимова Т. Воспоминания о ленинградской блокаде. С. 43).

<sup>183</sup> См. материалы архивных документов о приобретении ГПБ бесхозных библиотек (Публичная библиотека в годы войны. С. 289, 298, 300, 303, 307); письмо Н.К. Чуковского К.И. Чуковскому. 3 апреля 1942 г. (Чуковский Н. О том, что видел. М., 2005. С. 606).

<sup>184</sup> Стенограмма сообщения Короткова В.В.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 69. Л. 20.

<sup>185</sup> Стенограмма сообщения Былинского В.П.: Там же. Д. 22. Л. 5.

<sup>186</sup> На это обращал внимание, пользуясь данными статистических сводок начальник Управления милиции г. Ленинграда Е.С. Грушко (Стенограмма сообщения Грушко Е.С.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 34. Л. 9).

<sup>187</sup> См. воспоминания В.Г. Левиной: «Наша тетка, потерявшая площадь в нашей квартире и поселившаяся временно у нашей дворничихи, увидела у нее наши вещи» (Левина В.Г. Я помню... Заметки ленинградки. СПб., 2007. С. 91).

<sup>188</sup> Глинка В.М. Блокада // Звезда. 2005. № 1. С. 183. О краже дворниками вещей в опустевших квартирах см.: Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 456.

<sup>189</sup> См.: Память о блокаде. С. 110.

<sup>190</sup> См. комментарий З.С. Лившица, узнавшего о том, что соседи взламывают и обворовывают квартиры: «Все это происходит на глазах у управдомов, у которых рыльце солидно в пушку» (Лившиц З.С. Дневник. С. 54).

продукты для себя. Пользовались и «карточками» тех жильцов, которые, опасаясь наказаний, возвращали их сразу, как только наступала смерть их родных. Иногда управдомы, сговорившись с дворниками, даже получали «карточки» на вымышленных лиц<sup>191</sup>.

### 3

Обычной стала и кража продовольственных «карточек». Их замена на новые была обставлена громоздкими бюрократическими ритуалами, участвовать в которых истощенные люди часто не могли. Она сопровождалась унижительной проверкой и осуществлялась крайне медленно; о равноценной компенсации за утраченные «карточки» не было и речи. До выдачи новых документов редко кто доживал, если не было возможности еще где-то подкормиться.

Часто «карточки» воровали, пользуясь скоплением горожан – обычно в булочных, магазинах, лавках<sup>192</sup>. У некоторых похищали «карточки» не один раз<sup>193</sup> – возможно, высматривали в толпе наиболее изможденных, еле передвигавшихся людей. У одного из блокадников даже украли карточки, когда он упал в булочной в обморок<sup>194</sup>. При этом иногда действовали очень дерзко – как вспоминал Е.С. Коц, «вытаскивали чуть ли не на глазах... все карточки, мои, мамины... все столовые талоны»<sup>195</sup>. Воровали и продукты, особенно в трамваях, а также во время эвакуации, при посадке в вагон, когда в страшной давке нельзя было усмотреть за всей поклажей, вывозимой из дома<sup>196</sup>.

Признаком распада нравственных норм в «смертное время» стали нападения на бессиленых людей: у них отнимали и «карточки», и продукты<sup>197</sup>. Чаще всего это происходило в булочных и магазинах<sup>198</sup>, когда видели, что покупатель замешкался, перекладывая продукты с прилавка в сумку или пакеты, а «карточки» в карманы и рукавицы. Нападали грабители на людей и рядом с магазинами. Нередко голодные горожане выходили оттуда с хлебом в руке, отщипывая от него маленькие кусочки, и были поглощены только этим, не обращая внимания на возможные угрозы. Часто отнимали «довесок» к хлебу – его удавалось быстрее съесть<sup>199</sup>. Жертвами нападений являлись и дети. У них легче было отнять продукты<sup>200</sup>.

<sup>191</sup> Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. С. 207; Аверкиев И.А. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 489; Интервью с С.П. Сухоруковой. С. 178; Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 482, 484.

<sup>192</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 31 декабря 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 32 об.; Воспоминания Травкиной Зои Сергеевны о блокадном Ленинграде: НИА СПбИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 149. Л. 3; Воспоминания о блокаде Ленинграда Александры Ивановны Узиковой (Костиной) // Испытание. С. 31; Н.С. Блинова – В.Х. Вайнштейну: ОПИ НГМ. Р-20. Оп. 2. Д. 156. Л. 2.

<sup>193</sup> Ригина Т.Д. Карельское студенческое братство // Откуда берется мужество. С. 38.

<sup>194</sup> Глазюмицкая Е.М. Дневник секретаря парткома фабрики «Рабочий». Цит. по: Бочавер М.А. Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 92.

<sup>195</sup> Коц Е.С. Эпизоды, встречи, человеческие судьбы // Публичная библиотека в годы войны. С. 191.

<sup>196</sup> См.: Ильина И. От блокады до победы. С. 183; Терентьев-Катанский А. Неразорвавшийся снаряд // Нева. 2001. № 1. С. 216; Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. СПб., 2002. С. 170; Грязное Ф.А. Дневник. С. 119 (Запись 24 ноября 1941 г.); Грязное А.А. Дневник. С. 55, 68 (Записи 2, 17 декабря 1941 г.).

<sup>197</sup> См. записи в дневнике Н.П. Горшкова 5 января 1942 г. («грабители, пользуясь тьмою, вырывали хлеб из рук выходящих из булочной и скрывались в темноте») и 12 января 1942 г. («Все чаще случаи бандитизма – отнимают из рук хлебные и продуктовые карточки... пакеты у выходящих из булочных и магазинов») (Блокадный дневник Н.П. Горшкова. С. 55, 62). «Тьмой», по свидетельству Д.С. Лихачева, пользовались и грабители в столовой: «Коптилку внезапно тушили и воры хватили со стола... талончики и карточки» (Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 470); см. также: Кросс Б.Б. Воспоминания о Вове. История моей жизни. СПб., 2008. С. 50; Воспоминания о блокаде Ленинграда Александры Ивановны Узиковой (Костиной) // Испытание. С. 33; Загорская А.П. Дневник. 23 марта 1942 г.: НИА СПбИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 47. Л. 33.

<sup>198</sup> По свидетельству М.С. Коноплевы, «хулиганство дошло до того, что в булочные присылают вооруженную охрану» (Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 16 января 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 4). Такие случаи, видимо, были редки – о них молчат другие блокадники. Примечательно, что охрану в той булочной, где получала хлеб М.С. Коноплева, сняли на следующий день – «охранниками» была похищена буханка хлеба (Там же).

<sup>199</sup> См.: Давидсон А.Б. Первая блокадная зима. Воспоминания // Отечественная история и историческая мысль в России

Грабили иногда столь ловко и профессионально, похитители так внезапно появлялись и быстро исчезали, что можно усомниться, все ли из них являлись «дистрофиками». Отчасти это относится и к массовым грабежам. Какой-то элемент организации, пусть и примитивной, здесь, конечно, отрицать нельзя. Нужно было хотя бы на время сплотить разношерстную толпу, направить ее действия в определенное русло, придать им необходимую жесткость и смелость.

«На нашей машине в 6 часов утра вывозили хлеб с хлебозавода. При выезде из ворот в кузов машины прыгнуло пять человек... Григорьев [шофер. – С. Я.] остановил машину и, как он рассказывает, точно из-под земли выросла толпа человек в пятьдесят, которая набросилась на хлеб... Успели растащить около 100 кг хлеба», – записывала в дневнике 20 января 1942 г. И.Д. Зеленская.<sup>201</sup> По тому же, весьма простому сценарию, осуществлялись и другие массовые грабежи<sup>202</sup>. Вряд ли шофер мог скрупулезно пересчитать такое количество грабителей (да и не имел он для этого времени) и не исключено, что от него ждали соответствующих оправданий – но слаженность действий нападавших была налицо. Обычно же в коллективных ограблениях всегда проступают черты стихийных импровизаций. И не случайно почти все грабежи произошли в январе 1942 г., особенно в третьей его декаде. Тогда из-за аварий на трубопроводах (что, кстати, можно было предугадать) прекратилась подача воды на хлебозаводы и они остановились. Попрытавшиеся куда-то в эти дни (27–29 января 1942 г.) «ответственные работники» занимались спасением горожан лишь в той мере, чтобы не выглядело предельно наглым их бездействие во время беспримерной эпидемии массовых смертей.

«Часть хлеба потоптана ногами» – это случилось при разгроме «толпой народа» магазина № 8 Приморского райпищеторга (РПТ)<sup>203</sup>. Тогда похитили 50 кг хлеба; было арестовано 24 человека<sup>204</sup>. Где уж тут говорить об «организации» – этот «потоптанный» хлеб лучше прочих свидетельств воссоздает картину беспорядочного, эмоционального и импульсивного движения доведенных до отчаяния в бесконечных очередях голодных людей, возможно впервые за несколько месяцев державших в руках целую буханку хлеба. В разгромах магазинов № 97 Красногвардейского РПТ и № 12 Ленинского РПТ в январе 1942 г. стихийность заметна в самой последовательности действий разъяренной толпы – сломали прилавки, бросали кирпичи, ворвались в кладовую<sup>205</sup>. Это не те грабители, которые нападали на машины и в мгновение ока исчезали в темноте. Это те, кто, отстояв несколько часов в очереди на

XIX–XX веков. СПб., 2006. С. 544; *Воробьева Л.И.* Лунные ночи войны // Откуда берется мужество. С. 77; *Жилинский И.И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 26 (Запись 16 января 1942 г.).

<sup>200</sup> «Сегодня говорили о многих случаях кражи продуктовых и хлебных карточек у женщин и, в особенности, у малолетних, посланных матерями в булочную или магазин» (Блокадный дневник Н.П. Горшкова. С. 72 (Запись 4 февраля 1942 г.); «Сегодня на Знаменской улице... молодая женщина вырвала хлеб из рук мальчика лет десяти, который только что получил его в... булочной. Женщину задержали. Она мотивировала свой поступок необходимостью накормить своих голодных детей» (Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 247 (Запись 8 февраля 1942 г.)). К.А. Каратаева вспоминала, как в магазин она ходила вместе с сестрой, поскольку «хлеб могли вырвать мальчишки» (*Каратаева К.А.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 110); см. также: *Лисовская В.М.* [Запись воспоминаний] // Там же. С. 156.

<sup>201</sup> *Зеленская И.Д.* Дневник. 20 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 56.

<sup>202</sup> «За последние дни наблюдаются факты, когда отдельные граждане, собравшиеся группами, расхищают во время доставки его с хлебозаводов по булочным на санках и тележках» (Справка начальника городского управления милиции П.С. Попкову. 30 января 1942 г. // Ленинград в осаде. С. 420); «Вчера на Разъезжей ул. вечером в темноте с подводы на ходу было расхищено несколько ящиков с буханками хлеба нападавшими подростками, женщинами и мужчинами» (Блокадный дневник Н.П. Горшкова. С. 60 (Запись 15 января 1942 г.)). См. также *Левина Э.Г.* Дневник. С. 150 (Запись 27 января 1942 г.).

<sup>203</sup> Докладная записка начальника управления продорганов Ленинграда П.С. Попкову. 15 января 1942 г. // Ленинград в осаде. С. 419.

<sup>204</sup> Там же.

<sup>205</sup> Там же. См. воспоминания инженера В.И. Якушева о событиях конца января 1942 г.: «Незадолго до окончания рабочего дня привезли хлеб. Хватило не всем... Не получившие хлеба начали погром в булочной» (*Якушев В.И.* Из воспоминаний о жизни в блокадном Ленинграде. С. 295).

лютом морозе, возмущались, увидев пустой магазин, кто требовали выхода заведующих в зал и гневно встречали их объяснения, кто хотел проверить, не лгут ли они, и взламывал подсобные помещения, ища в них хлеб<sup>206</sup>.

#### 4

Не составляло особого труда взглянуть и в лица многих из тех, кто нападал на покупателей в булочных и магазинах. Истощенные, они не могли далеко уйти. Обычно это были дети и подростки<sup>207</sup>. Их родные или погибли, или не могли заботиться о них – а паек хлеба для детей и иждивенцев означал медленную смерть, если не было возможности что-то продать, обменять или выпросить. Они никому не были нужны. У них не имелось иного пути, как идти к булочным и магазинам. Кто-то просил милостыню, кто-то, отчаявшись ее получить и не имея сил больше терпеть, нападал на таких же истощенных прохожих.

Уйти, отняв хлеб, удавалось не всем. «Оба они бежали на ватных ногах» – такими увидел «парнишку лет пятнадцати» и ограбленную им пожилую женщину Л. Разумовский<sup>208</sup>. Свидетельницей другой сцены стала В.Б. Враская: «Я шла по Литейному и увидела, что... молодой парень выхватил у женщины кусок хлеба, который та несла в руке»<sup>209</sup>. В.Б. Враская заметила, как он торопился его съесть, поскольку «от побоев уйти он не был в состоянии»<sup>210</sup>.

Отнятый хлеб обычно съедали сразу<sup>211</sup>. Б. Капранов писал в дневнике в декабре 1941 г. о девушке, выхватившей хлеб в магазине:

«...Стала в углу жадно есть. Продавщица ее стала ругать и бить. Но она только и отвечала: „Я голодна, я хочу есть“»<sup>212</sup>. Другие очевидцы расправ никаких оправданий похищенных продукты не приводят. В жуткой сцене, когда кусок хлеба пытались вырвать из окровавленного рта, им было не до слов. Ни объяснений, ни извинений: крики ограбленных, плач избиваемых. «Мальчишки, особенно страдавшие от голода... бросались на хлеб и сразу начинали его есть. Они не пытались убежать: только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели», – вспоминал Д.С. Лихачев<sup>213</sup>. Таких свидетельств много, и не только о подростках, но и людях разного возраста<sup>214</sup>. Вот обычная сцена. Кто-то замешкался, получая паек. Рядом сто-

<sup>206</sup> Такие случаи были редкими, но отрицать их нельзя. В. Шулькин утверждал, что «не видел ни сам и ни разу не слышал о нападениях на продавцов» (*Шулькин В.* Воспоминания баловня судьбы. С. 152–153), но прочитать об этом можно было в «Ленинградской правде» за 13 января 1942 г. В сообщении «В военном трибунале» говорилось о расстрелах нескольких человек за нападение на продуктовые магазины (отклики блокадников на эту публикацию см.: Блокадный дневник Н.П. Горшкова. С. 59 (Запись 14 января 1942 г.); *Ходорков Л.А.* Материалы блокадных записей. 17 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 14). О погромах в булочных см. также: Стенограмма сообщения Туркова И.В.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 128. Л. 7 об.

<sup>207</sup> См. информационную сводку оргинструкторского отдела ГК ВКП(б) А.А. Жданову 4 января 1942 г.: «Особенно тяжелое положение оставшихся без родителей 14-15-летних подростков. В детские дома их не принимают. Дети толпятся около магазинов и булочных, вырывают хлеб и продукты из рук покупателей» (Ленинград в осаде. С. 414).

<sup>208</sup> *Разумовский Л.* Дети блокады. С. 40.

<sup>209</sup> *Враская В.Б.* Воспоминания о быте гражданском в военное время: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 26.

<sup>210</sup> Там же.

<sup>211</sup> Интервью с А.Г. Усановой // *Нестор.* 2003. № 6. С. 251; *Акромов Д.П.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 8; А.И. Винокуров рассказывал о пятнадцатилетнем мальчике, отнявшем хлеб и задержанном прохожими: «Ухитрился его съесть в то время, когда его вели к милиционеру» (Блокадный дневник. А.И. Винокурова. С. 243–244).

<sup>212</sup> *Капранов Б.* Дневник. С. 42 (Запись 15 декабря 1941 г.).

<sup>213</sup> *Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 471. Ср. с записками В. Петерсона: «Однажды я видел, как на улице около нашего дома били парня. Он выхватил из рук женщины, выходящей из булочной, пайку хлеба и упал на снег. Усталые, обессиленные люди пинали его ногами, а он лежал ничком в снегу и жевал, жевал, жевал» (*Петерсон В.* «Скорей бы было тепло». Воспоминания о первой блокадной зиме // *Нева.* 2001. № 1. С. 172).

<sup>214</sup> Приведем некоторые из них: «Булочная. Женщина получила 200 грамм хлеба. Отходит от прилавка. Истощенный мужчина лет 35 вырывает хлеб. Отвернулся в сторону. Согнулся, жадно поедает хлеб. Его бьют. Он молчит и продолжает

яла «щупленькая и изможденная» 12-летняя девочка. Она «буквально коршуном подлетела к прилавку, схватила хлеб... и моментально выскочила на улицу... Девочка, как клещами, вцепилась в хлеб, на ходу отрывая куски и, не жуя их, глотала. С нее сорвали платок, били ее с остервенением, чем попало»<sup>215</sup>.

Хлеб был съеден весь, неостановимо, с лихорадочной быстротой. Похоже, она даже не чувствовала побоев<sup>216</sup> – лишь бы не отняли, лишь бы удалось отщипнуть одну, вторую крошку... Вероятно, боль, стыд от унижения, страх побоев пришли позднее, когда на миг ослабело это жуткое, давящее чувство голода: «Девочка каким-то маленьким комочком повалилась на мокрую мостовую и безутешно заплакала»<sup>217</sup>. Так, свернувшись «комочком», было легче сносить новые удары. Так, слезами, можно было вызвать жалость у избивавших ее.

«Толпа разошлась», – этот последний эпизод передан сухо, отрывисто, словно все совершалось молча. Может, кто-то здесь и ощутил раскаяние и стыд – нашлись ведь в толпе те, кто пытался пресечь «бесполезное и безобразное избиение»<sup>218</sup>. О случаях самосудов с летальным исходом сведений нет. Порядок восстанавливался быстро, и, когда это было возможно, похитителей передавали милиции<sup>219</sup>. Избиение не являлось каким-то актом методично осуществляемой мести. Хотели только вернуть себе часть вырванного хлеба, не разбирая при этом средств и не держась цивилизованных приемов<sup>220</sup>. Ставкой была жизнь. Действуя иначе, рисковали остаться без крошки и такого хлеба – окровавленного сырого месива. Убегавшего с чужим хлебом подростка женщины из стоявшей рядом очереди за молоком избивали бидонами<sup>221</sup> – в хаосе драки брались за все, что подвернулось под руку.

Но и здесь мы видим тех, кто пытался защитить избитых. Они, услышав крик: «Бейте, чтобы он в следующий раз так не делал», просили: «Не бейте»<sup>222</sup>. Может быть их и не было много, но требовалась смелость, чтобы заступиться, да еще когда рядом плачет ограбленная женщина. Вот еще одно свидетельство, ценное тем, что принадлежало блокаднице, у которой мальчик вырвал ее паек. Она побежала за ним вместе с милиционером и заметила, где мальчик спрятался и как, плача, ел ее хлеб. Она пожалела его – толкнула за дверь. Он, ожидавший, возможно, худшего, даже укусил ее. Милиционер ушел, а мальчик, увидев, как женщина плачет, вернул ей хлеб<sup>223</sup>.

---

жевать» (*Ходорков Л.А.* Материалы блокадных записей. 12 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 13); «Один раз на раздаче хлеба мужчина прямо с весов схватил хлеб и начал его есть, его женщины били, а он закрылся руками и ел» (*Лисовская В.М.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 156–157); «Продавщица подает полбуханки хлеба с довеском и вдруг из-за нашей спины протягивается рука и хватает наш хлеб! Мы рыдаем, вся очередь набрасывается на парнишку... Очередь его бьет, но он, не обращая на это внимания, продолжает жевать хлеб» (*Гусарова М.А.* Мы не падали духом // Откуда берется мужество. С. 96). «Я сам видел, как в магазине... у одной получившей от продавщицы хлеб... молодой приличный человек схватил довесок и тут же его... стал жевать; женщина его начала бить, он согнулся, продолжая молча жевать...» (*Жилинский ИМ.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 26 (Запись 16 января 1942 г.). См. также: Стенограмма сообщения Скворцова М.И.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 110. Л. 12; *Лившиц З.С.* Дневник. С. 174; Интервью с Л.П. Власовой // Нестор. 2003. № 6. С. 81.

<sup>215</sup> *Игнатович З.А.* Очерки о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 26. Л. 29.

<sup>216</sup> «Девочка же не обращала никакого внимания на побои и собравшуюся толпу» (Там же. Л. 29–30).

<sup>217</sup> Там же. Л. 30. Ср. с рассказом блокадницы о мальчике, с которым она училась в школе: «Он и не убежал даже. Упал возле стены на корточки и ест, и ест... Вся очередь набросилась. Продавщица рассказывала – крючком он согнулся. Голову в плечи втянул, буханка между коленками зажата. Его бьют, а он и ударов не слышит – ест. Почти всю буханку сжевать успел» (*Сулов В.* 50 рассказов о блокаде. СПб., 1994. С. 86).

<sup>218</sup> Там же.

<sup>219</sup> *Капранов Б.* Дневник. С. 42 (Запись 15 декабря 1941 г.); *Лившиц З.С.* Дневник. С. 174; Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 244 (Запись 25 января 1942 г.).

<sup>220</sup> См. рассказ А.Г. Усановой о том, как у ее матери вырвали хлеб «ремесленники»: «Мама по горбушке стучит: „Отдай хлеб“. Он говорит: „А я съел“» (Интервью с А.Г. Усановой. С. 251).

<sup>221</sup> *Зеленская И.Д.* Дневник. 15 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 43.

<sup>222</sup> Интервью с Л.П. Власовой. С. 81.

<sup>223</sup> *Красюкова З.В.* Из дневника памяти // Ленинградская наука в годы Великой отечественной войны. СПб., 1995.

На первый взгляд этот рассказ может показаться даже приукрашенным. Но приведенные в нем подробности события, не нужные для «выстраивания» идеализированных авторских самохарактеристик, побуждают отнестись к нему с должным доверием. Чувство сострадания в позднейших рассказах о блокаде, вероятно, проступало более рельефно – это заметно при сравнении с дневниками военных лет. Но, даже допуская и поправку на время, стоит предположить, что этот след милосердия остался в памяти людей не случайно. Обратим внимание на использование в мемуарах Д.С. Лихачева и В. Петерсона в одном предложении трех одинаковых слов при описании избиения: «ел, ел, ел», «жевал, жевал, жевал». Это признак особого переживания человеческой трагедии: для того чтобы передать эмоциональное напряжение, одного слова кажется мало. И не могли помочь, и не могли смотреть, и не могли оправдать случившееся: «Как бедную... девушку били за хлеб... Мне было... жалко, я не знала, как мне помочь ей. Бьют, отняла у кого-то хлебушек-то... Ее бьют! Ногами, я не могла смотреть! Она не выпустила... хлеб, пока не съела, как бы ее не били»<sup>224</sup>.

## 5

И все-таки в рассказах об избиении тех, кто отнимал хлеб, мало сочувствия. Они обычно сдержанны, хотя редко кто из очевидцев расправ не обращал внимания на истощенность доведенных до отчаяния людей. Последних можно понять, но каково было их жертвам. И у них оставались такие же изможденные, все время просившие есть дети, не имевшие сил встать с постелей их родные и близкие. Возьмите любой блокадный дневник и увидите, с каким нетерпением ждали возвращения из булочных с хлебом. Рассчитывали, на сколько маленьких частей его надо поделить, чтобы дожить до следующего дня, как добавить к нему «черной хряпки», студня из клея и из ремней и сделать их сытнее, как обменять кусок хлеба на витамины для опухших, беззубых от цинги людей, как с выгодой отдать его за крохотную порцию масла или стакан молока для угасающего ребенка.

М. Пелевин вспоминал о семье Клеваничевых. Никто в ней не получал больше 125 г, кроме старшей сестры Аллы, которая чем могла, поддерживала своих маленьких сестер. И те оживали, если видели, что она идет в булочную: «Когда Алла встает, то даже еле слышные ее шаги не оставляют никого в покое. Все просыпаются и молча провожают ее в путь. Вот дверь за ней закрывается и наступает напряженное ожидание»<sup>225</sup>.

Выврут у нее хлеб – и куда ей идти, кого просить, что говорить тем, кто доверил ей «карточки», как утешить истощенных плачущих детей? «Дай, дай, дай!» – эти слова голодной больной девочки, ожидавшей, когда принесут ей детсадовский паек, запомнились одной из блокадниц на всю жизнь. «И такие страшные глаза у нее были» – выжить девочке не удалось<sup>226</sup>.

## 6

Еще одна скорбная деталь блокадного быта – ограбление умерших. Мародерство даже на центральных городских улицах, а не только в глухих дворах, стало частью блокадной повседневности. «...Стаскивают с покойников шапки, сапоги, выворачивают карманы, воруя карточки продуктовые и все имеющиеся ценности» – этот фрагмент письма В.А.

---

С. 102–103.

<sup>224</sup> Интервью с М.В. Васильевой // *Нестор*. 2003. № 6. С. 62.

<sup>225</sup> *Пелевин М.П.* Повесть блокадных дней.: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 36. Л. 30–31.

<sup>226</sup> Интервью с Г.Н. Игнатовой // *Человек в блокаде*. С. 243.

Заветновского дочери содержит с исчерпывающей полнотой перечень обычных тогда мародерских действий<sup>227</sup>.

Ценнее всего были в это время продовольственные «карточки». Очевидцы тех дней не раз обращали внимание на неестественно разведенные и сведенные руки умерших. Возможно, рылись в одежде еще живых людей, тела которых позднее окоченели от мороза. Г. Кулагин увидел, что даже на сборном заводском пункте, куда приносили мертвых, у них были заломлены руки и выворочены карманы<sup>228</sup>.

«Почти все разуты» – такой деталью заканчивает он свое описание<sup>229</sup>; ее отмечают и другие блокадники<sup>230</sup>. Снимали обычно валенки, шапки и пальто – для тех, кто месяцами жил в промерзших домах, они имели большую ценность<sup>231</sup>. Весной 1942 г., когда валенками стали реже пользоваться, брали и туфли<sup>232</sup>. Снимали с мертвых и одежду, причем сообщавший об этом Б. Михайлов отметил, что воровали и те покрывала, в которых покойников выносили (вернее, выбрасывали) на улицу<sup>233</sup>.

И этим занимались не только тайком, ночью, под покровом темноты. Начальник штаба МПВО Куйбышевского района М.Г. Александров рассказывал, что возле морга лежало много тряпок, одеял, простыней – их заставляли снимать с трупов перед отправкой на кладбище. Он был потрясен тем, что «среди этих тряпок бродило несколько человек, которые выбирали себе более или менее пригодные тряпки»<sup>234</sup>. Такое зрелище становилось привычным и, возможно, способствовало притуплению чувства брезгливости; голод и холод довершили дело. Говоря о «разувании» трупов, О. Гречина подчеркивала, что «никто не воспринимал это как мародерство и даже как-то одобряли смелость тех, кто может не дать добру пропасть»<sup>235</sup>. Ее слова трудно подтвердить другими свидетельствами, но, скажем прямо, едва ли мародерство приобрело бы такой размах, если бы все относилось к нему с неприязнью. И заметим, умерших людей обворовывали не только на улицах или в эвакупункте<sup>236</sup>, но часто и на предприятиях, где, казалось, контроль за порядком был строже<sup>237</sup>.

Примечательнее всего быстрота, с которой нередко действовали мародеры. «Однажды я заняла очередь за хлебом, его долго не везли и я ходила домой греться. Возле тропинки лежала мертвая женщина, вначале она была полностью одета – теплый платок, пальто,

<sup>227</sup> В.А. Заветновский – Т.В. Заветновской. 5 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 3 об. Ср. с воспоминаниями А.В. Смородиновой: «Если человек терял сознание, помощь ему не оказывали (как правило, это было... бесполезно), а хлеб забирали себе» (*Смор одинов а А.В.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 221).

<sup>228</sup> Кулагин Г. Дневник и память. С. 161 (Запись 23 июня 1942 г.).

<sup>229</sup> Там же.

<sup>230</sup> «Утром, на Пролеткульта, 9 – неуб [ранний] труп с голыми ногами» (*Люблинский В.С.* Бытовые истории уточнения картин блокады // В память ушедших и во славу живущих. Письма читателей с фронта. Дневники и воспоминания сотрудников Публичной библиотеки. СПб., 1995. С. 160 (Дневниковая запись 14 февраля 1942 г.); «На углу Серпуховской молодая женщина с голыми ногами» (*Никольская В.Н.* В очередях: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 907. Л. 10); «У нашего дома, у забора, лежит мертвая старуха, ноги босые» (Там же. С. 12). См. также: *Михайлов Б.* На дне войны и блокады. С. 54.

<sup>231</sup> А.И. Винокуров говорит об этом без всяких оговорок (см. Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 250 (Запись 28 февраля 1942 г.)). См. также запись в дневнике М. Тихомирова 8 января 1942 г.: «...Трупы, просто лежащие на улицах, не редкость. Они обычно без шапок и обуви» (Дневник Миши Тихомирова. С. 22).

<sup>232</sup> См. запись в дневнике Л.А. Ходоркова 28 мая 1942 г.: «Групп женщины, кто-то успел снять туфли...» (РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 24).

<sup>233</sup> *Михайлов Б.* На дне войны и блокады. С. 50, 56; см. также *Краков М.М.* Дневник. 29 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 10.

<sup>234</sup> Стенограмма сообщения Александрова М.Г.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 2. Л. 38.

<sup>235</sup> *Гречина О.* Спасаясь спасая. С. 250.

<sup>236</sup> О таком случае рассказывал начальник эвакупункта Борисова Грива Л.С. Левин (Стенограмма сообщения Левина Л.С.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 77. Л. 8).

<sup>237</sup> На заводе им. А.А. Жданова морг, где складывали трупы умерших рабочих, охранялся, поскольку «туда забирались живые люди и снимали с мертвых сапоги, одежду, что можно было» (*Сеничев П.И.* Ленинградский судостроительный завод им. А.А. Жданова в 1941—1943 гг. С. 163).



валенки, но по мере моего хождения туда и обратно ее постепенно раздевали. Сначала сняли валенки, потом пальто и юбку», – вспоминала М.И. Воробьева<sup>238</sup>. О таком же случае говорит И.Н. Котлярова<sup>239</sup>. В различных районах, на разных улицах – один и тот же сценарий действий. Это определенно указывает на их неслучайность, хотя мы и лишены возможности оценить их масштаб. «Под воротами мертвая женщина, босая – утром она лежала в валенках», – записывает в дневнике 23 февраля 1942 г. Э.Г. Левина<sup>240</sup>. А.Н. Миронова, идя в ГорОНО, увидела тела двух молодых женщин, погибших во время обстрела. Возвращаясь через два часа, она заметила, что с них «сняли сапоги и пальто»<sup>241</sup>.

Об этом же свидетельствуют воспоминания секретаря парторганизации завода им. Сталина А.В. Смоловика: «Идешь в партком, смотришь, труп лежит. Позвонишь старику... он был у нас на заводе главным по уборке трупов. Пока тот подойдет, смотришь, труп... раздет – снята обувь и верхнее платье»<sup>242</sup>.

Какая-то не знающая осечки готовность без промедления, не стесняясь ничем, начать грабежи, говорит о многом. Сомнительно, чтобы этим занимался один и тот же человек, кем-то спугнутый и затаившийся – при любых обстоятельствах он бы управился быстрее.

Кем были мародеры, выяснить сложно. Их редко удавалось поймать. Говорили иногда о группах «ремесленников» и этому отчасти можно верить, зная, как они жили и как шли, не стыдясь, на все, чтобы устоять<sup>243</sup>. И.И. Жилинский обратил внимание на то, что дворники, сгоняя с крылец домов прохожих (их «отдых» часто кончался смертью и приходилось их хоронить), иначе относились к тем, кто был лучше одет: «Даже предлагают присесть на табурет»<sup>244</sup>. И это, по его мнению, не случайно. «Ведь потом он его и разденет». Свидетелем таких сцен он не был (прямо об этом не пишет) и, возможно, это лишь его предположение, поскольку он видел, как «из морга на кладбище увозят голышами»<sup>245</sup>. Но сам рассказ характерен, учитывая репутацию дворников. Они нередко обменивали и продавали явно чужие вещи. Мало кто знал, сняли ли их с мертвых или вынесли из квартир, откуда уехали эвакуированные и где погибли все жильцы – но все знали, что дворники обязаны были убирать трупы.

Не всегда ясно, обворовывали ли людей умерших или еще находившихся в состоянии агонии, и быть может даже кратковременного голодного обморока. Мародеры, опасаясь быть застигнутыми врасплох, едва ли имели время, чтобы понять, скончался ли упавший человек. Да и вряд ли это могло в ряде случаев кого-то остановить, все требовалось делать быстро. В.М. Глинка откровенно в своих записках рассказал о том, чему был свидетелем, идя по Арсенальной набережной в декабре 1941 г. Он увидел, что шедший впереди него мужчина упал. «А другой, встречный, остановился около упавшего, опустился на колени, стал расстегивать у лежавшего пуговицы на пальто и полез рукой за борт. Умиравший слабыми толчками отталкивал руки грабителя»<sup>246</sup>.

<sup>238</sup> Воробьева Л.И. Лунные ночи войны // Откуда берется мужество. С. 77.

<sup>239</sup> «По пути прямо на улице лежали умершие – они были одетые, на обратном пути —... без шуб, без валенок» (Котлярова И.Н. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 127).

<sup>240</sup> Левина Э.Г. Дневник. С. 158 (Запись 23 февраля 1942 г.).

<sup>241</sup> Миронова А.Н. Дневник. 23 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 69. Л. 14.

<sup>242</sup> Стенограмма сообщения Смоловика А.В.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 113. Л. 14.

<sup>243</sup> См. сообщение заместителя директора завода им. Молотова Г.Я. Соколова: «Мы получили сведения, что 11 человек ремесленников нашего завода превратились в беспризорников: они не ночуют... в общежитии, ходят по столовым, воруют карточки у больных, по улицам ищут покойников, обыскивают их, забирают деньги и карточки, снимают сапоги... Они были грязные, имели массу насекомых, рваные, распухшие. Когда мы их поймали, они были совсем голодны и стали просить хлеба» (НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 117. Л. 4 об.).

<sup>244</sup> Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 8. С. 3 (Запись 30 января 1942 г.).

<sup>245</sup> Там же.

<sup>246</sup> Глинка В.М. Блокада. С. 178.

В.М. Глинку опередил шедший позади него красноармеец, отбросив мародера. Грабитель и его жертва лежали на снегу, еле шевелясь. Когда через «двадцать шагов» В.М. Глинка обернулся, он увидел, как мародер, словно паук, «опять навалился на умиравшего и роется в его карманах»<sup>247</sup>.

Незаметнее всего было грабить на кладбищах, но до них не всякий, решившийся на мародерство, мог дойти. «Кладбища превратились в многотысячную свалку трупов... Все они ограблены», – записала в дневнике 1 марта 1942 г. И.Д. Зеленская<sup>248</sup>. Едва ли на каждый из этих тысяч трупов ей удалось взглянуть, но заметим, что граничившее с цинизмом неуважение к телам погибших вполне могло создать впечатление о процветавшем тут воровстве. Не исключено, что грабили и члены похоронных команд, ко всему быстро привыкавшие. По единичным свидетельствам трудно, правда, понять, считали ли они это мародерством или подготовкой трупов к захоронению. Обобрать трупы и им удавалось не всегда. На кладбищах работали сотни людей разных возрастов и профессий, их действия контролировали – о коллективном сговоре не могло быть и речи. Вероятнее всего, в большинстве случаев грабеж начинался еще до отправки покойных на кладбище. Условия для этого имелись: не охранялись даже места их массовых скоплений в черте города.

Изучая причины мародерства, всегда отмечаешь одно обстоятельство: грабеж мертвых не объяснить только борьбой за выживание. О продовольственных «карточках» и деньгах нет смысла спорить, – но так уж ли необходимы были пелены и одеяла с умерших? Что-то, конечно, несли на рынки для обмена – но много ли хлеба можно было по тогдашней блокадной шкале выменять на чулки? Возникает ощущение, что все это обусловлено не столько военным, сколько довоенным бытом. Есть свидетельства о том, как блокадники буквально со стоном решались нести одежду на продажу, как вспоминали при этом, сколько времени копили деньги на пальто или платье и как трудно это далось. Это чувство прошлой нищеты никуда не ушло. Не всякий (далеко не всякий!) мог снять платок с умершей – но соблазн был, он имел оправдание, и отрицать его бесполезно, особенно, если учесть, сколь слабой являлась охрана правопорядка в «смертное время». И аргументы находили быстрее и легче, и на других, столь же озабоченных выживанием и часто не разбиравших средств, можно было не всегда оглядываться.

В грабежах, воровстве, обмане и мародерстве, являвшихся обычными признаками распада человеческой этики, принимали участие далеко не все горожане. Сами эти действия не являлись чем-то новым и не вызваны одним только кошмарным блокадным бытом. Они отмечались (разве что за исключением мародерства и грабежа хлебных подвод) и в довоенном и в послевоенном Ленинграде. В мирное время корысть и жадность удавалось подавить угрозами и репрессиями, а что можно было противопоставить стремлению блокадников избежать смерти? Страх наказания той же смертью? Верили, что может быть все сойдет с рук, если оказаться сильнее и проворнее своей жертвы, но точно знали, что умрут, не найдя иных источников пропитания, кроме кладбищенских пайков.

Признаками распада являются не столько эти правонарушения как таковые, сколько то, что они стали возможны (и не прекратились) во время беспрецедентных человеческих страданий. Не просто отнимали хлеб, но понимали, что ограбленный человек вскоре умрет, и не могли не понимать этого: путь к любой булочной шел через трупы. Знали, до какой степени дошли люди, безостановочно отрывающие кусочки от крохотного пайка, выйдя из магазина, знали, что иначе они могут не дойти до дома. Знали, что почти у каждого из ограбленных и обворованных имелись голодные родственники. Знали, что этот шатающийся бледный

<sup>247</sup> Там же. С. 178–179; ср. с записками А.А. Аскназий: «...Встречались лихие люди, способные отнять у ослабевшего человека карточку или кусочек хлеба или теплую шапку» (*Аскназий А.А. О детях в блокированном Ленинграде: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 13*).

<sup>248</sup> *Зеленская И.Д. Дневник. 1 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 65 об.*

ребенок, которого послали в магазин, потому что все его родители слегли, не может оказать сопротивления...

Не менее прискорбны последствия таких поступков. Чем больше одежды снимали с умершего, тем быстрее преодолевали и моральные запреты. Может, кому-то трудно было оказаться здесь первым, но не исключено, что ставшее предельно открытым зрелище неостановимого мародерства делало участие в нем приемлемым и менее отталкивающим. Не все участвовали в избиениях, но привыкали к ним, и видели, как ползают в крови, не имея сил встать, истощенные дети и подростки – а разве это не способно было вызвать черствость и безразличие.

Можно предположить, что стремление погреть руки на народной беде не было сначала главной целью и у некоторых продавцов: прежде всего хотели спасти себя и своих близких, конечно, за счет других. Но не могли удержаться, появлялся дух наживы, и акт собственного спасения превращался в акт «цивилизованного» грабежа несчастных, обессиленных, оказавшихся на блокадном дне – грабежа с целью обогащения. Если возможны страшные, немыслимые еще недавно преступления, то не следует ли менее бурно откликаться на мелкие нарушения этики? Следует ли себя считать виноватым, если речь идет не о воровстве, а о том, чтобы отвернуться от упавшего на снег, не ответить на просьбу о помощи? Все это впитывалось человеком, могло им усваиваться даже подсознательно, стало привычной реальностью, задевающей далеко не всех, не требующей эмоционального отклика. Все это не возникло внезапно, но исподволь начинало предопределять мотивы его поведения: с чем-то надо смириться, на что-то не надо тратить слов – не удивляться, не сердиться, не обещать, не спрашивать себя...

## Глава II Содержание нравственных норм

### Понятие о чести

#### 1

Изучение «блокадной этики» трудно в силу нескольких причин. Во-первых, иногда сложно отслоить позднейшие оценки очевидцев событий от тех, которые были распространены в «смертное время». Помещая себя как действующее лицо в блокадные рассказы, человек неизбежно должен был часто давать такие объяснения своим поступкам, которые не выглядели бы парадоксальными и жестокими. От него ждали не оправдания отступлений от нравственности, с чем встречались тогда на каждом шагу, а драматического пересказа наиболее ярких эпизодов, которые могли бы подтвердить значимость совершенного подвига.

Во-вторых, нельзя говорить о системности и прочности моральных правил горожан на рубеже 1941–1942 гг. Они менялись столь же постоянно и быстро, как и блокадная повседневность. Их можно оценить в полной мере, только изучая «большие тексты» – многостраничные дневники и объемные, насыщенные подробностями записи. Такие документы, однако, встречаются не очень часто. О бытовавших тогда нравственных нормах мы нередко узнаем из кратких и не всегда мотивированных, порой единичных откликов. Определить точно, что же перед нами – глубинный настрой или проявление минутной слабости, обычай или единичный случай, исключение из правил или принципиальная позиция – мы едва ли сможем. Отметим также, что иногда один и тот же человек способен был едва ли не одновременно совершить поступки как благородные, так и бесчестные.

По фрагментарным записям мы можем дать лишь набросок портрета того человека, который считался порядочным и честным.

В документах, передающих детали блокадного кошмара, вообще трудно встретить «равновесие» отрицательных и положительных оценок, равно как и их взвешенность. Нередко даже один, потрясший человека поступок, способен был начисто стереть все то мутное и обидное, что было между людьми.

Для И. Меттера образцом порядочности являлся писатель А.А. Крон. В рассказе о нем виден, конечно, навык литератора, стремление найти привлекательные черты, умение подобрать слова возвышенные. Слова, не всегда стершиеся, порой обращающие на себя внимание необычностью метафор: «Он поражал меня своей человеческой естественностью, закономерностью. Закономерностью всегдашней порядочности, чести, личного достоинства»<sup>249</sup>. Пример его доброты здесь тоже приводится («он приносил мне кусочки своей еды, сэкономленный обед на корабле»); его значимость подчеркивается и тем, что сам А.А. Крон был болен цингой<sup>250</sup>. Но важны не только эти подробности. Чтобы передать с особой силой восхищение им, как раз и необходима такая манера предельно обобщать, оценивать различные проявления гуманности и сострадания короткими фразами, которые своей яркостью и пафосностью кажутся единственно приемлемыми в этом рассказе.

Подросток В. Мальцев – не литератор, как И. Меттер, у него и слова проще и оценки прямее: «Он первый из тех военных, что я встречал по пунктам и в военкомате, который

---

<sup>249</sup> Меттер И. Будни. Л., 1987. С. 356–357.

<sup>250</sup> Там же. С. 357.

оставил глубокий след... Чувство уважения к нему сохранится надолго»<sup>251</sup>, – писал он отцу о майоре Никифорове, обучавшего школьников военному делу.

У В. Мальцева конкретная, «житейская» причина, вызвавшая положительную оценку, названа открыто и не затемнена, как у И. Меттера, каскадом патетических формулировок. Майора уважают потому, что он честен. Если его подчиненные рыли окопы, то и он рыл тоже. Он ползал по снегу на тактических занятиях так же, как и обучаемые им школьники. Он опытен, он прост, он не придирается, он требует ответа только после того, как сам все подробно расскажет и удостоверится, что его поняли. Так в многообразии замеченных В. Мальцевым образцовых поступков упрочиваются важнейшие для него понятия о чести: не пользоваться, как средством, другими людьми, не относиться к ним безразлично, а сопереживать им, увлекать их, помогать им, понимать их, быть с ними в их заботах и трудностях.

## 2

Такие развернутые характеристики в блокадных записях, правда, довольно редки. Обычно в них только кратко отмечаются отклики на какие-то отдельные, чем-то особо обротившие на себя внимание поступки. По ним представить целостный портрет «идеального» человека весьма сложно, но они дают возможность лучше понять содержание нравственных норм.

Что такое порядочный, честный человек в представлении блокадников? Прежде всего это тот, кто не будет жить за чужой счет. Даже детям педагог К. Ползикова-Рубец пыталась внушить, что они, пока здоровы, не должны позволять родителям отдавать им «свою порцию еды»<sup>252</sup>. Пытаясь устроиться на работу, подростки объясняли это тем, что хотят помогать семье и не быть нахлебниками<sup>253</sup>. «Я страшно устаю, но зато по своей рабочей карточке могу существовать сама, не объедая маму, которая страшно похудела, и делюсь с папой, который тоже неузнаваемо изменился», – читаем в дневнике А.С. Уманской<sup>254</sup>. Разумеется, здесь имела значение и возможность подкормиться самому, но крайне истощенный вид родных едва ли отмечался в таких свидетельствах случайно.

Некоторые из блокадников особо подчеркивали, что они стеснялись принимать хлеб в подарок, тем более его просить. В.Г. Даев рассказывал даже о своей дальней родственнице, не имевшей денег (она потеряла работу), чтобы выкупить хлеб – а просить их у многодетных сестер она не решилась<sup>255</sup>. Артист Ф.А. Грязнов, передавая рассказ брата о том, как он питался в столовой Дома Красной Армии («достал... несколько мясных, добротных и по качеству и по размеру котлет с тушеной капустой и съел там приличный суп»), писал, что у них с женой при этом «слюни текли»: «Талонов у нас нет». Когда же брат предложил «взять у него на двоих котлету», то они отказались: «У него самого плачевно с продуктами»<sup>256</sup>. Назвать обычным этот поступок сложно, но сам этот случай весьма показателен.

<sup>251</sup> В. Мальцев – М.Д. Мальцеву. 12 декабря 1941 г. // Девятьсот дней. С. 267.

<sup>252</sup> Ползикова-Рубец К.В. Они учились в Ленинграде. Л., 1954. С. 82 (Дневниковая запись 26 января 1942 г.).

<sup>253</sup> См. письмо В. Мальцева матери и сестрам: «...мне весьма неудобно: сижу без дела и трачу отцовские деньги. Если занятия не начнутся, пойду работать» (В. Мальцев – З.Р. Мальцевой и И. Мальцевой. 22 октября 1941 г. // 900 дней. С. 264). В воспоминаниях И.А. Чернявской говорилось об одной семье – 15-летнем подростке, его матери и бабушке. Все они голодали. Мальчик решил пойти на завод «Электрик»: «Хоть пользу буду приносить, да и хлеба дадут двести пятьдесят граммов» (*Чернявская И.И. Источник силы // Без антракта. Актеры города Ленина в годы блокады. Л., 1970. С. 107*). См. также: Волкова А. Первый бытовой отряд // Ленинградцы в дни блокады. Л. 180.

<sup>254</sup> Уманская А.С. Дневник. 10 апреля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 72. Л. 34 об. Ср. с записью в дневнике М.С. Конопле-вой 3 декабря 1941 г. о восьмикласснике, сыне ее соседки, который, чтобы «прокормиться сам и поддержать мать, поступил в пожарную охрану на заводе» (Там же. Ф. 368. Д. 1. Л. 193).

<sup>255</sup> Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 91.

<sup>256</sup> Грязнов Ф.А. Дневник. С. 126 (Запись 28 ноября 1941 г.); см. также рассказ председателя Культпропотдела завода им. Молотова И.В. Туркова о секретаре цеховой партийки Гринько: «Я вижу, что слаб человек, вряд ли он дойдет до дома.

«Ведь до чего может дойти человек», – записывала в своем дневнике 10 января 1942 г. А.Н. Боровикова, даже еще не попросив оставшуюся у друзей на столе тарелку супа, а лишь поймав себя на мысли о том, что не отказалась бы от нее<sup>257</sup>. Е. Мухину подруга уговорила взять ломоть хлеба, сказав, что это паек ее недавно умершей матери<sup>258</sup>.

Заметим, что не все могли и привыкнуть пользоваться привилегиями, зная, сколько рядом людей голодает. В их записях об этом имеется даже некий оттенок патетичности – верный признак того, как высоко они продолжали оценивать человеческое благородство и в блокадном кошмаре. «...Наружно я неудачник (больно жалкий вид у меня)», – отмечает в дневнике 16 декабря 1941 г. А. Лепкович. – «Мне многие сочувствуют, жалеют даже так, чего я не заслуживаю, а пользоваться привилегией больного «инвалидом» [так в тексте. – С. Я.] стыдно, я еще очень молод так низко опускаться»<sup>259</sup>. Другого блокадника, Г. Кулагина, врач спросил, почему он не посещает «столовую усиленного питания», и услышал в ответ: «Неудобно садиться за стол рядом с человеком, который еле пришел с палкой»<sup>260</sup>. Примечательен тут и отклик врача: «Радостно закивала: „Я вас понимаю, понимаю“»<sup>261</sup>.

Блокадная повседневность поправляла любые патетические жесты и, разумеется, в трудную минуту вынуждены были пользоваться привилегиями даже люди, публично порицавшие их. Происходило это в разных, порой запутанных ситуациях, когда и не всегда ясно было, берут ли «свое» или «чужое». И все равно чувство стыда не исчезало. Б.Б. Кросс рассказывал, как, получая «привилегированный» паек за дежурство в МПВО, он испытывал неловкость перед своими товарищами. Делиться с ними он не мог, поскольку сам голодал, но ел картошку «в соседних аудиториях»<sup>262</sup>.

Ф.А. Грязнов подрядился работать чтецом в госпитале, обнадеженный обещанием политрука покормить его в столовой. Чтение закончилось, политрук не появился. Медсестра, провожая, пожелала им всего доброго. Было неловко, но уйти он не мог. Предельно деликатно, «робко», ничего не требуя, но только лишь прося, пояснял: «Простите... обещано... кажется напоить нас чаем»<sup>263</sup>. Стыд здесь чувствуется в каждом слове – но что же делать, если нечего есть, и кого стесняться...

И. Меттер вспоминал, как после чтения лекции в райкоме комсомола его и еще одного писателя должны были пригласить на обед. Видимо, такие «обедаы» были обычаем. Они являлись своеобразным приработком, которым пользовались не только лекторы, но и делегации шефов, выезжавшие с подарками на фронт, артисты да и многие другие «концертанты». Официально платой за их выступление был, собственно, паек, выдаваемый госучреждениями, но, как правило, их редко отпускали, не покормив. Бесспорно, понимали, что это «милостыня», но выбора в голодное время не было. В райкоме же произошла заминка и «чтецов» попросили прийти пообедать на следующий день, без всяких лекций. С этим пришлось смириться («так хочется жрать, что все равно»), но они ощутили жгучее чувство стыда: «... Это на редкость унижительно... Особенно неприятно было, что нас сразу повели на кухню, не разговаривали с нами, а накормили как дворников в праздник»<sup>264</sup>. Лекторы, правда, смутно представляли, как должно было к ним отнестись. Может быть чуть мягче, человечнее – но

---

Я ему говорю: „Сходи в столовую, пообедай, я дам тебе талоны“. Как я ни уговаривал его взять мои талоны, он ни на что согласился» (Стенограмма сообщения Туркова И.В.: НИА СПб И РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 128. Л. 7 об. – 8).

<sup>257</sup> Боровикова А.Н. Дневник. 10 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 99 об.

<sup>258</sup> Мухина Е. Дневник. 7 марта 1942 г.: Там же. Д. 72. Л. 91 об.

<sup>259</sup> Лепкович А. Дневник. 16 декабря 1941 г.: Там же. Д. 59. Л. 9 об.

<sup>260</sup> Кулагин Г. Дневник и память. С. 218.

<sup>261</sup> Там же.

<sup>262</sup> Кросс Б.Б. Воспоминания о Вове. С. 46–47.

<sup>263</sup> Грязнов Ф.А. Дневник. С. 170 (Запись 28 декабря 1941 г.).

<sup>264</sup> Меттер И. Избранное. С. 112.

все таки не так цинично, как им показалось: «Хотелось бы, чтобы соблюдался какой-то декорум, вроде мы гости, вроде ничего не произошло»<sup>265</sup>.

Конечно, не всем блокадникам удалось придерживаться своих принципов. Сравним две записи в дневнике В.Ф. Черкизова, сделанные 14 октября 1941 г. и 29 января 1942 г. В октябре его нравственные правила еще не размыты голодом, он с брезгливостью описывает посетителей заводской столовой: «Старается есть побольше и что не сможет съесть, забрать с собой... Только и думают о еде. Впечатление такое, что никогда не ели. Как мелочны эти старые интеллигенты. Вся культурность у них отлетает, остается только животное чувство жратвы»<sup>266</sup>. Вторая запись даже не требует комментариев. Она – итог трехмесячной борьбы за выживание, когда, шаг за шагом, обязаны были «мельчить», идти на сделки, унижаться, умолять, и так каждый день «терять лицо»: «Стараюсь использовать все возможности, чтобы поесть побольше... Будешь скромничать и гордиться, соблюдая приличия – протянешь ноги. Не гнушаться попросить, а иногда быть нахальным – только так сохранишь свою жизнь»<sup>267</sup>.

И.И. Жилинский, предельно откровенный и честный человек, видя, что прилавки магазина, к которому он был «прикреплен», пусты, должен был обманывать продавцов другого магазина, пытаясь «отоварить» талоны на нехлебные продукты<sup>268</sup>. В другой интеллигентной блокадной семье отец, директор школы, не хотел сдавать, хотя обязан был, «карточки» в стационар, где он лечился: надеялся, что этого не заметят. Его семье удалось приобрести 2 кг муки из отходов патоки: «Общий вывод – никуда... Надо ее сплавлять... Постепенно ее сбудем с рук (особенно, если встретятся люди, ранее с такой мукой дела не имевшие)»<sup>269</sup>.

Даже отказываясь от хлеба, иногда надеялись, что им предложат еще раз – старый обычай проявлялся и здесь<sup>270</sup>. Приходилось и прямо просить о помощи. «Сегодня я выклянчила вторую тарелку супа», – пишет в дневнике 8 января 1942 г. Е. Мухина, и обратим внимание, в каких условиях ей пришлось на это пойти: «Положение наше с мамой очень тяжелое. До конца первой декады осталось два дня<sup>271</sup>, а у нас в столовых ни на мою, ни на мамину карточку ничего больше не дают. Так что эти два дня должны питаться только той тарелкой супа, которая мне полагается»<sup>272</sup>. И там, где два голодных человека должны кормиться целый день лишь порцией этого белесоватого, «пустого» супа (Е. Мухина даже как-то сосчитала количество макарон в нем и занесла это в дневник) – и там она пишет, что стесняется «каждый день так кланчить»<sup>273</sup>. И не только потому, что это унижительно. Для Е. Мухиной, остро воспринимающей любую несправедливость, необходимость просить дополнительную порцию супа, видя, как истощены и другие школьники, можно счесть неприятным испытанием.

Такой же настрой мы обнаруживаем и у других блокадников. Е. Скрыбина с раздражением писала о том, как, уговаривая и умоляя людей, она чувствовала себя «жалкой попрошайкой»<sup>274</sup>. «Это похоже на милостыню» – так оценивала подарки друзей А.П. Ост-

<sup>265</sup> Там же.

<sup>266</sup> Черкизов В.Ф. Дневник блокадного времени. С. 28 (Запись 14 октября 1941 г.).

<sup>267</sup> Там же. С. 48 (Запись 29 января 1942 г.).

<sup>268</sup> Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 8. С. 10 (Запись 4 марта 1942 г.); см. также: То же // Там же. 1996. № 5–6. С. 24 (Запись 4 января 1942 г.).

<sup>269</sup> Дневник Миши Тихомирова. С. 18 (Запись 30 декабря 1941 г.).

<sup>270</sup> «Ксения... отливает половину в нашу чашку и предлагает мне. Как трудно сказать нет, но я все же выдавливаю из себя это слово, а сам стою и жду: вдруг предложит еще раз» (Разумовский Л. Дети блокады. С. 26); ср. с воспоминаниями В.М. Лисовской: «Однажды, когда мы пришли, дядя Сева нарядил елку конфетами, мандаринами. Он нас спросил: „Девочки, есть хотите?“ Я говорю: „Хотим“. А моя сестра толкнула меня в бок: „Ты что, как тебе не стыдно просить есть?“ Мы стеснительные были» (Лисовская В.М. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 157).

<sup>271</sup> Продуктовые «карточки» выдавали на 10 дней.

<sup>272</sup> Мухина Е. Дневник. 8 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 73 об.

<sup>273</sup> Там же.

<sup>274</sup> Скрыбина Е.А. Страницы жизни. М., 1994. С. 121 (Запись 15 сентября 1941 г.).

роумова-Лебедева<sup>275</sup>. «Это и неприятно», – отмечал в дневнике В. Кулябко, попросивший официантку положить в стакан 4 ложки сахара<sup>276</sup>. Особо жгучий стыд испытывали, когда приходилось «подъедать» за другими. Сохранились воспоминания И.Т. Балашовой (Маликовой) о том, как дети питались в школьных столовых. Не все из них являлись истощенными и потому «предлагали доесть свою порцию голодающим»<sup>277</sup>. Делалось это на виду у каждого, спрятаться было некуда: «Ребята, кто не брезговал этими остатками, были известны всему классу»<sup>278</sup>. Возможно, для школьницы это самые горькие минуты: «Среди них была и я. От унижения, стыда лицо покрывалось пятнами»<sup>279</sup>. Но, скажем прямо, церемонились не все и не всегда проявлялась щепетильность. «...Были дети, у которых родители работали где-то в администрации... Говорили: „Кто хочет доесть?“ Ну, все сразу: „Дай мне, дай мне“», – вспоминала Г.Н. Игнатова<sup>280</sup>.

### 3

В различных «житейских» историях блокадного времени портрет «идеального» человека каждым дополнялся по-своему, порой единственным штрихом. Порядочный человек – тот тот, кто делится последней тарелкой супа. Для М. Дурново, жены Д. Хармса, таким являлся ее друг, философ Я.С. Друскин – поэтому и рукописи погибшего писателя она могла отдать только ему<sup>281</sup>. Порядочный человек возвращает найденные им продовольственные «карточки» их владельцам. Т.К. Вальтер и О.Р. Пето, повествуя о событиях одного из декабрьских дней 1941 г., с редкой дотошностью воссоздают ритуал возврата найденных ими вещей. История такова. Одного из упавших на улице людей отнесли на станцию «Скорой помощи», где он почти сразу умер. В карманах оказались деньги, паспорт, продуктовые «карточки» на всю семью: «По адресу в паспорте... отправляется санитарка. Через пару часов приводит жену умершего. Вручаются все ценности»<sup>282</sup>.

Именно такие, правда, немногочисленные, случаи рождали особый отклик у ленинградцев. Протокол четко оформленные записи Т.К. Вальтер и О.Р. Пето – одно из его проявлений. Тщательно отмечается в дневнике, буквально по часам, каждый эпизод этой истории. Все поступает честно, отдаются все ценности, все делается для того, чтобы разыскать родных покойного, и никто не жалеет для этого времени. Эмоциональный след в рассказах о возвращении «карточек» чувствуется и при чтении воспоминаний Т. Кудрявцевой. Нарастание патетики повествования обусловлено замечанием мемуаристки о том, что мать, пережившая блокаду, никогда о ней не говорила. Не промолчала она лишь один раз, когда ее дочь «взволнованно» пересказала историю женщины, нашедшей «карточки», вернувшей их и тем спасшей чужую семью: «Такое с нами было. Мы тоже возвратили карточки. И нам вернули, когда потеряли мы. Это обычное дело, норма»<sup>283</sup>.

Не сомневаясь в достоверности таких рассказов, подчеркнем, что нередко их эмоциональность побуждала блокадников использовать предельно категоричные, без всяких полутонов и оговорок, утверждения, и не случайно особый отклик в городе получила история о

<sup>275</sup> А.П. Остроумова-Лебедева – Л.Я. Курковской. 13 января 1942 г. // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 5. С. 144.

<sup>276</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 236 (Запись

<sup>277</sup> октября 1941 г.).<sup>5</sup> Воспоминания о блокаде Инны Тимофеевны Балашовой (Маликовой) // Испытание. С. 67.

<sup>278</sup> Там же.

<sup>279</sup> Там же.

<sup>280</sup> Интервью с Г.Н. Игнатовой. С. 250.

<sup>281</sup> Глоцер В. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс. М., 2001. С. 125.

<sup>282</sup> Вальтер Т.К., Пето О.Р. Одни сутки. Декабрь 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 52/1. Л. 20.

<sup>283</sup> Кудрявцева Т. Фотография, которой не было. СПб., 2006. С. 16.



том, как двое детей продали на рынке бушлат, а дома обнаружили, что в кармане его остались «карточки». Утром их вернул покупатель, прочитав адрес, написанный на «карточках». Есть две версии этого происшествия. Одну из них изложил Д. Гранин и А. Адамовичу бывший заместитель председателя исполкома Ленгорсовета И.А. Андреенко. В ней очень много деталей, которые отсутствуют в рассказе самого участника этого события, подростка Алексея Глушкова, записанного уполномоченным ГКО по снабжению Ленинграда продовольствием Д.В. Павловым<sup>284</sup>. И.А. Андреенко уклончиво ответил на вопрос

о том, как он узнал об этом случае: «...Донесения же были. По Ленинграду все собирались всякие проявления отрицательного и положительного характера»<sup>285</sup>. В опубликованных Н.А. Ломагиным спецсообщениях органов НКВД о положении в Ленинграде<sup>286</sup> таких примеров не найти, да и едва ли оттуда можно было почерпнуть сведения о том, что и за сколько грамм хлеба обменяли дети, где находится их отец и какую бородку носил человек, купивший бушлат. Скорее всего, И.А. Андреенко воспринял рассказ в какой-то устной городской традиции – а таковая вряд ли отмечает обыденные, ставшие повседневными инциденты. Тот отклик, который вызвала эта история, к сожалению, верный признак ее редкости. Почти в каждом блокадном документе сообщается о потере и краже «карточек», но даже в самых объемных и скрупулезно отмечающих незначительные подробности дневниках крайне трудно обнаружить свидетельства о том, чтобы их кто-то вернул.

Трудно выполнимое, часто нереальное, это условие – отдать драгоценные «карточки» тем, кто их утерял, – вместе с тем неизменно включалось блокадниками в понятие о чести. Разумеется, не все могли решиться на такой поступок. Разрыв между представлениями об этических нормах и готовностью их соблюдать характерен для всего «смертного времени». Но знали, что такое бывает, видели, с каким восхищением об этом говорят, понимали, что должен чувствовать человек, обретший надежду на спасение. Очевидно, тот, кто отдавал хлеб за бушлат, не был столь голоден, как другие, и ему легче было возвратить «карточки». Но ведь обычно бывало иначе. Не исключено, правда, что ожидая встретить сочувствие, дети могли рассказывать чужим людям о своих горестях – не молча же совершался обмен. И вид этих изможденных детей, понесших на толкучку последнее, что у них было, детей, у которых только что умерла от истощения мать, а отец был далеко на фронте, – все это в какое-то мгновение перевесило чашу весов, заставило другого человека вернуться, и казавшееся иллюзорным понятие о чести стало непреложной реальностью.

#### 4

Отметим еще одну характеристику «честного человека», каким его представляли ленинградцы. Это – щепетильность, которую проявляли, когда обменивали вещи своих родных, уехавших из города. Не всех из них могли своевременно известить об этом, чтобы получить их согласие. Письма приходили редко и нерегулярно, а решение надо было принимать немедленно – особенно если видели, как умирает человек и могли помочь ему, только обменяв на хлеб оставшиеся в семье ценности. Сообщая об этом в письмах, блокадники, как правило, объясняют «мену» крайне тяжелым положением, уверяют, что взяли чужие вещи лишь для приобретения самого необходимого.

---

<sup>284</sup> Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. С. 174.

<sup>285</sup> Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. Л., 1984. С. 123.

<sup>286</sup> Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. Кн. 2. СПб., 2002.

Видя, как долго блокадники оправдывали свой проступок даже перед самыми близкими людьми, понимаешь, сколь трудно было для них решиться на такой шаг. Примечательно в этом отношении письмо Н.П. Заветновской дочери 9 февраля 1942 г.<sup>287</sup>

Она пишет, что хочет обменять принадлежавшее последней платье только в том случае, «если крайность придет у нас с папой с продуктами, главное с хлебом». Фраза построена не очень правильно – возможно, она с трудом подбирала слова, чтобы деликатнее (и, разумеется, в сослагательном наклонении) выразить просьбу. Платье дорогое, куплено в Торгсине: дочь – музыкант, на сцене ей нельзя выступать в обносках.

Оправдания матери кажутся бесконечными. Она говорит о здоровье отца: «Я очень боюсь папиной слабости, да и я не сильнее». Сообщает о том, как долго они голодали: «Вчера получили по янв[арской] карточке... а то ничего не было». И продолжает рассказ о своих бедах: в квартире холодно, слухи о повышении продовольственных норм – обывательская болтовня. Труднее более полно обосновать необходимость «мены» – но для нее и этих доводов недостаточно. Словно извиняясь за свой поступок, она приводит и такой аргумент, объясняющий, почему ей необходимо выжить: «Моя мечта тебя увидеть». А уж встретит она дочь по-царски: «Если будет какая-то провизия... из всего сытно подкормить не поленюсь»<sup>288</sup>. Трудно сказать, верила ли сама в это (ей оставалось жить недолго), – но, вероятно, считала, что неприятную для дочери новость надо чем-то смягчить еще раз. Всего несколько строк – а сколько здесь извинений, оправданий, жалоб, обещаний.

По тону и содержанию письмо Н.П. Заветновской близко к письму Б.П. Городецкого жене и дочерям, отправленном 20 февраля 1942 г.<sup>289</sup>. Б.П. Городецкий исподволь обосновывает неизбежность продажи вещей. В его письме имеется та же оговорка о своем здоровье: стал «дистрофиком», ко всему безразличным, не мог ходить, исхудал. Признался, что «пришлось организовать кое-какую меню». Выражено не совсем ясно, да и в следующих строках, даже с какой-то торопливостью, не говоря ничего определенного, он стремится успокоить адресатов: «Не беспокойтесь, ничего особенно ценного и нужного мы не сменяли». И снова тут же оправдание: «Как-то выходить из положения надо было». И даже приводится такой аргумент: «Очень тормозило выздоровление мое беспокойство о вас»<sup>290</sup>.

Эта щепетильность и во время войны выражается в тех же формах, которые были ей присущи ранее. Порядок и содержание оправданий столь же типичны и логичны. Ни одно из звеньев цепочки объяснений не выпадает: имеются и главный аргумент (о крайне тяжелом положении родных), и дополнительные доводы. Главные мотивы оправданий: предельная драматизация эпизодов «смертного времени», надежда на сочувствие, обещание возместить потери, стремление успокоить родных.

## 5

Честный человек – это тот, кто избегает соблазна воспользоваться чужим хлебом, который поймет, как живут другие люди и будет щепетилен по отношению к ним. Т. Максимова сообщала, как были потрясены она с матерью, когда их гость, увидев на блюде поделенный на всех поровну хлеб, «одним движением руки сгреб все»<sup>291</sup>. Э.Г. Левина записала в дневнике рассказ своего знакомого: «...Шел по улице и видел, как упал человек... подошел к нему, человек без сознания... взял у него карточки и ушел: „Ему все равно умирать, а мне

<sup>287</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 9 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 35.

<sup>288</sup> Там же.

<sup>289</sup> Б.П. Городецкий – жене, дочерям. 20 февраля 1942 г. Цит. по: *Городецкий С. Письма времени*. Л., 2005. С. 124.

<sup>290</sup> Там же.

<sup>291</sup> Максимова Т. Воспоминания о ленинградской блокаде. С. 39.

пригодятся“»<sup>292</sup>. Этого достаточно – она отказалась пускать его в дом. Не все отличались интеллигентностью и повышенной чувствительностью к чужим страданиям, не все могли говорить о своих аморальных поступках, не каждый при этом мог встретить осуждение родных и друзей, – но и в блокадной бездне не у всех истерлись представления о порядочности. Мать Э.Г. Левиной пыталась мародера защитить: может, он болеет, может, боится голодной смерти. Нет, никакие извинения и оправдания не принимаются: «Идя в бой на реальную смерть, по твоей теории можно сбежать, ограбить товарища»<sup>293</sup>.

Проявления этой моральной чистоты могли быть и более простыми и менее пафосными – но отмечены столь же категорично. Одну из медсестер в госпитале врачи просили получать по их «карточкам» хлеб в булочной, и она доверием дорожила: «Отвезят мне хлеб и горбушку сверху. Могла бы я тайком этот довесок съесть по дороге, но никогда...»<sup>294</sup> Рабочего завода «Невгвоздь», приглашенного для вручения награды, покормили перед началом церемонии. Не зная правил, он съел три булки вместо двух, «потом пошел хлопотать об этой булке, чтобы ее возместили»<sup>295</sup>. Вот эти люди – в их негромких делах и в незамысловатых расчетах, порой не знающие красивых слов, но отчетливо понимающие, что такое порядочность.

## 6

Стойкость и свобода от страха также являлись частью понятия о чести. В то время, когда особо рельефно обнаружилось жадность, жестокость, попытки оттолкнуть других нуждающихся, стремление выжить за чужой счет, именно это умение безропотно переносить все тяготы блокадной жизни, не жалуясь и не требуя ничего для себя, с благодарностью подмечалось и ценилось прежде всего. Подчеркивание стойкости таких людей обязательно сочетается с перечислением иных их привлекательных характеристик. Особенно это заметно в дневнике директора Академического архива Г.А. Князева, нацеленным в первую очередь на выявление ярких примеров самоотверженности и выполнения своего долга. Такова, например, сделанная им 7 января 1942 г. запись о сотруднице архива С.А. Шахматовой-Коплан, верующей женщине, стойко переносившей все испытания: «Она никогда не говорила много о себе. Не интимничала, но я чувствовал, что ее спасает только одно – вера»<sup>296</sup>. В другой записи, сделанной 1 февраля 1942 г., приводится следующий диалог Г.А. Князева с С.А. Шахматовой-Коплан. «На мой вопрос, как она себя чувствует, она мне ответила: „Я то что, вот о других надо позаботиться“»<sup>297</sup>.

То же стремление рассматривать стойкость как нравственный закон заметна и в прочих свидетельствах о «смертном времени». «Одна. Сохла. Не жаловалась. Ничего не просила. И сейчас не жалуется», – так описывал заводскую уборщицу в дневнике 22 марта 1942 г. Г.А. Кулагин<sup>298</sup>. Удивительно, но когда блокадники говорят о стойкости, то менее всего можно встретить в их рассказах описание железной воли, фанатизма, несокрушимой решимости, аскетичности и пафосной самоотверженности. Это обычно рассказы о близких людях, не вправленные в трафаретные формы, выработанные официальной пропагандой. Отмечается стойкость добрых, отзывчивых людей<sup>299</sup>. Они не гордятся своими поступками, но считают

---

<sup>292</sup> Левина Э.Г. Дневник. С. 148 (Запись 17 января 1942 г.).

<sup>293</sup> Там же.

<sup>294</sup> Запись рассказа цит. по: Шестинский О.Б. Голоса из блокады. С. 20.

<sup>295</sup> Стенограмма сообщения Иванова А.П.: НИА СПб И РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 53. Л. 8.

<sup>296</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 39 (Запись 7 января 1942 г.).

<sup>297</sup> Там же. С. 48 (Запись 1 февраля 1942 г.).

<sup>298</sup> Кулагин Г.А. Дневник и память. С. 147 (Запись 22 марта 1942 г.).

<sup>299</sup> «Из всех моих родных в Ленинграде оставалась только моя двоюродная сестра Вера Меркина... Очень выдержан-

естественным только такое поведение. «Да, Августа Ивановна не бросила ее, – писала М. Бубнова в дневнике 24 января 1942 г. об одной из своих сослуживиц, подобравшей на улице полузамерзшую женщину. – Она из последних сил выбивалась, но дотащила ее до нас». А в дневнике Н.Н. Ерохиной (Клишевич) эта эмоциональность, пожалуй, перехлестывает через край: «Мамуся, ты ведь исключительная женщина. Да, да, да. Не отпирайся. И вам пришлось пережить и бомбежки и артобстрелы и надвигающийся голод – все сразу»<sup>300</sup>.

Не все оглядывались на нравственные правила и не каждый случай мог быть подверстан под эти правила. Нестойкий – это тот, кто «поглощает без оглядки все съестное», не рассчитывает на завтрашний день и не имеет сил остановиться<sup>301</sup>. Нестойкий признает неумолимую силу голода и усваивает «жалобный, пониженный тон в разговоре»<sup>302</sup>. Он панически боится обстрелов, он готов идти на любые унижения ради куска хлеба<sup>303</sup>. Он допускает обман, воровство – только бы выжить.

Неприязнь к людям, утратившим понятие о чести, выражается обостренно и эмоционально. Это в почти «житийных» блокадных описаниях праведников нет жесткости. Многие же рассказы о положении в городе имеют оттенок гиперболичности: народ стал жестоким, злым, все воруют, все ходят грязными<sup>304</sup>. Такие безапелляционные обобщения – обычный прием для усиления эмоциональности высказывания, свойственный любой беседе между людьми. Но именно потому, что эта категоричность стала привычной, она помогала отчетливее проводить границы между дозволенным и запретным.

Особенно рельефно это проступает в письмах Н.П. Заветновской дочери. У матери есть подруга, добрая, отзывчивая, с которой жалко расстаться – «а остальная молодежь, живущая у нас, большие грохи [так в тексте. – С. Я.], своего не упустят и не помогут, а нороят с тебя стащить, моей посудой пользуются, со спекулянтами дело имеют»<sup>305</sup>. Описание людей без чести содержится и в более раннем ее письме, отправленном дочери 27 декабря 1941 г. Здесь мы видим то же противопоставление добрых знакомых, без которых не удалось бы выжить, и тех, кто пренебрегает моральными заповедями: «Леля большая стервоза, хоть когда-нибудь в чем-нибудь нам помогла, хлеба не купит, идет купить себе, никогда не предложит своих услуг, видя, что я лежу...»<sup>306</sup> Четкостью деления на «своих» и «чужих» отмечено и письмо Г. Кабановой тете М. Харитоновой. «Свой» – это дядя Василий, приехавший сразу, едва узнал об «этих ужасах», привезший продуктов – правда, немного, но и они ей очень помогли. «Чужие» – это те, кто бросил ее в беде: «...Ни родных, ни знакомых нет.

---

ная, волевая, внешне всегда будто бы спокойная... Очень добрый и сердечный человек, сама изрядно голодавшая, Вера всегда была со мною неизменно приветливой» (*Бочавер М.А.* Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 14); «Мама моя целый день бегаёт, все организует и в домохозяйстве и дома. Прямо пучок энергии. Где она – там радость, тепло, спокойствие, выдержка, уверенность, желание работать» (Из дневника Майи Бубновой // Ленинградцы в дни блокады. С. 224 (Запись 16 декабря 1941 г.)).

<sup>300</sup> Ерохина (Клишевич) Н.Н. Дневник. 3 октября 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 л. Д. 490. Л. 23.

<sup>301</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 6 января и 2 апреля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 50, 72 об.; см. также: Из дневника Майи Бубновой. С. 224 (Запись 20 декабря 1941 г.).

<sup>302</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 10 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 41 об.

<sup>303</sup> См. рассказ М.В. Машковой о ее соседке Фисе, у которой украли продовольственные «карточки»: «Она не раз приходила ко мне, валялась в ногах, вымаливала кусочек хлеба. Я злилась, давала ей половину своего куса... и сердилась на жадность, с какой Фиса пыталась сохранить и тряпки и жизнь» (*Машкова М.В.* Из блокадных записей. С. 476 (Запись 21 апреля 1942 г.)).

<sup>304</sup> Об этом даже говорила О. Берггольц в выступлении по ленинградскому радио: «...Нередко приходится слышать жалобы: „Ох, ну и народ у нас стал – черствый, жадный, злой“» (*Берггольц О.* Говорит Ленинград // *Берггольц О.* Собр. соч. Т. 2. Л., 1989. С. 206).

<sup>305</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 5 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 32 об.

<sup>306</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 27 декабря 1941 г.: Там же. Л. 24 об.; см. также письмо Н.П. Заветновской Т.В. Заветновской 17 декабря 1941 г.: «Эти близкие родные даже никогда не спросят про тебя»: Там же. Л. 22 об.

Знакомые мамы и папы все: кто эвакуировался, а кто и носу не жает... Так что нет человека, который бы по настоящему пожалел и помог»<sup>307</sup>.

Особое омерзение вызывали те, кто наживался на народной беде. Для многих это были именно люди без чести. Их услугами приходилось пользоваться, но таких «стервятников» (по выражению И.Д. Зеленской<sup>308</sup>) откровенно сторонились и презирали. Человек, бравший взятки у голодных ленинградцев, считался воплощением безнравственности. Этих взяточников подробно описал инженер В. Кулябко, встретив их во время эвакуации на Ладого. Ему, изможденному, шатающемуся старику, не удалось сесть в крытую машину для перевозки наиболее ослабевших блокадников. Записи В. Кулябко – это не только рассказ о пережитом унижении. Каждая строчка дневника пропитана еле скрываемым отвращением к вору обирающему несчастных людей: «Спустя час говорят, что собирается машина для больных. Вышел, встал в очередь так, чтобы сесть были все шансы. Подходит закрытая машина, с ней... начальник с какой-то своей группой пассажиров, которые под невообразимую ругань больных, стоящих в очереди, и усаживает первыми... В это время прямо ко мне подходит какой-то человек и заявляет, что может меня отправить. Я понял, в чем дело, и решил дать взятку. Спрашивает, табак есть? Я сразу заявил, что за посадку в первую же машину дам 100 г. (пачку) табака 1-го сорта. Он тут же подхватывает мои вещи... Пошли, он усадил меня около столба, сказал, чтобы я с этого места никуда не уходил... Минут через 40 приходит сам начальник, осматривается, замечает меня на условленном месте, подходит и говорит, чтобы я выходил к машине... Я сейчас же вышел с вещами, упал, что случилось... неоднократно за этот день. Подходит машина, кто-то другой по указанию начальника берет мои вещи и говорит: „Давайте пачку табака“. Отвечаю, что отдам, когда я и мои вещи будут в машине. Через минуту сам начальник открыл мне дверь, человек внес вещи, я наконец уселся, передал носильщику пачку табака»<sup>309</sup>.

Этих взяточников ничем было не пронять. Они видели, как падает, и не один раз, истощенный старик, слышали ругань – и обирали, никого не стыдясь, привыкнув ко всему. Обирали, как мародеры, снимая последнее, не брезгуя ничем. И ничего нельзя было сделать, и некому было жаловаться – это В. Кулябко увидел воочию. Какой-то блокадник от отчаяния кинулся на них с кулаками – его немедленно арестовали. И здесь же, в его записи, сгусток нарастающей ненависти и жгучей обиды: «Тогда я только понял, что все предшествовавшие машины тоже уезжали только с теми, кто в том или ином виде давал взятку... И такой человек, ведающий таким большим, ответственным, связанным с жизнью людей делом, морит сутками больных стариков, женщин, детей, только потому, что им нечем дать взятку»<sup>310</sup>.

## 7

Человек без чести обычно оценивался как таковой без смягчающих оговорок. Часто не принимались во внимание ни его немощь, ни бедствия его близких, ни последствия голода. Скажем прямо, если бы это произошло, то любые нравственные правила разрушились бы

<sup>307</sup> Г. Кабанова – М. Харитоновой. 2 апреля 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1к. Д. 5.

<sup>308</sup> Так назвала И.Д. Зеленская санитаров скорой помощи, пытавшихся вымогать деньги у мужа ее дочери за отправку в больницу (*Зеленская И.Д.* Дневник. 25 февраля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 63 об.).

<sup>309</sup> *Кулябко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 3. С. 264.

<sup>310</sup> Там же. Сведения о получении взяток от эвакуированных на Дороге жизни содержатся и в ряде других документов. См. сообщение начальника эвакуационного пункта Борисова Грива Л.С. Левина: «Имели место случаи... рвачества и мародерства среди водителей машин, отдельных работников эвакуационного пункта... когда эвакуированными давались большие деньги для того, чтобы поскорее посадить на машину и переправить на ту сторону» (Стенограмма сообщения Левина Л.С.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 77. Л. 22); сообщение работника этого же эвакуационного пункта о действиях одного из шоферов: «...С каждого человека взял по 1000 руб. денег». Он отметил также, что «брали водку, спирт» (Стенограмма сообщения Иванова: Там же. Л. 44).

с молниеносной быстротой: всему бы нашлось оправдание. Жестокость морального приговора позволяла хотя бы в какой-то степени поддерживать элементарный порядок. И.Д. Зеленскую возмущало то, что молодые, здоровые рабочие боялись идти дежурить на «вышку». Их чувства ее не интересуют: «Беспардонное шкурничество лезет из всех щелей»<sup>311</sup>. У мальчика, с которым училась другая блокадница, В. Базанова, умер отец. Сочувствия к нему нет: он сразу отвез тело в морг и даже не поинтересовался, сколько хлеба берут за рытье могилы, хотя получал продукты по отцовской «карточке». Он, к тому же, смог «разжалобить» мастера и иметь дополнительный обед и ужин<sup>312</sup>. Понять человека, который остался сиротой, она не захотела – довольно и того, что ей известно. Из этой характеристики вообще исключены все «оправдательные» мотивы. Она кажется лишь собранием низостей.

Е. Мухина записала в дневнике 21 ноября 1941 г. рассказ жившей в их семье пожилой женщины. Она стояла в очереди за вермишелью и ей не хватило – «пришла... уставшая, замерзшая, с пустыми руками». Повезло другой родственнице, находившейся ближе к прилавку: «Какая сволочь! Не могла поставить старушку перед собой...»<sup>313</sup>. О том, что могло не достаться вермишели тем, кто находился перед «старушкой», она не говорит. В рассказах о нечестных поступках всегда видишь такую непоследовательность: где-то отстаиваются общепринятые понятия о чести, где-то они искажены представлениями о чести родных, о политической и профессиональной чести. И не находили противоречий между традиционными представлениями о морали и теми действиями, которые вынужден был совершать и сам обвинитель под давлением блокадных реалий.

Вместе с тем осуждение поступков других людей побуждало решительнее, чем обычно, отмечать свои нравственные идеалы. Жестокость приговоров означала и признание за собой обоснованного права выносить их. В неприязни к аморальным людям, подспудно или явственно, проявлялся именно этот категоричный подход: «Я бы так не поступил». Улавливая порой мельчайшие отступления от этики у других, неизбежно проводили и для себя границу, которую перешагнуть было нельзя.

Е. Мухину после смерти матери приютила подруга – стараясь как-то отблагодарить ее, она ухаживала за ее отцом. За ужином ест «пустой суп»: «хлеб до вечера не дотянуть»<sup>314</sup>. Рядом на столе много хлеба, банка с сахаром. Подруга берет «большие толстые ломти и ест их, посыпав сахаром»<sup>315</sup> – каждую деталь замечает голодная девушка. С ней не делятся: «Я знаю, завидовать нехорошо, но все-таки мне кажется, что Галя могла бы мне давать в день по маленькому кусочку хлеба без всякого ущерба для себя»<sup>316</sup>. Скрупулезно подсчитывает, сколько хлеба получает подруга: собственный паек, еще паек матери, которая недавно умерла, и отца – будучи больным, он не может есть хлеб. 1200 грамм в день – неужто подруга съедает так много? Сухарей она почти не сушит, значит, складывает хлеб в шкаф, где он черствеет. Так это или не так – она не знает. Но ведь шкаф закрывается на ключ, а для чего это нужно, если не для того, чтобы прятать продукты. «Получается очень нехорошо». Она с каждым днем слабеет от голода, а в шкафу лежит и черствеет хлеб. Она говорит об этом теперь без всяких оговорок, как о чем-то реальном – усиливаясь, чувство возмущения заставляет отметить всякие предположения, способные оправдать подругу. Конечно, это чужой хлеб, да и Галя – чужой человек, но... «Я бы на Галином будь месте из жалости дала бы кусочек хлебца. Мое сердце бы не выдержало». Почему бы ей, подруге, не понять, что если чело-

<sup>311</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 24 сентября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 19 об.

<sup>312</sup> Базанова В. Вчера было девять тревог... С. 133 (Дневниковая запись 12 июня 1942 г.).

<sup>313</sup> Мухина Е. Дневник. 21 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 53 об.

<sup>314</sup> Мухина Е. Дневник. 13 марта 1942 г.: Там же. Л. 92 об.

<sup>315</sup> Там же.

<sup>316</sup> Там же. Л. 93.

век не просит, то это не значит, что он сыт: «Я ни за что первая не попрошу. Я слишком горда и самолюбива, чтобы быть попрошайкой». А ведь подруга знает, как голодает оставшаяся сиротой девушка, потому что 300 гр. хлеба в день – это очень мало, и ей, затянутой в воронку блокадного ада, тоже хочется есть, очень хочется есть, и бесконечны страдания, когда «так и подсасывает и тянет в желудке». Одно у нее желание – откликнулись бы, пожалели, помогли ей, спасли бы ее: «Боженька. Боженька, услышь меня. Я кушать хочу, понимаешь, я голодна... Господи! Когда же этому будет конец»<sup>317</sup>.

## 8

Записи Е. Мухиной выявляют ее основные понятия о чести. Она не откажется получить дополнительный суп в школьной столовой, но не будет просить хлеб у друзей – лишь согласится, если ей предложат. Ей не нужно многого – только маленький кусочек. Она не будет брать хлеб у голодных – возьмет у того, кто поможет без ущерба для себя. Программа «правильного» поведения тут возникает как прямой ответ на безнравственные поступки – чем возмутительнее они, тем сильнее потребность еще раз, и громко, подтвердить незыблемость нравственных правил. Это важно и потому, что именно они нередко давали единственную надежду выжить – не ждать же чуда в булочных, где могли выхватить хлеб, а продавцы были способны обмануть. Логика ее размышлений не замутнена ссылками на то, что ряд мотивов поведения подруги ей не известен. Ей легче создать некий монолитный образ черствого скупца и тем убедительнее подтвердить свое право называться человеком. Ее высокая нравственная самооценка подчеркнута этим эмоциональным выкриком: «Мое сердце бы не выдержало». И в таком ответе на недостойное поведение, иногда громоздком, иногда неуверенном, чувствуются незыблемые правила морали.

## Справедливость

### 1

Понятие о справедливости в еще большей степени, чем понятие о чести, упрочилось в блокадных условиях посредством придирчивого (а порой и пристрастного) наблюдения за другими людьми. Личные впечатления и слухи служили почти равноценными источниками: последним нередко доверяли безоговорочно. Люди воспринимали нравственные уроки не всегда лишь на примерах бескорыстия и благородства. Таковым не очень верили и встречали их нечасто. Пренебрежение же нравственными заповедями воспринималось более эмоционально, обостренно, сурово – вследствие этого они утверждались быстрее и прочнее.

«Вот мы здесь с голода мрем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Идена. Прямо безобразие, они там жрут... а мы даже куска своего хлеба не можем получить по человечески. Они там устраивают всякие блестящие встречи, а мы как пещерные люди... живем», – записывала в дневнике Е. Мухина<sup>318</sup>. Гневность реплики подчеркивается еще и тем, что о самом обеде и о том, насколько он выглядел «блестящим», ей ничего не известно. Здесь, конечно, мы имеем дело не с передачей официальных сообщений, а ее своеобразной переработкой, спровоцировавшей сравнение голодных и сытых. Ощущение несправедливости накапливалось исподволь. Такая резкость тона едва ли могла обнаружиться внезапно,

---

<sup>317</sup> Там же.

<sup>318</sup> Мухина Е. Дневник. 3 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 72 об. Видимо, здесь неточно передается содержание радиопередачи: И.В. Сталин дал обед не «вчера», а в середине декабря 1941 г.

если бы ей не предшествовали менее драматичные, но весьма частые оценки более мелких случаев ущемления прав блокадников – в дневнике Е. Мухиной это особенно заметно.

И такие примеры несправедливости не просто кратко отмечаются. Приводится целая цепочка причин, доказывающих их неприемлемость. Их отстаивают, находят меткие слова, даже метафоры, придают заостренность высказанным обвинениям. В дневнике Л.Р. Когана имеется запись о том, что без «больничного листа» не выдают жалование. Он не только подчеркивает абсурдность этого обычая («больной получает зарплату лишь после выздоровления, в то время как нуждается гораздо больше, чем здоровые») <sup>319</sup>, но и выражает свое возмущение едкими замечаниями. Те же приемы обнаруживаются и в дневнике В. Кулябко, узнавшего о начале «коммерческой» продажи белого хлеба. Дана жесткая оценка ее «выгод» – они кажутся сомнительными. Такая продажа допустима, если белый хлеб можно одновременно получать и по «карточкам». А если нет? Тогда «окраска» этого коммерчества «дрянная» <sup>320</sup>. Он так возмущен, что ему трудно обойтись одной фразой. Эмоциональное легче выразить простым, почти разговорным языком: «Кто имеет деньги – кушайте белый, а кто с ограниченными возможностями – может лопать черный. То же деление на имущих и неимущих» <sup>321</sup>. Дидактика этого поучения предназначена не для себя, а для других, которые когда-нибудь прочтут дневник. В. Кулябко, не скрывая, надеется на это. Тем логичнее и убедительнее будут высказаны нравственные правила: их цепочку в этом случае нельзя нарочито оборвать, она – остов назидательных поучений. Обратим внимание на фразу о неимущих: понятие о справедливости во многом упрочилось пропагандой уравнительности в предыдущие годы. О «революционном аскетизме» говорить не приходится, но чем тревожнее было время, тем быстрее заимствовались из лексикона прошлых лет категоричные нравственные приговоры.

## 2

Первый и, пожалуй, самый важный признак справедливости для ленинградцев во время блокады – это именно отсутствие привилегий. Их не должно быть – таков рефрен многих дневниковых записей того времени. Не всегда люди, так говорившие, имели силы отказаться от подобных даров, но последние обычно оказывались столь малыми, что можно было не замечать их. Отметим также, что блокадники откликались не только на те несправедливости, которые затрагивали непосредственно их, но и на те, которые касались других горожан. Тем самым сильнее обличали своего личного обидчика – он оказывался и обидчиком многих, что усугубляло его вину.

Слухи о привилегиях, очевидно, являлись столь распространенными, что о них вынужден был обмолвиться даже А. Фадеев – в сочинении оптимистичном (создавать их для приезжих не составляло трудностей) и патетичном. Рассказывая о семье двоюродной сестры, пережившей «смертное время», он отметил, что «у них не было никаких связей и знакомств, благодаря которым они могли бы получить что-нибудь» <sup>322</sup> – и это удалось опубликовать в 1942 г.

Слухи о привилегиях, упрочая представления о справедливости, нередко, как и полагалось им быть, являлись преувеличенными, но четко обнаруживали одну и ту же направленность. «Чины, по слухам, жили хорошо» – так емко сформулировала А.О. Змитриченко <sup>323</sup> основную тему не очень громких частных разговоров, отмеченных в городе. Слухи не нуж-

<sup>319</sup> Коган Л. Р. Дневник. 21 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1035. Д. 1. Л. 15.

<sup>320</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 1. С. 214 (10 сентября 1941 г.).

<sup>321</sup> Там же.

<sup>322</sup> Фадеев А. Ленинград в дни блокады (Из дневника). С. 136.

<sup>323</sup> Змитриченко А. О. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 93.



дались в доказательствах (иначе они не были бы слухами) – но важнее то умонастроение, которое они отражали<sup>324</sup>.

Ярче возмущение проявлялось тогда, когда неравенство было наглядным и очевидным для всех. Это происходило нередко при распределении премий и подарков<sup>325</sup>. Удовлетворить всех было невозможно, да и неясно, так ли уж хотели этого те, от кого здесь многое зависело. Четких критериев поощрений не существовало – доблокадная практика тут не всегда была применима. Обиженные во всем видели подвох и кумовство, и чаще прочего – корысть начальства. Иначе и быть не могло: знали, что «подарки» являлись неравноценными.

Не меньше жалоб слышалось и в столовых. Г.А. Князев замечал, с какой обидой воспринимали сотрудники Академического архива, стоявшие в длинной очереди в столовую, выдачу одним из них желтых, а другим – красных билетов. Обладатели последних могли питаться в особом отделении, где «столующихся» было мало<sup>326</sup>. Неприглядным казалось деление блокадников на особо ценных, которых надо кормить в первую очередь, и менее ценных. Обиды людей, оскорбленных тем, что их считают «мелюзгой», сказывались сразу. Д.С. Лихачев вспоминал, как его друга, литературоведа В.Л. Комаровича, опухшего и голодного, отказались пустить в академическую столовую, хотя прежде он имел на это разрешение. «Получив отказ, подошел ко мне (я ел за столиком, где горела коптилка) и почти закричал на меня со страшным раздражением: „Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба, я не дойду до дому!“»<sup>327</sup>.

Детали этой драматической сцены представить нетрудно. Сколь бы окружающие ни сочувствовали пострадавшему, но нужно было выжить и самим. По описанию Д.С. Лихачева видим, что посетители столовой молчали и старались не замечать Комаровича – любой мог подвергнуться той же участи. Не могли не отметить, как он опух от недоедания – но ни одного движения, ни слова поддержки. Выскажешь их – и надо чем-то помочь, а как на это пойти, если для них академическая столовая стала последней надеждой на спасение. Он мог бы попросить хлеба и тихо, и ему бы не отказали: Д.С. Лихачев помогал и ранее, помог и в этот день, делился продуктами и позднее. Крик – это сгусток неприязни к тем, кому выдают дополнительный паек. Почему они имеют право на это, а он нет? Крик – это и попытка испугать власти возможным громким скандалом: не бросят же ученого умирать здесь же, если у него нет сил прийти до дома, передадут его слова тем, кто дает пропуск в столовую.

«Почему не получают масло иждивенцы?» – спрашивает Н.П. Горшков<sup>328</sup>. Ведь они исполняют тяжелую работу, убирают отходы, несут трудовую повинность, чистят улицы и дворы. Иждивенцы – это и дети старше 12 лет, а им масло очень необходимо. И как его

<sup>324</sup> «В городе по-прежнему часть населения объедается, часть голодает» (*Базанова В.* Вчера было девять тревог... С. 133); «Начальство, говорят, жило лучше» (*Лисовская В.М.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 157); «О том, как жили в Смольном, бродили... в те времена, в блокаду, запретные слухи» (*Меттер И.* Допрос. С. 50). В информационной сводке оргинструкторского отдела и отдела агитации и пропаганды Ленинградского горкома ВКП(б), направленной А.А. Жданову, отмечалось, например, что в магазине № 3 Кировского района один из покупателей бросил реплику: «Хорошо Попкову речи говорить, сам наелся, а нас обещаниями кормит» (Ленинград в осаде. С. 472).

<sup>325</sup> «...Посылки от наркома... Вручены посылки сорока одному человеку. Обиженных образовалось в три раза больше» (*Кулагин Г.* Дневник и память. С. 255 (Запись 14 июля 1942 г.); «Эпопея с „подарком Академии наук“ закончилась; теперь только будут расходиться во все стороны затихающие круги недовольства обделенных или не получивших» (Из дневников Г.А. Князева. С. 62 (Запись 24 мая 1942 г.)). Неприязнь к тем, кто получил незаслуженные, как считали многие, поощрения, отразилась в «антисоветской» реплике служащей хлебозавода (кстати, коммунистки), зафиксированной в сообщении УНКВД ЛО: «Немцы все средства направили на подготовку к войне, а у нас раздают их на стотысячные премии» (Сообщение УНКВД ЛО НКВД СССР 21 апреля 1942 г. // *Международное положение глазами ленинградцев. 1941–1945.* СПб., 1996. С. 41).

<sup>326</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 25–26.

<sup>327</sup> *Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 461.

<sup>328</sup> Блокадный дневник Н.П. Горшкова. С. 88.

достать, если на предприятия не принимают подростков младше 16 лет?<sup>329</sup> Масло распределяется несправедливо – это так задело его, что он посвящает данному вопросу целый абзац в своем дневнике, больше похожем на краткую сводку погоды и обстрелов.

Негодование, однако, проявляется и тогда, когда целесообразность жестких мер не подлежит сомнению. «Кормят „рационально“ преимущественно рабочих и служащих», – отмечала в июле 1942 г. М.С. Коноплева. – «Видимо, стараются поддержать в первую очередь нужных городу работников»<sup>330</sup>. Эта часть записи еще имеет нейтральный характер. В следующем предложении оценки расставлены без всяких оговорок: «Иждивенцам предоставляется или эвакуироваться, или <...> умирать»<sup>331</sup>. «Мы голодаем и замерзаем. Кто-то спасается, получив легально особый паек... А мы – „второй категории“...», – об этом пишет и Г.А. Князев<sup>332</sup>.

Необходим ли такой порядок, когда размер пайка зависит от возраста человека, тяжести его труда, полезности его для целей обороны? С этим не спорят. Но справедлив ли этот порядок? Сколь бы разумными ни были доводы, у блокадников никогда не исчезает чувство протеста из-за того, что их ущемляют. Оно связано не с прозаичными расчетами, а с осознанием ценности каждого человека, имеющего право на жизнь, на уважение, на сострадание. Можно не один раз доказывать ему, что только так и должно поступать во время катастроф – но кто, даже согласясь, не почувствует при этом обиды, кто захочет признать себя никчемным, бесполезным, заслужившим то, что имеет?

Ощущение несправедливости из-за того, что тяготы по-разному раскладываются на ленинградцев, возникало не раз – при отправке на очистку улиц, из-за ордеров на комнаты в разбомбленных домах, во время эвакуации, вследствие особых норм питания для «ответственных работников». И здесь опять затрагивалась, как и в разговорах о делении людей на «нужных» и «ненужных», все та же тема – о привилегиях власть имущих. Врач, вызванный к руководителю ИРЛИ (тот беспрестанно ел и «захворал желудком»), ругался: он голоден, а его позвали к «пере-жравшемуся директору»<sup>333</sup>. В дневниковой записи 9 октября 1942 г. И.Д. Зеленская комментирует новость о выселении всех живущих на электростанции и пользующихся теплом, светом и горячей водой. То ли пытались сэкономить на человеческой беде, то ли выполняли какие-то инструкции – И.Д. Зеленскую это мало интересовало. Она прежде всего подчеркивает, что это несправедливо. Одна из пострадавших – работница, занимавшая сырую, нежилую комнату, «принуждена мотаться туда с ребенком на двух трамваях... в общем часа два на дорогу в один конец»<sup>334</sup>.

«Так поступать с ней нельзя, это недопустимая жестокость»<sup>335</sup>. Никакие доводы начальства не могут приниматься во внимание еще и потому, что эти «обязательные меры» его не касаются: «Все семьи [руководителей. – С. Я.] живут здесь по прежнему, недостижимые для неприятностей, постигающих простых смертных»<sup>336</sup>. И другие обращали на это внимание. В.Ф. Черкизов с раздражением писал о начальниках цехов, которые неплохо обжились в своих кабинетах<sup>337</sup>, а работница одного из магазинов даже делилась обидами с людьми

<sup>329</sup> Там же.

<sup>330</sup> Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 1 июля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 91.

<sup>331</sup> Там же.

<sup>332</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 46 (Запись 23 января 1942 г.).

<sup>333</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 461.

<sup>334</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 9 октября 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 102.

<sup>335</sup> Там же.

<sup>336</sup> Там же. См. также запись в дневнике И.Д. Зеленской 5 сентября 1942 г.: «...Если перестанем работать, получится классическая картина: начальство себя обеспечит максимально возможным комфортом, а остальные буду перебиваться и устраиваться, кто во что горазд» (Там же. Л. 98–98 об.).

<sup>337</sup> «Буфетчики приносят обед, завтрак, конечно, ненормированно» (Черкизов В.Ф. Дневник блокадного времени. С. 65 (Запись 25 марта 1942 г.)).

из очереди: «30/ХП все завыв отделов в магазине за перегородкой жарили мясо и пили вино, а нас, продавщиц, не допустили»<sup>338</sup>.

И во время эвакуации внимательно подмечали, кто пользовался преимуществами при посадке в поезд и пренебрегал строгими запретами – неразбериха с «посадочными талонами» очень этому способствовала. Так, В. Кулябко, ища отведенное ему место в вагоне, обнаружил, что тот занят «всякими „деятелями“, по преимуществу – определенного типа, причем вещей у каждого не 30 кг, как положено, а во много раз больше»<sup>339</sup>. Видимо, такие случаи не являлись единичными – недаром начальник Управления НКВД ЛО П.Н. Кубаткин в спецсообщении, направленном А.А. Жданову и М.С. Хозину 10 декабря 1941 г., передавал циркулировавшие слухи

о том, что «из города эвакуируются в первую очередь руководящие работники, их семьи и части Красной Армии, остальное население эвакуироваться не будет»<sup>340</sup>. О «разнарядке» на эвакуацию знали многие и прилагали все усилия, чтобы оказаться среди тех, кто получал разрешение выехать из города. Откуда у них могли возникнуть сомнения, что и другие не поступали так же? Д.С. Лихачев не раз отмечал в своих воспоминаниях, как директора и руководители институтов спешили первыми покинуть Ленинград – а ведь это происходило на глазах у всех.

Особое возмущение вызвала эвакуация осенью 1941 г. на заводе «Большевик». Из города вывозились только семьи руководителей предприятия. Предполагалось отправить их на барже, которая была «комфортабельно оборудована и снабжена массой продуктов (шоколад, конфеты, мука и т. д.) за счет завода»<sup>341</sup>. Ропот «общественности» был столь велик, что партком запретил отправку судна.

### 3

Понятие о справедливости, являясь одним из прочно усвоенных моральных правил (тут можно говорить не о многолетней, а о многовековой традиции), предполагало и выражение благодарности в ответ на благодеяние. Не всегда таковым мог считаться некий «материальный» подарок, и речь не шла, конечно, о четко установленных эквивалентах «обмена». Люди стремились отблагодарить, чем могли, по доброй воле, никем не понуждаемые к этому. Другое дело, что этого нередко ждали<sup>342</sup> и отмечали, когда такой порядок нарушался.

Ставший постоянным обмен благодарностями явился осью рассказа В. Кулябко об эвакуации его из города. Уезжая, он отдал ключ от квартиры семье Кузнецовых – своих знакомых. Так, наверное, было надежнее, чем, согласно инструкции, сдавать ключи в домоуправление. Так, видимо, было лучше и для его знакомого. Стремясь отблагодарить, он вызвался свезти вещи В. Кулябко на вокзал на детских санках. Кулябко, в свою очередь, снова решил не оставаться в долгу: «Поскольку с кормежкой у Кузнецовых не густо, я решил сварить и отдать Ник[олаю] Ивановичу] хорошую порцию макарон, чтобы как-то компенсировать его энергетические затраты на поход до вокзала и обратно. Он долго брыкался, но я... поставил кастрюльку на стол и твердо сказал, что назад не возьму. Накануне дал им последнюю бутылку подсолнечного масла...»<sup>343</sup>.

---

<sup>338</sup> Жилинский И.И. Блокадный дневник. С. 21 (Запись 2 января 1942 г.).

<sup>339</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 3. С. 263 (Запись

<sup>340</sup> февраля 1942 г.).<sup>2</sup> Цит. по: Комаров Н.Я., Куманев Г.А. Блокада Ленинграда. 900 героических дней. 1941–1944. Исторический дневник. Комментарии. М., 2004. С. 142.

<sup>341</sup> Стенограмма сообщения Плоткина А.Л.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 102. Л. 34.

<sup>342</sup> Худякова Н. За жизнь ленинградцев. С. 93.

<sup>343</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 3. С. 263.

Пренебрежение этим обычаем оценивалось весьма резко. Чувствовали обиду и отмечали ее в дневниках и письмах. Описание своих «даров» в них нередко оказывалось куда длиннее, чем перечисление чужих. «Она... даже не навестила нас ни разу, не предупредила. Такая свинья, папа ей помог, топил комнату, похоронил мать, нашел людей для похорон, затем вставали в 7 ч. утра, ставили ей самовар, поили утром и вечером, а она, когда увидела, что надо сообща воду таскать, удрала...», – возмущенно писала о своей соседке Н.П. Заветновская<sup>344</sup>.

Чем проще и безыскуснее люди, тем быстрее это «материальное» (и только «материальное») оказывается на первом плане. «Приземленные» бытовые ситуации, обнаженность намерений, какая-то почти детская непосредственность в изложении обид – ничто из этого, однако, не мешало блокадникам решать «последние вопросы». Причины морального выбора здесь предельно открыты – без завесы культурных догм, но в недвусмысленной четкости поставленных вопросов, на которые считают возможным дать лишь один ответ. «У нее 2 ведра капусты, а когда я от себя кусок хлеба отнимала и шла на рынок менять, то она мне даже капустинки не дала... Она приехала ко мне, я ей последнее отдавала...», – изливала А.И. Кочетова свои обиды на бабушку, оскорбившую ее<sup>345</sup>.

#### 4

Ее обижали и другие люди. И тот же каскад сумбурных возражений, отмеченных трогательной простотой, в ее письмах матери. Она жила у своей подруги Жени и дочь ее, Галя, как-то особенно невзлюбила А.И. Кочетову, «говорила, что ты нам надоела, что уйди, мама на тебя смотреть не хочет и т. д.»<sup>346</sup> Почему с ней так поступают? Это несправедливо: «От моей порции хлеб, конфетки таскала... Я же Жене помогала очень много. У нее была потерянная карточка, дак она с Галькой на мой паек жила, продукты мои тратила, когда меня дома нет»<sup>347</sup>.

В этом конфликте, где смешались и личная неприязнь, и наивная надежда на то, что подарки должны быть по достоинству оценены, с незамутненной ясностью выявилось понимание справедливости в блокадное время. А.И. Кочетова жила у подруги, потому что там было тепло, – и знала, что за это надо платить, терпеть, когда «втихомолку» едят ее хлеб. Подруга, похоже, принимала это как должное. Когда А.И. Кочетова сама оказалась на блокадном «дне» и помочь ничем не могла, исчез и повод допускать ее к чужому очагу. Детям, не усвоившим еще простых житейских правил, легче было выразить эту мысль в самых резких словах. Все просто и ясно; обида возникает из-за того, что считают обмен неравноценным.

Несправедливость могла обнаружиться повсюду – в городе не было столько хлеба, чтобы выжили все, а спастись хотел каждый.

Но было и еще одно чувство – несправедливости тех утрат, которые понесли оказавшиеся в воронке этой чудовищной трагедии люди. Почему кто-то выжил, а кто-то нет? Почему погибли самые красивые, честные, порядочные, благородные? Почему погибли те, кого любили больше всего? Почему не хватило кусочка хлеба, бутылки молока, нескольких десятков грамм масла, горсти пшена? Взвешенности оценок мы при этом не встретим – да было бы и заблуждением ее ожидать. Произносили слова жестокие, несправедливые; не спокойное размышление – крик. О. Берггольц в «Дневных звездах» описывает увиденное ею в блокадной бане тело истощенной донельзя старухи – с натуралистическими отврати-

---

<sup>344</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 9 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 35 об.

<sup>345</sup> А.И. Кочетова – матери. 24 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1к. Д. 5.

<sup>346</sup> А.И. Кочетова – матери. 9 января 1942 г.: Там же.

<sup>347</sup> Там же.

тельными подробностями, отчасти с безразличностью<sup>348</sup>. Ее соседка глядела на нее и шептала: «Мой помер, молодой, красивый, а такая живет». И еще раз повторяла в приступе охватившей ее ненависти: «Погиб, а такая живет. Вдруг только такие и останутся? За что же он погиб?» И ей не остановиться, словно ее бьет какая-то нервная дрожь: «За таких, за таких, за таких»<sup>349</sup>.

Тот же лейтмотив звучит и в дневнике М.В. Машковой. Она вспоминает о Н. Молчанове, умершем от дистрофии ее друге: «С ним ушла часть моей жизни, наиболее светлой, радостной, бескорыстной... ушел такой человек, быть может, единственный из 1500 000, светлый, гуманист, мыслитель, с такой человеческой улыбкой. Такая умница»<sup>350</sup>. Чем сильнее чувство невосполнимой утраты, тем более неприязненно описываются те, кому удалось уцелеть в этом кошмаре. Ни о какой объективности здесь и речи быть не может. Уход близкого человека отчетливее выявляет чуждость других людей, далеких от нее и безразличных к ней. Неутихающая боль способна только усилить это чувство: «Останется и выживет такое хамье, такое хамье. Что же это такое?»<sup>351</sup>

«Добрые люди мрут, а сволочи здравствуют», – заметил В.С. Люблинский, встретив одного из своих знакомых, литературоведа, в «барской шубе» и шапке. Тот съел трех котов, нигде не работал, а уезжать из города не желал. Оценка «сволочи» четка и кратка: это тот, кто готов, не стесняясь и не замечая унижений, идти на все, чтобы выжить, не хочет это делать честным трудом и настолько ко всему привык, что и не думает как-то изменить свою участь. Есть и другие критерии, более страшные. Продолжением этой записи является рассказ о каннибализме: «Только что с помощью милиционера арестовал на Невском человека, везшего распиленный труп и публично признавшегося, что на студень»<sup>352</sup>.

## 5

Блокада физически уродовала людей, и это очень заметно, когда сравниваешь довоенные и послевоенные фотографии одних и тех же горожан. Это не то похудание, следы которого быстро исчезают после улучшения питания. У многих лиц – необратимо деформированные черты, смещенные пропорции, перекошенные мышцы. Особенно тяжело это было женщинам. Длительная голодовка вызывала у них гормональные нарушения: начинали расти усы и борода. Из-за цинги выпадали зубы. Прокопченная «буржуйками», обмороженная лютой зимой кожа лица – несмываемое клеймо блокады. Прежней красоты, обаяния – не вернуть; нередко они выглядели старше своего возраста на 10–15 лет<sup>353</sup>. «Увидели скелеты, обтянутые кожей. И все с хвостиками», – вспоминала о посещении бани З.С. Травкина<sup>354</sup>.

Рядом те, кому удалось этого избежать. Они или работали на «хлебных» местах, или приехали в город после «смертного времени». Веселые, привлекательные девушки – на них оглядываются, с ними знакомятся, их всюду приглашают. И обходят стороной изможденных, утративших стройность, гибкость, очарование женщин – неповоротливых, опухших, в грязных кацавейках или ватниках..

<sup>348</sup> Берггольц О. Встреча. С. 241.

<sup>349</sup> Там же.

<sup>350</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 17 (Запись 18 февраля 1942 г.).

<sup>351</sup> Там же.

<sup>352</sup> Люблинский В.С. Бытовые истории уточнения картин блокады. С. 157.

<sup>353</sup> Н.Е. Гаврилина вспоминала о своей матери: «Выглядела она страшно в свои 35 лет, настолько, что в трамвае пожилые люди уступали ей место» (Гаврилина Н.Е. Воспоминания о блокаде: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 150. Л. 12). См. также письмо Н.П. Заветновской– Т.В. Заветновской 5 февраля 1942 г., где описывалась одна из ее знакомых: «...Была молодой женщиной, а в 2 недели сделала[сь] старухой, рот перекошился» (ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 33).

<sup>354</sup> Воспоминания Травкиной Зои Сергеевны о блокадном Ленинграде: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 149. Л. 5.

Почему? Разве они виноваты в том, что оказались в этом аду? Почему именно им пришлось испытать до дна чашу страданий, а другим – нет? Почему их молодость внезапно обрвалась здесь, в неудержимом поиске кусочка хлеба, в поедании плиток столярного клея среди стонов и криков умирающих, среди необузданных трупов, среди крыс и вшей? Такие вопросы, подспудно или явственно, часто звучали в горьких заметках переживших войну ленинградок. Отсюда и ненависть к тем, кто не был похож на блокадников, – и не интересовались, почему это произошло и кто они такие.

«Кто не похудел – тот мошенник» – афористично выразил этот настрой И. Меттер<sup>355</sup>. Временами он проявлялся весьма агрессивно. Одну розовощекую, пышнотелую девушку выгнала из бани истощенная женщина со словами: «Эй, красотка, не ходи сюда – съедим» – под смех остальных посетителей<sup>356</sup>. В дневнике Г.А. Кулагина это противопоставление здоровых и изможденных получило даже своеобразную художественную отделку. С одной стороны – убирающие территорию женщины, видимо, плохо одетые. С другой – девушки-работницы столовой – смеющиеся, одетые по-весеннему, в коротких юбках, ярких джемперах, «порхающей походкой» пробегающие мимо. «Работницы с неприязнью смотрят вслед девушкам. Какая-то женщина с землистыми провалившимися щеками и голодным горящим взглядом громко и зло говорит: „Ох, я бы таких...“ Смеется, шипит, ругается вся грязная цепочка»<sup>357</sup>. Девушки убежали, но не сразу успокоился «потревоженный муравейник голодных женщин»<sup>358</sup>.

Сюжет рассказа прост и его персонажи, кажется, не избегли и утрировки, лучше обнаружившей их различия. Открытой и понятной мотивации у таких поступков нет. Следствием лишь возрастных и бытовых конфликтов их трудно признать. Это скорее своеобразная форма протеста против нарушений справедливости, смысл которых еще не до конца ясен. Где счастливицам удалось спастись – в другом городе или на расположенной рядом кухне – не так и важно. Возмущает другое: почему кто-то прибег к средствам, не доступным для прочих, и значит, бесспорно, недостойным. Следуя этой логике, можно утверждать, что само благоденствие во время осады – явление аморальное. О справедливости такого мнения говорить сложно, но оно помогало упрочить нравственные правила – и как средство порицания более удачливых, заставлявшее их в какой-то мере оглядываться на испытывавших страдания людей<sup>359</sup>, и как прием оправдания тех, кто не готов был признать себя неудачником и кому легче было объяснить свое положение строгим соблюдением моральных заповедей.

## 6

Не стеснялись и не придерживались декоративных приличий. Все обнажено, видно всем, проверяется всеми, поправляется немедленно. Свидетельства разрозненны и фрагментарны, но обнаруживают общие приемы, делавшие справедливость особенно наглядной. Это публичность и тщательность дележа продуктов.

На глазах у всех делили хлеб в семье, иногда даже с помощью линейки<sup>360</sup>. Д.С. Лихачев вспоминал, как садясь за стол, его дети «ревниво следили, чтобы всем было поровну»<sup>361</sup>. В

<sup>355</sup> Меттер И. Избранное. С. 109.

<sup>356</sup> Берггольц О. Встреча. С. 240.

<sup>357</sup> Кулагин Г.А. Дневник и память. С. 185–186 (Запись датирована апрелем 1942 г.).

<sup>358</sup> Там же.

<sup>359</sup> См. письмо В.С. Люблинского, работавшего помощником начальника штаба МПВО Куйбышевского района: «...Я оказался соседом за столом с нашим комиссаром... Он сконфузился диспропорцией нашего с ним меню (200 г перловой каши плюс 10 г сливочного масла: 300–350 г той же каши + 30–40 г сливочного масла плюс три хороших куска жареного мяса плюс белый хлеб без нормы) и положил мне на тарелку кусок мяса...» (В.С. Люблинский – А.Д. Люблинской. 7 июля 1942 г. // В память ушедших и во славу живущих. С. 238).

<sup>360</sup> Змитриченко А.О. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 92.

булочных, в магазинах и других пунктах, где выдавали продукты, контроль со стороны покупателей был еще более строгим и придирчивым. Поводы для этого, и весьма основательные, имелись. В булочной, где пришлось побывать М. Пелевину, «взвешивался хлеб под настороженными голодными взглядами до мельчайших крошек»<sup>362</sup>. О таких же случаях говорили и другие очевидцы блокады. «Ревниво следили при свете коптилок за весами», – вспоминал Д.С. Лихачев<sup>363</sup>, и заметим, нередко враждебное внимание к манипуляциям людей, выдававших хлеб, стало обычаем. М.А. Сюткина, бывшая парторгом одного из цехов Кировского завода, описывает, как здесь получали продукты: «Вы представляете, что в комнате! Вот все эти рабочие смотрят. Даже глазам не верят, что это такой кусок хлеба, и причем каждый боится за каждую каплю хлеба»<sup>364</sup>.

Особенно недоверчивыми были посетители столовых. Скрупулезно проверяли вес порций – опасались, что в кашах и супах меньше тех граммов крупы, которые полагались им по продуктовым талонам. Проверяли, кто чем мог, никого и ничего не стесняясь. Это делалось порой грубо, но иного выбора не было: ставкой являлась жизнь. «Кашу взвешивали на весах на тарелочке, а потом перекладывали в другую тарелку, и мы с жадностью смотрели, чтобы все выскоблили с тарелки», – вспоминала работавшая на заводе 14-летняя В. Соловьева<sup>365</sup>. Другие школьники в столовой «проверяли порции на весах» – рассказавший об этом В.Г. Григорьев извинял их поступок тем, что они долго голодали<sup>366</sup>.

В столовой Дома Красной Армии суп делили ложками<sup>367</sup>, «жадным и ревнивым взглядом» следили за поварихой, раздававшей «кишковые котлеты» в столовой Союза художников<sup>368</sup>.

Этот далекий от деликатности пристальный и «ревнивый» взгляд, постоянно отмечаемый свидетелями блокады, заставлял, однако, строже придерживаться нравственных норм. Можно говорить о его пристрастности, но ведь иначе трудно было придать прочность моральным правилам: не было бы той силы окрика и бескомпромиссности порицаний, которые их поддерживали. В представлениях о равенстве и справедливости вообще было много и жестокости, и неуступчивости. Обвинения порой кажутся причудливыми и непонятными – но важнее было то, что они поддерживали нравственный канон.

Что могло удержать от желания поживиться за счет других, грубо оттолкнуть их, добыть для себя, и только для себя, продукты, недоступные многим? Милиция? Ее редко кто видел на улицах в «смертное время». Партийные и комсомольские комитеты? Вряд ли они умели следить за каждым домом и каждой семьей.

Было бы преувеличением считать представление о справедливости прочным заслоном против распада человеческой личности в первую блокадную зиму. Для этого нужны и другие условия. В блокадной «уравниловке» тоже можно было обнаружить много несправедливого. Но еще опаснее являлось разделение людей на ценных и не очень ценных: искушение отнести себя к последним способно было подтачивать традиции взаимопомощи и сострадания. Когда люди чувствовали, что именно здесь, в этом кошмаре, кто-то пытается жить лучше

<sup>361</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 487; см. также: Максимова Т. Воспоминания о ленинградской блокаде. С. 39.

<sup>362</sup> Пелевин М. Повесть блокадных дней: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 36. Л. 26.

<sup>363</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 471.

<sup>364</sup> Цит. по: Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. С. 94.

<sup>365</sup> Соловьева О.П. Воспоминания о пережитой блокаде юной защитницы города Ленинграда. (1941–1945 годы): ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 25. Л. 8; см. также запись в дневнике Г. Кулагина о заводской столовой: «Начинаешь коситься на тарелки соседей, которые еще не успели отобедать, и всегда кажется, что им дали больше, чем тебе» (Кулагин Г. Дневник и память. С. 150 (Запись 23 марта 1942 г.)).

<sup>366</sup> Григорьев В.Г. Ленинград. Блокада. 1941–1942. СПб., 2003. С. 46.

<sup>367</sup> Молдавский Д. Страницы о зиме 1941–42 годов. С. 355.

<sup>368</sup> Быльев И. Из дневника. С. 333.

и выглядеть красивее, требование равенства приобретало особый смысл. Оно не являлось лишь частью этикета. Оно стало условием выживания в эпоху хаоса и обесценивания человеческой жизни – к чему еще обращаться, если не к чести и порядочности людей.

Скрупулезный подсчет льгот и привилегий не заглушил, однако, чувства сострадания к обездоленным и голодным. Имеются десятки свидетельств о том, как бескорыстно отдавали последний кусок хлеба, как стремились в первую очередь накормить больных и немощных. Эти поступки нередко совершали те же люди, которые особенно часто выступали за соблюдение справедливости в распределении пайков. Справедливый человек не мог не считать себя благородным, а значит, и пройти мимо бедствий других. Справедливость неотделима от милосердия. Обиженный человек говорил не только о себе, но и от имени всех. Во время блокады возникало немало запутанных житейских ситуаций, когда спасали, не задумываясь над тем, справедливо или несправедливо при этом поступают. Понятие справедливости не сводилось лишь к равному дележу хлеба, к определению очередности дежурств и числа обязанностей. Оно являлось более глубоким, полнее отражающим масштабы трагедии. Не педантичное «уравнивание», а понимание, что нельзя требовать от истощенных людей тех же усилий, которые прилагали другие, не брезгливое разделение ленинградцев на тех, кто сопротивляется, и тех, кто утратил стойкость, а помощь самым слабым, не назидание раздавленным свинцовой тяжестью блокады, а сочувствие им.

## Милосердие

### 1

Одно из главных проявлений чувства милосердия – сочувствие пострадавшим людям: слабым, беспомощным, не способным постоять за себя. Это, прежде всего, сочувствие к детям и подросткам – конечно, имевшее определенные границы, но во многих случаях позволявшее проводить черту милосердия, за которую не переступали. «Этот хлеб предназначен для детей» – таков был наиболее действенный аргумент, когда надеялись противостоять чьим-либо корыстным побуждениям. Этими словами подростку Л.П. Власовой удалось остановить милиционера, проверявшего ее сумку и пытавшегося поживиться ее хлебом. Разговор был коротким: «...Заорала на него: „Там дома мама, сестренка...“... Он: „все, все, все“»<sup>369</sup>. Может быть, он просто испугался ее напора, но примечательно, какие доводы она привела – не выдумывая их, но обращая внимание только на них в драматической и требующей быстрой смекалки ситуации.

«Хлеб для детей» – эта фраза воспринималась иногда как пароль, воскрешая привычные для цивилизованного общества традиции. Трудно иначе объяснить случай, произошедший однажды около Нарвских ворот. Санки с новогодними подарками, предназначенными для детского дома, перевернулись, из свертков посыпались соевые конфеты. Зрелище было необычное по блокадным меркам. Начали останавливаться прохожие. Перевозившая подарки женщина-экспедитор собирала конфеты и, заподозрив недоброе, размахивала руками, надеясь не допустить их расхищения.

«Это для детдомовцев», – крикнула она. Можно было и не говорить этого, потребовать отойти, угрожать наказанием, даже просить о помощи – но первые слова, найденные ею, были именно такими. И произошло то, что она ожидала: «Внезапно люди в передних рядах

---

<sup>369</sup> Интервью с Л.П. Власовой. С. 70.



окужили санки, сомкнулись, *взявшись за руки* [курсив мой. – С. Я.], и стояли до тех пор, пока все не было собрано и упаковано»<sup>370</sup>.

Рассказ, пожалуй, патетичен, но обращает внимание обилие подробностей. «Взявшись за руки» – характерный жест, показывающий и решимость не допустить, чтобы дети были обделены, и понимание того, сколько людей все же способны совершить такой поступок – а это никак нельзя было использовать для лакировки блокадной повседневности. Детей в ДПР и детдомах обворовывали, могли оставить без надлежащего ухода, без простынь и кроватей – это случалось не раз. Но едва ли в то время было что-то более оскорбительным, чем обвинение в краже хлеба у ребенка. При чтении дневников и писем видно, что это задевало острее прочего. На такие поступки сразу обращали внимание, негодовали, высказывали презрение к тем, кто их совершал.

В свидетельствах детей и подростков, потерявших родителей или оказавшихся на краю гибели, есть одна деталь, которой, похоже, они сами не придавали особый смысл, хотя ее стоит признать закономерной. Это отзывчивость чужих людей, узнавших

о постигшем детей горе. Первое движение их было самым благородным, – правда, не всеми и не везде оно могло быть долго сохранено. Так, одна девочка, которая потеряла почти всех родных, чтобы не умереть от голода, понесла на рынок оставшиеся у нее вещи. Ей, вероятно, удалось совершить выгодный обмен. Но отмечена ею не удачность сделки, а доброта в чем-то ей помогавших на рынке людей: по ее словам можно догадаться, что она рассказывала здесь о своей беде<sup>371</sup>. Рассказ М.В. Машковой о встрече на улице со знакомым ей мальчиком обрывается его словами о том, как он голодает. Из следующих ее дневниковых записей мы узнаем, что подростка накормили обедом в ее семье<sup>372</sup>.

Мы видим, как ставшие сиротами или брошенные родителями дети и подростки получали приют в чужих семьях, и неизменно ими отмечалось, как подкладывали им иногда куски хлеба и мяса. Пытались утешить оказавшихся в беде, взять под свою опеку – хотя нередко только в первые дни после трагедии. И это чувство сопереживания при виде детских страданий отмечено не один раз. Читая дневник инженера Л.А. Ходоркова, видишь, как он, словно по кругу, вновь и вновь возвращается к теме смерти детей. Боль не отпускает его: «Если ребенок высокого роста, ему подгибают ноги, притягивают их веревкой к бедрам, чтобы тело уместилось на небольших санках»<sup>373</sup>. Такие же чувства испытывали и другие люди – и они стремились хоть как-то помочь детям. Один из блокадников отдал свою порцию за книгу М.Ю. Лермонтова, которую «протягивал мальчик, прося пайку хлеба»: «И мне его стало очень жалко, у него очень голодные глаза были и я решил, что один день перетерплю»<sup>374</sup>. Случай уникальный, но разве не была книга блокадных «трудов и дней» собранием таких же необычных историй, где, несмотря на запутанность эпизодов и развязок, не могли остаться незамеченными проявления подлинной человечности.

«„А ты есть хочешь?“ – „Хочу“... Посадил меня в комсоставскую столовую... отдал свой обед. Сидел и плакал... Потом рассказали, что у него двое детей были в оккупации» – таким запомнился школьнице Г.Н. Игнатовой тот день, когда ей неожиданно удалось подкормиться<sup>375</sup>. У шестилетней девочки Е. Тийс надежд было еще меньше. Рядом с домом, где она жила, находился дрожжевой завод, откуда ежедневно вывозили патоку. У ворот машины встречали дети, ожидая, что им что-то перепадет. Случалось это крайне редко, лишь иногда

<sup>370</sup> Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. С. 36.

<sup>371</sup> Она рассказывала позднее, что встретила «сочувствие чужих людей к себе, когда меняла вещи из дома на кусок хлеба» (Степанова (Кабанова) Г. М. Автобиография: РДФ ГММОБЛ. Акт. 49–55).

<sup>372</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 20.

<sup>373</sup> Ходорков Л.А. Материалы блокадных записей. 13 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 13.

<sup>374</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 232.

<sup>375</sup> Интервью с Г.Н. Игнатовой. С. 256.

рабочие, «не устояв, черпали ковшом из бочки патоку и делили ее в протянутые кружечки». Девочка тоже стояла с кружечкой, но в стороне. Спас ее и мать, умиравшую от голода и цинги, незнакомый человек – шофер. Она так и не узнала его имени и потом не встречала его. Обычно испытывают особую жалость и симпатию к тем, кто не требует категорично, не просит прямо, не кажется наглым, а выглядит робким, застенчивым: «...Стал меня расспрашивать, почему же я не бегу за патокой. Я рассказала о маме, которая не поднималась. Он дал мне патоки, а на следующий день привез маленькую сосну и объяснил, как я должна заваривать хвойные иголки и поить маму. Через пару дней он привез котелочек „хряпы... велел понемногу давать маме»<sup>376</sup>.

Истощенным детям порой прощалось то, что обычно сурово пресекалось в «смертное время». Одна из блокадниц рассказывала, как мать сажала ее за стол, где обедали военнослужашие. Она надеялась, что ее дочь из жалости кто-то покормит. С девочкой никто не делился. Может, считали, что для нее тоже принесут обед, может быть понимали, чего от них ждут, но не хотели помогать. Один из посетителей, имея два «крупяных» талона, получил за них две порции макарон. На ребенка он внимания не обратил. Голодная девочка, на глазах у которой до этого съели не одну порцию, терпеть больше не могла. Молча и тихо она придвинула к себе вторую тарелку с макаронами и начала есть. Военнослужащий, возможно, полагал, что это ее порция, и вскоре попросил официантку принести ему вторую тарелку. «Разве девочка не с вами?», – спросила официантка. Военнослужащий, видимо, все понял, встал и молча вышел<sup>377</sup>.

Эта история, какой бы уникальной она ни была, обнаруживает одну примечательную деталь. Не очень охотно делились, или не делились вовсе с нуждающимися незнакомыми людьми, но когда были принуждены к этому, признавали, хотя и молча и, вероятно, с досадой, моральное право и другого на получение безвозмездной помощи. Если бы перед девочкой находились истощенные блокадники, эта история закончилась бы во многом иначе – раздались бы крик, ругань, плач. Здесь же за одним столом сидели тот, у кого имелась возможность получить две порции «на второе», и та, кому это казалось недостижимой мечтой. Моральная норма осознается с трудом, но подтверждается – и тем, что это ребенок, и тем, что он хочет есть, и тем, что кто-то может питаться сытнее, чем изможденная девочка. Необходимость нравственного выбора в то время, когда все обнажено и нет возможностей оправдаться, является неизбежной.

## 2

Конечно, между чувством сострадания к детям и делами тех, кто их жалел, дистанция бывала иногда длинной. В дневнике главного врача поликлиники и заведующего райздравотделом немало слов сочувствия к невинным жертвам блокады: «Насколько старше своих лет стали дети! Сколько страданий они перенесли! В каком морально подавленном состоянии проходит их детство. И никогда этой травмы не вытравить из их сознания, с ней они проживут всю жизнь»<sup>378</sup>.

Но вот его дневниковые записи, относящиеся к «смертному времени». Из них мы узнаем, что его послали проверять ясли. Место это было «хлебное», терять работу здесь никому не хотелось, а недостатков можно было обнаружить немало. Проверяющего повели

---

<sup>376</sup> Туйс Е.С. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 241.

<sup>377</sup> Архив Центра устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

<sup>378</sup> Будни подвига. С. 60.

в столовую... Постыдности того, что произошло, он даже не чувствует: «Меня покормили... Ох, как это приятно! Зарядка на весь день»<sup>379</sup>.

Это человек не жадный и не жестокий. Он часто заботится о матери, делится с ней пайком. Он не благоденствует и, вероятно, действительно испытывает боль, видя несчастных, истощенных детей. Но перед искушением ему не устоять. Запись 1 февраля 1942 г.: «Хочу переехать на новое место жительства. В этих условиях надоело. Грязно, место для отдыха превратили в хлев... Возможно, устроюсь в яслях»<sup>380</sup>. Запись 6 февраля 1942 г.: «Прикрепился на питание в ясли. Первые дни показали, что это значительно лучше, чем питание в столовой райкома. Подкрепляю свои силы»<sup>381</sup>.

Эти строки трудно комментировать. Приведем лишь еще одну запись, появившуюся в дневнике 2 марта 1942 г.: «Люди гибнут сотнями, тысячами в день. Как помочь, что сделать для спасения человеческих жизней»<sup>382</sup>.

Он не мог не понимать, что, угощая его, брали хлеб голодных детей, что даже отдавая свои продовольственные талоны в зачет обедов, он, как начальник, которому стремятся угождать, получит более обильную порцию за их же счет, что хорошие условия в яслях созданы для тех, кто получает мало хлеба, а не для улучшения питания чиновников<sup>383</sup>.

Даже пристально наблюдающий за собой человек мог, как это видно из блокадных документов, то ли нарочито, то ли подсознательно отделять свои чувства от своих поступков, им противоречивших, не признавая их прямую связь. Слово его поступок вообще не мог оцениваться ни по какой шкале. Обратим внимание, как скупое, трезвое, без оправданий и без пафоса отмечаются нарушения морали в личных документах, авторы которых в иных случаях обычно склонны к патетике.

В сострадании отражена совокупность нравственных правил, которые нередко «отключались» в сознании людей, если препятствовали выживанию, но при этом не исчезали полностью. Они делали даже очевидно корыстные действия более «цивилизованными». Мало кто сумел бы устоять перед искушением получить лишний кусок хлеба, но при этом стремились соблюдать хотя бы малейшие приличия. Вряд ли кто посмел бы беззастенчиво и жестоко, ни на кого не оглядываясь, вырвать этот кусок из рук обессиленных. Но не на глазах же у всех забирают у плачущих детей хлеб, не говорят же открыто и с укором, из остатков чьей еды приготовлено угощение для ревизоров. Тогда, может быть, и не спрашивать, откуда это взялось, промолчать, уверить себя, что это обычное дело – так спокойнее, так легче.

### 3

Одно из проявлений милосердия – понимание того, что от изможденных людей нельзя требовать многого, что нужно и должно пренебречь служебными и иными инструкциями, если речь идет об их спасении. Представление о том, что людей, находившихся на грани распада и опустившихся, можно спасти только жесткой дисциплиной и принуждением к труду, было широко распространено в те дни. Но часто все же принимали решения, отличавшиеся

---

<sup>379</sup> Там же. С. 134.

<sup>380</sup> Там же. С. 140.

<sup>381</sup> Там же.

<sup>382</sup> Там же. С. 124–125.

<sup>383</sup> Возможно, такое «кормление» высокопоставленных лиц имело место не только в этих яслях, но и в других детских учреждениях. Л.М. Лотман, работавшая в детском доме, рассказывала, что после проведения там конкурса рисунков его экспертов, руководителей Союза художников, пригласили на «праздничный ужин и чай». Для участия в беседе с ними отрядили двух наиболее образованных воспитательниц (в числе их была Л.М. Лотман), предупредив, что они должны «вести разговоры об искусстве, но отнюдь не принимать участие в чаепитии и трапезе» – у директора детдома имелись четкие представления о том, кого стоило кормить за счет детей, а кого нет (См. *Лотман Л.М.* Воспоминания. СПб., 2007. С. 92).

гуманностью. И учитывали положение тех, кто не мог выполнять непосильные для них обязанности, но погиб бы, не получая паек.

Отправляли в стационары или давали отпуска, когда видели, что работник падает от недоедания, сокращали время учебы в школе и меньше спрашивали учащихся, зная, как они голодают, старались реже привлекать к общественным работам тех, у кого имелись маленькие дети<sup>384</sup>. В одном из документов мы встречаем сообщение секретаря партбюро артели о том, как она давала задание «активу» обходить квартиры рабочих, кого не видели несколько недель: «Я старалась дать адрес „по пути“: девушки тоже истощены, надо беречь их силы, не посылая далеко»<sup>385</sup>.

К этому, разумеется, примешивались и иные соображения. Оценивая такие случаи, можно даже говорить о своеобразном «вынужденном милосердии». Как можно требовать от работницы «высшего героизма» или просто лучшего выполнения своих обязанностей, если она «одной рукой работает, а другой держит свою четырехлетнюю дочь» – такой вопрос задает себе И.Д. Зеленская<sup>386</sup>. Ведь девочка издергана, боится тревог, от матери не отходит ни на шаг. Другая работница вместо того, чтобы дежурить во время налета, увела руководимую ею команду в «щель» (укрытие) – и за ней тоже ходила «неотступно» десятилетняя дочь. На одном из собраний предложили снять «заведомых трусов» с работы, но ведь это, как подчеркивает И.Д. Зеленская, означает «верную безработицу и голод»<sup>387</sup>.

Те же подходы иногда проявлялись и при определении группы инвалидности. М.С. Коноплева, будучи секретарем врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК), видела, как боялись блокадники признания их инвалидами I и II степени. Мотивы были ясны. Инвалидам выдавалась продовольственная «карточка» иждивенца, что означало «медленную смерть». Эти два слова М.С. Коноплева, правда, зачеркнула в рукописи, но, вероятно, так оно и было.

Инвалидность можно было признать без особых усилий: у всех обследуемых наблюдались дистрофия, авитаминоз и «обострение на этой почве хронических заболеваний». Лиц, имевших II группу инвалидности, запрещалось брать на работу – проявляя милосердие, врачи переводили их в III группу. Субъективность выбора здесь отрицать нельзя: переводили не всех, а лишь тех больных, которых еще можно было «поставить на ноги и которые этого сами хотят»<sup>388</sup>. Прочих, похоже, не очень жалели. Как это нередко случалось во время блокады, человеческое сочувствие соседствовало тут с расчетливостью – но прием во внимание и очерствение людей, и плохо скрываемую неприязнь к «дистрофикам». Свидетельств об этом сохранилось немало. Не исключено, что так поступали и при отборе горожан для получения инвалидности в других ВТЭК. Вряд ли всех могли признать здоровыми, и приходилось точно так же искать критерии «селекции». Проводя ее, старались проявлять чувство гуманности, но она все равно оказывалась бесчеловечной, поскольку одним помогала выстоять, а других обрекала на смерть. И, скажем прямо, такой отбор стал обычным явлением в городе. Этим занимались не только во ВТЭК или в детдомах. Для эвакуации, для направления в стационары нередко стремились отбирать наиболее истощенных, хотя и не везде и не всегда придерживались этого принципа. Но что было делать, если мест в вагонах не хватало для всех, а в стационары запрещали принимать тех, кто не мог ходить без чужой

<sup>384</sup> «Многие живут в стационарах. Они приходят на работу позднее, уходят раньше и освобождены от физической работы» (Левина Э. Письма к другу. С. 206); «Многие пухнут, умирают от голода. Ослабевшим часто дают отпуска за свой счет, пусть, думаю, отдохнут» (Боровикова А.Н. Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 90). См. также: Петерсон В. «Скорей бы было тепло». С. 169–170; Олисевиц Е.Л. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 195.

<sup>385</sup> Шарыгина Е. За жизнь и победу. Из записок парторганизатора // Девятьсот дней. С. 143.

<sup>386</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 24 сентября 1942 г.: ЦГАИПД СПб.С. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 19 об.

<sup>387</sup> Там же.

<sup>388</sup> Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 22 мая 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 74–75.

помощи. Так и оставались они, самые слабые, нередко за чертой выживания – а если и спасались, то чудом.

#### 4

Проявления милосердия во время блокады были различными. Обычными являлись попытки оградить близких людей от казавшихся лишними и ненужными переживаний. От родных, тяжело больных, скрывали иногда их состояние. Увидев, что у отца температура 34,5°, и понимая, что он «живет последние дни», одна из блокадниц писала позднее, что сама «поостереглась сообщать ему об этом»<sup>389</sup>. В свою очередь, ее мать, когда ухаживала за дочерью в госпитале, старалась не говорить, что у нее самой высокая температура: «...В записках писала совершенно другую картину»<sup>390</sup>.

Письма инженера В. Кулябко сыну вообще можно признать образцом деликатности при обсуждении с родными скорбных тем – тут осторожно подбирается каждое слово. Ожидая худшего, он просил так поговорить сына с матерью: «Отдаленно в случае чего, подготовить в отношении возможностей всяких случайностей со мной, чтобы это не стало для нее неожиданным»<sup>391</sup>. Эта витиеватость фразы, отчасти ломающая ее синтаксис, никак не гармонировала с записями в его дневнике, суховатыми и, пожалуй, даже деловыми. Концентрацию «уклончивых» выражений в одном предложении нельзя не признать чрезмерной. О своей возможной гибели прямо не сказано ни слова. Найдены другие эвфемизмы, которые непосвященному трудно сразу и разгадать: «в случае чего», «возможности всяких случайностей». Он и сыну говорит намеками, не желая, видимо, излишне беспокоить и его.

Наставления и поучения были приметой блокадного времени. Чаще всего они высказывались в письмах и записках. Имело значение и их получение от родных, живших в эвакуации, с обязательными в таких случаях пожеланиями (а то и требованиями) выстоять, не падать духом и лучше заботиться о себе и о других родственниках, судьба которых была также небезразлична членам всей семьи. Эти увещевания иногда имели двойственный характер – обнадежив кого-либо, ожидали, что он точно так же будет ободрять и других, оказавшихся в более трудных условиях. Пожалуй, не менее важным являлось и то, что блокадники, призывавшие к милосердию, поучавшие и поправлявшие колеблющихся и утративших силу воли, тверже заучивали и для себя преподанные ими этические уроки. И не могло быть иначе, поскольку находили слова предельно естественные и эмоциональные, не нарушавшие естественности речи, а придававшие ей всем знакомый житейский оттенок. Моральные заповеди здесь бесхитростны и привычны, обнажена простейшая логика различения добра и зла, без оговорок и риторических «наслоений». «Ты что же... хотел сделать? Ты о себе подумал, а о ней? Нет, как ты смел об одном себе думать», – стыдила одна из женщин мальчика, схваченного ею при попытке украсть карточки у другой блокадницы<sup>392</sup>.

#### 5

Отступления от милосердия фиксировались обязательно. Не всегда точно знали, что произошло, многое домысливали сами, иногда пересказ слухов о происшествии осуществлялся по привычному, но четкому трафарету – и рождался отклик столь же недвусмысленный и безапелляционный. Поступки других оценивали именно по коду милосердия. Отступление от милосердия – это поступок следователя из НКВД, вызывавшего на допрос отца

---

<sup>389</sup> Воспоминания Н. Ширковой: Архив семьи Е.В. Шуньгиной. Запись датирована январем 1942 г.

<sup>390</sup> Там же.

<sup>391</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 1. С. 219.

<sup>392</sup> Берггольц О. Говорит Ленинград. С. 208.

О. Берггольц. Основанием являлась его немецкая фамилия: «Видимо, рассчитывая на скорое снятие блокады и награждение в связи с этим, почтенное учреждение торопится обеспечить материал для орденов. – „И мы пахали“. О мразь, мразь»<sup>393</sup>. Немилосердны, по мнению Н.П. Заветновской, действия милиционера, который «рыщет по рынкам и ловит граждан несчастных и отнимает у них последний хлеб, если куплен на деньги или много купил»<sup>394</sup>. По тому же счету она оценивает и одну из родственниц соседки: «Мало воспитанная и очень холодная, не отзывчивая»<sup>395</sup>. Аморальны, как считает академик архитектуры А.С. Никольский, действия руководителей Ленинградского отделения Союза архитекторов. Он обратился к ним за помощью, а они посоветовали покупать продукты на рынке<sup>396</sup>. «Прохвостом» назвал преподаватель географии А.И. Винокуров знакомого ему геолога, который обрадовался, узнав, что в его дом попал снаряд: среди развалин можно было быстрее раздобыть дрова<sup>397</sup>.

«Он не предложил нам даже стакан чая, хотя знал, что здесь жестокий голод» – такой запомнилась В.Г. Григорьеву сцена встречи с военным, передавшим «небольшой сверток» от отца<sup>398</sup>. И.И. Жилинский записал рассказ жены о том, как она меняла вещи на дуранду в совхозе. Ее выпроваживали всюду. Не нужны были теперь и предлагаемые за бесценок вещи блокадников, пресытились ими – слишком много незваных просителей, робких, надевавшихся, что им что-то перепадет, приходило сюда. Жена плакала: «Даже дети гонят назойливых гостей из дома, бросают в них поленья»; ее оскорбило это «отношение сытых мужиков к голодным людям»<sup>399</sup>.

Отмечали и немилосердность тех, кто пользовался бедой других людей. Несколько сумбурно выраженное ощущение обиды из-за того, что медсестры, имея лишний хлеб, скупали за бесценок вещи, можно встретить в интервью с Л.П. Власовой: «Вот была одна такая знакомая, что: „Ой, раненым помогала, я свое отдавала...“ Ну, я ходила сама, у этих медсестер тряпки свои таскала – обменивала. Ну. А она, это. Ну, я не люблю, когда люди врут»<sup>400</sup>.

Мать В.А. Алексеевой убирала квартиру директора завода «только за то, чтобы что-то где-то поесть»<sup>401</sup>. Она же в столовой мыла котлы «бесплатно, чтобы только оттуда, с этих котлов, собрать корочки... обгоревшей каши»<sup>402</sup>. Мать Г. Глуховой подрядилась разгружать машины с мукой: «Из мешков на одежду высыпалась какая-то часть содержимого. Разрешалось потом это с себя стряхнуть и взять домой»<sup>403</sup>.

Выхода у голодных людей не было, и это знали те, кто был сыт, кто избегал грязной работы, но не желал платить другим достойное вознаграждение. Зачем платить? Истощенные блокадники ради спасения себя и своих детей согласятся трудиться и за гроши, и сколько на очереди еще таких же, готовых наняться на любую работу и униженно ждавших, когда их отблагодарят: «...В госпитале меня одна попросила медсестра: „Убери вот этот кабинет, мусор, я тебе каши дам“... Я говорю: „...Я все сделала там, в кабинете-то, просили убрать“...»

<sup>393</sup> Берггольц О. Встреча. С. 362.

<sup>394</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 5 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 30.

<sup>395</sup> Там же.

<sup>396</sup> Никольский А.С. Дневник. 2 января 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 901. Л. 27.

<sup>397</sup> Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 251 (Запись 28 февраля 1942 г.).

<sup>398</sup> Григорьев В.Г. Ленинград. Блокада. С. 43.

<sup>399</sup> Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 9.

<sup>400</sup> Интервью с Л.П. Власовой. С. 81.

<sup>401</sup> Интервью с В.А. Алексеевой // Нестор. 2003. № 6. С. 49–50.

<sup>402</sup> Там же. С. 39.

<sup>403</sup> Глухова Г. И был случай... С. 221.

„Ну хорошо" И молчит. Я говорю: „Вы меня кашей хотели покормить". – „А! Да, да, да. Сейчас я вам дам кашки". И дала мне две ложечки каши. Дала. Я поела. Конечно...»<sup>404</sup>

Протест против бесчеловечности можно выявить и по интонации рассказа, оборванного на самых драматических эпизодах, и по содержащимся в нем не очень броским деталям, которые, тем не менее, выдают настрой его автора. В дневнике инженера Л.А. Ходоркова приведен следующий случай. Во время производственного совещания стало известно, что в находящейся рядом комнате умирает кочегар. Совещание продолжилось, но, вероятнее всего, обратились в столовую с просьбой как-то помочь рабочему. Описание Л.А. Ходоркова кратко: «Буфетчица. С лопающимся от жира лицом со смешком говорит: „Где тут умирающий, пусть перед смертью поест суп"»<sup>405</sup>.

У буфетчицы сострадания нет. Она, возможно, не раз видела унижающихся людей, выпрашивающих лишнюю порцию каши или супа. Нетрудно предположить, что они тоже говорили о грозящей им гибели от истощения. Похоже, такие просьбы надоели ей, явно не страдавшей от голода. В дневнике Л.А. Ходоркова нет ее прямого осуждения, но чувствуется брезгливая сдержанность в рассказе о том, как она выглядит, что говорит и о ком говорит. Это «лопающееся от жира лицо» и «смешок» – не морализаторские оценки, но и их достаточно, чтобы ощутить, как воспринимается эта неприглядная картина. Буфетчицу судить, казалось, не за что. Она воздерживается от грубости и не отказывает в просьбе. Но прислушиваются и к оттенкам ее голоса, а «немилосердность» их видна слишком явно, чтобы свидетель этой сцены мог обойтись без уничижительных характеристик. Отказывали в это время не раз, иногда и с оскорблениями, но обычно без насмешки, без омерзительной снисходительности, сдобренной примитивной театральностью.

В рассказе М. Каштелян, записанном Л. Разумовским, также нет прямых оценок. Девочке, потерявшей к марту 1942 г. отца и мать, идти, видимо, было некуда. Ее приютила «знакомая»: «За это брала себе по сто граммов с оставшейся маминой карточкой»<sup>406</sup>. Подробности блокадного жития сироты более чем красноречивы: «...Много сил потеряла, исхудала вся. Еще при отце мы варили сыромятные ремни...Двух кошек съели с отцом»<sup>407</sup>. Вряд ли этого могла не знать обиравшая ее «знакомая». О том, как жили, рассказывали в то время часто и всем, кто хотел слушать, – и ожидая, что помогут, и просто потому, что надо было кому-то выговориться. По поводу этих ста граммов, отрываемых от голодной девочки, никаких комментариев нет. Не случайно, однако, сообщение о таком поступке сопровождается описанием крайней истощенности М. Каштелян. Возможно, у «знакомой» имелись аргументы, с которыми нельзя было не согласиться, но в рассказе, записанном спустя много лет, они не приведены.

Милосердие обуславливало особую пристальность взгляда. Возмущались не только тогда, когда видели проявления жестокости. Иногда довольно было и одних подозрений – и возникал целый каскад обличений, и гипотетические поступки воспринимались как нечто, что имело место в действительности.

«Мать не слишком заботилась о нем», – расскажет позднее о пятилетнем мальчике-соседе А.В. Сиротова<sup>408</sup>. В ее повествовании отчетливо заметно, как милосердие побуждает «дистраивать» человеческие истории и придает выводам категоричность.

А.В. Сиротова увидела, как мальчик выворачивал мешок, в котором обычно приносили хлеб, и старался «из швов выбирать крошки». Сама она редко бывала дома и едва ли знала

<sup>404</sup> Интервью с М.В. Васильевой. С. 63.

<sup>405</sup> Ходорков Л.А. Материалы блокадных записей. 2 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 9.

<sup>406</sup> Разумовский Л. Дети блокады. С. 51.

<sup>407</sup> Там же.

<sup>408</sup> Сиротова А.В. Годы войны: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 60.

подробности жизни чужой семьи. Свой приговор она вынесла по одной, бросившейся ей в глаза детали. «Каково же ему приходилось, если он додумался до такого „источника питания"», – напишет она позднее<sup>409</sup>, но ведь на этот эпизод можно взглянуть и иначе. А.П. Бондаренко вспоминала, как детям разрешалось собирать крошки с телеги, перевозившей хлеб из пекарни – а в ее семье продукты делили поровну. До таких, и не только до таких источников питания «додумывались» не только потому, что кого-то обделяли или не заботились о нем. «Додумывались» все, и взрослые, и дети, когда пытались выяснить, не «завалился» ли где-нибудь под буфетом или в дыре на полу пакетик купленных в прошлом году лапши и горчицы, соли и сахара, нет ли там крошки печенья и конфет. Переставляли мебель, все перетряхивали, проверяли каждый карман старой одежды – и не раз, и всегда на что-то надеясь<sup>410</sup>.

Вместе с тем, эта готовность везде увидеть обман, алчность, стремление поживиться за чужой счет, весьма примечательна. Ею не только создавался определенный заслон против аморализма. Подробности события могли быть не ясны и даже не известны. В таком случае создавалась особая версия произошедшего, язык которой был заимствован из словаря обычных нравственных назиданий. В этой версии все детали нарочито укрупнены, а признаки распада выявлены предельно отчетливо.

## 6

Символом насилия и жестокости был фашизм. Особенно часто отмечалась безнравственность тотальных бомбежек города, гибель детей, стариков, женщин. «В приемный принесена 12[летняя] Галя Смирнова... Бедро ампутировали. Девочка в сознании. Зовет маму» – вот что видели и запомнили в эти дни<sup>411</sup>.

«Детей-то вот жаль больше всего: чем они повинны, что созданы на свет в такое время», – записал в дневнике 12 декабря 1941 г. Г.А. Лепкович<sup>412</sup>.

Обращали внимание на то, что бомбили не только военные заводы, но и больницы, жилые дома, детские учреждения<sup>413</sup>. Их уничтожение являлось для блокадников самым ярким воплощением зла. Ради чего бомбить, если не поражать военные цели? Нет на это у блокадников другого ответа, кроме такого: чтобы наслаждаться чужими страданиями, чтобы калечить всех без разбора – немощных, беззащитных, ослабевших – именно потому, что нравится калечить. Это казалось настолько диким, что одна из девочек в школе даже спросила: «А фашисты знают, сколько у нас народа умирает?»<sup>414</sup>.

И найдено было слово, которое могло показаться диковинным в устах испытывавших чудовищные лишения, но которое предельно точно отразило шкалу обычных нравственных правил горожан: «хулиганство». «Это хулиганские выходки со стороны немцев, в военные объекты они не попадают, а только [в] частные дома, да обывателей бьют», – писала дочери Н.П. Заветновская 5 февраля 1942 г.<sup>415</sup>. То же слово – «хулиганство» – и с теми же доводами

<sup>409</sup> Там же.

<sup>410</sup> См. *Черкасский М.* Два рассказа матери // Дети города-героя. С. 209; *Витенбург Е.П.* Павел Витенбург. С. 278; *Гаврилина Н.Е.* Воспоминания о блокаде: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 150. Л. 5; *Байков В.* Память блокадного подростка. С. 66; *Жилинский И.И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 8. С. 4 (Запись 30 января 1942 г.).

<sup>411</sup> *Вальтер Т.К., Пето О.Р.* «Записки выездов скорой помощи»: ОР РНБ. Ф. 1273. Оп. 5211. Л. 15 об.

<sup>412</sup> *Лепкович А.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 5.

<sup>413</sup> См. дневник М.С. Коноплевой, в котором перечислены разрушенные больницы: «Скоро не останется ни одной больницы, которую не бомбили бы немцы» (*Коноплева М.С.* В блокированном Ленинграде. Дневник: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 93).

<sup>414</sup> *Ползикова-Рубец К.* Они учились в Ленинграде. С. 67 (Дневниковая запись 18 декабря 1941 г.).

<sup>415</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 5 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 31.



мы встречаем и в дневнике Н.П. Горшкова: «Обстрел мирного населения – это не что иное, как наглое хулиганство врага, т. к. никакой пользы для себя неприятель не достигает»<sup>416</sup>.

И главное, что обличает аморальность фашистов – голод, который истребляет ленинградцев. «Разве это человечно или похоже на жизнь людей, если я живу в доме, где имеется 11 семейств, из них только одна имеет скудный запас и не голодает, а остальные 10 поочередно с голоду пухли и вообще многие, в том числе я, без палки не выходили на улицу», – отмечал в дневнике А. Лепкович<sup>417</sup>. В рассказе А.Н. Боровиковой дано описание разных этапов ее жизни – до войны и во время ее. Оно не лишено своеобразной художественной отделки, не очень виртуозной, но предельно искренней: так ярче можно прочувствовать и передать произошедшую с ней перемену. У нее было прошлое, когда она жила «как птичка», любила петь и шутить. У нее есть и настоящее – она стала молчаливой, грустной: «Вот сволочь Гитлер, что делает с людьми».<sup>418</sup>

Истощенные, искаженные холодом лица, зияющие пустоты разрушенных зданий, выброшенная и вывалившаяся из них на улицу мебель и скудный домашний скарб, неутолимое чувство голода и страдания людей, и близких, и далеких, и многое, что стало приметой «смертного времени» – все это рождало стойкое чувство ненависти. Не всегда выраженное патетично и многословно, оно отмечено в десятках блокадных документов. Его не заглушали ни рутинная ежедневная борьба за выживание, ни раздражение творившимися рядом безобразиями, ни осуждение поступков нерадивых, но сытых чиновников, воров и спекулянтов. «Я никогда не была злой. Я всем хотела сделать что-нибудь хорошее», – записала в дневнике 20 октября 1941 г. школьница В. Петерсон<sup>419</sup>. А теперь она ненавидела этих «извергов» и «сволочей»: «...Они исковеркали нашу жизнь, изуродовали город»<sup>420</sup>.

## 7

Упрочению милосердия способствовали рассказы о благородных поступках по отношению к слабым, обездоленным, беззащитным, голодным – поступках своих и чужих. Ни одна щепотка хлеба, переданная голодным, не изглаживалась из памяти очевидцев блокады. И многие ленинградские истории, сразу же занесенные в дневники, отраженные в письмах или сохранившиеся в позднейших мемуарах, – это именно перечисление подарков, и только их. Видя, как кто-то пытается помочь другим людям, стремились и сами оказывать поддержку, стыдились, сравнивая себя с тем, кто способен отдать последнее, хотя и тоже нуждался. Помогая другому человеку, неизбежно должны были еще раз проверить свои нравственные качества: жаден ли, готов ли к длительному самопожертвованию, не стремится ли оправдать аморальные поступки.

К. Ползикова-Рубец так оценила действия одного из педагогов, которая узнала о голодном обмороке в булочной преподавателя физики и обещала принести ему продукты: «Откуда она возьмет кофе, сахар? Оторвет от себя. В этом и есть подлинная забота о товарище»<sup>421</sup>.

Дидактическое оформление с пафосными концовками вообще присуще рассказам К. Ползиковой-Рубец, но те же приемы можно обнаружить и в других документах, когда отме-

<sup>416</sup> Блокадный дневник Н.П. Горшкова. С. 85 (Запись 8 марта 1942 г.).

<sup>417</sup> Лепкович А. Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 5 об.

<sup>418</sup> Боровикова А.Н. Дневник. 14 сентября 1941 г.: Там же. Д. 15. Л. 39 об.

<sup>419</sup> Петерсон В. Дневник. 20 октября 1941 г.: Там же. Д. 86. Л. 3.

<sup>420</sup> Там же. Естественным выражением этой ненависти стало и требование расплаты за совершенные злодеяния. Очень ярко оно отражено в дневнике директора промкомбината А.П. Никулина: «За все эти дела фашистским палачам не уйти от расплаты, все, все должны они залечить, восстановить, сделать заново» (Никулин А.П. Дневник. 14 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 82. Л. 29).

<sup>421</sup> Ползикова-Рубец К. Они учились в Ленинграде. С. 73 (Дневниковая запись 1 января 1942 г.).

чались случаи особо драматические или в чем-то необычные даже по блокадным меркам. В еще большей степени это стремление наделить тех, кто жертвовал собой, всеми привлекательными чертами заметно в интервью другого из блокадников. Когда началась война, ему было 9 лет. Не все он смог оценить и понять, детские впечатления, как это часто бывало, оказались встроены в рассказы взрослых, более осмысленные и глубокие.

Вавила (его ровесник) ушел в булочную и не вернулся. Мальчика нашли весной, когда город очищали от сугробов. В его «авоське» обнаружили хлеб с «довеском» – это тогда поразило всех. Свидетельством пережитого потрясения, не исчезнувшего и спустя десятилетия, может служить эмоциональное напряжение рассказа, с характерными повторами и патетическими оценками.

Начинается то, что мы имеем право назвать моральным уроком для себя. Могут возразить, что это позднейшие записи, что эти доводы принадлежат не ребенку, но зрелому человеку, что тогда, в блокадные дни, он мог и не чувствовать столь ясно смысл происходившего у него на глазах. Вероятно, он не раз возвращался к этой истории, и она постепенно приобретала в его размышлениях законченность и отшлифованность, а ее герой отчетливее становился символом нравственной высоты. Но почему же она удержана столь крепко, почему так выделена среди сотен других блокадных эпизодов, почему он и сейчас не может рассказывать о ней спокойно – а это слишком у ощутимо по накалу рассказа: «Он знал, что вот он принесет хлеба и весь хлеб разделят на троих. И этот довесочек тоже разделят. И если бы он съел этот довесочек, он бы объел мать и сестру. И вот голодный, умирающий Вавила не мог себе этого позволить»<sup>422</sup>.

В.Г. Даев был свидетелем того, как на рынке одна женщина отдала 250 г масла за килограмм дуранды. Он не знает, кто эта женщина, как она живет, почему она так поступила. Он знает другое – эти продукты несоизмеримы, масло ценится дороже. И начинается точно такое же, отмеченное нами ранее, «доистраивание», когда за каждым действием видят проявления сугубой порядочности, самого светлого, что есть в человеке, хотя и не могут этого ничем подтвердить. Если женщина имеет масло, значит, как считает он, у нее есть дети: этот продукт выдавался только по детским «карточкам». И тогда смутные догадки быстро сменяются непоколебимой уверенностью: «...Женщине, очевидно, важно было насытить своих детей... она представила, сколько блюдечек горячей каши может она приготовить из этого куска дуранды»<sup>423</sup>.

«Ест только суп, второго не берет», – отметил Ф.А. Грязнов, наблюдая за одной из посетительниц столовой. Кисель здесь дают, не требуя «карточек», и она отливает его в бидончик. «Может быть, вы попросите у официанта себе еще по порции и отдадите мне. Мне же он больше не дает. Я взяла три стаканчика», – просит она<sup>424</sup>. Ф.А. Грязнов – артист, и такие сцены воспринимает, наверное, с особой чувствительностью. Он не сомневается, что это мать, ущемляя себя, старается не брать второе блюдо за талоны, чтобы сохранить их для сына. И стаканы киселя – ему же; ради этого ей и приходится унижаться. Еще одни посетители – мать с сыном. Он видит, как она отдает ребенку половину второго, и уверен: «Она тоже голодна». Да и нет тут сытых людей: «Сын отказывается, но не очень, берет, ест»<sup>425</sup>.

И приведем еще одну историю. Она записана не полвека спустя – о ней рассказано в письме работницы ГПБ Т.И. Антонович, служившей в унитарной команде МПВО, ее подруге Клавдии 16 мая 1942 г. История обычная. В марте 1942 г. Т.И. Антонович заболела, у нее была сильнейшая дистрофия. Ей помогали («самоотверженно ухаживали», как подчеркнуто

<sup>422</sup> Там же.

<sup>423</sup> Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273.

<sup>424</sup> Грязнов Ф.А. Дневник. С. 103 (Запись 14 ноября 1941 г.).

<sup>425</sup> Там же.

в письме) друзья по команде. Она пишет, что многое пересмотрела за это время. Она увидела, что люди способны поддержать ее в трудную минуту и признала, что именно это спасло ее от гибели. Ее не выпроводили в больницу, а ведь это было бы проще – такие вещи она очень хорошо чувствует и подмечает, как и любой, оказавшийся в беде, беспомощный человек. И ее оценки доброты друзей и коллег потому безоговорочны и недвусмысленны и выражены предельно простым языком. Она исключает любую мысль о том, что все могло кончиться и иначе: «Они только сокрушались обо мне и делали все возможное, чтобы поддерживать во мне слабеющий дух и надежду на спасение»<sup>426</sup>.

И в других эпизодах взгляд блокадников всегда отмечает эти, порой мельчайшие, проявления заботы о других – иногда с пафосными оговорками, иногда весьма кратко и без всяких комментариев. В. Инбер написала об одном отличившемся пожарном, отказавшемся от награды: «Не надо мне другой премии, как только сто граммов рыбьего жира для моей жены»<sup>427</sup>. А.В. Сиротова обратила внимание на ребенка, который тащил палку в четыре раза длиннее, чем он сам. «У нас мама больная, холодно, суп сварить не на чем», – рассказал мальчик<sup>428</sup>. Врач Р. Белевская, приезжая с фронта, оставляла своей маленькой дочери плитку шоколада: «Не могу без слез вспоминать, как в такие приезды передо мной „отчитывались“: сколько от кусочка дали девочке, а сколько еще осталось»<sup>429</sup>.

Милосердие способен был заметить тот, кто и сам его сохранял, кто понимал ценность бескорыстия, кто со слезами и с волнением мог рассказывать о нем, кто готов был неоднозначный и не всегда ясный поступок представить безупречным. Увиденные им картины милосердия заставляли оглянуться и на себя, поправить, насколько возможно, смещенные блокадой нравственные опоры. Нередко мы встречаем лишь косвенные свидетельства о проявлениях милосердия, порой очень смутные – но едва ли таковые можно счесть случайными, учитывая их многочисленность.

## 8

Не все готовы были проявлять милосердие – в силу различных причин. Но случалось и такое, что могло потрясти даже чужого человека и заставить отдать крошку от маленького кусочка, которым поначалу не собирались делиться. Конечно, у каждого был свой порог милосердия. М.Н. Абросимова рассказывала об одном из рабочих, которому она дала хлеб, а находившийся рядом директор – дурандовые лепешки. Почему? Его «привели с помойки, где он ел дохлую кошку»<sup>430</sup> – и пережитый ужас заставил отдать то, что, вероятно, приготовили к обеду. Его привели «совершенно больного, слабого» – эта деталь подчеркнута М.Н. Абросимовой едва ли случайно, она сделала более настоятельной необходимость помочь ему. Его «привели» – и нетрудно представить испуганного и стыдящегося человека, не знающего, чего можно ожидать, вызывающего жалость у всех, кто его видел. И эта «помойка» – не была ли она самым ярким свидетельством падения человека, что побуждало незамедлительно протянуть ему руку.

«...Мы трое суток ничего не ели. Изголодавшийся народ страдал» – так описывал свою поездку в областной стационар В.А. Боголюбов<sup>431</sup>. Ему и его спутникам помог «товарищ», имевший 700 г крупы: «...Варил суп в котелке и нас, человек восемь, кормил... Три раза нас

<sup>426</sup> Чурсин В.Д. Указ. соч. С. 151.

<sup>427</sup> Инбер В. Почти три года. С. 174 (Дневниковая запись 4 января 1942 г.).

<sup>428</sup> Сиротова А.В. Годы войны: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 60.

<sup>429</sup> Белевская Р. Через поколения // Память. Письма о войне и блокаде. Вып. 2. Л., 1987. С. 220.

<sup>430</sup> Стенограмма сообщения Абросимовой М.Н.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 307. Л. 27–28.

<sup>431</sup> Стенограмм сообщения Боголюбова В.А.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 14. Л. 3об.

накормил»<sup>432</sup>. Отметим и другой случай. Умерла мать, брат и сестра отдали «карточку» за то, чтобы ее похоронить. Продукты кончились, они пошли к магазину просить милостыню. У его дверей мальчик заметил, как сестра «вдруг начала оседать, глаза у нее начали стекленеть»<sup>433</sup>. Их спасла женщина, вышедшая из магазина: «Спросила, что случилось, отломил от своей нормированной порции кусочек хлеба с половину спичечного коробка и сунула сестре в рот. Та проглотила хлеб, открыла глаза и ожила»<sup>434</sup>.

Г.И. Козлова, потеряв карточки, пыталась спастись, делая отвратительное варево из силоса. Это заметил парторг совхоза и дал ей жмыхов<sup>435</sup>. Очень эмоциональным является рассказ В.П. Кондратьева. Он работал в совхозе и туда в надежде подкормиться приходили блокадники. «... Пришла старая женщина сгорбленная, худая, бледное лицо в глубоких морщинах. Дрожащим голосом просит принять ее на работу»<sup>436</sup>. На такие места и в такое время лишние люди не требовались, не выделялись для них и продовольственные «карточки». И жалко ее было, и помочь было нечем. «Бабушка, у нас сейчас с работой очень тяжело. Приходите весной...», – ответил он<sup>437</sup>. Тогда и выяснилось, что «бабушке» 16 лет. У потрясенного конторщика «слезы на глазах выступили», а девушка, несмотря на начавшийся обстрел, никуда не уходила – и вновь просила ей помочь. Отец погиб на фронте, мать с сестрой умерли от голода, жизнь тети оборвалась под бомбами. И «карточки» пропали во время обстрела, и хотелось есть, и не к кому было идти – оставалось одно: просить. Лишних пайков не имелось, и рабочие руки требовались весной, а не зимой – но спасли ее: «Приняли мы эту девушку, накормили, чем смогли, выхлопотали ей рабочую карточку»<sup>438</sup>.

И понимая, что испытывали голодные люди, нередко старались с особой деликатностью предлагать свою помощь, не попрекать ею, не сопровождать ее грубостью, поскольку готовый к любым унижениям просящий человек не мог ответить на нее.

В. Адмони рассказывал, как в столовой Дома писателей один из ее посетителей, переводчик романов М. Пруста, «пытаясь пересыпать горстку сахара из тарелочки в бумажный сверток, опрокинул ее»<sup>439</sup>. Он прошел через все круги ада и нетрудно себе представить его угловатые, замедленные движения, дрожь в руках... Наверное, и неловко и тяжело было шатающемуся пожилому человеку ползать по полу, но выбора не было: «Он ничего не сказал... И после минутной паузы стал медленно собирать крупинки сахарного песка». За столом с ним вместе с В. Адмони сидел и литературовед И.Я. Берковский. И, наверное, не только потому, что хотели облегчить его физические страдания, но и для того, чтобы он не испытывал ощущения стыда, они «помогали ему как могли, чтобы от него не ушла ни одна крупинка»<sup>440</sup>.

## 9

Одним из проявлений милосердия являлся сбор подарков для солдат и шефство над госпиталями и детскими домами. Покупали бытовые предметы, теплую одежду, варежки,

---

<sup>432</sup> Там же.

<sup>433</sup> Воспоминания цит. по: *Котов С.* Детские дома блокадного Ленинграда. С. 164.

<sup>434</sup> Там же.

<sup>435</sup> *Козлова Г.И.* Мои студенческие годы (Страницы воспоминаний бывшей студентки приема 1940 г.) // «Мы знаем, что значит война...». С. 202.

<sup>436</sup> *Кондратьев В.П.* Весомый вклад // В осажденном Ленинграде. Воспоминания участника героической обороны о борьбе с голодом и создании в условиях блокады продовольственных ресурсов. Л., 1974. С. 40.

<sup>437</sup> Там же.

<sup>438</sup> Там же. С. 41.

<sup>439</sup> *Сильман Т., Адмони В.* Мы вспоминаем. С. 294.

<sup>440</sup> Там же.

полотенца. Приносили посуду, шили обмундирование и телогрейки, стирали и чинили шинели, гимнастерки и белье<sup>441</sup>. На фабрике «Большевик» даже собрали деньги для покупки баянов и настольных игр<sup>442</sup>. Многие зависело от профиля предприятия – так, среди подарков красноармейцам от фабрики «Светоч» были конверты, бумага, тетради<sup>443</sup>. Позднее, по понятным причинам, приобрел размах и сбор средств для детских домов: отдавали одежду, обувь, кровати, игрушки. Шефствуя над детдомами, помогали доставлять воду, «обшивали» детей и даже занимались их воспитанием<sup>444</sup>.

Сбор подарков начинался в соответствии с четко определенными ритуалами. Импровизации здесь были весьма редки. В одной из школ учащиеся младших классов чинили носки и чулки для госпиталя и детского дома<sup>445</sup> – понятно, что это происходило по инициативе и под руководством педагогов. «Прикрепление» предприятий и учреждений к госпиталям было делом обычным и, несомненно, оправданным. Такой порядок, конечно, не дает оснований приписывать благотворительности излишнюю «заорганизованность» и тем более принудительность. Не было у властей возможностей все проконтролировать и всех пристыдить. Дело было добровольным и в крайнем случае ограничивались только моральным порицанием. Число подарков, собранных для солдат на фронте и в госпиталях, было немалым<sup>446</sup>. Едва бы это стало возможным, если бы люди сами не шли навстречу сборщикам, понимая, что должны были чувствовать мерзнувшие в окопах военнослужащие (а среди них были и их родные), в каком положении находились сироты, и какие страдания должны были испытывать раненые<sup>447</sup>. Никакой «разнарядки» не было и довольствовались тем, что давали. Кто-то жертвовал крупные суммы денег и драгоценности, кто-то отдавал блюдо – сделать подарок обременительным зависело только от воли людей. Труднее было проводить подписки на военные займы – «добровольность» их являлась весьма условной, и не все соглашались на это охотно, хотя деньги и немного значили в «смертное время».

Воспоминаниям блокадников о сборе вещей присуща особая теплота и человечность. «... Помню, как пришли врачи из 31-й поликлиники, принесли очень искусно сшитые рукавички. Среди пришедших была и Мария Сергеевна Сергеева... Помню, как она радовалась тогда, что их рукавички понравились», – сообщала в своих записках И.В. Мансветова<sup>448</sup>. «За

<sup>441</sup> Стенограмма сообщения Абросимовой М.Н.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 307. Л. 37; Стенограмма сообщения Иванова А.П.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 53. Л. 7 об.; Стенограмма сообщения Виноградовой З.В.: Там же. Д. 24. Л. 7; Стенограмма сообщения Скворцова М.Н.: Там же. Д. 110. Л. 8 об.; Стенограмма актива домашних хозяек и домашних работников по М.-Охтинскому хозяйству: Там же. Д. 146. Л. 13; Дневник пионерской дружины 105-й школы // Дети города-героя. С. 136; Воспоминания Травкиной Зои Сергеевны о блокадном Ленинграде: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 149. Л. 6; *Витенбург Е.П.* Павел Витенбург. С. 282.

<sup>442</sup> Стенограмма сообщения Абросимовой М.Н.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 307. Л. 19.

<sup>443</sup> Стенограмма сообщения Алексеевой А.П.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 3. Л. 11.

<sup>444</sup> *Дзенискевич А.Р., Ковальчук В.М., Соболев Г.Л., Цамутали А.Н., Шишкин В.А.* Непокоренный Ленинград. Краткий очерк истории города в период Великой Отечественной войны. Л., 1985. С. 118.

<sup>445</sup> *Буров А.В.* Блокада день за днем. Л., 1979. С. 267.

<sup>446</sup> В Красногвардейском районе за 1,5 года было собрано для фронта 46 тыс. теплых вещей и 85 тыс. подарков (*Барбашина И.П., Кузнецов А.И., Морозов В.П., Харитонов А.Д., Яковлев Б.И.* Битва за Ленинград. 1941–1944. М., 1984. С. 198). 15 тысяч предметов посуды было передано в госпитали сандружинницами РОКК (*Левитская Л.И.* Стенограмма сообщения и доклад о работе Общества Красного Креста за время с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 276. Л. 16).

<sup>447</sup> См. сообщение секретаря Дзержинского райкома ВКП(б) З.В. Виноградовой: «Население не только приносило... вещи, но наши женщины занимались шитьем, вязкой теплых вещей... Шили белье домохозяйки... Одна старуха взялась вязать варежки... У нее три сына на фронте. Дом ее разбомбило, жила она на Всеволожской и вот оттуда, зимой пешком, так как транспорта не было, принесла 15 пар варежек и носков. Ей 65 лет. Представляете, из Всеволожской идти пешком! Сколько километров!» (Стенограмма сообщения Виноградовой З.В.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 24. Л. 6).

<sup>448</sup> Как отмечала в своих записках Н.В. Мансветова (депутат Совета, руководившая сбором вещей), «люди несли все, что у них было. Отдавали хорошие, дорогие вещи: валенки, варежки, теплое белье, шапки, носки, фуфайки, несли и просто шерсть» (*Мансветова Н.В.* Воспоминания о моей работе в годы войны. С. 551). Прихожане и служащие Спасо-Преображенского собора собрали около ста полотенец, бинты, теплые вещи, сделали 25 печей для госпиталей (*Шкаровский М.В.*

вечер связала неизвестному воину варежки, думаю, становится холодно, надо обогреть скорее бойцов и командиров», – записывала в дневнике 18 октября 1941 г. А. Боровикова<sup>449</sup>. Особенно трогательны рассказы людей, устраивавших на предприятиях детские дома: о том, как готовились к встрече сирот, как шили им «распашонки» в свободное время, как их везли, замерзших, в машинах – прижав к себе.

Было бы, конечно, неверным утверждать, что этот благородный порыв являлся всеобщим и безоговорочным. Не все могли помочь – из-за нищеты, недостатка времени, которое уходило на поиски пропитания, из-за истощенности и болезней. «Вопреки газетному энтузиазму, так трудно привлечь людей на это дело. Все отпихиваются и укрываются за своими делами. Приходится рассовывать отдельные задания по рукам», – жаловалась И.Д. Зеленская<sup>450</sup>. Но обратим внимание, что это было написано 7 декабря 1941 г. – тогда и началось «смертное время».

Особо следует сказать о посещениях «шефами» войсковых подразделений<sup>451</sup>. Конечно, здесь многое организовывалось «сверху» (и не могло быть иначе) и даже давались инструкции в райкоме партии, как вести себя в действующей армии<sup>452</sup> – но едва ли кто-то скрупулезно их придерживался. Человеческое, столь эмоционально проявлявшееся в таких встречах, ломало любые наставления с их «казенным» языком и заранее заготовленными сценариями. Милосердие блокадников, которые сами нуждались, но находили в себе силы собрать хоть какие-то средства на подарки и милосердие встречавших их бойцов и командиров, которые понимали, что их гости истощены и стремились их подкормить – вряд ли это можно счесть имитацией, предпринятой только по указке «ответственных работников», озабоченных демонстрацией патриотических настроений. «Один из бойцов постриг меня... Вечером мы устроили баню, мылись горячей водой», – отмечала в дневнике руководитель шефской делегации из артели «Красный футлярщик» А.П. Загорская<sup>453</sup>.

В описании А.Н. Боровиковой посещение фронта в начале ноября 1941 г. представляется и вовсе каким-то праздничным действием. Кажется даже, что она, давно отвыкшая от добрых слов, находится в состоянии некоей эйфории. Звучали на митингах и призывы к солдатам, и выступления шефов, но читая строки А.Н. Боровиковой, видишь, что все-таки главным для нее здесь было другое. Ее радостно встретили, оказывали всяческие знаки внимания, заботились о ней, приглашали от одного стола к другому, рассказывали разные истории и кормили, кормили необычайно сытно – с каким чувством позднее, в голодные, тоскливые дни, она вспоминала об этом<sup>454</sup>.

## 10

Конечно, нельзя представлять отношения блокадников и военнослужащих подшефных частей как идиллию: бывало всякое. Где-то невнимательно отнеслись к «шефам», где-то их

---

Церковь зовет к защите Родины. СПб., 2005. С. 56).

<sup>449</sup> Боровикова А.Н. Дневник. 12 октября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 65 об.

<sup>450</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 7 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 39.

<sup>451</sup> В сентябре 1941 г. в составе рабочих делегатов фронтовые соединения посетило свыше 900 человек (Справка отдела агитации и пропаганды горкома ВКП(б) секретарю горкома ВКП(б) А.И. Маханову // 900 героических дней. С. 109). В «смертное время», возможно, их число уменьшилось.

<sup>452</sup> Боровикова А.Н. Дневник. 1 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 69.

<sup>453</sup> Загорская А.П. Дневник. 28 января 1942 г.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 47. Л. 21.

<sup>454</sup> См. записи в дневнике А.Н. Боровиковой: «Посмотрела я на себя в зеркало... остались кости да сморщенная кожа. Хоть бы к Новому году послали опять на фронт к бойцам с подарками.» (Запись 14 декабря 1941 г.); «Совсем истощала. Так жрать хочу, что не знаю... Единственное утешение – как будто поеду на фронт. Тогда может быть маленько оживу» (Запись 23 февраля 1942 г.: Там же. Л. 89, 93). Едва ли эти записи являлись исключением. Так, в дневниках артистов Ф.А. Грязнова и А.А. Грязнова, дававших концерты в подшефных воинских частях, неизменно подчеркивалась надежда на то, что их здесь покормят (См.: Грязное Ф.А. Дневник. С. 118; Грязное А.А. Дневник. С. 75, 80).

не покормили, постарались быстрее выпроводить – все это отмечалось с обидой, даже если имелись оправдания. Директор ГИПХ П.П. Трофимов вспоминал, как по указанию райкома партии в одну из воинских частей направили бригаду рабочих (в их числе были и девушки) для того, чтобы они «уговорили красноармейцев не бросать поле боя». Поездка оказалась неудачной: «...Рассказали, что кругом царила такая паника, что нельзя было найти человека, который мог бы организовать эту беседу, и пришлось говорить не с бойцами, а с отдельными командирами»<sup>455</sup>. Такие случаи являлись редкими, обычно заботились, чтобы у «шефов» остались наилучшие впечатления – но все предусмотреть было невозможно.

Не столь легко удавалось и поддерживать переписку между блокадниками и бойцами на фронте<sup>456</sup>. Начинаясь она нередко по инициативе парткомов и общественных организаций – стихийным этот порыв назвать трудно. «...Нас вызовут, девчонок: „Пишите письмо на фронт вот такому бойцу, там бей врага, мы защитим город, мы вам поможем“», – рассказывала М.В. Васильева<sup>457</sup>. Она получила ответ – незнакомый ей боец просил прислать варежки, шерстяные носки и шарф. «А где я возьму, у меня нет ничего» – переписку пришлось прекратить...<sup>458</sup> Ее подруге тоже прислал ответное письмо красноармеец. Он лечился в городской больнице и просил его навестить. Идти одна она побоялась, взяла с собой М.В. Васильеву. «Нам сказали: „Вы хоть возьмите чего-нибудь“. А чего мы возьмем? Давайте, мы снесем папирос или чего». В больнице теснота и давка, девушки в испуге пятятся назад, медсестра с упреками удерживает их. «Подходим. „Здравствуйте“. – „Здравствуйте“. – „Вот мы вам папиросы принесли“. Он: „Спасибо“».

У многих страшные раны. Боец с незащитым животом пытается познакомиться с гостями: «„Ой, девочки, можно ваши адреса“». Зрелище непривычное и ужасное: «Какие там адреса! Господи!». Жалость, испуг, ощущение неловкости – эти чувства были естественными для тех, кто оказывался среди незнакомых людей, там, где быстро привыкали к боли и страданиям. В этом эпизоде видно, насколько отличалось подлинное милосердие, робкое и неброское, от позднейших глянцевого картинок. И стремление людей преодолеть одиночество, наверное, тоже сказалось здесь. С бойцом, пытавшимся познакомиться, М.В. Васильева встретила еще раз: «...Пишет мне записочку: „Приди“. Я пришла, в палату я не пошла, а около окошка стала, за трубой. Он говорит: „Постирай мне платочки“. „Ну давай, постираю“. Постирала. Пришла, а потом меня... в другое место перегнали, так что... все»<sup>459</sup>.

Переписка – дело сугубо личное, это не обмен «агитками». Как поделиться чем-то заветным с чужим человеком, как, выйдя за рамки предписанных инструкций, без патетических возгласов рассказать ему о своей горькой блокадной жизни? Это ведь не мать и не сестра и нет тут теплоты, присущей интимным письмам. Надо подбирать «правильные» слова, а так ли велик был их запас, чтобы переписка не прекратилась в одночасье. Да и у тех, кто слал письма «незнакомому бойцу», имелись любимые и друзья – разве это не побуждало к сдержанности? Один из красноармейцев писал артистке Н.Л. Вальтер: «Я и мои товарищи горячо благодарят вас, верную дочь Родины, за патриотические чувства»<sup>460</sup>. Как ответить на это словами искренними, неистершимися? Переписка, становясь «коллективной», часто превращалась в обмен благодарностями с перечнем обязательств. Это не значит, конечно, что не завязывались «почтовые романы». Отчасти в этом проявлялась и жалость. «...Получила от незнакомца Беяева Сергея Ивановича письмо с благодарностью за перчатки. Сегодня же

<sup>455</sup> Стенограмма сообщения Трофимова П.П.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 126. Л. 16.

<sup>456</sup> О переписке см.: Стенограмма сообщения Малярова Г.А.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 83. Л. 20; Стенограмма сообщения Виноградовой З.В.: Там же. Д. 24. Л. 9.

<sup>457</sup> Интервью с М.В. Васильевой. С. 63.

<sup>458</sup> Там же. С. 64.

<sup>459</sup> Там же.

<sup>460</sup> Вальтер Н.Л. Работать, бороться и победить // Без антракта. С. 205.

отвечаю ему, написала как знакомому большое, большое письмо, пусть питает желание, что мы будем встречаться», – отмечала в дневнике А.Н. Боровикова<sup>461</sup>. Возможно, так поступали и другие. Таял лед официальных обращений и письма становились исповедью, признанием в любви, излиянием самых сокровенных чувств – но как часто они обрывались, внезапно и резко, войной, эвакуацией, «смертным временем».

## Отношение к воровству

### 1

Говоря о неприязни к воровству в блокадные дни, отметим, что даже простое сравнение лиц сытых и голодных людей вызывало стойкое чувство раздражения у блокадников. «Большого неравенства, чем сейчас, нарочно не придумаешь, оно ярко написано на лицах... когда рядом видишь жуткую коричневую маску дистрофика-служащего, питающегося по убогой второй категории, и цветущее лицо какой-нибудь начальной личности или „девушки из столовой"», – отмечала в дневнике И.Д. Зеленская<sup>462</sup>.

По этой записи видно, что лица не столько сравнивались, сколько нарочито, посредством особых, почти что художественных приемов, «отталкивались» друг от друга, приобретали заостренные полярные характеристики. Маска жуткая, категория убогая – нейтральной обрисовки портретов блокадников и обстоятельств их быта нет. Не сказано ведь просто – «девушка», но именно «девушка из столовой» – намек на то, за чей счет ей удалось так хорошо выглядеть в «смертное время».

Сытых, нарядных молодых женщин со «здоровыми лицами и движениями» увидел и В.С. Люблинский: «Где они были всю зиму и раннюю весну? Что это – только разжившиеся сотрудники учреждений народного питания или подруги воинов или супруги крупных директоров и спецов не эвакуированных предприятий, зимой «не вылезавшие» из своих квартир»<sup>463</sup>. Читая эти записи, видишь, что блокадники не могли пройти мимо здорового (по меркам того времени) человека, не обратив на него внимания, не возмущаясь, не строя догадки о том, на чем основано его благополучие<sup>464</sup>. Не возникает, например, мысли о том, что ценный специалист мог по справедливости высоко оплачиваться, что пост директора требует тяжелых нагрузок, что «здоровый вид» могли иметь приезжие, командированные в город. Подозрения вызывает сослуживец, угостивший тремя пряниками<sup>465</sup> – откуда они у него и почему он так щедр, если получивший его подарок испытывает сильный голод? Другая блокадница, передавая спустя годы бытовавшие в 1941 г. слухи о причинах пожара на Бадаевских складах, считала, что «там крали все, что можно, а затем подожгли»<sup>466</sup>.

Человек, не отмеченный печатью блокадных ужасов, мог подозреваться в совершении самых отвратительных поступков. В переданной Ольгой Берггольц во второй (незаконченной) части «Дневных звезд» сцене появления цветущей молодой девушки в бане среди изможденных блокадниц, это отмечено особенно ярко: «Неслось тихое шипение отвращения, презрения, негодования, чуть ли не каждая женщина, взглянув на нее, шептала:

– Б..., б..., б...

---

<sup>461</sup> Боровикова А.Н. Дневник. 18 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 76 об.

<sup>462</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 9 октября 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 102 об. – 103.

<sup>463</sup> В.С. Люблинский – А.Д. Люблинской. 6 мая 1942 г. // Публичная библиотека в годы войны. С. 230.

<sup>464</sup> См. интервью с А.Г. Усановой: «...Идешь по улице – смотришь белый платок, шерстяной, покрашенные губы... ну торгашка, конечно, воровали они все же» (Нестор. 2003. № 6. С. 251).

<sup>465</sup> Самарин П. М. Дневник. 8 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1. Д. 338. Л. 79.

<sup>466</sup> Бездобразова А.М. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней.



- Спала с каким-нибудь заведующим, а он воровал...
- Наверное, сама воровала, крала.
- Детей, нас обворовывала»<sup>467</sup>.

Здесь происходит не только нарастание накала обвинений. Мы видим и переход (почти мгновенный) от смутных подозрений «к категоричным утверждениям. Подчеркнут и самый постыдный, омерзительный способ наживы – за счет детей. Ниже человек не может пасть – и это оскорбление равносильно унижению, которое почувствовали утратившие даже проблески былой красоты истощенные блокадницы при виде здоровой девушки. Неясно, как вообще мог быстро пресечься этот поток обвинений. Кажется, что это даже какая-то форма эмоциональной разрядки: не остановиться людям, пока не выскажутся до конца, пока бранью не дадут почувствовать их невольному обидчику, что не имеет он права гордиться своей красотой и выставлять ее напоказ среди изуродованных войной женщин.

З.С. Лившиц, побывав в Филармонии, не нашла там «опухших и дистрофиков»<sup>468</sup>. Она не ограничивается только этим наблюдением. Истощенным людям «не до жиру» – это первый ее выпад против тех «любителей музыки», которые встретились ей на концерте. Последние устроили себе хорошую жизнь на общих трудностях – это второй ее выпад. Как «устроили» жизнь? На «усушке-утруске», на обвесе, просто на воровстве. Она не сомневается, что в зале присутствует в большинстве своем лишь «торговый, кооперативный и булочный народ» и уверена, что «капиталы» они получили именно таким преступным способом<sup>469</sup>.

Неприязнь к сытым, заочно обвиняемым в воровстве, обнаруживается и в дневниковых записях М.В. Машковой. У входа в Театр музыкальной комедии 23 марта 1942 г. она увидела, как спекулируют билетами – а о спекулянтах всегда говорили с отвращением, тем более в блокадные дни<sup>470</sup>. Из других источников известно, что билеты меняли на хлеб – и это в то время, когда ленинградцы продолжали умирать от недоедания<sup>471</sup>. Одно лишь это способно было вызвать неприязнь к театральной публике: «Народ, посещающий театр, какой-то неприятный, подозрительный»<sup>472</sup>. Почему? «Бойкие розовые девчонки, щелкоперы, выкормленные военные» – вот те, кто раздражает ее<sup>473</sup>. Явно не хватает ей четких и обоснованных обвинений, но они и не нужны, если рядом замечаешь людей с землистыми, изможденными лицами<sup>474</sup>. «В куче отбросов у зад[ней] стены Алекс[андринского] театра... две женщ[ины] усердно роются» – эта картина запечатлена в дневниковой записи В.С. Люблинского несколько ранее, 27 декабря 1941 г., но ее нельзя не признать символической<sup>475</sup>.

Не нужны аргументы и А.И. Винокурову. Встретив 9 марта 1942 г. женщин среди посетительниц Театра музыкальной комедии, он сразу же предположил, что это либо официантки из столовых, либо продавщицы продовольственных магазинов<sup>476</sup>. Едва ли это было точно ему известно – но мы будем недалеко от истины, если сочтем, что шкалой оценки послужил

<sup>467</sup> Берггольц О. Встреча. С. 239–240.

<sup>468</sup> Лившиц З.С. Дневник. С. 56 (Запись 12 апреля 1942 г.).

<sup>469</sup> Там же. С. 57.

<sup>470</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 33 (Запись 23 марта 1942 г.).

<sup>471</sup> В отправленном 9 апреля 1942 г. письме начальника Управления по делам искусств Ленгорисполкома Б. И. Загурского председателю Комитета по делам искусств при СНК СССР с восторгом говорилось о посетителях театра, которые готовы были отдать за билет 400 гр. хлеба (Буров А.В. Блокада день за днем. С. 164). Красноречивым комментарием к этому может служить рассказ В. Опаховой, опубликованный в «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина. Ее дочери и сама она тогда же, весной 1942 г., будучи крайне истощенными, пытались совершить прогулки по городу, надеясь, что это несколько ослабит чувство голода.

<sup>472</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 33 (Запись 23 марта 1942 г.).

<sup>473</sup> Там же.

<sup>474</sup> Там же.

<sup>475</sup> Люблинский В.С. Бытовые истории уточнения картин блокады. С. 166.

<sup>476</sup> Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 253.

здесь все тот же внешний вид «театралов». Вряд ли эта запись так нейтральна, как может показаться на первый взгляд. Перед нами нравственная оценка. И он подтверждает ее примерами, доказывать которые считает излишним. Эти люди, продолжает он, имеют не только кусок хлеба, но многое другое. И когда же это происходит? «В эти ужасные дни, – пишет он<sup>477</sup>, – чувство неприязни еще более усиливается».

Не приводит аргументов и профессор Л.Р. Коган, сообщая об аресте девушек за подделку хлебных «карточек». Он не сомневается в том, что «такие факты невозможны без сговора с продавцами»<sup>478</sup>. Увидев, что хлеб продают на рынке целыми буханками, он спрашивает: «Откуда это?»<sup>479</sup> – но для него подобный вопрос выглядит риторическим в силу тональности других его откликов на злоупотребления.

Подросток Ю. Бодунов узнал, что одна из его знакомых не ходит в школу и чаще бывает у матери, работавшей медсестрой в госпитале – и этого достаточно: «Ей там хорошо – она кушает там»<sup>480</sup>. Д.С. Лихачев, заходя в кабинет заместителя директора института по хозяйственной части, каждый раз замечал, что тот ел хлеб, макая его в подсолнечное масло: «Очевидно, оставались карточки от тех, кто улетал или уезжал по дороге смерти»<sup>481</sup>. Блокадники, обнаружившие, что у продавщиц в булочных и у кухарок в столовых все руки унизаны браслетами и золотыми кольцами, сообщали в письмах, что «есть люди, которые голода не ощущают»<sup>482</sup>. На Г.А. Князева неприятное впечатление произвел начальник пожарной охраны, известивший его, что устроился «гастрономом»: «Сколько же он наворует, куда не попадет?»<sup>483</sup> Почему он так решил? Довольно посмотреть на лицо новоиспеченного «гастронома»: «Рожа у него была противно-хитрая, ухмыляющаяся»<sup>484</sup>.

И так было всегда. «Сыты только те, кто работает на хлебных местах» – в этой дневниковой записи 7 сентября 1942 г. блокадник А.Ф. Евдокимов выразил, пожалуй, общее мнение ленинградцев<sup>485</sup>. В письме Г.И. Казаниной Т.А. Коноплевой рассказывалось, как распонела их знакомая («прямо теперь и не узнаешь»), поступив на работу в ресторан – и связь между этими явлениями казалась столь понятной, что ее даже не обсуждали<sup>486</sup>. Может быть, и не знали о том, что из 713 работников кондитерской фабрики им. Н.К. Крупской, трудившихся здесь в начале 1942 г., никто не умер от голода<sup>487</sup>, но вид других предприятий, рядом с которыми лежали штабеля трупов, говорил о многом. Зимой 1941/42 г. в Государственном институте прикладной химии (ГИПХ) умирало в день 4 человека, на заводе «Севкабель» до 5 человек<sup>488</sup>. На заводе им. Молотова во время выдачи 31 декабря 1941 г. продовольствен-

<sup>477</sup> Там же.

<sup>478</sup> Коган Л.Р. Дневник. 10 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1035. Д. 1. Л. 7.

<sup>479</sup> Там же.

<sup>480</sup> Ю. Бодунов – родным. 16 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 к. д. 5.

<sup>481</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 482.

<sup>482</sup> Спецсообщение начальника УНКВД ЛО 5 сентября 1942 г. // Ленинград в осаде. С. 436–437.

<sup>483</sup> Князев Г.А. Из дневников Г.А. Князева. С. 58 (Запись 5–6 марта 1942 г.).

<sup>484</sup> Там же.

<sup>485</sup> Евдокимов А.Ф. Дневник. 7 сентября 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Д. 30. Л. 107. Не случайно, что об этом говорили даже дети. Так, М.А. Ткачева (1930 г. р.) отмечала, что ей очень нравился мальчик, который «отличался от всех, был цветущим на фоне всех нас». Однажды школьников попросили рассказать о своих родителях. «...Вова встал и сказал: „Моя мама работает в столовой“. С ним даже не разговаривали несколько дней» (Интервью с М.А. Ткачевой // Нестор. 2003. № 6. С. 235).

<sup>486</sup> Г.И. Казанина – Т.А. Коноплевой. 19 октября 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 4. Л. 2 об.

<sup>487</sup> Бидлак Р. Рабочие ленинградских заводов в первый год войны // Ленинградская эпопея. Организация обороны и населения города. СПб., 1995. С. 183.

<sup>488</sup> Дзенискевич А.Р. Накануне и дни испытаний. Ленинградские рабочие в 1938–1945 гг. Л., 1990. С. 88; Стенограмма сообщения Трофимова П.П.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 126. Л. 20.

ных «карточек» скончалось в очереди 8 человек<sup>489</sup>. Умерло около трети служащих Петроградской конторы связи, 20–25 % рабочих Ленэнерго, 14 % рабочих завода им. Фрунзе<sup>490</sup>. На Балтийском узле железных дорог скончалось 70 % лиц кондукторского состава и 60 % – путейского состава<sup>491</sup>. В котельной завода им. Кирова, где устроили морг, находилось около 180 трупов<sup>492</sup>, а на хлебозаводе № 4, по словам директора, «умерло за эту тяжелую зиму три человека, но... не от истощения, а от других болезней»<sup>493</sup>.

## 2

Так упрочивается ненависть к воровству и обману. Не нужно твердо установленных фактов, незачем быть очевидцем того или иного события. Стоит только раз увидеть того, кто не похож на тысячи обычных блокадников. Достал билет в театр вне очереди – значит нечестный человек, пользуется услугами спекулянтов. Розовощекая и нарядная – несомненно, живет на содержании у воров. Слишком бойкая на фоне еле бредущих, шатающихся ленинградцев – видимо, где-то могла оторвать чужой кусок хлеба. Имеет золотые вещи – едва ли голодает и тоже где-то крадет. Поправилась, работая в столовой – бесспорно, там обделяют голодных посетителей.

Нельзя и попытаться стать чуть привлекательней, не встретив настороженного взгляда блокадников. И не ограничиваются лишь презрительной репликой. Создаются целые истории – по единому сценарию и в сопровождении однотипных обвинений. Таковы записи в дневнике Б. Капанова<sup>494</sup>. Он не сомневается, что голодают не все: продавцы имеют «навар» в несколько килограммов хлеба в день<sup>495</sup>. Он не говорит, откуда ему это известно. И стоит усомниться, мог ли он получить столь точные сведения, но каждая из последующих записей логична.

Поскольку «навар» таков, значит, они «здорово наживаются». Разве можно с этим спорить? Далее он пишет о тысячах, которые скопили воровы<sup>496</sup>. Что ж, и это логично – крадя килограммы хлеба в день, в голодном городе можно было и обогатиться. Вот список тех, кто объедается: «Военные чины и милиция, работники военкоматов и другие, которые могут взять в специальных магазинах все, что надо». Разве он со всеми знаком, причем настолько, что ему без стеснения рассказывают о своем благоденствии? Но если магазин специальный, значит, там дают больше, чем в обычных магазинах, а раз так, то бесспорно, что его посетители «едят... как мы ели до войны». И вот продолжение перечня тех, кто живет хорошо: повара, заведующие столовыми, официанты. «Все мало-мальски занимающие важный пост»<sup>497</sup>. И ничего не надо доказывать. И так думает не только он один: «Если бы мы получали полностью, то мы бы не голодали и не были бы больными... дистрофиками», – жаловались в письме А.А. Жданову работницы одного из заводов<sup>498</sup>. Неопровержимых доказательств у

<sup>489</sup> Стенограмма сообщения Соколова Г.Я.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 117. Л. 4.

<sup>490</sup> Стенограмма сообщения Аршинцевой Л. Н.: Там же. Д. 4. Л. 2 об.; Стенограмма сообщения Усова С.В.: Там же. Д. 131. Л. 37 об.; письмо директора завода им. Фрунзе в Красногвардейский райисполком. 12 февраля 1942 г. // Нестор. 2005. № 8. С. 26;

<sup>491</sup> Стенограмма сообщения Скворцова М.И.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 110. Л. 10.

<sup>492</sup> Стенограмма сообщения Ефимова А.Е.: Там же. Д. 46. Л. 17.

<sup>493</sup> Стенограмма сообщения Егоровой А.Г.: Там же. Д. 42. Л. 6.

<sup>494</sup> Капанов Б. Дневник. С. 42.

<sup>495</sup> Там же.

<sup>496</sup> Там же.

<sup>497</sup> Там же.

<sup>498</sup> Цит. по: Ленинград в осаде. С. 260. Ср. с дневником В.Ф. Черкизова: «Если бы не воровали в столовой ее руководители, отпущенных продуктов хватало бы больше, чем нужно» (*Черкизов В.Ф.* Дневник блокадного времени. С. 75).

них, похоже, нет, но, просят они, «посмотрите на весь штат столовой... как они выглядят – их можно запрягать и пахать»<sup>499</sup>.

Необычное вкрапление живой речи в канцелярский язык (единственно уместный в обращении к «верхам») – показатель того, как сильно чувство неприязни к тем, кого они готовы считать едва ли не личным обидчиком. Происходит все то же «доистраивание» обвинений, позволяющее выразить свои настроения более выпукло, ярко, непримиримо – громоздкий и острожный подбор аргументов, пожалуй, помешал бы этому. В других письмах, адресованных не Жданову, но усилиями перлюстраторов также оказавшихся у него на столе, обнаруживаем сходные мотивы: кто работает на «хлебных» местах, тот живет хорошо, а кому-то «приходится помногу времени тратить, чтобы получить мизерное количество пищи»<sup>500</sup>. Противопоставление здесь проведено, может быть, нарочито утрированно, – еще один прием, позволяющий осудить аморальность стремящихся пожить за чужой счет.

### 3

Обратим внимание на описания тех, кто смог разбогатеть в дни осады города. У этих рассказов немало общего. Отмечаются прежде всего такие приметы воров и спекулянтов, как бескультурье, хамство, какая-то барская снисходительность к изможденным блокадникам, зависимым от них. «Эта баба с ухватками и словарем кабака в это страшное время, в феврале 1942 г., нисколько не похудела, а приобрела еще более начальственный голос и стала, не стесняясь... никого ругаться матом»<sup>501</sup> – вот типичный портрет блокадного «нувориша»-управдома. Дневниковые записи интеллигентных эрудитов явно испытывают воздействие традиционных литературных образцов, в которых облик случайно разбогатевших «выскочек» отмечен особо пластично и ярко. Выделяются и подчеркиваются самые неприятные их черты, без оправданий и объяснений. Для В.М. Глинки, например, причиной неприязни к управдому оказывается даже не подозрение в воровстве, а именно вульгарность и презрение к тем, кто оказался на блокадном дне<sup>502</sup>.

Более беллетризованный и живописный рассказ о внезапно разбогатевшей работнице пекарни оставил Л. Разумовский. Повествование строится на почти полярных примерах: безвестность ее в мирное время и «возвышение» в дни войны. «Ее расположения добиваются, перед ней заискивают, ее дружбы ищут»<sup>503</sup> – заметно, как нарастает это чувство гадливости примет ее благоденствия. Из темной комнаты она переехала в светлую квартиру, скупала мебель и даже приобрела пианино. Автор нарочито подчеркивает этот внезапно обнаружившийся у пекаря интерес к музыке. Он не считает излишним скрупулезно подсчитать сколько ей это стоило: 2 кг гречи, буханка хлеба, 100 руб.<sup>504</sup>.

Другая история – но тот же сценарий: «Это была до войны истощенная, вечно нуждавшаяся женщина... Теперь Лена расцвела. Это помолодевшая, краснощекая нарядно и чисто одетая женщина!... У Лены много знакомых и даже ухаживателей... Она переехала с чердачного помещения во дворе на второй этаж с окнами на линию... Да, Лена работает на базе!»<sup>505</sup>. Описание внезапных перемен, произошедших с теми, кто оказался на «хлебных» местах,

<sup>499</sup> Ленинград в осаде. С. 260.

<sup>500</sup> Спецсообщение начальника УНКВД ЛО А.А. Жданову 5 сентября 1942 г. // Там же. С. 437.

<sup>501</sup> Глинка В.М. Блокада. С. 183.

<sup>502</sup> В спецсообщении начальника УНКВД ЛО А.А. Жданову 5 сентября 1942 г. приведен фрагмент из такого письма: «...Когда видишь наглость сытого персонала столовой, становится очень тяжело» (Ленинград в осаде. С. 437).

<sup>503</sup> Разумовский Л. Дети блокады. С. 41.

<sup>504</sup> Там же.

<sup>505</sup> Заболотская Л.К. Дневник // Человек в блокаде. С. 131.

не лишено язвительной утрировки. Так быстро люди не меняются, и, наверное, не все изменялось к лучшему в их быте, но нараставшая неприязнь не позволяла рисовать более сложную картину. Путь к несправедному благополучию представлялся неизменно прямым, ярким в отвратительных подробностях и имеющим предсказуемый итог – иначе как сильнее выразить свое возмущение.

«Приходили какие-то простые бабы» – это воспоминания С. Готхарт о том, как она меняла вещи на хлеб<sup>506</sup>. Слово «бабы» тут, пожалуй, ключевое – даже интеллигент не может обойтись менее грубым словом, видя тех, у кого есть лишние продукты. «Мы не знали, откуда они... Думаю, что это были какие-нибудь кладовщицы или продавщицы»<sup>507</sup> – и так считали почти все<sup>508</sup>. К этим спекулянтам-ворам шли за куском хлеба, унижались перед ними и ненавидели их, ненавидели люто.

«Ох, жулики, негодяи. На неблагополучии других строят свое благополучие» – таким было отношение А.Т. Кедрова к тем, кто, имея 100–200 г хлеба, мог уйти с рынка «одетым с иголки»<sup>509</sup>.

Л.П. Галько пришлось покупать на «черном рынке» хлеб (за 100 г – 35 руб.) и табак (за 100 г – 100 руб.). Государственная цена табака была 12 руб. И он не выдержал и в похожей на бухгалтерский счет его дневниковой записи появились такие слова: «Паразиты-спекулянты наживаются на народном бедствии. Это те же враги, что и фашисты, только те с оружием в руках, а эти греют руки на голоде, холоде»<sup>510</sup>.

Потому и не стеснялись, даже не имея веских доказательств, жаловаться на продавщиц и служащих столовых руководителям города, вплоть до А.А. Жданова. Рабочий 2-й Кондитерской фабрики буквально тянул за руку милиционера, чтобы он успел арестовать спекулянта на рынке, продававшего коробок спичек за 8 руб. Бездействие стража порядка вызвало у него возмущение: «Милиционер ответил, что меня это не касается, пусть каждый продает что ему угодно и за сколько угодно. Такой милиционер для спекулянта – находка»<sup>511</sup>. Женщины, стоявшие в очереди у магазина, по сообщению информатора, требовали: «Пусть общественность и милиция поинтересуются, откуда берут хлеб люди, продающие его целыми буханками»<sup>512</sup>. Наверное, отчасти и поэтому столь быстро привлекли к суду тех, кто самовольно вселился в квартиру погибшего писателя О. Цехновисера и присвоил его вещи, и не случайно незамедлительно сообщили об этом в прессе. Среди фигурантов постыдного дела оказались все те же управдом и милиционер<sup>513</sup>.

<sup>506</sup> Готхарт С. Ленинград. Блокада. С. 38.

<sup>507</sup> Там же.

<sup>508</sup> Основания для этого были. См. воспоминания Ф.Д. Литвина: «Мама в той же булочной, где отоваривала карточки, обменяла у продавщицы часы на хлеб» (*Литвин Ф.Д.* «В тяжелые времена нет полутонов» // Испытание. С. 117); Дневник Э.Г. Левиной: «Знаю, что заведующая булочной на краденый хлеб купила... 4 пары золотых часов, 2 швейных машинки, 3 патефона» (*Левина Э.Г.* Дневник. С. 147 (Запись 16 января 1942 г.)).

<sup>509</sup> Кедров А.Т. Дневник. 29 января 1942 г.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 59. Л. 101.

<sup>510</sup> Из дневника Галько Леонида Павловича. С. 517 (Запись 18 января 1942 г.). Ненависть к спекулянту, человеку не только жадному, бессердечному, аморальному, но и способному стать врагом Родины, встречаешь почти во всех записях блокадников. См. дневник А. Лепковича: «Кому сейчас в городе легко, одним мерзавцам и жуликам, кому нет дела до народа – Родины» (*Лепкович А.* Дневник. 23 февраля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 10 об.; дневник Н.П. Осиповой: «Променила сегодня на хлеб платье и юбку одной столовской официантке. Надо же – кто умирает, а кто наживается» (*Осипова Н.П.* Дневник. 10 декабря 1941 г.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 93. Л. 17); дневник А.Т. Кедрова: «... Денег у них, конечно, набиты карманы, и они им счета не знают. А живут сытее любого из нас» (*Кедров А.Т.* Дневник. 29 января 1942 г.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 59. Л. 101).

<sup>511</sup> Информационная сводка оргинструкторского отдела и отдела пропаганды и агитации ЛГК ВКП(б) А. А. Жданову 14 января 1942 г. // Ленинград в осаде. С. 471.

<sup>512</sup> Там же.

<sup>513</sup> Тарасенков А. Из военных записей // Литературное наследство. Т. 78. Кн. 2. М., 1966. С. 20; М.Ю. Конисская – И.В. Щеголевой. 23 декабря 1941 г. // История Петербурга. 2006. № 6. С. 77.

Эта ненависть упрочилась в сотнях «бытовых» разговоров с их неизменным атрибутом – поиском тех, кто живет хорошо, и сравнением собственной нищеты с благополучием воров. В «смертное время» это стало шкалой нравственных оценок. Оправданиям не верили. Женщину, которая приводила ослабевших людей к себе домой и отогревала чаем, обвинили в том, что она хочет похитить их «карточки». Сообщившая об этом случае по радио О. Берггольц призывала ленинградцев быть терпимее, поощрять каждый проблеск благородства и сострадания – но, скажем прямо, во время блокады к такому поступку не могли не отнестись с подозрением.

Конечно, в этой жесткости, недоверии к другим, в попытках обнаружить везде и во всем обман было много несправедливого. Но ведь только так и укреплялся нравственный канон – в бескомпромиссности моральных правил и непререкаемости их соблюдения. Захочешь кого-то понять и оправдать – и чего тогда будут стоить эти постоянные обличения, это осознание, что ты выстоял до конца, а не сломался, как другие, не стал воровать...

И часто не имело значения, в каком положении находился человек, как он выглядел, сколько времени голодал.

Н.П. Заветновская в письме дочери рассказывала об одном профессоре, который взял у нее вещи, обещая обменять на провизию, и исчез: «Вот такие бывают профессора, воры и мошенники, а я его знаю лет 30 и не ожидала от него такой подлости и мерзости»<sup>514</sup>. Даже по ее письмам, пристрастным и гневным, можно догадаться, до какой степени распада дошел обманувший ее человек: опустил, не стеснялся унижаться, ел кошек... Жалости у нее нет: от письма к письму ее оценки становятся более хлесткими и уничижительными. Всем тяжело, но кто-то терпит, а кто-то не гнушается обманом. Вскоре профессор умер, но простить она его не хочет и не может: «Будто... умер, я не верю, оказался большим подлецом»<sup>515</sup>. Иного приговора и быть не могло. Он не просто, изловчившись где-то в столовой, разжился хлебом. Он обокрал ее лично – такую же нуждающуюся и изможденную. И он знал, как она голодна – и обокрал. И чтобы ярче выразить свою ненависть, его омерзительный облик должен быть обязательно цельным. Смутное свидетельство о смерти обидчика только мешает безоговорочно резкой оценке его поступков.

Девушка, укравшая «карточки» в студенческом общежитии ЛГУ, несомненно, тоже была голодной – но те, кто узнал об этом, отвернулись от нее и отказались жить с ней в одной комнате<sup>516</sup>. А.И. Кочетова жаловалась матери на бабушку, которая рассердилась, увидя на внучке шарф, взятый из гардероба тети: «Она меня как только не ругала. Она меня в шарфе встретила на улице, дак заставила на морозе снять... Она меня воровкой обозвала»<sup>517</sup>.

Не сразу и не у всех размылось в «смертное время» это чувство стыда за то, что они взяли чужое. В.С. Люблинский, упрашивая домработницу не бояться менять на его вещи хлеб, «пострадал» ее тем, что домашний скарб все равно «растащат», если кто-то из них умрет, что жена (находившаяся в эвакуации) не простит, если узнает о его скупости – одного довода оказалось мало. О. Берггольц заметила, с какой гордостью говорил ее отец о том, что в больнице, где он работал, никто не ворует<sup>518</sup>. Очевидно, так было не везде и не всегда – тем настоятельнее являлась потребность подчеркнуть свою порядочность. И многие находили в себе силы удержаться от соблазна и не ходить в «выморочные» квартиры, и не только потому, что опасались быть застигнутыми врасплох.

<sup>514</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 15 января 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 29.

<sup>515</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 5 февраля 1942 г.: Там же. Л. 32 об.

<sup>516</sup> *Эльяшева Л.* Мы уходим... Мы остаемся... С. 206.

<sup>517</sup> А.И. Кочетова – матери. 24 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 к. Д. 5.

<sup>518</sup> *Берггольц О.* Встреча. С. 176.

Многие – но не все. Тысячи людей оказывались в таких условиях, что не воровать они не могли. Особенно часто это проявлялось при поиске дров. Власти даже и не пытались на первых порах снабдить дровами частные дома, не имевшие центрального отопления – надеялись, что их жильцы придумают что-нибудь сами. «Так вот ползимы... прожили, где дощечку, где полешко», – отмечал Х. Эзоп, видевший, как взламывали сараи и крали оттуда дрова, уносили целиком двери и стены<sup>519</sup>. «Это не считается позором или воровством»<sup>520</sup>, – так думал, наверное, не он один. Добыть дрова и для себя, и за вознаграждение для других старались любым путем, не брезгуя ничем, даже мебелью уехавших соседей<sup>521</sup>. «Те дома, что вчера пострадали от бомб, сегодня люди разбирают на дрова. Сбежались как муравьи», – записывал в дневнике И.И. Жилинский<sup>522</sup>. Самому ему не повезло, о чем он говорит с горечью – у разбомбленных домов поставили сторожа.

#### 4

Удержаться от соблазна было тем труднее, что могли оправдываться не поиском личной выгоды, а желанием спасти угасающих родных и близких. «Дядя Ваня угостил бы тебя», – сказала мать шестилетней дочери, взяв ложку вермишели из запасов, предназначенных для лечившегося в госпитале их родственника<sup>523</sup>. И ожидали даже услышать упреки за то, что не воспользовались счастливым случаем. Выдавая хлеб Т. Максимовой, продавщица в булочной обсчиталась и, вырвав талон на однодневный паек, отдала двухдневный пайковый рацион. Вернуть талон или пойти в другую булочную и взять на оставшийся талон еще хлеба? Сделать выбор было для нее очень трудно. Это не позднейшая попытка приукрасить себя. Она честно говорит, как нелегко было принять морально приемлемое решение. Время – самые страшные дни второй половины декабря 1941 г. Дома лежали обессиленные от голода мать и сын. Пожалуй, она могла бы оправдаться тем, что продавщицы живут лучше, чем другие, но не делает этого. Сыну и матери она ничего не сказала, очевидно, понимая, что не всякий бы одобрил ее поступок<sup>524</sup>.

Такие свидетельства встречаются не раз. В. Базанова вспоминала, как колебалась ее мать, не желая отдавать «стандартную справку» о смерти мужа в домоуправление<sup>525</sup> – тем самым могли тайком пользоваться его продуктовой «карточкой». Через несколько дней она все же решилась на это. Чаще же об умерших сообщали позже. Если во время обхода квартир их все-таки находили, то, как отмечал руководитель одного из районов города А.П. Борисов, «не скажут, что умер полмесяца назад, скажут, что сегодня умер, вчера»<sup>526</sup>.

П.М. Самарин, узнав, что жена одного из погибших рабочих не сказала о его смерти, но приходила на завод за его «карточками», назвал ее «стервой»<sup>527</sup>. Обычно же к таким поступкам относились весьма терпимо. «Мать скрыла смерть грудного ребенка. Получает для него молоко (сгущенное или соевое) в консультации. Продает по 100 р. за литр. На эти деньги

<sup>519</sup> Цит. запись 24 января 1942 г. в дневнике Х. Эзопа по: *Крестинский А.* Дневник Харри Эзопа // Дети города-героя. С. 297

<sup>520</sup> Там же.

<sup>521</sup> *Акромов Д.П.* Запись воспоминаний // 900 блокадных дней. С. 8; *Левина Э. Г.* Дневник. С. 156 (Запись 14 февраля 1942 г.); Интервью с А. М. Степановой // *Нестор*. 2003. № 6. С. 186.

<sup>522</sup> *Жилинский И.И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 7. С. 10 (Запись 25 января 1942 г.).

<sup>523</sup> *Коннова Л.* «Я жила в Ленинграде в декабре сорок первого года...» // Краеведческие записки. Вып. 7. СПб., 2000. С. 306.

<sup>524</sup> *Максимова Т.* Воспоминания о ленинградской блокаде. С. 44.

<sup>525</sup> *Базанова В.* Вчера было девять тревог... С. 130 (Дневниковая запись 3 апреля 1942 г.).

<sup>526</sup> Цит. по: *Адамович А., Гранин Д.* Блокадная книга. С. 128.

<sup>527</sup> *Самарин П.М.* Дневник: РФФ ГММОБЛ. Ф. 1. Оп. 1-л. Д. 338. Л. 89.

покупает хлеб и кормит мужа»<sup>528</sup> – в записи В. Инбер не чувствуется ни удивления, ни возмущения. Обилие бесстрастно переданных мелких подробностей не оставляет и места для нравоучительных назиданий. Необходимость выживания, а не моральный приговор, оказывается здесь на первом плане.

Бывали и более драматичные истории. М.А. Гусарова рассказывала о соседке, у которой умер грудной ребенок: «Она завернула мертвого младенца в покрывало и получила за него продовольственные карточки»<sup>529</sup>. И тут нет никаких эмоциональных всплесков, словно речь идет о рутинном деле: «Никто ее не осуждал, она выжила»<sup>530</sup>.

Та резкость, с которой обвиняли воров, нередко смягчалась, если речь шла только о близких людях. Обстоятельства жизни родных были слишком хорошо известны. Они и сами просили много раз, им помогали, может быть, и не очень щедро. Кража поэтому иногда рассматривалась и как средство спасения, а не только как попытка поживиться чужим добром. И не осуждал свою родственницу А.Ф. Евдокимов, когда та взялась «отovarить» его «карточки» и часть продуктов оставляла себе. Несомненно, это оказалось чувствительным для него, недаром он столь скрупулезно подсчитал количество присвоенных ею продуктов: 0,5 кг мяса, 1,5 кг крупы, 350 гр. масла, пиво, вино...<sup>531</sup> «Она по отношению ко мне сделала подло». Осуждать ее? Нет: «Зато она продлила жизнь своим детям и себе»<sup>532</sup>.

Сколь нелегко далось ему это, мы едва ли узнаем. Дневник – это не только взгляд на себя, но и способ рассказать другим о своей стойкости и человечности. Конечно, было бы преувеличением предположить, что так поступали многие. Обычно чаще возникали споры, и оправдания не принимались во внимание, но тем и примечательны случаи, где обнаруживалось всепрощение, понимание того, до какой черты дошли оголодавшие люди. Многие из них залезть в чужой карман, бесстыдно обокрасть таких же обездоленных, как и они, не могли, но и не сумели отказаться, когда им предлагали часть имущества «выморочных» квартир. Оправдывали себя тем, что их хозяева погибли, а лишний кусок хлеба даст шанс уцелеть погибавшим от истощения.

Вот типичная сцена. Умерла соседка, управдом, опечатавшая ее квартиру, нашла немало провизии. Было неловко – о ней узнали и соседи, они первыми сообщили о смерти. Пришлось делиться с ними продуктами: «Баба Дуня принесла... кастрюлю с горохом и говорит: „...Это... дала эта управдомша“»<sup>533</sup>. И намек на то, что хотели отказаться от «подарка», мы в этой истории не найдем. Так, наверное, было легче решиться: не сами же они взяли чужое, им предложили... Среди изъятых продуктов оказалось варенье. Надо было делить и его: «Пришла эта домуправша и мне говорит: „Деточка, вот такая целая банка варенья, вот по баночкам... раздели пополам“. А я схитрила (смеется). Сюда нам ложечку, сюда нам две (смех)»<sup>534</sup>. И нет никаких колебаний, даже видна гордость за удачно проведенный «обмен». Это ведь варенье принадлежит не управдому, и сама она не вызывает симпатий и к тому же, как казалось, питается намного лучше, чем прочие – зачем же стесняться?

Едва бы рискнула ограбить чужую комнату эта семья блокадников, оказавшаяся, как и многие другие, на грани выживания. Но сосед, уезжая, оставил им ключ от своей комнаты. «Когда нам... нечего было есть... баба Дуня говорит: „Оля, пойдем в ту комнату, может

<sup>528</sup> *Инбер В.* Почти три года. С. 18.

<sup>529</sup> *Гусарова М.А.* Мы не падали духом. С. 96.

<sup>530</sup> Там же.

<sup>531</sup> *Евдокимов А.Ф.* Дневник. 5 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 30. Л. 75.

<sup>532</sup> Там же.

<sup>533</sup> Память о блокаде. С. 110.

<sup>534</sup> Там же.



быть, что-нибудь мы продадим у них"»<sup>535</sup>. Без стыда и спущя десятилетия об этом не могли вспоминать, поэтому рассказ краток. В нем чувствуются обрывы и умолчания: и отстаивать свою правоту было трудным, и самобичевание выглядело неестественным.

Мать продала лайковые перчатки – за «рюмочку подсолнечного масла»<sup>536</sup>. «Потому что я была с ней», – оправдывалась рассказчица. Не нажились ведь на этих перчатках и крохотной рюмочке. Что же делать, другого выхода нет, да и взяли немного, и соседу это сейчас не нужно, и голодный ребенок здесь, рядом. Так снижался порог дозволенного. Стоит начать – и не остановиться. Чувство голода на миг ослабевало, и это ощущение хотелось повторить чаще и чаще. «...Баба Дуня говорила: „...Вот материал, снеси“, и мама меняла на хлеб...»<sup>537</sup> Продали обувь, посуду, нашли чашку с блюдами – «в общем, мы у них все украли». Ей, очевидно, это трудно выговорить, и она сразу же смягчает свои слова: «Считается, это воровство».

Ворами они назвать себя не могут. Они не лгут, они честны, не отрицают своей вины. Они все отдадут потом, как бы трудно это ни было: «Сосед приехал после войны, пошел объясняться с мамой. Мама ему ответила: „...Мы не у вас съели. Я не отказываюсь. Пускай высчитывают с меня"»<sup>538</sup>. И если даже сосед, увидя, как бедно они живут, сказал, что рад их спасению, то какие могут быть сомнения – не воры они, нет.

И семья Л. Друскина никогда бы не решилась взять чужое – но вдруг неожиданно их родственница нашла в квартире кошелек с крупной суммой денег. Его выкинул «сосед-спекулянт» во время ареста. И сосед, бесспорно, не вызывал ни у кого сочувствия, но главное: «стала возможной эвакуация»<sup>539</sup>. Заметно, что даже люди, осуждавшие несправедливо живущих, занявших сплошь «хлебные» места, не считали особенным грехом желание подкормиться там в том случае, если речь шла о них или их близких. Родственница Г.А. Гельфера рассказала ему, что собираются закрыть стационар для «дистрофиков», где она работала, и он откликнулся на это следующей репликой: «Следовательно, скоро кончится наше благополучие»<sup>540</sup>. В. Кулябко, не раз обличавший взяточников, описал в дневнике такую сцену: «В столовой подходит ко мне официантка после каши... и спрашивает – „Каша хорошая была?“ „Да, очень хорошая.“ „Еще бы съели? Конечно, только без талонов.“ Она кивнула и через 10 минут принесла. Дал вместо 1 р. 45 к. – 2 рубля».<sup>541</sup> Никаких патетических возгласов и сомнений: «Она довольна. Я тоже»<sup>542</sup>. И здесь же замечает, что он и раньше так делал<sup>543</sup>.

В.С. Люблинский в письме жене не без сочувствия говорит об одной знакомой, которая устроилась работать в продовольственный магазин – выяснилось, что там «нет никаких перспектив на усиление питания»<sup>544</sup>.

Особо отметим в связи с этим дневниковые записи А.Н. Боровиковой. Она собирала подарки для фронта, ездила в воинские части, произносила эмоциональные речи. Ей там понравилось – ее окружили вниманием, заботились о ней. Она говорила тогда (в ноябре 1941 г.) о том, как признательна бойцам. В начале февраля 1942 г. ей не до приличий. О том, чтобы бескорыстно поддержать их, теперь говорить не приходится. Она надеется, что

<sup>535</sup> Там же. С. 112–113.

<sup>536</sup> Там же. С. 113.

<sup>537</sup> Там же.

<sup>538</sup> Там же.

<sup>539</sup> Друскин Л. Спасенная книга. СПб., 2001. С. 133.

<sup>540</sup> Гельфер Г.А. Дневник. 20 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 24. Л. 17, 17 об.

<sup>541</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 237 (Запись 7 октября 1941 г.).

<sup>542</sup> Там же.

<sup>543</sup> Там же.

<sup>544</sup> В память ушедших и во славу живущих. С. 181.

может быть что-то «выйдет с военными, которые хотели придти в баню»<sup>545</sup>. Завод должен шефствовать над ними, помогать в быту. Все это так, но – «думаю попросить у них хлеба»<sup>546</sup>. И неловко, и ничего не сделать: «не подмажешь – не поедешь»<sup>547</sup>.

## 5

Новая этика отразилась даже в снах блокадников. Содержание их обычно такое: имеется возможность хорошо поесть, но не всегда это удается и часто в последнюю минуту что-то мешает<sup>548</sup>. Наесться – это прежде всего оказаться там, где получают продукты привилегированные лица. «Мне хочется описать 2 сна, – записывает 4 ноября 1941 г. в бомбоубежище Н.Н. Ерофеева (Клишевич). – 1. Мой. Будто в Доме медработника в столовую пропускают по студбилетам. Получаю пшенной суп с картошкой и вдруг мне дают мясное жаркое и не отрывают талонов. Толкают в бок и говорят: „Молчи“... Я конечно быстро съедаю и улепетываю... 2. Ирины. Она с Таней Б. пробралась в магазин НКВД без пропусков и вдруг – о ужас – проверка. Они тогда начинают срочно придумывать и что-то говорят насчет того, что они бригада...»<sup>549</sup>

Этим снам, может, и не стоило уделять внимание, если не знать что они почти зеркально отразили блокадную жизнь. Здесь все типично – и подозрения о том, где хранятся продукты, и желание спасти себя и других во чтобы то ни стало – главный мотив «смертного времени». Привычные моральные нормы соблюдались лишь в той мере, если они не угрожали жизни. Судьба одной блокадной семьи, о которой ниже пойдет речь, – яркое тому свидетельство. Отец 12-летней девочки был командирован весной 1942 г. на Ладогу. Осталась тяжело больная мать, не встававшая с постели. 10 апреля умер ее маленький брат. Но у погибавших людей появилась надежда: девочка встретила на улице, по ее словам, «хорошую тетю». Та сказала, что у нее много хлеба, «карточек»... Надо было подкормить мать, подкормить себя – девочка отдала туфли за «карточки». Дома, разглядев их, мать поняла, что они фальшивые<sup>550</sup>.

Куда ей идти? Кроме туфель, нести на обмен было нечего – очевидно, это последнее, что они имели. Но нужно было идти и где-то сбить эти «карточки». Идти, потому что другого выхода нет. Идти, зная, что кого-то придется обмануть, что в случае «удачи» пострадает другой человек. Идти, потому что мать умирает на глазах у девочки, да и самой ей ждать помощи неоткуда.

«16/IV 1942. Вера все же пошла с карточк[ой] в магазин и не вернулась»<sup>551</sup>. Может, выгнали и, донельзя истощенная, упала в голодном обмороке и не смогла встать – гадать не приходится, но, несомненно, горьким был ее последний час.

## 6

Знакомясь с десятками свидетельств очевидцев о том, как они вынуждены были брать чужое, оказавшись в тисках голода, мы обнаруживаем очень отчетливо звучащий мотив во

<sup>545</sup> Боровикова А.Н. Дневник. 7 февраля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 110.

<sup>546</sup> Там же.

<sup>547</sup> Там же. Отметим, что взятки за право помыться в бане в начале 1942 г. были обычными в городе. Председатель Выборгского райисполкома А.Я. Тихонов даже лично участвовал в поимке одного из банщиков, бравших хлеб (Стенограмма сообщения Тихонова А.Я.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332 Оп. 1. Д. 123. Л. 23).

<sup>548</sup> Готхарт С. Ленинград. Блокада. С. 36; Глазунов И.С. Россия распятая. Т. 1. Кн. 2. С. 97; Лазарев Д.Н. Ленинград в блокаде. С. 199.

<sup>549</sup> Ерофеева (Клишевич) Н.Н. Дневник: РФ ГММОБЛ. Оп. 1-л. Д. 490. Л. 27.

<sup>550</sup> Пето О.Р. Дневник розыска пропавших в блокаду: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 52/2. Л. 116.

<sup>551</sup> Там же.

всех их оправданиях. Вор – это не тот, кто получил обходным путем лишний кусок хлеба. Воровство – это когда такой кусок хлеба используют как средство наживы, когда попираются главные нравственные правила – милосердие и сострадание, когда унижают и обирают тех, кто голоден. Воры – это не они. Воры – это те, кто греет руки на народной беде, кто покупает пианино за буханку хлеба, кто берет взятки за помощь при эвакуации, кто скопил в «смертное время», когда многие дома были наполнены трупами, килограммы масла, крупы, сахара. Вот это воры, а не те, кому изредка перепадает какая-то крошка с чужого пиршественного стола, и не надо придирчиво выяснять, законным или преступным путем смогли получить продукты. Главное – кому их удалось добыть и с какой целью. Можно спорить о сомнительности этих оценок, но нельзя отрицать, что они имеют укорененность в традиционных нравственных устоях. Формальная логика и казуистичная точность определений – не для блокадной этики. С голодным подростком делились едой, не сообразуясь с тем, обоснованно или нет определили ему как иждивенцу кладбищенские 125 г. И никто не посмел бы осудить подростка, который, несмотря на запреты, тайком проносил «бескарточную» кашу через проходную для матери – ведь здесь, как и в других случаях, посредством казавшихся мелкими нарушений утверждались главные моральные ценности.

## Глава III Смещение границ этики

### Нарушение нравственных норм: аргументы самооправдания

#### 1

Набор аргументов, оправдывавших аморальные поступки, не был широким. Высказанные в дневниках и письмах военных лет доводы не всегда обрамляются многословными рассуждениями. Привыкнув к нарушениям моральных правил, которые видели на каждом шагу, не считали их столь патологичными, как раньше.

Другой мотив оправданий характерен для авторов воспоминаний. Позднейшие рассказы создавались тогда, когда моральные нормы не были так сильно размыты, как в военное время. Они предназначены для людей, не являвшихся очевидцами блокады. Оправдания сопровождаются, поэтому, не только более подробным объяснением своих действий, но и детальным перечислением блокадных реалий – тем справедливее кажутся доводы.

Приемы самооправдания во многом обуславливались уровнем культуры человека, укорененностью в нем моральных заповедей, его эмоциональностью и отзывчивостью, силой тех чувств, которые он испытывал к другим людям.

Чаще всего оправдывались тем, что не имеют возможности оказать поддержку<sup>552</sup>. При этом, как и в других случаях, главный мотив оправдания сопровождается еще несколькими оговорками. Они отчетливее показывают те препятствия, которые мешают откликнуться на просьбу. Чем драматичнее становилось обращение за поддержкой, тем сильнее могла выражаться досада и на просителя, и на себя за то, что приходится отталкивать протянутую руку. Тем убедительнее, чем обычно, старались доказать, что иначе поступить нельзя. Отказ неизбежно приобретал эмоциональный характер. Нравственные заповеди не могли исчезнуть там, где трудно было ограничиться формальными отговорками там, где слышали крик отчаяния.

А.Н. Боровикова получила письмо от рабочего, лечившегося в больнице. Он просил дать ему 200 г хлеба и «густой каши»<sup>553</sup>. И не просто просил, а скорее молил, искал слова жалостные и трогательные. И, наверное, потому оправдание, которое являлось обыденным («ну чем поможешь, когда сама сидишь и смотришь в потолок»<sup>554</sup>) дополняется еще и другим доводом: «Хлеб сегодня был какая-то смесь, от которой изжога»<sup>555</sup>. Одного этого было бы достаточно, но она понимает, что рабочий намного более голоден – приходится прибегнуть и к иному аргументу. Не сказать, конечно, что ее положение безнадежное, но обстоятельнее подчеркнуть, что и оно трагично.

Такое же письмо получил и А. Лепкович от своего знакомого. Первое, что он испытал – чувство недоумения и едва ли не возмущения. Повторы и обрывы слов хорошо иллюстрируют это состояние внезапно возникшей неловкости, когда человек от неожиданного

---

<sup>552</sup> См. запись в дневнике И.Д. Зеленской 6 февраля 1942 г.: «...Я снесла в поликлинику вызов на 20 чел[овек]... Но врачаха отказалась итти – сама опухла» (ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 61 об.); запись в дневнике В. Петерсон 8 ноября 1941 г.: «А.П. злится, что нечего есть. А причем тут я и мама? Где же мы возьмем?» (Петерсон В. Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 86. Л. 4).

<sup>553</sup> Боровикова А.Н. Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 84.

<sup>554</sup> Там же.

<sup>555</sup> Там же.

вопроса путается, не готов сразу сосредоточиться и логично выстроить свою аргументацию: «Странно, тоже артист, чудак, а не человек. „Нищий у нищего подаяние просит – много получит”». <sup>556</sup> Возможно, он все же испытал стыд, и его тон смягчается: «...По-моему, он парень неплохой, но неудачник. Такой же, как и я» <sup>557</sup>. Последние слова примечательны. Это тоже оправдание: откуда же у неудачника лишний хлеб? «Пишу, а голод дает себя чувствовать» – как же можно его просить о помощи? «Стараюсь не думать про еду, а все же, как хочется хлеба и какой-нибудь каши» – да ведь и его положение столь же незавидное, как и у знакомого. «Я каши не кушал... 3 месяца и такое же время досыта не подъядал» <sup>558</sup> – не виноват он, но оправдывается еще и еще раз, приводит новые свидетельства. Так трудно ему, обличавшему несправедливость и бессердечность, предположить, что способны заподозрить в черствости и его.

Трудно было принимать упреки в свой адрес тем, кто гордился собственной стойкостью и незыблемостью моральных принципов. Чего же стоит их жертвенность и кристальная чистота, если они не хотят помогать? Разве их могут считать порядочными и благородными людьми? Заведующая столовой на электростанции причисляла к последним и себя. Ей нужно ежедневно отказывать в порции супа или каши кому-то из нуждавшихся. Слезно ее упрашивали, говорили о болезнях – нет, ничего она дать не может: «...Получали мы все время неполную норму» <sup>559</sup>. На этом можно было бы и остановиться – но она приводит еще и цифры, которые докажут ее правоту: на 250 человек дают 200 порций супа, вторые блюда – на 80-100 человек, да и не каждый день <sup>560</sup>. Нет, не по прихоти своей она отказывает. Никак нельзя помочь, и она готова подтвердить это самым сильным аргументом, который никогда не оспорить – цифрами.

Прямой, нелюбезный, не допускающий уверток вопрос самому себе (и не один, а сразу несколько вопросов) – и обязанный быть столь же честным и откровенным ответ. В этом вопрошании словно испытывали на твердость свои аргументы, хотя обнаружение их слабости нередко побуждало искать новые доводы.

В общежитии художников один из жильцов пролил на пол суп: «Опять я голодный остался... Ну что это такое? Пропало последнее спасение больного человека» <sup>561</sup>. В каждом слове – мольба, не высказанная, но подразумеваемая просьба поддержать, стремление отчетливее подчеркнуть приметы ужасающего блокадного быта. Никто не откликается. Первая реакция очевидца события типична и предсказуема: «При всем желании прийти на помощь погибающему товарищу, что ты можешь сделать». Но и пройти мимо, ничем не утешив, неловко. Горечь слов о погибающем товарище – признак того, что и он беспокоится о его судьбе, что он не бесчувственный человек. Преодолеть стыд – значит еще раз, более обоснованно и твердо, уверить себя в том, что ему действительно невозможно протянуть руку. Неужто ничем не помочь? Нет, можно обнадежить, сказать ему: «Не отчаивайся. Не дадим тебе умереть. Чем можем – поделимся». Но это еще подлее, потому что является ложью: «А делиться нечем» <sup>562</sup>. Тогда честнее будет ничего не обещать. Это пусть шаткое, но все же свидетельство о том, что удалось остаться порядочным человеком: не обманул, не отмахнулся от просьбы пустыми речами.

<sup>556</sup> Лепкович А. Дневник. 17 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 10. Ср. с дневником П.М. Самарина: «Сташневич прислал письмо, просит купить крупы и хлеба, умирает от истощения. Я сам в таком же положении, сходить к нему... не могу» (Самарин П.М. Дневник. 12 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-л. Д. 338. Л. 84).

<sup>557</sup> Лепкович А. Дневник. 17 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 10.

<sup>558</sup> Там же.

<sup>559</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 3 декабря 1941 г.: Там же. Д. 35. Л. 37 об.

<sup>560</sup> Там же.

<sup>561</sup> Быльев И. Из дневника. С. 331.

<sup>562</sup> Там же.

Еще более драматичными можно считать оправдания одного из артистов, который не сразу решился помочь оказавшейся в беде теще. У нее украли «карточки» и он знал, что ей приходится кормиться одним лишь какао – ничего другого не было. Запись в дневнике, сделанная артистом 11 декабря 1941 г., обычна для тех дней: «Как я могу помочь им из своего хлеба и пайка. Я сам голоден»<sup>563</sup>. Можно, конечно, один день не есть, сэкономить хлеб и отдать его. Но теще и жившей с ней свояченице надо помогать часто, а не ограничиваться только единственным подаванием. Способен ли он так поступить? Ведь он является донором, сдает кровь и, значит, должен лучше питаться – иначе не выдержать. Он перебирает все доводы, и, вероятно, чувствует, что их недостаточно для оправдания: «Дал бы им кусочек своего хлеба, но его у меня сегодня нет»<sup>564</sup>. Тем и закончились его метания; может, надеялся, что теща как-нибудь сама справится с этой бедой. И старается не упоминать об этом в следующих записях, будто ничего не произошло.

Спустя несколько дней он побывал у сестры, встретили его «неприветливо». Раздражение прорвалось быстро – и сестра, и ее сын и муж стали обвинять его в черствости. Пришлось выслушать все: теща голодает восемь дней, приходила к сестре ее свояченица, у нее «один нос торчит». Просила любой еды, чтобы «сварить какой-нибудь суп» – вот до какой черты дошли родные, с которыми он не делится. Сестра хоть что-то дала («немного отсевков, два кусочка дуранды и маленький кусочек хлеба, грамм 40»), а он не желает<sup>565</sup>.

Чем защититься? «К сожалению, я сам голодаю с 8 числа» – возвращается все на круги своя. Да и по какому праву они его упрекают? Сын сестры еще недавно его обворовал, объедал и мать. «И только теперь, когда увидел, на что похожа его мать: кожа да кости, и когда смог каким-то образом помочь матери, то возгордился, и чувствуя себя сравнительно сытым, обедая, ужиная и завтракая и дома, и у себя в ремесленном училище, то и решил, что и я так же сыт, как и он» – неприязнь нарастает исподволь<sup>566</sup>. Не хочет он знать, как на самом деле кормили «ремесленников» и не признает, что почти всем во время блокады случалось кого-то «объедать» – иначе никто бы не выжил. Не исчезает, однако, и чувство стыда: на следующий день он отдал свой паек теще, отделив от него только 50 грамм. Но потребность еще раз оправдаться возникает вновь – и в тех же причудливых отражениях. Поток ответных обвинений неостановим – родные выставляли себя благородными людьми, корили его, а сами даже не поблагодарили за подарок: «Спасибо... не получил. Зато упреков по своему адресу много, вышло так... как будто это в порядке вещей, что это, мол, моя прямая обязанность»<sup>567</sup>.

## 2

Еще один вариант самооправдания возникал в том случае, когда оказывали помощь, но были вынуждены объяснять, почему она столь мала. «Шлю вам все, что могу, и самому стыдно» – пишет В. Рождественский жене<sup>568</sup>, но его письмо – не только сплошной поток извинений. Его можно оценить и как попытку четче объяснить причины мизерности присылаемых им продуктов. Здесь нет жесткости ответа. Нет категоричных оправданий, возникших у людей, сильнее обожженных войной, если им приходилось грубо отталкивать от себя нуждающихся и опровергать обидные обвинения. Мягкость, интеллигентность, деликатность, присущие автору письма в общении с близкими ему людьми, обуславливали и

<sup>563</sup> Грязнов А.А. Дневник. С. 63.

<sup>564</sup> Там же.

<sup>565</sup> Там же. С. 65 (Запись 14 декабря 1941 г.).

<sup>566</sup> Там же (Запись 15 декабря 1941 г.).

<sup>567</sup> Там же.

<sup>568</sup> В.А. Рождественский – И.П. Стуккес. 31 декабря 1941 г. // *Рождественский В.* «Я в этой книге жил когда-то». Избранное. Стихотворения. Из писем военных лет. СПб., 2005. С. 290.

сдержанность риторических средств и отсутствие патетики. «Жизнь стала холодной, неудобной» – нет слов о граммах или о порциях. Вообще нет ничего конкретного, что могло бы придать его объяснениям остроту. Его блокадный быт известен жене. Особо подчеркнута, что она знает об этом, и не только от него, но и из «рассказов приехавших людей». Ему трудно – он вновь говорит об этом – но беспокоит его не собственное прозябание. «Меня огорчает только одно – скудость заработка (т. к. отпали многие возможности)». Он не виноват, ему хотелось бы быть более щедрым, но «ничего не поделаешь»<sup>569</sup>.

Оправдания неизбежны. Если нельзя поддержать родных, то надо объяснить им причины этого. Отказ помочь воспринимается как нарушение морали независимо от того, в каком положении находится человек – иначе для защиты хватило бы одного довода и не нужно было стольких оговорок. Говорили поэтому чаще не о самочувствии и размерах получаемого пайка, а о непредвиденных обстоятельствах, помешавших сделать то, что должны и обязаны были сделать.

Не удалось отправить посылку семье и Б.П. Городецкому. В письме к жене и дочерям он нарочито подчеркивает, что ему вернули ее, поскольку переправить невозможно<sup>570</sup>. Он признается, что полученные обратно конфеты и печенье съел – но пишет не только об этом. Все остальное содержимое посылки он уложил в сундук и это, возможно, в чем-то оправдывает его. Он не просто съел конфеты: «Я скушал за ваше здоровье!» Всякие сомнения он отменяет категорично: «Это было действительно так». О своем поступке он говорит с той особой, мягкой ласково-назидательной интонацией, с какой обычно беседуют с детьми, когда хотят объяснить им простые, но не подлежащие сомнению истины: «Я кушал и говорил – пусть мои доченьки будут здоровы и простят, что ем их конфеты и печенье, потому что я вернулся весь замерзший, проголодавшийся, а я в это время захварывал. Ваши конфеты и печенье помогли мне – я скоро выздоровел»<sup>571</sup>.

В нескольких строках есть все – и попытка вызвать сочувствие, поскольку трудно высказать упрек голодному человеку, и высокая оценка значимости принесенной семьей жертвы. Парадоксально, но ее благодарят за то, к чему она непричастна. Для Б.П. Городецкого купленные им печенье и конфеты – не припасенный им подарок, а то, что принадлежит его родным и к чему он прикасаться не имел права. Обратим внимание на эти оговорки: «ел их конфеты и печенье», «ваши конфеты и печенье». Они как-то оттеняют его благородство и скромность: он готов добровольное благодеяние представить как обязанность.

К слову сказать, этот аргумент – съел продукты, потому что спасал не только себя, но тем самым и тех, с кем не делился – был весьма частым в самооправданиях блокадников. Так поступали, отказывая в просьбах детям, заболевшим родственникам, и вообще всем, кому, в согласии с моральными заповедями, надо было помочь в первую очередь. Мотивация отказа, отмеченная, например, в дневнике инженера Г.А. Гельфера, в целом типична и для других документов того времени. Его жена бедствовала в эвакуации и ждала поддержки. Он собирался (9 марта 1942 г.) послать ей денег – но вот запись в дневнике 16 марта 1942 г.: «...Покупаю все, что может хоть сколько-нибудь приукрасить мою жизнь. Я этим совершаю преступление перед Гиткой, но моя смерть ведь ей дороже обойдется. Пусть она не будет получать от меня 1–2 м[еся]ца денег, но зато я себя сохраню для нее же для нашей будущей счастливой жизни»<sup>572</sup>. И истощенный врач, отказавшийся еще раз осмотреть женщину, поскольку ей был поставлен диагноз и назначено лечение, в ответ на упреки сказал, что если

<sup>569</sup> Там же.

<sup>570</sup> Б.П. Городецкий – жене, дочерям. 21 октября 1941 г. Цит. по: *Городецкий С. Письма времени*. С. 104.

<sup>571</sup> Там же.

<sup>572</sup> *Гельфер Г.А. Дневник*. 16 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 24. Л. 15 об. – 16.

ему не удастся дойти до поликлиники, то пострадают другие больные, которым он тоже обязан помочь<sup>573</sup>.

### 3

В том случае, когда оправдания высказывались публично, они более скупы. Подробное перечисление их могло вызвать отповедь нуждающихся, порой основательную, что лишь затягивало неприятный разговор, исход которого был предreshен. Можно предположить, что не все обстоятельства, на которые ссылались, отказывая в помощи, являлись непреодолимыми. Чувство раскаяния после этих оправданий и выявлялось тогда, когда все же уступали просьбам после долгих споров и категорических возражений, когда неуверенно парировали чужие доводы, когда не были так пространны оправдательные записи в дневниках и письмах. В процитированном выше дневнике И. Быльева мы встречаем описание и такой истории. Один из жильцов общежития, В. Замятин, просил друзей помочь двум художницам, находившимся в очень плохом состоянии: у одной гангрена руки, другая крайне слаба. Возможно, отказы помочь обессиленным людям здесь случались и раньше. Перечисление подробностей болезни художниц может быть объяснено опасением, что менее драматичное описание не способно будет разжалобить тех, к кому обращена просьба. И, вероятно, именно этим был обусловлен эмоциональный характер ответа другого жильца, кто не захотел внять его просьбам: «Нет, это невозможно. Здесь и так повернуться негде, при том – видите, – одни мужчины. Все – дистрофики. Через каждые полчаса текут как худые бочки».<sup>574</sup>

Ему посоветовали поместить их в канцелярии, где имелась более просторная печка. На это предложение он даже не обратил внимания – вероятно, оно являлось своеобразной «отпиской». Очевидно, и в канцелярию было трудно войти (иначе непонятно, почему ее не заняли ранее), и дров не было – зачем же тогда у другой печки грелось столько людей.

Здесь мы обнаруживаем характерную черту самооправдания: в первую очередь стараются не понять, есть ли шанс помочь, но стремятся быстрее найти аргументы, позволяющие лучше всего объяснить отказ. Необходимо поэтому было перечислить самые яркие приметы катастрофы, сделать это предельно драматично, чтобы разжалобить ко всему привычных людей. Это, видимо, почувствовал и В. Замятин, отвернувшись и заплакав, он снова просит: «Никто не хочет помочь... Никто... В вестибюле на морозе обе они, вероятно, к утру помрут. <...> Рука у Коган в бинтах... Он четырнадцать дней без всякой врачебной помощи. Ольга не держится на ногах. Привожу их в больницу – там не принимают... Ночь... На санках едва дотащил их сюда»<sup>575</sup>. Место для них нашли и те, кто пытался отказать в поддержке, теперь стремились защититься от обвинений в черствости и обмане. Выделим в коротком, состоящем из нескольких строк тексте дневниковой записи их прямые и косвенные оправдания и мы заметим, что он почти весь состоит из таковых: «*Кряхтя*, мы сдвигаем свои топчаны, *притаскиваем* еще два недостающих, с *немалым трудом* устанавливаем в нашей тесноте [курсив мой. – С. Я.]»<sup>576</sup>.

### 4

В объяснениях отказа нередко обнаруживаются противоречия, умолчания, гиперболы и не всегда они могли быть признаны основательными. Эти оправдания – и средство защиты, прием выживания в блокадном аду, а не только способ преодоления чувства вины. Едва ли

---

<sup>573</sup> Гречина О. Спасаясь спасая. С. 234.

<sup>574</sup> Быльев И. Из дневника. С. 331.

<sup>575</sup> Там же. С. 332.

<sup>576</sup> Там же.



случайны соседство доводов важных и малозначительных, их многословность и обилие. Когда мы читаем не глубоко обдуманное, а бесхитростное описание своих действий, мы лучше видим как возникали самообличения.

Приведем примеры. Блокадницу, искавшую брата-моряка, на одном из кораблей угостили кашей. Ее, видимо, пригласили за стол и явно искали повод познакомиться с ней ближе. Просить в этом случае не кормить ее и отлить из общей миски кашу для голодных родителей она не решилась. Было понятно, что ее и после этого все же покормят, и получалось, что на щедрый жест поделившихся с ней кашей она, вопреки приличиям, вынудила дать ей еще одну порцию. Но чувство стыда за то, что она не поделилась с родными, не покидает ее: «Мне было обидно, что кашу кушала я одна, и почему не пришлось кушать маме, но дело было сделано»<sup>577</sup>. Закончить рассказ она на этом не может: оговорка о «сделанном деле», возможно, для нее равнозначна открытому признанию в том, что не хотела помогать матери. А это, разумеется, не так. Нужно как-то смягчить слова, пусть даже чем-то туманным, неотчетливым, не подлежащим проверке – но смягчить. И она дополняет свой рассказ: «Да и не было такой возможности, чтобы им принести»<sup>578</sup>. Ясно, что для убедительности оправдания эту фразу следовало сделать первой, но здесь важнее именно сама оговорка.

Запись в дневнике Л.П. Галько, казалось, также не предназначена для чужих глаз, но обилие «оправдательных» оговорок заметно и здесь. Содержание ее незамысловатое: хотел отнести кому-то хлеб (вероятно, жене), но съел его сам. На первый взгляд, тут даже нет и стремления оправдать себя. Все просто: съел потому, что голоден. Но он все же хотел отдать хлеб и, видимо, не случайно прямо говорит об этом; не его же вина, что он не выдержал. Он пишет: «Не мог удержаться»; значит, все-таки пытался это сделать. Его оправдания содержат такие подробности: очень хотелось есть, а хлеб, который он оставил себе, всего лишь «кусочек». Он показался ему очень вкусным – тем труднее стало противиться искушению съесть его самому. И еще один довод: хлеб на 85 % сделан из дуранды, пищевого суррогата<sup>579</sup>. Может, и не стоит тогда жалеть, что он не достался другому – ведь не велика потеря? Противоречий в своих объяснениях он не замечает; главное – оправдаться.

Записанный Л. Разумовским рассказ воспитательницы детдома посвящен эвакуации детей из Ленинграда. Ехать должны были только самые крепкие из них. Это дети-сироты, и одна лишь мысль о том, что кого-то надо спасать, а кого-то нет, настолько аморальна, что придает ее объяснениям с самого начала эмоциональный характер, с характерными междометиями и патетическим тоном: «Разве мы были неправы! Время было такое!»<sup>580</sup>. Перед нами исповедь послеблокадных лет, в которой в большей степени должны были оглядываться на нравственные правила, присущие мирному времени – отсюда и ее стиль. Но нельзя не предположить, что это неизжитый след давнего переживания, и не случайно возник такой разговор. Конечно, можно было бы утаить эту историю – но она к ней возвращается вновь и вновь, страстно и горячо. Каждый ее ответ любой человек, кто знал хотя бы и понаслышке о блокадном быте, мог сопроводить нелюбезными комментариями, высвечивая хаотичность оправданий. Вот довод в пользу того, чтобы оставить детей в Ленинграде: «Когда нас на Финляндский вокзал привезли, только мы к вагону – сирена! Бомбежка! А у нас двадцать детей! Мы все бегом в бомбоубежище вместе с ними... А что бы мы делали со слабенькими. Их бы не уберегли, и других бы потеряли»<sup>581</sup>.

---

<sup>577</sup> Воспоминания Н.В. Ширковой // Архив семьи Е.В. Шуньгиной.

<sup>578</sup> Там же.

<sup>579</sup> Из дневника Галько Леонида Павловича. С. 517 (Запись 12 января 1942 г.).

<sup>580</sup> *Разумовский Л.* Дети блокады. С. 50.

<sup>581</sup> Там же.

Частое обращение к другим людям с надеждой, что они не осудят и поймут – одна из особенностей данного текста. Может быть, это следует рассматривать и как признание шаткости своих доводов. Она говорит так, будто знает, что ей могут задать и неприятные вопросы. Разве жизнь под бомбежками в городе являлась менее опасной, чем в эвакуации, где дети были избавлены от налетов и обстрелов? Этих, самых слабых, не способных дойти до убежища, и следовало оставлять в Ленинграде? Здесь бы их уберегли?

## 5

У поступка, чью безнравственность ощущали, хотя и не всегда хотели это признавать, могло быть и такое оправдание: никто не требовал у других продуктов, но они сами упрасивали их взять, приводя, казалось, веские доводы. А.А. Аскназий рассказывала, как у нее украли карточки и ей помогала соседка, отдавая половину своего пайка. Ее пытались отблагодарить, но обмен был явно неравноценным: крупа за хлеб. Оправдываясь, А.А. Аскназий ссылаясь на слова соседки, уверявшей, что крупа для нее важнее, чем хлеб<sup>582</sup>.

Частым являлся и другой мотив: продукты, предложенные голодным человеком, брать нельзя, но если это награда за те усилия (и немалые), которые прилагаются для его спасения, то, может, следует отнестись к этому и иначе. И.Д. Зеленская навещала в больнице машиниста электростанции: «Он часто предлагал мне в благодарность то хлеба, то чуть не денег. Я, конечно, категорически отказывалась, но в один голодный день не выдержала и, когда он стал угощать меня сухарями, – взяла»<sup>583</sup>.

Пишет это человек, который не только постоянно подчеркивает в дневнике свою стойкость и бескорыстие, но и подмечает отсутствие этих качеств у других. Не может она просто сослаться на голод, нужны еще какие-то оправдания: «Правда, в тот день я два часа провозилась с оформлением его выписки из больницы, потом отдала ему свой *последний* [курсив мой. – С. Я.] рис и лимонную кислоту»<sup>584</sup>. Довод неопровержимый, но ощущение стыда остается: «Вышло так, что я что-то получила за свои услуги, что с моей точки зрения недопустимо». Что же делать, если заканчивается декада и дополнительных обедов не хватит на всех, и никак не выдержать это, и «все нутро томится по каше»? Придется и завтра занимать у него талоны на обед. Нет, не просить отдать даром, а именно занимать, но все равно это горько: «Вот тебе и принципиальность!» И потому надо еще чем-то оправдаться. Чем? Да, только этим, страшным аргументом, который в те дни приводила не одна лишь И.Д. Зеленская, но который являлся самым убедительным: «Впрочем, с талонами я не очень себя упрекаю, потому что, несмотря на все усилия, едва ли удастся его спасти и карточка все равно пропадет»<sup>585</sup>.

Оправдания – это не только поиск оговорок, призванных убедить, что человек, вопреки обстоятельствам, продолжает оставаться добрым и милосердным. Здесь важнее другое – постоянное повторение, подтверждение этических правил, что не позволяет их полностью отменить и тогда, когда отступления от них становятся более частыми. Даже попытка оправдать или приукрасить себя имеет немаловажные последствия. В ней, как ни парадоксально, прослеживается стремление сохранить нравственные заповеди, разумеется, приспособив их к блокадной повседневности. Совершив неблагоприятный поступок, прежде всего, ищут то, что может объяснить его. Нравственно ли ожидать благодарность за оказанную поддержку? Нравственно ли брать хлеб у другого человека, если тот не может или не хочет им восполь-

---

<sup>582</sup> Аскназий А.А. О детях в блокированном Ленинграде: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 14.

<sup>583</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 9 апреля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 73 об.

<sup>584</sup> Там же.

<sup>585</sup> Там же.

зоваться? Везде, даже в корыстных действиях и побуждениях, можно обнаружить, как оглядываются на моральные заповеди.

Одна из блокадниц пишет в дневнике 21 ноября 1941 г. о том, что не смогла достать продукты для матери. Первое из оправданий типично для этих дней: «Она что-нибудь наверное там поест»<sup>586</sup>. Больше оправдаться нечем – но, может быть, попробовать сделать это как-то иначе. Например, сказать о тех чувствах, которые она испытывает к матери – и тогда никто не заподозрит ее в черствости. И сказать от всего сердца, сильнее, эмоциональнее, чтобы даже и сомнения не было в том, дорог ли ей самый близкий на свете человек: «Дорогая, золотая мамочка придет голодная, я прижму ее к своему сердцу, крепко. Крепко обниму и скажу ей о постигшем нас горе и она, я думаю, не будет сердиться»<sup>587</sup>.

Еще один случай. Она же получила в школе желе и принесла его домой. «Желе спрятала. И вот теперь не знаю, как поступить, то ли съесть его одной, то ли поделиться»<sup>588</sup>. Она давно испытывает голод и, наверное, отдать подарок ей жалко. Признаться в этом она не хочет и ссылается на такой довод: «Маловато будет, это только облизнуться». Если так, то родных не надо и «раздразнивать»: «Съем я в этот раз одна». Так уж получается, но она порядочный человек, она поделится с ними потом, непременно поделится: «... Буду носить обязательно с собой банку пустую и, если будут давать желе еще, то... накоплю 3 порции и угощу их»<sup>589</sup>. И не придется их «раздразнивать», и рады они будут, когда съедят так много, и может быть теперь уверена она в том, что ее не назовут жестокой.

Трудно сказать, всегда ли такими являлись оправдания, если не удерживались и съели то, что принадлежало другим. Но вот что обращает на себя внимание. Могли ведь скрыть свой поступок, – но нет, мы видим самообличения, нередко и драматические, скрупулезные поиски тех аргументов, какими можно защититься, извинения и обещания. Разбор каждой такой истории становится похожим на нравственный урок.

О.Н. Мельниковская, работавшая в госпитале, увидела, что один из больных «не доел корочку за ужином». Искушение было велико: «Всю ночь я мучилась, глядя на нее»<sup>590</sup>. Возможно, не все из доводов, оправдывающих ее, О.Н. Мельниковская привела в своем дневнике, но едва ли случайно перечислены здесь детали события. Больной лечится в офицерской палате – значит, питается лучше, вряд ли терпит нужду! У него здоровый вид – это подтверждает догадку. «Целый день проводит в городе, приходит сытый» – а она истощена. Не сразу она решилась съесть объедки, долго доказывала себе, что чужое брать нельзя – это ведь тоже оправдание.

«Он сыт, а ты умираешь от голода» – мысль об этом, наконец, отмела все сомнения. Утром она поняла, что больной заметил пропажу – и снова оправдания: «Может, нарочно искушал меня»<sup>591</sup>.

Самооправдание возникает и в том случае, если известно, как нуждаются люди, которым отказали в помощи. Инженер одного из предприятий писал в дневнике, что съел 400 г конфет – и тут же отмечал, что берег их для дочери, которая целый год «не имеет сладкого». Приговор, вынесенный им себе, выглядит недвусмысленным: «Преступление»<sup>592</sup>. Так делать нельзя, он чувствует себя обязанным загладить свою вину: «Взамен купил и спрятал 300 г

<sup>586</sup> Там же. Д. 72. Л. 53 об.

<sup>587</sup> Там же. Л. 53–53 об.

<sup>588</sup> Там же. Л. 61.

<sup>589</sup> Там же.

<sup>590</sup> Мельниковская О.Н. Дневник // «Мы знаем, что значит война...». С. 595.

<sup>591</sup> Там же.

<sup>592</sup> Зеленская И.Д. Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 36.

конфет за 300 рублей»<sup>593</sup>. Это, конечно, не 400 г съеденных им конфет, но все же близко к этому. 300 руб. – крупная сумма, для некоторых она составляла месячный заработок; едва ли она названа случайно. Правда, он и тогда укоряет себя: «и съеденные мной не помешали бы». Но виноватым теперь он себя не считает. Ему кажется, что он смог выстоять, доказать, что не утратил чувство сострадания...

«Съел за 2–2,5 часа и 300 г купленных... Это преступление по отношению к семье! Сволочь я!»<sup>594</sup> – эта запись сделана им в дневнике на следующий день. К празднику 7 ноября дали сладкое – он и его съел безостановочно, кляня себя, но не имея сил остановиться. Тогда, правда, не нужно было сдерживаться («за эти дни надежда на командировку лопнула») – но чувство раскаяния и досады не ослабевает<sup>595</sup>.

## 6

Оправдываясь, каждый мог сослаться на различные и многочисленные препоны, приводить немало доводов, и они, конечно, сильно отличались. Аргументы обычно были такими: а) нельзя помочь, потому что нет возможности; б) если и можно помочь, то надо сделать выбор, кого необходимо поддержать прежде всего – себя или иных блокадников; в) отказ помочь ничего не изменит в судьбе человека, который или обречен или способен получить поддержку от других.

Драматизм блокадной повседневности не всегда сказывался на содержании публичных извинений или обычных при самооправданиях апологетических внутренних монологов. В дневниковых записях, где они отражены, не очень много ярких примет той бездны, в которой оказались чужие люди. Конечно, понимали, в каком трудном положении находится нуждающийся человек. Знали, что он голодает не первый день – но это не мешало нередко ответить, как в прошлые, спокойные времена, малозначащей отговоркой.

Но отметим и другое. Ни у кого нет твердой уверенности, что он, отказывая в поддержке ослабевшим людям, абсолютно прав, хотя доводы в пользу этого нередко являлись очевидными. Есть взгляд на себя как на человека, или действительно виноватого, или обязанного отвести от себя упреки. Оправдания – это не только прагматические подсчеты различных «за» и «против» для того, чтобы с математической точностью определить, могли ли найти лишние граммы хлеба и стоило ли отдавать их тем, кому осталось жить несколько часов. Оправдание – это поступок, в котором в различной степени проявились и нравственные азы. В нем всегда проступает желание утешить, приободрить, обещать в будущем что-то лучшее – хотя это и не требовалось. В нем всегда ощущается стыд за то, что должны были поступать вопреки человеческим обычаям. Независимо от того, усматривали ли в своих действиях нарушение моральных устоев или нет, всегда высказывали надежду на то, что завтра сумеют помочь тем, кого не смогли поддержать сегодня.

И недаром мы обнаруживаем обилие аргументов самооправдания, хотя было достаточно и одного из них. Многое, правда, зависело от стиля письма авторов писем, дневников и воспоминаний. Разумеется, когда каждое из объяснений содержит очень много деталей и мелких подробностей, мы не всегда можем уверенно сказать, являлось ли это следствием хаотичного изложения, служило ли средством воссоздания полноты рассказа или являлось обдуманым приемом, призванным объяснить, почему пришлось принимать неприятное решение. Предположим также, что повествование, обращенное к последующим поколе-

---

<sup>593</sup> Там же.

<sup>594</sup> Там же. Л. 37.

<sup>595</sup> Там же.

ниям, не знакомых с войной и не готовым оправдать многие ее реалии, требовало более тщательного и скрупулезного разбора блокадных житейских историй.

И вместе с тем это многословие – верный признак тех переживаний, которые возникали при отступлении от моральных принципов. Виноват или не виноват – но должен ответить каскадом извинений. Эти извинения не всегда выглядели логичными и исчерпывающими, искренними и покаянными – но они казались необходимыми. Главным здесь было не объяснение, а утешение. Может быть, это и не требовало самопожертвования, но тоже являлось неоспоримым свидетельством укорененности моральных ценностей.

## **Принуждение к соблюдению нравственных норм: мотивация жестокости как средства спасения**

### **1**

Принуждение было неизбежно там, где люди настолько ослабели, что не всегда могли работать, следить за собой в быту, преодолевать искушение «жить одним днем», добровольно помогать другим. Первым и основным оправданием жестких мер являлась ссылка на войну. Главное – победить, невзирая ни на что. Моральные запреты могли быть уместны лишь в той степени, если они не мешали достижению этой цели. В Московском районе в начале октября 1941 г. во время обстрела женщины-педагоги хотели прекратить работу, но их заставили продолжать рыть окопы<sup>596</sup>. Главное – общая цель, а не интересы отдельного человека. Толкая женщин под бомбы, опасались и репрессий за невыполнение заданий, но мотивация таких поступков могла выглядеть и безупречно логичной. Погибнут два человека, но защитят они тысячи людей – эта «моральная» арифметика является обычной для любой войны.

Не сразу была готова признать ее обоснованность М.С. Коноплева, сообщившая в дневнике об этом происшествии. Тогда она и получила первый урок новой этики. «Наивно записано», – оправдывалась она позднее. «Я еще возмущалась!» – говорилось в записке, приложенной впоследствии к дневнику.

В ней она упрекает себя в том, что не понимала простой истины: «„Мобилизованный есть мобилизованный“, для которого опасность не должна существовать»<sup>597</sup>. Возможно, тут передаются аргументы безжалостного и непреклонного руководителя работ, но сама эта помета не случайна. Для того чтобы усвоить прочно это правило, да еще так, чтобы оно позднее считалось обязательным, требовалось многое сломать в себе в блокадные дни.

Заставляли работать под обстрелами и ленинградских почтальонов. И находили оправдания: обстрелы случались часто, ждать, когда они окончатся, приходится долго, работа выполняется медленно<sup>598</sup>. Надо искать какой-то выход, например, разносить почту, если обстреливается «не наш квадрат». Стоило ли письмо жизни человека? Нет, но есть нормы обработки корреспонденции, установлена ответственность за их нарушение и могут лишить рабочей «карточки».

Е.А. Скобелева вспоминала, как у ее семьи отняли дрова для нужд госпиталя. Напрасно ее отец «просил, умолял, говорил, что без тепла мы все умрем» – ему ответили отказом<sup>599</sup>. Сомнений у тех, кто это сделал, не было. Наверное, так легче было поступить, чем зани-

---

<sup>596</sup> Коноплева М. В блокированном Ленинграде. Дневник. 5 октября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 127.

<sup>597</sup> Там же.

<sup>598</sup> Стенограмма сообщения Аршинцевой Л.М.: НИИ СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д.4. Л. 3.

<sup>599</sup> Скобелева Е.А. Родина моего детства. 1940–1945 гг. СПб., 2004. С. 12.

маться трудной и долгой работой по заготовке топлива. Но где еще искать дрова, которые незамедлительно требовались для тяжелораненых, больных, не имевших сил встать с постели? Кто бы их смог заготовить? Медработники? Их было мало и не имелось такого количества пайков, чтобы у каждой койки можно было поставить санитаря. И у них тоже была своя «правда». Пойдут искать дрова – и некому будет вовремя оказать помощь и спасти людей от смерти, откликнуться на их крики и стоны.

Начальник цеха Механического завода А.Ф. Соколов поехал на квартиру к одному из рабочих: его нельзя было заменить и требовалось во что бы то ни стало немедленно доставить на предприятие. «Навстречу мне... шел на четвереньках, как ходят собаки.

Ходить он из-за слабости не мог»<sup>600</sup>. Выхода не было: «Вместе с шофером взяли его под руки и посадили в машину. Привезли на завод и положили в стационар»<sup>601</sup>.

Милосердие здесь, очевидно, играло не главную роль. В своих записках А.Ф. Соколов рассказывает, как под руки водили к станку изможденного мастера, как подсаживали на машину рабочих, поскольку они «были так слабы, что сами не могли влезть»<sup>602</sup>. Подкреплялись в стационаре – и работали, падая, держась за других. Несомненно, их жалели (это видно даже по тону записок А.Ф. Соколова) – но признавали неизбежность жертв. Боялись строгих наказаний за срыв военных поставок, надеялись на получение хорошего пайка за выполнение заданий – все было.

У этой жестокости имелось и обоснование. Не выполняют свой долг – и тем самым откроют дорогу врагам, этим насильникам, у которых нет ничего святого, которые жгут и уничтожают. Кто, если не сам ленинградец, должен защищать несчастных стариков, женщин, детей, трудясь для фронта на своем месте? Разве можно возложить эту обязанность на слабые плечи других, а самому спрятаться?

Эти доводы, будучи очевидными, едва ли вызывали чьи-либо возражения. Труднее было признать, что являлось более нравственным: пожалеть голодного, шатающегося человека, которому угрожала смерть сегодня, или беззащитных людей, которые могли погибнуть завтра – и именно потому, что не решились беспощадно заставить работать того, кто, повторим это, и сам находился у края пропасти.

Подробное оправдание жестких мер мы находим в воспоминаниях преподавательницы М.П. Ивашкевич, работавшей вместе со школьниками в совхозе. Дисциплина здесь, видимо, поддерживалась особо строго и неукоснительно. Сослуживцы упрекнули М.П. Ивашкевич в том, что она не жалеет детей. Переубедить ее нельзя: «И впредь буду требовать от учащихся выполнения своих распоряжений»<sup>603</sup>.

В своей правоте она уверена, готова подробно объяснить и другим педагогам, почему это так. Разве она не любит детей? Нет, ради них и осталась в осажденном городе. Можно, конечно, отпустить детей за полчаса до окончания работы и разрешить им подкармливаться на соседнем поле, где росла брюква. Это брюквенное поле упомянуто ею не случайно. Дать им поесть, или вырвать из слабых рук эти далеко не деликатесные овощи – вот оселок, на котором проверяется степень жалости к голодным подросткам. Ответ, поэтому, обязан быть патетичным и взволнованным, чтобы подчеркнуть остроту ее переживаний, отметить, как горько ей делать это. Он должен быть и убедительным – пусть услышат то, с чем нельзя спорить, что давно и бесповоротно всеми признано. «В нас... говорила другая жалость. Мы не хотели, чтобы наших девочек и мальчиков увозили в гитлеровскую Германию и продавали

---

<sup>600</sup> Соколов А.Ф. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 550.

<sup>601</sup> Там же.

<sup>602</sup> Там же.

<sup>603</sup> Ивашкевич М.П. Замечательные помощники // В осажденном Ленинграде. Воспоминания участников обороны Ленинграда, воинов и тружеников Октябрьского района. СПб., 1993. С. 114.

на невольничьих рынках, чтобы их морили голодом и травили собаками на немецких фермах – во имя этой жалости мы... должны быть и будем требовательны»<sup>604</sup>.

И ей предстоит сделать тот же выбор – или пожалеть сейчас и создать угрозу для жизни в будущем, или проявить жестокость, которая, в конечном счете, обернется спасением. Ее мысль не может не быть прямолинейной и риторичной – иначе окажется размытым пафос стойкости, к которой она призывает. Она приобрела такую жесткость языка в ежедневной педагогической практике, наставляя и наказывая нарушителей. Приказы не могут иметь витиеватую аргументацию: они скупы, точны и недвусмысленны. И такой же является их мотивировка. Да и жесток ли по сравнению с фашистскими гнусностями этот запрет заходить на чужое поле? Чем более наглядно, ярко, без полутонов будет рассказано о ярме, которое несут захватчики поработанным, тем меньше можно ожидать услышать скептические реплики и осторожные возражения.

## 2

«Трудовая повинность по очистке города... Мороз 20°», – отмечает в дневнике 28 февраля 1942 г. Э. Левина<sup>605</sup>. Жалеть людей? Но ведь кто-то должен убирать в городе снег. Из райкома ВКП(б) получены указания об очистке нескольких улиц от нечистот. «Всего на это число было трудоспособных 200 человек, но слабых, еле державшихся на ногах людей, опухших от голода», – вспоминает Г.Я. Соколов<sup>606</sup>. Заменить их другими? Других людей нет. Не уберут они нечистоты и трупы, вмерзшие в лед – и весной, после оттепели, начнутся эпидемии.

Показательно, что первый субботник, назначенный на 8 марта 1942 г., оказался неудачным: мало кто хотел участвовать в нем. Были поэтому быстро приняты жесткие меры. В домохозяйствах состав политорганизаторов «пополнили и обновили», как деликатно выразился сотрудник «Ленинградской правды» А. Блатин, некоторых управхозов сняли с работы, «ответственные работники» начали обход квартир<sup>607</sup>. Всех горожан обязали трудиться на уборке города не менее 2 часов. На улицах их останавливали милиционеры, проверяли повестки, где отмечалось количество времени, потраченного на работу. И не церемонились. «...У кого повесток нет, ставят на лопату. Наша кассирша пошла в банк, оставила повестку в АПУ – ее заставили колоть лед 2 часа», – записывала в дневнике Э.Г. Левина<sup>608</sup>. Конечно, где-то принимались во внимание и медицинские справки, и наличие в семье детей. Но мать Е.П. Ленцман идти на уборку улиц заставили. Еще спускаясь по лестнице, она почувствовала, что совсем обессилела.

«Мать слегла и больше... не вставала»<sup>609</sup>. И малолетние дети у нее были: «Мальчишки давно не ходили, все язычком во рту крошечки искали»<sup>610</sup>.

Эта жестокость стала обычной. Малейшие попытки учесть только свои интересы, не считаться с другими сразу же безжалостно пресекались, едва лишь были замечены. Нельзя делать вид, что нет иных, более истощенных горожан, нельзя допускать, что они могут

<sup>604</sup> Там же. С. 115.

<sup>605</sup> Явина Э. Письма к другу. С. 206 (Дневниковая запись 28 февраля 1942 г.).

<sup>606</sup> Соколов Г.Я. Стенографическая запись воспоминаний // Оборона Ленинграда. С. 565.

<sup>607</sup> Блатин А. Вечный огонь Ленинграда. С. 280–281.

<sup>608</sup> Левина Э.Г. Дневник. С. 158 (Запись 4 апреля 1942 г.). См. также дневник М. Тихомирова: «Уклоняющихся от повинности задерживают милиционеры» (Дневник Миши Тихомирова. С. 58 (Запись 29 марта 1942 г.)).

<sup>609</sup> Ленцман Е.П. Воспоминания о войне: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 4 об. Ср. с сообщением заместителя начальника Ленинградского торгового порта о работе по очистке улиц в марте 1942 г.: «Подожла ко мне одна женщина бухгалтер и говорит: „... Я не могу работать, я умру“. – „Ну что ж, все же слабые и работают. Я тоже слаб, но держу кирку, все должны работать“. Я ее не отпустил и она в тот же вечер на работе умерла» (Доживем ли мы до тишины. С. 202).

<sup>610</sup> Ленцман (Иванова) Е.П. Воспоминания о войне: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 5 об.

и потерпеть. Каждый должен заучить урок: кто не способен остановиться сам, того остановят другие, даже если имеются десятки оправданий. Такова механика упрочения нравственных правил: не увещевание, а запрет, не просьба, а приказ, не попытка понять чужую «правду», а не приемлющий чувствительности резкий отказ. Конечно, и «практические» доводы, оправдывающие жестокость, нередко сопровождалась сентиментальными импровизациями, «исповедью горячего сердца» и оскорбительными упреками, хотя, наверное, можно было обойтись и без них. Эмоциональная отповедь колеблющимся – это не упражнение в составлении безупречных логических формул. В ней сказывается весь человек с его порой неприятными привычками, необоснованными подозрениями, мелочными обидами. Тем сильнее и категоричнее отстаивается нравственный канон – но ведь он основан не только на рациональных доводах. Сколь неоспоримыми ни являлись бы аргументы, попробуйте вырвать из рук истощенных детей кусок брюквы, выгоните женщину, чьи дети умирают и которая шатается от слабости, дробить ломом лед, заставьте рабочего, ползающего на четвереньках, работать без усталости – и что-то сломается в человеке, который не останавливается ни перед чем.

Чувство сострадания не является тем инструментом, который можно убрать в футляр и столь же быстро вынуть из него, исходя из сиюминутных потребностей. Ничто не проходит бесследно. Любой выбор, справедливый или несправедливый, может стать причиной нравственного падения. Один из подростков слышал, как говорили врачи во время осмотра детей: «Ой, и этого нужно на дополнительное питание. Но не можем же мы всех поставить на дополнительное питание»<sup>611</sup>. Разве не черствеет после этого человек? Разве, произнося хотя бы единожды суровый, пусть даже и обоснованный, приговор голодным детям, не становится ли он более жестоким и в том случае, когда это не было столь необходимо для их спасения?

«Вообще сейчас начинает преобладать мысль, что надо поддерживать тех, кто еще жизнеспособен, а не кормить в ущерб им погибающих», – читаем в дневнике И.Д. Зеленской 19 марта 1942 г.<sup>612</sup>. Разве это не след все той же несокрушимой «железной» логики, которой нередко оправдывали безжалостный выбор между теми, кто одинаково нуждался в средствах пропитания? «Жестоко... Это рассуждение приемлемо, пока сама здорова, не споткнулась и не свалилась... Страшно: упадешь – так не поднимут», – писала И.Д. Зеленская, но для тех, кто оправдывал жестокость как средство спасения, встать на место других часто было невозможно, даже если они и хотели. «Зачем ей булка. И так умрет», – ответила врач, услышав просьбу выдать талон на белый хлеб одной из заболевших женщин – не стесняясь ее, глядя на нее в упор<sup>613</sup>. «Эта трагедия облегчает мне сокращение штата», – подчеркивается в дневнике инженера, узнавшего о гибели под обстрелом рабочего<sup>614</sup>. И здесь та же бухгалтерия, выраженная с предельной простотой и незамутненной ясностью. Вряд ли он безразлично отнесся к этой смерти – но ведь первая запись о ней являлась именно такой.

Делая выбор, произнося приговор, часто не обращали внимания на беды людей, не церемонились с ними, не слушали их объяснений и не хотели признавать, что они могут быть исчерпывающими. Но сообщая о причинах жестких мер, все же не могли не оправдаться и не сослаться на нравственные нормы. И чем подробнее были разъяснения, тем чаще этические требования оказывались на переднем плане. В воспоминаниях И. Меттера имеется рассказ о

<sup>611</sup> Память о блокаде. С. 57.

<sup>612</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 19 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 70; ср. с рассказом Э. М. Юкельсона об эвакуации спецшколы из Ленинграда: «Мальчишки плакали и просили директора взять их в эвакуацию. Об этом просили директора и некоторые родители, оказавшиеся здесь же. Широков [директор. – С. Я.] видел, что эти ребята умрут. Спасти их было... невозможно» (Соколов А.М. Эвакуация из Ленинграда. С. 99).

<sup>613</sup> Шестинский О. Голоса из блокады. С. 23.

<sup>614</sup> Кок Г.М. Дневник. XII.1941—I.1942: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 48. Л. 2.



его брате, кандидате наук и доценте, работавшем на кухне в госпитале. Это спасло от голода и его самого, и его родных. Узнав, кто он такой, замполит клиники уволил его. «С вашими научными знаниями положено работать соответственно, – выговаривал ему комиссар. – А вы занимаете место, предназначенное кадру, у которого нет другой возможности за отсутствием специального образования. Рабочему человеку оно предназначено, чтобы он выжил»<sup>615</sup>.

Говорит замполит хлестко, пожалуй, даже увлеченно. Это не суховатое чтение написанной канцелярским языком инструкции. Кажется, что стиль ответа принадлежит исключительно ему. За каждым словом – непоколебимая уверенность, что он поступает правильно, честно и, самое главное, справедливо. Где найдет работу в осажденном городе по своей специальности ученый, его не интересует, – как и то, сможет ли он выжить, не подкармливаясь на армейской кухне. Главное, что делает уверенным такой ответ – его формализм. Отмечаются не все аргументы, но самые очевидные, яркие, кажущиеся непреложными. Повторяется то, что стало обычным лозунгом в эти дни – и в том же агитационном оформлении. «Не хотел бросать младшего брата в одиночестве» – еще одно оправдание работы на кухне.

Что ж, у замполита и на это есть ответ: «...Мотив брата – это вообще не мотив в условиях блокады. Судьба Ленинграда – вот наш общий мотив»<sup>616</sup>.

### 3

Этим оправдывались часто и в самых разнообразных ситуациях. Летом 1942 г. было решено вывезти из города как можно больше «иждивенцев». Кто имел двух детей – должен уезжать. Опасение, что изможденные дети или их родители не выдержат поездки в непригодных для эвакуации вагонах, что за ними никто не сможет ухаживать и они погибнут от эпидемий, что здесь, в городе, ограбят квартиру уехавших, что на новом месте негде жить, там придется унижаться и быть нахлебником, там трудно найти работу – ничто из этого не принимается во внимание: обязан уехать. У тех, кто отказывался, отбирали продовольственные «карточки»<sup>617</sup>. И никого не интересовало, как смогут прожить без них. Если кто-то не способен понять разумные доводы, согласиться с тем, что нельзя обременять осажденный город слабыми и беззащитными людьми – заставят понять, и сделают это, не считаясь ни с какими чувствами, не оглядываясь на плач истощенных детей. Сделают, будучи твердо уверенными, что это и есть гуманизм, что только так и можно было спасти сотни тысяч человек, погибших в страшных муках от голода, бомбежек и холода в первую блокадную зиму.

В декабре 1941 г. частично закрыли ряд детских садов. Питание на детей там продолжали выдавать, но жить запретили – оставили только сирот<sup>618</sup>. Стоило, конечно, пожалеть и тех детей, у кого были живы родители, но кто замерзал в холодных домах, страдал от крыс и вшей, не был способен быстро дойти до бомбоубежища. Пожалеть тех, кому приходилось переступать через трупы погибших людей на лестницах и во дворах. Нет, оставили только сирот – их стало очень много, а в первую очередь надо спасать самых беззащитных. Блокадник С.И. Малецкий вспоминал (или, скорее, передавал воспоминания родителей) о том, что детей принимали в детсад лишь в том случае, если отдавали за них продовольственные «карточки». Нет «карточек» – отправляют домой. «Нет, это не жестокость», – настаи-

<sup>615</sup> Меттер И. Допрос. С. 53.

<sup>616</sup> Там же.

<sup>617</sup> См. записки Н.А. Булатовой: «Когда началась эвакуация, мама никак не хотела уезжать из Ленинграда: трогаться в дальнюю дорогу с тремя детьми было опасно. Но в октябре 1942 года нам просто не дали карточки и заставили эвакуироваться в приказном порядке» (Булатова Н.А. Героизм нашей мамы // Откуда берется мужество. С. 74) и А.М. Смирновской: «Вскоре вышел приказ, у кого 2 детей, не дадут хлебных карточек – надо было уезжать» (Смирновская А.М. Мои воспоминания. 1941–1942 гг.: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 24. Л. 3). См. также: Стенограмма сообщения Тихонова А.Я.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 123. Л. 32 об.

<sup>618</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 219.

вает С.И. Малецкий. В 1941 г. ему было мало лет и, возможно, оценки, которые он дает, возникли под влиянием блокадных рассказов родных. Но он не может обойти молчанием и другое, в чем-то сам себе противореча: «...Воспитатели понимали, что ребенок будет голодать дома до тех пор, пока не принесут карточек»<sup>619</sup>. Уговоры здесь бесполезны. Помочь этим детям нельзя, иначе они будут жить за счет таких же голодных. Не всякий, спасавший своего ребенка любыми средствами, мог признать справедливость этих доводов – тогда его заставляли это сделать.

Расчетливый прагматизм и нравственные правила равным образом проявлялись при оправдании жестокости как средства спасения. Заставить человека делать то, чего он не хочет, что причиняет ему боль, заставить, невзирая на все его жалобы, крики, мольбы, и тем самым сохранить ему жизнь – это, несмотря ни на что, считали нравственным.

И потому были уверены, что жестокость должна проявляться ко всем – к чужим и «своим». Пожалеешь «своего», уступишь ему, исполнишь его просьбу – и обречешь его на гибель.

И жестокость должна проявляться во всем – и в дележе хлеба, и в распределении мест в стационаре для «дистрофиков». Она неизбежна, когда делят хлеб на равные доли, невзирая на возраст и здоровье членов семьи<sup>620</sup>.

И жестокость должна проявляться всегда, поскольку нельзя обманываться слухами о возможном улучшении питания и считать, что все худшее позади. Какое ликование вызвало повышение норм выдачи хлебного пайка 25 декабря 1941 г. – а в январе умирало несколько тысяч человек в день.

#### 4

Жестокость становилась одним из главных условий соблюдения моральных заповедей. И она же являлась лабораторией воспитания черствости – того, что размывало эти заповеди. О.Н. Мельниковская была свидетелем того, как начальник госпиталя распорядился перед похоронами обрывать мертвых в то, «что порваннее» – делалось это в зале, где лежало грязное обмундирование, по которому ползали вши<sup>621</sup>. Спорить трудно – чистая одежда нужна живым.

В школе ФЗО воспитатели прятали письма учащимся, в которых родители звали их домой, где светло, тепло, сытно<sup>622</sup>. Может быть, педагоги переживали за судьбу школьников, которые могли погибнуть в дороге. Может быть, опасались наказаний за то, что не предотвратили «дезертирство», – но не боялись поступать жестоко, понимая, что значит письмо для ребенка.

Секретарь партбюро 14-го хлебозавода М.П. Федорова каждый день встречала на лестнице голодных женщин и детей, «вымаливавших» подавание: «Невозможно проходить мимо, когда я видела, что ко мне протягиваются детские ручонки, прося хлеба»<sup>623</sup>. Помочь? А за чей счет, ведь каждый кусок хлеба «на учете», все ленинградцы получают минимальный паек, да и, говоря откровенно, «всех накормить невозможно»<sup>624</sup>. Знавшие о нравах на хлебозаводах

<sup>619</sup> Малецкий С.И. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 165.

<sup>620</sup> См.: Глухова Г.И. И был случай... С. 221; Куликова Т. Сын // Память. Письма о войне и блокаде. Л., 1985. С. 340; Волкова Л.А. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 78; Павлова Е. Из блокадного дневника // Память. Вып. 2. С. 179; Память о блокаде. С. 37–38; Кондакова Е.А. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 123.

<sup>621</sup> Мельниковская О.Н. Дневник. С. 592–593 (Запись 1 декабря 1941 г.).

<sup>622</sup> Стенограмма сообщения Былинского В.П.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 22. Л. 5–5 об.

<sup>623</sup> Из стенограммы сообщения секретаря парторганизации 14-го хлебозавода Дзержинского района 27 декабря 1941 г. Марии Павловны Федоровой // Женщины и война. О роли женщины в обороне Ленинграда. 1941–1944. Сборник статей. СПб., 2006. С. 288.

<sup>624</sup> Там же.

могли бы с этим и поспорить – но доводы выстроены логично. Через эту школу жестокости прошли тысячи блокадников. Знакомясь с их различными свидетельствами, воочию видишь, как изменялись отношения даже самых близких людей.

«Передо мной на столе лежит хлеб, и я не могу смотреть, но мама сказала, что она и Маня сыты и что будем кушать в половине восьмого. Я жду», – записывает 7 ноября 1941 г. Б. Злотникова<sup>625</sup>. Хлеб выдается родителями обычно только два-три раза в день. Такой порядок поддерживался и в других семьях<sup>626</sup>. Родители сами решают – делить ли им хлеб поровну или поддерживать слабых за счет более крепких. С последним обычно мирились<sup>627</sup>, но не всегда могли скрывать своего раздражения. «Ворчат... Они морщились, потому что они были голодные» – так восприняли в одной из семей требование матери отдать «лучший кусок» самой маленькой дочери<sup>628</sup>.

История другой блокадницы – десятилетней девочки – намного трагичнее. Умер отец, его не хоронили, не желая лишиться «карточек». Но и они не спасали. Особенно голодала мать, отдававшая дочери свой паек. Дочь это видела, но знала и другое: «Я тогда решила ей сказать такое: „Мама, если ты будешь есть папу, я приведу милиционера“»<sup>629</sup>. Жестоко доносить на родную мать, пользуясь при этом ее хлебом, – а выхода нет: только после угроз та отнесла тело мужа в подвал.

Жалости допускать нельзя – это усвоили прочно. И доводы здесь были очень простыми. Т. Куликовой мать запрещала делиться хлебом с сыном: «Не будет тебя – он погибнет»<sup>630</sup>. Как вспоминал Л. Рейхерт, его мать «вскоре перестала скормливать все детям... Люди подсказали: „Умрешь, что с ними будет“»<sup>631</sup>. И отношение к родителям тоже нередко становилось прагматичным. С. Магаева ежедневно навещала мать в госпитале. Врач, видевшая это, ругала ее и запрещала приносить еду, опасаясь за ее здоровье. Та не соглашалась с ней, считая, что крохи, которые она отдает, едва ли что-то значат. Но вот ее рассказ: «По возвращении в детский дом меня ждал обед... а потом был еще и ужин... Все это я съедала сама, ничего не оставляя маме, т. к. надо было накапливать силы для завтрашнего дня»<sup>632</sup>.

И если такое происходило в семьях, среди родных, то что же говорить о других. Конечно, жестокость как средство спасения проявлялась не только к чужому человеку. Но нередко бескомпромиссность было легче отстаивать, когда приходилось иметь дело с мало-знакомыми, а то и вовсе незнакомыми людьми. Разумеется, и в таких случаях необходимы были самооправдания. Наиболее драматично высказывались они людьми интеллигентными, считающими себя порядочными.

«На моей обязанности – следить, чтобы учащиеся съедали суп в столовой, а не отливали его в баночки и кружки и не уносили домой», – записывала в дневнике преподавательница К. Ползикова-Рубец<sup>633</sup>. Можно ли их понять? Да: «Дома мать, отец, младшие дети не имеют супу». Можно ли пойти им навстречу? Нет: «... Сейчас я должна помешать Наде уне-

<sup>625</sup> Злотникова Б. Дневник. 7 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 40. Л. 8 об.

<sup>626</sup> Шибалева Н.П. Все мы защищали Ленинград // Государство. Право. Война. 60-летию Великой победы. СПб., 2005. С. 101; Куликова Т. Сын. С. 340; Глухова Г. И был случай... С. 221.

<sup>627</sup> См. воспоминания Е. П. Ленцман (Ивановой): «...Мама вместо хлеба принесла несколько штук пряников с фруктовой начинкой, их выдавали только на детские карточки... Я это очень хорошо помню потому, что мама сказала, чтобы мы свою долю отдали малышам. Так нас приучили» (Ленцман (Иванова) Е.П. Воспоминания о войне: ОР РНБ. Ф. 1272. Л. 4); воспоминания А. Терентьева-Катанского: «У нас в семье было неписанное правило: не есть весь паек, а большую часть относить маме» (Терентьев-Катанский А. Неразорвавшийся снаряд. С. 216).

<sup>628</sup> Интервью с М.А. Ткачевой. С. 233.

<sup>629</sup> Скобелева Е.Л. Родина моего детства. С. 13.

<sup>630</sup> Куликова Т. Сын. С. 340.

<sup>631</sup> Рейхерт П. Мать и нас двое // Память. Вып. 2. С. 417.

<sup>632</sup> Магаева С. Ленинградская блокада: психосоматические аспекты. М., 2001. С. 52.

<sup>633</sup> Ползикова-Рубец К.В. Они учились в Ленинграде. С. 55 (Дневниковая запись 26 ноября 1941 г.).

сти суп домой. Иначе нельзя. Организм детей и молодежи слабее, чем взрослых». Как сделать, чтобы одна моральная заповедь – помогать слабым – не перечеркивала другую: быть добрым, отзывчивым, благородным. Если приходится делать выбор, то это еще не означает, что он допустим: «Имею ли я право так поступать? Я, которая всегда стремилась воспитать в детях заботу о близких»<sup>634</sup>.

Дети – не взрослые, они не обременяют себя многословием вопросов и ответов, не понимают софистических уверток, не знают запутанности различных обстоятельств. Они видят простой пример: не помог, хотя должен был помочь, не дал, хотя мог дать. Воспитание детей всегда «картинно», оно больше основано на образах, а не на умозрительных объяснениях. Вот педагог, который выхватывает из рук ребенка банку с супом для голодной матери – что тут сказать? Для чего нужен такой наставник? Для того чтобы приучить ребенка спокойно смотреть, как умирают от истощения его родные, и надеяться, что это даст шанс ему выжить? В этом смысл его служения?

Попытки преодолеть такие нравственные коллизии обычно не отличались оригинальностью – по дневнику К. Ползиковой-Рубец это особенно заметно. Порядок не мог быть изменен, но искали какие-либо оправдания, часто формальные, которые позволяли его обойти, не меняя сути. Нельзя ли школьнице Наде, которая просила суп для матери и сестры, дать третью тарелку? – спрашивала себя К. Ползикова-Рубец. Ведь получил же ее мальчик для своего брата – тот не мог ходить в школу, поскольку у него опухли ноги. Нельзя: этот мальчик учится в школе, а мать и сестра Нади – чужие<sup>635</sup>. Подтверждалось старое правило: невозможно никого спасти, не поступаясь принципами. А в данном случае трудно говорить и о самих принципах. Деление на «своих» и «чужих» моральным признать трудно: оно основывалось лишь на прагматических расчетах.

## 5

«На днях была у городского прокурора... Он рассказывает, что недавно приехал из Москвы, на второй день заставил натереть полы. Затем устроил „самоосмотр“ сотрудникам. Многих послал мыться и чистить зубы» – эта запись была занесена работником архитектурного управления Э. Левиной в дневник 28 февраля 1942 г.<sup>636</sup>. Тогда и шагу нельзя было сделать, чтобы не наткнуться на трупы, выброшенные из домов. Унизительность «самоосмотра» очевидна, но прокурору не до сантиментов. В своей правоте он уверен: «Ничего, привыкают»<sup>637</sup>. И не только прокурор находил излишним считаться с чувствами опустившихся блокадников – таких людей было много. Одного из горожан, направленных в стационар в начале февраля 1942 г., врач отказался принять «по причине „вшивости и слабости сердца“»<sup>638</sup>. Свой долг он исполнял неукоснительно: в стационаре не должно быть заразы, а его работники не имели времени ухаживать за теми, кто нуждается в медицинской помощи – у них были другие обязанности.

Не хочет человек следить за собой – его заставят это сделать. И не посмотрят на его состояние, и не захотят выслушать его мольбы – заставят. Е. Павлова так принуждала мать умываться утром: «...Принесла воды... наверху льдинки плавали. Говорю: „Помойся, потом дам суп“. А она ни в какую, не слезает с теплой плиты. Пригрозила сама ее вымыть. Заплакала: „Издеваешься над матерью“. Но слезла с плиты и вымылась»<sup>639</sup>. Вода с льдинками и

<sup>634</sup> Там же.

<sup>635</sup> Там же.

<sup>636</sup> *Левина Э.* Письма к другу. С. 206.

<sup>637</sup> Там же.

<sup>638</sup> РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 л. Д. 338. Л. 105.

<sup>639</sup> *Павлова Е.* Из блокадного дневника // Память. Вып. 2. С. 193.

плачь матери тут упомянуты не случайно. Дочь понимала, что причиняет боль, и потому искала любые оправдания. Мать молчала после умывания – и Е. Павлова ее хочет уверить себя, что это знак одобрения ее поступка: «...Поняла, что я не издеваюсь. Ведь знает же, что это лучше»<sup>640</sup>.

Если это для пользы человека, то можно с ним и не церемониться. Те, кто так делал, были уверены, что они лучше знали, как помочь отчаявшемуся, растерявшему все цивилизованные навыки блокаднику. Пойти же на поводу у него – это плохо, это значит не любить его и не жалеть. М.С. Коноплева оказалась свидетельницей такой сцены: «...Старуха буквально тащила под руки внука, мальчика лет 12, бледного, исхудавшего как тростинка. Мальчик останавливался через каждые 10 шагов, плакал и жаловался, что „ноги не идут“»<sup>641</sup>. Его не слушают, стараются подвести к «куче песку на солнце». На помощь «старухе» приходит другая женщина – и та, возможно, не сомневается, что только так, принуждением, можно спасти мальчика. А то, что он до предела изможден («привалился к стене и сразу закрыл глаза») <sup>642</sup>, то на это и не стоит обращать внимание. Именно потому, что он не может идти, его и надо заставлять это делать: тогда, вероятно, он и не будет столь слабым.

«Я лежала, и все лежали, потому что мы... потеряли всякие ощущения от такой жизни», – вспоминала В.А. Опахова<sup>643</sup>. Это и увидела врач, пришедшая к ней домой: «Ух, как она меня ругала»<sup>644</sup>. Необходимо ли кого-то щадить, нужны ли мягкие уговоры, просьбы, увещевания? Нет, только так – бранью, не знающей границ, не щадящей самолюбия. Иначе как вырвать человека из оцепенения, из летаргии близящейся смерти? В замечательной книге Н. Тихонова «В те дни» приведена следующая история. В ней нет бравурной патетики его оптимистичных ленинградских очерков. Это «блокадная правда», как ни странно, оказалась уместной лишь в книге, изданной для детей: «...Маленькая, закутанная в три платка женщина, спотыкаясь в глубоком снегу, везла на детских саночках изможденного мужчину... Он сидел на саночках, закрыв глаза, и через каждые три шага падал навзничь. Женщина освобождалась от веревок, за которые она тащила сани, подходила к нему, приподнимала его и он снова сидел, страшный, как кащей, с закрытыми глазами»<sup>645</sup>. Она шла дальше, и он опять падал. И концу этому не было видно, и растерянно женщина оглядывалась по сторонам, надеясь на чью-либо помощь – а он падал, падал, падал. «Тогда с тротуара сошла высокая костистая женщина с упрямым выражением глубоких синих глаз, подошла к упавшему, подняла его резко и громко три раза прокричала ему в ухо: „Гражданин, сидеть или смерть! Сидеть или смерть! Сидеть или смерть!“ Он открыл глаза, заморгал и уселся. Больше он не падал»<sup>646</sup>. Только так – кричать прямо в ухо, не щадя его и не боясь повредить ему слух. Только так – резко поднять, не думая о том, причинит ли это боль. Только так – сказать страшные слова, не обращая внимания на психику «дистрофика», на присущие ему «развинченность», пугливость, нервную дрожь.

«Костистость» женщины – это не только дополнительный штрих ее облика. Это, может быть, и отражение ее сути. «Костистый» – этот тот, кто пережил самые страшные дни блокады, кто видел не одну такую сцену, у кого неминуемо должны были притупиться чувства. Этот тот, кто знал, как надо возвращать человека к жизни, не жалея его, не соизмеряя размах удара. Только так – наотмашь и безоглядно.

<sup>640</sup> Там же.

<sup>641</sup> Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 14 апреля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 57.

<sup>642</sup> Там же.

<sup>643</sup> Цит. по: Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. С. 29.

<sup>644</sup> Там же.

<sup>645</sup> В те дни. Ленинградский альбом. С. 16.

<sup>646</sup> Там же.

Были ли сомнения у нее, у других, когда они поступали именно так? Вряд ли. Перед ними были не просто ослабевшие люди, готовые признать разумность чужих доводов и хоть как-то позаботиться о себе. Они видели отчаявшихся и безвольных, с трудом понимавших, где они находятся и как надо себя вести, не умевших даже, подобно малолетним детям, ухаживать за собой – какие тут могут быть уговоры? Работницы одного из санитарных отрядов, обходя «выморочные» квартиры, обнаружили интеллигента, полуодичавшего, не встававшего с постели. Никаких болезней у него не нашли – он просто «сдал»<sup>647</sup>. Другой интеллигент, сотрудник лаборатории, также опустился, перестал следить за собой. Лаборантки решили помочь ему. Он стеснялся, сопротивлялся, но они все же согрели воду, вымыли его и одели в чистое белье. После он плакал, целовал им руки – нужно ли церемониться, когда встретится на пути еще один такой человек?<sup>648</sup>

Надо ли церемониться с уборщицей, смирившейся с близкой смертью, типичным «дистрофиком», с «глазами, заплывшими отеками», если ее четырехлетний ребенок «такой же замороженный». У И.Д. Зеленской, увидевшей ее, сомнений нет: «Я отругала ее на все корки, сколько сил хватило»<sup>649</sup>. Та оправдывалась: «ноги не ходят», не может дойти до райсовета и поместить девочку в детсад. И.Д. Зеленская взялась за дело сама, добилась, чтобы «устроили на рацион» ребенка. «...Женщина буквально в неделю стала неузнаваема: лицо опало, настроение взбодрилось, стала двигаться как следует, работать, улыбаться. Каждый день мне рассказывает, как она довольна и спокойна, как ее девочка поправляется в детсаде, какой вкусный был обед на рационе»<sup>650</sup> – надо ли тратить время на уговоры, если придется увидеть еще одного растерявшегося человека.

## 6

Бессилие в «смертное время» часто путали с безволием. Мысль блокадников как-то быстро и безоговорочно отмечала роковую цепочку последовательных падений. Отчасти оглядывались и на свой опыт, во многом прислушивались и к рассказам других. Видя, как буквально на глазах «воскресал» опустившийся человек, были уверены, что стоит лишь заставить его «взять себя в руки» и он преобразится<sup>651</sup>. Есть целый ряд типичных черт оголодавшего донельзя блокадника, не имевшего сил выйти из комнаты: оборванная, превратившаяся в тряпье одежда, немые руки, клочковатые волосы... От того, умоется ли он или воспользуется расческой, его выздоровление зависело мало, но иллюзия того, что прекратить распад можно без устранения его коренных причин, в какой-то мере объяснима – всегда считали возможным изменить внутреннее через внешнее.

Одно из главных средств, которое, по мнению многих, особенно ощутимо препятствовало духовному распаду – работа<sup>652</sup>. «Тем, кто не хотел работать, я не давал желе», – признался руководитель МПВО завода «Судомех» А.С. Ганжа<sup>653</sup>. Он, видимо, сразу понял, что

<sup>647</sup> Прохорова М.П. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 449.

<sup>648</sup> Игнатович З.А. Очерки о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 26. Л. 33.

<sup>649</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 7 декабря 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 110.

<sup>650</sup> Там же.

<sup>651</sup> См. рассказ А. Верта о встрече с сотрудниками Архитектурного института в сентябре 1943 г.: «Несомненно, рабочие переносят тяготы лучше, чем интеллигенты. Очень многие из них переставали бриться – первый признак того, что человек начал сдавать... Большинство этих людей, когда им давали работу, брали себя в руки» (Верта А. Россия в войне 1941–1945. С. 240).

<sup>652</sup> Об этом, например, рассказывала А.А. Фадееву М.К. Тихонова, жена поэта: «Из здоровых, нормальных людей прежде всего умирали те, кто был слаб характером, утрачивал волю к труду, и слишком много внимания обращал на желудок. Я... видела – если человек перестает мыть себе уши и шею, перестает ходить на работу и сразу съедает свой паек – это не жилец на белом свете» (Фадеев А. Ленинград в дни блокады (Из дневника). С. 116.

<sup>653</sup> Стенограмма сообщения Ганжи А.С.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 28. Л. 13 об. – 14.

сказал не то, что нужно, и тут же оговорился («это относилось к тем, кто был достаточно силен, но ленив») <sup>654</sup> – но ему ли не знать, сколько имелось тогда «сильных» и в чем были причины «лености». Особенно был озабочен «леностью» А.А. Жданов, не нашедший в себе сил выступить в «смертное время» ни на одном публичном собрании. «Товарищ Жданов тогда сказал: найти работу всем! И тут для всех стали находить работу», – вспоминал председатель Выборгского райисполкома А.Я. Тихонов <sup>655</sup>. Фабрики и заводы тогда бездействовали, чаще всего люди требовались для работы в похоронных командах. Почему должны были трудиться предельно истощенные, замерзавшие по пути на завод и погибавшие от обстрелов, умиравшие от изнеможения у станков, карабкающиеся на четвереньках? Объяснение слов Жданова давалось настолько циничное, что пересказ не способен выразить, не исказив, его суть – нужна только цитата: «Это необходимо было для того, чтобы отвлечь трудящихся от мысли, что им нечего есть и что им холодно» <sup>656</sup>.

Своеобразный способ «занять работников библиотеки, отвлечь таким образом от желудочных проблем» нашла в декабре 1941 г. директор ГПБ Е.Т. Егоренкова. Большой план работ на 1942 г. – вот она, панацея от голода, надежное средство прекратить тягостные и бесконечные разговоры о хлебе. Когда читаешь такие признания, всегда узнаешь о том, для кого это говорилось – не для блокадников же, испытавших все ужасы «смертного времени»: «Посмотрели бы вы, как разгорелись бледные, синие, желтые и зеленые лица моих коллег. *Целый месяц никто ни о чем не думал, кроме как о плане* [курсив мой. – С. Я.]». Есть в этом цинизме что-то безоглядное, когда уж ничего не стыдятся и позволяют такое, до чего не опустился бы и призванный поддерживать оптимизм человек с доблокадным лицом, не синим и не зеленым – «сколько было творческих дискуссий, возникавший на ходу. Люди усталые, голодные, не спали по несколько ночей» <sup>657</sup>. Главное здесь – не содержание ее рассказа (его можно и не принимать на веру), а четко выраженная уверенность, что так и должно все происходить.

Призыв Жданова был поддержан быстро. О привлечении «дистрофиков» к очистке города охотно рассказывал позднее председатель Куйбышевского райисполкома П.Х. Мурашко. Мотив тот же: «Когда человек лежит и ничем не занят, то он думает только о еде и считает себя обреченным» <sup>658</sup>. Конечно, как оправдывался он, никто не заставляет их умирать от непосильного труда: «Мы разъясняли людям, что это делается в их же интересах». Если «дистрофик» устанет, он может пойти домой и отдохнуть <sup>659</sup> – при этом не уточнялось, сколько времени придется добираться до постели шатающемуся человеку, если в доме нет лифтов, а лестницы обледенели. О том, почему именно труд являлся столь целебным, никто долго и не размышлял. Это являлось аксиомой, подкрепленной и коллективистскими нормами советского времени и житейскими наблюдениями, в которых легко могли поменяться местами причина и следствие. И.Д. Зеленская даже отмечала в одной из своих дневниковых записей, что практикуемый в стационарах «переход относительно здоровых людей на больничное положение и лежание на койке действовали губительно на очень многих» <sup>660</sup>. Об этом

<sup>654</sup> Там же.

<sup>655</sup> Стенограмма сообщения Тихонова А.Я.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 123. Л. 21.

<sup>656</sup> Об этом сообщила директор фабрики «Светоч» А.П. Алексеева, рассказывая о выступлении Жданова перед секретарями райкомов ВКП(б) (Стенограмма сообщения Алексеевой А.П.: Там же. Д. 3. Л. 4).

<sup>657</sup> Выступление Е.Т. Егоренковой цит. по: *Соболев Г.Л.* Ученые Ленинграда в годы Великой отечественной войны. М.; Л., 1966. С. 98.

<sup>658</sup> Стенограмма сообщения Мурашко П.Х.: Там же. Д. 148. Л. 7.

<sup>659</sup> Там же.

<sup>660</sup> *Зеленская И.Д.* Дневник. 25 апреля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 78. Об этом же она писала в дневнике и месяц спустя: «Этот странный, губительный эффект стационаров, упадок взамен поправки, я отмечала у очень многих» (Там же. Л. 82 об. (Дневниковая запись 24 мая 1942 г.)). Ср. с сообщением А.С. Ганжи о заводском стационаре: «Некоторые люди, находившиеся в стационаре, не хотели уходить с производства. Они говорили, что если мы пойдем и

можно спорить и приводить многочисленные свидетельства горожан, спасшихся в стационарах. Но поводы для подобных размышлений, несомненно, имелись, и стремление заставить людей работать для их же пользы не являлось только лишь следствием призывов «сверху».

В очерках А. Фадеева «Ленинградцы в дни блокады» есть раздел, посвященный истории ремесленного училища № 15. В первую военную зиму почти все его учащиеся выжили. «Они не умерли потому, что трудились», – объяснял причины низкой смертности директор В.И. Анашкин<sup>661</sup>. Чтобы заставить подростка работать в это время, одних увещеваний было недостаточно. В.И. Анашкин, впрочем, и не скрывает своих методов: «Трудились они потому, что я внедрил в сознание ребят чувство дисциплины. Я внедрил его не только убеждением, но и самым суровым принуждением». Испытывает ли он какие-нибудь угрызения? Нет: «Только в этом спасение». И весь дальнейший его рассказ – это не просто объяснения его жестких поступков. Оправдываться он вообще не желает. Это скорее перечень тех действий, которыми надо гордиться, которые показывают его как порядочного человека, стойко противостоящего любым невзгодам. Многие директора ремесленных училищ, не имея возможности прокормить учащихся, отправили их домой – он этого не сделал. Он не боялся ответственности. Был лютый мороз, не работали водопровод и канализация – он не отступил. Соппротивление блокадному кошмару отмечено им с какой-то педантичностью, даже в мелочах. Все средства хороши, он не стесняется и имитации довоенного быта: «Я добивался, чтобы в столовой была абсолютная чистота, чтобы на столах стояли бумажные цветы, оправленные белоснежной бумагой, и во время обеда играл баянист»<sup>662</sup>.

Вряд ли этого кто-то требовал от него. Инструкции ему, очевидно, и не нужны. Он чувствует себя не только организатором, но и художником. Он воссоздает в частности, обычно примитивных и «мещанских», запредельный, недостижимый пока в реальности мир уюта, чистоты, гармонии и спокойствия. Это не «канцелярская» обязанность, это почти что артистическая импровизация. И он не сомневается, что только так и можно спастись. И не колеблется заставить других поддерживать этот хрупкий, подчас иллюзорный мир порядка, противостоящего хаосу блокадных будней. Порядок создает свободу, хаос ведет к порабощению – едва ли он знал этот афоризм Ш. Пеги, но дух его назиданий был таким же. Возникает ощущение, что главным здесь был не столько сам труд, сколько размеренность, устойчивость, «системность» и автоматизм коллективных действий: «Я добивался того, чтобы ребята вставали только в назначенный час, обязательно мылись, пили чай и шли в мастерскую. Некоторые были так слабы, что... не могли трудиться, но все-таки возились у своих станков, и это поддерживало в них бодрость духа. Когда из-за отсутствия электроэнергии мастерская стала, мы выходили чистить двор или занимались военным строем. Я все время стремился к тому, чтобы с минуты пробуждения и до сна ребята были бы чем-нибудь заняты»<sup>663</sup>.

Неясно, как относились к этому подростки, для которых прикрепление к столовой училища являлось порой единственным шансом выжить. Фадеева их отклики не очень интересовали, да и едва ли скепсис был уместен после пафосного, почти плакатного оптимизма, которым пропитаны строки его рассказа – много от него и не ждали в редакциях. В.И. Анашкин в подтверждение своей правоты приводит слова некоей девочки («скучно без училища», «никакой жизни нет»), но это признание можно объяснять по-разному – все зыбко в таких аргументах. Он, правда, проговаривается, замечая тех, кто из-за слабости мог лишь «возиться» у станка, но тоже старается не вникать слишком глубоко в их чувства. Чтобы создать такую дисциплину и неумолимо ее поддерживать, требовался особенный настрой.

ляжем, то загнемся» (Стенограмма сообщения Ганжи А.С.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 28. Л. 25).

<sup>661</sup> Фадеев А. Ленинград в дни блокады (Из дневника). С. 114.

<sup>662</sup> Там же.

<sup>663</sup> Там же.



Необходимы были безоглядность, самоуверенность, невосприимчивость к чужим страданиям – иначе чувство жалости неизбежно бы взяло верх и вся система принуждения во благо спасения развалилась бы в одночасье. Но чем последовательнее осуществлялась эта идея, тем быстрее замутнялись представления о ее конечной цели. Акт спасения заменялся суммой приемов мелочной опеки и контроля, которые становились самодовлеющими. От людей начинали требовать больше, чем это было необходимо, заставляли их напрягать последние силы, чем невольно убыстряли их шаг к смерти, придумывали ритуалы, способные ярче и публичнее показывать внешние признаки «жизненности». Никто из тех, кто вынуждал проявлять «оптимизм», не был ни психологом, ни врачом, чтобы убедительно обосновать роль труда в выживании «дистрофика», получавшего 125 г хлеба в день, но попробуйте разуверить их.

## 7

Обоснование труда как общего долга, который все должны исполнять в такое суровое время, также оправдывало принудительные меры по отношению к тем, кто отказывался работать. Эту идею труда как непреложной обязанности, независимо от того, нужен ли он сегодня и стоит ли он нечеловеческих усилий, настойчивее других, пожалуй, пытался воплотить в жизнь директор Академического архива Г.А. Князев. Почти каждая запись в его дневнике разделена как бы на две части. Первая – патетическое вступление, подчеркивающее сложность переживаемого момента и необходимость стойкости и самопожертвования. Вторая – перечень историй, эпизодов и сцен, где он обличает несправедливо живущих, успокаивает колеблющихся, приободряет впавших в уныние. Только свет и тьма – скромные, неприхотливые люди, не жалующиеся, достойно и молча несущие на себе тяготы войны, и их антиподы: воры, лицемеры, лжецы, краснобаи, трусы. В центре – фигура автора дневника, непоколебимо уверенного в своей правоте, обладающего набором простых, но четких представлений о том, как надо себя вести.

Сотрудники, которых он поправляет каждый день – люди, как правило, слабые. Они чаще думают о хлебе, чем о работе, еле ходят, счастливы, когда им удастся погреться у печки. Пафосные наставления тут плохо принимаются. Вот одна из сцен, отмеченных в его дневнике 9 февраля 1942 г.: «Сидели у плиты... никто ничего не делал. Я указал, что в марте нужно приготовить рабочую комнату, на меня зарычали. Зарплаты нет и сегодня. Все голодные и холодные»<sup>664</sup>.

Это написано в феврале 1942 г., когда число умерших от истощения за неделю составляло десятки тысяч человек. Спустя месяц он вновь жалуется: «Никто из сотрудников этой заботливости [к архиву. – С. Я.] не проявляет. Ходят на службу, служат, чтобы иметь карточку служащего. И только»<sup>665</sup>. Он ведь и сам голодает – ну, может быть, не так, как иные, но уж точно не роскошествует. Почему же он не сдаётся? Почему у других опускаются руки? Пришел к нему сотрудник и он увидел, как тот постарел и осунулся. Но ведь еще держится на ногах и потакать его слабостям нельзя: «Просил освободить его от дежурства. Я не согласился»<sup>666</sup>. Неприятно, что этот сотрудник, доктор наук, словно нарочно тут же, при нем, стал выполнять «грязную» работу: выливать воду из раковины. Пристыжен ли директор? Нет – надо поручить эту работу другим, а вот дежурить доктор наук должен: может ведь он ходить. В конце февраля Г.А. Князев стал свидетелем того, как столпившиеся у печи служащие «в

---

<sup>664</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 56 (Запись 9 февраля 1942 г.).

<sup>665</sup> Там же. С. 58 (Запись 5–6 марта 1942 г.).

<sup>666</sup> Там же. С. 47 (Запись 26 января 1942 г.).

продолжении двух с половиной часов говорили только о жратве»<sup>667</sup>. Разве так можно поступать? Кто же будет трудиться? «Когда я заговорил о работе, настороженно указывали на объективные трудности, ослабление от голода»<sup>668</sup>.

«Настороженно указывали», не кричали, а «рычали», не возмущались громко, не обвиняли открыто. Вероятно, боялись, что их «сократят»: иждивенческий паек обрекал на верную гибель. И ходили, шатаясь. И поминутно мерзли. И не понимали, кому в этом кошмаре понадобились архивные папки. И не упускали возможности хоть как-то выявить свое возмущение – но молча. Вот он, доктор наук, без слов выполняет приказание, нарочито унижаясь у раковины – все молча, молча, молча.

Вид людей немощных и изможденных здесь побуждает не к милосердию, а к осознанию своей исключительности и стойкости. Г.А. Князев, потому, имеет право на непримиримость, и это тоже для него подвиг: идти наперекор всем и не жалеть, когда хочется пожалеть. Иначе он будет выглядеть столь же податливым, утратившим нравственные опоры, как и порицаемые им. Он потому имеет и право определять, как щедро поощрять нужных сотрудников, не чуждающихся работы – конечно же, за счет служащих, не приносящих пользы. И хорошо знает, к чему это ведет: «Я устанавливаю по списку очередь их гибели!»<sup>669</sup> И не склонен к самобичеванию: «...Ведь где-то и я в этом списке»<sup>670</sup>.

Многие из его сотрудников не выжили во время блокады. Погибли и безвестные вахтеры и уборщицы, и одинокие, которым некому было помочь. Он не столько их оплакивает, сколько ими гордится: «Вот люди, с которыми я живу и, быть может, умру»<sup>671</sup>.

В его записях не часто говорится о том, зачем нужно листать архивные папки. Об этом неприятно писать. Доводы здесь не обещают быть выигрышными. Главное – не это. Важнее всего долг. Если все его будут исполнять – тогда и придет победа, тогда появится и надежда на спасение. Подразумеваются несколько моральных правил, не всегда высказанных прямо. Нельзя получать плату, ничего не делая – это то же, что и воровство. Нельзя подавать плохой пример колеблющимся – это побудит их пасть еще ниже. Нельзя ожидать, что кто-то сделает за тебя твою работу – это означает жить за счет других, таких же истощенных. И нельзя чтобы к порученному делу относились с безразличностью и отвращением – есть этика труда.

Как и во всех случаях, выбор вариантов спасения других людей ставил перед тем, кто это делал, нравственную проблему. Определять, кому и чем помогать, когда можно заставлять человека выполнять то, что он не хочет, вынуждало еще раз придирчиво оценивать свои представления о морали.

Но нельзя не отметить и другое. Насилие над человеком, неумолимое и безоглядное, даже предпринятое во имя его спасения, разрушало традиционные нравственные правила. Они основывались не только на логических доводах и на неопровержимых умозаключениях. Оттолкните жалобно просящего милостыню – и сколько бы не приводили аргументов разумных, безупречных и неопровержимых, как бы не уверяли, что это делается для его же пользы, но о необходимой прочности моральных устоев говорить теперь не придется. Время было необычное и немилосердное. Стоило лишь обнаружить червоточине жестокости и многое могло кончиться роковым «все дозволено». Если разрешено причинять боль и оправдывать это, то что может остановить и в тех случаях, когда речь шла не о спасении. Повторение устанавливает правило. Трагичнее всего было то, что иных вариантов не существовало. Жестокость являлась необходимым условием спасения людей и она же разрушала этику,

---

<sup>667</sup> Там же. С. 56–57 (Запись 27–28 февраля 1942 г.).

<sup>668</sup> Там же. С. 57.

<sup>669</sup> Там же. С. 43 (Запись 17 января 1942 г.).

<sup>670</sup> Там же.

<sup>671</sup> Там же.

делавшую необходимым самый акт спасения: лекарство оказывалось одновременно и ядом, и противоядием.

## Глава IV Влияние нравственных норм на поведение людей

### Обращение за помощью

#### 1

Обращение за помощью определялось укоренившимися нравственными правилами, но во время блокады они во многом оказались размытыми. Произошло это не в одночасье. Просьба оказать помощь именно в «смертное время» требовала, разумеется, больше решимости, даже безоглядности, отменения ряда моральных норм. Ведь и те, у кого просили хлеба, сами нередко были истощены. Приходившие к ним за поддержкой не могли не знать о цене ожидаемых ими подарков.

Возможно, поэтому многие не решались прямо просить о помощи – надеялись, что знавшие об их бедах все же сами ее предложат. Разумеется, они понимали, что не у всех хватит сил и времени на посещение родных, близких и знакомых, нуждавшихся в поддержке. Они сами ходили к ним «в гости» – ничего не требуя, но ожидая, что даже их внешний вид вызовет сострадание. И надеялись на то, что есть упрочившиеся обычаи и нельзя не дать хоть что-то пришедшим навестить. «Трудно привыкнуть к тому, что гость это человек, которому не следует предлагать даже чашку пустого чая», – писал И. Меттер<sup>672</sup>, и этот обычай угощать, конечно, не так щедро, как в прошлом, отмечался и во время блокадной зимы.

Первое время пришедшие «в гости» изможденные люди еще крепились, не всегда обращались с прямой просьбой о хлебе. Но это никого не обманывало: все понимали, какая нужда привела их в чужой дом. «Ведь сознаюсь тебе честно, теперь придешь к кому-нибудь, дак только и ждешь, чтобы хоть чем-то угостили», – рассказывала А. Кочетова матери<sup>673</sup>. История А. Кочетовой весьма типична для того времени, разве что стоит отметить редкостную бесхитрость ее описаний – без умолчаний и желания облагородить себя. К концу декабря 1941 г. она была крайне истощена и ей все равно было куда идти, к ближнему ли родственнику, к дальнему ли: только бы помогли. Один из них поделился с ней лепешкой из дуранды. Ждать помощи больше было неоткуда. Она пришла к нему во второй раз, и он снова угостил ее лепешкой. Тогда она пошла к нему в третий раз... Она и сама знает, что так делать нельзя, что нет у нее права бесконечно пользоваться чужим благородством: «...Ходить то неудобно... Дак я решила стыд... потерять... Вот мамочка каким я человеком стала, куда вся моя гордость подевалась»<sup>674</sup>. Но нет сил остановиться: если дали один раз, может дадут еще, и еще... Не остановиться – голод все сметает, и стыд и гордость, и дарение очень скоро начинает оцениваться почти как должное, и трудно рассказать о том, как она получила отказ, без еле скрываемой обиды: «...А потом видит, наверно, что человек то невыгодный, дак и угощать не стал, дак я к нему и ходить не стала»<sup>675</sup>.

---

<sup>672</sup> Меттер И. Избранное. С. 117.

<sup>673</sup> А. Кочетова – матери. 31 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 к. Д. 5. Ср. с дневником Ф.А. Грязнова: «Утром ездили к тете Ирусе. И, стыдно сказать, в надежде что-нибудь проглотить... Ждали мы с нетерпением, что тетка нас угостит, как всегда, приятным, вкусным и разнообразным завтраком...» (*Грязное Ф.А.* Дневник. С. 156 (Запись 20 декабря 1941 г.)).

<sup>674</sup> А. Кочетова – матери. 31 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 к. д. 5.

<sup>675</sup> Там же.

Посещая родных и близких, встречаясь с соседями, обычно делились своим горем, подробно рассказывали о наиболее скорбных эпизодах блокадной жизни, говорили о том, какие страдания испытывают. Никто ничего не просил – просто надо было выговориться. Т.А. Кононова записывала в дневнике 29 января 1942 г.: «Утром пришла погреться из очереди за хлебом Аня Кипрушкина и все плака[ла]... Валя и Анд [рей] Ив[анович] отекали. Просто ужас. Потом пришли погреться... Кира с Анас[тасией] Ник[олаевной], хотели пойти узнать об эвакуации, но посидев, *никуда не пошли* [курсив мой. – С. Я.]. Они тоже живут на пайке, т. е. это 250 гр. хлеба и почти больше ничего, т. к. в магазине за январь дали иждивенцам по 50 гр. масла, 100 гр. мяса».<sup>676</sup>

Но нередко люди, потрясенные рассказами других блокадников, оказывались иногда щедрее, чем обычно. И отчасти поэтому гости стремились дополнить жуткие блокадные повести новыми подробностями – не выдуманными, подлинными, но с подробным перечислением наиболее страшных примет «смертного времени». И видя, как другие «пируют», разве случайно сообщали им о своих бедах<sup>677</sup>. И когда брат одной из блокадниц, «весь опухший, постаревший», придя к ней домой, «вылизал кухонный стол» – нужно ли было иное, более красноречивое свидетельство о том, как он голодает<sup>678</sup>.

«Я к вечеру до того расстроилась, что плакала и все из рук валялось», – так заканчивает свою дневниковую запись 29 января 1942 г. Т.А. Кононова<sup>679</sup>. Может, поэтому и заходили к ней так часто «греться» – знали, что поделится хотя бы кипятком, если ничего другого нет. К этим людям, добрым и отзывчивым, шли, ожидая помощи – и не всегда считались с тем, что они и сами бедствовали. Шли, потому что знали, что другие им ничего не дадут, шли, потому что было не до стыда и не могли больше терпеть, шли, хотя питались лучше, чем те, у кого просили – шли, шли, шли...<sup>680</sup> Целая череда таких «гостей» отмечена в дневнике Н.Л. Михалевой. Приходили они не раз, всегда на что-то надеясь. Один из них – «скелет со страшными глазами», другой «приполз в буквальном смысле»<sup>681</sup>. Не к кому идти им, отброшенным на обочину блокадной жизни, как только к ней, глубоко верующей женщине, которая не оттолкнет, не промолчит, увидев умоляющие глаза. Она и сама бедствует и ноты отчаяния постоянно слышатся в ее записях. «Ждет, чтоб его накормили, а мне нечем... и всех их жаль, и я уделяю, что могу. У нас у самих ведь все запасы... подобралась» – это написано 18 декабря 1941 г.<sup>682</sup>. «Всех я подкармливаю, отрывая от себя, но это становится... невыносимо» – эта запись сделана 7 января 1942 г.<sup>683</sup>. «Накормила, чем могла, дала ему 50

<sup>676</sup> Кононова Т.А. Осажденный город Ленинград: ОР РНБ. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 1. Л. 6–6 об.

<sup>677</sup> См. дневник П. М. Самарина: «Лидуха [жена Самарина. – С. Я.] принесла из своей столовой два обеда, прибавила три-четыре картофелины, сварили и потом поджарили, ну прямо объеденье. Сегодня мы буржуи!.. Соседи говорят, что они сегодня сидят только на 125 гр. хлеба» (*Самарин П.М.* Дневник. 15 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-л. Д. 338. Л. 54). Запись в дневнике Ф. А. Грязнова о посетителях столовой: «Женщина просит официанта дать ей вторую тарелку супа, ест без хлеба, жадными глазами смотрит на тех, кто прожевывает свою небольшую порцию хлеба, и громко говорит: „Вот, ем без хлеба, отдаю сыну, мало ему, он в институте“» (*Грязнов Ф.А.* Дневник. С. 103 (Запись 14 ноября 1941 г.).

<sup>678</sup> Прохорова В.А. Война не щадила никого // Откуда берется мужество. С. 115.

<sup>679</sup> Кононова Т.А. Осажденный город Ленинград: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 1. Л. 6 об.

<sup>680</sup> См. воспоминания А. Терентьева-Катанского: «Умер Вяжвинский. Долго ходил к нам, поблескивая пенсне на отеком лице с „интеллигентской бородкой. Мама делилась с ним всем, чем могла» (*Терентьев-Катанский А.* Неразорвавшийся снаряд. С. 216); Записи А.Л. Аскназийю педагоге Троицкой: «... Она не могла видеть голодных лиц и протянутых рук и все отдавала окружающим. Она была слишком доброй и некому было охранить ее от людей, которые голодали так же, как и она, но вернее всего, даже меньше, но... просили и брали у нее» (*Аскназий А.Л.* О детях в блокированном Ленинграде: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 14; см. также: *Лисовская В.М.* Запись воспоминаний // 900 блокадных дней. С. 15; *Машикова М.В.* Из блокадных записей. С. 18 (Запись 20 февраля 1942 г.).

<sup>681</sup> Михалева Н.Л. Дневник. Цит. по: *Пострелова Т.А.* Выписки из дневника Н. Л. Михалевой // Женщины и война. С. 301, 305.

<sup>682</sup> Там же. С. 301.

<sup>683</sup> Там же. С. 302.

гр., починила варежки» – записывает она в дневнике 5 апреля 1942 г.<sup>684</sup> Может, она жаловалась не только в дневнике, но и прямо говорила «гостям» о своих бедах – но почему же они шли к ней и в декабре, и в январе, и в апреле?

## 2

Обращаясь с просьбой о помощи, нередко говорили, что делают это не для себя, а для других – словно извинялись за свой поступок<sup>685</sup>. Л. Разумовский рассказывал о няне, которая слегла и просила его обратиться к соседям за «тарелочкой супа». Он долго стоял перед их квартирой («мнусь, переступая с ноги»), не решаясь постучать в дверь, и только мысль о том, что это делается для другого человека, придала ему смелости. Получив вместо супа стакан соевого молока, он снова («третий раз») говорил о том, что это предназначено не ему, а няне: «Большое спасибо, это для Ксении. Если бы для себя, я бы не попросил»<sup>686</sup>.

Отметим эти оправдания. Едва ли стоит их оценивать лишь как некий прием, призванный сильнее разжалобить сердобольного человека. Можно было попросить и для себя: для того, кто дает, это различие, вероятно, являлось не столь важным, но заступничество за других людей ведь всегда оценивается более высоко. Здесь рельефно проступают несколько нравственных правил: отзывчивость, бескорыстность, стремление помочь нуждающимся, сострадание, извинение перед теми, кого призывают поделиться хлебом.

Прямые просьбы о помощи сопровождаются нередко различными оговорками, цель которых – оттенить скромность просителей, их непритязательность и неприхотливость, показать, какую неловкость они испытывают, когда приходится тревожить других людей своими жалобами. Если просить, то самое малое, самое необходимое, то, что может быть отдано без сожалений – таков основной мотив таких обращений. Если просить, то лишь в том случае, когда неоткуда больше ждать помощи, когда оказались на самом дне, когда угрожает гибель – именно эти обстоятельства подчеркиваются сильнее всего.

Возьмем лишь несколько частных писем с просьбой о помощи и увидим, как они похожи друг на друга, как общие для всех моральные правила проявляются и в содержании этих скорбных посланий и даже в их оформлении. В письме сотрудника Эрмитажа А.Н. Кубе сразу же подчеркивается, что он хочет немногого. Он здоров и даже «полон энергии». Необходимы лишь теплые носки – ноги «страшно мерзнут во время ночных дежурств»<sup>687</sup>. Для его обращения характерна предельная деликатность: «...Не осталось ли после нашего Степана Петровича какая-нибудь пара шерстяных носков?!» Он понимает, что, наверное, неудобно отдавать ему эти обноски. Он согласен на все: «Пускай рваных, я их заштопаю». Тон письма приобретает характер какого-то извинения, когда боятся показаться бесцеремонным: «Надежд, понятно, мало, потому что... он как будто шерстяных не носил». И далее – прямая мольба: «А может быть все-таки. Если да, не дадите ли Вы их мне?!»<sup>688</sup>; здесь

<sup>684</sup> Там же. С. 305.

<sup>685</sup> «Молчанов... пришел поговорить со мной о Берггольц... Он... никак не умеющий заботиться о себе, пришел просить сделать все возможное, чтобы эвакуировать Ольгу» (*Шварц Е.* Живу беспокойно. С. 657); «Валя умоляет помочь сестре... Казалось, она умирала» (*Фаянсон М.Р.* Букет из березовых веток // Без антракта. С. 94); «Нас прихватил с собой грузовик... Женщина-шофер просила хотя бы кусочек сахара для ребенка» (*Инбер В.* Почти три года. С. 227 (Дневниковая запись 22 мая 1942 г.)); «Меня вызвали к телефону... Узнаю по голосу жену техника Рохлина Валентину Ефимовну: „Помогите, он умирает...“» (*Михайловский Н.* На Балтике. Из дневника военного корреспондента // Девятьсот дней. С. 101); см. также: *Магаева С.* Ленинградская блокада. С. 44–45.

<sup>686</sup> Те же оправдания можно обнаружить и в сцене, описанной в дневнике П. Капицы: «Ко мне прицепился мальчонка лет шести... – Дяденька, нет ли папиросочки? Ну, пожалуйста... Мальчик не отставал: – Я не себе, папа послал. Просит хоть чинарик достать... Дайте хоть бы махорочки, дяденька, вам же выдают... Папа сам бы попросил, но ходить не может» (*Капица П.* В море погасли огни. С. 260).

<sup>687</sup> А.Н. Кубе – В.Д. Головчинер. Январь 1942 г. // Нева. 1999. № 1. С. 199.

<sup>688</sup> Там же.

он четче обнаруживает свою настойчивость. Но она оправлена в формы безукоризненной вежливости, и не случайно: нельзя обидеть, нельзя заставлять, нельзя упрекать. Все должно выглядеть как чистый акт милосердия. Оговорками он твердо указывает на свое место как просителя, не имеющего никаких прав.

Та же последовательность изложения просьбы присутствует и в другом его письме, отправленном в конце февраля 1942 г. Оптимистических нот теперь здесь нет: «Лежу в стационаре в ужасном положении со страшным колитом. Совсем плохо»<sup>689</sup>. Многого он не просит. «Нет ли у вас хотя бы *чуть-чуть* [курсив мой. – С. Я.] красного вина». Его нигде не найти – он подчеркивает, что посмел обратиться за поддержкой лишь в силу крайней нужды. Он не может сразу перечислить все, что ему необходимо, рискуя показаться наглым. Каждые последующие просьбы высказаны с какой-то уничижительной интонацией и сопровождаются обязательными уверениями в том, что он согласен и на крохотные порции. Если нет красного вина, то, может быть, есть возможность прислать чего-нибудь «доброкачественного»? «Так же, если есть, *немного* [курсив мой. – С. Я.] водки». И здесь же слова извинения, и все в той же «просительной» форме: «Будьте добры. Простите. Совсем упал духом, внезапно появляются какие-то отвратительные боли в костях»<sup>690</sup>.

Такая же деликатность обнаруживается и в письме музыканта К.М. Ананяна к жене, отправленном 7 марта 1942 г. «Угнетает вопрос с продовольствием» – с этого начинается просьба<sup>691</sup>. Далее следует несколько строк, вычеркнутых цензурой. Нетрудно угадать их содержание – очевидно, он рассказывает о подробностях осадной жизни. После этого он еще раз извиняется перед женой за то, что просит «систематически присылать... съедобное». Ему не нужны изысканные яства: «Пусть это будут сухари или корки хлеба, картошка»<sup>692</sup>. Это принесет ему радость. И он постарается отблагодарить, будет постоянно присылать деньги.

Казалось бы, все, что нужно, было сказано. Но ведь бедствуют все. Он, несомненно, понимает, что и жене живется несладко. И, возможно, опасается, не сочтут ли его обращение за минутную слабость. Он еще раз пишет о том, сколь сильно голодает – и так, что ему обязаны будут поверить: «Я должен признаться, что таких тяжелых дней я никогда не переживал в жизни. Трудностей, как известно, было у нас много, но таких, как сейчас, у нас не было»<sup>693</sup>. И снова подчеркивает, что не надеется на многое, не ожидает деликатесов, готов довольствоваться любой едой, какую бы ни присылали: «Ты не стесняй себя, не ищи для меня продуктов. Например, скажем, масло. Не обязательно, чтобы масло было коровье. Пусть будет... баранье масло»<sup>694</sup>.

А.В. Немилов, прося друга прислать продовольственную посылку, опасается, как бы тот не был сбит с толку слухами о возможном снятии блокады. Даже если это и произойдет, потребуется еще немало времени, пока всех обеспечат продуктами, а в городе скопилось и много беженцев. Нужны сахар, сухофрукты, сухие корни – тут он спохватывается, и не желая выглядеть требовательным, не без комплиментов пишет адресату, что тот обойдется и без его советов, поскольку опытен в «таких хозяйственных и съедобных делах»<sup>695</sup>. И конечно, все расходы он возместит, готов взамен прислать книги.

<sup>689</sup> А.Н. Кубе – В.Д. Головчинер. Конец февраля 1942 г. // Там же. С. 200.

<sup>690</sup> Там же.

<sup>691</sup> К.М. Ананян – М.М. Ананян. 7 март 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 1–1 об.

<sup>692</sup> Там же.

<sup>693</sup> Там же. Л. 1 об.

<sup>694</sup> Там же. Л. 2–2 об.

<sup>695</sup> А.В. Немилов – И.И. Абрамову. 11 января 1942 г. // «Мы знаем, что значит война...». С. 561–562.

Соглашаясь на все, люди имели больше оснований надеяться на поддержку. Взять неверный тон, скупое сказать о положении в городе, попросить больше, чем могли дать – и ждать помощи не приходилось. Само обращение должно быть отмечено скромностью, деликатностью, пониманием, в какой ситуации оказались другие люди и обещанием отблагодарить их позднее. Будучи прагматической по своим целям, просьба о помощи упрочала общепринятые нравственные правила. Если же кто-то и решался их игнорировать, его попытки улучшить свое положение были обречены на неудачу – и потому он обязан был их соблюдать.

В «просительных» частных письмах можно легко отметить одну и ту же схему: описание собственных бед (обычно краткое), содержание просьбы, более подробный рассказ о своих страданиях, драматичный и порой экзальтированный. Кто-то говорит патетично и ярко, кто-то выражается проще и непритязательнее – сначала замечаешь только это различие, но чем дальше, тем хаотичнее становятся письма. Каждый импровизирует, как может, захваченный потоком эмоций, возникающих при перечислении постигших его несчастий. Кто-то им сопротивляется, кто-то уступает – эпистолярная стенограмма «трудов и дней» блокадного человека становится похожей на пьесу, у каждой из которых своя фабула и завязка. И все же непритязательность в просьбах является их главной приметой.

В письме матери А. Коннова, отправленном 30 марта 1942 г. сыну на фронт (он был на «Невском пяточке»), эта непритязательность прослеживается очень четко. Содержание его типично. «Я себя чувствую плохо. Ноги совсем не ходят. На улицу не выхожу», – так начинает излагать она свою просьбу<sup>696</sup>. Но обязательно надо сказать, сколь ценны присланные ей ранее посылки. Это и выражение благодарности, и то, что позволяет надеяться на помощь в будущем: «Спасибо, Лешенька, за все». Вот и сама просьба: «Лешенька, если возможно, пришли мне хлебца». В этом ласково-уменьшительном слове «хлебец» есть что-то оттеняющее скромность просителя. Отметим здесь и оговорку «если возможно». И не должно возникнуть у него и мысли о том, будто она ждет чего-то еще: «Мне ничего больше не надо»<sup>697</sup>.

На этом можно было бы и закончить письмо – но ей не остановиться. Чувствуется, что она не только хочет разжалобить сына, но и желает выговориться, преодолеть одиночество, встретить сочувствие: «На хлеб все выменяла и мне менять... нечего. Живу на кухне. Все пожгла. Пришли мне хотя бы письмо. Я жду каждый день. Как твое здоровье. Я очень о тебе беспокоюсь... Может быть, и не увидимся. Жду письма»<sup>698</sup>.

### 3

«Не голодай» – так заканчивается это обращение. Странное пожелание тому, от кого ожидают кусок хлеба: кажется, дается повод для оправдания при отказе помочь. Видно, как сугубая осторожность, боязнь причинить неприятности меняют тон письма и превращают жалобу в исповедь. Большая раскованность в просьбах о помощи наблюдалась при обращении к людям чужим, но обязанным в силу своего положения заботиться о слабых и нуждавшихся в уходе. «Бывало, заходишь в стационар... к тебе обращаются больные и буквально со слезами на глазах умоляют спасти: „Не дайте умереть...“», – вспоминал начальник штаба Куйбышевского МПВО А.Н. Кубасов<sup>699</sup>. Блокадники не очень хорошо разбирались в громоздкой иерархии различных органов власти, но, по слухам, обычно знали, к кому обра-

<sup>696</sup> Коннов А. Стихи 1942 года // Память. С. 142.

<sup>697</sup> Там же.

<sup>698</sup> Там же.

<sup>699</sup> Кубасов А.Н. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 507. А.П. Остроумова-Лебедева, беседа с навесившим ее начальником Управления по делам искусств Ленгорисполкома Б.И. Загурским, рассказ о своей работе закончила словами: «Только меня надо подкормить» (Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. С. 280 (Дневниковая запись 17 апреля 1942 г.)).



щаться и кто мог ободрить не только словом. Помощи ждали от администрации предприятий и учреждений, работников МПВО, комсомольских и санитарно-бытовых отрядов.

Частота обращений и категоричность просьб зависела, прежде всего, от того, где находился человек. Не раз, встречая в стационарах, в фабрично-заводских цехах руководителей, редко упускали возможность что-то попросить у них. Имело значение и состояние человека, степень его истощенности – в этом случае он пренебрегал всеми приличиями. Решимость проявлялась и тогда, когда нарушались права и привилегии: требовать их соблюдения считалось естественным и не зазорным<sup>700</sup>. Даже те, кто не имели льгот, отмечали заслуги своих родственников, ожидая лучшего отношения к себе. В. Кулябко, просивший начальника эвакуационного пункта посадить его в крытую машину, говорил ему: «Еду к сыну – военному, орденосцу»<sup>701</sup>.

Письма о помощи, направленные официальным учреждениям, нередко оформлялись в виде кратких заявлений, которые содержали деловитое изложение просьбы. Риторических прикрас здесь не требовалось. Достаточно только было перечислить те условия, в которых находились горожане. Приведем тексты некоторых из них, сохранившихся среди документов Приморского райкома ВЛКСМ. Вот письмо Т. И. Ивановой: «Прошу вашего содействия оказать помощь дровами, так как я нахожусь в холодной комнате с двумя детьми. В комнате нет ни одной рамы после бомбежки. Муж находился на казарменном положении, ввиду истощения умер. Прошу не отказать. Заранее вам благодарна»<sup>702</sup>.

Другое заявление написано 13-летней В. Шустарович, видимо под диктовку матери: «Просим помочь нам устроиться в детдом, так как отец наш на фронте, защищает город Ленинград, а мы остались четверо детей. . . 8 января в наш дом попал снаряд. Нас переселили в другую комнату. Здесь тоже скоро выбило стекла. Мать заболела цингой, ходить не может, Татьяна и Леонора [сестры В. Шустарович. – С. Я.] тоже. Стекол нет, дров напилить некому. Сидим в холоде голодные, так как варить не на чем. Просим выслать комиссию из молодежи для определения матери и нас куда-нибудь, как детей красноармейца»<sup>703</sup>.

Заявления эти похожи друг на друга, но все из них оформлялись бюрократическим языком. Близость их содержания объяснялась, конечно, не правилами ритуала, а тем, что беды людей являлись во многом общими. В целом они сжаты, предельно конкретны, лишены хаотичности и многословия. Возможно, их составляли во время обходов квартир комсомольскими бытовыми отрядами по советам последних: в них, хотя и неявно, чувствуется некий «канцелярский» острок. Это не личные письма с их разнообразием интонаций, намеков, извинений и оправданий. Главный аргумент здесь – ссылка на родственников-красноармейцев, довод более действенный, чем рассказ о нестерпимости блокадного жития. В заявлениях нет и того, что, несомненно, хотели бы получить семьи блокадников, но чего не могла им дать «комиссия из молодежи»: лекарства, витамины, молоко для детей. Просьбы высказываются как-то скупое, словно заранее осведомлены об ограниченных возможностях того, кто дает, словно кто-то стоит рядом и подсказывает, какими должны быть формулировки. Попросить о большем, надеяться на щедрость они могли лишь, пользуясь поддержкой «влиятельных» лиц.

«Старик сидел у меня. . . и плакал, рассказывая про жену. Ей 66 лет, она больная и из последних сил бьющаяся, чтобы доставить ему какие-то удобства и заботу. А питаются они в последнее время жасминовыми листьями комнатных цветов. Даже паек свой они умудряются не получить, старые и беспомощные», – записывала И.Д. Зеленская в дневнике 25

<sup>700</sup> Волкова А. Первый бытовой отряд. С. 181.

<sup>701</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 3. С. 264.

<sup>702</sup> Цит. по: Худякова Н. За жизнь ленинградцев. С. 88.

<sup>703</sup> Там же.

ноября 1941 г.<sup>704</sup> Рассказывали ей о своих горестях не случайно: она была заведующей столовой и, возможно, рассчитывали на лучшее отношение к себе, на лишнюю тарелку «бескарточного» супа или каши. О слезах, которыми пытались разжалобить администраторов, блокадники писали не раз – порой это оказывалось более убедительным, чем прочие аргументы<sup>705</sup>. Везде заметно стремление сделать просьбу о помощи менее официальной. Отчасти это обуславливалось положением просителя, который не всегда знал бюрократические ритуалы. Но надеялись и на то, что именно так, напрямую обращаясь к собеседнику, к его милосердию, и не укладывая свои жалобы в прокрустово ложе канцелярских формул, можно быстрее встретить поддержку. Архитектор А.С. Никольский, придя в Академию, уточнил, что «обратился не с просьбой, а за помощью»<sup>706</sup>, четким разделением значения слов дав понять, что он рассматривает это как личное одолжение. Тот же стиль личного обращения заметен и в просьбе инженера И.Л. Андреева, обращенной к заместителю директора завода им. А. Марти Г.И. Никифорову: «Голубчик мой, помоги. Второй день ничего не кушал. Жена в больнице. Приготовить нечего. Пришли хоть дуранды. Возьми меня отсюда на завод. Здесь я погибну»<sup>707</sup>. Еще короче оказалась записка начальника мастерской завода им. Молотова председателю культпропотдела: «Турков, умираю, спаси меня»<sup>708</sup>.

Потеряла «карточки» школьная преподавательница М.М. Толкачева. «Милая Валентина Федоровна», – так начинается ее письмо директору школы. Это даже не прямая просьба, она лишь надеется, что пожалеют ее, узнав, как ей живется. И слова находятся особые, интимные, щемящие: «Что делать, ведь впереди почти месяц, а мы и 125 граммов не будем иметь. Верная смерть... Сестра от истощения лежит, и я еле передвигаюсь... Простите, если в чем виновата... Искренне любящая Вас М. Толкачева»<sup>709</sup>. Никаких канцелярских штампов, никаких ссылок на законы, инструкции, привилегии. В архиве одной из фабрик сохранилось несколько таких, лишенных налета официозности, обращений. Каждый подкрепляет их чем-то, что, как ему кажется, быстрее разжалобит администрацию. Один из просителей, коммунист, сообщил попутно, что сдал свой партбилет в партийный комитет, «чтобы не попал в руки врагу» – вероятно, рассчитывая, что это будет по достоинству оценено. Другой коммунист просил поместить в стационар жену, передав справку врача о том, что она нуждается в усиленном питании.

#### 4

Обращались за помощью и дети, и подростки. Оставшись без поддержки родителей или потеряв их, они пытались выжить, как могли, как умели – а умели они немного<sup>710</sup>. Г.С. Егорову встретилась сидящая на крыльце двухлетняя девочка с куклой, которую предлагала прохожим: «Это моя кукла, но я хочу продать ее. Мама моя больна, я ничего не ела, хочу

<sup>704</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 25 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 36–36 об.

<sup>705</sup> См. воспоминания одной из блокадниц: «Пошла [мать. – С. Я.] в райком партии... Сидела там инспектор... Вот пришла и сказала, что у меня дочка потеряла карточки: „Я не знаю, как нам жить. Никого у меня больше нет. Ни родных, ни знакомых. Нас никто не поддержит“. Та, значит, так растерялась: „Да... не знаю“... А мама плакала... А потом пришла и тихонечко говорит: „Успокойся, мы тебе выдадим карточки“» (Память о блокаде. С. 120); воспоминания Р. Малковой: «Мне карточки не давали... Приду в жакт, а там то оправдома нет, то не дает карточек. Так я заплачу, он пожалеет и даст мне карточку на другой месяц» (Махов Ф. «Блок-ада» Риты Малковой. С. 225).

<sup>706</sup> Никольский А.С. Дневник. 2 января 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 901. Л. 27.

<sup>707</sup> Выстояли и победили. С. 15.

<sup>708</sup> Стенограмма сообщения Туркова И.В.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 128. Л. 8.

<sup>709</sup> Любова М. Объект № 136 (Записки директора школы) // Дети города-героя. С. 60.

<sup>710</sup> См. информационную сводку инструкторского отдела ГК ВКП(б), направленную А.А. Жданову 4 января 1942 г.: «Трое детей 4-х, 6-ти и 8-летнего возраста... после смерти матери (отец в армии) пять дней скитались по городу. В тяжелом положении, после смерти родителей, оказались малолетние дети Вера, Нина и Анфиса Разины. Долгое время они бродили по городу в поисках пищи, совершенно не имея денег» (Ленинград в осаде. С. 414).

кушать, продам куклу за 100 гр. хлеба»<sup>711</sup>. Если кукла любимая, значит, она дорогая, а за дешевую вещь ничего не дадут – голодная девочка это знала.

Обратиться хоть к кому-нибудь, не разбирая, чужой это или родной, и не зная правил и обычаев, плакать и просить, чтобы их пожалели – что еще оставалось брошенным голодным детям? Директор ГИПХ П.П. Трофимов увидел одного из них на улице. Люди безразлично проходили мимо, и замерзавшая на лютном морозе девочка даже «не рыдала, а плакала однотонным плачем»<sup>712</sup>. Он подошел к ней, начал расспрашивать: «Почти не прерывая плача, жалобно повизгивая, сказала – я есть хочу».

Прочие истории не менее драматичны. Вот одна из них. К директору детдома А.Н. Мироновой обратился 11-летний мальчик, сосед ее сестры: «Плакал и рассказал, что „больше не хочу ходить на Смоленское кладбище, я боюсь, а меня посылают“». Так и осталось неясным, с кем он жил, кто его заставлял идти за пропитанием; известно лишь, что среди них были женщины. «Занимались...» – здесь А.Н. Миронова оборвала запись<sup>713</sup>.

Растерявшись, не зная, где искать хлеб и как прожить на крохи пайка, ребенок выбирал самый простой путь – к булочным, за милостыней. Разумеется, речь идет о подростках – описывать состояние 2-3-х летних малышей, беспомощных, истощенных, искавших пропитание рядом с трупом матери, был готов не всякий мемуарист. «Говорят, что тучи голодных людей вымалывают кусочек хлеба у выходящих из булочной» – это А.П. Остроумова-Лебедева отметила в своем дневнике еще в 1941 г.<sup>714</sup>. Милостыня тогда не являлась редкостью, давали и деньги<sup>715</sup>. Именно там, у прилавков, и надеялись получить крошку хлеба, взывая к чувству милосердия. З.А. Милютина очень взволнованно рассказала о девочке, протягивавшей руку за подаванием в магазине<sup>716</sup>. Б. Михайлов вспоминал, как его, подростка, приняли за грабителя и выгнали из булочной, куда он зашел погреться: «Сердобольная старушка (а может быть не старушка, но что-то замотанное в тряпки) торопливо идет ко мне – в руки „довесок“. Это грамм 5-10 хлеба – „милостыня“»<sup>717</sup>. Но такое случалось не часто: слишком много было просителей, слишком голодны были те, к кому они обращались.

«Просил у булочных – давали редко», – описывала житие одного из мальчиков О.Р. Пето. Единственное место, где он мог в конце дня получать «остатки супа», – столовая<sup>718</sup>. Возможно, ее работники все же питались лучше и им легче было поделиться едой.

Видимо, редко могли рассчитывать на милостыню и две малолетние девочки, ютившиеся у булочной на ул. Дзержинского. Они приходили перед ее закрытием и с разрешения продавщицы собирали хлебные крошки. Добрая, чувствительная О.Р. Пето, искавшая бездомных детей и устраивавшая их в детдома, пыталась заговорить с одной из девочек 5 лет: «Шарахается и прячется в ближайшем дворике»<sup>719</sup>. Такое бывало нередко. Одичавшие, отвыкшие от ласки, пугливо ожидавшие отовсюду опасности, брошенные дети могли испытывать только страх. Страх, что лишат и этих жалких крошек, страх, что выгонят на мороз,

<sup>711</sup> Стенограмма сообщения Егорова Г.С.: НИА СПбИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 41. Л. 5 об.

<sup>712</sup> Стенограмма сообщения Трофимова П.П.: Там же. Д. 126. Л. 20 об.

<sup>713</sup> *Миронова А.Н.* Дневник. 4 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 69. Л. 13 об.

<sup>714</sup> Цит. по: *Ломагин Н.А.* Ленинград в блокаде. М., 2005. С. 507.

<sup>715</sup> См. дневник А.И. Винокурова: «Высокая старуха, похожая на покойницу, собирает подавание... Полуголодные посетители этого садика дают ей деньги, обычно металлическую мелочь или бумажный рубль, какая-то девushка, не найдя... мелочи, подала десятирублевку, чем заметно удивила соседей» (Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 267 (Запись 20 июня 1942 г.)).

<sup>716</sup> *Милютина З.А.* Мы жили в блокаду... 1941–1944 гг.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 10.

<sup>717</sup> *Михайлов Б.* На дне войны и блокады. С. 61.

<sup>718</sup> *Пето О.Р.* Дети Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 11.

<sup>719</sup> Там же. Л. 13.

страх, что куда-то уведут, в чужие дома и к чужим людям, где будет им плохо – они часто не могли объяснить, почему им будет плохо, но инстинктивно это чувствовали. Только она и могла их успокоить и расковать – наивная надежда на то, что в одночасье прекратятся их муки.

«Договорилась с продавщицей. На следующий день около 21 часа я была в магазине – девочка там. Покупателей нет. Запирают дверь. Ребенок метнулся к двери – заперта. Показываю кусочек хлеба и полученные в этот день конфеты „Крокет“. Робко подошла... Едва слышно говорит: „Я Маня“. Ребенок крайне истощен. После долгих уговоров согласилась пойти „поест горячего супа и каши“».

И другой голодный ребенок, прячась здесь же, все это слышит – про конфеты, которых не видел много дней, про суп и кашу, о которых не мог и мечтать, выискивая на полу крупички съестного. «Из темного угла (в помещении горит 1 свеча на прилавке) выходит девочка лет 10. Грязный ватник, личико сильно отечное. Губы синие. „Тетя, возьми меня – а так помру“»<sup>720</sup>.

## 5

Дети готовы были терпеть долго, в силу какой-то странной привычки, неделями живя в опустевших домах, держась за прошлое, надеясь, что знакомое, родное сможет уберечь их в блокадном аду. Лишь когда силы подходили к концу когда голод ломал все, когда понимали, что не на что надеяться – тогда и обращались за помощью, обычно в детские дома или райкомы комсомола. В пересказе их работников просьбы детей приобретают какой-то несвойственный им деловитый канцелярский оттенок. Голодные, полуобмороженные, путавшие названия учреждений, жившие слухами, они едва ли могли даже внятно рассказать о своем горе. «Прибрела» – таково было состояние 10-летней девочки, пришедшей в райком ВЛКСМ и сообщившей, как она жила несколько месяцев после гибели матери с сестрой и двумя девочками пяти-семи лет<sup>721</sup>. Нет матери (она или погибла, или слегла), нечего есть, нечем топить печку – все рассказы детей и подростков, обратившихся за поддержкой, похожи друг на друга.

По объяснениям детей иногда даже трудно понять, что произошло с ними. Двое семилетних мальчиков, просившие устроить их в детдом, рассказали в райкоме, как плохо живут («Дома они одни. Топить печку нечем. Мерзнут и голодают»)<sup>722</sup>, поскольку их матери призваны на строительство военных сооружений. В дни блокады бывало всякое, но все же трудно представить, чтобы родители бросили детей умирать ради рытья окопов. Вероятно, что-то передавалось детьми и с чужого голоса<sup>723</sup>, и эта оговорка о строительстве оборонительных линий считалась гарантией того, что детям, как членам семей мобилизованных, не откажут в дополнительной поддержке. Отчаявшись их прокормить<sup>724</sup>, не имевшие сил

<sup>720</sup> Там же. Л. 13–13 об. Ср. с дневником И.И. Жилинского: «Мне рассказала по пути женщина: в их общежитии семейных умерла мать, осталось 3 детей. Приехала ее родственница, собрала все вещи и, не похоронив, взяла с собой продовольственные карточки. Дети обречены на голод... Из общежития увозили одну больную... и вот голодная, лежащая на кровати девочка лет 8-ми... громко запросила уходящих: „Тетенка, возьмите и меня, я еще жива“ (Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 8. С. 12 (Запись 10 марта 1942 г.).

<sup>721</sup> Волкова А.С. Первый бытовой отряд. С. 182–183. См. книгу учета работы комсомольского отряда (начало 1942 г.): «Фамилия – Тарасюк. Краткое содержание просьбы. 13 лет. Просит определить в детдом. Мать умерла. Отец на фронте» (Цит. по: Худякова Н. За жизнь ленинградцев. С. 76).

<sup>722</sup> Волкова А.С. Первый бытовой отряд. С. 179.

<sup>723</sup> См., например, запись в дневнике Н.Г. Горбуновой 16 ноября 1941 г.: «Сегодня привели в д/дом девочку, которая была подкинута матерью в райсовет... 5 лет... Девочка очень бойко ответила, что зовут ее Валей... и спросила: „Скоро ли вы меня отправите в д/дом? Я целый день ничего не ела... ведите скорее в д/дом“ (Горбунова Н.Г. Дневник: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 30. Л. 15 об.).

<sup>724</sup> См. воспоминания М.Н. Фетинг: «Многие матери, которые приводили детей в детский сад, были похожи на ста-

заботиться о них родные понимали, что продолжение дележки маленьких детских пайков закончится гибелью ребенка. Они использовали все возможности, чтобы ему не посмели отказать в приеме в детдом и ДПР, чтобы попытаться тронуть сердца тех, от кого зависела жизнь наименее защищенных блокадников. А если не удастся поместить их в детский дом, то хоть куда-нибудь пристроить, а чаще подкинуть. Одного из «подкидышей» заместитель директора завода № 224 А.Т. Кедров обнаружил в коридоре своей квартиры. Четырехлетнюю девочку «прилично» одели, может быть, ожидая, что это привлечет к ней внимание и с ней обойдутся получше. Она «смирно, молча» сидела, а потом, не выдержав, громко заплакала. «Я спросил ее: „Где твоя мамочка?“ – „Мамочка ушла за касей (кашей)“»<sup>725</sup>. Девочку накормили, спустя два дня разыскали мать. Даже извинений не услышали, только ставшие привычными оправдания: «Ну что я могу поделаться... Я сама умираю с голоду, ну, значит, и она обречена на то же»<sup>726</sup>.

Сами дети и подростки чаще рассчитывали не на помощь детдомов, а на поддержку других родственников. Они не очень-то и задумывались над тем, хорошо или плохо жили их родные, переселяясь к ним. Быть с ними, а не среди чужих, подчас грубых людей, которые не пожалеют и не поделятся – это являлось для них главным. Они не знали никого другого, кто бы им помог, кроме родных, далеких или близких. Их и держались, к ним и обращались в первую очередь. С ними и мечтали быстрее обрести ставший иллюзорным мир доброго прошлого.

Те же, у кого в городе погибла вся семья, пытались обращаться за помощью к родным, близким и друзьям, жившим вдали от Ленинграда. Читать их письма трудно. Они стремились как можно ярче и сильнее передать глубину постигшего их горя, рассказать о своем одиночестве, о бессилии, о болезнях. Каждый делал это как мог – нередко с детской непосредственностью, с надеждой на то, что немедленно откликнутся, что не могут не помочь, если узнают, как он страдает.

Галя Кабанова, чьи отец и мать умерли в конце 1941 – начале 1942 гг., надеялась только на свою тетю Наталью Харитонову. С 16 февраля, когда скончалась мать, она пишет тете беспрестанно, шлет две телеграммы, четыре письма. Ответа нет. Возможно, она опасается, что не сумела разжалобить тетю. Может, это лучше получится у ее младшего брата Славы? Тот не очень силен в орфографии и грамматике, но кто знает, вдруг это бесхитростное обращение как-то поможет. Вот его письмо: «Ох как тетя Наташа мы много с Галей пережили в эту войну. Бомбежки голод и опять грязь и эпидемии. Если вам написать, то вы врят ли все поверите... 24 ноября похоронен папа. 15 января похоронили бабушку и тетю Лизу. 28 января похоронили маму... Мы с Галей вдвоем без родных ох скучно тетя Наташа вся надежда на вас приезжайте скорей»<sup>727</sup>.

Письмо от тети, отправленное 1 марта, Г. Кабанова получила в конце марта – начале апреля. Н. Харитоновна ничего не ведала о судьбе семьи, и надежда на то, что узнав, она обязательно поможет, побуждает Г. Кабанову вновь рассказать о страшной участи ее родных: «Так вот. 16 февраля умерла мама. 16 ноября умер папа. 10 января умерла бабушка и 15 января умерла т[етя] Лиза»<sup>728</sup>. Последним в этом скорбном списке стоит имя ее брата Славы Кабанова – он умер в госпитале после обстрела. Она пишет тете и о том, в каких условиях живет – ведь это, несомненно, также вызовет чувство сострадания: «Вещи все в грязи. Все в

рух» (Испытание. С. 126).

<sup>725</sup> Кедров А.Т. Дневник. 11 февраля 1942 г.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 59. Л. 106.

<sup>726</sup> Там же.

<sup>727</sup> В. Кабанов – Н. Харитоновой. Март 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 к. д. 5.

<sup>728</sup> Г. Кабанова – Н. Харитоновой. 10 апреля 1942 г.: Там же. Сохранены орфография и пунктуация подлинника.

известке. А эта такая грязь что без воды ее не уберешь, а воды нет. А носить ее надо далеко, да стоять за одним ведром по часу, а выносить грязную на помойку тоже нелегко».

И еще надо было найти слова единственные, исповедальные, чтобы выразить родному, милосердному человеку все, что на сердце, без обвиняков – слова, в которых воедино слились и крик и плач: «Милая т. Наташа у меня вся надежда только на вас и я вас жду как ангела-спасителя. Я думаю, что вы меня не бросите я осталась одна»<sup>729</sup>.

Школьнице Е. Мухиной после гибели матери в городе жить не хотелось: никого из близких у нее не осталось, голодала почти каждый день. Трудиться она не может и боится, что если станет «безработной иждивенкой», то заставят выполнять самую грязную работу: «...Потеплеет, растают нечистоты, работы будет много, а может еще на кладбище погонят мертвецов закапывать... Нет, лучше к Жене»<sup>730</sup>.

Женя – это ее тетя. Вестей от нее нет, но образ ее в дневнике обрисован самыми яркими красками. Она добрая, отзывчивая, самая близкая для нее, она ее любит, с ней будет хорошо, она ее подкормит и не прогонит. Это не просто подруга, это некий символ надежды: когда умерла мать и Е. Мухина лихорадочно искала хоть что-то, что позволяло выстоять под столь страшным ударом, имя Жени в дневнике появилось первым.

Почти одновременно с матерью умерла и жившая в семье Е. Мухиной женщина, которую все звали Акой. В телеграммах, составленных Е. Мухиной, имя Аки приводится не один раз – ей важно было подчеркнуть, что она осталась совсем одинокой. Первая телеграмма Жене была отправлена 14 февраля 1942 г.: «Умерли мама и Ака. Телеграфируй совет»<sup>731</sup>. Ответа не было. Она ждала чуть более двух недель и затем опять решила обратиться к подруге.

Она не знала, почему та не ответила, и содержимое телеграмм отчетливо отражает ее сомнения и догадки. Первый вариант, написанный ею: «Я осталась одна. Ака и мама умерли. Можно к тебе. Скорей ответь»<sup>732</sup>. Она его отвергла. Вероятно, почувствовала в нем категоричность, напористость, а щепетильная в вопросах чести Е. Мухина не хочет прямо требовать помощи. А вдруг тетя сама предложит ей приехать? И нужно только сообщить ей о том, что произошло? Вот второй вариант: «Только я осталась жить. Умерли Ака и мама. Я очень ослабла».

Так, наверное, было бы лучше, но медлить она не может. Так было бы, конечно, благороднее, но если все-таки сказать более определенно, драматичнее? Можно ведь и прямо попросить тетю, но эта прямота должна быть оправдана описанием тех ужасов, которые пришлось пережить. И обязательно надо сообщить, отчего погибли ее родные – ведь и ей это грозит, и тогда уж точно ее пожалеют. Третий вариант: «Умерли от истощения Ака и мама. Я ослабла. Женя! Можно к тебе?»<sup>733</sup>

## 6

С просьбами о помощи обращались не только к администрации предприятий и учреждений, к родным и близким. Верующие, члены религиозных общин, просили поддержки у прихожан немногочисленных тогда храмов. Содержание обычно мало отличалось от других, «мирских» прошений. Вот обыкновенное по своему трагизму письмо одного из просителей, помощника регента соборного хора Спасо-Преображенского собора И.В. Лебедева, отправленное 28 декабря 1941 г.: «Я, можно сказать, понемногу умираю. Силы мои надо-

<sup>729</sup> Там же.

<sup>730</sup> Мухина Е. Дневник. 5 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 87.

<sup>731</sup> Мухина Е. Дневник. 15 февраля 1942 г.: Там же. Л. 83 об.

<sup>732</sup> Мухина Е. Дневник. 5 марта 1942 г.: Там же. Л. 87 об.

<sup>733</sup> Там же.

рвались. Одни кожа и кости. Сидим несколько дней на одном хлебе. Конечно, все теперь так существуют, но хочется жить. Спасите жизнь... Со мной вместе голодают жена, дочь и девятилетний внук, отец которого на фронте. Нет ни продуктов, ни денег. Спасите жизнь»<sup>734</sup>. Отмечались и редкие для того времени просьбы<sup>735</sup>, но в основном мотивы обращений прихожан были очень схожи. Их письма выделяются и большей экзальтированностью, напряженностью, драматизмом. И подчеркнем еще одну их особенность: главным оправданием просьбы о помощи считается желание просто выжить, без патетических уверений в том, что хочется увидеть лучшее будущее, дожить до светлого дня, внести вклад в общее дело. Это выражено с такой откровенностью, какую мы не часто найдем в «мирских» прошениях. Дважды в письме И.В. Лебедева повторена мольба: «Спасите жизнь»; можно привести и другие примеры. «Прошу вас – не дайте погибнуть. Помогите выбраться из ужасной пропасти», – с такой просьбой обращался в Спасо-Преображенский собор в октябре 1941 г. А. Галузин<sup>736</sup>. Письмо же другого прихожанина, И.П. Большиева, отправленное 10 января 1942 г., и вовсе похоже на крик: «Положение мое ужасное. Помогите. Жить еще хочется»<sup>737</sup>. Возможно, именно такие доводы считали необходимыми, ожидая поддержки от церкви, отвергающей грех уныния и ставящей человеческую жизнь превыше всего.

Письма верующих сближает с прошениями тысяч других ленинградцев то, что они составлялись людьми, стоявшими у порога смерти. Обращение к другим, когда не оставалось сил переносить страдания, являлось обычным в осажденном городе. И ничего не стеснялись, не думали о приличиях, не маскировали своих помыслов. «Супу хочется! Супу, супу очень хочу!» – просил О. Гречину дядя, пришедший помочь похоронить ее мать<sup>738</sup>. «Ужасно есть хочется», – так объяснял свой поступок П.М. Самарин, обращаясь к родственнице с просьбой прислать картофельных очисток<sup>739</sup>. Пришедший в гости к Н.Л. Михалевой прямо «просил его покормить, так как от голода едва волочит ноги»<sup>740</sup>.

В столовой завода им. Молотова один из рабочих «плакал, чтобы ему еще дали супу»<sup>741</sup>. И этот плач слышали тогда многие. М.П. Пелевин замечал в очередях блокадников, которые, ранее выкупив и сразу съев весь хлебный дневной паек, надеялись его еще раз получить по талонам завтрашнего дня: «Они просили продавцов выдать в долг им в последний раз, тут же тихо плакали и умоляли продавца быть добросердечным»<sup>742</sup>.

Людям, оказавшимся на краю гибели, было не до приличий. Нет сил ждать тех, кто бы их пожалел. Нет надежды. Осталось одно: просить, невзирая ни на что, просить, идя на всевозможные унижения. Зная, что и другим живется несладко, и все равно – просить хотя бы крошку. «Вера Николаевна, родная, поддержите, больше не могу, дайте мне хоть что-нибудь. Погибаю, погибаю, хоть глоток горячей воды», – плача, умолял В.Н. Никольскую ее сосед<sup>743</sup>. Горячей воды нет. «Ну, дайте хоть папиросу»<sup>744</sup>. Папиросу дают, но ему не остановиться.

<sup>734</sup> Цит. по: Отчет о деятельности Спасо-Преображенского собора за годы войны. Июнь 1943 // Ленинград в осаде. С. 550.

<sup>735</sup> См., например, письмо протопросвитера А. Абакумова 12 декабря 1941 г.: «Температура 38,8. Назначен постельный режим. К воскресенью мне не встать. Не можете ли мне отпустить и прислать бутылку деревянного масла, чтобы не сидеть в темноте» (Цит. по: *Шкаровский М.В.* Церковь зовет к защите Родины. С. 60).

<sup>736</sup> Цит. по: Отчет о деятельности Спасо-Преображенского собора за годы войны. Июнь 1943 // Ленинград в осаде. С. 550.

<sup>737</sup> Там же. С. 551.

<sup>738</sup> *Гречина О.* Спасаясь спасая. С. 243.

<sup>739</sup> *Самарин П.М.* Дневник. 7 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Он. 1 Л. Д. 338. Л. 78.

<sup>740</sup> *Михалева Н.Л.* Дневник. С. 302 (Запись 30 декабря 1941 г.).

<sup>741</sup> *Осипова Н.П.* Дневник. 29 декабря 1941 г.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Он. 1. Д. 93. Л. 19.

<sup>742</sup> *Пелевин О.Р.* Повесть блокадных дней: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 36. Л. 26.

<sup>743</sup> *Никольская В.Н.* Николай Федорович: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 907. Л. 3–4.

<sup>744</sup> Там же. Л. 4.

Если люди добрые, если они поделились, может еще попросить – ведь никто больше не поможет: «Дайте кусок хлеба, ради Бога». И не верит, когда для него отламывают маленький кусочек: «И это можно съесть!!!». И снова жалуется: «Ни копейки денег, ни полена дров»<sup>745</sup>.

«Руки черные, как сажа, лицо грязное, не лицо, а череп, обтянутый грязной кожей, и страшные, молящие, голодные глаза»<sup>746</sup> – вот портрет этого человека, крайне истощенного, согласного на все – иначе не вытерпеть, не устоять, не выжить. Похожий случай описывает Л. Разумовский. В его квартиру тоже пришел сосед, которого он не сразу узнал – так он изменился. И столь же знакомая нам скорбная картина: «Татьяна Максимовна!... Кусок хлеба... Три дня ничего не ел»<sup>747</sup>. Хлеба лишнего нет. «Татьяна Максимовна! Может, тарелочку супа? Небольшую... Может, корка какая». Ничего у соседей нет, но кто знает, а вдруг они все-таки пожалеют его и что-то дадут? И он рассказывает свою горькую историю. Хлеб у него, старика, не имевшего сил постоять за себя, отнимала жена: «Все отобрали... Все карточки... Весь хлеб... Все... Мне не дают ни куска три дня». Старик плакал: «...Я ослаб... Сам за хлебом не хожу... Три дня не дают ни куска... Бьют меня, бьют каждый день». Речь нечленораздельная, не речь, а выкрики: «Они ушли сейчас... Я спустился к вам. Больше не к кому. Татьяна Максимовна, голубушка...»<sup>748</sup>

## 7

Что-то ломалось в человеке, ломалось необратимо. Отказывали голодным и беспомощным – они просили вновь у тех же людей. Их отталкивали, порой и грубо, а они, словно не чувствуя унижений, все так же готовы были и умолять, и исповедоваться. Если не принимают ребенка в детсад, где он способен подкормиться, то подбрасывают его к дверям<sup>749</sup>. Д.С. Лихачев рассказывал о родственнике, который просил хлеб, стоя на коленях<sup>750</sup>. У П.М. Самарина едва не вырвал из рук кусок хлеба один из сослуживцев: «Пристал, дай и дай»<sup>751</sup>. Стоило закурить на улице, и, как отмечал А.И. Винокуров, «непреренно кто-нибудь подойдет и начнет слезно умолять, чтобы ему дали докурить»<sup>752</sup>.

Обращались в минуту отчаяния, на грани жизни и смерти, к любому, не разбирая, кто перед ними<sup>753</sup>. И все-таки даже тогда пытались, насколько возможно, соблюдать этические нормы – путь и не всегда, и не в полной мере. Обратим внимание на следующую деталь, которую отмечали многие мемуаристы: люди, помогавшие другим и ободрявшие их, просили поддержать их самих только перед смертью, во время агонии<sup>754</sup>. Даже тогда, в страшную зиму 1941–1942 гг., обращаясь за помощью, сохраняли правила обычных житейских просьб с присущими им извинениями, оговорками и обещаниями. Но они приобретали и особое, «блокадное» обличье.

Прежде всего, отметим их эмоциональность. Даже самая незначительная просьба нередко сопровождалась каскадом патетических излияний, ей свойственны исповедаль-

<sup>745</sup> Там же.

<sup>746</sup> Там же.

<sup>747</sup> Разумовский Л. Дети блокады. С. 25.

<sup>748</sup> Там же.

<sup>749</sup> Там же. С. 56.

<sup>750</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 454.

<sup>751</sup> Самарин П.М. Дневник. 9 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 11. Д. 338. Л. 81.

<sup>752</sup> Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 248.

<sup>753</sup> Отметим в связи с этим мемуарную запись М. Дурново, жены Д. Хармса: «Навстречу мне шли два мальчика. И один поддерживал другого. Этот... волочил ноги и второй почти тащил его. И тот, который тащил, умолял: «Помогите! Помогите! Помогите! Помогите!» Один из мальчиков начинал... падать. Я с ужасом увидела, как он умирает. И второй тоже начинает клониться» (Глюцер В. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс. С. 121).

<sup>754</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 37 (Запись 5 января 1942 г.); Друскин Л. Спасенная книга. С. 128.



ность и яркость изложения. Многочисленность обращений была обусловлена реалиями блокадной повседневности. Поддержка требовалась во всем: там, где ранее могли обойтись своими силами, теперь обязательно нуждались в участии других. Соответственно этому отшлифовывался и изменялся язык обращений, приобретая новые оттенки. В нем, как в зеркале, отразились непривычные в прошлом приемы выживания.

Обращения отличались и настойчивостью, примеры которой трудно найти в доблокадное время. Не было готовности без оговорок и оправданий, как нередко в прошлом, пойти навстречу другому человеку. И вследствие этого возникала несвойственная обычной этике чрезмерная требовательность. Замечалось стремление переложить ответственность за свою судьбу на плечи чужих людей, без желания понять, способны ли они были откликнуться на призыв о поддержке. И все же обращения за помощью были важнейшим средством упрочения именно моральных принципов. Видя примеры благородства и сознавая, как он обязан самопожертвованию других людей, человек был способен не только просить, но и помогать. Понимание того, что существует право обратиться к другим в трудную минуту, возвращало человека, ставшего свидетелем хаоса и разрушения всех привычных опор, в пространство этики. Представления о милосердии, как и

о связанных с ним других нравственных ценностях, упрочались в сознании людей именно потому, что, пренебрегая ими, выжить было невозможно: кого бы просили о помощи, не зная, что можно испытывать стыд, отказав в поддержке более изможденному человеку?

## Благодарность за помощь

### 1

Как обычно и бывает между людьми, получение помощи нередко побуждало отблагодарить тех, кому были обязаны. Никто, конечно, не требовал ответного подарка. Каким-то взаимовыгодным торгом это назвать было нельзя, хотя трудно исключить и то, что некоторые дарители все же могли рассчитывать на взаимность. Разумеется, не требуя ее, но воспринимая ее отсутствие с обидой, особенно в трудную минуту.

Копиист Русского музея Л. Рончевская вспоминала, как смогла «немного накормить» девушку, обучавшуюся некогда у ее мамы. Та, будучи голодной, не выдержала и съела сразу 3-дневную порцию хлеба, что «было тогда смертельно»<sup>755</sup>. С какой-то торжественностью спасенная ею девушка зашла несколько дней спустя и потребовала придти к ней домой. Ей прислали посылку. Эта обычная для людей торжественность, стремление удивить, поразить, увидеть, как несказанно обрадовался человек, получив то, о чем и не мечтал, превратить акт дарения в маленький спектакль – остались и в блокадное время. Они разделили присланную посылку, но этим дело не кончилось: «Домой больше не пустила и дала себе задачу поставить меня на ноги»<sup>756</sup>. В апреле 1942 г. Л. Рончевская получила, как ценный специалист, «роскошный паек» и особо подчеркнула, как была рада поделиться с подругой<sup>757</sup>.

Действие этого маятника добрых дел можно проследить и по записям в дневнике А.Н. Боровиковой. Получившая в подарок от подруги две пачки папирос и коробок спичек, она послала ей картошку, отметив в дневнике: «...Может, что выкуплю, опять пришлю посылку»<sup>758</sup>. Форма благодарности определялась не только размерами подарка, но и его неожиданностью, испытанной при этом радостью. Люди стремились отблагодарить здесь

---

<sup>755</sup> Рончевская Л.А. Воспоминания о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1249. Д. 14. Л. 4.

<sup>756</sup> Там же.

<sup>757</sup> Там же.

<sup>758</sup> Боровикова А.Н. Дневник. 15 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 89 об.

же, немедленно, тем, что имелось «под рукой». «... Пойдемте со мной, я вам отдам все, что у меня осталось, а у меня еще есть зеркальный шкаф, возьмите его», – плакала женщина, закутанная в грязный платок, с худым, темным и одряхлевшим от голода лицом. Она попросила у женщины-военнослужащей хлеб и неожиданно получила полбуханки<sup>759</sup>.

Д.С. Лихачев вспоминал, как его родственник, которого он угощал черными сухарями, принес для дочерей куклы, причем подчеркнул, что они стоили немалых денег<sup>760</sup>. Нечего было предложить из еды и профессору библиотечного института Б.П. Городецкому. Студентке, которая, видя его бедственное состояние, принесла буханку хлеба «на поправку», он подарил книгу<sup>761</sup>.

Обычно, получив подарок, обещали дать хоть что-нибудь, хотя никто у них и не просил. А.А. Грязнов, находясь в столовой, увидел девушку, которая «с жадными от голода глазами глядела на обедающих»<sup>762</sup>. Уловив «жалостливый взгляд», под села к нему и рассказала свою горестную и обыкновенную для тех дней историю: живет за городом, приехала похоронить мать. Он угостил ее 25 граммами крупы, кусочком хлеба и предложил супу. Она немедленно взялась отблагодарить, предложив завтра провезти его через «запретную зону» в Колтушах – там есть картошка, конина...<sup>763</sup> Он даже поверил ей, хотя заметил ту жадность, с какой она поглощала обед. Никто ведь не требовал от нее ответного шага, могла проститься, ничего не пообещав, – но как примечательно это движение, обусловленное еще неискорененными обычаями: нельзя уйти, не обнадежив.

Говорить о какой-либо расчетливой обдуманности здесь невозможно, но то, что первым, почти импульсивным ответным движением людей было именно стремление вознаградить за благодеяние, весьма характерно<sup>764</sup>. Лишенные возможности сразу же отплатить добром за добро, люди могли сделать это и спустя несколько недель и месяцев<sup>765</sup>, при этом всегда подчеркивая, чем обязаны дарителю. Правда, часто трудно отделить собственно ответный подарок от той помощи ослабевшим, которые готовы были оказать, несмотря ни на что. Подарок мог побудить человека, очерстевшего в блокадном хаосе, воссоздать присущие ему в прошлом этические нормы – конечно, в определенных границах. Решая, почему надо отблагодарить того, кто во всех несчастьях остался щедрым, обязанные ему люди понимали, что он тоже терпит голод, холод, одиночество, болезни. Этот порыв не оставался без последствий, нередко сближая даже незнакомых горожан.

В.Г. Григорьев вспоминал, как его бабушка привезла на санях редкостный по тем временам спецпак – мешок с крупой. Поднять его на 5-й этаж, где жила, она не могла. Кричать и звать внука боялась, видимо, не желая привлекать внимание, оставить груз во дворе не хотела. Увидев женщину, проходившую мимо с вязанкой дров, обратилась к ней: «Вы не могли бы мне поднять эти санки? Мне... тяжело. Я не могу»<sup>766</sup>. Из рассказа В.Г. Григорьева

<sup>759</sup> Миронова Е.И. Военный дневник. 25 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 л. Д. 338. Л. 14.

<sup>760</sup> Лихачев. Д.С. Воспоминания. С. 454.

<sup>761</sup> Б.П. Городецкий – жене, дочерям. 2 июня 1942 г. Цит. по: Городецкий С. Письма времени. С. 136, 138.

<sup>762</sup> Грязнов А.А. Дневник. С. 68 (Запись 19 декабря 1941 г.).

<sup>763</sup> Там же. С. 68–69.

<sup>764</sup> «Зашла погреться Соня [бывшая домработница. – С. Я.], мы нагрели ей воды, завтра дадим немного дров. В благодарность она принесла нам с мельницы чашку пшеницы, комок теста... и большую лепешку» (Дневник Миши Тихомирова. С. 25–26 (Запись 17 января 1942 г.)); «К Плакхину приходила тетка с детьми – угостил их кофе... Заходила тетка Плакхина, дала мне немного сахара, как я не старался от него отказаться. Что же я такое для нее сделал, что она не знает, как меня одарить?... Детей угостил хлебом и дал тушеные кочерыжки» (Грязнов А.А. Дневник. С. 33, 34 (Записи 13 и 14 октября 1941 г.)).

<sup>765</sup> Инбер В. Почти три года. С. 216 (Дневниковая запись 7 апреля 1942 г.); Мухина Е. Дневник. 22 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 95 об.; Ильина Л. Бабане // Нева. 1999. № 1. С. 218–219. Особо отметим поступок работавших в подсобном хозяйстве учащихся одной из школ, которые передали собранную ими корзину клюквы в столовую для рабочих «в знак признательности... за их внимание к детям» (Анисимов К.Я. Школы в дни блокады // Выстояли и победили. С. 52).

<sup>766</sup> Интервью с В.Г. Григорьевым // Нестор. 2003. № 6. С. 102.

следует, что все, случившееся позднее, стало для женщины неожиданным, но редко кто-то согласился бы нести тяжелый мешок на высокий этаж, будучи истощен и не ожидая чего-то взамен. Бабушка отсыпала ей крупы и сахара<sup>767</sup>. Женщина растерялась. Может быть, она на что-то и рассчитывала, но не на столь щедрый подарок. Как обычно и бывает в таких случаях, первым, едва ли контролируемым движением, было желание сразу хоть чем-то поделиться: «... Так обрадовалась... И она оставила ей эту вязанку дров»<sup>768</sup>. Она приходила в этот дом и позднее, и не раз. Вероятно, надеялась и подкормиться, но обязательно приносила, как ответный подарок, вязанку дров – так тепло человеческого участия делало неостановимым этот маятник добрых дел.

## 2

Традиции сохранялись и тогда, когда речь шла о благодарности за заботу, проявленную по отношению к самым ослабевшим. Не обязательно это должен был быть весомый подарок – иногда ограничивались и сочувственным словом. А. Фадеев записал речь пожилой женщины, обращенной к красноармейцу – он помог ей подняться в тамбур трамвая: «Спасибо, сынок... За то ты останешься жив... пуля тебя не возьмет»<sup>769</sup>. Те, кому нечем было ответить за угощение, старались взамен как-то приободрить помогавших им, сказать для них что-то приятное. В.Л. Комарович утешал Д.С. Лихачева, предложившего ему чай с хлебом: «Не унывайте, Дмитрий Сергеевич, мы еще с вами большие дела сделаем»<sup>770</sup>. Ю. Цимбалин, которому Н.Л. Михалева уредила полтарелки «постного» супа с кусочками хлеба, говорил ей, что скоро начнут выдавать «санаторный паек», что блокада снята, что откроются коммерческие магазины<sup>771</sup>. «Верно, умрет бедный», – записала она в дневнике<sup>772</sup>. Ничего у него не было и никто с ним не делился, кроме верующей Н.Л. Михалевой – так хоть чем-то отблагодарить, обнадежить, пусть и этим слухом.

И не стыдились никакого выражения благодарности, не щадили своего самолюбия и не выказывали гордости. «Кланяется в ноги девушке, которая оказала ему помощь», – сообщала секретарь Дзержинского РК ВКП(б) З.В. Виноградова о подобранных на улицах сотрудниками РОКК блокадниками<sup>773</sup>. Б.Л. Бернштейн был явно ошеломлен, увидев сослуживца, направленного им в стационар: «Как он благодарил меня. Он целовал мне руку, <...> говорил: „...Вы самый близкий и дорогой для меня человек“»<sup>774</sup>. Тот долго голодал и знал цену оказанной ему поддержки: «...Ел с жадностью... поддерживая рукой подбородок, чтобы крошка хлеба не упала»<sup>775</sup>.

Подкормившиеся в стационаре блокадники понимали, что им посчастливилось оказаться там вследствие ходатайств администрации, парткомов и профсоюзных комитетов. Это отразилось, например, в обращениях тех, кто трудился на фабрике «Рабочий». Чувство благодарности, хотя и выражено тут клишированным языком (возможно, таковым он стал в редакции автора дневника, записавшего речи рабочих), но, несомненно, являлось искренним – многие из них впервые «по-человечески» поели только там. И даже в использованных ими речевых штампах ощущается напряженность, иногда экзальтация: «Благодарим пар-

<sup>767</sup> Григорьев В.Г. Ленинград. Блокада. С. 44.

<sup>768</sup> Интервью с В.Г. Григорьевым. С. 102.

<sup>769</sup> Фадеев А. Ленинград в дни блокады (Из дневника). С. 120.

<sup>770</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 466.

<sup>771</sup> Михалева Н.Л. Дневник. С. 302–303 (Записи 31 декабря 1941 г. и 15 января 1942 г.).

<sup>772</sup> Там же. С. 103.

<sup>773</sup> Стенограмма сообщения Виноградовой З.В.: НИА СПб И РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 24. Л. 12.

<sup>774</sup> Бернштейн Б.Л. Ленинградский торговый порт в 1941–1942 гг. // Доживем ли мы до тишины. С. 203.

<sup>775</sup> Там же.

тию, советскую власть, вас за то, что вырываете каждого из когтей смерти, будем работать до последней минуты на благо Родины»<sup>776</sup>. У другого рабочего этой же фабрики украли продовольственные «карточки», и секретарь парткома Е.М. Глазовицкая отдавала ему половину своей порции в столовой. Вот его заявление, написанное после того, как он получил новую «карточку»: «Когда пустят фабрику, буду работать до последних сил»<sup>777</sup>. Вот комментарий секретаря парткома: «...Сдержал свое обещание. Он работал безотказно... распухший, он не обращал внимания на свое здоровье, не брал бюллетеня»<sup>778</sup>.

«Теперь опять могу работать», – кричал охваченный радостью один из рабочих, когда 25 декабря 1942 г. повысили норму хлебного пайка<sup>779</sup>. Словно ожидали, будто кто-то передаст эти слова властям и они, может, не поспеют увеличить норму пайка и в будущем.

Пользуясь чьей-либо квартирой, живя в тепле, прилагали все усилия, лишь бы оказаться полезными для приютивших их. Дочь И.Д. Зеленской, будучи беременной на пятом месяце, привозила в лютые морозы воду с Невы – «не близкий конец»<sup>780</sup>. Семья родственников, с которыми она и ее муж жили, без радости приняли новых гостей. Это почувствовала ее мать, да, несомненно, и дочь: «...Рвется изо всех сил, чтобы окупить как-то свое пребывание в чужой семье»<sup>781</sup>.

По-особому, очень эмоционально и бесхитростно выражено это чувство у А.И. Кочетовой. В страшную зиму ей не раз приходилось греться у чужого очага<sup>782</sup>. И пожаловаться ей, одинокой, некому, кроме матери: «Ведь я десять дней жила без куска хлеба и ела в день только одну тарелку супа, у меня была украдена хлебная карточка. Все продукты были проданы и я жила только на крупиную и то на последние два дня ноября крупы не стало, дак я пошла в гости к Алле Александровне»<sup>783</sup>.

Стыдно, но ничего не поделать: «Иду на работу, дак раз 5–6 упаду, потому что сил нет»<sup>784</sup>.

Ее приняли сердечно, не выгнали, не оскорбили, не попрекнули. Пишет она в какой-то эйфории: «...Встретила очень, очень хорошо, налила 3 чашечки какао и дала мне лепешечку. Они ко мне хорошо относятся и все ночевать оставляют, когда я прихожу». Ей, несомненно, хочется побывать там еще раз, но она чувствует какую-то робость и неловкость: «Все неудобно, вот может быть завтра я пойду»<sup>785</sup>.

И она снова пришла к ней: «Мы вместе даже питаемся. Я, мамуленька, очень довольна... Мне очень хорошо. Сплю я на диванчике у ее в комнате»<sup>786</sup>. И она отблагодарит ее. Хлеба она дать не может, но готова привозить воду, топить печку, ходить в магазин: «... Сегодня в комнате пыль оптерла – да ведь я все сделаю, что могу». Муж хозяйки, Спиридон Моисеевич, «любит поговорить» – конечно, она поддержит разговор. А как же иначе – они ведь тоже не оставили ее в беде: «В комнате у них тепло, а это для меня самое главное. Спи[ридон] Моисеевич] мне валенки дал. В общем, приютили меня люди добрые»<sup>787</sup>.

<sup>776</sup> Глазовицкая Е.М. Дневник. 2 августа 1942 г. Цит. по: Бочавер М.А. Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Д. 91.

<sup>777</sup> Там же. Л. 92.

<sup>778</sup> Там же.

<sup>779</sup> Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. Кн. 2. С. 269.

<sup>780</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 31 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 59 об.

<sup>781</sup> Там же.

<sup>782</sup> А.И. Кочетова – матери. 24 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 к. Д. 5.

<sup>783</sup> А.И. Кочетова – матери. 31 декабря 1941 г.: Там же.

<sup>784</sup> А.И. Кочетова – матери. 24 декабря 1941 г.: Там же.

<sup>785</sup> Там же.

<sup>786</sup> А.И. Кочетова – матери. 9 января 1942 г.: Там же.

<sup>787</sup> Там же.

В дневниковой записи девочки Али, использованной К. Ползиковой-Рубец и, несомненно, инициированной ею (чувствуется очень правильный, не совсем детский язык, воспроизводящий чужие прописи), после описания «елки» 6 января 1942 г. упомянуто, что праздничный обед удалось сделать «в такое тяжелое время»<sup>788</sup>. Голодная, не стеснявшаяся об этом прямо написать («Я почти не слушала пьесы: думала о еде»), – и она не меньше взрослых понимает цену этого милосердия, и, как умеет, выражает признательность тем, кто ей помог.

«Мне не хотелось выходить из паровоза и уходить от этих хороших людей», – вспоминала Э. Постникова о машинистах, помогших ей доехать до города<sup>789</sup>. Согреться у теплого очага, у тех, кто сохранил чувство милосердия, выговориться перед ними, ощутить их заботу и ласку – ничего другого не надо этим прибывшимся к чужому дому блокадникам. Растерявшиеся, одинокие, побитые грозой военного времени, они выслушают любой совет – и примут его. Выполнят любую просьбу – и всегда готовы исповедоваться даже перед мало знакомыми людьми. Об одной из них, потерявших близких, рассказала Н.П. Заветновская: «Леля мне очень часто помогает. Она потешный человек, но хорошая девушка и отзывчивая... Она одинокая, просит к ней относиться ласково и помочь ей, она не приспособлена к жизни»<sup>790</sup>.

Этот ритуал благодарности, конечно же, был неизбежен, и не только в силу традиций. Грубых, не соблюдавших правил вежливости, обычно сторонились и мало кто в голодное время рискнул бы показаться неблагодарным. Этот обычай выражать признательность то витиеватым многословием, то неловкими, угловатыми жестами, соблюдали все. И даже дети, оглушенные блокадным кошмаром, понимали, почему надо ответить на ласку тех, кто их спасал. О.Р. Пето, встретившая на улице голодного мальчика, отвела его в детприемник. Когда его накормили и через несколько дней он «повеселел», то начал просить дать ему какую-нибудь работу – «чтобы помочь»<sup>791</sup>. Р. Малкову, отданную в детдом, отвезли вместе с другими его воспитанниками в больницу – «по всему телу были гнойные нарывы». Врачи и санитары, узнав, что дети участвовали в художественной самодеятельности, просили исполнить что-то и для них. «...Мы давали им концерт: танцы, песни прямо в палате»<sup>792</sup>. И чем еще ответить детдомовцам-сиротам за чудо хлеба и тепла, как не танцами – на полусогнутых из-за дистрофии ногах, похожих на палки.

### 3

Не все могли отблагодарить своих спасителей чем-то ценным. Но не ответить не могли. Оставалось одно – обещать что-то в будущем. В этом было много наивного и трогательного. Надеялись сытно покормить своих друзей после снятия блокады, а умиравшая девушка, которой «вскладчину» собрали еду, обещала за это подарить после войны букет, «не обычный, а из молодых веток с клейкими листочками»<sup>793</sup>. То особое чувство, которое испытывали люди после получения неожиданного подарка, нередко побуждало их высказывать свою благодарность не тривиально и ярко. И едва ли эти ветки с зелеными листьями могли восприниматься только как нечто условное, возвышенно романтическое. Подобно бесконечным разговорам о хлебе, это тоже являлось средством своеобразного «замещения» того тепла, которое казалось недостижимым в промерзших от лютой стужи домах.

<sup>788</sup> Ползикова-Рубец К. Они учились в Ленинграде. С. 73 (Дневниковая запись 7 января 1942 г.).

<sup>789</sup> Постникова Э.П. Записки блокады: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 8 об.

<sup>790</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 12 мая 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 53 об. – 54.

<sup>791</sup> Пето О.Р. Дети Ленинграда. 1941–1943: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 11 об.

<sup>792</sup> Махов Ф. «Блок-ада» Риты Малковой. С. 229.

<sup>793</sup> Фаянсон М.Р. Букет из березовых веток // Без антракта. С. 94.

Еще одним свидетельством благодарности, выразить которую считали обязательным, являлись письма, отправленные в различные государственные и общественные организации<sup>794</sup>. Они близки по содержанию, хотя и составляли их разные люди. Обычно подобные «письма во власть» во время блокады имели такую последовательность: рассказ о своем бедственном положении, благодарность (высказанная поименно) тем дружинницам, которые помогли, и тем комитетам (партийным и комсомольским), которые заботились о ленинградцах<sup>795</sup>. Эта общая схема часто нарушалась в зависимости от индивидуальной манеры каждого из адресатов, но в целом она оставалась неизменной. Никаких иных побудительных мотивов, кроме чувства признательности, авторы писем, как правило, не имели<sup>796</sup>. Может, догадывались, что их оценка станет поводом для поощрения тех, кто их поддержал. Это выражение благодарности прежде всего лично тому, от кого получили помощь – свидетельство искреннего, стихийного, а не организованного сверху, порыва.

В письмах, направленных комитетам ВЛКСМ и РОКК, заметно влияние бюрократических формул. Конечно, это не письма к родным с их разнообразием оттенков настроений, с присущими им непосредственностью, эмоциональностью и остротой. Не всегда можно точно определить, так ли уж явно авторы писем стремились вправить свою речь в стереотипные, патетические формы. Мешанина заимствований из канцелярского лексикона и просторечий была обычной для языка блокадников. Но даже в наиболее типичных их официальных обращениях заметно, как они пытались вырваться из сковывавших их риторических клише. Приведем полностью один их таких документов:

В ЛЕНИНСКИЙ РК ВЛКСМ

Цинга (скорбут-III) свалила одновременно меня и жену. Мы оказались оба беспомощными лежачими больными. Тогда написали письмо в РК ВЛКСМ Ленинского района, просили о помощи. Ее нам оказали почти немедленно. Ежедневно приходили товарищи комсомольцы и помогали чем могли. Но мы хотим особо отметить, по долгу справедливости, и поблагодарить отдельно Тузанскую Тамару Тарасовну, благодаря заботе и помощи которой на ноги встала моя жена, да и я чувствую себя на очереди.

Тузанская Т.Т. ухаживала за нами, как за родителями (вызывала врача по несколько раз, получала по доверенности деньги,

ходила за обедами в столовую, приносила воду и убирала квартиру). Благодаря ей же моя жена получила усиленное питание.

Помимо вышеизложенной помощи Тузанская Т.Т. сумела, как никто другой, оказать и моральную поддержку в связи с тем, что наш сын находился на фронте. Больше того, и теперь, несмотря на то, что она переведена на другую работу – в райсовет, она продолжает оказывать всестороннюю помощь в часы своего досуга, и вен это бескорыстно и добровольно.

В лице Тузанской Т.Т. разрешите передать нашу глубокую сердечную благодарность РК ВЛКСМ Ленинского района за отзывчивость и заботу о нас.

<sup>794</sup> Цукерман С. Дружинница // Ленинградцы в дни блокады. С. 34; Ос-троумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. С. 287 (Дневниковая запись 4 мая 1942 г.); Дзенискевич А.Р., Ковальчук В.М., Соболев Г.Л., Цамутали А.Н., Шишкин В.А. Непокоренный Ленинград. С. 118.

<sup>795</sup> Письма иногда являлись коллективными и направлялись от имени всех членов семьи (одно из них подписала и 12-летняя девочка). См. письмо семьи Соколовых председателю Ленинского РОККА.Д. Якуниной (Стенограмма сообщения Якуниной А.Д.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 144. Л. 36); Ленинградцы в дни блокады. С. 34. Скорее всего, однако, они составлялись единолично – им присущи стилистическая цельность, одни и те же обороты речи.

<sup>796</sup> Возможно, что некоторые блокадники оценивали благодарственные письма как залог того, что и в будущем они смогут рассчитывать на помощь. Одна из блокадниц, Веленова, которой дружинница В. Молоткова каждый день приносила домой обеды, писала: «Я очень рада, что вы прислали мне Валю... Мое здоровье очень плохое, но я надеюсь, что скоро поправлюсь, что вы будете проявлять заботу обо мне» (Цит. по: Худякова Н. За жизнь ленинградцев. С. 54).

Тузанская Т.Т. – достойная дочь ленинского комсомола, честная, благородная и отзывчивая к страданию других. Это она спасла от смерти жену и меня подняла на ноги, чтобы быть полезными стране.

Михаил Григорьевич Андреев<sup>797</sup>.

Обращают на себя внимание повторы. Многословие этого письма особенное. Рассказ о помощи обязательно сопровождается примерами. Чувствуется, как эмоциональная, живая речь проламывается сквозь толщу всех этих штампов о моральной поддержке, о полезности для страны и о «вышеизложенной помощи». Не передать это бюрократическим языком: «ухаживала за нами, как за родителями», «спасла от смерти жену и меня подняла на ноги», «благородная и отзывчивая к страданию других». Повторы, возможно, возникают вследствие обилия нахлынувших чувств, когда нельзя, как принято в канцелярских процедурах, обойтись двумя-тремя стершимися словами, когда хочется поблагодарить еще и еще раз за все то, что им дали.

В других известных нам письмах эти отступления от образцов видны еще отчетливее. Надо иметь в виду, что такие письма были отобраны публикаторами как самые яркие и, быть может, не всегда являлись показательными для тех дней. Эпизоды блокадной жизни представлены здесь не только подробнее, но и ярче. «Мы одинокие, больные, были беспомощны, но на пункте встретили горячую заботу о нас, какой даже не ожидали», – писали в райком РОКК оказавшиеся в стационаре блокадники<sup>798</sup>. В письме Л.А. Пещерской, кажется, вообще смещены все границы, принятые в официальном обращении: «Их три: Нина, Тося, Паня... То, что они сделали для меня – это словно для близкого, родного человека... Я от радости плачу... Как я благодарна этим товарищам, ближе их, мне кажется, нет»<sup>799</sup>. Читая письмо А.Н. Локтионовой, вообще трудно понять, кто является его настоящим адресатом. Отправленное в Приморский РК ВЛКСМ, оно содержит такие строки: «Славная девушка позаботилась доставить направление в госпиталь мне даже на дом. Прямо как в сказке! Спасибо Вам, родные, за вашу настоящую и большую работу. Я человек совсем одинокий, и ваша отзывчивость и сочувствие дали мне почувствовать, что в нашем большом прекрасном городе у меня есть родные»<sup>800</sup>.

В этих письмах обязательно найдем свод наиболее скорбных примет блокадной жизни, той бездны, из которой, как особо отмечалось, собственными силами выбраться было невозможно. Тем самым подчеркивалась значимость оказанной поддержки – неудивительно, что благодарность за нее высказывалась предельно эмоционально. Помощь неизменно оценивалась как подвиг, для его описания стремились найти достойные, «торжественные» слова; неслучайно мы встречаем здесь и поэтические вкрапления.

Человеку, получившему помощь, обычно было свойственно верить, что дружинницы не просто выполняли свой долг, но были кем-то «в верхах» посланы поддержать именно его, что, видимо, его спасение очень важно и нужно. А.П. Остроумова-Лебедева не сомневалась в том, что ценный продуктовый подарок ей послал лично А.А. Жданов. Отсюда и частые выражения признательности партии, комсомолу и советской власти – едва ли они являлись неискренними, хотя их риторика может и насторожить историка<sup>801</sup>.

<sup>797</sup> Девятьсот дней. С. 203.

<sup>798</sup> Худякова Н. За жизнь ленинградцев. С. 56.

<sup>799</sup> Там же. С. 94.

<sup>800</sup> Волкова А. Первый бытовой отряд. С. 183.

<sup>801</sup> Это отчетливо видно по контексту политических высказываний. См. характерное в этом отношении письмо одной из блокадниц Приморскому РК ВЛКСМ: «Я больна, не встаю с постели два месяца. Девочки пришли, напилели дров, и все это сделано по-товарищески, и главное, подняли настроение больного. Где бы в другой стране так сделали!... Большое спасибо за сталинскую заботу о людях» (Цит. по: Худякова Н. За жизнь ленинградцев. С. 93). Л.А. Пещерская, сообщая в письме о том, как ей помогала забота «партии, советской власти, комсомола о человеке», сопровождала свои слова эмоциональными

Письмо иногда становится подробным и обстоятельным, особенно когда говорят о горьких утратах. Не исключено, что такие письма – и способ выговориться, продолжить скорбный разговор о нескончаемых блокадных тяготах. С нарочитой пунктуальностью в благодарственных письмах рассказано о том, как приносили обеды, мыли пол, кололи дрова, получали хлеб по «карточкам». И всегда заметно стремление представить обычный поступок как не имеющий примеров, сделать облик помощников только светлым.

Благодарственные письма родным, близким и знакомым, разумеется, отличаются и по тону, и по содержанию от «писем во власть», но и здесь оценки тоже могут показаться экзальтированными<sup>802</sup>. Едва ли можно поверить в то, что крохотная порция еды способна воскресить человека, а именно на этом и настаивают авторы писем. «Благодарю вас за присланные... 150 руб. и кусочек хлеба... Вы спасли меня от смерти. Самочувствие мое стало лучше», – писал прихожанам Спасо-Преображенского собора певец Е. Радеев<sup>803</sup>. Письмо это заканчивается так: «На ваши деньги я купил дров на рынке»<sup>804</sup>. Это тоже проявление благодарности, признание того, как необходим был подарок, и, наконец, обещание, что он сумеет правильно распорядиться деньгами и, значит, помощь ему не будет бесполезной.

#### 4

Мы мало знаем о том, какими жестами, фразами, восклицаниями выражали свою признательность люди этого времени, встречаясь с теми, кто им помог. Записи скудны и фрагментарны, в них отмечаются (и то не всегда) лишь наиболее яркие эпизоды. «Растроганно благодарил я его», – писал В. Кулябко о директоре института, сообщившем о предстоящей эвакуации<sup>805</sup>. Никаких подробностей нет – можно только предполагать, как выглядела эта сцена.

«Я расцеловал свою тещу, которая также от радости плакала»<sup>806</sup> – в этой дневниковой записи П.М. Самарина, получившего неожиданный подарок, прочие детали также отсутствуют.

Очень часто в дневниках приводятся и длинные перечни подаренных продуктов. Перечисление того, кто, что и сколько съел, являлось продолжением бесконечных разговоров о еде, которые постоянно вели между собой блокадники – очевидно, это было неизбежным как своеобразный прием «замещения» для голодных людей. «Сегодня пришел Петр Евгеньевич. Он принес мне крошечный кусочек мяса, четыре сушеных белых грибка и четыре мороженные картофелины... И я очень была ему за это благодарна, так как последнюю неделю питалась только супом из морской капусты и черным хлебом»<sup>807</sup> – в этой дневниковой записи А.П. Остроумовой-Лебедевой одна из главных примет «смертного времени» ощущается очень отчетливо.

---

восклицаниями, далекими от бесцветных штампов (Там же. С. 94).

<sup>802</sup> См. письмо Б.П. Городецкого жене и дочерям 27 октября 1941 г.: «Эта помощь в настоящих условиях не может быть оплачена никакими деньгами, поэтому так ценна» (Цит. по: *Городецкий С.* Письма времени. С. 105); письмо К.М. Ананяна М.М. Ананян 20 августа 1942 г.: «Я очень тронут твоим ласковым и сердечным отношением... Одно лишь твое теплое слово меня окрыляет, у меня прибавляются силы» (ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 7); письмо А.П. Остроумовой-Лебедевой эвакуированным сотрудникам завода им. С.В. Лебедева: «Спешу вам сообщить, что топленое масло я получила... Вы не можете себе представить, как я в то время нуждалась в жирах, и в каком я была плохом состоянии и как ваша помощь была вовремя. И я вам всем за это благодарна» (*Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. С. 313).

<sup>803</sup> Письмо Е. Радеева 18 января 1942 г. Цит. по: Ленинград в осаде. С. 551.

<sup>804</sup> Там же.

<sup>805</sup> *Кулябко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 3. С. 262 (Запись 31 января 1942 г.).

<sup>806</sup> *Самарин П.М.* Дневник. 9 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 л. Д. 338. Л. 49.

<sup>807</sup> Там же. С. 276 (Дневниковая запись 13 февраля 1942 г.).



Библиотекарь ГПБ М.В. Машкова, описывая в дневнике подарки О. Берггольц (она получила «буханку хлеба, банку риса, несколько пакетиков витамина С, капитанский табак, пачку „Беломорканала“.. ребятам по одному печенью, плитку прессованного шоколада для питья, водку с закуской (кусочки колбасы), обломки брикетов горохового супа и гречневой каши»), сделала такую оговорку: «Я все это подробно перечисляю, потому что все это редкость, чудо, необычайная радость»<sup>808</sup>. Эти же «редкости» отмечает в своем дневнике и Е. Мухина: «Надо сказать спасибо Англии, она нам кое-что присылает. Так, какао, шоколад, настоящее кофе... сахар – это все английское»<sup>809</sup>.

Перечень даров – это и признание самопожертвования, на которое оказались способны другие люди. Их сострадания, выраженного не только словами, а крупницей пшена, хлеба, печенья<sup>810</sup>. За каждый крохотный кусочек благодарят, благодарят, благодарят. Если нечем было ответить на щедрость, надеялись на то, что позднее прочтут их дневники – пусть же узнают имена спасших их и главное, оценят их человечность<sup>811</sup>. Печенинка для голодных людей сейчас – сокровище; у них и сомнений нет, сочтут ли ее таковым последующие поколения.

## 5

Чем тяжелее были невзгоды блокадников, тем ярче и сильнее они отмечали в дневниках и письмах заботу о себе, хотя многое здесь зависело от индивидуальности человека, его восприимчивости и способности четче и образнее передавать свои настроения.

Один из них – В. Кулябко, инженер института, эвакуированный из Ленинграда. Много пришлось перенести ему в пути унижений и оскорблений. Он ехал с молодыми инженерами и те всячески теснили и даже обворовывали его. Сил у старика было мало, он молча терпел, но неприязнь к «бандитам-попутчикам» накапливалась исподволь: «Затопили печку... и никак не желали пропустить меня погреться возле нее. Только когда я настойчиво несколько раз попросил слегка потесниться, чтобы и я мог подсесть поближе и обогреться, нехотя уступили, все время подчеркивая, что такой пассажир, как я, для них нежелателен»<sup>812</sup>.

Это человек другого поколения, у него и речь такая же. Он, пожалуй, даже робко говорит о «жестоких и абсолютно необоснованных придирках ко мне, фактически – своему старшему коллеге»<sup>813</sup>; каждое слово тут обнаруживает язык интеллигента, уязвленного столь наглым попранием простейших нравственных заповедей. И помощи, казалось, ждать ему неоткуда. Но она пришла, и запись о ней выявляет степень потрясения, испытанного В. Кулябко. Это не скупая, привычная для его дневников скоропись скорбных примет «смертного времени». Темп описания замедленный. Ощущается какое-то желание бесконечно продолжать рассказ о чуде человеческого сострадания, сосредоточиваясь на его мельчайших подробностях: «Ноги и руки у меня стали усиленно пухнуть, это было очень больно... Попросил одного молоденького, как мне показалось, симпатичного красноармейца помочь мне снять валенки. Он... ответил: „Сядь, папаша, помогу, а то я вижу, тебе трудно стоять“. Так я снял валенки и двое чулок и с грустью посмотрел на свои колоды вместо ног... Надел

<sup>808</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 50 (Запись 23 апреля 1942 г.).

<sup>809</sup> Мухина Е. Дневник. 21 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 52.

<sup>810</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 218; Память. С. 347.

<sup>811</sup> См. дневниковые записи Г.А. Гельфера: «У Тани я буду в вечном долгу. Я постараюсь, если буду жив, этого никогда не забыть и свое уважение и любовь к ней внушу Гитке [жена Г.А. Гельфера. – С. Я.]. Таня спасла себя и меня от верной смерти» (ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 24. Л. 19 об. (Запись 22 апреля 1942 г.)); «Меня продолжает поддерживать мой бригадир... Такого простого и доброго человека я встречаю впервые. Я теперь теряюсь и не знаю, чем... отблагодарить» (Там же. Л. 21–21 об. (Запись 9 мая 1942 г.)).

<sup>812</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 3. С. 265 (Запись 5-12 марта 1942 г.).

<sup>813</sup> Там же. С. 266.

валенки на одни носки. Стало заметно легче, но все же больно. Поблагодарил и с трудом заковылял к выходу».

Вот она, кульминация этой сцены – ничего не упущено: «Этот же красноармеец шел за мной и наблюдал, как тяжело я иду.

Я остановился и начал крутить папироску Он подошел. Сынок, говорю, закури хорошего табачку. Нет, говорит, спасибо, я не курю. Расспросил, что со мной, я его спросил, кто он, откуда... Закурив, я двинулся к выходу. Он за мной и предлагает: „Папаша, вам трудно идти, да и темень на дворе, давайте я вас провожу“. Взял меня под руки, осторожно довел до моего вагона. Там мы и распрощались».

После всех этих глумлений, черствости, цинизма – вот она, доброта. И его словно провало: «Так радостно мне было встретить человека... по-человечески отнесшегося к страдающему больному старику»<sup>814</sup>. И еще глубже это чувство проявилось позднее, когда другой красноармеец, пожалев его, помог донести вещи до дома: «Так меня это растрогало, что слезы на глазах выступили, так сильна была реакция после пятидневного путешествия в компании жестоких, бессердечных молодых скотов»<sup>815</sup>.

У эмоциональной, впечатлительной Е. Мухиной экзальтированное чувство благодарности тоже следствие бедствий, подкосивших ее. Ответа от тети, к которой она надеется уехать, нет. Голод, холод, одиночество тоска – неоткуда ждать ни жалости, ни помощи. От безысходности она идет к своим знакомым. Как сразу меняется тон дневника, каким ликующим становится он: «Меня здесь приняли как родную. Все были мне очень рады. Галя прижала меня к себе и поцеловала... Галя и ее папа горячо предлагают мне перебраться к ним жить. Они обещают мне помочь всем, чем могут»<sup>816</sup>.

Она не ожидала, что к ней отнесутся с таким участием, и уверена, что их соединило общее несчастье: у подружки тоже погибла мать. Она теперь вникает во все их заботы, словно эта родная для нее семья. Когда они будут эвакуироваться, то, конечно, поедут вместе: «Возьмут меня как дочь». Она принимает близко к сердцу все страдания этих людей, вместе с Галей боится за судьбу ее отца, уверяет, что он выздоровеет. И не может сдержать своей радости, которая выливается едва ли не в крик: «Я сразу ожила. Я не одна. У меня нашлись друзья. Какое счастье, какое счастье»<sup>817</sup>.

## 6

Чувство глубокой благодарности людям, оказавшим помощь, отмечается и во всех позднейших воспоминаниях. Это неизгладимый след блокады. Казалось, спустя годы некоторые подарки могли бы оцениваться и по иному, как в силу своей мизерности, так и на фоне других событий, более драматических. Но нет, даже самый маленький подарок прочно удержан памятью, отмечен в рассказах, подробных или кратких, но всегда волнующих: чувство, испытанное в первый миг, не ослабевает и через десятилетия.

Вспоминая тех, кто их спасал, блокадники обязательно подчеркнут, как сложно было в это время оставаться порядочным человеком, и найдут наиболее выразительные слова признательности. Н. Шубаркина писала о 13-летней сестре, которая «еле передвигалась от голода и цинги», но подкармливала ее: «Я очень благодарна ей, всю жизнь она служит мне примером, достойным подражания»<sup>818</sup>. К. Чихачева рассказала о студенте Р. Итсе, который отдал ей, потерявшей «карточки» и оказавшейся с двумя детьми на пороге смерти, свои

---

<sup>814</sup> Там же.

<sup>815</sup> Там же. С. 267.

<sup>816</sup> Мухина Е. Дневник. 6 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 90.

<sup>817</sup> Там же. Л. 91.

<sup>818</sup> Шубаркина Н. Сестра и подруга // Память. С. 338.

талоны: «До сих пор вспоминаю о том дне с глубоким волнением и благодарностью. Наверное, именно в таких обстоятельствах и проявляется весь человек»<sup>819</sup>. Э. Соловьева вспоминала, как получила от мужа, лечившегося после ранения, исхудавшего и голодного, плитку шоколада, несколько сухарей и кусочков сахара: «Это осталось в памяти на всю жизнь»<sup>820</sup>. «Он будет жить в моем сердце вечно» – так отозвалась А. Самуленкова на поступок начальника МПВО, который «тоже голодал», но дал ей взамен утерянных свои «карточки»<sup>821</sup>. «Запомни на всю жизнь доброту», – вспоминала спустя многие годы Е. Кривободрова завет отца, которого накормил не очень близкий знакомый, «хотя голодал сам»<sup>822</sup>. В подробных мемуарных рассказах о благодеяниях, где пересчитан крохотный подарок, где каждый жест благородства оценивается патетическими восклицаниями, это стремление увидеть в человеке только самое лучшее, без каких-либо оговорок, особенно заметно. Р. Яковлеву, упавшую от истощения на улице, подобрал и довез до дома ехавший мимо шофер. Та пыталась отплатить ему куском хлеба, но он «сердито» отказался. Эта «сердитость» здесь одно из самых привлекательных качеств: значит, и помышлять не мог о том, чтобы воспользоваться несчастьем. Его опухшее лицо – свидетельство того, что и он голодает; отказ от подарка приобретает тем самым еще большее значение. Все есть в благодарности Р. Яковлевой – и крик, и сострадание, и стремление по высшему счету оценить поступок неизвестного шофера: «Отвел от меня подступившую беду истинно добрый, бескорыстный человек. Ведь тогда отказаться от предложенного кусочка было невероятно трудно. Навсегда запомнилось мне это молодое опухшее лицо и имя спасшего меня человека»<sup>823</sup>.

М.А. Бочавер в «смертное время» приходилось, как и всем, делить хлеб на три кусочка и «растягивать» их на целый день. Трудно передать, чего это ей стоило – тем неожиданнее было получить подарок от подруги. Она нарочито подчеркивает цену ее поступка: какао настоящее, без молока, сахар настоящий (не сахарин); как обычно, все перечислено с дотошной скрупулезностью. М.А. Бочавер уверена, что сахар подруга «урвала от пайка своего сынишки»<sup>824</sup>. Неясно, сказал ли ей кто-то об этом (что сомнительно), или М.А. Бочавер сама строила догадки, но все случившееся она безоговорочно готова воспринимать как подвиг: «На всю жизнь я запомнила и до сих пор не могу вспоминать без слез благодарности... У меня не хватает слов, чтобы достойно оценить такую человеческую доброту и благородство в такой смертельной обстановке»<sup>825</sup>.

О подарках, спасшим жизнь, не только писали в воспоминаниях и дневниках. Рассказывали о них родным и близким, и многим другим, знакомым и незнакомым. С. Кузьменко часто возвращалась домой, идя мимо воинской части. Вероятно, между ней и солдатами возникали какие-то разговоры, и когда она слегла, живя только на иждивенческий паек, это было ими замечено. Ее спас котелок каши, принесенный одним из солдат: «Больше его не видела... Есть семья – муж, дочка, сын. Про того военного я рассказывала им много раз, а сейчас вот подумала, может, и сам он еще жив... Если прочтет он случайно это письмо, пусть знает, что живут у него в Ленинграде родные»<sup>826</sup>.

И еще один случай. Е. Бокарева потеряла у булочной бумажник с «карточками». Вернувшись назад, она увидела у входа ждавшего ее худого человека (именно худого, мимо этой

<sup>819</sup> Чихачева К. Хлебные карточки // Там же. С. 151.

<sup>820</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 218.

<sup>821</sup> Самуленкова А. Великая человечность // Память. Вып. 2. С. 208.

<sup>822</sup> Кривободрова Е. Великие уроки // Память. С. 347.

<sup>823</sup> Яковлева Р. Далекое – близкое // Память. Вып. 2. С. 271.

<sup>824</sup> Бочавер М.А. Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 34.

<sup>825</sup> Там же.

<sup>826</sup> Кузьменко С. Котелок перловой каши // Память. С. 152.

детали не пройдет ни один мемуарист). Он отдал ей бумажник. Самые лучшие, самые прочувствованные, самые возвышенные слова – только о нем. «Человек этот спас мне жизнь. Все, что я сейчас пишу – это благодаря этому великому, честнейшему человеку.

О нем знают мои дети, внуки и, конечно, сестра моя и ее семья, и конечно, все мои знакомые» – не остановиться ей в этих наплывах чувств, еще и еще раз называя тех, кому она поведала о его благородстве<sup>827</sup>.

Ленинградцы, оказавшиеся у края пропасти и спасенные другими блокадниками, не только выражали им свою благодарность в дневниках, письмах и разговорах. Сила испытанного ими потрясения являлась столь мощной, что они и позднее стремились найти тех, кому были обязаны жизнью. Р. Ожогова и спустя сорок лет искала тех, кто подобрал ее на улице, привел в детский дом, направил на лечение в госпиталь. Она обращалась в архивы, но все было тщетно: «А я переживаю, что за все эти годы не могу сказать „спасибо“ людям, которые спасли меня в те тяжелые, страшные, голодные годы... Если бы их можно было найти! Мысль об этом не оставляет меня»<sup>828</sup>.

Такие же чувства испытал и сотрудник Эрмитажа В.М. Глинка.

О его истории следует рассказать подробнее. В «смертное время», когда все средства были исчерпаны и слегли от голода родные, он решил продать книги. Букинисту они были неинтересны, но здесь, у его ларя, он встретил двух моряков, искавших «переводные» романы. У В.М. Глинки в домашней библиотеке имелось несколько экземпляров и он пригласил моряков к себе.

Первое, на что они обратили внимание, зайдя к нему в квартиру, были не книги, а донельзя истощенная девочка, дочь В.М. Глинки. Спросили, почему она осталась в городе, сколько ей лет. «Девять, – сказала сама Ляля, высунув из-под одеяла очень бледное личико»<sup>829</sup>.

«Моряки переглянулись» – мемуарист очень верно отметил ту точку отсчета, когда чувство сострадания начинает преобладать над всеми прочими. Один из них вынул из мешка буханку хлеба, кусочки сахара и еще другие продукты – в последовательности их описания ощущается взгляд голодного человека: «Одну, две, три банки мясных консервов». На предложение взять книги ответили коротко: «Не надо». И ушли. Больше он их не видел.

«Когда я возвратился в нашу комнату, все втроем плакали... Ляля стояла у стола и считала кусочки сахара»<sup>830</sup>.

Он искал их долго. После войны он просил своих друзей, контр-адмиралов, помочь найти офицера, чью фамилию он запомнил. Поиски не увенчались успехом. Он не отступил – обратился еще к одному знакомому моряку, вице-адмиралу, но и тот ничего не сумел обнаружить. Потом он писал в архив Министерства обороны: искал, искал, искал. След испытанного потрясения нельзя изгладить ничем: «И вот, в это страшное время, когда мы, казалось, окружены только смертью, обманом, алчностью и грабежами, в нашу жизнь на четверть часа вошли два совсем чужих человека, навсегда оставив чистый свет беспорочности и сострадания»<sup>831</sup>.

## 7

Привычный для людей обычай благодарить сохранился и в блокадной повседневности. Горячая признательность, попытки сразу же отплатить добром за добро или обещание сде-

---

<sup>827</sup> Бокарева Е.К. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 54.

<sup>828</sup> Ожогова Р. Долг сердца // Память. Вып. 2. С. 244.

<sup>829</sup> Глинка В.М. Блокада. С. 184.

<sup>830</sup> Там же. С. 183.

<sup>831</sup> Там же.

лать это в будущем, идеализация облика тех, кто помогал, – все это наблюдалось и в прошлые годы, и, конечно, не могло не усилиться в дни небывалой по драматизму блокадной эпопеи.

Перед нами – исключительно острое переживание чужого благородства. Письмо не являлось лишь способом выразить восхищение неожиданным поступком. Оно было и средством преодолеть одиночество, вызвать жалость к себе и утешить других. Речь шла не только о вежливости. Даже те немногие свидетельства, которые мы процитировали, показывают, как обусловлены были благодарственные отклики потрясением, испытанным после получения подарка, когда, казалось, не оставалось никаких надежд на спасение. И перечисление в письмах и дневниках полученных продуктов нельзя оценивать как инвентарную опись, зная, какой вес каждый из них имел в глазах голодных людей.

Встречая слова признательности, люди объясняли себе и другим, почему нужна была поддержка: необходимость сострадания становилась более непреложной. Они помогали, не ожидая ничего в ответ, – тем самым оттенялась бескорытность дарения. Примеры благородства нельзя было не занести в дневник, не отметить в письмах, невозможно было не сказать о них родным и близким – благородный порыв вследствие этого прочнее затверживался и неизбежно становился значимым.

## Часть вторая Пространство этики

### Глава I Семья

#### Сострадание, утешение, любовь

##### 1

Отношения родных и близких обычно редко похожи на идиллию. Драматическая история страшной блокадной зимы придала им особую жесткость, бескомпромиссность, обнаженность чувств и намерений. Родные ссорились и мирились, прощали и обвиняли – нет ничего постоянного в их эмоциях, впечатлениях, радостях и обидах. Не все могли поделиться куском хлеба – по разным причинам, а не только потому, что он был крохотным. Не все готовы были утешить ослабевших, приютить нуждавшихся, устоять перед соблазном получить то, что принадлежало другим. Все это так. Но не это было главным.

Одно из сильнейших человеческих чувств – сострадание – по-разному проявлялось в поступках ленинградцев во время блокады. Сочувствие больным и голодным выражалось зачастую самой тональностью рассказа о них, отбором эпизодов, на которых считал нужным остановиться очевидец. Сострадание заметно даже в описаниях внешности близких людей, изменившихся до неузнаваемости: «Мамуся... тоненькая, у нее часто голова кружится от усталости и недоедания», «папа бледный, тощий как скелет»<sup>832</sup>, «страшный череп, обтянутый грязной кожей...»<sup>833</sup>, «в ужасном состоянии руки»<sup>834</sup>, «страшен, лицо опухло»<sup>835</sup>. То, как неумолимо разрушались люди, дошедшие до края пропасти, вызвала у видевших их целую гамму чувств, подчас противоречивых, которые трудно было сдержать в первые минуты, хотя их и нужно было скрывать. Это и страх, и ужас и другое, чего бы позднее стыдился человек, – но безжалостной наблюдательности в их описаниях нет. Кажется, что близкие стараются тактично отвернуться, не вглядываться пристально в изможденные, в одночасье превратившиеся в старческие, лица. Не мгновенный снимок чудовищно искажившегося лица, а ретушь; пытаются найти какие-то другие, не жестокие слова.

Чаще всего в письмах, дневниках и воспоминаниях блокадники выражали горечь от того, что не было возможности помочь родным и близким, особенно детям – горечь, перемешанную со стыдом. В их словах проявляются и ощущение боли и попытка объяснить свои действия – в разной последовательности аргументов, но пожалуй, с одними и теми же обрывками слов. «...Смотреть на голодающих детей, а их у меня трое, и чувствовать свою полную беспомощность – нет ничего ужаснее. Они ждут хлеба. А где его взять» – услышал от работниц одной из фабрик Д. Павлов<sup>836</sup>. Более кратко, хотя, пожалуй, и драматичнее, выразила то же чувство В.А. Опахова: «У меня, правда, дети не были приучены просить... но ведь глаза то просили! Просто, знаете, это не передать»<sup>837</sup>.

---

<sup>832</sup> Из дневника Майи Бубновой. С. 227 (Запись 12 января 1942 г.).

<sup>833</sup> *Никольская В.Н.* У тетки: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 907. Л. 6–7.

<sup>834</sup> *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. С. 301.

<sup>835</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 22 декабря 1941: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 23 об.

<sup>836</sup> *Павлов Д.В.* Ленинград в блокаде. С. 180.

<sup>837</sup> *Адамович АГранин Д.* Блокадная книга. С. 25.

Такие взгляды голодных детей опалили страшнее всего. Л.А. Волкова рассказывала о тех днях, когда не удавалось получить по карточкам хлеб: «Как же тогда страдала мама, что не могла дать нам поесть»<sup>838</sup>. В.Б. Враская вынуждена была вместо хлеба (его не было в булочной) брать печенье. Скучными порциями (по две штуки в день) отдавала их шестилетней дочери в больницу. Девочка только что научилась писать и передавала матери записки, похожие одна на другую: «Не посылай 2 печенья, пошли целую пачку»<sup>839</sup>. «Это удручало меня больше всего», – вспоминала В.Б. Враская.<sup>840</sup>

Можно привести много таких рассказов, один трагичнее другого, рассказов кратких, безыскусных и потому особенно горьких. Взгляд родных на детей отмечает все – и жуткие приметы распада и признаки будущего выздоровления, и трогательные поступки и неотвратимость надвигающейся беды. То, как смотрит человек на детей, что подмечает, где останавливается, на что старается не смотреть, позволяет без труда воссоздать присущую ему этику сострадания. «У племянника непомерно большая голова и крошечное тельце. Он похож на беззубого маленького гномика. В глазах недетское сострадание и тоска. Я принес... две печенюшки. Юрик, дрожа от нетерпения, схватил их, зажал в сморщенных, почти по цыплячьим худеньким лапкам...», – вспоминал П. Капица<sup>841</sup>. Описание облика угасающего ребенка, где натуралистические детали, насколько возможно, смягчены, дополнено описанием его действий. Действий могло быть много – но приведены только те из них (схватил, дрожа от нетерпения, жадно ел), которые обязательно должны были вызвать сопереживание.

Взгляд мемуариста не просто скользит по поверхности картины, бесстрастно отмечая ее подробности – он выделяет самое страшное и скорбное. «Недетское страдание» – это оценка, а не деталь картины. Она определена особо глубоким «вчувствованием» в другого человека, попыткой понять его состояние, меру пережитого им.

Отмеченное состраданием описание детей в дни блокады постепенно насыщается подробностями и в дневнике А.П. Остроумовой-Лебедевой. Порой даже самые драматичные отклики Остроумовой-Лебедевой кажутся однообразными, в них нет разноцветья слов. Эмоциональный фон ее записей о племянниках, способных к живописи мальчиков, которые «становятся все более вялыми и апатичными»<sup>842</sup>, можно оценить лишь в контексте всего ее дневника. Ее записи обычно далеки от экзальтации, но трудно не обратить внимание на отмеченные сочувствием и жалостью реплики и горькую интонацию рассказа. По более пространной дневниковой записи 16 ноября 1941 г. видно, как это наблюдение за детьми окрашивается трагизмом: «Мне жаль смотреть на моих племянников... Они, как бумага, бледные, худые. День ото дня становятся апатичнее и угнетеннее»<sup>843</sup>. Вскоре один из племянников умер. В последующих записях о другом из них, Пете, это ощущение близкой смерти становится доминирующим. Все есть в дневнике А.П. Остроумовой-Лебедевой – голод, холод, бомбежки, безысходное горе – но строки, посвященные Петюньке, как она его называет, пропитаны каким-то особым, щемящим чувством. Записи о нем становятся все тревожнее: «Бледен, как покойник, худ невозможно» (24 мая 1942 г.), «очень слаб и вял, смотрит бледными, печальными глазами» (27 мая 1942 г.), «слаб, двигается очень медленно, еле передвигая ноги» (30 мая 1942 г.). Жалость к угасающему мальчику не исчерпывается в дневнике лишь описанием его внешнего вида. Она проявляется и в других записях, усили-

<sup>838</sup> Волкова Л.А. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 79.

<sup>839</sup> Враская В.Б. Воспоминания о быте гражданском в военное время: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 16.

<sup>840</sup> Там же.

<sup>841</sup> Капица П. В море погасли огни. С. 255.

<sup>842</sup> Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. С. 260 (Дневниковая запись 23 сентября 1942 г.).

<sup>843</sup> Там же. С. 266.

вающих чувство горечи: «Сидел у открытого окна, смотрел на прекрасное небо, весенние облака и зеленеющие деревья и тихонько говорил: „Как хорошо!“»<sup>844</sup>.

Этот истощенный донельзя 15-летний подросток, ходящий, чтобы не упасть, с палкой, очень восприимчив, талантлив, умеет ценить красоту, делает хорошие этюды, мягок, заботлив – все, каждый штрих подмечает в его облике художница. Пристальность ее взгляда – верный признак того, как углубляются переживания: 24 мая 1942 г. мальчик не смог самостоятельно дойти до трамвая, а через три дня Остроумова-Лебедева с надеждой пишет: «На какую-то крошечную долю, очень микроскопическую, ему лучше»<sup>845</sup>. Возможно, в силу присущей ей деликатности Остроумова-Лебедева не сообщает о том, как делилась едой с мальчиком – стоит предположить, что он приходил к ней не только учиться живописи, но и, ожидая, что его могут покормить. Для художницы, человека доброго и отзывчивого, это было естественно, но смотреть, как ест голодный подросток...

## 2

Потрясение, испытанное при виде страданий детей, особенно заметно по дневнику М.В. Машковой. Ее дети – Галя и Вадим – столь же истощены, как мать и отец. Мальчик старается держаться изо всех сил. Его младшей сестре это дается труднее, ей не все можно объяснить, не ко всем испытаниям она готова. Она знает, что нельзя выпрашивать хлеб, но не может остановиться. Все это замечает взгляд матери. Горечь записи 20 февраля 1942 г. – «Галька шепотом просила у Вадима сухарик» – усугублена дальнейшим описанием этой сцены: «Ребята в сумрачной комнате, голодные, забились в углы»<sup>846</sup>. «Галька вечерами смотрит умоляющими глазами на Вадика, молчаливо выпрашивая кусочек хлеба», – записывает она в дневнике на следующий день<sup>847</sup>.

Ее взгляд подмечает до мельчайших подробностей все светлое в дочери: «Галька хороша со своим щебетаньем, голодными глазенками, мечтами о еде, любопытным восприятием окружающего»<sup>848</sup>. А вот и рассказ о том, как дочь получила первомайский подарок в детском очаге: «Она боялась выпустить из рук пакет, десятки раз выкладывает и укладывает несколько конфет, два печенья, несколько изюминок и маленькую коврижку»<sup>849</sup>. Роль «скопидомицы» кажется неестественной и даже комичной для маленькой девочки, хотя для нее это была далеко не игра: голодный ребенок боится потерять несколько изюминок, еще и еще раз, как бесценное сокровище, перебирая их.

«У моих детей жизнь изуродованная и, пожалуй, страшная, но они трогательно хороши», – пишет она в дневнике 25 февраля 1942 г.<sup>850</sup>. И через записи о пайках, жалобах и слезах, о стыде за то, что нельзя ребенку дать больше, чем ему положено, – через все это прорывается любованье детьми и сострадание, по-разному выраженное, иногда не переданное прямо, но ощущаемое даже в скупых характеристиках.

В письме С.А. Павловой, отправленном в январе 1942 г., мы обнаруживаем тот же, отмеченный любовью, взгляд на детей – замерзших, облаченных в убогую одежду Дочка Надя – в фланелевом платице, а поверх него вязаная кофточка, оренбургский платок. И это не помогает: «Маленькие ручки распухли, щечки и нос сине-багровые»<sup>851</sup>. Дети предельно

<sup>844</sup> Там же. С. 286–287.

<sup>845</sup> Там же.

<sup>846</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 18.

<sup>847</sup> Там же. С. 19.

<sup>848</sup> Там же. С. 21.

<sup>849</sup> Там же. С. 51.

<sup>850</sup> Там же. С. 21.

<sup>851</sup> С.А. Павлова – С.А. Кондратьеву. Январь 1942 г. // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып.



истощены, и первые слова девочки, которая услышала мать, зайдя в комнату – «дай пили», т. е. хлеб – разве не способны они усилить чувство сострадания? И вид 12-летнего сына, столь же плохо одетого, с «прозрачным личиком», с синевой под глазами, безразличного ко всему, «сосредоточенно» смотрящего лишь на сумку матери – не рождает ли он особо щемящее чувство жалости?

«У детей изуродованная жизнь» – но взгляд матери часто не отмечает того, что калечит детей. Сострадание несовместимо с бесконечным перечислением тех знаков беды, что отпечатались, как клеймо, на детских лицах. Не выдерживает человек и обрывает этот страшный для него ряд – только лучшее, только доброе.

Глубину сострадания и любви можно измерить той радостью, с которой узнают, что детям лучше, что они поправляются, что есть возможность покормить их сытнее. В дневнике профессора библиотечного института Л.Р. Когана постоянно встречаются записи о том, как голодают его дети, которым ничем не помочь: «Есть нечего... Тяжело слышать детские просьбы есть»<sup>852</sup>, «с утра дети с жадностью набросились на масло. Жалко глядеть на них. Теперь их мечта – сахар и шоколад»<sup>853</sup>. Все это накапливалось, повторялось изо дня в день и становилось непереносимее. Это сказывается и на тональности записей, все более горестных, надрывных, граничивших с отчаянием. «Надо детей передать в очаг – там кормят гораздо лучше, чем это можем сделать мы», – отмечает он в дневнике 3 марта 1942 г.<sup>854</sup>. Решился он на это не сразу – опасался эпидемий, подсчитывал, хватит ли денег – но решился.

6 марта 1942 г. дети «получили питание из очага». Он перечисляет выданные им продукты и ему трудно остановиться: «Сегодня им дали вкусную, правда, небольшую, котлету, хлеб, сахар для чаю; на обед вкусный... суп с клецками, приличную порцию манной каши на сладком молоке, хлеб; на полдник – сахар для чаю, хлеб; на ужин сладкий компот из сухих фруктов... с клецками и хлеб»<sup>855</sup>. Такие перечни получаемых продуктов не были в диковинку, ими заполнены десятки страниц блокадных дневников. Для дневника Л.Р. Когана это редкость – здесь чаще встречаются записи о книгах, о самочувствии, о положении в городе. И чем дальше читаешь эти строки, тем лучше начинаешь понимать, что возможно перед нами не скоропись прошедшего дня, а нечто большее. Каждый грамм, каждая крупинка, каждая крохотная котлетка, переданные детям и подсчитанные здесь с чрезмерной подробностью, возможно, нечто, что позволяет выдавливать, пусть по капле, «по грамму», ужас увиденных им мук: «Дети были впервые вполне сыты. Не лихое дело! Глядели мы на них и радовались»<sup>856</sup>.

Степень сострадания можно измерить и той тревогой за жизнь детей, которую испытывали люди, находившиеся у порога смерти. Содержание предсмертных наставлений было разным: от просьб не трогаться на гробы до обычного пожелания заботиться

о себе. Одна из блокадниц вспоминала, как ее отец, почувствовавший, что скоро умрет, призывал своих родных беречь себя, требовал, чтобы «с ним не возились» и особенно просил жену сохранить дочь.<sup>857</sup> Было ли это обыкновением в блокадном городе? Нет. Куда чаще мы встречаем рассказы о просьбах дать перед смертью «наесться», о невнятной речи, криках и столах агонирующих людей и даже об обвинениях родных в утаивании хлеба. Но и у

5. С. 180.

<sup>852</sup> Коган Л.Р. Дневник. 1 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1035. Д. 1.Л. 1.

<sup>853</sup> Там же. 22 февраля 1942 г.: Там же. Л. 15 об.

<sup>854</sup> Там же. Л. 26 об.

<sup>855</sup> Там же. Л. 34.

<sup>856</sup> Там же. Ср. с воспоминаниями одного из членов комсомольского бытового отряда, который при обходе домов обнаружил голодную женщину с детьми и поделился с ними хлебом: «Надо было видеть радость матери, когда дети перестали плакать и просить хлеба» (Виноградова З.В. В дни блокады // Выстояли и победили. С. 88).

<sup>857</sup> Воспоминания Н.В. Ширковой: Архив семьи Е.В. Шунгиной.

тех, кто умирал, страх за судьбу детей нередко оставался до последней минуты, прорываясь через оцепенение чувств, бессилие и обмороки: «...Мать не встает, дети живые ползают по ней. Все вшивое, ползают и вши и дети. Мать говорит: „Забирай, забирай, я умру и буду знать, что дети присмотрены“»<sup>858</sup>.

Это было последнее, на что соглашались отчаявшиеся люди<sup>859</sup>. Е. Скобелева вспоминала о том, как после гибели отца мать все чаще начала ее жалеть, опасаясь, что скоро умрет, а дочь попадет в приют: «Там за непослушание ставят коленками на горох и очень бьют»<sup>860</sup>. Не исключено, что о приюте мать ничего не знала, но что-то слышала о них в детстве, чему-то верила из школьных уроков. Приют – это сиротство, а что может быть горше этого. Ребенок ищет мать взглядом, боится ее потерять – к кому же он прислонится после ее смерти, не к чужим же людям, которым нет до него дела.

Девочка пыталась возразить: во время обстрела она спряталась в детдоме, к ней отнеслись хорошо и даже покормили. Дети там грустные и худые, но ведь в Ленинграде везде так. «Мать внимательно слушала, потом еще крепче прижала меня к себе и ничего не сказала»<sup>861</sup>.

### 3

Несчастье близких обостренно переживалось еще и потому, что страдали люди, сами готовые прийти на помощь в трудную минуту. Е. Павлова писала в дневнике 18 февраля 1942 г. о своей заболевшей сестре Анне: «Она столько плачет, что я сама не выдерживаю... Как она волнуется обо всех нас! В ней столько человеколюбия и столько привязанности к родным. Я ей дороже всех»<sup>862</sup>. «Жаль... очень, она одна остается, пропадет совсем» – сообщает другая блокадница, Н. Макарова, о своей сестре в письме, отправленном 27 марта 1942 г. – «Она меня очень любит и бережет, лечит вовсю»<sup>863</sup>. Эмоциональность этих писем обусловлена, конечно, не только чувством благодарности – но помощь отмечалась даже в деталях, те люди, которые ее оказывали, оценивались исключительно восторженно, без каких-либо оговорок. Может быть, это и след того потрясения, которое испытали, когда во время распада всех нравственных норм и человеческих привязанностей, припрятывания хлеба от родных, брезгливости к умиравшим, безразличия и черствости нашелся человек, протянувший руку такому же обездоленному, как и он сам.

Переживания ярче и обостреннее проявляются и тогда, когда опасаются за жизнь родных, когда узнают или воочию видят, как переполнена до краев чаша их страданий<sup>864</sup>. Получив известия, что его сын, эвакуированный из города, находится «при смерти», А.Ф. Евдокимов записывает в дневнике 19 декабря 1941 г.: «Почему я не могу помочь? Хоть бы посмотреть. Я не могу писать, не могу сдержаться, чтобы не плакать»<sup>865</sup>. Через два дня он вновь пишет: «Я не могу выкинуть из головы ни на минуту эту... весть». Только через несколько месяцев пришло от жены письмо о том, что ребенок поправляется. Читал он его в

<sup>858</sup> Рассказ члена комсомольско-бытовой бригады, обходившей «выморочные квартиры» цит. по: *Котов С.* Детские дома блокадного Ленинграда. С. 17; см. также воспоминания В. М. Лисовской о матери, отказавшейся от эвакуации: «Она боялась... что умрет, и что за детьми никто не присмотрит» (900 блокадных дней. С. 158).

<sup>859</sup> См. Стенограмму сообщения Мурашко П.Х.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 148. Л. 6–6 об.

<sup>860</sup> *Скобелева Е.А.* Родина моего детства. С. 14.

<sup>861</sup> Там же.

<sup>862</sup> *Павлова Е.* Дневник // Память. Вып. 2. С. 192 (Запись 18 февраля 1942 г.).

<sup>863</sup> Н. Макарова – сестре. 27 марта 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-л. Д. 418.

<sup>864</sup> *Инбер В.* Почти три года. С. 193 (Дневниковая запись 12 февраля 1942 г.); *Мухина Е.* Дневник. 21 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 52; *Лисовская В.М.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 157.

<sup>865</sup> *Евдокимов А.Ф.* Дневник. 16 декабря 1941 г.: РДФ. ГММОБЛ. Оп. 1 ф. Д. 30. Л. 77.

каком-то оцепенении, словно в обмороке: «Я плакал»<sup>866</sup>. Охватившее его чувство высказано с особой патетической интонацией – знак испытанного им потрясения. Хочется передать его сильнее, необычнее – только тогда и можно надеяться выразить его наиболее искренне.

Сострадание при виде родных, за чью жизнь опасались, нередко являлось столь сильным, что их близкие старались сразу же, не ограничиваясь одним лишь сочувствием, хоть чем-то помочь им, утешить, поддержать. Был ли устойчивым этот порыв, сказать трудно, но важнее всего то, что он был. Работавшая в госпитале А.В. Сиротова видела, что едят ее родители – «соевые жмыхи (шроты, ужасно, гадость!), кисель из столярного клея», видела, как отец «опухал и валился с ног», и сама, будучи истощенной, ела только суп, откладывая кашу в стеклянную банку. «Отец, приходя домой, очень радовался такому „гостинцу"»<sup>867</sup> – как часто старались отметить во всех проявлениях эту радость голодных людей. Н.П. Заветновская пыталась поддержать своего мужа: «он стал слабеть»<sup>868</sup>. Она пошла на далекий рынок. «Очень трудно было идти, слабость, ноги у меня распухли, еле тащилась», – сообщала она в письме дочери. Шла, поскольку мужа надо было подкормить «во что бы то ни стало», шла, невзирая на лютый мороз. Долго на рынке она находиться не могла, сумела только обменять вещи на хлеб. Этого было мало, и на другой день она снова пошла туда и «еле притащилась». Но цель была достигнута – ее муж «поел два дня по-настоящему»<sup>869</sup>. За мелкими подробностями скрыто то, ради чего она была готова совершить крестный путь. О любви не сказано ни слова, но описание этого события и есть собственно рассказ о ней, о том, как нестерпимо было видеть муки близкого человека, который не ел «по-настоящему», – а из блокадных записей мы знаем, что это такое. Нам не дано ощутить во всей полноте это переживание, но тот мгновенный, не знающий расчетов и границ порыв защитить и поддержать своих близких показывает, сколь прочными оказались родственные связи. Конечно, многое изменилось, но была такая мера боли родных, которая заставляла кричать. Об этом – в дневнике Р. Малковой, одном из самых трагичных блокадных документов.

Читать их страшно, все эти описания блокадного дна, на котором оказались изможденные люди. Беспредельное одиночество погибающих – вот фон этого скорбного рассказа. Девочка-подросток Р. Малкова помогала своей матери, истощенной, часто падавшей на улице, дойти до поликлиники. Там ей предстояла болезненная и неприятная процедура. «Когда она ушла в кабинет врача, я осталась за дверью, – вспоминала Р. Малкова. – Вдруг слышу, что мама сильно закричала и я, стоя за дверью, тоже заплакала»<sup>870</sup>. Наконец процедура была закончена. Едва она вывела мать из поликлиники, пришлось снова возвращаться туда для повторения той же операции. Теперь она боялась оставить мать одну и пошла вместе с ней в кабинет врача: «Мама опять закричала и я тоже закричала: „Доктор, не надо"»<sup>871</sup>.

#### 4

Плач, стон, крики, мольбы родных – и даже голодный, шатающийся, «обморочный» человек нередко находил в себе силы для живейшего отклика. Таких свидетельств очень много, хотя, конечно, не все были способны помочь. Что-то взрывалось в человеке в минуты предельного эмоционального напряжения. Это чувство очень ярко запечатлено в дневнике И.В. Назимова. В тот день, когда умер его отец – 18 февраля 1942 г., – он решил не оставлять мать одну и повел ночевать к себе. Ему и самому было трудно переживать утрату, но непе-

<sup>866</sup> Там же. Л. 86.

<sup>867</sup> Сиротова А.В. Годы войны: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 59.

<sup>868</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 5 февраля 1942 г.: Там же. Ф. 1273. Л. 72 об.

<sup>869</sup> Там же.

<sup>870</sup> Цит. по: Махов Ф. «Блок-ада» Риты Малковой. С. 225.

<sup>871</sup> Там же.

реносимее всего было видеть, как страдает мать: «Сколько она перетерпела! Как ей тяжело! <...> Она плачет тихо про себя, чтобы никто этого плача не слышал»<sup>872</sup>.

Все обострено до предела – плачущая мать, горечь потери, воспоминания о лишениях, которые пришлось перенести, ощущение тяжести невыразимого, неисчерпаемого горя. Все, как волна, приподнимает человека, не дает ему успокоиться, заставляет находить слова категоричные, потрясающие, единственные и патетичные. Патетика не мешает быть искренним. В такие минуты человеку нет дела до того, произносили ли и сколь часто эти слова до него. Надо выразить сильную боль словами предельно сильными, возвышенными, драматичными – только ими, а не банальными штампами. В такой патетике не ощущается ничего искусственного, удивительным было бы встретить здесь обдуманность словесной игры. Только так и не иначе – «от избытка сердца говорят уста»: «Я не оставлю ее ни на минуту. Буду жить с ней». Сегодня горе неизменно: «Пишу и плачу. Мама рядом в постели. Я уложил ее. Она, конечно, не спит»<sup>873</sup>.

Сострадание неотделимо от утешения. Не то чтобы в дни блокады были найдены какие-то другие средства утешения – но и те, которые считались обычными, требовали предельного такта. Слова поддержки произносили люди, которые сами нуждались в ней<sup>874</sup>. Но они видели и других, еще более отчаявшихся, упавших духом. Ленинградская повседневность с ее беспросветностью была знакома каждому. Каких слов утешения могли ожидать от человека, если знали, что он и сам нуждается и прошел наравне с другими все круги блокадного ада? Но утешений ждали – так же, как верили оптимистическим слухам. И редко кто из родных, оказавшись рядом с плачущим человеком, не произносил хоть каких-то слов сочувствия, пусть и ни к чему не обязывающих, но необходимых.

Язык утешений был различным. Он зависел и от степени родства и от отношений между близкими, определялся их психологическим состоянием и глубиной постигнутого их горя. Особый характер имело утешительное слово для детей – простое, ласковое, оно иногда стилизовалось «сказочной» интонацией<sup>875</sup>.

Самым драгоценным свидетельством отзывчивости людей блокадного времени являются их письма. Здесь их индивидуальный голос не опосредован и не скрыт позднейшими наслоениями. Разумеется, большинство писем направлялось адресатам в другие города – утешали близких, часто не знавших таких ужасов, как те, кто им писал. Содержание писем было во многом схожим.

Призывали беречь себя, заботиться о здоровье, не волноваться об оставшихся в городе. При этом нередко весьма сдержанно и скупо сообщали о том, как сами жили. Едва ли можно это объяснить боязнью цензуры. Те письма, авторы которых ожидали, что их прочтут не только адресаты, сразу обращают на себя внимание неестественно бодрым, пафосным тоном – очевидно, писались они не всегда для назидания родных. Обычно ничего драматического в увещаниях и наставлениях не было. Не употребляли выпяченных слов, да, возможно, и не умели этого делать. Слова обычные, простые: «не волнуйтесь», «надо надеяться», «не нужно беспокоиться», «не унывайте», «не падайте духом», «кушайте побольше», «старайся хорошенько питаться»<sup>876</sup>. Пожелание лучше питаться – почти в каждом письме. Несомненно,

---

<sup>872</sup> Назимов И.В. Дневник. Цит. по: Будни подвига (Запись 18 февраля 1942 г.).

<sup>873</sup> Там же.

<sup>874</sup> См., например, рассказ биографа И.С. Глазунова о нескольких коротких письмах, которые мать художника, О.К. Глазунова, отправила сыну перед смертью (*Новиков В. Илья Глазунов. Русский гений*. М., 2005. С. 105).

<sup>875</sup> Шестинский О. Голоса из блокады. С. 22.

<sup>876</sup> В.С. Люблинский – А.Д. Люблинской. 30 октября 1941 г. // Публичная библиотека в годы войны. С. 215; В. Мальцев – З.Р. Мальцевой и И. Мальцевой. 5 октября 1941 г. // Девятьсот дней. С. 264; Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 5 января 1942 г. и 5 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 27 об., 32; К.М. Ананян – М.М. Ананян. 28 июня 1942 г.: Там же. Л. 3 об.; В.А. Заветновский – Т.В. Заветновской. 5 февраля 1942 г.: Там же. Л. 4 об.

здесь отразилась жуткая блокадная жизнь. По письму Н.П. Заветновской дочери видно, как потрясение, испытанное после посещения родственницы («живет очень плохо, от плохого питания распухла»)<sup>877</sup>, придает ее наставлению единственную ноту: «...не жалея денег на еду, это очень важно, как можно больше трать деньги, очень это меня беспокоит, если есть возможность купить что-нибудь на базаре, покупай»<sup>878</sup>.

И вот что примечательно. В ряде писем, сообщая о блокадных ужасах, предлагают своим родным, живущим далеко, помочь деньгами или вещами. В.А. Заветновский именно после подробного рассказа о блокадном аде сообщает в письме дочери: «Меня очень беспокоит, что и в Перми [там живет его дочь. – С. Я.] плохо с едой»<sup>879</sup>. Сотрудник Публичной библиотеки В.С. Люблинский тоже страдал от недоедания, хотя и жил в казарме. Оптимизм писем, полученных от жены, вызывал у него сомнения: «...Я за последнее время очень терзаюсь подозрениями о том, что у вас продовольственное положение сильно ухудшилось, цены, вероятно, сильно взвинтились и возможно, вы терпите... горькую нужду, и, быть может, пухнете от голода»<sup>880</sup>.

Такое же беспокойство испытывает и А.И. Кочетова – ее мать находится в эвакуации. Вот как она встретила новый 1942 год: «Я съела сразу 350 гр., немного поднялась»<sup>881</sup>. Съесть сразу весь паек хлеба, не поделив его, как обычно, на несколько частей – это крайняя степень голодания. «Немного поднялась» – ее точный диагноз. Не остановиться – съела «тарелочку» супа из овса («которым лошадей кормят»), выпила кофе без сахара, потом кофе с солью, затем «маленькие оладушки без масла» из остатков овса. Все крохотное, без приправ – есть и не может наесться. Так же, наверное, голодает и ее мать – она все время возвращается к этому: «Мамочка, как у тебя с пенсией, да и вообще с деньгами. Я вот просыпалась в 4 часа ночи и мне больше не заснуть, дак я лежу и сегодня надумала: продать свой хлеб, а сама с голоду за 2 дня не сдохну и выслать тебе денег, хоть немного. На работе все платят мало, да вообще с деньгами у меня туговато, а вот так только я и сделаю»<sup>882</sup>.

О посылке, конечно, речи не шло, ее и собрать было трудно, но иногда удавалось и это. Ф.Л. Шуффер-Попову, получившую бандероль от родственника из Ленинграда в начале июня 1942 г., растрогали «аптекарские дозы всего посланного»; она сразу поняла, что «отрывали от себя»<sup>883</sup>. Обычно посылали деньги. В.Ф. Черкизов, передав их родным, радовался, что семья уехала из города: ему и представить трудно, как бы он смотрел на сына, «видя его голодным»<sup>884</sup>. В.Н. Дворецкая постоянно высылала 200–400 руб. своей старшей дочери, уехавшей вместе с младшими сестрами и братом в Сибирь. Она беспокоилась о самой младшей дочери, которой угрожают тамошние морозы («ведь девчоночка замерзнет в своем коротком пальтишке»)<sup>885</sup>, хотела даже послать обувь со своей знакомой, эвакуируемой из Ленинграда, но постеснялась просить – та должна идти до места назначения 120 км пешком. И не может скрыть тревоги: «Не знаю прямо, как вы зиму без сапог проведете»<sup>886</sup>. Все это происходило не тогда, когда жить стало легче, а в голодное время. «Папа получает 400

<sup>877</sup> В.А. Заветновский – Т.В. Заветновской. 5 января 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 27 об.

<sup>878</sup> Там же.

<sup>879</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 5 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 4 об.

<sup>880</sup> В.С. Люблинский – А.Д. Люблинской. 23 февраля 1942 г. // В память ушедших и во славу живущих. С. 273.

<sup>881</sup> Приписка А.И. Кочетовой к письму, отправленному матери 31 декабря 1941 г. (Сделана 2 января 1942 г.): РДФ ГММОБЛ. Оп. 1к. д. 5.

<sup>882</sup> Там же.

<sup>883</sup> Письмо Ф.Л. Шуффер-Поповой В. Попову 4 июня 1942 г. цит. по: Лурье Э. Дальний архив. 1922–1959. Семейная хроника в документах, дневниках, письмах. СПб., 2007. С. 62.

<sup>884</sup> Черкизов В.Ф. Дневник. С. 33, 39 (Записи 24 ноября и 31 декабря 1941 г.).

<sup>885</sup> В.Н. Дворецкая – В.А. Дворецкой. 20 октября 1941 г.: Архив В.Г. Вовиной-Лебедевой.

<sup>886</sup> В.Н. Дворецкая – В.А. Дворецкой. 1 декабря 1941 г.: Там же.

гр. хлеба, я 200. Папа, конечно, мне всегда еще кусочек от своего даст» – вот описание ее будней<sup>887</sup>.

Таких писем немного (заметим, что блокадных писем вообще мало сохранилось) – но они есть. Не сказать о своих бедствиях их авторы не могли. Слишком велики они были и, возможно, надо было хоть как-то выговориться, ощутить сочувствие. Все говорилось естественно, прямо, без какого-либо расчета – свои же, близкие, родные люди.

## 5

Но говорили не все и не всем. «В детский садик меня на санках возили, и по дороге я все удивлялся – почему люди на улице спят» – старались хоть как-то защитить ребенка от блокадных ужасов, отвлечь, промолчать, не ответить<sup>888</sup>.

Эта попытка хоть как-то ослабить горечь блокадных дней удавалась не всегда. Одна из блокадниц подкармливала своих дочерей, уверяя, что ей дали дополнительный паек. Сама она молчала, но девочки «поняли, что съедали ее хлеб»<sup>889</sup>. Проговаривались, когда невозможно становилось терпеть, когда, быть может, особенно нужны были слова поддержки и сочувствия – хоть от кого-то. Зачем говорить детям, что они ели мясо кошки – но когда «голод стал беспрерывным», и настоятельной оказывалась потребность в разговорах о еде, молчавшая до этого времени мать все рассказала и призналась, что «сейчас и она бы ела»<sup>890</sup>.

Зачем говорить детям, что мать – донор, что буквально своей кровью пытается сохранить жизни близких? Так и ходила, не проронив ни слова, мать одного из блокадников сдавать кровь, пошатываясь после этого, боясь упасть<sup>891</sup>. О том, как достался ей этот паек, она умолчала: «Сказала, что им на работе выдали вот такой подарок, что это откуда-то на самолетах привезли, распределили им подарки». Правда, долго утаивать правду не смогла: «Потом мама разговорилась, и мы узнали, откуда она берет эти подарки». Ей хотелось выговориться и она обо всем рассказала: как после повторной сдачи крови шла два часа, и «больше всего на свете боялась, что она не сможет принести». Окончание этой истории отчетливо выявило цену ее самопожертвования. Из-за крайнего истощения «кровь у нее не пошла». Врач пытался помочь, попросил медсестру напоить ее чаем с сахаром. Все было тщетно – «поэтому в марте месяце мама ничего не принесла»<sup>892</sup>.

Приводя примеры семейной этики блокадного времени, нельзя не сказать и о тех словах утешения, с которыми обращались к своим родным малолетние дети. Свидетельств о них немного – но каждое из них на вес золота. Слова утешения чаще всего произносили, когда слышали плач, причитания, когда замечали, как близким плохо – откликались именно на горе. Обращаясь с ними к взрослому, ребенок иногда просто повторял те же слова, какие слышал сам и какими обычно успокаивали его. Ни понять, ни оценить всего драматизма происходящего он, конечно, не мог, да и не обо всем говорили ему, щадя его чувства. В его словах – всегда что-то непосредственное, бесхитростное и потому подкупающее. Он обещает и ободряет, даже не задумываясь над тем, оправдана ли надежда – просто потому, что надо утешить. «Карточки не отоваривали... Лежим в темноте вдвоем на кровати, и я все

---

<sup>887</sup> В.Н. Дворецкая – В.А. Дворецкой. 20 октября 1941 г.: Там же.

<sup>888</sup> *Добровольский С.А.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 100. См. также рассказ В.Б. Враской о дочери: «...Она каждый день на улице по дороге в детский сад могла видеть мертвые, замерзшие тела, но мы всегда старались их обходить и отвлекать ее внимание» (*Враская В.Б.* Воспоминания о быте гражданском в военное время: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 26).

<sup>889</sup> *Тийс Е.С.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 240.

<sup>890</sup> *Ратнер Л.* Вы живы в памяти моей. С. 142.

<sup>891</sup> Память о блокаде. С. 38.

<sup>892</sup> Там же. С. 40.

плачу и даже вою, а ребенок – ей четыре года – меня успокаивает: „Мы еще будем есть и все будет"», – вспоминала Э. Соловьева<sup>893</sup>. А.Н. Кубасову, занимавшемуся расчисткой завалов после бомбежки Гостиного двора, запомнился такой случай. Из-под завалов удалось освободить мать с маленькой дочерью: «...Ведь я говорила тебе, что нас спасут, вот и спасли»<sup>894</sup>, – утешала ее девочка.

«„Мама, а ты верно и очень устаешь?" – „Почему?" – спрашиваю я. „А вот я спать лег, а ты занимаешься еще, ты поздно ляжешь, а завтра ты станешь рано, вот ты верно и устаешь"»<sup>895</sup>. Почувствовать оттенки этого разговора В.М. Ивлевой с сыном дано, наверное, только матери – но едва ли случайно она столь дословно пересказала его в своем дневнике. Утешение – в напряженном, не по-детски серьезном внимании, с которым сын следит за уставшей матерью. Утешение – в трогательной наивности его догадок о причинах усталости, а возможно, и в самой этой простоте, непосредственности, обычности беседы, редких в блокадном кошмаре.

Б. Прусов выразил свое сочувствие матери в стихах. Он увидел ее, идущую в метель в столовую Эрмитажа – и родились строки: незамысловатые, простые, неумелые. Перед нами, как это часто и бывает в детских стихах, скорее рифмованный пересказ того, что непосредственно увидел перед собой их автор – без каких-либо метафор и гипербол. Пересказ, несколько осложненный здесь патетикой фраз, не им придуманных, но заимствованных из традиционного политического и поэтического словаря:

«Через сугробы и метели  
Во время артобстрелов и тревог  
Бредешь ты еле-еле по панели  
С бидоном. На тебе платок...  
Ты думаешь о хлебе, о тепле  
О детях, обо мне и Наде...  
А мы пока в кольце, в блокаде.  
Но будь уверена, ее прорвут.  
И хлеба вдоволь привезут.  
Ты – ленинградка, ты герой!  
И я, как сын, горжусь тобой!»

«Маме стихотворение понравилось и она немедленно переписала его в дневник»<sup>896</sup>. Пожалуй, главное, что заставляло людей особенно тщательно описывать подобные истории – это их необычность. Привыкли, что именно ребенку прежде всего нужно утешение, а здесь он сам является утешителем. В этих рассказах за трогательным, наивным и чистым ощущаешь что-то недетское, ту самую изуродованную жизнь детей, о которой так емко скажет М.В. Машкова. Их «взрослость» – не следствие привычки детей казаться старше, а след бомб, разорвавшихся у них на глазах, и страданий людей, умерших рядом с ними. Не по возрасту оказывались они рассудительными, чуткими к чужим несчастьям и мягкими в увещеваниях. Подростка И. Глазунова, крайне истощенного, удалось вывезти из Ленинграда в начале 1942 г. В городе осталась его мать, и чувство стыда за то, что он спасен, а ее здоровье ухудшалось с каждым днем, не покидало его, придавая особую надрывность его пись-

<sup>893</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить // Нева. 2006. № 9. С. 219.

<sup>894</sup> Кубасов А.Н. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда.

<sup>895</sup> Ивлева В.М. Дневник. 10 ноября 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-л. Д. 431.

<sup>896</sup> Прусов Б. Пишу стихи // Память. Вып. 2. С. 209 (цитирует запись из своего дневника 15 декабря 1941 г.).

мам: «Родная, ой, тяжело мне... Я отдал бы 60 лет жизни, чтобы вернуться к тебе... Зачем я уехал??!»<sup>897</sup>

Чувство вины возникало как нечто естественное. У этого чувства нет дна. Никто ведь не виноват. Отъезд ребенка был неизбежен, потому что иначе его нельзя было спасти, потому что никто не знал, сколь трагичным будет конец жизни его родителей, потому что в первую очередь должны были уезжать малолетние и наиболее слабые. Ничто из этого не берется и не может браться им в расчет. Несчастье родных заставляет перестраивать всю эту историю в иной последовательности, не как нечто вынужденное, а как то, чего можно было избежать. И ищутся доводы в пользу этого, смягчаются реалии блокадного быта, высказывается надежда на чудодейственность таких средств, которые в действительности никому не могли помочь. Утешить можно только этим – признавая свою вину, а не оправдываясь, находя предельно эмоциональные слова о том, как ждут материнских писем, не боясь крика и не стесняясь взрыва чувств.

## 6

Письма близких людей, оказавшихся по разные стороны блокадного кольца – это не только обмен новостями и наставлениями и не всегда лишь перечисление просьб. Это и исповедь перед теми, кто еще способен их выслушать и пожалеть. Так скромные, непритязательные, не очень грамотные письма А.И. Кочетовой матери и брату являются для нас замечательным памятником человеческой стойкости и любви.

Их автор – застенчивая, несколько угловатая, малообразованная девушка – осталась в Ленинграде одна; мать и брат скитались где-то далеко. Живется ей плохо: «...Совсем заброшена и мне даже не с кем поделиться»<sup>898</sup>. Живет она с другой девушкой, которой пытается хоть как-то помочь. Ей не высказать всего, что есть на сердце: «...Приходится сидеть голодными днями, а она мое втихомолку ест». Обратиться не к кому: «...Все молчу, а ночью вот отплачешься и опять вроде как ничего». Кругом безысходность: «В магазинах ничего не достать, хлеба 250 гр. только да вода, вот вся еда. Люди валились на улице. В общем, мамуленька, не передать того, что у нас в городе есть».

Обо всем этом говорится в ее письме матери и брату 24 декабря 1941 г. – первом, которое она отправила за несколько месяцев, едва узнала их адрес. Оно начинается с упреков за долгое молчание: «...Мне так обидно, что я все плачу. Ты, наверное, себе не представляешь, как я соскучилась, и главное, беспокоилась и беспокоюсь о вас». Радость переполняет ее и это видно по сумбурности письма с характерными обрывками. Не успев закончить предложение, она сама себя перебивает и вновь высказывает одну и ту же мысль, хотя и несколько иначе: «Мамочка, я пишу так нескладно, потому что я очень волнуюсь. Ведь я так довольна, что узнала, что ты на месте и что я теперь могу считать, что я не одна».

Уехать, уехать быстрее к матери, уехать сразу же, несмотря ни на что – это главное: «Когда... я узнала, что вы хотели остановиться в гор. Пермь и все время собиралась идти к вам 300 км *пешком* [курсив мой. – С. Я.], а там как-нибудь на поезде (зайчиком), ну а вас же думаю как-нибудь разыщу. Идти то идти, а вот ведь у нас такие морозы стоят, а у меня кроме туфель с галошами нет ничего. Вот я день и ночь думала, ходила и узнавала... Было намечено кое-что продать». Она и сама начала понимать, что это неосуществимо – но куда уйти от тоски: «В квартире надо мной только издевались... а я все плакала и не находила себе места. Ведь было так тяжело».

---

<sup>897</sup> И.С. Глазунов – О.К. Глазуновой. 4 мая 1942 г. // Цит по: Новиков В. Указ. соч. С. 107.

<sup>898</sup> А.И. Кочетова – матери. 24 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 2к. Д. 5. Сохранены орфография и пунктуация подлинника.



Признания ее бесхитростны, все буднично, все просто и откровенно: «Мне бы хотелось только хлеба, а главное с тобой и Вовочкой встретиться»<sup>899</sup>. В ее предположениях о том, как живет мать – зеркальное отражение собственного блокадного бытия. Она голодает – значит, голодает и мать. Ей одиноко – значит, и матери, не имевшей своего угла и жившей среди чужих, не будет в тягость ее приезд. Отметим, что тревога за положение родных нередко проявлялась и в других дневниках и письмах блокадников<sup>900</sup>. Многие из них не знали, в каких условиях находятся их близкие, но были готовы предполагать худшее. Долгое отсутствие известий от родных заставляло их рисовать в своем воображении самые драматичные картины – одна апокалиптичнее другой<sup>901</sup>. В них есть и частица их собственного блокадного опыта – считали, что родные пухнут от голода, а их пайки ничтожно малы.

Свидетельства заботы о близких людях разнообразны. Наиболее волнующие – те, где говорилось, как, не брезгуя никакой тяжелой работой и рискуя жизнью и здоровьем, стремились хоть как-то облегчить участь членов семьи. Могут возразить, что некоторые поступки, которые мы сейчас оцениваем как подвиг, тогда являлись неизбежными и в чем-то вынужденными, поскольку других путей спасения не было. Может быть это и так, но нужны были сила, упорство и воля, чтобы не поддаться унынию, не сломаться, не съесть чужой кусок хлеба и поделиться своим, думать не о себе и поступать вопреки тому, что диктовал инстинкт самосохранения. Можно было сослаться на усталость, бессилие, холод – но пытаюсь спасти родных от смерти, становились донорами<sup>902</sup>. З.Н. Мойковская, видя, что бутылкой соевого молока не утолить голод ребенка, мочила кипятком хлеб: «всплывали опилки, которые я съела сама»; остальное отдавалось сыну<sup>903</sup>. Так же поступала и А.В. Налегатская: «Очищенную картошку я варила ребенку, а себе варила очистки от этой картошки»<sup>904</sup>. Э. Соловьева, найдя случайно пакет сухой горчицы, пыталась испечь из нее лепешки. Получилось несъедобное, обжигающее внутренности месиво. Предлагать его дочери нельзя, но было жалко ее: «Она глаз не сводила с моей работы»<sup>905</sup>. Пришлось поделиться с ней порцией хлеба – и этим утешить ее.

Отметим и воспоминания А.Б. Птицына, передавшего рассказ подруги матери о том, как она эвакуировалась с дочерью зимой 1942 г.: «Помню... вызвавший у меня дрожь эпизод, как она с обмороженными руками пробиралась по путям какой-то станции, *неся ребенка в зубах* [курсив мой. – С. Я.], потому что руки не держали»<sup>906</sup>. Отметим и рассказ М.А. Галактионовой, эвакуированной с родными из Ленинграда. Все они были истощены до крайности. В дороге от голода умер ее брат, сама она ехала с почерневшими обмороженными ступнями ног. У девочки начиналась необратимая стадия дистрофии, врачи предлагали ампутировать ей ноги. «Мамочка сумела меня отстоять и выходить... для чего променяла абсолютно все,

<sup>899</sup> Там же. 31 декабря 1941 г.

<sup>900</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 1 С. 217 (Запись 14 сентября 1941 г.); Г.И. Казанина – Т.А. Кононовой. 19 октября 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 4. Л. 3; Краков М. Дневник. 31 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11 Д. 53. Л. 48; Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. С. 277 (Дневниковая запись 20 февраля 1942 г.); Евдокимов А.Ф. Дневник. 30 ноября 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1. Д. 30. Л. 74.

<sup>901</sup> См. дневник А.Ф. Евдокимова: «Упадок сил. Температура 35,4?. Ноги опухли. Стало опухать лицо. Нашел в кастрюле (старая) полуиспревшую... шелуху свеклы и картошки. Хорошо отмыв ее и сварив ее, с аппетитом съел две тарелки бурды вместо щей. От Грани [его жена. – С. Я.] больше полмесяца нет письма. Может быть что случилось? Может быть и она так же голодает, как и мы» (Евдокимов А.Ф. Дневник. 30 ноября 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1. Д. 30. Л. 73–74).

<sup>902</sup> См. письмо М.И. Туркиной, отправленное родным из Ленинграда 26 февраля 1942 г.: «Мама... работает донором... четвертый месяц, чтобы иметь рабочую карточку и поддержать детей» (Цит. по: Лейверов И.П. Непоследние годы. Сборник статей, очерков, документов. СПб., 2005. С. 41).

<sup>903</sup> Мойковская З.И. Откуда берется мужество // Откуда берется мужество. С. 46.

<sup>904</sup> Налегатская А.В. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 188.

<sup>905</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 220.

<sup>906</sup> Птицын А.Б. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 207.

что только было с собой: за шелковое платье можно было выменять одно яйцо. Сами же они выкапывали из земли оставшуюся мороженую картошку, ели траву...»<sup>907</sup> – и трудно передать, что они ели еще, преодолевая брезгливость и стыд...

## 7

Была еще одна тема, которой, правда, редко касаются те, кто пишет о блокаде – это тема любви. Испытывая неловкость, стеснялись и писать о ней в письмах и дневниках и тем более говорить об этом спустя много лет. Считали неудобным и публиковать интимные и личные документы. Но некоторые из них сохранились – почти все они увидели свет после смерти тех, кто их писал. Среди них письма поэта Вс. Рождественского жене, очень деликатные, мягкие, может быть даже несколько литературные. Ужасы блокады тут нарочито приглушены. «Здесь были свои, весьма серьезные неприятности, но сейчас лучше» – можно счесть эти строки, написанные 15 декабря 1941 г.<sup>908</sup>, данью военной цензуре, если бы весь его блокадный эпистолярный цикл не был вызван желанием оградить близких от всего страшного и пугающего. Строки, посвященные любви, здесь неразрывно переплетены с обычными выражениями родственных чувств, с пожеланиями и увещаниями. Быть может, самое характерное в этом цикле – письмо, написанное 31 декабря 1941 г., когда на улицах и шагу нельзя было ступить, не увидев санок с умершими. «Дошло до меня на днях твое письмо... в котором ты пишешь очень хорошие, настоящие слова. Я все думаю о них сегодня, в новогодний вечер... Много в нашей жизни было, но все это, действительно, мелочи перед тем, что осталось»<sup>909</sup>.

Строки В.А. Рождественского отличаются той же сдержанностью и «гладкостью», какая присуща его ранним письмам – почерк и стиль их не могут измениться в одночасье до неузнаваемости, резко и внезапно. В письмах о любви, написанных в дни блокады, неизбежно вплетаются патриотические ноты, – но не для того же пишут близкому человеку, чтобы пересказать последние сводки Информбюро. И даже не избегая пафоса, свои чувства все же старались облекать в слова, отмеченные особой теплотой и нежностью. «Сегодня получила твои 2 письма... Не спалось мне после этих писем! ...Я теперь еще больше буду думать о тебе, еще нетерпеливее ждать буду твоих писем; я буду ждать тебя вдвойне, так как ты не вернешься до конца – и конца для меня не будет без твоего возвращения. Ты помнишь, я говорила тебе, что не переживу тебя. Я уверена, что ты вернешься, иначе быть не может. Если нет, то ты понимаешь – моя жизнь наполовину ни к чему...», – писала студентка университета Л.С. Левитан своему другу, погибшему на фронте зимой 1941/42 г.<sup>910</sup>.

Та же потаенная интимность ощущается и в рассказе о свидании, помещенном в дневнике А.Л. Янович. В предыдущих записях говорится о бомбежках и голоде – а читая эти строки, кажется, что «выключили» звук. Ни одной детали блокадного кошмара – он несовместим с чистотой переживаний, он способен мгновенно вытравить столь целительное для нее ощущение счастья. Видно, что не нужны ей громкие восклицания, не хочет она декламировать, словно артист на театральных подмостках. Находит слова пусть и простые, обычные, но в своей простоте какие-то по-особому трогательные: «Сейчас, как никогда, в его любви столько глубины, сколько сокровенности, сколько взаимопонимания и заботы... Я дома вдруг почувствовала такую тишину, такой покой. Горит печка, тепло, чисто. Звенит по радио хорошая музыка. Тревоги нет. Спокойно»<sup>911</sup>.

---

<sup>907</sup> Галактионова М.А. Коренные петербуржцы // Откуда берется мужество. С. 69.

<sup>908</sup> Рождественский В. «Я в этой книге жил когда-то». С. 288.

<sup>909</sup> Там же. С. 289.

<sup>910</sup> Левитан Л.С. Письмо другу. 23 ноября 1941 г. // «Мы знаем, что значит война...». С. 530–531.

<sup>911</sup> Янович А.Л. Дневник. 24 ноября 1941 г.: НИА СПб И РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 145. Л. 27.

У писем и дневников, в которых говорят о своей любви, особый язык. Он может быть возвышенным, даже несколько торжественным; случалось, передавали и письма в стихах<sup>912</sup>. Экзальтации обычно сторонились, но надрывная интонация, определенная блокадным бытием, отразилась в этих документах очень ярко. В записях Ольги Берггольц много строк посвящено ее мужу Николаю Молчанову. Необычайно талантливый человек, мягкий, щедрый, благородный, он пошел добровольцем на фронт, получил контузию. Последствия ее, равно как и голод, усугубили его неизлечимую тяжелую болезнь. Припадки начали учащаться и записи в дневнике Берггольц становятся все более иступленными: «Я никогда, никогда не оставлю его, ни на кого не променяю»<sup>913</sup>. Конец наступил скоро – неминуемый и страшный. Остаться в живых ему не было суждено – он бредил, в минуты просветления утешал жену, снова бредил, стонал от невыносимых страданий. Чем очевиднее была развязка трагедии, тем явственнее ее записи становились похожими на заклинание: «Держись. Я вытащу тебя. Я буду клянчить пищу у кого попало, покупать у спекулянтов – и бешено работать, чтоб иметь деньги...»<sup>914</sup>

Есть какая-то соотнесенность быстроты, с которой разрушался человек, и силой крика людей, видевших это разрушение. Здесь больше отчаяния, чем уверенности, больше иллюзий, чем точных расчетов. «Клянчить у кого попало» было делом бесполезным: если и дадут, то не настолько много, чтобы выжил тяжело заболевший. Друзья, чем могли, помогали ей – но ведь голодали почти все. «Бешено работать» она не могла: у нее самой начиналась дистрофия. Оставалось, как всегда, одно – отрывать от своего скудного пайка, отрывать, не считая, словно живешь последний день.

Очень рельефно выражено чувство любви к жене в дневнике А.Ф. Евдокимова. Он с нетерпением ждет от нее, находившейся в эвакуации, писем, и отмечает, что только из-за этого и уходит из цеха домой<sup>915</sup>. Записи о жене в его дневнике сдержанны и не очень пространны – но их много. Почти каждый день он возвращается мыслями к ней, думает о том, как она живет, нуждается ли она, скоро ли придет от нее ответ. Не к кому больше обратиться, кроме как к ней: мертвые на улицах, мертвые в подвалах, мертвые на лестницах, мертвые в квартирах. Всему есть предел, есть предел и человеческой стойкости: «Кружится голова. Трудно ходить и не могу стоять больше трех минут»<sup>916</sup>. Смерть может настичь в любую минуту – это он знал. Сколько людей, которым некому было помочь, падали и на улицах и в опустевших домах – чем же облегчить последний миг? «Если суждено упасть, передайте эту записку моей жене. Она должна знать, что и в последние минут в сердце я с ними – я их»<sup>917</sup>.

Дневники вели разные люди, но именно во время сильнейшего, эмоционального напряжения в них прослеживается один почерк, независимо от того, кто их автор. Для В.М. Ивлевой муж – едва ли не единственный человек, ради которого стоит жить: «Не хочу гибнуть, хочу выстоять и снова быть с Павлом»<sup>918</sup>.

Дневниковые записи превращаются то в импровизированный монолог, то в гимн, то в исповедь: «Павел, только одного хочу, увидеться еще с тобой. Так страшно умирать одной. Взглянуть перед смертью в глаза твои, услышать твой голос, руку твою пожать»<sup>919</sup>.

<sup>912</sup> Буров А.В. Блокада день за днем. С. 91.

<sup>913</sup> Берггольц О. Встреча. С. 214 (Дневниковая запись 14 ноября 1941 г.).

<sup>914</sup> Там же. С. 315 (Дневниковая запись 14 января 1942 г.).

<sup>915</sup> Евдокимов А.Ф. Дневник. 5 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1р. Д. 30. Л. 75.

<sup>916</sup> Евдокимов А.Ф. Дневник. 3 февраля 1942 г.: Там же. Л. 82.

<sup>917</sup> Там же. Подчеркнуто А.Ф. Евдокимовым.

<sup>918</sup> Ивлева В.М. Дневник. 2 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 431.

<sup>919</sup> Там же. 16 октября 1941 г.

Эмоциональное взламывает привычные формы дневников. Не рассказ о своих близких, а прямое обращение к ним. Обещание, похожее на заклинание, как этический пароль для самого себя, воспроизведение в памяти тех штрихов облика любимых, которые ярче всего передают их своеобразие, очарование, привлекательность – вот скрепы таких дневниковых записей. Повторы слов – отзвук сильного потрясения, обрывы фраз – знак того, как переполнен чувствами человек, как сцеплены эти чувства: одиночеством, тоской, невыразимым горем.

## 8

Рассказы о том, как переживали гибель близких и родных – самые обжигающие. Они обычно скупы. Первое и нередко единственное, что отмечают многие очевидцы – это слезы и горестные крики тех, кто потерял дорогого для них человека<sup>920</sup>.

«Идешь ночью..., слышишь крик: „Мамочка, не умирай, как я останусь одна«... Видишь, лежит женщина, глаза стеклянные, около нее девочка лет 8–9, истощенная, худенькая, тормозит свою мать, умоляет ее не умирать... Столько было таких случаев!» – вспоминал начальник эвакуационного пункта в Кобоне<sup>921</sup>. Е.П. Ленцман надеялась, что мать не умрет, если только не дать ей заснуть: «Когда мама закрывала глаза, я громко кричала, она откроет их, я замолкаю, так было несколько раз. Потом все, ее не стало... Папа думал, что мама жива, и все звал ее: „Таня, Танечка“, но мама молчала. Все плакали»<sup>922</sup>.

Везде видишь след того потрясения, которое испытали люди. Они говорили, что не хотят больше жить, спустя годы не хотели верить, что их дети погибли<sup>923</sup>. Записи в дневниках, письмах и мемуарах зачастую кратки, но даже и за скупыми строками чувствуется неимоверное напряжение. «Я не заплакала. Я как-то страшно закричала, упала... Я пролежала до утра. Утром вставать не хотелось. плакать тоже не хотелось... Не хотелось больше жить», – вспоминала Е.К. Белецкая о том дне, когда пришло письмо о смерти матери<sup>924</sup>. «Какое это для меня горе», – записывает в дневнике А.П. Остроумова-Лебедева<sup>925</sup>, получившая известие о смерти племянницы Тани – доброй, отзывчивой, много заботившейся о ней девушке. Какие-то другие слова ей подобрать, видимо, трудно – но сколько жалости высказано даже в простом описании этого события: «Погибла моя Танечка. Не перенесла тягостей и страданий, встреченных ею по дороге домой»<sup>926</sup>. Отчаяние, одиночество, чувство потерянности – все, слившееся в крик, есть в письме И.С. Глазунова, узнавшего о гибели матери: «Я – круглый сирота!.. Что мне делать?... Я весь вечер проревел, а утром проснулся и опять стал реветь...»<sup>927</sup>.

Горе усугублялось еще и осознанием того, в каких условиях встретили свой последний час близкие – оставленные всеми, без любви, в страданиях. В письмах о их смерти, написанных разными людьми, заметна одна нота: трудно писать, не найти слова особые, способные наиболее полно высказать все, что есть на сердце, нет сил вообще находить слова...

<sup>920</sup> Чурсин В. Д. Указ. соч. С. 141; Динаров З. Блокадное эхо // Голоса из блокады. С. 379; Махов Ф. «Блока-ада» Риты Малковой. С. 224; Память блокаде. С. 109; Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 218.

<sup>921</sup> Стенограмма сообщения Кобылинского В.П.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Он. 1. Д. 22. Л. 10.

<sup>922</sup> Ленцман Е.П. Воспоминания о войне: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 5 об.

<sup>923</sup> Публичная библиотека в годы войны. С. 141; Разумовский Л. Дети блокады. С. 54; Пето О.Р. Дети Ленинграда. 1941–1943: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 87 об.

<sup>924</sup> Того В. Потерявший родину плачет вечно. М., 2001. С. 278.

<sup>925</sup> Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. С. 278 (Дневниковая запись 17 марта 1942 г.).

<sup>926</sup> Там же.

<sup>927</sup> Письмо И.С. Глазунова тете Агнессе Константиновне. 6 мая 1942 г. цит. по: Новиков В. Указ. соч. С. 107–108.

Встречая такие описания, необходимо помнить, что они могут оборваться внезапно и не потому, что происходит какой-то отбор блокадных эпизодов на значимые и второстепенные. Читая документы тех лет, замечаешь, что есть такие приступы боли от невосполнимых утрат, после которых ни о какой связности изложения говорить нельзя. Рассказ становится судорожным; мысль, словно по кругу, возвращается к одному и тому же. В письмах о смерти близких всегда видишь наплывы ассоциативно возникающих и сменяющих друг друга образов. В них – горечь утраты, страх потерять других родных, ужас той жизни, которая стала привычной. Это и рассказ о событии, и жалоба, и исповедь, и крик невыразимого горя – все разом, высказанное в каком-то лихорадочном темпе, в тесноте переполнявших чувств: «Писать очень трудно. Тяжело, горько, но надо написать всю правду вам, знайте, как нам тяжело и ужасно сейчас!... Умерла наша дорогая, милая, ненаглядная мамочка, скончалась она очень тихо, но до этого очень бурно и тяжело болела... Вместе с мамочкой умерли за три дня раньше Мишутка и в тот же день... Федя, так что у меня теперь осталось трое, но двое из них лежат тоже... Верно их участь такая же, как и мамина, они очень плохи и слабы, сами знаете, какое сейчас время и в каком мы в Ленинграде положении, да еще я 5 месяц [ев] не получаю пенсию... Так тяжело без мамы, с ней я все потеряла. Я теперь одна сирота, никому не нужная, плачу день и ночь, сама вся распухла, ноги что бочки, лицо заплыло все, почки у меня оказались больные и все на почве голодовки сказалось, так что я еле ноги двигаю и стала совершенной старухой. Мишу и Федю жалко, зря погибли, все это из-за немца. Если бы вы знали и видели все, что мы пережили и переживаем, то у вас волосы бы дыбом встали на голове... Тоска по маме заедает, мне очень плохо без мамы... Как жить без мамы, не знаю, но как-то надо... Как только успокоюсь... то напишу вам еще, а сейчас не могу... Руки ничего не поднимают, мама стоит перед глазами... Пишите сиротам»<sup>928</sup>.

## 9

Читая дневники и письма, где запечатлены отклики на гибель родных, обращаешь внимание на одну деталь. В них нередко приводятся подробности быта умерших, их характерные слова, жесты, поступки. Словно стремятся на миг «оживить» их, а порой и сделать своими собеседниками. Настоящее с его чередой безымянных могил невыносимо, надо хоть на минуту уйти в прошлое, смягчить переживания – пусть ненадолго, но уйти. «Теперь моя бедная Таня все плачет и не может переносить одиночества... С каждым прошедшим днем Таня все больше и больше расстраивается, вспоминает всякие подробности, мелочи их недолгой жизни»<sup>929</sup>, – писал Г.А. Гельфер.

Самым впечатляющим документом, отразившим психологию этой воскрешающей «лепки», является знаменитый дневник школьницы Елены Мухиной. Это не по годам артистичная, наблюдательная, остро чувствующая любую несправедливость, эмоциональная девушка – добрая, честная, хрупкая. 8 февраля 1942 г. ею сделана в дневнике одна лишь сдержанная запись: «Вчера утром умерла мама. Я осталась одна»<sup>930</sup>. Других записей ни в тот день, ни на следующий она не делала. Она нарочито избегает в это время писать о том, что связано с пережитой ею трагедией. «10/II. Затопила жарко печку. Сейчас в комнате в среднем 12°. Завтра напишу подробнее»<sup>931</sup>. Но подробные записи все о другом: о том, как ей помогала дворничиха, перевоза тело в морг, как она с ней расплачивалась хлебом. О матери она словно боится говорить. Только о себе, о своей судьбе: «Как тяжело одной... Кругом чужие люди,

<sup>928</sup> Письмо Н. Макаровой сестре о смерти матери О.Н. Макаровой. 27 марта 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 1418.

<sup>929</sup> Гельфер Г.А. Дневник. 12 мая 1942 г.: ЦГАПИД. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 24. Л. 40.

<sup>930</sup> Мухина Е. Дневник. 8 февраля 1942 г.: Там же. Д. 72. Л. 82.

<sup>931</sup> Там же.

никому до меня нет никакого дела, у всех свои заботы»<sup>932</sup>. Матери нет, об этом и думать страшно. Думать лучше о тех, кто мог бы стать теперь ее опорой. Есть у нее тетя Женя, она далеко, но в трудный момент обязательно поддержит: «Она мне поможет, это бесспорно»<sup>933</sup>.

Нет записей о матери. Записи лишь о том, как готовила пищу, о дровах, о бытовых мелочах – без всяких эмоций, в каком-то оцепенении. 13 февраля боль прорвалась, прорвалась неостановимо: «Мамы нет! Мамы нет в живых... Я одна... Временами на меня находит неистовство. Хочется выть, визжать, биться головой об стенку, кусаться!»<sup>934</sup>.

Обнажаются незаживающие раны. Писать о другом, о чем-то хорошем, чаще утешать себя, подбадривать – может, так лучше? «Я совсем разбогатела. В одной банке у меня пшено, в другой перловая каша... Сегодняшний хлеб за 1 р. 25 очень вкусный, сухой, очень хороший... 3-й день я слушаю радио, так хорошо, совсем не чувствуешь одиночества. Деньги у меня есть... Дрова есть, продукты есть, что мне еще надо. Я вполне довольна»<sup>935</sup>, – записывает она в дневнике 17 февраля 1942 г.

Никуда боль не ушла и уйти не может. Днем раньше, днем позже – записи о матери появятся в ее дневнике. И не уверить ей себя, что стало жить лучше – так не бывает. Блокада не снята: вчера был кусок хлеба, сегодня нет ни крошки. Все съедено разом, с лихорадочной быстротой, в смутной надежде, что завтра может быть «повезет» – да и безо всякой надежды, потому что не остановиться. «Как хочется кушать... Как надоело влачить это полуголодное существование», – пишет она 5 марта 1942 г.<sup>936</sup>

Надо как-то смягчить горе. Не бодрими заклинаниями, не утешат они: тот же голод, та же стужа, то же одиночество. Может быть, по-другому: «Мне все кажется, что мама только ненадолго уехала по своим делам, и скоро вернется».

Ничто не помогает. Вспоминает все: как в последние дни трудны стали для матери разговоры, как выглядела она («ноги... были как у куклы кости, а вместо мышц какие-то тряпки»). Вспоминает, как наступило у нее просветление. «Знаешь, мне сейчас так хорошо, так легко. Завтра мне наверное будет лучше. Никогда я еще не чувствовала такой счастливой...» – эти слова были сказаны за несколько часов до смерти<sup>937</sup>. Она пробует сдерживать боль упорядоченным, даже литературным слогом – и снова срывается в крик: «Мамочка, мамуся, ты не выдержала. Ты погибла. Мамуля, мамончик милый, дружочек мой...»<sup>938</sup>

Приглушить боль можно было только одним: снова почувствовать, что мать рядом, услышать ее голос. И долгим рассказом о ней удержать в памяти ее облик – каждое слово, каждый жест. Чем больше таких подробностей – тем живее кажется единственно близкий человек, и есть надежда хоть на миг уйти от обжигающей тоски. Быть может поэтому описание последних дней матери в дневниковой записи 5 марта 1942 г. столь часто переходит в диалог между ней и дочерью – близость выглядит неправдоподобной: «„На-ка, сними одеяло. Так, теперь сними левую ногу, теперь правую, прекрасно" ... „Опля“, – говорила весело она, силясь сама подняться. – „Опля, а ну-ка подними меня так“... Мы прижались друг [к] другу, обе плакали: „Мамочка дорогая" – „Лешенька, несчастные мы с тобой"»<sup>939</sup>.

<sup>932</sup> Мухина Е. Дневник. 11 февраля 1942 г.: Там же. Л. 82 об.

<sup>933</sup> Там же.

<sup>934</sup> Мухина Е. Дневник. 13 февраля 1942 г.: Там же. Л. 83.

<sup>935</sup> Мухина Е. Дневник. 17 февраля 1942 г.: Там же. Л. 84 об.

<sup>936</sup> Мухина Е. Дневник. 5 марта 1942 г.: Там же. Л. 87 об.

<sup>937</sup> Там же. Л. 88 об.

<sup>938</sup> Там же. Л. 87 об.

<sup>939</sup> Там же. Л. 87 об. – 88 об.

## 10

О чувствах людей, потерявших родных во время блокады, писали часто. Писали и с чужих слов, торопливо, скороговоркой. Писали осторожно, оглядываясь на цензуру. А. Фадеев, приехавший в Ленинград в конце весны 1942 г., примет «смертного времени» не обнаружил. Вымытый, чистый город, трупов на улицах нет, солнце, дети, радующиеся солнцу. Горожане, еще истощенные, но полные решимости отстоять свой город. Рабочие, которые, испытывая трудности, готовы к новым трудовым подвигам. Все пробуждается: надежда, бодрость, оптимизм. Так писал в то время о Ленинграде не один Фадеев. По этой канве составлены передовые статьи городских газет, ей следуют и очерки Н.С. Тихонова<sup>940</sup>, названия которых словно повторяют «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого – «Ленинград в мае», «Ленинград в июне»; в них, правда, мало толстовской изобразительности. Трудно сказать, знал ли Фадеев всю правду: о многом открыто говорить было нельзя. Удивительно скупы неподцензурные наброски жизни города в его записной книжке<sup>941</sup> – некоторые из них почти дословно переключались оттуда в книгу «Ленинград в дни блокады», изданную в конце 1942 г. Он беседовал с очевидцами, в частности, с тем же Тихоновым, кое-что из страшных картин прошедшей зимы прорывается в его дневнике. Он решается сказать даже и такое: «...Вид человека, умирающего от голода на заснеженной улице, стал не редкостью в Ленинграде»<sup>942</sup>. Продолжение этой записи отчетливо показывает степень его осведомленности: «Пешеходы проходили мимо, снимая шапки или сказав два-три слова участия, и иногда и совсем не задерживаясь». То ли был обманут, то ли сам придумал спасительную оговорку, чтобы хоть что-то сказать о ленинградской трагедии: мы знаем, что и шапок не снимали, и слов не говорили, и делалось это не «иногда», а очень часто.

Но есть у Фадеева в его книге одна глава, где уверенный, спокойный тон исчезает, где, пожалуй, все затверженное накрепко в его военной публицистике обрывается – и вместо фальшивой позолоты проступает чистое золото человеческой любви, сострадания и милосердия.

Это рассказ о детях, потерявших родителей и живших в приютах. Им не требуется героический ореол – они слишком малы для этого: сторбленные, печальные, «все как один жалась к печке... с плачем отвоевывая себе место»<sup>943</sup>. Они замкнуты, непослушны, на всех из них – печать огромного, непосильного для них, непередаваемого обычным языком горя. Фадеев все записывал со слов воспитательниц, и какой-то налет дидактики и ласковой назидательности их речи передался и ему – он в ряде случаев просто переписывал их отчеты.

В этих записках – сплошная череда детей с исковерканными судьбами, печальных, страдающих, не оправившихся от голода. Это позднее (и очень быстро) будут стерты у них впечатления о жизни с мамой<sup>944</sup>, но сейчас они держатся, словно за соломинку, за все, что возвращает их в прошлое. Вот мальчик Лорик, пытающийся спрятать пудреницу с портретом матери от чужих глаз: «Смутился страшно, когда заметил, что я наблюдаю за ним... „У меня моя мама, я берегу ее«– шепотом сказал он мне, – „Я сам это сделал, сам тесемочку

<sup>940</sup> Тихонов Н.С. Ленинград принимает бой.

<sup>941</sup> Фадеев А. Из записных книжек (1924–1950) // Фадеев А. Собр. соч. Т. 6. М., 1971.

<sup>942</sup> Фадеев А. Ленинград в дни блокады (Из дневника). С. 110.

<sup>943</sup> Там же. С. 142.

<sup>944</sup> См. сообщения заведующих детскими домами Н.Г. Горбуновой: «...О чем разговаривали дети? Исключительно о питании: сколько дали хлеба, какой обед, ужин, полдник, завтрак, кто сколько скушал и т. д. Интересы к дому, к родным и вообще к событиям войны у них не было» (Горбунова Н.Г. Дневник: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 30. Л. 6 об.) и М.К. Ивановой: «Принимали таких детей, которые по несколько дней находились у трупа своей матери. Такие ребята ничего другого не говорили, как только просили есть. Да и потом, когда дети немного отходили, разговоры были только о еде» (Стенограмма сообщения Ивановой М.К.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 350. Л. 4 об.).

привязал«... В этот же день он подробно все рассказал и о смерти мамы, и о смерти тети, и о том, почему не хотел никому показывать портрет. „Я хотел только один... только один“ и больше не нашел слов сказать»<sup>945</sup>. Семилетний мальчик Леня не хочет снимать ставшую бесформенной шапку – она дорога как память о брате. Шестилетний мальчик Женя, приведенный в детский дом, показывал всем фотографии матери. «Ночью просит няню поднести свет, чтобы посмотреть на портрет мамы. На вопрос няни, почему он не спит, Женя отвечает: „Я думаю все о маме. Я сам не хочу думать, а все думаю да думаю“»<sup>946</sup>.

«Она болезненно цепляется за все, что хотя бы немного напоминает ей мать и былую жизнь дома» – это замечание об одной из девочек-сирот верно и по отношению к другим детям-детдомовцам. Только это у них и осталось, чтобы заглушить нестерпимую боль. Не очень-то сладко живется им здесь. Едва ли они были сыты. Чего стоит одно лишь описание того, как они ели – блокадное бытие с его дележкой крохотного куска хлеба ничем не вытравить: «Суп они ели в два приема, кашу или кисель они намазывали на хлеб. Хлеб крошили на микроскопические кусочки и наслаждались тем, что кусок этот ели часами»<sup>947</sup>. Фадееву не все было дано увидеть, но из других источников можно почерпнуть сведения о далеко не добрых нравах воспитанников приютов. И обижали детей там, и более сильные отнимали еду у слабых, случались и драки<sup>948</sup>.

Нет и никогда не будет теперь у них тех, кто их всегда защитит, кто отдаст свой паек, кому можно довериться. Везде чужие люди. Воспитательницы, сами полуголодные, стремятся хоть как-то скрасить безрадостное житье детей – но у них слишком много забот, чтобы попытаться заменить мать каждому ребенку. Другие дети – порой одичавшие донельзя, нередко безразличные ко всему, иногда рассказывающие всем, кто готов слушать, как погибали их близкие. «Я вспомнил, как у нас мама умерла, мне жалко ее... Я ее на кровать притащил, она очень тяжелая, а потом соседки сказали, что она умерла. Я так испугался, но я не плакал, а сейчас не могу, мне ее очень жаль», – услышит воспитательница, заметив, как осиротевший мальчик, «накрывшись с головой, тихо плачет»<sup>949</sup>.

У всех одна боль. Каждый защищается, как может – слезами, молчанием, попыткой заслонить прошлое, игрушкой, подаренной матерью, прерывающейся от волнения исповедью – и стихами, горькими и неровными. Потерявшая мать и всех родных А.В. Смородинова сочинила такие стихи в поезде, уходящем к Ладоге. Она хочет упорядочить строки, придать им какую-то рифмовку, не очень умело подстраиваясь под мотив песни «Ох, туманы», пишет отстраненно, словно речь идет о других. Не удается вправить ей эту безбрежность горя в условные формы. Едва начинает говорить о матери – и взрываются они волнами отчаяния и боли:

«...Сидит одиноко девчонка, плачет и тихо песню про себя поет:

Туманы ленинградские блокадные.  
Туманы, моя мама ко мне больше... не придет.  
Мне было двадцать лет, когда она умерла,  
И с тех пор на могилу к ней не пришла.  
И она далеко моя... мама.  
Сидела в вагоне и плакала долго одна.

<sup>945</sup> Фадеев А. Ленинград в дни блокады (Из дневника). С. 144.

<sup>946</sup> Там же. С. 144–145.

<sup>947</sup> Там же. С. 143.

<sup>948</sup> См. воспоминания Р.С. Лебедевой: «Сидящие у печки дети набрасывались на новеньких, обыскивали карманы. У нас с сестрой был хлеб, небольшие кусочки – отобрали, дрались между собой, крошки собирали с пола» (Цит. по: Рогова Н.Б. Чистые родники памяти или малые величины, связующие жизнь // Женщины и война. С. 87).

<sup>949</sup> Там же. С. 146.



Туманы гуляют, гуляют по воле.  
И будто мама не слышит сиротские слова:  
Услышь дорогая, как плачет дочурка твоя.  
Туманы. Ленинградские морозные туманы,  
Прикройте могилу своим серебром.  
Прошу об одном»<sup>950</sup>.

## Этика родственников: сохранение и распад

### 1

В записках блокадников нередко проскальзывает мысль о том, что исполнение родственного долга являлось и попыткой спасти самого себя, ибо знали, что в одиночку не выстоять в ленинградской катастрофе<sup>951</sup>. Отдавали, однако, все, что могли, малолетним детям, умиравшим старикам, да и многим из тех, кто не мог их отблагодарить. И, добавим, помогали не только близким – детям, родителям, братьям и сестрам – к которым испытывали сильнейшее чувство привязанности. Помогали и дальним родственникам и даже тем, кого до этого не видели годами.

Все простейшие бытовые действия, выполняемые членами семьи – покупка продуктов, вызов врача, заготовка дров, уход за больными – приобрели в 1941–1942 гг. совершенно иное звучание. Цена им была одна – человеческая жизнь. «Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные лежавшие были еще живы», – вспоминал Д.С. Лихачев<sup>952</sup>. Приходилось стоять часами в нескончаемых очередях, при лютых морозах, нередко без всякой надежды на успех. Обычно родственники старались подменять друг друга в очередях<sup>953</sup>, но удавалось это не всегда. После того, как Д.С. Лихачев перестал ходить из-за слабости, всю семью спасала его жена: «Она стояла с двух часов ночи в подъезде нашего дома, чтобы отovarить... карточки»<sup>954</sup>. И такое случалось часто. «За хлебом ходила я, сестренка к этому времени опухла от голода, ее не выпускали» – отмечала в своих рассказах В.М. Лисовская<sup>955</sup>. Но в очередях было немало и опухших от голода и шатающихся людей, а у булочных лежали тела тех, кто упал и не смог подняться.

Приобретение продовольствия по «карточкам» было делом исключительно сложным. Легче всего удавалось купить хлеб. Другие продукты – мясо, крупу, масло, сахар – получить было крайне трудно, сколь бы мизерными не являлись их нормы. У тех магазинов, куда их привозили, возникали огромные очереди. Продуктов на всех не хватало, горожане вынуждены были обходить десятки магазинов. «Карточки» необходимо было «отovarить» до конца месяца – срок их действия обычно не продлевался и те, кто не успел это сделать, оставались без продуктов.

Никакого четко установленного порядка оказания помощи родным, никакой его «системы», конечно, не было. Все зависело от конкретных обстоятельств. Должны были

---

<sup>950</sup> Смородинова А.В. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 222.

<sup>951</sup> См., например: Шестинский О. Голоса из блокады. С. 48.

<sup>952</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 471–472.

<sup>953</sup> Разумовский Л. Дети блокады. С. 88; Петерсон В. «Скорей бы было тепло». С. 172.

<sup>954</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 479; О приобретении хлеба для ослабевших родственников в очередях см. также письмо Д.И. Митрохина П.Д.Этингер от 28 октября 1941 г. // Книга о Митрохине. Статьи. Письма. Воспоминания. М., 1986. С. 195.

<sup>955</sup> Лисовская В.М. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 156.

учитываться различные условия: время работы, численность членов семьи, их здоровье, возможность оставить с кем-то малолетних детей. И, не в последнюю очередь, степень истощенности людей: у «дистрофиков» можно было легко отнять или украсть хлеб. Имело значение и то доверие, которое оказывали родным: некоторых подозревали, и небеспочвенно, в том, что они, не имея сил терпеть голод, съедали по дороге домой принадлежавшие другим продукты<sup>956</sup>.

Размывание прежней, доблокадной, этики сказалось и в поведении блокадников во время обстрелов и бомбежек. Очевидец первой из них, Е. Мухина, записывала в своем дневнике 8 сентября 1941 г.: «По лестнице горохом сыпались люди, одни в охапку тащили детей, другие старух»<sup>957</sup>. В те минуты, когда речь шла о спасении жизни родных, многие проявляли подлинный героизм – среди них и бабушка, которая, падая, заслонила собой трехлетнюю внучку<sup>958</sup>, и мать, укрывавшая полами своего пальто шестилетнего ребенка<sup>959</sup>. Даже малолетние дети во время обстрелов, рискуя собой, бежали к сандружинникам, пытаясь вызволить из-под завалов своих братьев и сестер<sup>960</sup>. А. П. Остроумова-Лебедева вспоминала, как во время бомбардировки племянник «тащил» ее за руку в убежище, заботился о ней, неся для нее стул и подыскивая место в переполненном помещении<sup>961</sup>.

Со временем, однако, к обстрелам попривыкли, в бомбоубежища шли неохотно, а многие не вели туда и детей. Оправдания являлись такими: обессиленные люди и до отмены тревоги не смогут доползти до бомбоубежищ, да и не спасутся там, а будут похоронены под их обломками. Доля истины в этом была, но здесь в большей степени надо говорить об отступлениях от традиционной морали, которая предписывает в первую очередь заботиться о беззащитных и слабых, отдавать им лучший кусок хлеба, не отходить от них ни на шаг, чтобы быть готовым в каждую минуту оказать помощь. Там же, где часто не брались в расчет возраст и положение родных, где не всегда кто-то мог требовать лишнюю порцию каши только потому, что был болен, где могли съесть миску супа на глазах у голодного ребенка, не делясь с ним, – там и поведение родственников во время обстрелов не выглядело столь шокирующим. Чем больше таких поступков, тем меньше они задевают и отталкивают, чем больше исключений из правил, тем меньше они оцениваются как нечто неприемлемое.

## 2

Психология нравственного обморока очень выпукло отражена в дневнике М.В. Машковой. В записи, сделанной ею 20 февраля 1942 г., есть и описание события, подготовленное им оправдание своих поступков и опрокинутая все «защитительные» аргументы беспощадная честность окончательной самооценки.

Накануне она ушла – «от сумрака голода, тоски» – из дома, от истощенных детей, от умиравшей свекрови. Ушла к близкой подруге, поэтессе, туда, где «тепло, светло», где – она знала это точно – ее накормят хлебом. Она любит детей и старается, как может, облегчить их жизнь, она ухаживает за свекровью, но что-то обрывается и в ней. Она знает правило

<sup>956</sup> Одна из блокадниц (в 1942 г. ей исполнилось 10 лет) вспоминала, как старший брат просил ее купить хлеб: «Он посылал меня, потому что говорил: „Верушка, я все съем. Я не донесу... Иди ты!“ (Память блокаде. С. 129). См. также воспоминания Д.С. Лихачева: «Многие просили продавцов сделать довески: их съедали по дороге. Отец, когда Зина [жена Д.С. Лихачева] приносила ему порцию хлеба, ревниво следил, есть ли довески. Он боялся, не съела ли их Зина по дороге» (Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 496).

<sup>957</sup> Мухина Е. Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72; см. также: Ратнер Л. Вы живы в памяти моей. С. 141; Алексеев А.С. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 20.

<sup>958</sup> Пето О.Р., Вальтер Т.К. Дневник выездов скорой помощи. 14 декабря 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 52/1. Л. 13.

<sup>959</sup> Гузынин Г. А. Когда говорили пушки // Без антракта. С. 14.

<sup>960</sup> Пето О.Р., Вальтер Т.К. Дневник выездов скорой помощи. 2 декабря 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 52/1. Л. 12.

<sup>961</sup> Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. С. 259 (Дневниковая запись 25 сентября 1941 г.).

новой этики: если хочешь спасти близких людей, спасай прежде всего себя. Ей приходится и съесть свой паек на глазах у голодного сына, и делать так, чтобы забота о матери мужа не сломала ее саму. Повторяясь не раз, такие действия становились привычными и обязательными, но ничто не происходит бесследно. Может быть, так и возникает нравственный надлом – его не боятся, потому что его не чувствуют.

В этом доме все было другим: «Я наслаждалась едой... и не могла рук оторвать от тарелки, пока все стоящее передо мной не уничтожила»<sup>962</sup>. Там было уютно, там читали стихи и не считали без всякого стеснения крошки съестного. Там она, опьяневшая от сытости, начинала «оттаивать»: «Странный это был вечер, много разных ощущений прошло сквозь меня. Жареные ломтики хлеба, которые парализовали волю, приковали к светлой теплой комнате... тоскливое ощущение „нет, не дожить“, страшное желание жить во что бы то ни стало, твердое понимание того, что многое...невозвратно потеряно – все это как-то нелепо перемешивалось»<sup>963</sup>.

В это время и прозвучал сигнал тревоги: «Дома остались одни ребята и умирающая бабушка, надо было подняться и идти к ним». Идти не хотелось. Здесь тепло, здесь запах хлеба, которым щедро делятся. Там – жестокая стужа, обледеневшие лестницы, нечистоты, крики умирающих, плач испуганных детей – весь этот блокадный кошмар с крысами, вшами, голодными взглядами сына и дочери, унижительной дележкой хлеба, трупами на улицах и во дворах, раздетых, ограбленных, с отделенными мягкими частями тел; везде – смерть, смерть, смерть.

«Я осталась». И здесь же оправдание: «Бесмысленно бежать и что-то предпринимать... Да и куда их вести? В заиндевевшее, промерзшее бомбоубежище? Кому это надо?»

Можно было отметить и другие причины, но все это выглядело как-то не очень искренне после чувственного, яркого описания внезапно наступившей эйфории от уюта и сытости. В ее блокадных записях много жестких слов о людях упавших, утративших волю, одичавших, иногда даже без всякого желания понять, отчего они сломались. Имеет ли она право щадить себя, если не жалеет других? Честность перед собой – не в перечислении всех причин своего поступка: их действительно могло быть много. Честность – в выявлении главного его мотива. Ей трудно сразу его назвать, но она все же делает это. И говорит прямо, не заслоняясь ссылками на голод и холод, на невозможность что-то изменить: «Откровенно говоря, я не могла уйти». Был обещан кофе, на столе еще лежал несъеденный хлеб – не уйти...

Последующие дневниковые записи Машковой, где описаны обстрелы, отчетливо показывают, что такие эпизоды не являлись исключением. 1 марта 1942 г. в ее семье готовили «торжественные поминки» по только что умершей матери мужа. Собрали скудные запасы, надеялись, что хоть раз смогут наестся за последние недели – в это время начался обстрел. Трудно сказать, пошла бы Машкова в убежище – но отчаянно закричала маленькая дочь, которая «в первый раз была так напугана и умоляла бежать».

Пришлось идти: «Я усталая, мрачная, голодная вынуждена была нести Галю вниз... Казалось, конца этому не будет... На меня нашло тупое отчаянье, и не страх смерти довел, а то, что не удалось выпить стакан горячего чая и съесть кусок поджаренного хлеба, о котором мечтали за два дня до этого»<sup>964</sup>. Других слов нет – слов о том, кого спасает, какие чувства испытывает, зная, что родных не поразят бомбы... И в записи 7 марта 1942 г. мы видим те же аргументы: «Не бежать же с детьми в холодное, заиндевевшее бомбоубежище, где каж-

---

<sup>962</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 18 (Запись 20 февраля 1942 г.).

<sup>963</sup> Там же.

<sup>964</sup> Там же. С. 22 (Дневниковая запись 1 марта 1942 г.).

дое место на нарах напоминает о недавно живых еще людях. Да и бежать физически невозможно...»<sup>965</sup>.

Доводы эти были спорными. Заиндевелыми являлись и квартиры, и они тоже стали свидетельством о еще недавно живших, но умерших людях. И не приходилось ли ей, преодолевая немощь, работать в Публичной библиотеке и стоять в очередях? Но без этого она не могла бы накормить семью и тем самым обрекла бы ее на смерть – а о том, погибла бы она от обстрела, никто знать не мог и теплилась надежда уберечь себя. Повторяясь, эти аргументы приучали к новой морали. Все это так, но подчеркнем здесь одну деталь. Достаточно было бы просто отметить свой отказ уходить в подвал, без всяких оправданий – но она их приводит каждый раз, когда случается обстрел. Так трудны ей отступления от старой этики – все можно объяснить, не все можно простить.

### 3

Пострадавшим из разбомбленных домов давали ордера на другие комнаты, но многие предпочитали переезжать туда, где жили их родственники<sup>966</sup>. Стремление уехать к родным было вызвано и иными причинами – одиночеством людей, у которых умерли все жившие с ними их близкие и которым невозможно было выжить без поддержки других людей, отсутствием света и опасением новых бомбежек, близостью к месту работы. Скажем прямо, это по-разному воспринималось родственниками. Новые жильцы – это и новые тяготы, а их и без того хватало с избытком. Многие, потеряв имущество, переезжали целыми семьями и надеялись на помощь, которую не все были способны оказать – по разным причинам. И.Д. Зеленская, зайдя в квартиру родных зятя, где молодожены нашли временный приют, записывала в дневнике: «Все разговоры... сводятся деликатно к их переселению, вторжение их явно не устраивает»<sup>967</sup>.

Нередко, однако, родных и близких прямо приглашали к себе жить, зная, какие трудности они испытывают, даже если их жилье не пострадало от разрушений. Особенно ценной была такая поддержка зимой 1941/42 гг., когда не работали водопровод и канализация. Л. Ратнер вспоминал, как его мать предложила сестре переселиться к себе, поскольку той трудно было после смерти мужа носить воду и дрова на седьмой этаж – и жить им пришлось впятером в одной комнате<sup>968</sup>. Конечно, привычнее было жить не с чужими людьми, а с близкими, и именно с ними надеялись легче перенести голод и холод. Кто-то имел более просторную комнату, у кого-то были целы стекла в окнах и можно было топить обычную печь, а не копящую «буржуйку» – и одного этого было достаточно, чтобы решиться на переезд. Чаще шли к тем, у кого работал водопровод, был свет, кто мог получать больше продуктов, у

---

<sup>965</sup> Там же. С. 25 (Дневниковая запись 7 марта 1942 г.).

<sup>966</sup> *Коноплева М.С.* В блокированном Ленинграде. Дневник: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 85–86; Д. 2 Л. 39; *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. С. 257 (Дневниковая запись 14 сентября 1941 г.); *Махов Ф.* «Блок-ада» Риты Малковой. С. 224; *Галактионов М.А.* Коренные петербуржцы // Откуда берется мужество. С. 69; *Толытина О.С.* Детство кончилось сразу // Там же. С. 90; *Акромов Д.П.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 8.

<sup>967</sup> *Зеленская И.Д.* Дневник. 31 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 59 об.; см. также воспоминания Л. Ратнера о том, как он с матерью пытался поселиться у родственников, поскольку у их дома упала нераззорвавшаяся бомба: «Нам не очень обрадовались. У них одна небольшая комната и самих трое. Все-таки одну ночь мы у них переночевали, а утром мама сказала: „Пойдем домой“... Мы вернулись к себе» (*Ратнер Л.* Вы живы в памяти моей. С. 142).

<sup>968</sup> *Ратнер Л.* Вы живы в памяти моей. С. 145; см. также воспоминания Т. Максимовой: «В январе [1942 г.] мы еще более потеснились, убедив жить с нами мамину двоюродную сестру с ее 5-летним сыном, страдавшим с рождения детским параличом. Тетя жила в доме с центральным отоплением и в ее комнате постоянно держалась минусовая температура» (*Максимова Т.* Воспоминания о ленинградской блокаде. С. 38); запись в дневнике И. Д. Зеленской: «Чистяков привез на станцию мать спасать ее в нашем оазисе. Полное истощение от голода и ужасных бытовых условий... Старушка, высохшая до последней степени, на ногах не держится» (*Зеленская И.Д.* Дневник. 29 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 55 об.).

кого находились запасы вещей и товаров, годных для обмена на хлеб. Начиная жить своеобразной семейной коммуной, родственники помогали друг другу и в решении других бытовых проблем (стирка, уход за детьми, «отоваривание» карточек), делились и хлебом.

Связи между членами семьи, жившими отдельно и далеко друг от друга, ослабевали из-за отсутствия транспорта, обстрелов, крайней истощенности<sup>969</sup>. Но приходили и к тем, кто нуждался, пострадал от бомбежек, потерял продовольственные карточки, не мог самостоятельно ходить из-за истощения, кто болел, кто пытался вырвать из тисков голода своих маленьких детей<sup>970</sup>. Шли иногда не с пустыми руками, а с подарками, хотя и крохотными. Все складывалось в «общий котел»: он был невелик, но каждый ожидал получить к нему доступ. Разумеется, неизбежно возникали и обиды, и подозрения. Люди надеялись на лучшее, не знали, что подарок будет скудным, и роптали, когда их надежды не сбывались. Они замечали любую несправедливость и не всегда соглашались с тем, что нельзя требовать многого от голодного человека.

Не этими обидами, однако, примечателен опыт совместного выживания в годы блокады. Блокадная «бухгалтерия» помощи имела особый счет. Он определялся не тем, много или мало дал человек, а тем, отдавал ли он последнее. Последним мог быть кусок хлеба, делясь которым, нельзя было не обречь себя на страдания. Последним мог быть шаг тех, кто помогая своим близким, погибал при бомбежках или замерзал, упав от голодного обморока на пустынной улице – и припасенный ими маленький подарок, который едва ли мог кого спасти, приобретал иную, страшную цену

#### 4

Помощь больным и истощенным членам семей являлась самой важной в дни блокадной зимы. Поскольку своими силами поддержать их было трудно, пытались устроить их в госпитали и стационары. Задача эта была нелегкой: все лечебные учреждения оказались переполнены. Использовались разные пути. Кого-то удавалось устроить в госпиталь или больницу при содействии родных, работавших там или имевших необходимые «связи»<sup>971</sup>, кто-то решался на крайнюю меру – «подбрасывал» своих родственников к дверям больниц, надеясь, что их примут в любом случае. Не всегда это получалось. В воспоминаниях Б. Михайлова есть рассказ о том, как одна из женщин, чей ребенок умирал, принесла его к госпиталю и хотела убежать: «...Ее поймали, дали хлеба, каши, и... ребенка, а на прощанье обещали подкармливать»<sup>972</sup>. Реплика матери Б. Михайлова, сообщившей ему об этом случае – «повезло ей» – показывает, что такие истории едва ли всегда заканчивались благополучно. В то «смертное время» иногда ослабевших людей выпроваживали из заводских проходных, магазинов, аптек, учреждений, куда они заходили погреться – опасаясь, что они могут здесь же умереть. Едва ли отношение к подброшенным «дистрофикам» в переполненных больницах могло быть всегда доброжелательным. «Я не слышал, чтобы медики не оказывали такому человеку помощь», – вспоминал А. Нейштадт<sup>973</sup>. Но прибегали к этому приему все

<sup>969</sup> Давидсон А.Б. Первая блокадная зима // Отечественная история и историческая мысль в России. XIX–XX веков. СПб., 2006. С. 543.

<sup>970</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 15 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 32 об.; Голоднова Г.Д. Моя окраина // Откуда берется мужество. С. 114.

<sup>971</sup> См.: Глинка В.М. Блокада. С. 178. В дневнике В. Инбер за 2 января 1942 г. имеется запись об одном ее знакомом, который «пришел просить, чтобы его голодающую жену положили в больницу и, прося за нее, потерял сознание от голода». Через полчаса он умер в приемном покое (Инбер В. Почти три года. С. 173). См. также: Микиртичан Г.Л. Роль Ленинградского педиатрического института в спасении жизни детей в годы войны и блокады. 1941–1945 гг. // Женщины и война. С. 185; 900 блокадных дней. С. 23.

<sup>972</sup> Михайлов Б. На дне войны и блокады. С. 78.

<sup>973</sup> Воспоминания А. Нейштадта. Цит. по: Микиртичан Г.Л. Роль Ленинградского педиатрического института в спасении

же редко, обычно в том случае, если иного выхода не было. Опасались, что такого больного могут быстрее обидеть, даже оскорбить, не оказать вовремя поддержку, отказать в должном уходе – а что мог требовать он сам, беспомощный и умирающий?

Часто больные дойти до стационара или госпиталя не могли. Везли и везли их туда нередко на санках родные, и замерзшие, изможденные, вдвоем или втроем: путь был долгим<sup>974</sup>. Но и санки были не у всех. В. Тихомирова вспоминала, как тетя везла ее мать, когда та стала совсем немощной: «Посадила ее на коврик, стянула вниз по лестнице и потом на коврике же ползком дотянула до больницы»<sup>975</sup>.

Больница являлась последней надеждой отчаявшихся людей, которые, конечно, не питали иллюзий относительно судьбы тех, кто рисковал здесь остаться без присмотра родных. Лекарств было мало, скудных порций не хватало для «усиленного питания», врачи и санитары не успевали оказывать необходимую помощь каждому, а иногда и не хотели этого делать. Невозможно было всех разместить в палатах или дать отдельную койку, нельзя было заглушить страшные стоны и крики умирающих людей. Присущий человеческой этике обычай посещения больных родными и близкими в дни блокады стал условием их выживания<sup>976</sup>.

Приходилось превозмогать все: слабость, голод, холод, страх бомбежек. «Идти было трудно, я часто падала и подолгу лежала. Падала, вставала, снова падала, снова шла» – таков был путь в госпиталь к матери С. Магаевой<sup>977</sup>.

В тех случаях, когда не удавалось поместить больных в лечебницах, о них заботились родственники. Много при этом приходилось преодолевать – страх, жадность, раздражение, усталость и, скажем прямо, отвращение. Л.М. Александрова вспоминала об умирающей бабушке: она звала на помощь, но дети, оставшиеся одни в квартире, боялись к ней подойти<sup>978</sup>. Р. Малкова не могла заставить себя помочь бабушке без окриков матери: «Я ужаснулась... столько было вшей, что нельзя описать»<sup>979</sup>. Такие случаи, правда, были редки, за жизнь родных обычно боролись до конца. Больных мыли, кормили, иногда и «с ложечки», передевали, делали для них по рецептам настои и отвары, искали на рынках и в магазинах продукты, в которых они особенно нуждались<sup>980</sup>. Даже вызов врача на дом требовал чрезвычайных усилий – приходилось стоять в огромных очередях в поликлиниках, с трудом удавалось преодолевать и короткие расстояния. Когда люди становились беспомощными (не вставали с постели и родители и дети), родственники, если это удавалось, брали их жить к себе. Когда родители погибали, родственники помогали устраивать их детей в детдом, или оставляли в своей семье<sup>981</sup>. Рассказы о том, как умиравшие люди согревали своим телом замерзавших детей, передавались десятками очевидцев блокады<sup>982</sup>.

---

нии жизни детей в годы войны и блокады. С. 185. О помощи в устройстве ослабевших родственников в больницы и стационары см. также: *Назимов И.В.* Дневник // Будни подвига. С. 125; *Макогоненко Г.* Письма с дороги // Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. С. 132.

<sup>974</sup> *Волкова Л.А.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 79; *Друскин Я.С.* Дневники. СПб., 1999. С. 134; *Разумовский Л.* Дети блокады. С. 35; Из дневника Галько Леонида Павловича. С. 517 (Запись 18 января 1942 г.). См. также запись в дневнике В. Инбер 2 января 1942 г.: «Две женщины везли третью к нам в больницу рожать... Две женщины... везли на салазках пожилого человека... Две женщины... ведут под руки дистрофика» (*Инбер В.* Почти три года. С. 170–171).

<sup>975</sup> *Разумовский Л.* Дети блокады. С. 60.

<sup>976</sup> О посещении родственников в больницах и стационарах см.: Память о блокаде. С. 108; *Соловьева Э.* Судьба была – выжить. С. 217; *Разумовский Л.* Дети блокады. С. 53, 58.

<sup>977</sup> *Магаева С.* Ленинградская блокада. С. 51.

<sup>978</sup> *Александрова Л.М.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 14.

<sup>979</sup> *Махов Ф.* «Блок-ада» Риты Малковой. С. 224.

<sup>980</sup> Ленинград в осаде. С. 195; Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 31; *Коган Л.Р.* Дневник: ОР РНБ. Ф. 1035. Д. 1. Л. 1); *Конашевич В.* Из записей художника // Художники города-фронта. С. 167.

<sup>981</sup> *Пето О.Р.* Дневник розыска пропавших в блокаду: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 52/2. Л. 61; *Алексеев В. В.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 31; *Каменецкий Я., Иванов К.* Триста шестьдесят седьмая // Дети города-героя. С. 160.

<sup>982</sup> См. выступление председателя Ленгорисполкома П.С. Попкова на заседании Ленинградского ГК ВКП(б) 9 января

Отношения между родными не всегда являлись ровными. Обиды и ссоры омрачали их и задолго до начала блокады. Возможно, они сказались и в «смертное время», хотя, встречая примеры жестокости и черствости среди родных, почти невозможно отделить здесь стародавнюю личную неприязнь от последствий голодовок. Но и в блокадном кошмаре сострадание и боль при виде несчастий близких, какие бы ни питали к ним чувства, нередко брали верх над отчуждением, злорадством, презрением – может быть, и не сразу и не в полной мере. «Однажды, поздно вечером», – вспоминал Л. Ратнер, – «Гришенька [его двухлетний брат. – С. Я.] стал плакать от голода... Но дома не было ни крошки, ничего... Мать тогда сказала мне: „Сходи... попроси у них [ее сестры. – С. Я.] кусочек хлеба до завтра...“ В ответ на мою просьбу тетя Ира закричала: „Она всю жизнь с меня тянет! Нет у меня хлеба. Уходи!“»<sup>983</sup>.

Возможно, это разрядка давно копившейся неприязни, вызванной, скорее всего, нищетою матери. Блокада могла только обострить это чувство. Далее – ставшая привычной картина агонии ленинградской семьи в «смертное время». У них украли карточки. Мать слегла. «Я сам пил и ей давал горячую воду с солью»<sup>984</sup> – оставалось только ждать опухания, когда вмятина, оставленная пальцем на теле, не исчезала несколько часов. В эти дни к ним зашел брат матери: «Он постоял, молча посмотрел на нас и, явно потрясенный, ушел». Через два дня пришла сестра матери Ира и забрала двухлетнего ребенка. Потом она пришла и за его старшим братом и отвела в детдом. Заведующей детдомом, отказавшейся его принять (она сразу заявила, что он скоро умрет), тетя ответила в том же грубом тоне, в каком она обвиняла свою сестру: «А куда я его дену. Хватит того, что я беру к себе его мать». Л. Ратнер встретил ее еще раз в июне 1942 г.: «Я спросил: „А где Гриша?“ Она сказала: „Умер твой Гриша“. „А мама?“ Она заплакала и ушла»<sup>985</sup>.

Вот и другой рассказ – о том, как подобрали упавшую на улице пожилую женщину На «обогревательном пункте» ее обогрели, напоили кипятком. Видно было, что за ней никто не ухаживал, а сама она следить за собой не могла. Удалось узнать адрес, по которому она шла. В этом доме ее никто не знал. «Наконец, одна из женщин, выслушав от меня описание внешнего вида старушки... воскликнула: „Так это же моя свекровь! Как она туда попала? Она же у дочки живет... Почему она мой адрес сказала?“»<sup>986</sup>.

Взяв санки, невестка вместе с дружинниками пошла на «обогревательный пункт». Она не могла сдерживать своих обид и начала высказывать их сразу же, еще по дороге, не стесняясь чужого человека: «У нее дочка здесь. Но, видимо, она не особенно сейчас нужна. Пока свой дом был в Вырице, пока пудами варенье возила, до тех пор ее признавали. А сейчас, видишь, о невестке вспомнила, когда припекло. Правда, она многодетная, а я одна осталась, может поэтому ее ко мне направили».

«Старуха» идти не могла, ее втроем «грузили на салазки». Она пыталась что-то сказать, но невестка ее сразу оборвала, возможно, даже не расслышав: «Ладно уж, молчите мамаша. В память о Степане [муж невестки, погибший на фронте. – С. Я.] беру вас к себе»<sup>987</sup>. Что-то преувеличенное было в этом окрике. Она явно говорила не для «старухи», падающей, обессиленной, вероятно, даже не осознающей, где она находится. Она выговаривалась при людях, которые могут посочувствовать ей, потерявшей на войне мужа, могут и готовы еще

1942 г.: «В... Кировском районе мы имеем такие факты. Мать умерла, похоронили. Осталась старуха, у которой после дочери остались двое детей. Старуха больна, встать не может. Обнаружили, что она лежит и своим телом согревает двух ребят» (Ленинград в осаде. С. 282).

<sup>983</sup> Ратнер Л. Вы живы в памяти моей. С. 144.

<sup>984</sup> Там же. С. 147.

<sup>985</sup> Там же. С. 148.

<sup>986</sup> Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 102.

<sup>987</sup> Там же.

слушать рассказ о ее бедах. Возможно, горькое предстояло «старухе» житье, в беспомощности и одиночестве, в чужом доме, с упреками приютившей ее родственницы. Но не была брошена она в жестокой стуже, спасена людьми, морщившимися от брезгливости, спасена женщиной, неприязненно относившейся к ней. В этом акте спасения, в котором стерта фальшивая позолота морализаторских рассказов, и проявилось, как в капле воды, «общее дело» ленинградцев – не сусальных героев, а живых людей, обидчивых и раздраженных, но не утративших чувство сострадания.

## 5

Особо следует сказать о помощи родным при эвакуации. Уехать было нелегко. Составлялись особые списки, определялись «лимить», в переполненных поездах не находилось места даже для тех, кто получил право уехать из Ленинграда. Многих блокадников и даже тех, кого не было в списках, обычно удавалось вывезти, когда эвакуировались заводы, детдома, школы, училища или другие учреждения, где работали их близкие<sup>988</sup>. Другим, не имевшим таких возможностей, удавалось выехать только благодаря настойчивости родных, не желавших расставаться с семьями<sup>989</sup>. Один из самых скорбных эпизодов блокадной эпопеи – попытка отчаявшихся ленинградцев в одиночку перейти Ладожское озеро. У них не было выбора: на их глазах умирали родные, которых невозможно было в одночасье переправить через Ладогу. У них была надежда – там, за озером, есть хлеб и тепло, и каждый час ожидания казался навсегда упущенной возможностью помочь погибающим. «Матери и жены, едва державшиеся на ногах, спасали своих детей и свалившихся с ног мужей. Закутав и запеленав их всем теплым, что было в доме, усадив их на салазки, они начали свой страданный путь... Их не пускали на лед, терпеливо объясняя, что не дойти им до другого берега... Отчаявшиеся умудрялись самовольно уходить и через нас – другие замерзали в пути», – писал Г. Макогоненко<sup>990</sup>. Так было в декабре 1941 г., так продолжалось и в феврале 1942 г.: «Везут за собой саночки, в саночках – ребятишки, ребятишки замерзнут, мертвые... а мать все везет, пока сама не упадет или пока ее не подберут»<sup>991</sup>.

В тесных вагонах и промерзших машинах уезжали крайне истощенные люди, которым требовался уход<sup>992</sup>. Они не могли постоять за себя, достать полагающиеся им продукты, получить место у теплой печки, самостоятельно сойти с поезда во время остановок – многие эшелоны не были оборудованы для проживания людей. Буханка хлеба, которую получали эвакуированные, стала причиной многих трагедий. Голодные люди не имели сил остановиться до тех пор, пока не съедали ее целиком и нередко погибали здесь же, в страданиях, среди нечистот. Те, кто выжил, прежде всего говорят о помощи родных, которая вырвала их из тисков смерти.

<sup>988</sup> *Близнюк С.П.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 47; *Михайлова К.Л.* [Запись воспоминаний] // Там же. С. 185; *Алексеев В.В.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 31.

<sup>989</sup> О таком случае, например, сообщает в своих воспоминаниях Э. Соловьева, чей муж, инвалид войны, получил возможность эвакуироваться, но отказался. Он «объяснил, что сам больной, жена дистрофик, ребенок маленький и он не согласен разлучаться с семьей и никуда один не поедет» (*Соловьева Э.* Судьба была – выжить. С. 222). Ему предложили выехать только с ребенком – и он снова отказался и лишь затем «разрешили ехать всем вместе» (Там же). См. также: *Коноплева М.С.* В блокированном Ленинграде. Дневник. 25 октября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 150; *Петерсон В.* Из блокады – на Большую землю // Нева. 2002. № 9. С. 158.

<sup>990</sup> *Макогоненко Г.* Письма с дороги. С. 126–127.

<sup>991</sup> *Берггольц О.* Встреча. С. 50.

<sup>992</sup> См. запись в дневнике Н. В. Баранова 10 февраля 1942 г.: «Перед отъездом мать едва двигалась и мы с братом довели ее на санках до вагона поезда» (*Баранов Н.В.* Силуэты блокады. Записки главного архитектора города. Л., 1982. С. 69); воспоминания И. Ильина об эвакуации в 1942 г.: «Мама пришла в себя и я стал кормить ее с ложечки» (*Ильин И.* От блокады до победы. С. 182).



Имеются и свидетельства о том, как отказывались эвакуироваться, не желая оставлять без ухода своих близких<sup>993</sup>, как отдавали свое место в вагоне другим родным. Конечно, причины здесь могли быть разными. Многим было жаль бросать свои дома и квартиры, поскольку опасались их разграбления. Не хотели уезжать в неизвестность, быть нахлебником у дальних родственников и обременять их своими заботами. Надеялись пережить беду – каждый верил, что он не стоит следующим в роковой очереди. Все это так, но ведь приметы надвигающейся катастрофы ни для кого не являлись тайной. И отказываясь в силу разных причин от эвакуации<sup>994</sup>, не могли не понимать, что не всем удастся выжить в этом кошмаре. Выказывая нарочитый оптимизм, блокадники пытались дать весомый аргумент тем, кто колебался и испытывал чувство стыда, оставляя родных в беде. Того стыда, которого многим никогда не удавалось изжить, особенно, если их родные потом погибали. Может быть поэтому, оправдываясь, горожане в позднейших записках обязательно подчеркивали, с какой настойчивостью им советовали уезжать из Ленинграда.

Нельзя, однако, не сказать и о других случаях, когда, покидая город, оставляли своих родных, зачастую обессиленных, одиноких, больных, которым неоткуда было ждать помощи. Это одна из самых горьких страниц блокады. В воспоминаниях Д.С. Лихачева приводится немало примеров того, как бросали и тем самым обрекали на верную гибель близких людей<sup>995</sup>. И именно он, чаще, чем другие блокадники, отмечал мельчайшие признаки распада семейной этики в «смертное время». Никаких оправданий этому Д.С. Лихачев не находит, да и странно было бы их искать, но все же отметим, что едва ли решались легко, цинично и с безразличием оставить близких в беде.

Читая документы тех лет, мы видим, что покидали родных лишь в крайних случаях: когда наступал срок эвакуации, когда приходилось давать ответ в считанные часы, если не знали иного выхода. При этом старались уверить и себя и других в том, что родным не будет плохо<sup>996</sup>, что их будут лечить и они будут жить в тепле и сытости. Редко кого бросали, не оглядываясь<sup>997</sup>. Пытались устроить их в больницы и стационары, просили заботиться о них знакомых. Возможно, понимали, что никого это не спасет, но стремились как-то сохранить человеческое лицо. Даже поразивший Д.С. Лихачева случай, когда его знакомые бросили на Финляндском вокзале свою немощную мать, привязанную к санкам – «ее не пропустил санитаров»<sup>998</sup> – мог быть оправдан тем, что оставили ее все же не на пустынной улице в лютый мороз, а в многолюдном месте: надеялись, что ее кто-то пожалеет и подберет. Другие знакомые Д.С. Лихачева, известные литературоведы, бросили в больнице умиравшую маленькую дочь. Считалось, что тем самым «они спасали жизнь других детей»<sup>999</sup>.

<sup>993</sup> См. запись в дневнике Г.А. Князева 12 февраля 1942 г. о беседе с сотруднице Академического архива Беркович: «Она хотела эвакуироваться, но теперь из-за болезни матери раздумала» (Из дневников Г.А. Князева. С. 53–53).

<sup>994</sup> См. воспоминания В. Кабытовой: «Когда появилась возможность эвакуировать работников Театра комедии, Николай Павлович Акимов предложил каждому актеру и сотруднику взять с собой в самолет одного члена семьи. Тогда тетя Оля решила спасти свою мать, мою бабушку Прасковью. А бабушка в ответ на это сказала, что уступает место моей маме и мне, справедливо полагая, что мы вдвоем можем сойти за одного человека. Сама же она и тетя Соня погибли в Ленинграде от голода...» (Нева. 2005. № 10. С. 253).

<sup>995</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 492, 494.

<sup>996</sup> См. воспоминания М.С. Смирновой: «Одна сотрудница эвакуировалась, а ее мать осталась и лежала больная. Она все стонала: „Пить, пить, пить“... Уезжая на Большую землю, дочь просила: „Позаботьтесь о маме“. Она договорилась с дворничихой, чтобы та присматривала за старой женщиной» (*Чурсин В.Д. Указ. соч.* С. 141).

<sup>997</sup> Бывали и такие случаи. В докладной записке библиотекаря Могилянского о смерти фольклориста Н.П. Андреева, составленной 5 ноября 1942 г., читаем: «...Выяснилось: Н.П. Андреев перед смертью был всеми родными покинут, скончался в одиночестве, захоронен был силами домохозяйства через много дней после кончины» (Публичная библиотека в годы войны. С. 293).

<sup>998</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 494.

<sup>999</sup> Там же. С. 492.

Этим и оправдывались в «смертное время»: спасти самых талантливых, спасти самых жизнеспособных, не спасать одного, если взамен можно спасти двух... Именно эвакуация и являлась тем «моментом истины», когда хватало нескольких минут, чтобы понять, готовы ли пожертвовать матерью и тем самым уцелеть самим. Каким бы неожиданным не было решение, оно всегда отражало глубинный настрой.

Наиболее подробно описана Д.С. Лихачевым трагедия выдающегося ученого-филолога В.Л. Комаровича. Его дочь, учившуюся в Театральном институте, решили эвакуировать вместе с другими студентами. С ней собралась ехать и ее мать, жена В.Л. Комаровича. «Отца они решили бросить: он бы не смог доехать». Разумеется, отъезд они хотели обставить какими-то приличиями: направить его в стационар для «дистрофиков», который должен был разместиться в Доме писателей. Уезжать надо было немедленно, а стационар никак не могли открыть. Никакие уговоры принять его раньше срока на лечение успеха не имели. Тогда его привязали к санкам, перевезли через Неву и бросили в полуподвале Дома писателей. Умер он через несколько недель.

В этой отвратительной сцене Д.С. Лихачев обратил внимание на следующую деталь: жена и дочь В.Л. Комаровича ушли, но потом вернулись и, спрятавшись, «украдкой смотрели на него, подглядывали за ним». Д.С. Лихачев даже не пытался оценить такой поступок, но по общему тону рассказа видно, что он рассматривал его как одно из проявлений моральной деградации. Так же отнесся к нему и сам В.Л. Комарович: «Эти мерзавки... прятались от меня»<sup>1000</sup>. Но ведь можно было сразу уйти, опасаясь быть застигнутыми врасплох в столь неприглядном деле. Они же уходили и снова возвращались, прятались, наблюдали. Может быть, и оставалось у них еще что-то человеческое, оставался стыд, который не позволил сразу убежать, оставалось где-то и чувство жалости, которое заставляет еще и еще раз убедиться, не случится ли что-нибудь с человеком, если он, немощный, оказывается в одиночестве<sup>1001</sup>.

В ситуациях, когда решение приходилось принимать мгновенно, было очень много запутанного. Все зависело порой от мелочей, не хватало времени обдумать случившееся и остережешься сделать неверный шаг. Много совершалось в хаосе, лихорадочно, под давлением других людей. Совершалось большими и истощенными блокадниками, иногда с трудом сознававшими последствия своих действий. Драматическую и необычайно яркую иллюстрацию этого хаоса мы находим в дневнике И.Д. Зеленской, где описана эвакуация беременной дочери и ее мужа. Прочитируем как можно полнее эту часть дневника – от рассказа о домашних сборах до описания трагедии на вокзале. Она не нуждается в подробных комментариях: «Очень тяжела была для него [Бориса, мужа дочери. – С. Я.] процедура одевания. Она заняла добрый час времени, пока он медленно надевал вещь за вещь. Я перевязала ему больные ноги... Ноги отекали как тумбы... Вся кожа на пятках как-то странно отслоилась и висела мешком. А настоящей обуви на ноги не было. Пришлось напяливать лохмотья валенок, в которых он все время ходил, и это было так мучительно и трудно, что был момент, когда мне показалось, что не удастся даже их натянуть на распухшие ноги и хоть не трогайся с места из-за этого. Наконец, справились, но все это отняло у Бориса много сил. Вышли в 4 часа. С лестницы он спустился, но на улице сделал десяток шагов и ноги отказали. Мы с Наташей посадили его на санки сверх вещей и повезли. Это было нелегким делом, тем более, что он все время боялся упасть и тормозил ногами, которые вез по земле. Но все-таки дотащили до вокзала. Мне удалось устроить их с вещами в битком набитом зале ожидания, а не на улице, но Борис уже начал слабеть: сядет, а встать без помощи не может.

<sup>1000</sup> Там же.

<sup>1001</sup> См. письмо Е.А. Щуркиной Т.А. Коноплевой: «На днях получила от Киры два письма. Она сейчас живет в Ярославле... Мать осталась в Ленинграде, чуть ли не при смерти. Вот несчастная, как она страдает! Просила... не судить о ней строго» (ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 2. Л. 2–2 об.).

Посадки вместо шести часов дождалась в десять. На перроне кочевье людей с салазками и тюками и кое-где, как страшное предупреждение, человеческие заторы: кто-то еще обессилел и упал. Еще когда мы только входили в вокзал, нам навстречу двое мужчин тащили под руки женщину с лицом скелета в морщинах, на подогнутых коленях ноги у нее волоклись как мешки. Когда мы, не рискуя влезать с больным в давку, пропустили основную массу и вышли на перрон, Борис почти не мог идти. Я отправила Наташу с тяжелыми вещами вперед «занимать место», как мы наивно полагали, а сама решила потихоньку довести Бориса до вагона. Тут он в первый раз у меня упал. С трудом удалось его поставить на ноги и шаг за шагом с просьбами и подбадриванием довести до какой-то тумбы. Дальше он не мог идти. Я поймала парня, который за табак на закурку согласился довезти его на санках к вагону, который как на грех был в самой голове поезда. Кое-как мы его доставили и нашли у вагона Наташу с вещами в самом безнадежном положении: кроме нас толпилось человек тридцать с посадочными талонами в этот же вагон, уже набитый до отказа людьми и грузом вплоть до площадок. Дело было уже часов в 11, морозно, ветрено. Борис начал обмерзать и, когда Наташа ушла хлопотать о посадке, стал падать даже с санок. Один раз упал лицом вниз. Я уже не могла его поднять. Подошли три милиционера и грубо втоптали его на перрон по лесенке. Язык у него уже коснел, и он повторял только одно: «Хочу в вагон». Вернулась Наташа, ей устроили посадку, но увидя, в каком состоянии Борис, она заметалась: ехать ли? Остаться с ним? Бросилась ко мне: „Мамуля, кого мне спасать, Бориса или ребенка?“ Кто-то из институтского начальства подошел, взглянул на Бориса: „Идите сейчас же садитесь. Все равно он до утра не доживет“. Я тоже прикрикнула на Наташу: „Уезжай, я остаюсь и позабочусь о нем“. Борис в это время уже был, по-видимому, без сознания. Наташа вызвала девушек с носилками из сандружины и его унесли в медпункт. Пока мы возились с ним, у Наташи украли чемоданчик с продовольствием и всем, самым необходимым для дороги, что было, пожалуй, больше нужно, чем все остальные вещи... Я сама обмерзла до полусознания. Валенки были насквозь мокрые, руки тоже. Два пальца я, по-видимому, обморозила... Я смутно представляю себе, как Наташа садилась в вагон. Не знаю, кто помогал ей с вещами. Запомнила только номер вагона и пошла искать Бориса на медпункте. Нашла его в бессознательном состоянии без пульса, зрачки на свет не реагируют... Впрыснула ему камфору, но безрезультатно. В таком состоянии он был 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа до приезда „Скорой помощи“<sup>1002</sup>.

Прибывшие санитары грубо втокнули его в машину. Больше она Бориса не видела. Не нашла его ни в моргах, ни в больницах и даже заподозрила, не ограбили ли его санитары в дороге и не выбросили ли затем где-то из машины. Ребенка дочери не удалось спасти – как в капле воды, в этой трагедии высветились и надлом, и стойкость до конца сопротивлявшихся смерти блокадников.

## 6

Главным мерилом истинных чувств людей была готовность поделиться хлебом. Лишнего хлеба у сотен тысяч простых ленинградцев не было. Любой подарок означал, что отдавали часть своего скудного пайка. Делились с родными всем: продуктами, дровами, кипятком<sup>1003</sup>. Подарки нередко были самыми мизерными («кусочек сахара маленький», «крошки

<sup>1002</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 25 февраля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 63–63 об.

<sup>1003</sup> Меттер И. Допрос. С. 51; Бочавер М.Л. Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 15–16; Алексеев А. С. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 23; Ильина Г.И. Бабане. С. 219; Волкова Л. А. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 79; Стенограмма сообщения Опушонок П.И.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 17. Л. 37; Стенограмма сообщения Боголюбова В. А.: Там же. Д. 14. Л. 4; Коннова Л. «Я жила в Ленинграде в декабре сорок первого года...». С. 300; Сисюкина (Нежнова) Л. Все хотели, чтобы мы остались жить... // Память. С. 144; Соболева Н.Т. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 226; Козлов В. Гибель отца // Память. Вып. 2. С. 113; Интервью с Е.И. Образцовой. С. 233.

хлеба», «маленький ломтик масла», «крохи из своего пайка», «штука печенья»)<sup>1004</sup> – получавшие их понимали, что им отдавали последнее. Продавали свои вещи<sup>1005</sup>, порой и самые дорогие, за бесценок, чтобы помочь близким. Делились и суррогатами – студнем из столярного клея, оладьями из обойного клея, дурандой, шкурами, жмыхами – кто чем мог<sup>1006</sup>.

Было, конечно, и другое. У истощенных, не имевших возможности постоять за себя родных отбирали карточки, обрекая их на гибель. Тайком от голодавших, не обращая на них внимания, а то и обворовывая их, доставали себе продукты и не делились ими, не могли удержаться и съедали чужой паек<sup>1007</sup>. «Случалось, что стариков вообще оставляли без пищи. Все равно, дескать, вам погигать, лучше внуков спасти», – отмечал парторг ЦК ВПК(б) на заводе «Электросила» В.Е. Скоробогатенько<sup>1008</sup>. Примеры жестокости обнаруживались и в отношениях самых близких людей – мужей, жен, детей, родителей, братьев, сестер<sup>1009</sup>. «Я даже дома боялась, что кто-нибудь из родных возьмет хлеб», – вспоминала А.О. Змитриченко<sup>1010</sup>. Едва бы кого удивили в то время слова одной из блокадниц, видевшей, как голодает и плачет ее бабушка, но бравшей от нее хлеб: «А мне, протяни мне все, я все съем... Мне... не было и жаль никого... Все притуплялись вот эти чувства»<sup>1011</sup>.

Больше надежд на получение помощи оставалось у семей, чьи родственники находились в войсках и служили вблизи города. Многие военнослужащие не сразу могли узнать, как бедствуют их семьи: цензоры строго вымарывали из писем строки о голоде в Ленинграде. Еще меньше о ленинградской катастрофе могли знать те, кто воевал на далеких фронтах – а к ним тоже обращались с просьбами родные. Делились солдаты всем – это мог быть и хлеб, а мог и кусок конины; иногда отдавали и свой военный продуктовый аттестат. Происходило своеобразное перераспределение продуктов – от менее голодных к предельно истощенным, от тех, кто чувствовал стыд перед близкими, получив лучший кусок хлеба, к тем, кому в городе никто не хотел помочь.

<sup>1004</sup> Каратаев К.А. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 111; Щербак Л. Мама – главный хирург // Память. Вып. 2. С. 389; Магаева С. Ленинградская блокада. С. 31; Память о блокаде. С. 111; Александрова Т. Испытание // Ленинградцы в дни блокады. С. 191.

<sup>1005</sup> Воспоминания Н.В. Ширковой: Архив семьи Е.В. Шуньгиной; Магаева С. Ленинградская блокада. С. 31.

<sup>1006</sup> Самарин П.М. Дневник. 19 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-л. Д. 338. Л. 56; Ратнер Л. Вы живы в памяти моей. С. 141; Владимиров В. Дневник: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-л. Д. 385. Л. 4; Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. С. 182.

<sup>1007</sup> Ратнер Л. Вы живы в памяти моей. С. 144; Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 476; Баранов Н.В. Силуэты блокады. С. 60 (Дневниковая запись 25 января 1942 г.); Маикова М.В. Из блокадных записей. С. 150 (Запись 24 апреля 1942 г.); Бианки В. Лихолетье. С. 178.

<sup>1008</sup> Цит. по.: Гранин Д. Тайный знак Петербурга. СПб., 2002. С. 64.

<sup>1009</sup> См. дневник В. Базановой: «Видела Натку, мою школьную подругу. У нее умер отец, умерла мать. Она тайком от Натки выменяла на рынке кусок масла и сразу съела... Вскоре она умерла» (Запись 3 апреля 1942 г.); «От Нины я узнала о судьбе сестер... Мать умирала от голода очень тяжело и все время кричала, что хочет жить. Старшая сестра осталась жива, потому что отрывала от своих последние крошки и воровала, где могла» (Базанова В. Вчера было девять тревог... С. 131, 139). См. также воспоминания Е.А. Кондаковой: «По банке сгущенки как-то дали в магазине по карточкам... Младшую сестру мы выпроводили на улицу, а сами сидели и пировали... Римка [сестра. – С. Я.] рвется домой, а мы ее не пускаем» (Кондакова Е.А. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 124). Еще один пример размывания семейной этики приводила в своем дневнике М.С. Коноплева. Речь шла о перерегистрации карточек учащихся в школах в связи с выдачей им дополнительных 100 г хлеба: «Родители должны были доверить карточки ребятам для перерегистрации, но обратно многие карточки домой не вернулись... Некоторые ребята... обменяли или продали свои хлебные карточки, надеясь на школьный дополнительный паек в 100 гр. и на то, конечно, что матери дома не оставят их без хлеба и отдадут им часть своего пайка» (Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 80).

<sup>1010</sup> Змитриченко А.О. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 92.

<sup>1011</sup> Память о блокаде. С. 115. Ср. с рассказом девочки, переданной в детдом: «У меня выгащили карточки... Мама как-то что-то доставала, но почти все отдавала мне. Я не хотела брать, но брала и ела, а мама голодала. Я видела, как она сначала все худела, а потом стала пухнуть» (Цит. по.: Раскин Л. Дети великого города (Ленинградские дети в дни Отечественной войны) // Звезда. 1944. № 5–6. С. 70).

Особенно трогательной была забота о родных солдат, лечившихся в ленинградских госпиталях. Их и самих кормили не очень сытно, они мерзли, страдали от полученных увечий, с трудом ходили, им некуда было укрыться от криков и стонов умиравших, но и они старались облегчить участь своих близких. Одна из блокадниц вспоминала, как ее отец пришел из госпиталя навестить семью: «Он увидел, что мама лежит, и стал с этого госпиталя носить ей, вот кусочек сахара маленький, пиленый кусочек сахара и бутылочку из-под одеколona, такая небольшая. Туда он наливал кисель и стал приносить маме»<sup>1012</sup>. Другой из блокадников описывал, как его мать уходила к отцу в госпиталь: «Старался думать о том, что пришлет папа: кусочек масла или, как в прошлый раз, котлетку»<sup>1013</sup>. Его отец отдавал семье махорку, которую меняли на продукты; прощаясь и уезжая из Ленинграда, он угостил сына и дочь кусками пирога с яблочным повидлом<sup>1014</sup>.

Со временем этот обычай начал оцениваться не только как моральный долг, но и как нечто обязательное. Иногда шли к родным в госпиталь, ожидая, что они покормят<sup>1015</sup> или дадут какие-нибудь продукты; узнав, что надеяться не на что, не могли скрыть свою обиду. Так, Э. Соловьева часто делилась едой, посещая мужа в госпитале вместе с дочерью. В «смертное время» нести было нечего. Именно тогда мужа поместили в другой госпиталь. «К нему туда я сходила с большим трудом, едва волоча ноги и без ребенка, – вспоминала Э. Соловьева. – Свидание было очень грустным. Он ничем не мог помочь и я ничего не могла принести. Сказала ему: „Больше не жди, если не приду больше, считай, что умерла“»<sup>1016</sup>.

Этот обычай – отдавать часть «госпитального» пайка другим – был присущ и тем больным и истощенным ленинградцам, чье «усиленное питание» было еще скуднее, чем у военнослужащих. Многих помещали сюда как «дистрофиков». И они же старались поделиться с родными хлебом, супом, кашей, всем тем немногим, что перепало им<sup>1017</sup>. «Госпитальные» продукты или приносили домой (иногда в виде «сухого пайка») или отдавали тем, кто навещал родных<sup>1018</sup>. Бывало, здесь же, в стационаре, кормили из своей тарелки, причем делились вкусной, порой диковинной для того времени едой. «Мама угостила меня своей порцией гречневого супа... А какой необыкновенный аромат был у черешни, которую я попробовала», – вспоминала А.В. Налегатская<sup>1019</sup>.

Часто делились и тем, что получали на предприятиях, в школах и институтах. Система «отоваривания» карточек была крайне сложной и временами даже запутанной, несмотря на попытки ее упорядочить. Хлеб можно было получить и в булочной, и в школьной столовой, и в заводском ларьке. Талоны на крупу и мясо изымали в виде платы за обеды, вместо сахара давали конфеты и повидло, масло заменяли сыром и соевым молоком. Те предприятия, в продукции которых нуждался фронт, могли иметь дополнительные возможности для улучшения питания рабочих.

В фабричном магазине по «карточкам» проще было получить и такие продукты, которые безуспешно пытались приобрести во время многочасового стояния в очередях. Иногда

<sup>1012</sup> Память о блокаде. С. 111.

<sup>1013</sup> Петерсон В. «Скорей бы было тепло». С. 173.

<sup>1014</sup> Петерсон В. Из блокады – на Большую землю. С. 153; см. также: Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 220.

<sup>1015</sup> См. воспоминания Н.Е. Гаврилиной: «Маму положили в Куйбышевскую больницу... Я приходила к ней каждый день, не только потому, что я хотела ее видеть, но и потому, что она делилась со мной супом, который ей давали» (Гаврилина Н.Е. Воспоминания о блокаде: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 150. Л. 12).

<sup>1016</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 219.

<sup>1017</sup> А.В. Налегатская вспоминала об одном из ассистентов, работавших в мединституте. У него умерли жена и дочь, сам он был помещен в стационар для «дистрофиков», но дома оставалась еще одна дочь и он ей относил все, что получал в стационаре (Налегатская А.В. [Запись воспоминаний]. С. 189).

<sup>1018</sup> Воспоминания Н.В. Ширковой: Архив семьи Е.В. Шуньгиной; Янушкевич З.В. Случайные записки. СПб., 2007. С. 199.

<sup>1019</sup> Налегатская А.В. [Запись воспоминаний]. С. 192.

обеда давали без зачета талонов, причем даже несколько порций; их питательность, правда, не была высокой. Такие же обеда, хотя и не очень часто, получали «особо ценные» работники – профессора и преподаватели институтов, ученые, художники, актеры, писатели, архитекторы. Им устанавливались повышенные нормы пайков, иногда вручались продуктовые «наборы».

Этим пользовались для того, чтобы поддержать своих родных, не имевших льгот. «Одно спасение у нас с папой – это Дом уч[еных]. Папа достает там обед и в коробочках мне приносит, и дома прибавляем и едим», – сообщала в одном из писем в декабре 1941 г. Н.П. Заветновская<sup>1020</sup>. Переводчик В. Адмони из Дома писателей приносил для родных кашу в банке и сахарный песок в конверте<sup>1021</sup>. Актриса А.С. Беляева, дававшая концерты для бойцов, везла домой в банках суп и кашу, и даже кусочки хлеба, которые они ей дарили<sup>1022</sup>.

Очевидцы, не сговариваясь, рассказывали о том, как шатающийся, а часто и падающий человек нес банку или котелок с супом из заводской столовой. Свидетелем одной из таких сцен стал 14 января 1942 г. П. Капица<sup>1023</sup>. У проходной он заметил много женщин с санками и судками: они пришли получить обед для тех, кто заболел и не мог работать<sup>1024</sup>. В это время нередко помогали родным дойти до предприятия или даже везли их туда на санках – иначе нельзя было получить карточки<sup>1025</sup>.

Легче было тем, кто работал в стационарах и госпиталях. Скажем прямо, контроль за расходом продуктов здесь не всегда был строгим в силу запутанности многих больничных историй. Кто-то умирал, не успев получить свой паек, кого-то не сразу могли накормить из-за бюрократических проволочек, кто не мог принимать положенную ему пищу, находясь на грани жизни и смерти. Многочисленные рассказы о злоупотреблениях в госпиталях – они широко распространялись в городе – нередко отличались гиперболичностью, но все же получить дополнительный кусок хлеба работавшие здесь могли. Они зачастую питались вместе с пациентами, получали «усиленный» паек и могли часть своих обедов (которые, конечно, не были большими) приберегать для близких<sup>1026</sup>. Отпускали из госпиталя не каждый день, и нередко приходилось, постоянно отрывая от своих порций кусочки хлеба или каши, складывать их в баночки<sup>1027</sup> – и это в то время, когда многим было трудно удержаться и не съесть сразу свой паек. О том, как обделяли себя, сохраняя продукты для родных, очевидцы говорили и спустя десятилетия после окончания войны. «Там у нас одна девочка была тоже медсестрой... она все, что она тут получала иногда, она все старалась унести домой к матери», – вспоминала в интервью одна из блокадниц, работавших в госпитале<sup>1028</sup>. Другая из них писала о том, как «стала брать утром маму с собой и стала выносить ей завтрак, а сама питалась чаем»<sup>1029</sup>.

<sup>1020</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 29 декабря 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 25 об.

<sup>1021</sup> Сильман Т., Адмони В. Мы вспоминаем. С. 248.

<sup>1022</sup> Кошкин Л. На посту // Память. Вып. 2. С. 384; см. также: Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 470–471.

<sup>1023</sup> Капица П. В море погасли огни. С. 257. (Дневниковая запись 14 января 1942 г.); о том, как делились продуктами, полученными на предприятии, см. также: Владимиров В. Дневник. 8 февраля 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-л. Д. 385. Л. 4; Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. С. 182; Иванова Г. Что такое «мирное время» // Память. Вып. 2. С. 408.

<sup>1024</sup> Капица П. В море погасли огни. С. 258 (Дневниковая запись 17 января 1942 г.);

<sup>1025</sup> Воспоминания А.О. Соколовой // Бочавер М. А. Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 32; Павлова Е. Из блокадного дневника // Память. Вып. 2. С. 191 (Запись 12 февраля 1942 г.).

<sup>1026</sup> Базанова В. Вчера было девять тревог... С. 127 (Дневниковая запись 20 октября 1941 г.); Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 476; Бокарева В.Н. Мне долго снились пожары // Откуда берется мужество. С. 107.

<sup>1027</sup> См. Вотинцева В.Г. 1941-42 год: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 1 об. – 2; Сиротова А.В. Годы войны: Там же. Л. 59; Левитан Л.С. Роль сестры в истории эвакогоспиталя 1448 // «Мы знаем, что значит война...». С. 475.

<sup>1028</sup> Память о блокаде. С. 85.

<sup>1029</sup> Воспоминания Н.В. Ширковой: Архив семьи Е.В. Шуньгиной.

Гибель родных, отдававших семьям свой хлеб, стала частым явлением в «смертное время»<sup>1030</sup>. Люди понимали, что могут умереть, тем самым обрекая на смерть и своих детей, о которых некому будет заботиться. И все равно отдавали последнее – кто знал, неминуемой ли будет смерть, а голодный ребенок здесь, рядом, он просит есть, он худ и бледен, он тает на глазах – это ребенок.

«Плох», – писал об одном из своих сотрудников 18 января 1942 г. Н.В. Баранов. А тот «весь прошлый месяц свой крохотный паек отдавал жене и маленькой дочке»<sup>1031</sup>. «Сама я голодаю настоящим образом, – писала в дневнике 2 декабря 1941 г. В.М. Ивлева. – Хлеба 125 гр...это такой кусочек, что на него не наглядеться. И этот кусочек приходится делить...»<sup>1032</sup>

Примечательно, что в некоторых семьях даже следили за тем, чтобы родные не отрывали от себя последнее<sup>1033</sup>. «Делили между собой поровну, она исподтишка подсовывает несколько сухариков брату», – вспоминала А.В. Смирнова<sup>1034</sup>. Вот и другое свидетельство: «Сестра говорила маме, чтобы она тоже ела гущу. Мама отвечала, что Ира [ее дочь. – С. Я.] самая слабенькая и ее надо спасать»<sup>1035</sup>. Нельзя без волнения читать интервью другой блокадницы. Однажды она не выдержала и сразу съела весь свой хлеб, предусмотрительно разделенный матерью на несколько частей: «Плачу, потому что... я сейчас съела... Вот баба Дуня мне тихонечко дает кусочек. Плачет... Мама: „...Зачем ты ей даешь? Ты же помрешь!“ Она: „Ольга, ничего не даю, молчи!“ Сидим и все трое плачем»<sup>1036</sup>.

Надо сказать и о том, как дети спасали детей. Потеряв мать, маленькие братья и сестры, как могли, пытались помочь друг другу. З. Милютина встретила у магазина семилетнюю девочку: «...Очень худенькая и бледная. Под глазами синие круги... Чтобы не упасть, она прислонилась к стене». С ней делились хлебом, но она не съела и кусочка, собирала для сестры<sup>1037</sup>.

Расскажем и о случае, произошедшем в одном из детских домов. Там находились брат и сестра, 5 и 12 лет: «Девочка отдавала всю свою порцию и без того скудной еды медленно угасающему брату»<sup>1038</sup>. Нет у девочки никого. Нет близких. Мать погибла от голода. Остался один брат – словно остекленевший, безучастный ко всему, медленно умиравший. Но он был единственным, кто связывал ее с миром прежним, где еще недавно было уютно и тепло, где была забота и ласка, где была жива мать – и брата своего она старалась удержать от гибели любой ценой. Все было тщетно. Умер и мальчик, а вслед за ним и его сестра – таков был эпилог одной из бесчисленных ленинградских трагедий<sup>1039</sup>.

<sup>1030</sup> См.: Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 472; Игнатович З.А. Очерки о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 26. Л. 16; Вечтомова Е. Маленькая дочь большого времени // Голоса из блокады. С. 338; Малецкий С.И. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 166; Справка о смерти члена нелегальной ленинградской организации ВКП(б) Д. И. Лаврентьева 4 сентября 1942 г. // Ленинград в осаде. С. 105.

<sup>1031</sup> Баранов Н.В. Силуэты блокады. С. 62; см. также запись в дневнике И.Д. Зеленской 3 декабря 1941 г.: «Вчера Ильченко, стоя на нашей паперти за добавочной тарелкой супа, разговорился о семье. Его долгожданного ребенка нечем кормить. Все, что можно, из пайка отец и мать отдают ему, а сами сидят голодные. Запасы все подобрались и он сам живет от супа до супа один раз в сутки» (Зеленская И.Д. Дневник. 3 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 37 об.). Она же сообщает о рабочем Чистякове, который вместе с другими на предприятии «сели на мель без крупяных талонов до конца декады – значит, без супов и вторых... и Чистяков еще умудряется экономить хлеб для матери» (Там же. Л. 39 об.).

<sup>1032</sup> Ивлева В.М. Дневник. 2 декабря 1941 г.: РДФ. ГММОБЛ. Оп. 1. Д. 1273. Л. 29.

<sup>1033</sup> «Мама тоже очень ослабла. Я слежу за тем, чтобы она не обделяла себя, а она так и норовит отказать от еды в пользу Владимира [ее сын. – С. Я.]» (Смирнова А.В. По следам своей жизни: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 29).

<sup>1034</sup> Там же.

<sup>1035</sup> Воспоминания И. Синельниковой // Разумовский Л. Дети блокады. С. 54.

<sup>1036</sup> Память о блокаде. С. 115.

<sup>1037</sup> «Оказалось, что у девочки умерла мама, а дома маленькая сестренка плачет и просит есть» (Милютин З.В. Мы жили в блокаду... 1941–1944 гг.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 10).

<sup>1038</sup> Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. Военно-медицинский аспект. СПб., 2001. С. 163.

<sup>1039</sup> Там же. См. также рассказ о жившей в детдоме восьмилетней девочке Тане Уткиной: «Клиническая картина ее

Особо следует сказать о детях и подростках, которые приносили домой свои скудные порции, полученные в детсадах, школах, училищах и на предприятиях. Едва ли в другое время могли взять у голодного ребенка хлеб – но помощь принималась, ибо иного выхода не было<sup>1040</sup>. Люди не могли больше терпеть и не находили в себе сил отказаться от подарка, даже если знали ему цену. В.А. Алексеева рассказывала, как ее, семилетнюю девочку, отвезли в Дом отдыха для «дистрофиков». Мать не уходила и через стеклянную дверь могла видеть, как кормят ее дочь. Детям запрещалось брать хлеб из столовой, но девочка пожалела мать: «Ну, конечно, зная, в каких условиях мы жили, что мама моя такая голодная...ей там пару кусочков в карманчик я положила... Тихонечко ей передала»<sup>1041</sup>. Мать понимала, что это хлеб ее дочери – «дистрофика», но взяла: «...Она так обрадовалась... Она говорила, что приеду, попою чайку с этими двумя кусочками хлеба, но, конечно, она их не довезла, она их съела в трамвае»<sup>1042</sup>.

## 7

Этот порядок не сразу стал привычным, но в блокаде ломались и куда более прочные нравственные традиции. Чем дальше, тем быстрее это происходило. Это поначалу испытывали стыд, искали оправдания, извинялись. «...Т. к. в конце сентября еды было... очень мало, то я доедала с тарелки дочки, она, заболев, стала плохо есть»<sup>1043</sup> – в дневниках и письмах «смертного времени» такие объяснения встречаются крайне редко. Везде отражен один и тот же обычай: супы и каши, отданные детям в детсадах, училищах и в школах, несут, и нередко украдкой, домой<sup>1044</sup>. Никто в семьях против этого не возражал, принесенное делилось между всеми без лишних слов. Дети не только понимали, что им следует помогать родным. Они знали, что полученные ими порции ждут (и родители этого не скрывали<sup>1045</sup>), что на них обязательно рассчитывают в надежде дожить до следующей декады.

Полученные в школах и детсадах водянистые супы и каши без масла и приправ обычно всегда, когда было возможно, делили с родителями, причем они порой были столь малы, что

---

состояния соответствовала III стадии алиментарной дистрофии. Но у девочки была стойкая мотивация жить, чтобы разыскать младшую сестру, которая после смерти их мамы попала в дом грудников и вскоре была эвакуирована на Большую землю» (Там же. С. 164); Стенограмму сообщения Е.Г. Бронниковой о помещении в детский дом 13-летнего мальчика и его маленькой сестры: «Он все время плакал и просил „спасти сестренку“»: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 350. Л. 13; выступление работницы жакта Гатовской: «Девочку отправили в детский дом. Она пишет, что ей очень хорошо, но не получает писем от брата и скучает... Девочка просит прислать ей фотографию братишки»: НИА ССПБИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 146. Л. 9.

<sup>1040</sup> Бойкова Н.Н. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 50; Из дневника Майи Бубновой. С. 227 (Запись 12 января 1942 г.); Интервью с А.Н. Цамутали. С. 262; Махов Ф. «Блок-ада» Риты Малковой. С. 224; Дневник Миши Тихомирова. С. 21 (запись 7 января 1942 г.); Воспоминания Ирины Владимировны Алексеевой // Испытание. С. 133.

<sup>1041</sup> Интервью с В.А. Алексеевой. С. 41.

<sup>1042</sup> Там же. См. также запись в дневнике В. Петерсон: «Мама лежит больная и, вероятно, хочет кушать. Я ей принесла 25 гр. хлеба и 25 гр. желе. Она очень рада...» (Петерсон В. Дневник. 6 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 86. Л. 8–8 об.).

<sup>1043</sup> Враская В.Б. Воспоминания о быте гражданском в военное время: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 16.

<sup>1044</sup> См. запись в дневнике Е. Мухиной 18 декабря 1941 г.: «Сегодня нам в школе дали не желе, а простоквашу из соевого молока, четверть литра. Очень вкусно, я принесла домой и поделилась с мамой и Акой. Им тоже очень понравилось» (ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 65 об.); запись в дневнике М. Бубновой 12 января 1942 г.: «Иду в школу, получаю суп... две порции, мама разбавляет его водой» (Из дневника Майи Бубновой. С. 227); см. также: Афанасьева Г.Е. Дети блокады // Гладких П.Ф. Здоровоохранение и военная медицины в битве за Ленинград глазами историка и очевидца. СПб., 2006. С. 122; Махов Ф. «Блок-ада» Риты Малковой. С. 224; Бахвалова Н. Алиментарная дистрофия // Память. С. 189; Воспоминания Н.В. Ширковой: Архив семьи Е.В. Шунгиной; Бойкова Н.Н. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 50.

<sup>1045</sup> См. запись в дневнике Е. Мухиной 6 января 1942 г. о новогодней «елке» в театре, где детей кормили обедом: «Я помчалась домой, ведь дома меня жала голодная мамочка, ведь мы так решили, что в этот день у нас на обед будет то, что я принесу из театра» (ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 75).



приходилось разливать суп маленькой ложкой по чайным чашкам<sup>1046</sup>. При этом дети испытывали даже чувство стыда за то, что подарки являлись такими ничтожными<sup>1047</sup>. О том, каких усилий стоило им отдать хлеб, они говорили редко, но сохранившиеся скудные свидетельства красноречивы. Один из них обещал оставить матери кусочек «детсадовского» хлеба. Он отщипывал крошку за крошкой, к вечеру оставалась лишь корочка<sup>1048</sup>.

Много записей о помощи матери содержится в дневнике подростка В. Владимирова, работавшего на заводе. «Я взял 2-ое сарделек и принес домой, сардельку дал маме и одну себе и немного всем попробовать», – отмечено им 28 февраля 1942 г.<sup>1049</sup>. И эта фраза «немного всем попробовать» лучше всяких признаний показывает, что приходилось ему переживать в это время. 3 марта 1942 г. он принес домой «4 каши», но 5 марта не выдержал: «... съел суп рассольник без хлеба и 3 каши гороховые хотел взять домой но попробовал и не удержался, съел все»<sup>1050</sup>. «Чувствую себя слабо»<sup>1051</sup>, – записывает он в этот же день в дневнике, словно оправдываясь.

Другая блокадница, Е. Мухина, собиралась отнести матери обед, которым угощали ее на новогодней «елке»: «Я съела всю жижу и начала перекладывать гущу в банку В это время погасло электричество. В темноте я благополучно переложила всю гущу». Вот что испытывала она сама, когда прятала свой подарок для матери: «Воспользовавшись темнотой, вылизила пальцами начисто весь горшок»<sup>1052</sup>.

Примечательно, что отдавали родным продукты, несмотря на запреты администраций стационаров, детских учреждений, школ, госпиталей и предприятий. Логика их была простой и ясной: дополнительное питание дается для того, чтобы больной быстрее выздоровел, «дистрофик» поправился, дети стали лучше учиться, а рабочие лучше трудиться, а не падать в обморок у станков. Казалось, это могло быть удобным предлогом для того, чтобы не делиться с близкими – но обычно это побуждало людей к изобретению более хитроумных способов припрятывания продуктов.

Одному из блокадников, работавшему на хлебозаводе, приносили хлеб с условием: «сам ешь, но выносить за пределы завода нельзя». Говорилось даже что-то о «трибунале», но и зная об этом, он все же смог пронести для семьи тайком «корочки» через проходную<sup>1053</sup>. Е.П. Бокарева говорила о матери, которой запретили на заводе «Светлана» выносить в бидоне суп, выдаваемый без карточек: «Так мамочка моя бедная жижку выпьет, а ложку крупы из тарелки в платочек сложит и принесет»<sup>1054</sup>. В. Владимиров был остановлен с кашей

<sup>1046</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 221.

<sup>1047</sup> См. запись в дневнике В. Базановой 26 апреля 1942 г.: «Одну кашу и яйца я ношу домой и мы едим вместе с мамой. Конечно, маме этого очень мало, но я ношу, что могу» (*Базанова В.* Вчера было девять тревог... С. 132); запись в дневнике Е. Мухиной 30 декабря 1941 г.: «Вот сегодня мама принесла 3 тарелки дрожжевого супа и два стакана какао. А я сегодня принесла мало, только гущу от своего супа и одну мясную котлетку» (ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 1. Д. 72. Л. 69).

<sup>1048</sup> Гулина М.А., Цветкова Л.А., Ефимова И.А. Сознательные и бессознательные компоненты психологических последствий травмы военного времени у ленинградских детей, переживших блокаду и эвакуацию // Женщины и война. С. 225. См. также воспоминания А.В. Налегатской: «В подвале нашего общежития, где мы жили... был детский „очаг“ Из него получали разовое питание в виде жидкого супа с плавающей крупой – чаще пшеничной. Иногда Алла [ее четырехлетняя дочь. – С. Я.], получив этот суп и с жадностью поедая его, говорила: „Мамочка, я тебе оставляю“, но незаметно весь суп съедала. Его не так много было» (*Налегатская А.В.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 188).

<sup>1049</sup> Владимиров В. Дневник: РФГ ГММОБЛ. Оп. 1-л. Д. 385. Л. 28. Здесь и далее при цитировании дневника В. Владимирова сохранены его пунктуация и синтаксис.

<sup>1050</sup> Там же. Л. 34.

<sup>1051</sup> Там же.

<sup>1052</sup> Мухина Е. Дневник. 6 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 74 об.; см. также воспоминания А.Г. Островского о новогодней «елке»: «Там был концерт и подарки... С большим трудом донес домой часть подарка, уж очень хотелось есть» (*Островский А.Г.* Дневник памяти // Откуда берется мужество).

<sup>1053</sup> Воспоминания о блокаде Нины Тимофеевны Балашовой (Маликовой) // Испытание. С. 57.

<sup>1054</sup> Бокарева Е.П. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 53.

у заводской проходной: «Я ее завернул в бумагу и спрятал»<sup>1055</sup>. Получившие пропуск на ужин после праздничного театрального спектакля 6 ноября 1941 г. В. Чурилова и ее сестра «кашу и компот... съели, а хлеб и котлету завернули в носовой платок и спрятали на груди под... пальто»<sup>1056</sup>.

Детей и подростков, прятавших продукты для передачи родным, не надо было просить – они сами понимали, почему это важно. Это мы отчетливо видим, например, по дневникам Е. Мухиной и В. Петерсон. Школьники, застигнутые врасплох, приводили разные доводы, стремясь разжалобить строгих контролеров. Педагог К. Ползикова-Рубец передала в своем дневнике разговор мальчика и воспитательницы, заметившей, что он во время обеда в школе «держит стеклянную баночку за столом и украдкой отливает в нее суп»: «Этого делать нельзя, ты... знаешь, что это запрещено.» – «...Позвольте, пожалуйста. Суп для Володи [его брат. – С. Я.], у него ноги стали пухнуть».<sup>1057</sup>

Хлеб и другие продукты в семье обычно делились поровну, независимо от вклада каждого<sup>1058</sup>. Случаи, когда питались раздельно, были редки, но не сказать о них нельзя. Иногда это происходило после утраты родными «карточек». Тогда переполнялась чаша страданий голодных людей, и мысль о том, что их «объедают», (подтачивавшая их и ранее), становилась непереносимой. Наблюдалось в семьях и воровство. Это усиливало настороженность родственников и быстрее вызывало подозрения, если видели, что каши и супы, приготовленные для всех в общем котле, очень скудны. Внимательно следили за тем, кто чаще доливал себе суп в тарелку и у кого ложка была больше – неизбежно начинались ссоры<sup>1059</sup>. Э.Г. Левина писала об юрисконсульте банка, получавшем два дополнительных пайка и ушедшем из семьи, чтобы «его не объедали»<sup>1060</sup>. Она рассказала и о профессоре, жена которого имела лишь иждивенческую «карточку»: «На обед в супе варили колбасу – порция колбасы показалась ему мала. Он перевесил и потребовал прибавки». Жена убеждала его, что колбаса в супе «уварилась» – не поверил, отобрал у нее часть куска и приказал впредь готовить «без проб»: «Ты тут столько попробуешь, что я голодный останусь, а если недосолишь – не важно»<sup>1061</sup>.

Чтобы не дать другим воспользоваться чужими граммами хлеба, не останавливались ни перед чем – даже дети. «Мама, мама, по 200 гр.», – кричали в булочной две девочки, увидев, что продавщица отвешивает один кусок хлеба по «карточкам» всей семьи. Продавщица отказалась делить хлеб на равные пайки – «девочки в слезы». Наблюдавший за такой сценой И.И. Жилинский предположил, что это неспроста: «Видимо, им хочется, голодным, кушать и им кажется, что мать их „обжуливает“»<sup>1062</sup>.

<sup>1055</sup> Владимиров В. Дневник. 14 февраля 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-л. Д. 385. Л. 16.

<sup>1056</sup> Чурилова В.В. Детские воспоминания о войне и блокаде: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 9-10. Приведем и другие примеры. И. Синельникова, находившаяся в детприемнике, так помогала сестре: «Мы нашли веревочку и я ей спустила вниз все, что нам дали утром» (Воспоминания И. Синельниковой // Разумовский Л. Дети блокады. С. 55). В.Б. Враская отпрашивалась домой из стационара, жалуясь на то, что ей трудно заснуть: «Я не просто ходила навещать своих, а относилась им накопленные сокровища: кусочки масла, сахара, сыра и глюкозы» (Враская В.Б. Воспоминания о быте гражданском в военное время: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 24).

<sup>1057</sup> Ползикова-Рубец К. В. Они учились в Ленинграде. С. 55.

<sup>1058</sup> Онькова Н.А. Воспоминания о тяжелой ленинградской блокаде: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 20. Л. 6 об.; Терентьев-Катанский А. Неразорвавшийся снаряд. С. 216; Луговцова А. История одной фотографии // Дети города-героя. С. 233. См. также письмо В.А. Заветновской—А.В. Заветновской 5 февраля 1942 г.: «Хлеб мы получаем в день 650 гр. на двоих; я то по I категории 400 гр., а мамочка по иждивенческой] 250 гр., делим по 300 гр. каждому, а остаток Муське [кошка]» (ОР РНБ. Ф. 1273).

<sup>1059</sup> Чурсин В. Д. Указ. соч. С. 138; Интервью с А.Г. Усановой. С. 251; Байков В. Память блокадного подростка. С. 88; Осипова Н.П. Дневник: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 93. Л. 14.

<sup>1060</sup> Левина Э.Г. Дневник. С. 170 (Запись 9 мая 1942 г.).

<sup>1061</sup> Там же.

<sup>1062</sup> Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 26.

Б.Л. Бернштейн сообщал о девочке, донесшей на мать: «... Нам рассказала, что мама взяла ее карточки, а кормит ее чем-то очень невкусным, невкусным мясом». Мать арестовали – «тогда суд над этими людьми был скорый»<sup>1063</sup>.

В пересказе события, лишённого подробностей, трудно уловить его предысторию. Возможно, здесь сказались и давнишняя неприязнь, и столь знакомая всем горожанам «блокадная» апатия, не позволявшая остро откликаться даже на очевидные нарушения нравственных правил. И многое зависело от силы родственных связей – ведь знали, что, деля поровну пайки, оказывали поддержку самым слабым и незащищенным – иждивенцам и детям, – которые не могли иначе выжить.

У кого-то родственные ритуалы, став обычаем, являлись в то же время и границей дозволенного. Кто-то не удержался на этой ступеньке. И следующим шагом после деловитых расчетов с их почти что стереотипной формулой – «прибавляем и едим» – стало присвоение родителями хлеба детей. Сразу это сделать было трудно. Требовалась целая цепочка особых условий, разорвать которую оказалось невозможно. Вряд ли на первых порах могли вырвать хлеб прямо из рук ребенка. Когда же имелась возможность скрыть свой поступок, многим не удавалось противостоять соблазну. «Есть случаи, когда матери берут питание на ребенка, а сами, выйдя из детсада, на лестнице съедают все, и ребенок дома умирает», – писала в своих записках Э. Соловьева, передавая рассказ заведующей детсадом<sup>1064</sup>.

Дальше – не остановиться, не оглянуться, не пожалеть: все сломлено голодом. И.Д. Зеленская вспоминала, как отвозила в детдом трехлетнюю девочку, не способную улыбаться, с отеками на лице: «Мать ее не кормила и съедала все сама, а когда заболела, то кричала на соседок, которые за ней ухаживали, за каждый кусок, перепадавший ребенку»<sup>1065</sup>.

Не исключено, что делая выбор: кого из детей надо кормить, а кого нет, чтобы выжили самые стойкие, кто-то из родных думал и о своем спасении. Свидетельства очевидцев в данном случае оценивать очень сложно. Отнять у ребенка полагающийся ему хлеб являлось преступлением и едва ли могли рассказывать об этом без опаски. Сам ребенок мог искренне считать, что его обделяют, и ему трудно было объяснить, почему детям положен столь маленький паек.

Вот свидетельство пятнадцатилетней девочки В.М. Рыжковой: «Я видела, как в нашей квартире мать, чтобы спасти старших двух детей из 4-х, младшим не давала хлеба совсем, а делила их паек. Я видела и плакала сама вместе с теми младшими, а они кричали: „Мама, хлеба!“ Им было 2 и 4 года, у них были страшно большие, просящие, полные слез глаза, а мама на кухне съедала с двумя старшими их паек. Младшие умерли, мама их тоже...»<sup>1066</sup>.

Нарастающая эмоциональность и особый драматизм этой записи не позволяют ее автору воссоздать детали события. Мы не знаем, где это происходило, почему это не скрывалось, мы не видим, как реагируют на крики другие соседи, мать, ее старшие дети – все предельно обобщено. Все пропитано нескрываемой неприязнью, при которой едва способны находить «оправдательные» оговорки. Перед нами не стершийся и годы спустя этический след давнего происшествия. Оно утратило свои контуры, а след остался, найдя выражение в пластичности описания, не свойственной подростку, но органичной для тех, кто приобрел житейский опыт. То же можно сказать и о концовке этой истории. Здесь проскальзывает не мстительность, но какое-то трудноуловимое и все же осязаемое чувство брезгливости: «... Старшие 7 и 12 лет замерзли где-то на улице. Я их видела как-то в булочной, где они в лох-

---

<sup>1063</sup> Доживем ли мы до тишины. С. 202.

<sup>1064</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 219.

<sup>1065</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 15 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 69.

<sup>1066</sup> Рыжкова В.М. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 218.

мотях с разбитыми и опухшими лицами выпрашивали хлеб. Но их били, если они хотели насильно выхватить хлеб...»<sup>1067</sup>.

Другие свидетельства менее патетичны, но их канва в целом одна и та же: отнимающая хлеб мать, опухший, угрюмый ребенок, который не понимает, что происходит... Далее – все более страшные картины распада с патологическими подробностями. Таких сцен много, например, в записях М.В. Машковой. Они отмечаются прежде всего в силу тех разительных перемен, которые происходят с одним и тем же человеком. Чрезмерная, не знающая границ забота о ребенке и заключительная жуткая сцена: «...Умирает не человеком, а животным, который кричит на ребенка: „Сволочь, ты жрешь больше меня и еще поглядываешь на мой кусок“»<sup>1068</sup>.

Дневниковые записи Л.А. Ходоркова, казалось, более сдержанны, но и по ним видно, как вообще трудно спокойно, размеренно и связно говорить о таких случаях, выяснять подробности и определять виноватых. 8 апреля 1942 г. Л.А. Ходорков описывает в дневнике «дорожные сцены», свидетелем которых он был, идя по набережной с «командиром краснофлотцев»: «Сцена 4-ая. Муж и жена выносят на веревках невероятно худое тело ребенка... В семье – дети и иждивенцы. Принимают решение, кто должен умереть. Не докармливают, чтобы выжили остальные»<sup>1069</sup>.

Что перед нами – исповедь рассказа чужих людей, свидетельство очевидца, отмеченные сочувствием позднейшие размышления или нечто иное? Видимо, здесь завязалась какая-то беседа и, как обычно бывает в столь драматических сценах, люди рассказывали, не стесняясь и не щадя себя, навзрыд, стремясь выговориться. Вторая часть записи кажется продолжением первой: «Как ужасно! Ребенок осужден. Он хочет жить. Подбирает каждую крошку. Рыдает»<sup>1070</sup>.

Это скорее не рассказ, а эмоциональный отклик на человеческую беду, пропитанный чувством сострадания. Он, вероятно, «достраивает» сцену, свидетелем которой не был, деталями, знакомыми ему по другим блокадным историям. И такая сцена пережита им особенно сильно.

Страшная картина создается двумя различными мазками – тех, кто рассказывал о себе, и тех, кто по этим рассказам воссоздавал для себя образ погибающих детей. Воссоздавал, делая рельефными и трагичными неизвестные ему, но подразумеваемые подробности кошмара. Мы не знаем, почему без опаски поведали о такой истории первым встречным. Может быть, люди были готовы на все и им было незачем скрываться, может быть, увидев «командира», понадеялись хоть на какую-то помощь: солдаты все же питались лучше. Но это все догадки: ничего не узнать, ничего не проверить. Блокадные документы трудно расшифровываются, потому что создаются во время сильнейшего потрясения. Здесь действуют другие законы построения и логики рассказа. Здесь имеет значение преодоление травмы – и потому боятся еще раз заглянуть в бездну. Здесь есть лихорадочный темп и хаотичность изложения – а можно ли иначе писать, когда испытываешь волнение, когда воображение укрупняет детали распада.

## 8

Некоторых детей подкидывали, чаще всего к дверям детдомов и больниц, надеясь, что там они выживут. К одному из детдомов в феврале 1942 г. было подкинута девять детей в

---

<sup>1067</sup> Там же.

<sup>1068</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 53 (Запись 28 мая 1942 г.).

<sup>1069</sup> Ходорков Л.А. Материалы блокадных записей. 8 апреля 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 22.

<sup>1070</sup> Там же.

возрасте от 1,5 до 3 лет. «Мужа взяли, пусть кормят моих детей», – объясняла свой поступок одна из блокадниц<sup>1071</sup>. Нередко оставляли детей на эвакуационных пунктах, где не все знали друг друга в лицо, где царил неразбериха и хаос. На эвакуационном пункте Борисова Грива обнаружили «в пакете» даже 4-х месячного младенца, находили здесь и других «подкидышей»<sup>1072</sup>. Отчасти это являлось и следствием безразличия к судьбам детей, примеры которого не раз отмечались во время блокады<sup>1073</sup>. Хотели спасти не только ребенка, но и себя. «Были случаи, когда мать оставляет маленького ребенка и свою мать старушку, забирает их карточки, уходит в другой район совсем жить», – рассказывала председатель Ленинского РОКК Н.Д. Якунина<sup>1074</sup>.

«Замораживание» чувств, голод, усталость, отчаяние – все заставляло решиться на поступок, о котором еще недавно и помыслить не могли. Недаром столь часто говорилось в дневниках и воспоминаниях об «окаменевших» лицах и очерствении блокадников, потерявших родных<sup>1075</sup>. «Полное отсутствие чувства жалости к тому, которого они везут в морг», – записывал в дневнике И.В. Назимов, увидев двух «отечных» подростков, тянувших санки с трупом отца<sup>1076</sup>. Л. Эльяшевой встретила женщина, везшая тело на кладбище. Кто-то заметил ей, что лежавший на санках человек жив, шевелит рукой. «Да, чуть шевелит еще. Пока я доведу, перестанет. А завтра, может быть, я не смогу его... похоронить», – таким был ее ответ<sup>1077</sup>.

Распад семейной этики можно проследить на примере нескольких историй. Одна из них – история девочки, которую вместе с мамой «объедал» отчим. Это не жестокий, но безвольный человек. Он искренне хотел заменить ей отца, но блокада сломала его. Ей противно, она стыдит и упрекает отчима – он все безропотно терпит, и обвинения и оскорбления. И вновь обкрадывает их и не может остановиться. Мать «тает» на глазах, а он ворует у нее. 25 декабря 1941 г. повысили нормы пайка – эйфория прошла быстро. Он съел свой паек, затем – паек матери и, не выдержав, паек дочери<sup>1078</sup>. «Ненавижу его... Как можно так подло делать! Ведь и я хочу есть», – девочке трудно совладать со своими чувствами, неприязнь все сильнее охватывает ее. 29 декабря 1941 г. отчим умер – и прорвалось то страшное, что она пыталась сдержать в себе: «Я так рада! Я так ждала этой минуты... Он умер и я смеялась! Я готова была кричать от счастья»<sup>1079</sup>.

Другому блокаднику семейная жизнь раньше казалась идиллией – он чувствовал заботу жены и платил ей тем же. Потом он слег и понял, что его считают обреченным, «ненавистой обузой»: «Стала... ту голодную крошку от нас отделять и прятать, чтобы подкрепить себя в ущерб моему и так слабому здоровью»<sup>1080</sup>. Он в этом уверен: «Сделал весы и

<sup>1071</sup> Миронова А.Н. Дневник. 3 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 69. Л. 12 об.

<sup>1072</sup> Стенограмма сообщения Левина Л.С.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 33. Оп. 1. Д. 77. Л. 6, 7, 9, 10.

<sup>1073</sup> С июля 1941 г. по февраль 1943 г. милицией было задержано 5480 безнадзорных детей. Из них 1726 – «оставленных по халатности родителей или неисполнению обязанностей родителей» (Стенограмма сообщения Короткова В.В.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 69. Л. 35).

<sup>1074</sup> Стенограмма сообщения Якуниной А.Д.: Там же. Д. 144. Л. 32.

<sup>1075</sup> Баженов Н.В. О том, как они умирали: ОПИ НГМ. Оп. 2. Д. 440. Л. 10 (Запись 4 января 1942 г.); Блатин А. Вечный огонь Ленинграда. С. 262; Луговцова А. История одной фотографии // Дети города-героя. С. 223; Верт А. Россия в войне 1941–1945. С. 241; Стенограмма сообщения Маругиной Ю.П.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332, Оп. 1. Д. 85. Л. 23.

<sup>1076</sup> Назимов И.В. Дневник. С. 133 (Запись 25 января 1942 г.). Ср. с воспоминаниями Д. Молдавского: «Я знал, что на похоронах надо быть грустным, надо вытирать слезы, но ничего этого не было. Было только чувство голода» (Молдавский Д. Страницы о зиме 1941-42 годов. С. 362).

<sup>1077</sup> Эльяшева Л. Мы уходим... Мы остаемся... С. 209.

<sup>1078</sup> ЦГАИПД. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 86. Л. 6 об.

<sup>1079</sup> Там же. Л. 7.

<sup>1080</sup> Там же. Д. 59. Л. 17.

стал проверять все продукты, которые она приносила, и мои подозрения подтвердились»<sup>1081</sup>. Раздражение проявляется сильнее и сильнее. Он не сомневается теперь, что она всегда утаивала от него правду, обманывала и обворовывала – и не только сейчас, во время блокады, но и в течение семи лет совместной жизни.

Еще один дневник можно по праву назвать стенограммой распада родственных чувств. Речь в нем идет о взаимоотношениях жены и мужа (он был значительно старше ее). Разрушение семейной этики не отражено здесь в прямолинейной последовательности. Гнев сменяется раскаянием, и заметно, что крепость родственных уз не всегда зависит от силы ударов, наносимых по ним. Приведем наиболее характерные записи, относящиеся к самым драматическим месяцам блокады – декабрю 1941 г. и январю 1942 г. Они не нуждаются в оговорках и комментариях.

7 декабря 1941 г.: «Вечером перессорились из-за сахара и конфет. Пришлось разделить на все дни первой декады... Лидуша совсем рассердилась, никак не может понять обстановки и положения. Считает меня жадным... Но сейчас дело не в „хорошем тоне и джентльменстве“, а в правильном распределении продуктов в целях самосохранения».

21 декабря 1941 г.: «Лидуся подарила книгу... Очень приятно за внимание... Я привязался к своей Лидуше. Я люблю ее. У меня никогда нет дороже, ближе и любимее ее, но как жаль... что мы ругаемся по каждой мелочи».

22 декабря 1941 г.: «Вечером Лидуся принесла обед. Хорошо покормила, проявила особую внимательность и заботу. Принесла витамины хвойных игл. Так трогательно с ее стороны. Очень, очень приятно. Я давно не видел такой заботы, а она мне очень нужна. Приятно».

25 декабря 1941 г.: «Еле-еле дополз до службы. Лидусенька изругала и перессорилась, как будто я виноват, что я голоден».

2 января 1942 г.: «Принесла вместо сахара и конфет повидлу, говорит 500 гр., а там всего, наверное, 150... Обман. Доверие пропало. Вообще со мной она теперь держится иначе... Дружбы никакой, теплых, внимательных, заботливых отношений никаких. Все делается, видимо, только для себя, а на языке „все для тебя“. Во всем оговаривает. Ругает. Передразнивает... Придется уходить. Всыпался на старость лет».

3 января 1942 г.: «Хочется есть. Пришел домой вместе с Лидой. Просил кусочек сухаря из своего хлеба. Выругала... Изругались до невозможности и только после этого приготовила три лепешки из дуранды. Сказал, что я больше не могу с ней жить. Просил вернуть мои карточки. Однако не отдала».

4 января 1942 г.: «Есть хочется невероятно... Просил без конца оставить продуктовые карточки. Бросила конверт, ни слова не сказав. Посмотрел. Она, оказывается, по всем карточкам забрала себе обед, крупы, мясо и масло. На один день оставила меня без обеда. Вот это забота! Возмутительно! Прямо из рук вон... Манера обобрать! Теперь понятно, почему она торопилась подписать на нее страховку жизни, подарить обручальное кольцо и проч.».

5 января 1942 г.: «...Перешли опять на ругань из-за еды. Опять упрекает, что я ем много и только один ем, и пошло. Разругались и перестала говорить»<sup>1082</sup>.

## 9

И смерть родных и близких стала восприниматься часто иначе, чем прежде. Во время агонии, когда резко менялся характер людей, их поступки казались отталкивающими, бесцеремонными и эгоистичными. И нередко задавали себе вопросы нелицеприятные и жест-

<sup>1081</sup> Там же. Л. 19.

<sup>1082</sup> РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-л. Д. 338. Л. 43, 57, 59, 62, 73, 75–77.

кие. По какому праву требуют к себе особого внимания – другим ведь тоже несладко? Жадно просят хорошего хлеба, мяса, масла, колбасы – где их достать? И кто просит? Далекие родственники, с которыми и до войны-то редко встречались, к которым не испытывали никаких симпатий и относились как к чужим.

Облегчение, с каким иногда встречали кончину родственников, мало кто афишировал, не всегда доверяли мысли об этом и личному дневнику – но его не могли не заметить. Наблюдая похоронные процессии в городе, М.С. Коноплева почувствовала «затаенное желание, чтобы „это“ все поскорей кончилось», и не сомневается, в чем здесь причина: «Покойники осложняют и без того... тяжелую жизнь»<sup>1083</sup>. Даже смерть матери – самого близкого человека – не всегда воспринималась остро. Это потом приходило чувство невозвратимой утраты, а пока она была жива, чаще обращали внимание на ее немощность, усугублявшую тяготы блокадной жизни членов семьи, отсутствие стойкости, раздражающие жалобы. От матери ждут привычных с детства теплых, ласковых, заботливых слов, ищут в ее облике родные, дорогие черты – и видят человека с искаженным лицом, с изменившейся психикой, отчужденного от детей, не узнающего их в голодных галлюцинациях, выхватывающего у них хлеб – видят человека чужого. «Однажды утром в начале апреля мама не смогла встать... Я ее тянул за руки... В ее глазах появилась какая-то враждебность, мы... стали ей безразличны», – вспоминал один из блокадников<sup>1084</sup>. Другие из них – брат и сестра – боялись долго оставаться дома и уходили на улицу: «После смерти папы мама как-то изменилась... не работала, еле-еле ходила, с ней стали происходить какие-то страшные приступы... Стала очень часто плакать»<sup>1085</sup>.

Мать А.Г. Усановой умирала от дизентерии, ни согреть, ни обнять ее дочь не решалась. Рядом с ней умирал ее сын – он давно не вставал с постели из-за бессилия. Все кажется призрачным и неузнаваемым в этой страшной сцене: «Я говорю: „Мама, брат умирает“. Она говорит: „Ты его не тревожь, не спугни“»<sup>1086</sup>. Вскоре мать даже не могла говорить, а дочь боялась подойти ближе. Она хотела уйти, крестная остановила ее: «А ты не ложись. В эту ночь умрет мать». Девочка осталась: «...Села и жду, когда мама будет умирать». Когда все закончилось, крестная взяла ее с собой: «Вымыла меня... положила в мягкую теплую постель... Я до сих пор помню, как во мне боролись два чувства. С одной стороны, я осталась одна, а с другой стороны, я в тепле, вымытая... И все позади»<sup>1087</sup>.

И еще сотни повседневных бытовых мелочей, обременявших блокадников, мешали почувствовать боль неизбежной развязки. Ожидая ее, нередко мечтали об оставшихся пайках – и не стеснялись об этом говорить даже вслух. «Повезло мне – кило два крупы на ее карточке осталось – подпитаюсь», – рассказывал о смерти жены один из рабочих<sup>1088</sup>. Иногда считали удачей, что родные умерли в начале декады: хлебом, который выдавали по их «карточкам», можно было оплатить похороны или подкормиться самим<sup>1089</sup>. И речь шла не только о хлебе, но и о вещах погибших. Примечательная деталь: И.И. Жилинский, оформляя

<sup>1083</sup> Коноплева М.С. В заблокированном Ленинграде. Дневник: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 64.

<sup>1084</sup> Нева. 2002. № 9. С. 147.

<sup>1085</sup> Скобелева Е.А. Родина моего детства. С. 13.

<sup>1086</sup> Интервью с А.М. Степановой. С. 188.

<sup>1087</sup> Там же. С. 184.

<sup>1088</sup> Кулагин Г. Дневник и память. С. 162.

<sup>1089</sup> «Удивительно, что нынешние смерти совершенно не оплакиваются, и наоборот – с какой-то особенной интонацией всегда добавляют: „Теперь ведь карточки на умерших не отбираются до конца месяца“ (Жилинский И.И. Дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 21 (Запись 2 января 1942 г.)). З. А. Игнатович писала о мальчике в очереди, рассказавшего ей о смерти матери: «Я ее теперь приставляю к печке, все одно не топится, а днем опять кладу на койку. Не много помолчав, с какой-то совсем не детской серьезностью добавил: „Мне-то, почитай, еще дней десять остался мамкин паек“ (Игнатович З.А. Очерки о блокадном Ленинграде: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 26. Л. 6).

в загсе свидетельство о смерти матери, не выдержал и здесь же съел 175 г хлеба и 50 г масла, которые он получил, сразу же продав ее валенки<sup>1090</sup>.

Ожидание хлеба, который перепадет от мертвых живым, непосредственнее всего проявлялось у детей. Одна из блокадниц рассказывала, как ушла и не вернулась домой ее младшая сестра Люба. «Паек все лежит и лежит, ее все нет и нет» – никак не отогнать эти мысли о чужом хлебе. Рядом с ней – 3-летняя сестра Вера, которая тоже голодна и, может быть, боится, что этот кусочек исчезнет и ей не достанется. Трудно терпеть, когда все время смотришь на него: «Верочка мне шепчет: „А хоть бы Любка не пришла, мы б съели бы этот хлеб<sup>а</sup>». Это потом ее сестра часто с осуждением вспоминала свой ответ, тогда же откликнулась немедленно: «... Я говорю: „И правда, пусть бы не пришла. Мы бы этот хлеб...”»<sup>1091</sup>.

«Ой, ты умрешь, а у тебя же там пайки хлеба» – эта мысль не давала покоя и другой девочке, видевшей агонию бабушки. Скрыть свое желание, наверное, было трудно – мать все понимала. Девочке жалко до слез бабушку – и хотелось ее хлеба. Побороть себя не удалось: «А я думала только о хлебе... Ой... (Плачет.) Простить не могу всю жизнь. А я сразу думаю: „О, она умрет, а там у нее хлеб лежит”. (Плачет.) <...> А потом мама говорит: „Иди, все...” И первым делом она, конечно, сказала: „Иди, ешь хлеб”. (Плачет.)»<sup>1092</sup>.

## Похороны

### 1

В обрядах семейных похорон с наибольшей полнотой отразились этапы распада нравственных норм в городе в «смертное время». Массовая гибель ленинградцев началась с декабря 1941 г., но до середины января 1942 г. еще старались, насколько возможно, придерживаться прежних ритуалов. До тех пор, пока имелись силы, пытались сами довозить гроб до кладбища<sup>1093</sup>. С каждым днем делать это становилось все труднее. Люди были истощены, транспорт не работал, дороги не расчищались, жестокие, небывалые морозы стали приметой блокады. Хоронить приходилось на кладбищах, которые находились на окраинах города. В санки впрягались те, кто был помоложе<sup>1094</sup>, этот порядок быстро нарушился. Везли обычно те, кто еще мог ходить. В описаниях многих блокадников это был крестный путь – в неизбывном горе, в холоде и голоде, нередко под бомбежками. М.С. Коноплева записала в дневнике, как хоронил своего деда шестнадцатилетний истощенный юноша: «Пришлось везти

<sup>1090</sup> Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 8. С. 10.

<sup>1091</sup> Цит. по: Календарова В. «Расскажите мне о своей жизни» // Память о блокаде. С. 222. Ср. с записью в дневнике А. Лепкович 24 декабря 1941 г.: «Встретил семилетнюю дочь Муси [его знакомая. – С. Я.], которая в порыве радостного волнения сказала – дядя Аркадий, у меня мама умерла. Я спросил, чему радуешься. А как же, карточки то мне остались» (ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 11 об.). (Сохранен синтаксис подлинника).

<sup>1092</sup> Там же. С. 116.

<sup>1093</sup> Ратнер Л. Вы живы в памяти моей. С. 144; Дучков А.Д. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 89; Ковальчук В.М. 900 дней блокады. С. 87; Муранова В.А. Центральный государственный архив работал всю блокаду // Выстояли и победили. С. 169; Смирнова (Искандер) А.В. Дни испытаний // Без антракта. С. 196; Друскин Л. Спасенная книга. С. 129; Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 6 января 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 17; Гребенищikov А. Память и верность // Нева. 1999. № 1. С. 207; Онъкова Н.А. Воспоминания о тяжелой ленинградской блокаде: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 20. Л. 9-10; Алексеев А.С. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 27; Козлов В. Гибель отца // Память. Вып. 2. С. 113; Лисовская В.М. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 156.

<sup>1094</sup> См. воспоминания В. Никольской: «Около булочной парадная... У дверей движение – вывозят на санках тело, зашитое в простыню. Везут молодые, позади две старухи – крестьян „Христос с тобой, Христос с тобой...”» (Никольская В. В очередях: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 907. Л. 9). См. также: Смирнова (Искандер) А.В. Дни испытаний. С. 196; Муранова В.А. Центральный государственный архив работал всю блокаду. С. 169; Инбер В. Почти три года. С. 70 (Дневниковая запись 2 января 1942 г.).



труп на ручных санках при 20° мороза. Он вернулся с кладбища в каком-то лихорадочном состоянии... почти не отвечая на наши вопросы»<sup>1095</sup>.

И везде в таких описаниях одни и те же слова: «впряглись», «тащили», «падали», «шатались». Еще в дневниковой записи 16 ноября 1941 г. А.П. Остроумова-Лебедева отмечала, как мало провожающих было в похоронных процессиях на улицах: «редко один, два человека»<sup>1096</sup>. Потом чаще стали хоронить по просьбе родственников другие люди, иногда не состоявшие с покойным в родстве, например, дворники – разумеется, помогавшие за деньги, а позднее за хлеб. Сыновья и дочери же умерших проводить их в последний путь не могли: кто-то болел, кто-то плохо ходил, кто-то вообще не мог ходить, будучи опухшим и не вставая с постели<sup>1097</sup>.

На первых порах старались хоронить в гробах, но вскоре это стало большой редкостью. В городе, замерзавшем от лютой стужи, находили иное, как считали, лучшее применение доскам, да и их запасы начали иссякать: производство гробов не было рассчитано на гибель такого количества людей. К просьбам дать гроб стали подходить сугубо прагматично<sup>1098</sup>, а позднее – так изменились обстоятельства – начали оценивать и как некое чудачество.

С середины декабря 1941 г. многие блокадники перестали хоронить в гробах. Вероятно, это подтолкнуло и других упростить похоронный ритуал – но не всех. Один лишь вид кладбища и моргов – со штабелями трупов, а часто трупов, то сваленных в одну кучу, то разбросанных по краям дороги, ограбленных, раздетых – вероятно, быстрее побуждал защитить прах родных от поругания. М.В. Машкова, привезшая в один из моргов тело матери мужа, так передавала увиденное: «...Страшная картина... Цинизм и позор. Черные, словно прокопченные лица, раскоряченные трупы, грязные тряпки, голые ноги. Мне было тошно, обидно... и как-то стыдно сваливать ее в кучу других»<sup>1099</sup>.

Гроб казался какой-то защитной оболочкой, эфемерность которой не могли заставить себя признать. Не могли признать, что время стало иным, что изменились не только ритуалы, но и вся система традиционных ценностей. Привычным все это стало в «смертное время», а сначала вид поруганных при «погребении» трупов только еще прочнее заставлял родных держаться прежней обрядности: «Вы знаете, меня просто потрясло, когда я увидела, что по обе стороны Серафимовского кладбища... Я думала дрова лежат – оказалось, это покойники. И просто набросали, вот знаете, как дрова покойники... Ну, мы просили папу из гроба не вынимать, хотя они клали покойников просто так, в траншеи»<sup>1100</sup>.

Брошенные трупы становились добычей не только грабителей. «Утром, у Медного всадника, кто-то положил трупик ребенка, ангельски прекрасного», – записывал в своем дневнике рассказ ленинградского художника Власова писатель Вс. Иванов. Позднее он увидел, что у трупа были отделены мягкие части<sup>1101</sup>. Это не было тогда единственным случаем

<sup>1095</sup> Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 6 января 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 17.

<sup>1096</sup> Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. С. 266 (Дневниковая запись 16 ноября 1941 г.). См. также: Блатина А. Вечный огонь Ленинграда. С. 238; Рабинович М.Б. Воспоминания долгой жизни. С. 178.

<sup>1097</sup> Онькова Н.А. Воспоминания о тяжелой ленинградской блокаде: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 20. Л. 9-10; Лисовская В.М. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 156; Воспоминания И. Синельниковой // Разумовский Л. Дети блокады. С. 54.

<sup>1098</sup> См. запись в дневнике А. Лебедева 18 января 1943 г.: «...Зимой 1941–1942 года я выдавал доски на гробы для умерших сотрудников музея. Но скоро досок не стало. И я говорил... с раздражением: „... Скажите, зачем покойнику гроб? ... Живым древесина нужнее“». (Лебедев А. Из дневника // Художники города-фронта. С. 356).

<sup>1099</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 22 (Запись 1 марта 1942 г.); ср. с записью в дневнике А.Ф. Евдокимова 14 февраля 1942 г.: «Сегодня я проходил <...> мимо кладбища. Я увидел ужасную картину. В яму, вырытую взрывом динамита, было набросано (не сложено, а набросано) больше сотни уродливых человеческих трупов... Рядом у ямы валяются голые мертвецы, некоторые без ног, без головы, а больше же без мягких мест... Картину эту я запомню на всю жизнь» (РДФ ГММОБЛ. Оп. 1р. Д. 30. Л. 84).

<sup>1100</sup> Интервью с А.М. Степановой. С. 187.

<sup>1101</sup> Иванов В.С. Дневники. С. 208. Ср. с воспоминаниями А.В. Андреева: «Мы по тропинке идем на ту сторону Невы

– таких рассказов много<sup>1102</sup>. А.П. Григорьева, жившая в центре города, рядом с проспектом М. Горького, вспоминала, как часто ей приходилось видеть брошенные кем-то запеленованные в простыни трупы – «пеленашки». Если их не убрали, то на следующий день обнаруживали, что «пелены» на обнаженных мертвых телах были разорваны, а сами они осквернены<sup>1103</sup>. И, быть может, страх, что эта участь ожидает и тела близких людей, заставляла, несмотря ни на что, искать гроб, делать его самому, настаивать, чтобы хоронили в гробу или в чем-то похожем на него – только бы избежать надругательств.

В. Инбер писала в дневнике 2 января 1942 г. о том, как видела истощенную молодую женщину, везшую на салазках «платяной шкаф стиля модерн из комиссионного магазина: для гроба»<sup>1104</sup>. Хоронили в ящике от гардероба, даже в детской коляске, брали гроб напрокат<sup>1105</sup>. Когда не было и этого, пытались соорудить нечто вроде символического гроба. «Недавно видела труп без гроба, у которого на груди под свивальными пеленами были подложены стружки, видимо для благообразия. Во всем этом чувствовалась опытная, не дилетантская рука», – сообщала В. Инбер в той же дневниковой записи 2 января 1942 г., предположив, что услуги этой «руки» стоили недешево<sup>1106</sup>.

О дороговизне гробов, не останавливавшей, однако, родственников, говорилось и в отчете городского управления предприятиями коммунального обслуживания<sup>1107</sup>. И все же к середине января 1942 г. похороны в гробах в Ленинграде почти прекратились<sup>1108</sup>. Гробы не продавались, делать их самим не хватало сил, как не хватало сил и довезти их до кладбища. Расплачиваться приходилось хлебом и надо было выбирать, что важнее – заботиться о мертвых или беречь живых.

«Они принесли самодельный гроб и быстро уложили труп в траншею, а фанерную домовину бросили в костер, – вспоминал о действиях похоронной команды на Серафимовском кладбище Н.В. Баранов. – ...Худенькая, миловидная девушка... спокойно сказала нам: „Не удивляйтесь, что мы хороним без гробов. Покойникам все равно, а мы стынем на холоде... Костер едва греет, но дров нет, и если он погаснет, то в эту могилу уложат и нас“»<sup>1109</sup>. Н.В. Баранова удивило спокойствие девушки. Видимо, делала она это часто и не

---

– лежит женщина с ребенком, замерзшая... Возвращаемся, она тоже лежит. А на следующий день идем – ребенка нет. И ног у женщины нет... Если бы крысы, то кости бы остались... А на следующий день идем – только одна голова женская. Даже туловище утащили» (Интервью с А.В. Андреевым. С. 262).

<sup>1102</sup> См. воспоминания Б.Л. Бернштейна: «Здесь, во дворе, у нас очень долго „охотились“ за одним трупом... Это был крупный мужчина. Его, видимо, прятали. Сперва он лежал в вестибюле... Потом этот труп перенесли в подъезд штаба МПВО, потом в раздевалку...» (*Бернштейн Б.Л.* Ленинградский торговый порт в 1941–1942 гг. С. 207). Об отделении «мягких» частей у трупов см. также: *Загорская А.Л.* Дневник. 30 января 1942 г.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 47. Л. 22; Стенограмма сообщения Милутиной Е.И.: Там же. Д. 86. Л. 20; Стенограмма сообщения Скворцова М.И.: Там же. Л. 10 об.; *Кросс Б.* Воспоминания о Вове. С. 44; Интервью с Е.И. Образцовой. С. 240; *Великотная Т.К.* Дневник нашей печальной жизни в 1942 г. // Человек в блокаде. С. 95; *Витенбург Е.П.* Павел Витенбург. С. 281.

<sup>1103</sup> *Григорьева А.П.* Воспоминания: Архив семьи П. К. Бондаренко.

<sup>1104</sup> *Инбер В.* Почти три года. С. 70.

<sup>1105</sup> *Павлова Е.П.* Из блокадного дневника // Память. Вып. 2. С. 187 (Запись 14 декабря 1941 г.); *Иванов В.С.* Дневники. С. 208.

<sup>1106</sup> *Инбер В.* Почти три года. С. 70.

<sup>1107</sup> Ленинград в осаде. С. 324.

<sup>1108</sup> Еще 31 декабря 1941 г. В. Пасецкий отмечал в своем дневнике, что на улице чаще всего везли «запеленованные в белые простыни трупы», а гробы можно было увидеть очень редко (*Пасецкий В.* «А все-таки страничку Шиллера я успел отхватить» // Нева. 2003. № 5. С. 104).

<sup>1109</sup> *Баранов Н.В.* Силуэты блокады. С. 56–57; См. также воспоминания Н.В. Ширковой о похоронах в январе 1942 г. ее отца: «Трупы, которые привозили, складывали... как дрова, друг на дружку. Если [гроб] плохой, то разламывали на дрова, здесь же был разложен костер, где рабочие грелись» (*Ширкова Н.В.* Воспоминания: Архив семьи Е.В. Шуньгиной); воспоминания Р.М. Копиленко о работе команды МПВО на кладбище: «Наши бойцы (да это и вообще практиковалось там всеми) вынимали покойника из гроба, разбивали этот гроб и разжигали костры, чтобы согреться немного» (Стенограмма сообщения Копиленко Р.М.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 67. Л. 23). Примечательно, что работницы фабрики «Свечеч», трудившиеся на погрузке тел у Народного Дома на пр. Горького, в том случае, если кто-то привозил умершего в

раз приходилось объяснять свой поступок. Могильщикам было не до приличий и некогда было им щадить чувства чужих людей. Убирать трупы шли сюда из-за усиленных пайков, шли сюда, чтобы выжить<sup>1110</sup>. И выжить стремились несмотря ни на что, не стесняясь и приписками в перечнях похороненных – превышение «нормы» поощрялось дополнительным пайком. Им все равно было, когда выбросить труп из гроба – на глазах у родных или после их ухода; главное – выжить.

## 2

Некоторые отказывались от обычая хоронить в гробах еще и потому, что знали о продаже их работниками кладбищ и моргов для повторного использования. Поскольку гробов не хватало, на этом можно было хорошо заработать. Так, родственникам В.Б. Враской в морге «люди, привезшие своих покойников, советовали... вынуть покойника из гроба и отдать так, говорили, что его все равно не оставят в гробу, продадут гроб за хлеб»<sup>1111</sup>.

Н.В. Ширкова, хоронившая своего отца, также отмечала, что «если гроб хороший, то этот гроб продавали»<sup>1112</sup>.

Рыть могилы в окаменелой от холода земле в первое время приходилось самим родным и близким. Этот ритуал исчез еще быстрее, чем похороны в гробах. Те, кто не мог хоронить, расплачивались деньгами или ценными вещами<sup>1113</sup>, а позднее, – с декабря 1941 г., – только хлебом<sup>1114</sup>. Рассматривая изменение семейных ритуалов во время блокады, мы отчетливо видим, как смещалась грань между нормой и патологией, приемлемым и недопустимым. Этапы изменения ритуалов похорон были общими – вместо гроба «обвивальные пелены» («пеленашки»), вместо захоронения на кладбищах сбор трупов в строго определенных местах в городе. Сначала хоронили в гробах, потом без гробов<sup>1115</sup>, сначала хоронили в отдельной могиле, затем в братской, а потом могли и не похоронить – и так везде. Противостоять этому многие не могли еще и потому, что делали не только собственный выбор, но должны были учесть и выбор других блокадников. Деграция группы людей определяла и деграцию отдельного человека – он был связан с ней общими условиями существования, бытом и обязательствами.

Обычай хоронить в братских могилах с января 1942 г. стал повсеместным<sup>1116</sup>, возможно, при этом испытывали чувство стыда, но выхода не было. Сохранились письма, посланные из Ленинграда теми, кто решился хоронить родных в общих могилах. Они больше похожи на оправдания. Прочитываем два из них, принадлежавших разным людям

---

гробу, «доски от гробов... зацепляли за веревки и притаскивали на фабрику» – там тоже было мало топлива и к тому же их недалеко было везти (Стенограмма сообщения Алексеевой А.П.: Там же. Д. 3. Л. 7 об. – 8).

<sup>1110</sup> См. письмо одной из блокадниц В.Х. Вайнштейну (январь 1990 г.). Она пошла работать на кладбище, поскольку там выдавался паек по повышенной норме: «Я была высушена груди как мускин одны прышкики» (ОПИ НГМ. Ф. Р-20. Оп. 2. Л. 2 об. Сохранены синтаксис и орфография подлинника).

<sup>1111</sup> *Враская В.Б.* Воспоминания о быте гражданском в военное время: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 23.

<sup>1112</sup> *Ширкова Н.В.* Воспоминания: Архив семьи Е.В. Шуньгиной.

<sup>1113</sup> *Комаров Н.Я.* у *Куманев Г.А.* Блокада Ленинграда. С. 156; *Онькова Н.А.* Воспоминания о тяжелой ленинградской блокаде: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 20. Л. 9-10; Трудное время детства. Воспоминания Галины Владимировны Василевской // Испытание. С. 165.

<sup>1114</sup> См. почти однотипные записи В. Базановой («гробы делают и хоронят только за хлеб и за дуранду») и М.С. Коноплевой («могильщики соглашаются рыть могилы только за хлеб») (*Базанова В.* Вчера было девять тревог... С. 129; *Коноплева М.С.* В блокированном Ленинграде. Дневник: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 4 об.).

<sup>1115</sup> Это могло происходить в течение всего нескольких недель. Т. Нежинцева хоронила 3 января 1942 г. отца мужа в гробу и отдельной могиле, а его мать 26 января 1942 г. в общей могиле и без гроба, в «пеленашке» (*Нежинцева Т.* Расскажу о своем муже. С. 348).

<sup>1116</sup> *Котлярова М.Н.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 128; *Дучков А.Д.* [Запись воспоминаний] // Там же. С. 89; *Дичаров З.* Алеха с Малой Охты // Голоса из блокады. С. 409.

– безвестной блокаднице Н. Макаровой и знаменитой поэтессе О. Берггольц. Несмотря на различие жизненных ситуаций и стилей их писем, именно оправдание является их главной целью. Письмо Н. Макаровой сестре о смерти матери написано прозаичней, но его можно считать квинтэссенцией аргументов, объяснявших причины распада старых ритуалов в «смертное время»: «Вчера мы ее похоронили, но... не отдельно, как это делалось у нас раньше, а в братскую могилу, теперь у нас всех так хоронят (..больше 3 [миллионов] умирают), а отдельно нет возможности, во-первых, нет гробов ни за какие деньги кроме хлеба, а мы получаем 300 гр., но сейчас и за хлеб даже не делают, нет досок и нет мужчин, которые делают»<sup>1117</sup>.

На первом плане – «объективные» причины. Ни слова не говорится о том, делались ли попытки вернуться к прежним обрядам. Приводятся лишь новые доводы: «Я думаю, не осудите нас... и поймете, как нам все это тяжело, но иначе ничего сделать нельзя все, все, что можно было сделать для мамы, мы сделали... Не знаю...останемся ли мы живы или нет, но... жизнь у нас ужасная, таких нет и никогда не было. Живем без воды, без света, без дров, почти голодные и каждый день обстрелы... Ребята верно все мои перемрут и я тоже верно скоро умру, вот дойдет опухоль до сердца и конец»<sup>1118</sup>. Она явно испытывает какое-то чувство вины и предпочитает перед людьми, не знавшими ленинградских кошмаров, оправдываться именно ссылками на непреодолимые обстоятельства, а не на то, что можно было превозмочь.

В еще большей степени это чувство вины проявляется в письме О. Берггольц, отправленном сестре вначале 1942 г., после смерти ее мужа Н. Молчанова. Его можно разделить на несколько частей по формам мотивации выбранного ею ритуала похорон. Первую из них условно можно назвать «житейской» и она в чем-то близка к оправданиям Н. Макаровой: «Я не стала хоронить его сама... Я не могу тащить его, завернув в одеяло, через весь город, как делают все у нас. Хлеба на гроб и могилу мне столько не набрать. Я решила дать согласие, чтоб его похоронили от больницы, в братской могиле»<sup>1119</sup>. Этот ответ ей, однако, кажется неполным, не способным исчерпывающе объяснить ее поступок. Письмо приобретает патетический тон: «Он жил, как воин, как на фронте, пусть погребен будет, как на фронте. Он одобрил бы это».

Но и патетика, видимо, показалась ей не очень уместной. И приводится еще одна мотивировка, где звучат более интимные, личные ноты: «...Мы договорились, что оставшийся должен стараться дожить до конца теперешней трагедии. Я буду стараться дожить. Мне трудно это сделать, сестра – труднее, чем перестать жить, но я буду стараться...»<sup>1120</sup>. Ей не в чем упрекнуть себя, она сама страдала от дистрофии, но отдавала свой крохотный паек, надеясь спасти мужа. Но как характерны эти мотивировки, разные по содержанию, в столь кратком письме. Хотелось еще раз объясниться и оправдаться, еще раз оценить свои действия, сверив их с моральным эталоном. Слишком много оправданий – так не бывает, если люди закоснели в нравственной черствости.

Эти свидетельства необходимо иметь в виду, когда мы говорим о быстроте изменения порядка погребения в «смертное время». Мы часто наблюдаем только само событие, но очень мало знаем, какой эмоциональный отклик оно рождало. Очевидцы или стесняются, или не считают нужным о нем говорить, привыкнув к такому обряду. Да, многие не могли довести тела родных не то что до далекого кладбища, но даже до ближайшего морга. З.А. Игнатович была, однако свидетелем того, как «озябшая, сгорбленная, почти высохшая старушка» передавала двум мужчинам ценные вещи и «слезно упрашивала, умоляла, чтобы ее

<sup>1117</sup> Н. Макарова – сестре. 27 марта 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 418.

<sup>1118</sup> Там же.

<sup>1119</sup> О. Берггольц – сестре. Начало 1942 г. Цит. по: *Биневич Е.* Рождены в Ленинграде // Нева. 2003. № 5. С. 188.

<sup>1120</sup> Там же.

мужа свезли в морг»<sup>1121</sup>. На Георгиевском кладбище пришедшие «просили осторожно похоронить, потому что „женщина хорошая была“»<sup>1122</sup>, на другом из кладбищ мать, потерявшая шестилетнего сына, просила: «Положите его получше, милого моего»<sup>1123</sup>. Н. Макарова, похоронив сына и мать в общей могиле, заплатила рабочим за то, чтобы ее «зарыли в уголочке» – так, наверное, позднее легче было точно опознать место погребения<sup>1124</sup>.

### 3

Признаки нравственного одичания обнаруживались не сразу, им пытались противостоять. Достоинством была не победа над ними (об этом говорили немногие), но упорство, проявленное в этом противостоянии. «...Когда пришли в морг... нам велели его раздеть и положить за воротами морга на улице, где лежали штабеля голых тел. Вот тут мы заплакали и отказались раздевать его», – вспоминала Т.Г. Иванова, помогавшая подруге хоронить ее отца<sup>1125</sup>. Блокадное бытие, однако, ломало не только слабых. Одна и та же последовательность распада прежней обрядности: привозили тела родственников на кладбище и, не имея сил вырыть могилу, оставляли их не похороненными, довозили тела до штабелей трупов на кладбищах и уходили, бросали санки с умершими по дороге<sup>1126</sup>.

«На улицах трупы. Трупы на лестницах, в квартирах, трупы у ворот больницы, у заборов, во дворах», – цитирует свой дневник военных лет И. Стадник<sup>1127</sup>. Бездна блокадного ада неудержимо расширялась и на рубеже 1941–1942 гг. не церемонились с мертвыми, как часто перестали церемониться и с живыми. «Ранним утром в сугробах под стенами нашего госпиталя всегда находили несколько трупов», – писала В. Гапова<sup>1128</sup>. Иногда трупы оставляли в подвале своего дома, их доставляли, в ряде случаев и тайком, к больницам<sup>1129</sup>. Вскоре трупы начали бросать прямо на улицах и не только в глухих переулках, но и в центре города<sup>1130</sup>. Е. Миронова вспоминала, как подруга, не имея сил похоронить сестру, положила ее «в сугроб за воротами»<sup>1131</sup>. Обычно оставляя тела умерших на улицах, надеялись, что их подберет милиция – это не раз отмечалось очевидцами блокады<sup>1132</sup>.

<sup>1121</sup> *Игнатович З.А.* Очерки о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 26. Л. 9.

<sup>1122</sup> Стенограмма актива домашних хозяек и домашних работников по М.-Охтинскому хозяйству: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 146. Л. 14–15.

<sup>1123</sup> *Суворов Н.М.* Сирены зовут на посты. Страницы блокадного дневника. Л., 1980. С. 45.

<sup>1124</sup> Н. Макарова – сестре. 27 марта 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 418.

<sup>1125</sup> *Иванова Т.Г.* Воспоминания // Человек в блокаде. С. 218.

<sup>1126</sup> Блокадный дневник Н.П. Горшкова. С. 52 (Запись 21 декабря 1941 г.); *Динаров З.* Алеха с Малой Охты. С. 409; *Махов Ф.* «Блок-ада» Риты Малковой. С. 224; *Налегатская А.В.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 188.

<sup>1127</sup> *Стадник И.К.* В осажденном Ленинграде // 40 лет великой победы. Сборник воспоминаний сотрудников клинической поликлиники – участников Великой Отечественной войны и трудового фронта: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 51; ср. с записью в дневнике В.Н. Никольской: «...Покойники на улицах, скверах, бульварах и помойках» (*Никольская В.Н.* Дневник в Ленинграде во время блокады с 1941 по 7 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 907. Л. 19).

<sup>1128</sup> *Гапова В.* Одна зима // *Абрамов Ф.* О войне и победе. СПб., 2005. С. 165.

<sup>1129</sup> *Скобелева Е.А.* Родина моего детства. С. 14; *Павлова Е.* Из блокадного дневника // Память. Вып. 2. С. 287 (Запись 14 декабря 1941 г.); *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. С. 271 (Дневниковая запись 1 января 1942 г.).

<sup>1130</sup> См. воспоминания Л. Щербак о событиях февраля 1942 г.: «Шли по Литейному проспекту... Много саночек с мертвыми, которых не было сил довести до кладбища и их бросали» (Память. Вып. 2. С. 389); письмо С.А. Рейсера В.С. Баевскому 26 декабря 1981 г.: «Однажды, идя в Публичную библиотеку, где я служил, с Невского 11, где я жил... насчитал на улице семь трупов – умерших в пути или выброшенных из домов, чтобы не хоронить» (Цит. по: *Баевский В.* Роман одной жизни. СПб., 2007. С. 412).

<sup>1131</sup> *Миронова Е.* Блокада и фронт: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 449; см. также запись Н.П. Горшкова: «Есть много случаев, что сопровождающие гроб бросают его где-нибудь на улице, не доведя до кладбища, и скрываются» (Блокадный дневник Н.П. Горшкова. С. 56 (Запись 6 января 1942 г.) и воспоминания В.Г. Григорьева: «Умерших... выносили на лестничную площадку или во двор и так оставляли там. У кого были силы, несли труп в парк и клали в щель-траншею, которую мы летом готовили для укрытия населения» (*Григорьев В.Г.* Ленинград. Блокада. С. 40).

К концу 1942 г. ритуал похорон был предельно упрощен. Порядок их определялся не только этикой и возможностями родных, но и официальными инструкциями. Нарушать их было нельзя, и может именно это, а также быстрота и легкость захоронения, которая ими предусматривалась (трупы доставлялись на «сборные пункты», созданные во всех микрорайонах города<sup>1133</sup>, и оттуда вывозились на машинах), способствовали более быстрому переходу к новому ритуалу. Не надо выдалбливать могилу в окаменевшей от мороза кладбищенской земле, не надо оглядываться на других и опасаться их осуждения, не надо голодным копить хлеб для могильщиков, не надо обессиленным везти «пеленашки» на окраину города. Все сделают без них – нужно только положить тело на санки, пройти несколько улиц, оставить его в определенном месте и уйти...

И даже такой примитивный ритуал погребения соблюдался не всегда. Особенно это сказалось во время эвакуации. Один из уезжавших оставил тело мертвого брата в своей квартире<sup>1134</sup> – надо было спешить и имелась надежда, что хоть кто-нибудь его похоронит. Описывались и более драматические эпизоды. Об одном из них вспоминал Н. Картофельников, учившийся тогда в ремесленном училище, а именно их учащиеся являлись самыми беззащитными среди блокадников: «Ко мне подошел мой приятель Толя... и говорит: „Пойдем ко мне, помоги похоронить мать. Она умерла три дня назад, а завтра нам выезжать“. Вместе с еще одним товарищем... мы пришли к нему на Фонтанку... Вытащили тело с четвертого этажа вниз. Тащили волоком. Когда вышли на улицу стали размышлять, куда положить труп. Толя сказал: „Давайте спустим по снегу прямо в Фонтанку. Больше некуда“. Так мы похоронили мать Толи...»<sup>1135</sup>.

Такое все-таки случалось нечасто, и нельзя не отметить полуобморочного состояния мальчика Толи, который через несколько дней умрет от истощения в поезде, увозившем эвакуированных – его тело «ремесленники» также выкинут из эшелона в поле. Выбросить труп на улицу было не так и просто. Боялись и милиции, и соседей, и управдомов, да и просто незнакомых прохожих. Недаром это делали, по преимуществу, ночью.

Люди последовательно, хотя и не без колебаний, примирялись с новыми обрядами. Кому-то это давалось труднее, кому-то легче, кто-то и в феврале 1942 г. смог достать гроб, а кто-то и в декабре 1942 г. бросал тело, не довезя его до кладбища. Все зависело от многих обстоятельств – чувства привязанности к родным, прочности нравственных устоев, уровня культуры, публичности действия, состояния здоровья, возможности найти дополнительные средства и, не в последнюю очередь, от религиозности. И еще это обуславливалось десятками иных причин, перечислить которые невозможно – они были индивидуальными для каждого человека.

Быстрота смены похоронных ритуалов может казаться таковой только по меркам обычного времени. Блокадные дни надо оценивать по другим критериям. И если ленинградцы даже в течение нескольких недель могли еще держаться старых обрядов, искать гроб, хоронить в ящике от шкафа, везти по морозным, неубранным улицам, рискуя каждую минуту упасть в голодный обморок и погибнуть, откладывая, будучи крайне истощенными, кусочки хлеба, чтобы хоть как-то похоронить «по-человечески» – мы можем с полным основанием сказать: они сопротивлялись слишком долго, ибо здесь неделя равна году.

<sup>1132</sup> См. записи в дневниках Г.А. Князева и М.С. Коноплевой: «Покройников родственники не могли похоронить в течение 6-10 дней и, наконец, решились подбросить труп на пустынную улицу, чтобы милиция подобрала его» (Из дневников Г.А. Князева. С. 37 (Запись 1 января 1942 г.); «Часто родственники „подбрасывают“ трупы милиции, чтобы избежать хлопот по захоронению» (Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 3 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 35).

<sup>1133</sup> Шулькин В. Воспоминания баловня судьбы. С. 152.

<sup>1134</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 32 (Запись 22 марта 1942 г.).

<sup>1135</sup> Картофельников Н. Простая судьба // Память. С. 180.

А то, что случилось позднее, также являлось неизбежным. Оно не стало шоком и вследствие привыкания к новому порядку похорон, и из-за быстрого распада этики в «смертное время».

Потом стали прятать трупы в квартирах, чтобы пользоваться продовольственными карточками умерших. Об этом говорят едва ли не все мемуаристы как о чем-то повседневном. В их описаниях нет даже чрезмерного патетического накала, который, как правило, характерен для рассказов о блокадном быте<sup>1136</sup>. Продовольственные «карточки» выдавали обычно на одну декаду. Не сообщив своевременно в домоуправление о смерти родных и не сдавая «карточки», можно было продолжать покупать продукты по ним до начала следующей декады. Вероятно, решаясь оставить умерших, на первых порах не строили на этом какие-либо расчеты – просто не было сил и возможностей их похоронить. Примечательно, что когда в январе 1942 г. разрешили оставлять продовольственные карточки умерших в семьях, окаменевшие трупы продолжали держать в замерзших квартирах. Несомненно, однако, что возможность пользоваться еще одним пайком повлияла на выбор даже тех, кто вначале не был готов нарушить сложившиеся веками ритуалы.

#### 4

В многообразии ритуальных действий (захоронение в гробу, обычай прощания, возложение цветов, обряжение, поминки), как в зеркале, отражено многообразие ощущений сильной боли от невосполнимой утраты. Они не являлись только традиционными, но в целом ненужными обрядами. Каждая из частей ритуала есть средство еще и еще раз пережить горечь постигшей семью беды, выразить уважение близкому человеку, повторить его жизненные уроки, подчеркнуть важность его наставничества, его заботы и любви. Сведение ритуала к простому акту погребения, который нередко осуществляют чужие люди, лишали семейные отношения столь присущей им теплоты. В еще большей степени это относится и к обычаю прятать умерших в квартирах с целью получить по их «карточкам» продукты.

Прежде всего это неизбежно смещало представления о цивилизованном порядке – а утратив их, человек неминуемо терял и нравственные навыки. О каком цивилизованном быте можно говорить, если умерших, как поклажу, постоянно переносили из одного места в другое, если рядом ели и спали – дети, родители, мужья, жены? О каком почитании родных – основе семейной этики – могла идти речь, если умерший утилитарно использовался как средство получения дополнительного пайка? Как прививать нравственные ценности детям, если все члены семьи должны были скрывать свой поступок перед соседями, управдомами, дворниками и доказывать самим себе, что это не является обманом. О какой любви к погибшим можно было говорить, когда каждый день видят их обезображенные лица и тела, каждый день с опаской ожидают более зримых примет их разложения... Только с притупленными чувствами можно так жить – и тогда рукой подать до реки, куда выбросят ставшее *ненужным* тело матери.

Ритуал похорон в какой-то мере повторил судьбу других семейных обычаев в «смертное время». Остаться прежним он не мог, и не только потому, что упростился повседневный быт людей. Изменился сам человек, его взгляд на ценности, которые еще недавно считались почти священными. Подхваченные чудовищной бурей, люди пытались изо всех сил зацепиться за что-то, пусть и иллюзорное, но придающее человечность их поступкам. Это сопротивление не могло быть долгим и упорным, но его и нельзя оценивать по обычной шкале. У него своя, блокадная система координат, с жестокими представлениями о допустимом и неприемлемом, и своя логика.

---

<sup>1136</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 484; Голоса из блокады. С. 217; Скобелева Е.А. Родина моего детства. С. 13; Бочавер М.А. Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 59.

## Глава II Друзья и близкие

### Друзья

#### 1

Отношения друзей неизбежно менялись во время блокады. Связь между разрушением дружеских уз и усилением голода не всегда являлась прямой. Многие зависело от степени близости людей, их характеров и настроений.

«...Выстрелов не слышно. Воспользовалась... чтобы повидаться с друзьями. Круг этой возможности все сокращается, так как днем все заняты, а в короткие осенние вечера все сидят дома», – записывала в дневнике М.С. Коноплева еще в сентябре 1941 г.<sup>1137</sup>. С каждой следующей неделей это становилось более заметным<sup>1138</sup>. Отмирали прежние ритуалы и этого не стеснялись даже интеллигенты. Литератор А. Тарасенков вспоминал о своем друге, который «сначала делился хлебом, потом начинает уносить кусочки своей жене»<sup>1139</sup>. Даже патетичная, стремившаяся всюду и всех увлекать своим примером К. Ползикова-Рубец в дневниковой записи 15 декабря 1941 г. признавалась: «Когда... кто-нибудь заходит, то угощаю кофе, но хлебом угостить не могу»<sup>1140</sup>.

Если и перестали обмениваться подарками, то это не означало, что у друзей исчезло чувство сострадания при виде бедствий близких им людей. Могут возразить, что это не требовало особого самопожертвования. Но важно было и само слово утешения. И выражение сочувствия – не пустые слова, их ведь надо было найти тому, кто сам нуждался в утешении. Друзей пытались обнадежить слухами о скором снятии осады – возможно, и сами хотели верить им<sup>1141</sup>. Участливость проявлялась и тогда, когда поводов для оптимизма было мало. Друзьям сообщали и о своих утратах, делились своими горестями. Е.П. Ленцман (Иванова) рассказывала, что при встречах с подружкой они расспрашивали друг друга о том, кто из родных умер – до тех пор, пока та не перестала выходить на стук в дверь: «Встретились мы с ней в детском доме»<sup>1142</sup>.

След дружбы оказался во многих случаях неистребимым. Это всегда замечаешь по коротким строчкам писем, отмеченных необычной теплотой, по остроте восприятия обычных житейских историй. «В часы отпуска забегает к нам, говорит: „Еще раз взглянуть на дорогие лица“. Каждый раз прощается, как навсегда», – вспоминала о своей подружке художница Е.Я. Данько<sup>1143</sup>. Сотрудник Эрмитажа А. Кубе, узнав, что его друг находится при смерти, почти сразу же, несмотря на проливной дождь, побежал к нему: «...Сидел долго и совсем замерз, так как в комнате было холодно, говорил, рассказывал, расспрашивал». Он даже в чем-то остался недоволен собой: «Ушел удовлетворенный, то есть отчасти». Запись

<sup>1137</sup> Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 20 сентября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 94.

<sup>1138</sup> См. воспоминания А.Б. Давидсон: «С середины ноября встречи между родственниками и друзьями – если они не жили совсем уж рядом или поблизости – почти прекратились» (Давидсон А.Б. Первая блокадная зима. Воспоминания // Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков. СПб., 2006. С. 543).

<sup>1139</sup> Динаров З. О тех, кто не герой... // Голоса из блокады. С. 153.

<sup>1140</sup> Ползикова-Рубец К. Они учились в Ленинграде. С. 65.

<sup>1141</sup> См. Молдавский Д. Страницы о зиме 1941–42 годов. С. 358; Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 1 С. 212, 215 (Записи 9 и 12 сентября 1941 г.).

<sup>1142</sup> Ленцман (Иванова) Е.П. Воспоминания о войне: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 4 об.

<sup>1143</sup> Е.Я. Данько – В.П. Бианки. 6 декабря 1941 г. // Бианки В.П. Лихолетье. С. 99.



не очень ясна. Может быть, ему не удалось в полной мере ободрить и поддержать друга: «Это понятно, ибо я поставил себе слишком высокие цели» – и он оправдывался тем, что Иван Михайлович выглядел лучше, чем ожидал<sup>1144</sup>. Сомнения, раздумья, какая-то педантичная тщательность оценки своих поступков – жив человек для друзей. В. Кулябко в дневнике приводил такие свидетельства заботы о нем друга: «...Звонил мне на службу, чтобы узнать, как я перенес бомбежку»<sup>1145</sup>. Отметим, что эти, порой и мельчайшие, проявления дружеских чувств, подчеркивались повсеместно: попутно, мимоходом и вскользь, особо и подробно, с ярким выражением благодарности или просто репликой.

И еще одно проявление сострадания – отклики на гибель друзей. «Ты не поверишь, как мне тяжела эта утрата», – писала Н.П. Заветновская дочери о смерти подруги<sup>1146</sup>. Эту же эмоциональность можно встретить и в других свидетельствах<sup>1147</sup>. Говорили о том, как мучились их друзья перед кончиной, жалели погибших – одаренных и талантливых, добрых и доверчивых, остроумных и обаятельных. Только самое лучшее запечатлевалось в горестных воспоминаниях друзей. И всплывало в них все, вплоть до мелочей: передавались даже оттенки речи, внешние приметы. Старались хотя бы на миг «оживить», воссоздать с особой полнотой, во всех штрихах ускользающий облик тех, кого любили.

## 2

Можно назвать несколько причин ослабления связей между друзьями в 1941–1942 гг. Прежде всего это голод, приковавший блокадников к постелям: порой им трудно было пройти и сотню метров. Транспорт не работал, и идти, качаясь от слабости, в лютый мороз, во время затемнения и под обстрелами мало кто решался. Люди старались как-то придерживаться добрых старых традиций и стеснялись приходиться с пустыми руками, без подарка. И не хотели, чтобы их заподозрили в стремлении поживиться чем-то за счет друзей. И опасались унижить хозяев, которым тоже было нечем угостить.

Не писали даже писем. Можно было оправдаться тем, что не имелось света, бумаги, чернил и плохо работала почта, но все понимали, что не в этом дело. Никто не пишет, некому отвечать, да и не хочется.

И тем не менее старались посещать друзей даже в декабре 1941 – январе 1942 гг.<sup>1148</sup>. Конечно, имело значение и то, насколько близко они жили. Часто рассказывали, как заходили к друзьям по дороге домой – это подчеркивали, этим оправдывались. И, вероятно, не случайно: не хотелось, чтобы подумали, будто зашли к ним нарочно, в надежде на угощение.

И все же гостей обычно старались накормить, кто чем мог, даже кофе из желудей, оладьями из ячменя с земляными примесями...<sup>1149</sup> Некоторые из них приходили со «своими» продуктами – если и не делились ими, то старались хотя бы не «объедать» других. А.Б. Птицын рассказывал об одном из них, который прятал кусочек хлеба и хвост селедки в портси-

<sup>1144</sup> А. Кубе – В.Д. Головчинер // С Васильевского острова на улицу Марата. С. 194.

<sup>1145</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 1. С. 213 (Запись 10 сентября 1942 г.).

<sup>1146</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 5 апреля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 55 об.

<sup>1147</sup> См. запись в дневнике А.С. Уманской о погибшем школьном друге: «Я ревела, как будто это был мой брат. Как жалко!» (Уманская А.С. Дневник: Там же. Д. 72. Л. 30); воспоминания Г.А. Павлушкиной о смерти ее друга: «Я не смогла сдержать слез. Я плакала от бессилия в борьбе со смертью» (Павлушкина А.Т. Записки военного врача. Цит. по: Будни подвига. С. 12).

<sup>1148</sup> А.Н. Кубе – В.Д. Головчинер. Декабрь 1941 г. // С Васильевского острова на улицу Марата. С. 185, 199; *Паназяй-Рейх* В. В. Рядом с фронтowymi дорогами // Без антракта. С. 185.

<sup>1149</sup> Ползикова-Рубец К. Они учились в Ленинграде. С. 65; Кочетов В. Улицы и траншеи. С. 324; Из дневника Галько Леонида Павловича. С. 517 (Запись 18 января 1942 г.); В.С. Люблинский – А.Д. Люблинской. 23 января 1942 г. // Публичная библиотека в годы войны. С. 22; Инбер В. Почти три года. С. 194 (Дневниковая запись 16 февраля 1942 г.).

гаре: «С этой закуской он обошел несколько друзей»<sup>1150</sup>. Видимо, такой случай не являлся исключением: «Вообще в гости приходили со своим хлебом»<sup>1151</sup>. Иногда и надолго переселялись к друзьям, особенно если они жили рядом, причем не только по их просьбе, но и по собственному почину – надо было выезжать из разбомбленных и промерзших домов с выбитыми стеклами<sup>1152</sup>. И, вероятно, не всем хотелось идти с «ордерами» к чужим людям: часто они были не очень рады незванным «подселенцам». Отказать друзьям не всегда решались, и нередко сложно понять, когда в первую очередь принимали во внимание понятие о долге и чести, когда в большей мере проявлялось сострадание, а где были просто рады тем, кто скрашивал их одиночество.

Помощь друзьям была разнообразной. Как это обычно бывает, она во многом обуславливалась «связями» тех, кто оказывал поддержку, и возможностями, которыми они обладали. Во многом, но не во всем. Всегда ведь имелась возможность отвернуться, не заметить, обмануть, оправдаться, уклониться – но чувство сопереживания нередко оказывалось сильнее. Трудно сказать, все ли делали для друзей, что могли. Те, кого спасали, рады были любому подарку, тем более неожиданному. Требовать большего, жаловаться на того, кто делился, выяснять, был ли он искренен, подозревать его в скупости означало нарушить правила такта и выглядеть неблагодарным. Никто не хотел, чтобы его воспринимали таким – ни тогда, ни позднее. Отсюда и сдержанность в описаниях подробностей, и стремление преувеличить значение помощи.

Но речь шла не только о хлебе. Помогали обессиленным дойти до дома или до столовой, хотя чаще всего это происходило, если встречи на улице были неожиданными или пути людей почти совпадали. Помещали в стационары и госпитали, записывали в списки эвакуируемых из города, устраивали на «хлебные» должности (в частности, медсестер). Детей, чьи родители слегли от голода и давно уже не вставали с постели, отводили в детский дом. Приносили ведомственный «бескарточный» обед, «отоваривали» продуктовые талоны, помогали нести тяжелые вещи и воду, советовали, как воспользоваться льготами, писали жалобы «на верх» о нарушении прав, приглашали помыться в квартиры, где еще имелась теплая вода<sup>1153</sup>. Один из блокадников, инженер, по просьбе друга даже осмотрел подвал его дома и сообщил, что во время бомбежки безопаснее стоять у лестницы<sup>1154</sup> – впрочем, это редкость, но ведь почти каждая из рассказанных блокадниками историй содержит нечто уникальное.

Делились блокадники с друзьями и самым ценным, что у них имелось – продуктами. Это могли быть черные сухари, сахар и даже деликатесы – сыр и вино<sup>1155</sup>. Делились едой со своими друзьями и дети – рассказы об этом особенно трогательны<sup>1156</sup>. Когда (что было

<sup>1150</sup> *Птицын А.Б.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 207.

<sup>1151</sup> Там же. См. также: *Готхарт С.* Ленинград. Блокада. С. 40; *Жилинский И.И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 16.

<sup>1152</sup> *Шварц Е.* Живу беспокойно. С. 623, 658; *Сильман Т., Адмони В.* Мы вспоминаем. С. 250; *Берггольц О.* Говорит Ленинград. С. 235.

<sup>1153</sup> *Шкroeва Е.П.* Искусство сражающегося народа // Без антракта. С. 139; *Алексеев А.С.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 21; *Михалева Н.Л.* Дневник. С. 304 (Запись 5 марта 1942 г.); *Глинка В. М.* Блокада. С. 178; *Ползикова-Рубец К.* Они учились в Ленинграде. С. 65; *Смирнова (Искандер) А. В.* Дни испытаний. С. 197; *Инбер В.* Почти три года. С. 194; *Хрусталева Н.* Воспоминания о четырехлетней девочке // Нева. 1999. № 1. С. 205; *Динаров З.* Блокадное эхо // Голоса из блокады. С. 378; *Тарасенков А.* Из военных записей. С. 20; *Логонова Т.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 58; *Лихачев Д. С.* Воспоминания. С. 492; *Фруменкова Т.Г.* Мы вышли из блокадных дней. Герценовский университет в годы Великой Отечественной войны. СПб., 2005. С. 156.

<sup>1154</sup> *Кулябко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 1. С. 217 (Запись 14 сентября 1941 г.).

<sup>1155</sup> *Павлушкина А.Г.* Записки военного врача // Будни подвига. С. 120; *Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 454, 466; *Кривободрова Е.* Великие уроки // Память. С. 347; В.С. Люблинский – А.Д. Люблинской. 22 ноября 1941 г. // В память ушедших и во славу живущих. С. 216. О том, как делились продуктами с друзьями, см. также: *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. С. 221; *Никитин Ф.М.* Из записок фронтового актера (июль 1941—январь 1942) // Без антракта. С. 35.

<sup>1156</sup> См. воспоминания Р. Малковой: «Я подружилась с одной девочкой в школе, и я стала ходить к ней и она другой раз

редким) отдавали целую буханку хлеба, ее тоже можно было счесть деликатесом<sup>1157</sup>. Говорить о том, что это стало проявлением лучших человеческих качеств, необходимо, но каким бы ни был щедрым человек, он не мог, конечно, вырвать кусок хлеба из рук своих детей, умирающих от голода. Перечень таких продуктов – это, разумеется, и реестр возможностей каждого из друзей.

«Посетил меня сегодня мой друг Петр Евгеньевич, принес горсть овсяной муки для киселя, а Иван Петрович принес три кильки», – перечисляет А.П. Остроумова-Лебедева в своем дневнике новогодние подарки<sup>1158</sup>. Чаще всего приношения и были такими малыми: луковица, суп – «вода с плавающими в ней черными листьями капусты»<sup>1159</sup>. И содержали они весь набор блокадных суррогатов. Л.А. Тихонова вспоминала, как отец ее школьной подруги отдал ей осколки костяных пуговиц – ему выдавали их на заводе, для того чтобы варить суп<sup>1160</sup>. Ничего другого у него не было: он умер от истощения через неделю.

### 3

Костяные пуговицы он подарил, узнав, как она голодает с сестрами и малолетним братом после смерти матери. Все было в блокадную зиму – и жестокость, и корысть, но как примечательно это первое, стихийное, благородное движение. Все страдают, но есть и такие, чья мера мучений стала непереносимой, и не утешить их нельзя – это правило не исчезло и в «смертное время». И понимали, что не все из друзей прямо решались просить о поддержке. Помогали без просьб<sup>1161</sup> – может быть, и не всегда щедро, но ведь это тоже должно быть оценено.

«Если бы я его не встретила на улице...не узнала бы: худой, грязный, голодный, шинель висит на нем, как сарафан», – описывала своего друга в дневнике А.Н. Боровикова<sup>1162</sup>. И ни о чем не надо было его спрашивать: «Я свела его в столовую, где ему дали супу без хлеба». И увидела она то, о чем догадывалась: «Скушал он две порции без хлеба с жадностью»<sup>1163</sup>.

«Оля! Я достану тебе кусок хлеба и еще достану», – сообщал в записке О. Берггольц один из ее друзей в ту пору, когда она, беременная, истощенная оказалась на краю бездны<sup>1164</sup>. С Л.П. Галько поделились горстью ячменя, увидев, как страшно изменилась его жена: она опухла «с ног до лица»<sup>1165</sup>. У Т. Нежинцевой в апреле 1942 г. умер муж: «В эти горькие дни меня навестил Всеволод Азаров, принес буханку хлеба»<sup>1166</sup>. Артистка А.В. Смирнова

---

давала мне есть хряпу и отруби» (*Махов Ф.* «Блок-ада» Риты Малковой. С. 225; воспоминания И. Балашовой (Маликовой): «Увидела свою маленькую подружку Нину. Она протянула мне небольшой сверток... В свертке оказался кусок белой булки, обильно намазанной сгущенкой» (Испытание. С. 54).

<sup>1157</sup> См. *Уствольская Н.М.* Воспоминания ленинградки // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 5. С. 89.

<sup>1158</sup> *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. С. 221 (Дневниковая запись 1 января 1942 г.).

<sup>1159</sup> Там же. С. 262; *Новиков В.Н.* Дневник. С. 216 (Запись 3 мая 1942 г.).

<sup>1160</sup> *Тихонова Л.А.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 249.

<sup>1161</sup> См. воспоминания Д. Молдавского: «Старуха нянька, вырастившая меня, Пелагея Семеновна Волобуева, иногда приходила к нам, чтобы попытаться впихнуть мне маленький кусочек сахара, где-то выменянный, где-то купленный» (*Молдавский Д.* Страницы о зиме 1941-42 годов. С. 355; воспоминания А. Гордина: «...Приходил Коля Басин, наш старый друг...спрашивал, не надо ли чем-нибудь помочь, обещал привезти немного дров» (Голоса из блокады. С. 473).

<sup>1162</sup> *Боровикова А.Н.* Дневник. 15 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 101.

<sup>1163</sup> Там же.

<sup>1164</sup> *Фадеев А.* Ленинград в дни блокады (Из дневника). С. 133.

<sup>1165</sup> Из дневника Галько Леонида Павловича. (Запись 18 января 1942 г.).

<sup>1166</sup> *Нежинцева Т.* Расскажу о своем муже. С. 344.

отнесла своему другу – «дистрофику», лечившемуся в стационаре, «немного махорки и что-то из продуктов»<sup>1167</sup>.

Никто из этих благородных людей не служил на «хлебных» местах. Они брали продукты из своих крохотных запасов. Не стовариваясь, каждый из них говорит, что подарок был скудным, хотя, казалось, что им мешало приукрасить свои поступки? Они просто не могли пройти мимо человеческой беды, а сделать это было легче всего. Зная, как все голодают, иногда стеснялись брать у друзей подарки, сколь бы крохотными они не являлись. Т.Д. Ригина писала о своей подруге, которая «категорически отказывалась» от помощи. Для того чтобы поделиться с ней, имелись веские основания. Она сама рассказала, как «варила из клея холодец, сосала таблетки „сен-сена“, когда-то купленные в аптеке»<sup>1168</sup>, и все-таки предпочитала голодать, чем обременять других. З.Н. Мойковскую подруга «долго уговаривала» взять кусочек хлеба с маргарином. Вид ее, вероятно, был ужасным. Подруга даже написала письмо мужу Мойковской с просьбой быстрее приехать, если он хочет застать ее в живых<sup>1169</sup>.

Предлагая друзьям взять продукты, иногда даже придумывали разные отговорки, чтобы те не испытывали стыд. «Пришла Дуня, принесла кусочек дуранды (жмыхи). Сама она не ела – у нее энтерит», – отмечала в записках Н.В. Ширкова<sup>1170</sup>. Дуранда ценилась высоко. Едва ли подруга считала свою болезнь неизлечимой и была уверена в том, что этот продукт не понадобится ей самой: за него, например, можно было получить масло и хлеб. Канва житейских разговоров между друзьями с их обычными увещаниями («не стесняйтесь, берите», «есть еще, это не последнее», «мне они не нужны, я их не ем») в какой-то мере проявлялась и во время войны. Правда, с каждым днем блокады желающих бескорыстно поделиться становилось меньше. Не нужны были при этом ни объяснения, ни оправдания. Делали, что могли. У каждого имелась своя шкала чести, отчасти не совпадавшая с общепринятой. Определить точно, много или мало помогал человек, никто не умел, хотя подсчеты благодарностей и велись нередко в дневниках; спасали порой и несколько крупинок сахара.

Было бы неверным считать, будто за подарки не ожидали воздаяния. Редко, конечно, намекали, что ждут ответного шага. Но часто более устойчивыми оказывались те отношения между друзьями, которые были отмечены *взаимной* поддержкой. Об этом не всегда говорилось прямо в блокадных документах, но можно было догадаться и по косвенным свидетельствам. Одна из актрис рассказывала, как ей помог доставить пакет с продуктами домой ее друг, тоже артист – сама она была сильно истощена<sup>1171</sup>. Не домысливая лишнего, стоит предположить, что он не мог не надеяться получить хотя бы горсть чего-нибудь... Никто не требовал равноценного подарка, но когда друзья приходили, и не раз, с пустыми руками, их принимали далеко не так, как это было в прошлом. И деликатно давали понять, что их посещения тяжелы и неуместны, хотя и понимали, какие бедствия терпят «дистрофики», и знали, что их ни в чем нельзя упрекнуть.

Обмен подарками происходил естественно. Каждый давал то, что способен был дать. В.С. Люблинский попросил домработницу постирать белье, отдав полено и 80 г хлеба; его угостили чаем с двумя кусочками сахара<sup>1172</sup>. Придя на прием к своему другу-врачу, он принес ей «скрученную из остатков папиросу»<sup>1173</sup>. И мать А. Запаладова, получившего ожоги во время тушения зажигательных бомб, отдала знакомому врачу 10 руб., сумму не очень значи-

<sup>1167</sup> Смирнова (Искандер) А. В. Дни испытаний. С. 196.

<sup>1168</sup> Ригина Т.Д. Карельское студенческое братство. С. 37.

<sup>1169</sup> Мойковская З.Н. Откуда берется мужество. С. 48.

<sup>1170</sup> Воспоминания Н.В. Ширковой: Архив Е.В. Шуньиной.

<sup>1171</sup> Смирнова (Искандер) А.В. Дни испытаний. С. 197.

<sup>1172</sup> В.С. Люблинский – А.Д. Люблинской. 25 февраля 1942 г. // Публичная библиотека в годы войны. С. 225.

<sup>1173</sup> Люблинский В.С. Бытовые истории уточнения картин блокады. С. 158.

тельную<sup>1174</sup>. Отдельные фрагменты записок Э. Соловьевой – это именно детальные описания тех случаев, когда друзья пытались отблагодарить за подарок. Она помогала близкой ей семье вытаскивать из подвала дрова и даже отдала «скопившиеся папиросы». А это являлось настоящим богатством: их часто меняли только на хлеб. И друзья стремились оказывать ей «всестороннюю помощь»: отдавали подсолнечные жмыхи и дуранду<sup>1175</sup>.

Этот обычай взаимного дарения оказался неискоренимым. Менялись только размеры подарков и становился едва ли не экзотичным их перечень. Житейские истории многообразны и неоднозначны, и если позволительно здесь использовать парадоксы, то скажем, что каждая из них типична по своему. Рассказы интеллигентов в силу присущей им литературной отделки более четко, с благодарной сдержанностью, без суетливости и суесловия выделяют щепетильность друзей. Отметим здесь воспоминания филолога С.А. Рейсера о его друге В.В. Гиппиусе – знатоке творчества Гоголя. Вместе они питались дурандой с дельфиньим жиром в столовой Дома ученых, вместе грели кипяток в квартире С.А. Рейсера. Печь там растапливалась книгами и В.В. Гиппиус отмечал, какую из них он не имел в своей библиотеке<sup>1176</sup>.

По характеру действий каждого из участников этой сцены можно составить представление о норме этикета, которого все еще старались придерживаться голодные люди. С.А. Рейсер решил отдать часть книг своему другу. Он писал позднее, что их судьба ему была «в это время безразлична» – видимо, то же самое мог услышать от него и Гиппиус, который не решался принять дорогой подарок. Найдены были слова, призванные ослабить чувство стыда у собеседника – но и последний стремится не остаться в долгу: «...Отказался взять их даром, а предложил деньги и какое-то количество чего-то, относительно съедобного»<sup>1177</sup>.

Взять съестное у изможденного человека, корыстно пользуясь его любовью к книгам? Нет, если уж хочется, чтобы он не испытывал унижения, надо принять от него что-нибудь, не столь нужное для него. Он согласился взять деньги... На «них почти ничего... купить было невозможно», – оправдывался Рейсер, и эти слова были сущей правдой; едва ли речь могла идти о громадной сумме. И здесь, у порога смерти (В.В. Гиппиус умер через несколько недель) два друга обдумывают, как деликатнее, никого не ущемляя, осуществить этот обмен.<sup>1178</sup>

#### 4

Нередко и прямо обращались к друзьям за поддержкой, будучи беспомощными, в минуту крайней нужды<sup>1179</sup>. При этом, не стыдясь, говорили о том, что голодны, ожидая встречного шага, а нередко без обиняков требовали их покормить. Обращались в то время часто и к незнакомым людям, но у друзей было просить не легче: хорошо знали, как они живут. Было унижительно, и понимали, что так поступать нельзя, но не удерживались, ели все, что им предлагали. Получить хлеб мало кто надеялся. Просили даже кошек, часто оправдываясь тем, что хотели накормить голодных детей<sup>1180</sup>. Очевидно, осознавали, как воспри-

<sup>1174</sup> Западалов А.И. Несостоявшийся юнга // Нева. 2004. № 1. С. 229.

<sup>1175</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 278.

<sup>1176</sup> Рейсер С.А. Воспоминания. Письма. Статьи. СПб., 2006. С. 33.

<sup>1177</sup> Там же.

<sup>1178</sup> См. также рассказ И.А. Бродского о художнике И.Я. Билибине, предложившем подарить фотоаппарат «Лейка»: «Я отказался принять щедрый подарок и с трудом уговорил Ивана Яковлевича продать мне аппарат» (Бродский И.А. В дни блокады // Иван Яковлевич Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 291).

<sup>1179</sup> Вечтомова Е. Маленькая дочь большого времени. С. 337; Женщины и война. С. 302; Быльев И. Из дневника. С. 333; А.Н. Кубе—В.Д. Головчинер // С Васильевского острова на улицу Марата. С. 200.

<sup>1180</sup> «У маминной подруги была кошка Муха, так мама пошла к ней и попросила Муху для нас, голодных детей» (Волкова Л.А. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 78; один из «давних знакомых» семьи Т. Максимовой, попросив

мут друзья такие просьбы, и никто не хотел выглядеть в их глазах человеком, полностью опустившимся.

Приход этих гостей иногда вызывал досаду, но отказывали им редко. Делились обычно суррогатами, а когда одаривали «натуральными» продуктами, почти каждый из блокадников подчеркивал их сугубую скудость<sup>1181</sup>. И редко кого из друзей бросали в беде, хотя говорить о полноценной помощи им не приходится. Откликаясь на просьбы, люди постепенно преодолевали свое безразличие, пристальнее и сердечнее вглядывались в тех, кто оказался у последней черты. Сердились на себя за неуместную щедрость, готовы были даже отступить – и продолжали помогать. В том упорстве, с которым боролись за жизнь друзей, есть что-то неброское, пожалуй, и рутинное. Его порой трудно понять, но в нем всегда проявляется высота духа и сила сострадания. Яркий пример этого – дневник Л.А. Ходоркова.

«Позвонил Сашка. Просил помочь. Позвонил, что придти не может, ноги не слушают. Был у него 28/XII, принес поесть. Еще два-три дня – умер бы. Как его спасти... Сашка страшен...»

4/1-42...Вечером иду к Сашке. Несу покушать. Темно, иду с трудом. Промок весь. Отдыхал у него час. Не было сил идти на станцию. Кажется, спасу...

7/1-42. На попутной машине завез Сашке каши, хлеба, котлет из конины. Ему лучше. Пытался даже выйти на улицу. Правда безуспешно.

... 10/1-42. Сегодня был у Сашки. Отвез немного поесть. Попал под артиллерийский обстрел. Саша очень плох...

18/1-42. Был у Сашки. Принес ему поесть. Вернулся без сил. Еле дошел.

29/1-42...Сегодня был у Сашки. Завез кушать. Очень плох... 9/II-42. Сегодня уехал Сашка. Не зря делился едой»<sup>1182</sup>.

Так, без пафоса, скупое и деловитое, даже монотонно, описано это чистейшее проявление человеческого милосердия.

## Соседи

### 1

Блокадный быт во многом спланивал людей, объединяя и тех, кто до войны жил обособленно даже в коммунальной квартире, почти не интересуясь судьбами соседей. Это являлось неизбежным. Чаще всего стали встречаться на кухне, у печки, из-за холода могли сидеть здесь часами. Не всегда это было похоже на идиллию. «Теплых» мест не хватало, их старались занимать пораньше и не хотели уступать тем, кто из-за тесноты не смог сразу пробиться к печке<sup>1183</sup>.

Именно здесь и велись долгие беседы обо всем. Узнавали новости, выясняли, кто погиб, а кто уцелел, где и что можно купить или обменять. И нескончаемыми являлись разговоры о том, что ели в прошлые годы, с перечнем самых «аппетитных» яств – они столь же прочно удерживали людей рядом друг с другом, как и потребность в тепле<sup>1184</sup>. Во время обстрелов жильцы старались уходить из комнат в коридоры и на лестницы – почему-то они

---

кошек, также сослался на то, что у него три сына (Максимова Т. Воспоминания о ленинградской блокаде. С. 39).

<sup>1181</sup> См. воспоминания Т. Максимовой: «Мама предложила гостю кипятку из самовара и достала единственную у нас в тот день еду — 2 блокадные конфеты, смесь мякины с сахарином, каждая весом в 5–7 грамм» (Максимова Т. Воспоминания о ленинградской блокаде. С. 39).

<sup>1182</sup> Ходорков Л.А. Материалы блокадных записей: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 10–13.

<sup>1183</sup> Воспоминания Н.В. Ширковой // Архив Е.В. Шуньгиной.

<sup>1184</sup> См. Григорьев В.Г. Ленинград. Блокада. С. 42.

считались более безопасными. Здесь утешали, ободряли, наставляли и даже читали детям соседней сказки<sup>1185</sup>. И обязательные дежурства также спланивали блокадников. «Все в доме перезнакомились во время дежурств и все разговаривали о том, где достать продуктов. На дежурстве я познакомилась с женщиной, которая мне предложила спать с детьми в комнате первого этажа окнами во двор», – вспоминала З. Лихачева<sup>1186</sup>.

Иногда даже приходили жить к соседям. Причин было много – это и голод, и холод, и одиночество, и желание уйти из комнат, где лежали трупы родных. Нам не всегда ясны мотивы тех, кто пускал к своему очагу. О корыстности таких действий никто не говорит, хотя, конечно, труднее было выстоять в одиночку. Моральные правила поддерживались во всех этих обусловленных стремлением выжить связях мало знакомых и совсем незнакомых людей. «Оживлялись» они добрым советом, напутствием, предложением посильной помощи.

И приобретение хлеба для соседей являлось одновременно и способом выживания, и средством поддержания нравственных заповедей. Помогали тем, кто заболел или слег, кто из-за слабости не мог далеко ходить<sup>1187</sup>. Нередко соседи сменяли друг друга во время долгих стояний в очередях<sup>1188</sup>. Здесь и упрочались чувства сострадания и солидарности с голодными людьми. Естественное для человека желание удивить других, услышать их восторженную благодарность наблюдалось иногда и в тех случаях, когда «очередникам» удавалось неожиданно купить хлеб на всех или узнать о радостных новостях. «Стук в дверь и та идет прямо в нашу комнату, не заходя в свою», – вспоминал Л. Рейхерт о соседке, которой во время ее дежурства у булочной «повезло»<sup>1189</sup>. И мать другого из блокадников, увидев, что увеличили паек, прежде всего пошла не к своим детям, а именно к соседям: «Вставайте скорее, идите в булочную, хлеба прибавили»<sup>1190</sup>.

Забота о сиротах тоже нередко ложилась на плечи соседей. Содержать их после смерти родителей они, конечно, не могли: слишком велик был груз. Но часто и не бросали беспризорных детей. Опекали, как могли<sup>1191</sup>, и нередко направляли в детские дома – либо отводили сами, либо передавали записки в райкомы комсомола. Оказывали они и другие добрые услуги. «По заявлению соседей к нам пришла комиссия и карточки восстановили», – вспоминала Л.А. Тихонова<sup>1192</sup>. У нее в декабре 1941 г. умерла мать, а «карточки», по которым кормились она и ее младшие сестры и брат, были утеряны.

<sup>1185</sup> Ильин И. От блокады до победы. С. 178; Ратнер Л. Вы живы в памяти моей. С. 141.

<sup>1186</sup> Рассказ З. Лихачевой цит. по: Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 465.

<sup>1187</sup> Воспоминания М.Я. Бабича цит. по: Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. С. 46; Интервью с В. Г. Григорьевым. С. 104; Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 1. С. 214, 221; Волкова Л.А. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 79.

<sup>1188</sup> Ползикова-Рубец К. Они учились в Ленинграде. С. 83 (Дневниковая запись 27 января 1942 г.); Рейхерт Л. Мать и нас двое. С. 414.

<sup>1189</sup> Рейхерт Л. Мать и нас двое. С. 414.

<sup>1190</sup> Память о блокаде. С. 43. См. также: Стенограмма сообщения Ю.П. Маругиной: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 149. Л. 21.

<sup>1191</sup> Даев В.Г. Пинкевич, Зощенко и другие. СПб., 2000. С. 47; Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. С. 171, 193. В дневнике О.Р. Пето описана история семьи В.А. Кузнецова. Его жена попросила соседку, у которой жила (там было теплее), после ее смерти отвести детей в Октябрьский райсовет. Соседка так и поступила, положив в карманы пальто мальчиков «записки с именем и фамилией». Судьба семьи была трагичной: один из детей умер прямо в райисполкоме, а другой был эвакуирован, и отец потерял его следы (Пето О.Р. Дневник розыска пропавших в блокаду: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 51/2. Л. 81–82). См. также запись рассказа воспитанника детского дома Андропова о том, что произошло после смерти матери: «Меня забрала к себе соседка, вымыла меня в корыте, одела в чистое белье» (Цит. по: Раскин Л. Дети великого города. С. 70).

<sup>1192</sup> Тихонова Л.А. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 249.

Обращались соседи к комсомольским бытовым отрядам и в тех случаях, когда другие жильцы теряли силы и не могли заботиться о себе<sup>1193</sup>. Ожидание помощи соседей иногда являлось последней надеждой умиравших родственников. Примером может быть история Т. Логиновой, переселившейся к тете после смерти матери: «Еды у нас не стало совсем. Тетя согревала самовар, наливала кипяток в чашку, рядом ставила солонку. Мы макали пальцы в соль и запивали теплой водой. А потом слегла и тетя. И велела нам возвращаться домой, к соседям»<sup>1194</sup>.

Разумеется, соседям приходилось принимать участие и в похоронах жильцов, умерших в их домах. Работа эта была тяжелой даже для здоровых людей и потому не всегда и не все могли откликнуться на просьбу о поддержке. Обычно хоронить помогали только дворники, чей труд оплачивался<sup>1195</sup>. Это являлось их обязанностью, но все понимали, что имелось много способов уклониться от выполнения своего долга. Да и традиции не позволяли полностью перекладывать заботу о погребении родных на плечи чужих людей, не давая им ничего взамен. Бывали случаи, когда родственники или друзья не могли заплатить дворнику и должны были обращаться к соседям. С. Магаева, пытаясь похоронить преподавательницу, учившую ее музыке, писала, какие мытарства ей при этом пришлось испытать: «Килограмм хлеба собрать не удалось. Кусочки хлеба отдали дворнику, прибавив какие-то вещи покойной»<sup>1196</sup>.

Проводились такие «сборы», однако, крайне редко. Все голодали, и каждый должен был рассчитывать лишь на себя. Расплачивались с дворником часто хлебом, который удавалось «накопить» за счет пайка умерших<sup>1197</sup>. Но этим обычно занимались родные, а соседи не очень-то церемонились с трупами тех, у кого в живых не оказалось никого из близких. Тела выбрасывали на улицы и подбрасывали в чужие дома и дворы<sup>1198</sup>. Многих соседей еще удерживали слабость здоровья и боязнь наказаний – но не всех. Они не собирались платить за других людей, но испытывали брезгливость и страх при виде мертвых и опасались эпидемий. И. Ильин рассказывал, как привез подарки от командира батальона его жене и дочери, оставшимся в Ленинграде. «У них и форточку открыла, чтобы они на холоде лежали», – ответила, плача, соседка<sup>1199</sup>, но едва ли у всех быстро могло пройти искушение разом покончить с этим ужасом.

## 2

Во время блокады уменьшалось число тех благодеяний, которыми привыкли обмениваться малознакомые люди. Соседи – не родственники, их редко одаривали хлебом, величайшей драгоценностью «смертного времени». И вода была ценностью. Одна из блокадниц в своих записках особо отмечала, как сосед, «скромный, тихий бухгалтер», испытывая нужду, «осмелился зайти к нам, чтобы попросить кипятку»<sup>1200</sup>. Ему не отказали, но ведь известны и другие случаи. Вот переданный воспитателем детского дома рассказ шестилет-

<sup>1193</sup> Волкова Л. Первый бытовой отряд. С. 181.

<sup>1194</sup> Рассказ Т. Логиновой цит. по: Разумовский Л. Дети блокады. С. 58.

<sup>1195</sup> Мухина Е. Дневник. 11 февраля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 82 об.; Смирнова (Искандер) А.В. Дни испытаний. С. 196.

<sup>1196</sup> Магаева С. Ленинградская блокада. С. 39.

<sup>1197</sup> Разумовский Л. Дети блокады. С. 56.

<sup>1198</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 9 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 50 об.; Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 249 (Запись 20 февраля 1942 г.); Стенограмма сообщения Александрова М.Г.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 2. Л. 32.

<sup>1199</sup> Ильин И. От блокады до победы. С. 181.

<sup>1200</sup> Максимова Т. Воспоминания о ленинградской блокаде. С. 43.



него мальчика-сироты. Он увидел, что его мать, вернувшись домой, упала на пол: «Я испугался, побежал воды просить у соседней. Они не дали воды, воду было трудно привозить»<sup>1201</sup>. В.Н. Никольская писала о своей тете, жившей в тяжелейших условиях: «Температура комнаты минус 2. Хлеба нет 1½ суток, ни глотка воды и никакой еды... давно. Воды нет 10 дней». Но и это разжалобило не всех: «...Выпрашивает в день чашку, две воды у соседней. Дают неохотно»<sup>1202</sup>. Обращалась ведь не один-два раза, а каждый день – и ожесточились люди, у которых и без того было много забот.

Обмен между соседями иногда принимал столь экзотичные формы, что его «взаимовыгодность» определить трудно. П.М. Самарин отдал молоко соседке, угостившей его кофе<sup>1203</sup>. Семья Л. Ратнера получила стакан пшена за чемодан, который понадобился уезжавшим в эвакуацию соседям<sup>1204</sup>. Мать Л. Рейхерт делилась продуктами с дворничихой – та смогла «отоварить» все ее «карточки», а это было крайне трудно<sup>1205</sup>. Е.А. Кондаков вспоминал, как варил суп из очисток, отданных ему соседкой, – им он кормился вместе с ее дочерью, которую мать оставляла дома на его попечении<sup>1206</sup>.

Соседка Н. Соболевой попросила ее привести на «елку» сына – ей удалось приобрести два билета. Видимо, они условились о том, что часть продуктов, если удастся, она принесет домой; девочке удалось на «елке» выпить чай с печенинкой<sup>1207</sup>. А. Каргина и его бабушку соседка угостила лепешками из муки и детской присыпки: «Мы ей подарили чесночной настойки»<sup>1208</sup>. Другой семье удалось купить елку перед новогодним праздником и сосед, работавший в порту, предложил обменять ее на «ящичек сказочной американской кураги»<sup>1209</sup>.

«Сделка состоялась, курага спасла нам жизнь»<sup>1210</sup> – мы не знаем, всегда ли обмен имел такое значение для судеб людей, но то, что он помогал им выстоять и сохранить нравственные устои – несомненно. Эта солидарность живших рядом ленинградцев, осознавших, что им в одиночку не выстоять в блокадном кошмаре, не исчерпывалась, конечно, только дележкой еды. Свидетельства фрагментарны, но и из них мы узнаем, что помогали эвакуироваться соседям, утепляли их комнаты, носили им письма<sup>1211</sup>. Менялись обычаи, становились более жестокими нравы, но даже и ритуал угощения соседней не исчезал полностью. Чаще делились суррогатами и «отходами» – картофельными очистками, соевыми продуктами, столярным клеем, лепешками из кофейной гущи, клеевым соусом, – но и не только ими<sup>1212</sup>. Ничто не было лишним: нередко то, что называли «бурдой», соседи ели за одним столом. И здесь стремились, как и везде, хоть чем-нибудь отблагодарить за помощь.

<sup>1201</sup> Цит. по: *Раскин Л.* Дети великого города. С. 69.

<sup>1202</sup> *Никольская В.Н.* У тетки: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 907. Л. 6.

<sup>1203</sup> *Самарин П.М.* Дневник. 2 апреля 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 Л. Д. 338. Л. 109.

<sup>1204</sup> *Ратнер Л.* Вы живы в памяти моей. С. 147.

<sup>1205</sup> *Рейхерт Л.* Мать и двое нас. С. 413.

<sup>1206</sup> *Кондаков Е.А.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 123.

<sup>1207</sup> *Лаврентьева Л.И., Соболева Н.В.* [Запись воспоминаний] // Там же. С. 152.

<sup>1208</sup> Запись в дневнике школьника А. Каргина 13 января 1942 г. цит. по: *Буров А.В.* Блокада день за днем. С. 123; см. также его запись в дневнике 23 февраля 1942 г.: «Утром мы сменялись с одной хозяйкой из нашего дома. Мы ей дали картошки сушеной 50 г, а она нам дала 50 г сушеного лука» (Там же. С. 147).

<sup>1209</sup> *Максимова Т.* Воспоминания о ленинградской блокаде. С. 46.

<sup>1210</sup> Там же.

<sup>1211</sup> *Нежинцева Т.* Расскажу о своем муже. С. 348; *Глухова Г.* И был случай... С. 221; *Лисовская В.М.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 158.

<sup>1212</sup> *Самарин П.* Дневник. 23 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 338. Л. 59; *Глинка В.М.* Блокада. С. 178; *Буров А.В.* Блокада день за днем. С. 124; Память о блокаде. С. 82, 83.

## 3

Разумеется, отношения между соседями не всегда являлись теплыми и дружескими. И до блокады «коммунальные» ссоры были обычным явлением. Война не всегда стирала неприязнь соседей к другим жильцам, иногда и усугубляла ее. Отмечалось и воровство<sup>1213</sup>, стремление выжить за счет других<sup>1214</sup>.

На кухне грелись все и видели, кто и чем питался – как при этом не могли возникнуть раздражение и зависть? Здесь же находились и маленькие дети. Будучи, как и прочие, голодными, они смотрели, как кормят других людей<sup>1215</sup>. Им не все можно было объяснить, они не всегда способны были понять, что им положено, а что нет. Они смотрели, надеясь, что им что-то перепадет – и еще много другого, тягостного, постыдного случалось на этих блокадных коммунальных кухнях. Одна из девочек, переживших войну, позднее вспоминала, как варили в кастрюле суп из принесенного матерью стакана гороха: «А соседка учуяла наверху, и она прибежала: „Девочки... горох готов“». И несколько раз она приходила, ожидая, что ее угостят. Наверное, и эта соседка когда-то делилась с ними или была их хорошей знакомой – но люди испытывали такой голод, что отдать еду теперь не могли: «Когда эта Надька ушла, мы набросились на него, естественно, и говорили: „Как хорошо, что она пришла. Он у нас хоть разварился“»<sup>1216</sup>.

Самые горькие истории – о том, как соседи обворовывали попавших под их опеку сирот и тем самым обрекали их на смерть. Едва ли это всегда было обдуманном расчетливым шагом – но логика корысти, когда детей брали к себе только потому, что у них имелись «карточки», неизбежно вела именно к такому концу.

«Соседи вынесли к себе из нашего дома все, что могли унести. Они же взяли меня к себе, но весной перестали давать еду, и я у них в огороде ел всякую траву. Однажды услышал, как хозяин сказал своей жене, чтобы она не давала мне ничего, т. к. „он должен умереть“», – сообщал позднее один из воспитанников детского дома<sup>1217</sup>. Ему чудом удалось спастись. Он ушел к другим соседям и те отдали его в приют. Расскажем и еще об одной истории. Она описана в дневнике М.В. Машковой. Полугодовалый мальчик, несколько дней сидевший у трупа бабушки, был принят на иждивение семьей дворника. На этой трагедии решили пожить. У погибших родных мальчика взяли «карточки» и поэтому «не торопились с оглаской и похоронами». Ребенок, похоже, их не очень интересовал: «Обовшивел, высох, получил тяжелые пролежни»<sup>1218</sup>.

В том, что младенцы-сироты оказались в таких условиях, не всегда проявлялся жестокий умысел. Где достать необходимое для вскармливания молоко, как избавиться от вшей, ставших бичом всех горожан? Где выстирать пеленки, если нет ни воды, ни дров? И смирялись с блокадным бытом, как с неизбежным злом, как постепенно смирялись и с другими, недопустимыми ранее отступлениями от обычной этики. Безразличие и апатия были спутниками «смертного времени». У таких историй мало свидетелей, но и случайными их назвать нельзя. Ради куска хлеба были готовы на все, и это происходило не только тогда, когда речь шла о детях. Ребенок доверчив, не умеет за себя постоять, и велико искушение воспользо-

<sup>1213</sup> См. воспоминания З. Лихачевой. Цит. по: *Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 448.

<sup>1214</sup> См. воспоминания Е.А. Скобелевой: «...Чтобы переехать, требовалась машина. Машину давали только за дрова. И вот соседи выше этажом указали начальнику госпиталя на наши дрова, их перевезли, а мы остались без дров» (*Скобелева Е.А.* Родина моего детства. С. 12).

<sup>1215</sup> См. *Налегатская А.В.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 191–192.

<sup>1216</sup> Интервью с Л.П. Власовой. С. 69.

<sup>1217</sup> Цит. по: *Котов С.* Детские дома блокадного Ленинграда. С. 186.

<sup>1218</sup> *Машкова М.В.* Из блокадных записей. С. 24 (Запись 5 марта 1942 г.).

ваться его наивностью и беспомощностью, когда голод выворачивает человека наизнанку. За закрытой дверью отнимают еду у младенца, а кому он скажет о своих страданиях?

#### 4

С каждым месяцем все больше и больше обнаруживалось слабых и опустившихся людей – как им всем помочь? И клеймо блокады отпечатывалось даже на лицах дворников, чьи места считались «хлебными» – не все ведь воровали. И.С. Глазунов рассказывал, что члены его семьи, пытаясь похоронить бабушку, просили «толстую до войны, а теперь не узнаваемо тощую как скелет, добрую тетю Шуру, дворничиху взять вместо 350 граммов хлеба 200». Добавили еще 100 руб. – и «лишь после долгих уговоров она согласилась»<sup>1219</sup>. Д.С. Лихачев вспоминал, как стал отказываться дворник, помогавший ему ранее, носить дрова<sup>1220</sup>. И даже в цензурованном биографическом очерке 1940-х гг. было отмечено, что не хотел дворник идти с дружинницей в «выморочные» квартиры, хотя это являлось его долгом<sup>1221</sup>. Ломались и они, как надеялись, более стойкие, под свинцовой тяжестью блокады.

Окончательно ли в «смертное время» изгладилась следы дружеского общения живших рядом людей? Нет. В рутине блокадного прозябания они не всегда различимы, но там, где человек находился на пороге смерти, где его участь вызывала неизменное чувство жалости – там милосердие иногда оказывалось выше черствости и своекорыстных расчетов.

Первое движение – самое благородное. Дошедшие до последней черты люди, невзирая на стыд, стучались в любые двери, просили, плакали, умоляли. И застигнутые врасплох соседи, такие же истощенные, не всегда готовые поделиться с другими, старались что-то им дать, пусть и немного. А нередко и прямо предлагали помощь без просьб – ни отвернуться, ни пройти мимо не могли. Соседка В. Кулябко, узнав, что у него мало еды, принесла ему 300 гр. хлеба и пачку риса-сечки. «Недалекий, но добрый она человек», – записал В. Кулябко в дневнике 17 сентября 1941 г.<sup>1222</sup>

Сколько же держалось на этих «недалеких» людях, жалостливых, не умеющих ловко увернуться от просящего взгляда и тут же, в первую минуту, растерянно ищущих, чем бы помочь! Могут возразить, что в сентябре 1941 г. и голода еще не было – но ведь то же мы наблюдаем и позднее. «Все было. И с соседями сухарями делились – последний кусок пополам, а видит, плохо человеку, так и совсем все отдаст», – вспоминала Р.В. Машукова<sup>1223</sup>. Это не патетический возглас, обычный для блокадников, говорящих о прошлом и желающих видеть его в нарочито облагороженном виде. Вот история «выморочной» квартиры: умерла женщина, ее муж, обессиленный от голода, лежит рядом с ней и не может отодвинуться. Описание соседки, помогавшей ему, нескладно и прерывисто – это верный признак испытанной ею горечи и волнения: «И вот мама следила, чтобы огонек был, чтобы он лежал, то... кипяточек разогревала и горячий ему поила»<sup>1224</sup>. Чувство жалости многое объясняет и в поступках другой блокадницы. К ней в квартиру вселили из разбомбленного дома женщину с двумя детьми – и по сбивчивому рассказу мы отчасти поймем, почему оказывалось неистребимым милосердие: «Три года мальчонка был и девчущечка еще, совсем маленькая девчущечка... Я вот начинаю печь эти штучки [лепешки из овса. – С. Я.], он придет в комнату,

<sup>1219</sup> Глазунов И.С. Россия распятая. Т. 1. Кн. 2. С. 103.

<sup>1220</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 466.

<sup>1221</sup> Цукерман С. Дружинница. С. 34.

<sup>1222</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 1. С. 219.

<sup>1223</sup> Машукова (Круглова) Р.В. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 174. См. также: Интервью с Г.Н. Игнатовой. С. 254.

<sup>1224</sup> Цит. по: Память о блокаде. С. 112.

смотрит: „Пети, пети“ – лепешку так называет, и вот я ему эти лепешки, лепешки и этого мальчонку тоже подкармливала. Просто я прямо не могла...»<sup>1225</sup>.

## 5

А.А. Вострова рассказывала о соседке, которая не имела сил встать. Как же ее бросить, ведь для нее это означает смерть – «мы выкупили хлеб, приносили ей, ухаживали за ней»<sup>1226</sup>. Другая блокадница купила 1 кг белой муки «для своих умирающих соседок»<sup>1227</sup>. Те когда-то спасли и ее, но ведь можно было этим и пренебречь – кто в блокаду жил по бухгалтерским книгам, четко определяющим приход и расход? И когда Т.И. Сахарова упала в обморок от недоедания в школе, мальчик, учившийся с ней, сообщил об этом матери-дворнику и та помогла: «Она пришла, позвала меня к себе... и дала целую тарелку щей из хряпы»<sup>1228</sup>.

Конечно, не все соседи, остро пережившие в первый момент чувство сострадания, были способны на более продолжительный отклик. Но встречали и таких. У К.Ф. Федоровой умерли почти все родные. Даже белье она постирать не могла: «дистрофиком была». Всего этого не мог не знать сосед, работавший официантом в ресторане, превращенном во время войны в столовую. Нуждался он, наверное, меньше других – ив нем что-то прорвалось: «Однажды он позвал меня и спросил: „Ты есть хочешь“. И он взял нас с собой в ресторан». Конечно, о полноценной еде речи не шло: «Объедки кидал». Она, наверное, могла подобрать и иное слово, но это показалось самым точным. И к чему было спорить о его оттенках, и зачем было стесняться его прямоты, если понимали, как избежали мук голода: «Наемся, да еще и с собой возьму. Так я и продержалась»<sup>1229</sup>.

Г.П. Петров, сосед блокадницы Е. Тихомировой, знал, что слегла ее мать и бабушка. Он работал шофером на «Дороге жизни» и, бывая дома, привозил им дрова и даже еловые ветки; может быть, ими и надеялись побороть цингу. И когда ее матери стало совсем плохо, отвез в больницу, а после ее смерти спас и дочь, передав ее в ДПР<sup>1230</sup>.

И сочувствовали тем, кто лишился родных и близких. Соседи старались их утешать, опекать – хотя бы в первое время после трагедии. Е. Мухина записала в дневнике, как попросила у соседки «взаймы чайную ложку сахарного песка»<sup>1231</sup>. Это произошло через несколько дней после кончины матери. Сахар считался богатством, и не могли быть уверены, сумеет ли школьница, ставшая сиротой, вернуть его – но и не решились пройти безучастно мимо человеческого горя. Е. Кривободрову после гибели в январе 1942 г. матери соседка Р.Я. Козлова поселила у себя, «обогрела, дала выпить горячей воды и предложила ложку каши из дуранды». Она и позже помогала ей: «...Подбодряла меня добрым словом, теплом печурки, горячей водой, а то и крупницей еды»<sup>1232</sup>.

Обратим внимание на эти подарки. Все крохотное, все достается невероятными усилиями, да и отдается, наверное, с трудом – но отдается. «Крупница еды», переданная сироте – разве она была бы лишней для того, кто питался столярным клеем? Эти истории о песчинках сахара, крупинках пшена, крошках хлеба встречаются не один раз, когда говорят о помощи

<sup>1225</sup> Память о блокаде. С. 83.

<sup>1226</sup> Интервью с А.А. Востровой // Нестор. 2003. № 6. С. 89.

<sup>1227</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 40 (Запись 3 апреля 1942 г.).

<sup>1228</sup> Интервью с Т.И. Сахаровой // Нестор. 2003. № 6. С. 200. См. также рассказ В. Байкова о том, как он упал в обморок на Невском проспекте: «Как только соседи узнали... сочли необходимым помочь, кто чем мог. Кто принес кусочек хлеба, кто дуранды, кто какой-то мучной смеси» (Байков В. Память блокадного подростка. С. 73).

<sup>1229</sup> Федорова К.Ф. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 264.

<sup>1230</sup> Тихомирова (Спаская) Е. Котел манной каши // Память. Вып. 2. С. 241.

<sup>1231</sup> Мухина Е. Дневник. 15 февраля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 83 об.

<sup>1232</sup> Кривободрова Е. Великие уроки // Память. С. 346.

во время блокады. Что мешало приукрасить себя – но нет, стеснялись и честно признавались, что больше ничем поддержать не могли. И все рассказывалось как-то впопыхах, торопливо и неумело. И часто мы не можем узнать о том, колебались ли, делясь продуктами. Да и кто об этом скажет? Осчастливленные неожиданным подарком люди, которые и усомниться бы не посмели в чистоте помыслов дарителя, спасшего их? Или блокадники, часто отмечавшие в своих историях только самое хорошее, самое благородное, с чем пришлось столкнуться в это бесчеловечное время? И ведь сочувствие обездоленным людям не ограничивалось только тем, что с ними делились едой. Оно проступает и во многом другом. К.П. Дубровина пустила к себе жить соседку: «Мне ее очень жалко было»<sup>1233</sup>. В последующей записи мы ощущаем, как возникает эта жалость, побуждающая делать добро: «...Такая старая, пожилая женщина, совсем... не могла <...> болезненная такая. Так она еще меня просила, чтобы я хоть бы воды сначала принесла, там кипяточку погрела»<sup>1234</sup>.

М.В. Машкова приютила у себя дочь умершей соседки, которую долго не могли похоронить – девочка «боялась холода, голода и мертвого тела»<sup>1235</sup>. Э. Соловьева, страдая от холода, обратилась к соседям из квартиры, где имелась плита. Многого она не просила, согласилась спать на полу, на кухне, принесла свой матрас. Ее пустили: рядом с ней была маленькая дочь<sup>1236</sup>. Чужим человеком был для одной из блокадных семей и 15-летний подросток. Все его родные умерли и он пришел к соседям: «Тоже еле ходит. „Тетя Дуня, нет ли у вас кусочка сахара“...И бабушка вот такой кусочек дала – с ноготь. Он говорит: „Ой, большое спасибо“. <...> Взял этот кусочек сахара... И ночью он умер»<sup>1237</sup>. И подобно тому, как упрекали себя, если не поднимали изможденных людей – так и здесь были рады, что не пришлось испытать чувство вины за смерть подростка: «...Баба Дуня говорит: „Как хорошо, что я ему не отказала“. Вот это я хорошо помню, и как то мы все тоже думали: „Как хорошо, что мы сами не отказали!“»<sup>1238</sup>.

«А сами... и не двигались» – эта деталь говорит о многом. Как и нарисованный Е. Шарыпиной портрет соседки, которая приютила девочку-сироту: «Не женщина, а живые мощи. На обтянутом кожей лице резко выступают скулы. Лихорадочно блестят глаза»<sup>1239</sup>. Такие люди легко могли отказать и, ссылаясь на беспомощность, оправдаться не только перед другими, но и перед собой – но они не отказали. Знакомясь с этими однообразными историями, с перечнем одного и того же скудного набора продуктов и добрых услуг, мы не всегда и поймем, что двигало людьми. Но точно знаем – это не страх, не выгода, не тщеславие и желание возвыситься в глазах других, не надежда, что спасенные ими когда-нибудь спасут и их самих. Крупицы передают голодным детям, которые не сегодня завтра умрут – какая здесь корысть? Было что-то иное, не всегда уловимое за этими перечнями крохотных подаяний – то, что пришло из прошлого и не могло быть до основания размыто настоящим. Какое, казалось, дело дворнику до чужих людей, уехавших из Ленинграда, – но вот как он откликнулся на просьбу родственников рассказать об их судьбе: «Ольга, вы пишете о маме, Цецилии, Коле. Я напишу, верно, они эвакуировались... по направлению к вашему зятю. А потом и к вам приедут. Больные, совсем слабые. И куда бы они не поехали, им не доехать живыми. Они недвижимые, так больные. А наняли машину через Ладогу переехать. Ольга,

<sup>1233</sup> Воспоминания К.П. Дубровиной цит. по: *Адамович А., Гранин Д.* Блокадная книга. С. 91.

<sup>1234</sup> Там же. С. 92.

<sup>1235</sup> *Машкова М.В.* Из блокадных записей. С. 15 (Запись 17 февраля 1942 г.).

<sup>1236</sup> *Соловьева Э.* Судьба была – выжить. С. 220.

<sup>1237</sup> Интервью одной из блокадниц цит. по: *Память о блокаде.* С. 112.

<sup>1238</sup> Там же.

<sup>1239</sup> *Шарыпина Е.* За жизнь и победу. С. 144.

я вас прошу сердечно, напишите мне письмо на мой адрес. Буду ожидать с нетерпением. Может быть, в будущем будем знакомы»<sup>1240</sup>.

«Этот человек удивил меня как личность необыкновенной... чуткости и человеческой порядочности», – вспоминала позднее одна из тех, кто читал его письмо. Немного написано, а сколько найдено слов мягких, щемящих, трогательных и робко обнадеживающих и предупреждающих о неизбежной развязке. Едва ли он был близок семье, но как ощутимо это стремление хоть чем-то облегчить чужую боль – и преодолеть свое одиночество, найти то человеческое тепло, которое давно ушло из промерзших блокадных домов.

Сравнивая отношения между друзьями с отношениями между соседями в «смертное время», замечаешь одну черту. Если связи с друзьями, не будучи разрушенными полностью, сильно изменились и стали менее тесными, то об отношениях с соседями этого сказать нельзя. Сосед был рядом, он не мог никуда уйти, да и некуда было идти. Он должен был видеть все: горе и смерть, радость и надежду, отчаяние и страдание. Он должен был переживать, помогать, оправдываться – он не мог уйти. Не будем идеализировать отношения между соседями – не такое это было время. Но неизбежно возникало и чувство товарищества, и чувство ответственности за судьбу людей, живших рядом, а что, как не это, упрочало традиционные нравственные ценности.

## Сослуживцы

### 1

Сослуживцы, может быть, и не являлись для многих людей близкими, но работая вместе, они не могли не делиться с ними заботами и поэтому лучше узнавали друг друга. Кое-где даже пытались «вскладчину» отпраздновать Новый год – приберегали для этого кусочки хлеба, конфеты<sup>1241</sup>. «Оживленно трактовались вопросы, связанные с питанием, передавались разноречивые мнения врачей, следует ли растягивать сахарный или жировой паек на декаду или съесть его в один-два дня», – вспоминала М.А. Садова о разговорах сослуживцев в Публичной библиотеке<sup>1242</sup>. Все хотели выжить и эти «бытовые» разговоры становились бесконечными: общее горе спланивало людей.

И так было везде: спорили, возмущались, жалели. Так было принято, и чужие невзгоды встречали сочувственный отклик, хотя нередко этим и ограничивались. Старые традиции взаимоподдержки не могли изгладиться полностью. И каким бы ни было время, поддерживали сослуживцев, когда понимали, что они могут погибнуть. Прямо за помощью обращались редко, проще, наверное, было дать что-нибудь взамен. «...Одна сотрудница похвасталась, что у нее запасено 20 кг рису... У меня хватило наглости попросить у нее для ребенка две столовых ложки рису, но... она отказала», – читаем мы в записках Э. Соловьевой<sup>1243</sup>; как бы ни гордились своей удачей, но страх, что завтра снова придется голодать, нередко намертво сковывал людей.

Чаще всего обращались к администрации и профсоюзам, когда надеялись, что могут, не объедая никого, получить из государственных (не личных) средств «бескарточный» сурrogатный суп из сои и дрожжей, какие-то плитки шоколада, печенье – о многом никто и не мечтал. Это, правда, зависело от того, где трудились ленинградцы. «Мама слегла. Написала мне записку на хлебозавод, где она работала кондитером, чтобы мне что-нибудь дали... В

---

<sup>1240</sup> Кабытова В.И. Об одной ленинградской блокадной семье. С. 255.

<sup>1241</sup> Холмовская Т.Д. Театр – военный объект // Без антракта. С. 215.

<sup>1242</sup> Садова М.А. Библиотека в осажденном городе // Публичная библиотека в годы войны. С. 172.

<sup>1243</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 220.

проходной подала записку... Дали буханку, сказали, чтобы спрятала под кофточку», – вспоминала В. Тихомирова<sup>1244</sup>. Там, где имелась возможность помочь не только из собственных скудных сбережений, люди иногда оказывались щедрее. А.Ф. Евдокимов записывал в своем дневнике 10 февраля 1942 г.: «Табельщицы... подбрасывают мне лишний талон на обед»<sup>1245</sup> – но ведь им, занятым распределением заводских продуктов, было все-таки легче это сделать. Труднее было другим.

«Спасите, погибаем» – таково содержание записки одной из сотрудниц Академического архива, переданной сослуживцам за несколько дней до смерти. И считалась она «замечательным и преданным» работником, отличалась стойкостью, никогда не жаловалась – а помочь нечем: «Председатель месткома... носила им из столовой обеда из воды»<sup>1246</sup>.

## 2

Сослуживцы, когда это было возможно, часто сами, безо всяких просьб, шли навстречу обессиленным, опустившимся, утратившим представление о нормах цивилизации. Разнообразием подарки не отличались. Делились и суррогатами<sup>1247</sup>, но и в воспоминаниях, и в дневниках часто подчеркивались те эпизоды, когда отдавали и порции настоящей, «цивилизованной» еды, хотя и маленькие. Среди подарков – хлеб, молоко, колбаса, сахар, крупа, папиросы<sup>1248</sup>. З.А. Милютина писала о тете, которой сослуживцы принесли мерзлую картошку, найденную в поле после обстрела<sup>1249</sup>; не исключено, что радость от неожиданной находки обуславливала, пусть и ненадолго, большую щедрость людей.

Вряд ли это давалось легко<sup>1250</sup>, но отметим, в каких случаях чаще всего помогали сослуживцам. А. Самуленкова потеряла продовольственные «карточки» на 20 дней. Что это значит, понимали все – ее спас начальник МПВО Пименов<sup>1251</sup>. Д. С. Лихачев передал коробку сухарей библиотечарше: «У нее умер от истощения муж и умирали дети (двое)»<sup>1252</sup>. Источенной О. Берггольц, собравшейся в дальний путь к отцу, на окраину города, сослуживцы «налили жидкого, чуть сладкого чая», отдали и несколько папирос<sup>1253</sup>.

«Почти падая без сил, он шел домой и встретил директора школы-интерната», – вспоминала о своем отце Е. Кривободрова. Директор вряд ли являлся для него близким человеком («знакомы они были по работе»), но не прошел мимо: «... Напоил отца горячей водой, дал какую-то еду и еще подарил горсть смеси разных круп, чечевицы и гороха для мамы и для меня». Читая опись этих скудных даров, в которой нет и умысла придать подаркам

<sup>1244</sup> Воспоминания В. Тихомировой цит. по: *Разумовский Л.* Дети блокады. С. 59–60.

<sup>1245</sup> *Евдокимов А.Ф.* Дневник: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1р. Д. 30. Л. 82.

<sup>1246</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 37 (Запись 5 января 1942 г.).

<sup>1247</sup> «На работе курьера Цветкова принесла немного студня из каких-то ремешков – угостила. Съел, конечно...» (*Самарин П.М.* Дневник. 9 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 Л. Д. 332. Л. 81. См. также воспоминания В.И. Струлева (*Чурсин В.Д.* Указ. соч. С. 144).

<sup>1248</sup> *Бочавер М.А.* Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 33–34; Воспоминания В.С. Костровицкой // Женщины и война. С. 287.

<sup>1249</sup> *Милютина З.А.* Мы жили в блокаду... 1941–1942 гг.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 9.

<sup>1250</sup> «Какой кошмар – голод! Сегодня *выпросил* [выделено мной. – С. Я.] кусок хлеба в отделе охраны и на 2–3 закрутки табаку» (*Самарин П.М.* Дневник. 18 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1 Л. Д. 338. Л. 90).

<sup>1251</sup> *Самуленкова А.* Великая человечность // Память. Вып. 2. С. 208. См. также воспоминания Л. Шулькина об эвакуации рабочих Кировского завода: «За четыре дня до отъезда ко мне обратились две сестры – сотрудницы цеха – за помощью: они потеряли хлебные карточки... Надо было продержаться четыре дня. Я отдал им свою карточку на эти дни. Сам питался жмыхами, небольшой запас которых у меня был» (*Шулькин Л.* Воспоминания баловня судьбы. С. 153).

<sup>1252</sup> *Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 477.

<sup>1253</sup> *Берггольц О.* Встреча. С. 157.

большую весомость, нельзя не поверить другому свидетельству мемуариста: «Сам истощенный... голодал»<sup>1254</sup>.

Трудно было делиться – и делились, когда понимали, что умирающему недолго осталось жить, когда видели просящие взгляды и неумелые жесты того, кто старался хоть чем-то оказаться полезным в ответ на благодеяние. Все можно было обойти, везде можно было промолчать, всем можно было отказать – но делились. Эта одна из главных примет блокады. Так поступали и друзья, и соседи, и сослуживцы, и другие, малознакомые и даже незнакомые люди. Возразят, что стыдно было на глазах у всех отворачиваться от просителя, с которым работали долгие годы, – но то ли еще бывало в «смертное время». Вот история библиотекаря С.С. Казакевич, которая получила для сотрудниц пайки по 50 г масла. «Ремесленники» украли у нее одну порцию<sup>1255</sup>. Не будем ничего придумывать, но ведь сцену дележа продуктов среди сотрудниц представить нетрудно: радостное волнение одних, растерянность и «голодный» взгляд той, что принесла им масло. «В библиотеке я своим ничего не сказала, но они заметили и поделились» – какими же восприимчивыми и жалостливыми должны были еще оставаться изможденные люди, чтобы в своей беде суметь откликнуться и на беду других.

У сотрудницы той же библиотеки М.М. Черняковой, работавшей в унитарной команде МПВО (УК), похитили «карточки». Это не 50 г масла – это цена жизни. Начался ее скорбный путь: «В первый раз я у себя в УК, у девочек поела». Все голодные, надо искать кого-то еще: «В другой раз у сестры питалась». Так и ходила она к друзьям, знакомым и родным, прося о крошке хлеба. После «свалилась», и казалось, была обречена: «Три дня без хлеба жила... лежала без движения». И ее спасла сослуживица: «Лепешки пекла»<sup>1256</sup>.

И еще один случай. Ассистент медицинского института, как вспоминала А.В. Налегатская, «каждое утро уходил с сыном, чтобы поймать собаку или кошку». Несомненно, об этом знали сослуживцы, если это делалось на виду у всех, если об этом не стеснялись говорить. Но что они могли сделать? Ни кошек, ни собак ассистенту поймать не удалось. Умерли его жена и сын, но осталась дочь – и чувство сострадания пересилило все: «Девочку сотрудники кафедры поддерживали своими крохами». А потом погиб и отец и ничто, казалось, не связывало эту семью с теми, кто помогал ей. Никогда мы не узнаем, как смотрела девочка на спасавших ее людей, как ждала кусок хлеба, как ела его. Не бросили ее: «...Девочку поддерживали сотрудники кафедры, и она осталась жива»<sup>1257</sup>.

### 3

Соотношение «добровольного» и «принудительного» в благородных поступках сослуживцев часто определить сложно. Искали по поручению парткома коммунистов и ухаживали за ними, откликались на записки, посланные в профком «лежачими» рабочими. Коллективизм, присущий любому труду, побуждал людей внимательнее следить за состоянием работавших рядом сослуживцев<sup>1258</sup>. Они не были отделены друг от друга прочными стенами. Сотни блокадников падали на улицах и мимо них проходили безучастно, но трудно представить, чтобы не подняли того, кто упал у станка или своего рабочего места.

<sup>1254</sup> Кривободрова Е. Великие уроки // Память. С. 346–347.

<sup>1255</sup> Воспоминания С.С. Казакевич // Публичная библиотека в годы войны. С. 133.

<sup>1256</sup> Воспоминания М.М. Черняковой // Там же. С. 146.

<sup>1257</sup> Налегатская А.В. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 189.

<sup>1258</sup> См. Вологодина В.Н. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук в годы войны и блокады // Ленинградская наука в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1995. С. 109.



«Посылали ему, взяв в столовой по его карточкам 200 г горчичного масла, 150 г сливочного...», – писал В. Кулябко о посещении им больного сослуживца<sup>1259</sup>, – но без разрешения руководства института масло он не смог бы получить. Его, как и другие ценные «нехлебные» продукты, можно было купить не иначе, как простояв часами в «очередях» – да и то не всегда.

«Те, кто еще на ногах, обслуживают лежачих, приносят еду из столовой» – такая картина из жизни Эрмитажа запечатлена в дневнике М.С. Коноплевой<sup>1260</sup>. Это не могло происходить без разрешения дирекции музея: за раздачей «ведомственных» обедов бдительно наблюдали. И когда главный библиотекарь ГПБ Г.А. Озерова везла на окраины города дрова сотрудникам, «которые решили отсиживаться у себя на квартирах»<sup>1261</sup>, не исключено, что и здесь дело не обошлось без вмешательства администрации. Откуда иначе было взять дрова, да и не для одного, а для многих сослуживцев, если они считались богатством, если их не хватало для всех? И когда переселялись жить туда, где еще было тепло и светло, на заводы, в институты и музеи<sup>1262</sup> – как бы это удалось сделать, если бы не оказали им поддержку «сверху»?

Читая блокадные документы, мы отчетливо видим, что помощь сослуживцам стала возможной прежде всего благодаря инициативе партийных, комсомольских и профсоюзных комитетов, руководителей предприятий и учреждений<sup>1263</sup>. Это и понятно: у них имелось больше возможностей помочь, чем у отдельного человека, они обязаны были заботиться о здоровье людей. Да и скажем прямо – не за всякое дело взялись бы без принуждения и вознаграждения сослуживцы. «Сил не хватало, и мы хитрили, иной раз оставляя труп где-нибудь на полпути, в парадной», – писала Т. Дорофеева, которую на заводе заставили доставлять мертвые тела из морга на кладбище<sup>1264</sup>. Известен случай, когда один из рабочих, возивших трупы для погребения, сам умер, роя могилу<sup>1265</sup>.

Не всегда ясно, выдавали ли продукты за такую работу: об этом мало кто пишет. Тело дочери А.А. Шахматова, работавшей в Академическом архиве, согласился доставить до кладбища один из сотрудников за буханку хлеба. И ее, видимо, «собрали» с трудом: тело смогли похоронить только через несколько недель. И скупых строк в дневнике Г.А. Князева достаточно, чтобы почувствовать, как это далось сослуживцу: «Пришлось одному дотащить гроб до санок из квартиры. Сил на это не хватило, конечно, а поэтому пришлось гроб спускать по ступенькам и волочить по земле...Никого больше не было».<sup>1266</sup>

Страшная, отталкивающая работа, вытягивающая все силы, физические и духовные – где уж тут говорить о добровольном самопожертвовании и сострадании. «Мы перестали зашивать их в саваны. Мы возили их внавалку, на автомашинах и укладывали штабелями в братские могилы, ибо умерших было много, нам было некогда, не хватало бензина и машин», – вспоминал заместитель директора завода им. А. Марти, более 3 тысяч рабочих,

<sup>1259</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 241.

<sup>1260</sup> Коноплева М.С. В заблокированном Ленинграде. Дневник. 9 января 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 19.

<sup>1261</sup> Воспоминания Г.А. Озеровой цит. по: *Адамович А., Гранин Д.* Блокадная книга. С. 102.

<sup>1262</sup> См. об этом: *Никифоров Г.И.* Из дневника заместителя директора по МПВО и охране завода им. А. Марти (Адмиралтейская судоверфь) // Выстояли и победили. С. 171; *Балтун П.К.* Русский музей – эвакуация, блокада, восстановление. М., 1981. С. 61; *Титов Г.А.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 245; *Холопов Г.* Жили два друга // Голоса из блокады. С. 267; *Иванов В.С.* Дневники. С. 203; *Пахомов А.* Ленинградская летопись // Художники города-фронта. С. 262.

<sup>1263</sup> *Худякова Н.* За жизнь ленинградцев. С. 56, 57, 91–92; *Бочавер М.А.* Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 59; *Эльяшева Л.* «Папа» Вознесенский // Нева. 1998. № 10. С. 150; *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. С. 280 (Дневниковая запись 17 апреля 1942 г.).

<sup>1264</sup> *Дорофеева Т.* Такая была работа // Память. Вып. 2. С. 201.

<sup>1265</sup> *Ходорков Л.А.* Материалы блокадных записей: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 7.

<sup>1266</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 46–47 (Запись 23 января 1942 г.).

которого умерли во время блокады<sup>1267</sup>. Но если речь не шла о том, чтобы нести трупы до далеких окраинных кладбищ, то даже и в таком скорбном деле сослуживцы были готовы идти навстречу. Помогли А.В. Смирновой, потерявшей мужа: оторвали доски от театральных декораций, «сколотили» гроб и принесли к ней домой<sup>1268</sup>. Поддержали, как сумели, сослуживцы и семью Н.Я. Комарова, у которого умер отчим: «... Помогли нам запеленать тело в простыни, уложить на санки, перевязать ремнями и веревками и даже тащили санки с телом какое-то расстояние...»<sup>1269</sup>.

#### 4

Не всем на предприятиях и в учреждениях могли дать то, что они просили. И люди возмущались – след их обид, иногда и не прямо выраженных, нередко беспочвенных, можно обнаружить в ряде блокадных документов<sup>1270</sup>. Прилагали немало усилий, чтобы поддержать рабочих и служащих – посредством стационаров и столовых оказывая помощь в быту жильцам «выморочных» квартир и привлекая для этого коммунистов, комсомольцев, сотрудников фабрично-заводских МПВО<sup>1271</sup>. Но не всех могли направить в стационары, если они не являлись кадровыми рабочими и ценными специалистами, не всех подкармливали только потому, что они ослабели<sup>1272</sup>. Жестокий прагматизм не был редкостью: получивший дополнительный паек, тепло, папиросы должен работать, каким бы ни было его состояние<sup>1273</sup>. Его, конечно, не всегда заставляли это делать, но просили, надеялись, что он поймет и сам – а как он мог отказать, если его и только его, а не других, столь же голодных, впервые так сытно покормили. «Таких специалистов, как водопроводчиков, бухгалтеров, я не выпускал из стационара, имея целью спасти основные кадры. Я сам регулировал этот вопрос, чтобы спасти основные нужные кадры, делал это за счет менее ценных работников, как дворников и т. д.», – сообщал впоследствии директор молокозавода № 1<sup>1274</sup>.

Читать это сейчас стыдно. Такой подход не был, однако, в диковинку. О спасении именно «ценных» людей в стационарах не раз без стеснения говорили в это время<sup>1275</sup>. Своеобразный критерий отбора кандидатов применял главный энергетик 7-й ГЭС. Он не стыдился рассказывать об этом и позднее, нарочито подчеркивая свою твердость и силу воли: «... Давал тем, которые, чувствовал, если их поддержишь, протянут. Я отказывал в том тем,

<sup>1267</sup> Никифоров Г.И. Из дневника заместителя директора. С. 15.

<sup>1268</sup> Смирнова (Искандер) А.В. Дни испытаний.

<sup>1269</sup> Там же.

<sup>1270</sup> См., например, запись в дневнике А.С. Никольского 2 января 1942 г. (ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 901. Л. 27).

<sup>1271</sup> Шарыпина Е. За жизнь и победу. С. 144; Худякова И. За жизнь ленинградцев. С. 57, 66; Нежинцева Т. Расскажу о своем муже. С. 347; Стенограмма сообщения А.Т. Пименова 4 марта 1943 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 1. Д. 307. Л. 8.

<sup>1272</sup> С разной степенью откровенности об этом свидетельствуют многие блокадные документы. См.: Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 20 апреля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 62; Берггольц О. Встреча. С. 174.

<sup>1273</sup> См. Соколов А.Ф. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 549; Бахтин В. Будни, ставшие подвигом // Голоса из блокады. С. 33.

<sup>1274</sup> Рахмалев Н.А. [Стенографическая запись воспоминаний]: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 298. Л. 17. Ср. с сообщением парторга ЦК ВКП(б) на 1-й ГЭС А.С. Трифонова: «По инициативе партбюро было принято решение... все дополнительное питание выдавать наиболее квалифицированной части работающих... Эл. станция в основном сохранила свои старые производственные кадры, хотя за счет этого мы имели некоторые потери во вспомогательной рабочей силе» (Стенограмма сообщения Трифонова А.С.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 125. Л. 7–8). См. также сообщение члена завкома «Судомеха»: «... Стали поддерживать людей стационарно и усиленным питанием. Основные рабочие подтягивались, а вспомогательные рабочие терпели еще недостаток питания и были еще слабы» (Стенограмма сообщения Еремеева К.А.: Там же. Д. 44. Л. 13); Э.Г. Левиной, отказавшейся идти в стационар, поскольку «есть более больные», ответили так: «Это коммерческий расчет поддерживать тех, кто нам нужен» (Левина Э.Г. Дневник. С. 163 (Запись 20 марта 1942 г.)).

<sup>1275</sup> Стенограмма сообщения Тихонова А.Я.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 123. Л. 28 об.; Стенограмма сообщения Плоткина А.Л.: Там же. Д. 102. Л. 23; Кедров А.Т. Дневник: Там же. Д. 59. Л. 200; Бернштейн Б.Л. Ленинградский торговый порт в 1941–1942 гг.

у которых видел смерть в глазах, которые, как мне казалось, через два-три дня погибнут. Я привык различать это по глазам людей и видел, что передо мной стоит мертвец. И так я хорошо научился это разбирать...»<sup>1276</sup>.

Все было, но вот история, рассказанная знакомым нам инженером В. Кулябко. Совершенно обессиленный он лег на диван: «Забегали, один предложил валерьянки... Пришел директор, спросил, в чем дело. Я лежа ответил – слабость. Подождите, говорит, я сейчас сварю вам стакан настоящего кофе. И действительно, минут через 20 приходит, приглашает к себе...»<sup>1277</sup>. Вероятно, и считался В. Кулябко ценным работником, но разве все это совершалось только из корыстных интересов.

Директор разрешает ему отдыхать столь часто, сколь он пожелает (при этом полностью сохраняя зарплату). Он дарит В. Кулябко пивные дрожжи, а его заместитель «пузырек с рыбьим жиром и немного витамина из хвои»<sup>1278</sup>. И о какой выгоде здесь идет речь? В. Кулябко стар, немощен, его отправляют в эвакуацию и, значит, даже не надеются его использовать. И не раз он видит, как в добрых поступках сослуживцев исчезают трафареты «ведомственного» поведения.

По первому непосредственному жесту людей, по мелким деталям, уточняющим какой-либо эпизод, отчетливо видно, что не все можно объяснить обдуманном расчетом. Конечно, кроме сострадания, имелись и другие причины помогать «ненужным» людям. Много решалось нередко быстро, за минуты – откуда здесь взяться скрупулезному разбору аргументов «за» и «против»? Поднимая упавшего у станка рабочего и поднося ему стакан кипятка, вряд ли думали только о том, полезен он или нет. Каким бы ни было время, привычные, неискоренимые нравственные заповеди прорывались через эту бухгалтерию, где подсчитывались выгоды и расходы и ставилась проба ценности на каждом человеке. Делились ведь часто «своим» кофе, а не казенным, и отдавали продукты из собственного пайка, а не из «стационарного». Могут возразить, что директора питались лучше, но достаточно было хоть раз увидеть, что происходило в «директорских» столовых, как беспрестанно жевал хлеб, никого не стесняясь, руководитель одного из академических институтов, как варила студень из ремней мать секретаря райкома комсомола. Увидеть, чтобы понять одну истину: у жившего в блокадную зиму за пределами Смольного лишнего куса хлеба не было никогда, какой бы паек, академический или усиленный, он ни получал, и кем бы он ни был – директором Эрмитажа или единственным оставшимся в Ленинграде академиком<sup>1279</sup>.

Заведующая одной из лабораторий каждый день кормила сотрудников небольшими порциями питательного порошка<sup>1280</sup> – никакого деления на нужных и ненужных. И когда голодный сослуживец после раздачи просил дать ему облизать ложку, которой мерили порошок, никто не задумывался над тем, стоит ли его спасать – давали потому, что просил. Секретарь парткома фабрики «Рабочий» С.М. Глазовицкая записывала в дневнике, как отправляли наиболее ослабевших рабочих в больницу: «На носилках укладывали в машину»<sup>1281</sup>. Неужто считали, что эти люди быстро вернуться к станкам? Председатель завкома Рыжеева поместила одну из работниц в заводской стационар, когда та «была при смерти»<sup>1282</sup>. Дирек-

<sup>1276</sup> Стенограмма сообщения Чистякова А.И.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 138. Л. 5 об.

<sup>1277</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 242.

<sup>1278</sup> Там же. С. 243.

<sup>1279</sup> Примечательно, что в день рождения Б.Б. Пиотровского директор Эрмитажа И.А. Орбели подарил ему «кусочек столярного клея» (*Пиотровский Б. Б. Страницы моей жизни*. СПб., 1995. С. 199).

<sup>1280</sup> *Игнатович З. А. Очерки о блокаде Ленинграда*: ОР РНБ. Ф. 1273 Д. 26. Л. 33.

<sup>1281</sup> Запись в дневнике С. М. Глазовицкой 2 августа 1942 г. цит. по: *Бочавер М.А. Это – было*: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 91.

<sup>1282</sup> *Краснов М.С. [Стенографическая запись воспоминаний]*: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 298. Л. 26.

тор Академического архива Г.А. Князев пытался устроить в стационар сослуживца именно потому, что «дни его сочтены» – он так прямо и писал об этом в дневнике<sup>1283</sup>.

Особо следует сказать о раздаче рабочим для питания промышленного сырья. В «смертное время» такие «выдачи» спасали жизнь многим. На заводе Им. Жданова промышленное сырье выдавали даже в виде премий – за переноску снарядов полагался 1 кг олифы или 100 г столярного клея<sup>1284</sup>. Примечательно, что их высоко оценивал председатель Василеостровского райисполкома А.А. Кусков. Запись об этом зачеркнута в стенограмме его сообщения – правда о блокаде стала казаться неудобной еще до окончания войны: «Сохранился у нас народ на Кожевенном заводе, помогло этому, что в голодное время они ели шкуры. На заводе „Кр. Октябрь“ было много клея; варили из него суп, студень – там также сохранился народ. меховая фабрика также сохранила народ, употребляя в еду шкуры»<sup>1285</sup>.

На Судостроительном заводе им. С. Орджоникидзе выдавались в качестве продуктов питания клеи для склеивания деревянных деталей, патока, необходимая для литья снарядов, и сало, предназначенное для смазки ступеней при спуске кораблей<sup>1286</sup>. На заводе им. Молотова раздавали техническое льняное масло – «с величайшей радостью бросился народ на это масло»<sup>1287</sup>. На заводе ЛенЗОС рабочие получали спирт для протирки стекол, на фабрике «Светоч» – картофельную муку, необходимую для приготовления клейстера<sup>1288</sup>. На одном из текстильных предприятий дирекция позволила рабочим даже использовать в пищу детали станков – валики из свиной кожи<sup>1289</sup>. Завод револьверных станков и автоматов, по словам его директора, «не располагал большим количеством внутренних съестных ресурсов», но и здесь смогли дать крахмал и столярный клей «в некотором количестве»<sup>1290</sup>.

Люди обычно чувствуют, когда их используют в меркантильных целях и видят границу между искренним и предписанным свыше состраданием. Когда идет откровенный и неприкрытый торг, когда прямо говорят, что на добрый поступок ожидают соответствующий отклик – там, если и выражают признательность за поддержку, то нередко умеряют патетику благодарственных слов. Иначе происходило, когда блокадники понимали, что ничем помочь своим спасителям не могут и знали, что от них ничего и не ждут. Это нарочито отмечается и в дневниках и в письмах. Слабый, казалось, никому не нужный В. Кулябко, увидев заботу о себе, находит для благодарности директору, пожалуй, самые эмоциональные строки, учитывая присущую ему сдержанность: «Я никогда не забуду его слов, его внимания ко мне»<sup>1291</sup>. Одной из блокадниц помогла устроиться медсестрой директор поликлиники. «В этом еще раз проявилась чуткость и доброта... Заботясь о работе, она думала и о спасении нас»<sup>1292</sup> – по концентрации пафосных слов в предложении нетрудно определить напряженность и прочувствованность этого отклика. И многие, осознавая свою беспомощность и «невыгодность», выделяли в блокадное время только такие эпизоды. И имели на это право.

Мы не всегда знаем, являлись ли сослуживцы друзьями, приятелями или просто «хорошими знакомыми». Они нередко навещали друг друга дома и даже жили вместе. Кто они – друзья, или движимые милосердием люди, готовые принять чужого человека? Конечно,

<sup>1283</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 45 (Запись 20 января 1942 г.).

<sup>1284</sup> *Сеничев П.И.* Ленинградский судостроительный завод им. А.А. Жданова в 1941–1943 гг. С. 163.

<sup>1285</sup> Стенограмма сообщения Кускова А.А.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 76. Л. 9.

<sup>1286</sup> Стенограмма сообщения Тяпкина М.Я.: Там же. Д. 129. Л. 129.

<sup>1287</sup> Стенограмма сообщения Туркова И.В.: Там же. Д. 128. Л. 7.

<sup>1288</sup> Стенограмма сообщения Егоровой Г.С.: Там же. Д. 41. Л. 3 об.; Стенограмма сообщения Алексеевой А.П.: Там же. Д. 3. Л. 6 об.

<sup>1289</sup> *Дзенискевич А.Р.* Накануне и в дин испытаний. С. 103.

<sup>1290</sup> Стенограмма сообщения Ительсона Г.М.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 54. Л. 7.

<sup>1291</sup> *Кулябко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 243.

<sup>1292</sup> *Аскиназий А.* О детях в блокированном Ленинграде: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 9.

отношения людей в «смертное время» изменились. Посещали сослуживцев обычно в тех случаях, когда не находили их у рабочих мест, когда знали, что они болели и не могли вставать<sup>1293</sup>. Да и это оказывалось трудным. З.А. Игнатович вспоминала, как сослуживицу, не пришедшую в институт, навести только спустя два дня, хотя она и жила рядом: «Все голодали и лишнее передвижение давалось с необычайным напряжением»<sup>1294</sup>.

Везли на санках или поддерживали изможденных сослуживцев от места работы до дома, поднимали тех, кто падал на улицах. И это тоже делалось бескорыстно, без указки дирекции – кто же знал, когда и где они упадут, и что мешало пройти мимо человека в полуобморочном состоянии? К.В. Ползикова-Рубец писала в дневнике о том, что упал от слабости в очереди у булочной преподаватель физики. Отвернуться, оправдываясь тем, что все терпят голод и холод? Нет: «...Вижу, как Маруся, наша техническая служащая, собирает уборщиц, чтобы с санками идти в булочную». Вставить этот человек теперь не мог, и не было родных, кто сумел бы ухаживать за ним. Бросить его? Нет: «...Товарищи приносили ему еду и топили печку в комнате»<sup>1295</sup>.

Сострадание – во всем. Помогали в быту, хлопотали за сослуживцев, выполняли за них работу, видя их истощенность, ободряли, не ожидая ни похвалы, ни признательности, ни ответного шага<sup>1296</sup>. И не случайно сослуживцы прежде всего помогали тем, кто имел детей<sup>1297</sup>.

Вот скорбная история, рассказанная секретарем парткома фабрики «Большевичка» М.Н. Абросимовой. У рабочего, ушедшего на фронт, семья (6 детей) осталась на попечении жены-инвалида. Они были обречены: многодетные семьи, сплошь состоявшие из «иждивенцев», выживали редко. «Его дочь-подросток – мы приняли работать на фабрику. Семье оказали материальную помощь. Зимой его семья, несмотря на все поддержки с нашей стороны, почти вся умерла. Умерла жена, умерло двое детей. Двоих детей мы взяли в детский дом, который был у нас организован... Надо сказать, что дети были очень слабенькие, когда их взяли – были в лежачем состоянии Мы их подкормили, потом эвакуировали. Затем эвакуировали больную дочь»<sup>1298</sup> – есть здесь глубокое, ощущаемое почти в каждом слове милосердие, которое не может скрыть ни однообразный язык, ни сухость изложения, присущая официальным отчетам.

И сколько они находили слов утешения, какие обнаруживали такт и деликатность, когда узнавали о гибели родных и близких тех, с кем работали вместе. Опекали, вели беседы, внимательно следили за переменой настроений, держали поближе к себе, утешали – совсем как в мирное время<sup>1299</sup>. Люди, оставшиеся одинокими, ловили каждое слово сочувствия,

<sup>1293</sup> Базанова В. Вчера было девять тревог... С. 132 (Дневниковая запись 6 апреля 1942 г.); Игнатович З.А. Очерки о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 26. Л. 34.

<sup>1294</sup> Игнатович З.А. Очерки о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 26. Л. 34. См. ее запись о сотруднице, которая упала в обморок в институте: «...Идти домой была не в состоянии. Лаборанты на санках свезли ее домой» (Там же. Л. 16); см. также: Капица М. В море погасли огни. С. 257 (Дневниковая запись 14 января 1942 г.); Соловьев С. «Будет время у солнечных врат...» // Голоса из блокады. С. 335.

<sup>1295</sup> Ползикова-Рубец К. Они учились в Ленинграде. С. 70–71, 78.

<sup>1296</sup> Бочавер М.А. Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 35–36; Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 1. С. 217; № 2. С. 241; Никитин Ф. М. Из записок фронтового актера (июль 1941 – январь 1942) // Без антракта. С. 27 (Дневниковая запись 28 октября 1941 г.); Ползикова-Рубец К. Они учились в Ленинграде. С. 56 (Дневниковая запись 27 ноября 1941 г.). Г.А. Князев отмечал в дневнике, как истощенный сотрудник Архива А.И. Андреев, преодолевая слабость, читал работу диссертанта, «который защищает ее в скором времени, чтобы получить карточку первой категории» (Из дневников Г.А. Князева. С. 49, 53 (Записи 3, 7 февраля 1942 г.).

<sup>1297</sup> Левин Л. Жестокий рассвет // Вспоминая Ольгу Берггольц. С. 88; Налегатская А.В. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 189, 192; Магаева С. Ленинградская блокада. С. 14.

<sup>1298</sup> Абросимова М.Н. [Стенографическая запись воспоминаний]: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 307. Л. 18.

<sup>1299</sup> См. воспоминания Т. Александровой, у которой умер младенец, а под обстрелом погибла дочь: «...Настал еще один страшный день. Пришли ко мне заместитель Дома Красной Армии и тов. Шкroeва, ответственный секретарь областной

отмечали каждый жест участия и как характерно здесь признание одной из блокадниц, потерявшей мужа: «Не могу без слез вспоминать, каким вниманием окружили нас товарищи»<sup>1300</sup>. Не обладали многие блокадники красноречием, не находили особенных и не стершихся слов, но какое волнение, нередко ощущается и в скупых строках выраженной ими признательности.

Разумеется, отношения между сослуживцами не всегда отличались сердечностью даже в тех случаях, когда видели, что кто-то достоин жалости и нуждается в поддержке. Первое благородное движение не всегда было устойчивым. Одна из блокадниц пожалела свою сослуживицу, заболевшую дизентерией: «Меня из месткома попросили: „...Возьми ее к себе, а то погибнет“». И вскоре поняла, что ей не выдержать – болел муж, «а тут еще она, высокая, громоздкая». Пришлось отказаться: «Утром в месткоме говорю: „Сил у меня нет с ней, забирайте“». Ее попросили отвезти женщину домой и та, может быть, втайне надеясь, что ее пожалеют, предупредила: «Домой не везите, после бомбежки в квартире ни стекла, ни дверей нет». Подбросила ее к столяру, жившему рядом, несмотря на его возражения, но не удержалась и позднее все же навестила ее<sup>1301</sup>. Может, и опасалась, не обвинят ли ее в черствости, если случится беда – но, наверное, оставалась у нее толика не утраченного милосердия.

Сослуживцы ссорились даже из-за кипятка, ревниво смотрели, чтобы их не обделили в столовой, надеялись, что смогут избежать утомительных дежурств, переложив это дело на плечи тех, кто также был истощен. И когда делили неожиданные подарки от «шефов», разве не было споров? И начальники цехов заставляли падающих рабочих трудиться у станка, и тщательно следили, чтобы не выносили из предприятий и учреждений «бескарточный» суп для своих оголодавших родных – все было.

Но было и другое. В разобщенном, потерявшем традиционные опоры блокадном сообществе немного оставалось мест, где ритуалы цивилизации еще соблюдались – хотя и не так, как прежде. Это в «выморочном» доме, где почти не было жильцов, соседу могли не дать воды, это на пустынных, темных и обледеневших улицах безразличной проходили мимо живых и мертвых. Там, где люди трудились и всегда были на виду, где обязаны были администрация и общественные организации заботиться о них – там нравственные заповеди отмирани медленнее: силою устоявшихся трудовых порядков и «коллективного» воздействия человеку приходилось, даже если он и не хотел, оставаться цивилизованным.

---

шефской комиссии... Они боялись сразу сообщить мне о случившемся, но потом показали мне телеграмму с фронта. В ней сообщалось о гибели моего мужа. Видя, в каком я состоянии, товарищи стали утешать, звать с собой в Дом Красной Армии. Я смогла только выговорить: „Оставьте меня. Никуда я не пойду“. Шкроева осталась со мной, долго успокаивала и утешала меня... Большую помощь в это время оказала мне Евдокия Федоровна Кирова, начальник смены пожарной охраны... Видя мое безразличие ко всему, тоску и уныние, она взяла меня под свою опеку... Меня она поддерживала постоянно, всегда следила за мной, старалась занять работой, чтобы я в работе отвлекалась от личного горя» (*Александрова Т. Испытание // Ленинградцы в дни блокады. Л., 1947. С. 191*).

<sup>1300</sup> *Смирнова (Искандер) А.В. Дни испытаний. С. 196.*

<sup>1301</sup> Цит. по: *Чурсин В.Д. Указ. соч. С. 139.*

## Глава III Власть

### Правила поведения

#### 1

Блокада не могла не обнаружить рельефнее, чем обычно, этику властей. Человек, отнесенный к сонму руководителей, чаще и четче готов был отметить свою ответственность за судьбу города. Это должно было оправдать его поступки, порой и неприглядные. Спорить с ним трудно. Он быстро может подобрать аргументы, и вполне основательные, доказывающие необходимость применения жестких мер. Ему можно было указать на тех, кто оказывался без поддержки властей, на безысходность их положения, а он мог сослаться на реалии военного времени, которые оставляют мало места для проявлений гуманности. В каких случаях он следовал строгим инструкциям, а в каких импровизировал, то смягчая, то ужесточая данные ему предписания, понять трудно. Такие поступки, как разрешение семьям пользоваться «карточками» умерших членов семьи, иногда диктовались не столько состраданием, сколько боязнью эпидемий из-за скопления трупов в домах.

Это отчетливо видно хотя бы по директивным документам государственных и общественных организаций. О порядке эвакуации в Постановлении Военного Совета Северного фронта 28 июня 1941 г. сказано так: «В первую очередь эвакуации подлежат:

а) важнейшие промышленные ценности, цветные металлы, хлеб...

б) квалифицированные рабочие, инженеры и служащие вместе с эвакуированными с фронта предприятиями, население, в первую очередь молодежь, годная для военной службы, ответственные и партийные работники...»<sup>1302</sup>

Это не реплика на совещании, это закон, имеющий обязательную силу. О том, что будет с остальными – женщинами, стариками, детьми, чернорабочими, оставят ли их на поругание врагу, на муки и голод, здесь нет ни слова – и так было понятно... Металл важнее человека, партийный работник ценнее ребенка – можно как угодно оправдывать этот документ, но к иному выводу не прийти.

Возрают, что иначе было не выиграть войну, что конечной целью жестких мер являлось именно спасение человека. Но опыт тех дней с прискорбной очевидностью показал, что при таком подходе имелось больше искушений уклониться от оказания помощи и в тех случаях, когда такая возможность имелась. Характерный пример – восстановление потерянных «карточек». Разумеется, заявляли об утрате и нечестные люди, и те, кто любым способом хотел спасти себя и своих родных. Можно было по-разному решать данный вопрос, но в Ленинграде выбрали самый драконовский вариант. «Рассказывает о величайших страданиях тех, кто потерял или у кого украли карточки. Некоторые ходят на пункт выдачи карточек с 5 января, продали и обменяли все, что у них было, и стоят перед неизбежной гибелью... Приходил обследовать инспектор: не спекулянтка ли она? Опрашивались ее соседи», – записал Г.А. Князев в дневнике 20 января 1942 г.<sup>1303</sup>

В «верхах» против выдачи новых «карточек» особо рьяно выступали секретарь обкома ВКП(б) А.А. Кузнецов и уполномоченный ГКО Д.В. Павлов – никогда во время блокады не голодавшие и едва ли переступавшие порог «выморочных» квартир. Резоны имелись.

---

<sup>1302</sup> 900 героических дней. С. 40.

<sup>1303</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 46.

Украденные продовольственные документы «отоваривались», и поэтому требовалось найти дополнительные продукты – и это при скудости запасов в городе. Едва ли осмелились бы назвать виноватыми лишь слабых, беспомощных, не умевших за себя постоять, упавших в голодный обморок и ставших добычей мародеров, – но чашу страданий пришлось испытать только им. Система проверки заявлений была необычайно громоздкой, унижительной и, прямо скажем, бесчеловечной. До получения новых «карточек» без поддержки родных мало кто доживал. Да и те, кому «повезло», приобрести в прежнем объеме положенные им продукты не могли<sup>1304</sup>.

Ничего, кроме прагматических расчетов, здесь, конечно, не было. Никто не имел и умысла сократить число «лишних» горожан. Когда у работницы одного из заводов, выхватывая «карточки», смогли только порвать их, ей удалось обменять их на новые<sup>1305</sup>. Тут ничего искать не надо, тут все на виду. Иное дело, если история являлась запутанной, если прямых доказательств не обнаруживалось. Но когда решался вопрос, что важнее – тщательность проверки или быстрота оказания помощи, которая одна лишь могла спасти от смерти – перевешивало первое. Проверка прежде всего, проверка скрупулезная, а потому и медленная – и не принимаются никакие возражения. Подозреваются все: везде голод, каждый, и даже стойкий, может стать вором, всякий может обмануть, видя, как мучается его ребенок.

И отказывая просителям, не считали это только рутинной и неприятной обязанностью. Роль праведников, поучающих других, иногда исполняли, не стыдясь и не смущаясь, с артистическими интонациями и театральными жестами. Их не надо было ни просить, ни заставлять – они импровизировали слишком раскованно, броско, хлестко. В записках Л. Гинзбург представлена целая галерея таких чиновников – типажей, которые самостоятельно дописывали этот унижительный бюрократический сценарий: «Довольно распространенный среди административного персонала садистический тип. Это злая секретарша. Она говорит... с разработанными интонациями, слегка сдерживая административное торжество.

Есть томная секретарша... Она смотрит на человека с единственным желанием поскорее отделаться от помехи и отказывает лениво, даже несколько жалобно. Есть, наконец, деловая женщина... Она отказывает величественно, но обстоятельно, с поучениями»<sup>1306</sup>.

## 2

Предъявляя упреки властям, отметим, что их милосердие неизбежно должно было ограничиваться теми правилами, которые обязаны были соблюдать. Это касалось не только «ответственных работников», но именно в их среде проявлялось наиболее обнаженно. У них часто не было своего голоса – они должны были выполнять решения «верхов» беспрекословно, как можно точнее и не проявляя сантиментов. Бесплезно спрашивать их, нравится или нет им порядок восстановления «карточек», обрекавший на гибель сотни людей. Им надо было говорить «правильные» слова, порой не веря им. Они должны были принимать жесткие меры и не могли, подобно другим, уйти от ответов – но нередко запаздывали, опасаясь проявить инициативу. Должностная этика оказывалась сильнее сострадания.

И среди представителей властей нередко можно было обнаружить тех, кто старался мягче, без черствого формализма решать судьбу оказавшихся на дне блокады. Но всегда видишь пределы этого сочувствия. Боязнь ответственности играла тут не последнюю роль. Она проводила границу, через которую не переступали, даже если горожане сами шли

<sup>1304</sup> См. дневник М.С. Коноплевой: «Карточки восстанавливаются с трудом и только *хлебные*, причем вместо 1-й категории дают 3-ю, иждивенческую» (*Коноплева М.С.* В блокированном Ленинграде. Дневник. 1 июля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 90–91).

<sup>1305</sup> Блокадный дневник Н.П. Горшкова. С. 73 (Запись 4 февраля 1942 г.).

<sup>1306</sup> *Гинзбург Л.* Записные книжки. С. 725–726.



навстречу властям и готовы были на самопожертвование. Власти знают, когда им использовать поддержку общества, а когда нет и никто не может навязывать свою помощь – этот крепко установленный порядок, сколь бы абсурдным он не выглядел, менять никто не рисковал<sup>1307</sup>. Боязнь ответственности особенно ярко проявилась, когда решали, оставить «карточки» умерших блокадников их семьям. Это было нарушением законов и никто из городских руководителей не хотел рисковать. Циркуляр начальника Управления рабоче-крестьянской милиции (УРКМ) Ленинграда 7 февраля 1942 г. никаких ссылок на постановления вышестоящих органов, как это обыкновенно делалось, не содержал<sup>1308</sup>: в случае скандала можно было переложить вину с председателя Ленгорисполкома на плечи других, рангом поменьше. До тех пор ходили по квартирам и отнимали «карточки», если обнаруживали покойников. Не могли не знать, что вследствие этого придется совершать обходы еще чаще – но порядок есть порядок. Пришли из жакта и к В.А. Опаховой, жившей с двумя крайне истощенными дочерьми<sup>1309</sup>. Есть знаменитая фотография этих девочек: одна идет с палкой, у другой колени и голень похожи на трость с набалдашником. Здоровье девочек работников жакта не интересовало. Хотели только узнать, не воспользовалась ли мать «карточкой» ребенка, чью скорую смерть они, вероятно, ожидали.

Этой жестокостью заражались и начальники меньших калибров. В действиях дирекции Публичной библиотеки таких примеров можно найти немало. Библиотека – это не МПВО и не военный завод. Никому бы не нанесли ущерб, отнесясь с большим участием к просьбам сотрудников, даже если они противоречили инструкциям. Нет, есть установленный порядок и менять его отказывались, несмотря ни на что. Определено четко, что не допускаются отпуска во время войны, даже неоплачиваемые – и требовали беспрекословного соблюдения этого, хотя в помещениях невозможно было трудиться более 2–3 часов: замерзали не только руки, замерзали чернила<sup>1310</sup>. И обязывали начальников отделов следить за теми, кто ушел с работы, и сообщать в точно установленный час директору<sup>1311</sup>. Нет новых книг, редко приходят посетители – может, пойти на послабления? Нет, не давать отдыхать, заставить убирать помещения, очищать территорию библиотеки: не должны даром есть паек в 200 гр. хлеба. Не был на работе более двух месяцев электромонтер В.А. Гусев. Может, он болен, не способен ходить из-за истощения? Это никого не должно интересовать: он исключен из списков сотрудников и тем самым потерял право на рабочую «карточку»<sup>1312</sup>.

Могут возразить, что не директор ГПБ Е.Ф. Егоренкова придумала этот порядок. Спорить трудно, но, например, директор института, где работал донельзя истощенный В. Кулябко, давал ему бессрочный отпуск, – и столько таких случаев можно еще перечислить. «Топите мебелью», – сказал замерзшим в аудитории студентам ректор ЛГУ А.А. Вознесенский<sup>1313</sup>, а ведь, наверное, так поступать тоже было нельзя. Разве у каждой комнаты в ГПБ стоял осведомитель и докладывал в Смольный о том, на сколько минут опоздал еле передвигающий ноги библиотекарь? Всегда и везде имелась возможность помочь без шума, без угрозы для себя – но все ли пользовались этим?

<sup>1307</sup> «Интеллигентам хотелось измениться... Не подлежавшим мобилизации хотелось безотлагательно что-то сделать – пойти в госпиталь, предложить себя в переводчики, написать в газету статью, и даже казалось, нельзя взять за нее гонорар. Эти намерения и желания попадали в машину, совершенно не приспособленную к подобному психологическому материалу. С привычной грубостью и недоверием к доброй воле своих подотчетных, она от одних участков отбрасывала человека, в другие втягивала его принудительно» (Там же. С. 732).

<sup>1308</sup> Иванов В.А. Особенности реализации чрезвычайных мер по поддержанию в блокированном Ленинграде режима военного времени // Государство. Право. Война. К 60-летию Великой победы. СПб., 2005. С. 475.

<sup>1309</sup> Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. С. 29.

<sup>1310</sup> В память умерших и во славу живущих. Хроника событий. 22 июня 1941 – 9 мая 1945. СПб., 1995. С. 14.

<sup>1311</sup> Там же. С. 110.

<sup>1312</sup> Там же.

<sup>1313</sup> Эльяшева Л. «Папа» Вознесенский. С. 147.

Т.П. Антоневиц писала подруге 16 мая 1942 г.: «Однажды ночью к нам в библиотеку приехала машина за трупами... Я была дежурным командиром и должна была эти трупы выдать... Глазам нашим представилось ужасное зрелище: люди лежали в самых различных позах»<sup>1314</sup>.

И в этот страшный час директор нашла дело и себе, и другим: «В... промерзших залах несколько человек во главе с директором освещали шкафы лучинками, снимали с полки книги»<sup>1315</sup>. Что же искали спешно ночью, для чего подняли шатающихся от недоедания людей, хотя и знали, что они могут разделить судьбу тех, кого грузили в эту минуту в машину? «Выполнялся срочный заказ из Смольного»<sup>1316</sup>. Сказано туманно. Это могли быть, несомненно, книги по гидрографии, медицине, баллистике, но проговорилась как-то другая сотрудница библиотеки: «... Не один раз по требованию из Смольного мы подбирали „интересные материалы“: альбомы, книги – для минут отдыха Жданова и других руководителей»<sup>1317</sup>. Было из-за чего стараться: можно приобрести в глазах руководителей лестную репутацию распорядительного и исполнительного работника. Ее и не спросят, за чей же счет и какой ценой это достигнуто. А библиотекарей, которые зависели от директора, остерегались ей перечить и боялись, что их уволят, снизят категорию «карточки» и не отправят в «стационар», бояться было не надо. Их директор едва ли жалела и угождать им не собиралась – это ведь не Жданов и его присные<sup>1318</sup>. И не терпела разговоров о муках, испытанных блокадниками. После войны она однажды рассказала о встрече с иностранным гостем, приехавшим в Ленинград: «Сразу вопросы о жертвах, об ужасах войны – искали сенсаций. Я такие посещения не любила»<sup>1319</sup>.

### 3

Нежелание говорить правду о блокаде – примечательная черта многих «ответственных работников». Шло это поветрие, несомненно, «сверху». «Молчал Жданов. Молчал Попков. И все окружающее их обкомо-горкомовское кодро не подходило к микрофонам радиокомитета, хоть как-то поговорить с людьми», – отмечал в блокадных записях И. Меттер<sup>1320</sup>. Предлог, которым оправдывали это, нельзя признать полностью надуманным.

Сведения о разрушениях, о питании жителей, о жертвах и местах бомбардировок могли быть использованы противником – было что скрывать. К.Л. Михайлова, изучавшая корреспонденцию горожан в отделе военной цензуры на Главном почтамте, отмечала, что ее долгом являлось «внимательно эти письма читать, чтобы не пропустить информации о тяжелой жизни блокадного Ленинграда»<sup>1321</sup>.

Ни из газет, ни из радиопередач о смерти тысяч людей, о последствиях бомбардировок ничего узнать было нельзя<sup>1322</sup>. М.В. Машкова обрадовалась тому, что нет в феврале столь частых похоронных процессий, как в январе и даже связала это с улучшением питания. Ее

<sup>1314</sup> Чурсин В.Д. Указ. соч. С. 150.

<sup>1315</sup> Там же.

<sup>1316</sup> Там же.

<sup>1317</sup> Воспоминания С.С. Казакевич цит. по: Публичная библиотека в годы войны. С. 133.

<sup>1318</sup> См. воспоминания М.С. Смирновой: «Нам сначала по 800 грамм выдавали, потом по 500, по 400. Я пошла к Егоренковой: – Сколько лет работаю! Дайте рабочую карточку. – Не могу. – Тогда в дворники переведите. – Не пойдешь. Грубая она была... жестокая» (Цит. по: Публичная библиотека в годы войны. С. 138).

<sup>1319</sup> Запись беседы с Е.Ф. Егоренковой цит. по: Публичная библиотека в годы войны. С. 127.

<sup>1320</sup> Меттер И. Допрос. С. 50.

<sup>1321</sup> Михайлова К.Л. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 184; о запрете публиковать сведения о массовых смертях жителей города см.: Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. С. 62.

<sup>1322</sup> См. Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 23 сентября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 102; Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. С. 62.

радость была преждевременной: выяснилось, что мертвые тела запретили перевозить в светлое время суток<sup>1323</sup>. «Нечего скрывать, что известная часть населения Ленинграда вымерла от холода и голода» – как характерны эти строки книги о блокаде, опубликованной А. Фадеевым в 1942 г.<sup>1324</sup> «Нечего скрывать» – этой фразой обычно предваряли рассказы, обнаруживать которые не всегда решались. Холод в ряду причин гибели жителей называли прежде голода. О смерти от обстрелов в книге не говорится и чего стоит выражение «известная часть» – им ведь обычно и маскируют данные о потерях. Эта привычка к бдительности приобретала порой и экзотичные формы.

Но имелась и еще одна причина скрывать положение в Ленинграде. Излишняя подробность свидетельств могла высветить безразличие властей к судьбам горожан, их неумение действовать в чрезвычайных условиях. «... Народ не жалеют, скрывают и замалчивают, что тут делается... Голод страшный, люди мрут... идут по улице, падают и умирают. В аптеке два дня трупы мужские лежали и никто их не берет... Какая-то женщина в одних штанах (ограбили) несколько дней валялась на дворе. А по газетам все обстоит благополучно... Хотели даже оркестр... снимать, как будто концерт, да света не дали. Света нигде нет, воды нет, возят ведра прямо на Неву на санках, это голодные слабые обыватели. Дворы и улицы загажены», – изливала, не останавливаясь, свои жалобы Н.П. Заветновская в письме к дочери<sup>1325</sup>.

Читая протокол обсуждения в Смольном фильма «Оборона Ленинграда», трудно избавиться от впечатления, что его зрители было больше озабочены «пристойностью» показанной здесь панорамы блокады, чем воссозданием ее подлинной истории. Главный упрек: фильм не дает заряд бодрости и энтузиазма, не призывает к трудовым свершениям.

Конечно, мрачность картины в то время едва ли могла быть признана достоинством. Жизнь в городе и без того была горькой и призыв не беречь раны нельзя рассматривать только как лицемерие. Это в немецких листовках, призывавших горожан прекратить сопротивление, их жизнь рисовалась исключительно в черных красках. Странно было бы их повторять, когда искали любую возможность укрепить стойкость блокадников. Да и сами они старались как-то отвлечься от кошмарной повседневности: разговорами о еде и прошлой жизни, чтением книг, посещением театров, концертов и библиотек, сочинением стихов, подготовкой «праздников».

Подчеркнуть оптимизм настойчиво требовал А.А. Кузнецов, которого раздражала и заунывная музыка, и то, что не показана борьба людей, но «получается слишком много трудностей»<sup>1326</sup>. Его поддержал А.А. Жданов, вероятно, тоже считавший себя знатоком бравурных мелодий. А. Фадеев рассказывал о его реакции на мерный стук метронома: «Что это вы эдакое уныние разводите? Хоть бы сыграли что-нибудь»<sup>1327</sup>. Здесь мы обнаруживаем тот же настрой. Взгляд А.А. Жданова четко выявляет зазоры между пропагандистским каноном и отступлениями от него. Его замечания предельно резки: не надо мрачной музыки. Почему? Это лишнее: «Совсем не нужно оплакивать»<sup>1328</sup>. Не показана советская женщина. Это плохо. Показана старуха, сидящая в сквере. У нее, наверное, далеко не бодрый вид. Кадр, по его мнению, неудачный: «Старуху надо изъять»<sup>1329</sup>.

<sup>1323</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 22 (Запись 1 марта 1942 г.).

<sup>1324</sup> Фадеев А. Ленинград в дни блокады (Из дневника). С. 119.

<sup>1325</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 5 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 30, 30 об. Ср. с записью в дневнике А.Т. Кедрова: «... Встретил грузовые машины, доверху нагруженные трупами. Проходящие мимо бабенки, ворча, говорили: „... Наших везут согнями на кладбище и об этом мы молчим, а вот в Финляндии умерло от голода 12 детей, так мы всю об этом трубим“» (Кедров А.Т. Дневник. 12 января 1942 г.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 59. Л. 91).

<sup>1326</sup> Цит. по: Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. Кн. 1. С. 224.

<sup>1327</sup> Фадеев А. Ленинград в дни блокады. (Из дневника). С. 134.

<sup>1328</sup> Цит. по: Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. Кн. 1. С. 224.

<sup>1329</sup> Там же. С. 225.

Но чем дальше знакомишься с «высочайшими» оценками, тем быстрее замечаешь, что не один лишь скорбный тон стал причиной столь сильной неприязни к фильму. «В картине переборщен упадок», – отметил А.А. Жданов. И читая отчет о произнесенной здесь же речи П.С. Попкова, понимаешь, что, пожалуй, именно это и являлось здесь главным. П.С. Попков чувствует себя отменным редактором. В фильме показана вереница покойников. Не нужно этого: «Впечатление удручающее. Часть эпизодов о гробах надо будет изъять»<sup>1330</sup>. Он увидел вмерзшую в снег машину. Зачем ее показывать? «Это можно отнести к нашим непорядкам». Он возмущен тем, что не освещена работа фабрик и заводов – о том, что большинство их бездействовало в первую блокадную зиму, предпочел умолчать. В фильме снят падающий от истощения блокадник. Это тоже необходимо исключить: «Неизвестно, почему он шатается, может быть пьяный»<sup>1331</sup>.

Вот идиллия блокадной жизни по П.С. Попкову. Нет гробов. Нет покойников. Нет покоренных машин. Нет промерзших, остановившихся заводов. Нет шатающихся людей. Он, наверное, и в фильме бы оставил одних лишь жизнерадостных рабочих, бодро трудившихся у станков, но ведь их героизм надо было оттенять повествованием о суровых военных буднях. «Куда их везут?» – спрашивает П.С. Попков, увидев в фильме нескончаемую череду мертвых тел; вопрос, редкостный по наигранной наивности для того, кто должен быть лучше всех осведомлен о трагедии Ленинграда.

Эта попытка выгородить тогда еще могла маскироваться заботой о сохранении военной тайны. Позднее сведения о жертвах, казалось, не нужно было тщательно скрывать – а приемы П.С. Попкова не изменились ни на йоту. В.М. Глинка был свидетелем пресс-конференции, данной председателем Ленгорисполкома для иностранных журналистов. И то, что он услышал, показалось ему верхом цинизма: «Когда в ходе беседы один из англичан спросил, правда ли, что в Ленинграде умерло больше пятисот тысяч человек... Попков с какой-то свойственной ему кривой ухмылкой, не задумываясь, ответил:

– Эта цифра во много раз завышена и является сплошной газетной уткой...»

Через минуту на вопрос о снабжении населения во время блокады коммунальными услугами он ответил с той же улыбочкой:

– Подача электроэнергии и действие водопровода в Ленинграде не прекращались ни на час»<sup>1332</sup>.

#### 4

Имитация – характерная примета деятельности представителей власти в «смертное время». Имитация бодрости, деловитости, работоспособности, активности. Многого сделать было нельзя, но опасно было и дать почувствовать, что кто-то не выполняет свой долг. Образцом имитации можно считать посещение «ответственными» работниками театра. Об одном из них рассказано в книге уполномоченного ГКО по снабжению Ленинграда продовольствием Д.В. Павлова. Театр музыкальной комедии он посетил вместе с П.С. Попковым и Я.С. Лазутиным. Температура на улице -25 °С. Лица артистов обычные: серые, бледные, исхудалые. Одеты они в легкие костюмы. В антракте некоторые из них падали в голодный обморок. Те, кто еще держались на ногах, пошли в начальственную ложу просить «бескарточный» суп из дрожжей – отвратительное на вкус варево.

Постыдная сцена: не сытые люди спускаются вниз, чтобы предложить хлеб, чтобы узнать, как живут голодные артисты, а изможденные люди карабкаются вверх и униженно

<sup>1330</sup> Там же. С. 224.

<sup>1331</sup> Там же.

<sup>1332</sup> Глинка В.М. Блокада. С. 191.

объясняются: «Просим не осуждать нас за вторжение»<sup>1333</sup>. Они даже не сняли грим и оставались в театральных костюмах – или спешили, боясь, что посетители уйдут, или не имели сил сразу же переодеться, или хотели сильнее разжалобить тех, кто не только никогда не питался таким супом, но и побрезговал бы взглянуть на него. Узнав, как люди ведут себя в подобных ситуациях, можно четко выявить присущие им нравственные правила. О том, что сытый человек не имеет право сидеть и смотреть, как перед ним танцуют падающие от истощения люди, эти трое посетителей, похоже, и не подозревают. Неясно, какое удовольствие они могли здесь получить. «Более грустно, чем весело», – скажет о театре А. Гордин, взглянув на артистов<sup>1334</sup>. Главное для «ответственных» работников не это. Главное – подчеркнуть, что они умеют вселить бодрость и уверенность в сердца блокадников. Главное – отметить ее у других: «Воля побеждала: они вставали и играли»<sup>1335</sup>. Главное – показать, что руководители находятся рядом с простыми людьми, живут их радостями и заботами, бывают вместе с ними в театре и под обстрелами, волнуются за их судьбы.

Они привыкали к усвоенной ими роли стойкого борца, ежедневно призывая к подвигу, наставляя колеблющихся, грозя отступившимся. Выработывался сценарий поведения, заучивались четкие правила, определявшие, что дозволено «ответственным» работникам.

Выявить, каким образцам они хотели бы соответствовать, нетрудно. Труднее понять, всегда ли они бескомпромиссно следовали установленному ими моральному кодексу. Е.С. Лагуткин сообщал, как часто в очагах поражения находился П.С. Попков, как он, рискуя жизнью, «принимал активное участие в ликвидации последствий вражеских налетов и артиллерийских обстрелов»<sup>1336</sup>.

Канцеляризм этой фразы отчасти объясним: нередко единственной литературной работой, которую позволяли себе чиновники, являлось именно составление отчетов. Вызывает удивление другое: отсутствие не только яркого, но хотя бы конкретного описания события. О том, как ректор ЛГУ А.А. Вознесенский разговаривал с людьми, оказавшимися в завалах, отдавал им теплые вещи и шоколад, очевидец этой истории рассказывала спустя много лет после снятия блокады<sup>1337</sup>. И запомнили, как заместитель председателя СНК А.Н. Косыгин «обходил питательные пункты и говорил с эвакуированными»<sup>1338</sup>. Что мешало «оживить» повествование и показать, как руководитель города тушил пожары, помогал раненым и выносил их из-под развалин? Все это заменено безликим «активным участием», под которое можно подверстать все, что угодно.

Текст составлен подчиненным П.С. Попкова – и это должно быть учтено. В сотнях изученных мною документов блокадников не удалось найти ни одного свидетельства о том, чтобы кто-то видел П.С. Попкова на руинах разбомбленных домов. Это сразу бы бросилось в глаза – но очевидцы молчат. После сентября 1941 г. никто не видел на развалинах ни А.А. Жданова, ни А.А. Кузнецова – и было бы странно, если бы П.С. Попков решил приобрести себе популярность, подчеркивая свое сострадание на фоне черствости других «вождей».

Не большего доверия заслуживают и апокрифические рассказы о А.А. Жданове. Их «житийность» обнаруживается еще явственнее, когда они включены в официальные документы. «Ленинградская городская организация, лично т. Жданов чрезвычайно внимательно отнеслись к нуждам учащихся» – читаем в отчете Отдела народного образования Ленгор-

<sup>1333</sup> Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. С. 175.

<sup>1334</sup> Гордин А. Из блокадных заметок. Цит. по: Ломагин Н.А. Ленинград в блокаде. С. 473.

<sup>1335</sup> Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. С. 175.

<sup>1336</sup> Лагуткин Е.С. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 399.

<sup>1337</sup> Эльяшева Л. «Папа» Вознесенский. С. 147.

<sup>1338</sup> Аверкиев И.А. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 491.

исполкома<sup>1339</sup>. Пропустив несколько абзацев, находим здесь же такое признание: «В 369-й школе Московского района при первом осмотре после прихода в школу было 96 % детей, страдавших дистрофией и скорбутом»<sup>1340</sup>; авторы отчета, похоже, даже не заметили, какую двусмысленность приобрел текст.

Но там, где свидетельства очевидцев являлись более детальными, мы иногда можем обнаружить характерную для бюрократии имитацию бурной деятельности. Примером заботы о людях считались обходы квартир, в которых участвовали секретари районных и партийных комитетов Приморского и Петроградского районов<sup>1341</sup>. И это дело приобретало характер хорошо знакомой «кампанейщины». Обходы оказались не только первыми, но и последними – сведений, которые бы указывали на их регулярность, найти не удалось.

Нет нужды отрицать тот вклад, который власти внесли в дело спасения ленинградцев. Излишне спрашивать их о том, были ли свойственны им гуманные побуждения. Они занимались тем, чем, обязаны были заниматься: организовывали подвоз продовольствия и его распределение, обеспечивали работу больниц и госпиталей, составляли списки нуждающихся и направляли их в стационары, приободряли потерявших всякую надежду. Несомненно, что власти искренне хотели облегчить страдания ленинградцев и сделали для этого немало. Сколь бы хорошо ни питались «ответственные работники», но видеть каждый день невыносимые муки голодных, замерзшие и ограбленные трупы на улицах было тягостно и им.

Есть достоверные свидетельства о том, что А.А. Жданов и К.Е. Ворошилов после первой бомбежки приехали на Миллионную улицу повидать чудом спасенного ребенка<sup>1342</sup>. И в сообщении председателя Выборгского райисполкома, распределявшего суррогатные продукты среди нуждавшихся, не раз проскальзывает радость от того, что удалось кому-то помочь<sup>1343</sup>. Нельзя не отметить, каким эмоциональным было одно из выступлений

А.А. Кузнецова, когда он говорил о высокой смертности в городе, несмотря на увеличение пайков: «Это крепко беспокоит нас и, в частности, беспокоит Андрея Александровича»<sup>1344</sup>. Это не трафаретная фраза – с необычной откровенностью он рассказывал, как нервничал Жданов, как возмущался тем, что никто, даже врачи, не хотят объяснить причины этого. И когда тот же П.С. Попков, призывая создать бытовые отряды, рассказал о беспомощной «старухе», согревавшей в постели двух маленьких детей, чувствуется, что эта история задела и его. Но можно было оказывать помощь, повинувшись жесткой дисциплине, а можно это было делать, когда нет указаний «сверху», когда необходимо выйти за пределы своих полномочий, да еще и нести за это ответственность. Многие ли были способны на это? Нет.

Тот же П.С. Попков на просьбу скалолазов, закрывавших чехлами высокие шпили, дать им «литерные карточки», ответил: «Ну, вы же работаете на свежем воздухе»<sup>1345</sup>. Вот точный показатель уровня этики. «Что вам райсовет, дойная корова», – прикрикнул председатель райисполкома на одну из женщин, просившую мебель для детского дома<sup>1346</sup>. Мебели хватало в законсервированных «очагах» – значительную часть детей эвакуировали из Ленинграда. Это не являлось основанием для отказа в помощи. Причиной могли стать и усталость, и

<sup>1339</sup> Из отчета Отдела народного образования Ленгорисполкома о работе с 22/6-41 по 1/1-42 // 900 героических дней. С. 362.

<sup>1340</sup> Там же.

<sup>1341</sup> Худякова Н. За жизнь ленинградцев. С. 69; Буров А.В. Блокада день за днем. С. 142.

<sup>1342</sup> Стенограмма сообщения Копиленко Р.М.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 67. Л. 8.

<sup>1343</sup> Стенограмма сообщения Тихонова А.Я.: Там же. Д. 123. Л. 17 об.

<sup>1344</sup> Протокол заседания Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) 10 апреля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 10.

<sup>1345</sup> Устольская Н.М. Воспоминания ленинградки. С. 99.

<sup>1346</sup> Стенограмма сообщения Бушель Р.И.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 21. Л. 11.

страх ответственности, и эгоизм. И не важно, чем они маскировались: видя, как не делали того, что могли сделать, сразу можно определить степень милосердия.

## Привилегии

### 1

Система привилегий в блокадном Ленинграде ни для кого не являлась тайной. Принципы, на которых она основывалась, новыми не были. Преимуществом пользовались люди, находившиеся у власти и «нужные» специалисты (директора предприятий и учреждений, высококвалифицированные инженеры и рабочие, ученые). Ценность специалистов считалась относительной и «ситуативной». Ценность государственных и партийных работников являлась абсолютной. Известно, что уровень смертности коммунистов во время блокады был в два раза ниже общего уровня смертности в городе<sup>1347</sup>. Этот разрыв мог увеличиться, если бы учитывались не все члены партии, а только те, кто занимал руководящие должности. «В райкоме работники тоже стали ощущать тяжелое положение, хотя были в несколько более привилегированном положении... Из состава аппарата райкома, Пленума райкома и из секретарей первичных организаций никто не умер. Нам удалось отстоять людей», – вспоминал первый секретарь Ленинского райкома ВКП(б) А.М. Григорьев<sup>1348</sup>. Рядовые же коммунисты не имели, как и другие жители Ленинграда, надежных источников пропитания. Испытывали ли при этом «ответственные работники» чувство раскаяния и стыда?

Отвечая на этот вопрос, отметим прежде всего те аргументы, которыми оправдывали наличие льгот. Если бы привилегии предоставлялись лишь ограниченной группе лиц, несправедливость их была бы очевидной. Но она давалась (конечно, в гораздо меньших размерах) к различным слоям горожан, и нередко в первую очередь самым слабым и беспомощным. Мысль о привилегиях многим не представлялась греховной. С раздражением говорили о «смольнинских» пайках, но понимали, что нельзя в равной степени оценивать труд в «горячих» цехах и уборку территорий остановленных заводов. Ежедневно приходилось осуществлять отбор людей на более или менее ценных, давать пайки одним и отказывать другим. Едва ли при этом могли иметь особое значение личные пристрастия. Должны были следовать инструкциям и потому воспринимали такой порядок не как произвол, а как важное государственное дело. Но там, где признавали оправданным разделение людей и не считали его зазорным, там и собственные привилегии не должны были вызывать негативный отклик. Они не могли восприниматься как нарушение этики еще и потому, что работа во внеурочное время, объем обязанностей и степень ответственности представителей власти позволяли быть оправданием лучшего вознаграждения их заслуг. Да и нечасто приходилось оглядываться на других, опасаясь их осуждения. Надеждой на то, что могут получить разными способами (обычно «связями») продукты, недоступные для многих, жили тысячи блокадников – скрывать это незачем.

### 2

Чувство стыда (и то не всегда) усиливалось лишь тогда, когда различие между пайками «ответственных работников» и простых блокадников оказывалось чрезмерным по любым меркам. Примечательна история Н.А. Рибковского. Освобожденный от «ответственной» работы осенью 1941 г., он вместе с другими горожанами испытал все ужасы «смертного вре-

---

<sup>1347</sup> Бидлак Р. Рабочие ленинградских заводов в первый год войны. С. 179.

<sup>1348</sup> Стенограмма сообщения Григорьева А.М.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 32. Л. 10.

мени». Ему удалось спастись: в декабре 1941 г. он был назначен инструктором отдела кадров Ленинградского горкома ВКП(б). В марте 1942 г. его направляют в стационар горкома в поселке Мельничный Ручей. Как всякий блокадник, переживший голод, он не может в своих дневниковых записях остановиться, пока не приведет весь перечень продуктов, которыми его кормили: «Питание здесь словно в мирное время в хорошем доме отдыха: разнообразное, вкусное, высококачественное... Каждый день мясное – баранина, ветчина, кура, гусь... колбаса, рыбное – лещ, салака, корюшка, и жареная и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки и столько же черного хлеба на день, тридцать грамм сливочного масла и ко всему этому по пятьдесят грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину... Я и еще двое товарищей получаем дополнительный завтрак, между завтраком и обедом: пару бутербродов или булочку и стакан сладкого чая»<sup>1349</sup>.

«В воскресенье самое хорошее выбрасывали», – запишет в дневнике оголодавшая девочка, питавшаяся с матерью отбросами на помойке. «Самое хорошее» – вот мерка ценностей людей того времени, не имевших льгот. Н.А. Рибковский когда-то находился среди них, и недаром его подкармливали в стационаре. Ему явно неловко, ему хочется оправдаться, хочется думать, что не только здесь живут как в «хорошем доме отдыха»: «Товарищи рассказывают, что районные стационары нисколько не уступают горкомовскому стационару, а на некоторых предприятиях есть такие стационары, перед которыми наш стационар бледнеет»<sup>1350</sup>. Сохранились сведения о нормах отпуска продуктов в стационаре Сталепрокатного завода. Даже хлеба там давали меньше, не говоря уж об ассортименте блюд; мяса полагалось 40 г в день, крупы – 40 г.<sup>1351</sup> Н.А. Рибковский и его сослуживцы могли и не знать

об этом, а если бы и узнали, вряд ли отказались от льгот – не только из-за голода, а хотя бы потому, что им и не позволили бы этого сделать. Здесь примечательнее всего тот стыд, который они испытывают: не оправдаться было нельзя. Обуславливал ли этот стыд признание льгот аморальными? Нет. Можно было только утешиться тем, что делились «ответственными пайками» с другими, успокоить себя слухами об обильной пище в иных стационарах – но ощущение правильности разделения людей по категориям оставалось всегда.

Читая стенограмму сообщений руководителей предприятий, замечаешь одну деталь. Если здесь удавалось неожиданно подкормиться или обнаруживали запасы чего-нибудь съедобного, обязательно часть их отдавали партийным и советским работникам. Директор фабрики «Светоч» А.П. Алексеева оберегала, как могла, найденную на складах картофельную муку, но об этом прознали и пришлось кое-что отдать «нашим товарищам из райкома и советского аппарата»<sup>1352</sup>. Заместитель начальника Ленинградского торгового порта Б.С. Бернштейн, говоря о том, что свежая рыба не только раздавалась рабочим, но и «шла в город», счел возможным назвать только одного из ее получателей: «...В частности, шла в РК партии»<sup>1353</sup>.

То же наблюдалось и в других случаях. Известно, что бомбоубежища в городе создавались наспех, и блокадники не были в них надежно защищены. Неужто и работники прокуратуры, подобно тысячам ленинградцам, должны сидеть в этих «каменных гробах» в давке, без скамей, каждую минуту опасаясь, что будут погребены под их обломками? Нет. «Проектируем комфортабельное бомбоубежище для прокуратуры», – записывает в дневнике сотрудница городского АПУ<sup>1354</sup>.

<sup>1349</sup> Запись 5 марта 1942 г. в дневнике Н.А. Рибковского цит. по: *Козлова Н.* Советские люди. С. 268.

<sup>1350</sup> Там же. С. 268–269.

<sup>1351</sup> *Соколов Г.Я.* [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 565.

<sup>1352</sup> Стенограмма сообщения Алексеевой А.П.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 3. Л. 6 об.

<sup>1353</sup> *Бернштейн Б.Л.* Ленинградский торговый порт в 1941–1942 гг. С. 205.

<sup>1354</sup> *Левина Э.* Письма к другу. С. 201 (Дневниковая запись 28 февраля 1942 г.).



Известно, что, ввиду нехватки транспорта, уехать из города можно было только по ордерам, и немало людей погибло, так и не дождавшись своей очереди. Жена первого секретаря обкома комсомола одной из уральских областей, собиравшаяся выехать к мужу, была, похоже, уверена, что ордера необходимы не ей, а тем, кто попроще. Она даже не предъявила никаких документов руководителю эвакуируемой группы рабочих, который включил ее в список отъезжавших «как свою жену»<sup>1</sup>. И отказаться он не мог, боясь неприятностей, и подозревал ее в мошенничестве. Это единственное, что его беспокоило; в ее праве претендовать на особое положение он не сомневался. Другой блокаднице посчастливилось встретить знакомого работника обкома, который помог эвакуироваться вместе с заводом «Красный выборжец»<sup>2</sup> – и он, вероятно, не сомневался в своем праве самому решать, кто достоин, а кто не достоин ехать.

Одна из девушек, член комсомольско-бытовой бригады, выжила только потому, что ее «прикрепили» к райкомовской столовой, где «один раз в день можно было поесть хорошо»<sup>3</sup>. Эти столовые для «ответственных работников» пусть и не всегда значительно, но все же отличались от столовых предприятий<sup>4</sup>. Если директора фабрик и заводов имели право на «бескарточный» обед, то руководители партийных, комсомольских, советских и

<sup>1</sup> Шулькин Л. Воспоминания баловня судьбы С. 153.

<sup>2</sup> Налегатская А.В. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 190.

<sup>3</sup> Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. С. 176.

<sup>4</sup> «Я устроилась... в райсовет на 200 р. в месяц делопроизводителем. Есть неплохая столовая. Из-за нее и поступила» (В.Н. Дворецкая—

В.А. Дворецкой. 1 декабря 1941 г.: Архив В.Г. Вовиной-Лебедевой); «Обедал в столовой РК партии. Там питалось человек 25. Было у нас котловое довольствие. Утром давали стакан чая, не горячего... Чай давался не сладкий и к чаю давали ложки полторы каши... В обед давали, как правило, щи из хряпы и кочерыжек, а на второе котлеты, приготовленные из технических (колбасных) кишек, или казеиновые лепешки. Вечером стакан чая и ложки полторы каши. Хлеба давали в пределах нормы» (Саванин А.С. Ленинградская городская контора Госбанка в годы войны // Доживем ли мы до тишины. С. 226); «Питания в этой столовой [горкома комсомола. – С. Я.], как всюду, отпускалось по продовольственным карточкам... Но все же там иногда давали кое-какие дополнительные блюда из овощей и других второстепенных продуктов. Эта столовая, хотя и не давала возможности утолить голод, но все же помогла нам не умирать с голоду... Весной... была открыта столовая для партактива и мы стали питаться более упитаннее» (Воспоминания Е. А. Соколовой о работе Института истории партии при Ленинградском ОК КПСС в годы Великой Отечественной войны: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 18. Д. 486. Л. 50, 50 об.).

профсоюзных организаций получали еще и «бескарточный» ужин<sup>1355</sup>. В Смольном из «карточек» столующихся целиком отрывали только талоны на хлеб. При получении мясного блюда отрывалось лишь 50 % талонов на мясо, а блюда из крупы и макарон отпускались без «карточек»<sup>1356</sup>. Точные данные о расходе продуктов в столовой Смольного недоступны до сих пор и это говорит о многом.

Среди скурых рассказов о питании в Смольном, где слухи перемешались с реальными событиями, есть и такие, к которым можно отнестись с определенным доверием. О. Гречинской весной

<sup>1355</sup> Ковальчук В.М. 900 дней блокады. С. 91–92.

<sup>1356</sup> Там же. С. 91.

1942 г. брат принес две литровые банки («в одной была капуста, когда-то кислая, но теперь совершенно сгнившая, а в другой – такие же тухлые красные помидоры»), пояснив, что чистили подвалы Смольного, вынося оттуда бочки со сгнившими овощами<sup>1357</sup>. Одной из уборщиц посчастливилось взглянуть и на банкетный зал в самом Смольном – ее пригласили туда «на обслуживание». Завидовали ей, но вернулась оттуда она в слезах – никто ее не покормил, «а ведь чего только не было на столах»<sup>1358</sup>.

И. Меттер рассказывал, как актрисе театра Балтийского флота член Военного совета Ленинградского фронта А.А. Кузнецов в знак своего благоволения передал «специально выпеченный на кондитерской фабрике им. Самойловой шоколадный торт»<sup>1359</sup>; его ели пятнадцать человек и, в частности, сам И. Меттер. Никакого постыдного умысла тут не было, просто А.А. Кузнецов был уверен, что в городе, заваленном трупами погибших от истощения, он тоже имеет право делать щедрые подарки за чужой счет тем, кто ему понравился. Эти люди вели себя так, словно продолжалась мирная жизнь, и можно было, не стесняясь, отдыхать в театре, отправлять торты артистам и заставлять библиотекарей искать книги для их «минут отдыха».

### 3

В представлениях «ответственных работников» о привилегиях учитывалось не только то, что они имеют право на лучшее питание. Отбор людей на ценных и не ценных не проходил бесследно. Признавалось необходимым и разделение по категориям, и, соответственно, нормам пайков самих представителей власти.

Как отметил в своих записках В. Кочетов, в полузакрытом «генеральском» магазине во дворе штабного здания ЛВО еще в сентябре 1941 г. имелось только шампанское<sup>1360</sup>, а в буфете «Ленинградской правды» и в конце осени «получили сверх карточек роскошнейшие продукты, какие до войны-то не каждый... выдывал на своем столе: первосортные консервы из крабов, отличную зернистую осетровую икру»; не было там, правда, хлеба<sup>1361</sup>.

Характерно, что инструктор политотдела управления милиции была наказана за то, что питалась по «карточкам» иждивенца, эвакуированного из города. Ей вынесли партийный выговор, уволили из управления, но потом сжалились и перевели на должность сотрудника Института истории партии, предупредив, что до снятия взыскания ей предстоит работать здесь завхозом<sup>1362</sup>.

«Все запасы... были к тому времени израсходованы, и я искал, чего бы пожевать. Я нашел стеариновую свечку и жевал ее», – вспоминал первый секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ Б.П. Федоров<sup>1363</sup>. Мать угощала его корнями одуванчиков, варила студень из ремней. Своего заместителя на партийно-хозяйственный актив он «вел таким образом: пройдешь километр – дам тебе кусочек хлеба»<sup>1364</sup>. И секретарь Московского РК ВЛКСМ М.И. Горбачев счел необходимым подчеркнуть: «Работники райкома комсомола никакими привилегиями не пользовались»<sup>1365</sup>.

<sup>1357</sup> Гречина О. Спасаясь спасая. С. 278.

<sup>1358</sup> Литвин Е.Д. «В тяжелые времена нет полутонов...» // Испытание. С. 118.

<sup>1359</sup> Меттер И. Допрос. С. 50.

<sup>1360</sup> Кочетов В. Улицы и траншеи. С. 148.

<sup>1361</sup> Там же. С. 176.

<sup>1362</sup> Воспоминания Е.А. Соколовой...: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 18. Д. 486. Л. 55.

<sup>1363</sup> Федоров Б.П. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 465.

<sup>1364</sup> Там же. С. 468.

<sup>1365</sup> Горбачев М.И. [Стенографическая запись воспоминаний] // Там же. С. 459.

Все эти признания сделаны для стенографов во время войны, когда пережитое не потускнело, и были живы еще люди, способные их подтвердить или опровергнуть. Районные комсомольские работники являлись, пожалуй, самым низшим звеном в запутанной иерархической структуре власти. И примечательно, что в рассказах руководителей райкомов партии и райисполкомов столь откровенных высказываний мы почти не найдем.

В стенограмме сообщения председателя Василеостровского райисполкома вообще чувствуется какой-то сумбур, едва он начинает говорить о привилегиях. Все оборвано, хаотично, но при этом ощущаются нарочитые умолчания. Секретарь райисполкома, по его словам, являлась «дистрофиком», спала прямо в кабинете и ее никак нельзя было разбудить. В райкоме партии ему давали консервированные фрукты, а о том, чем же он еще питался, не сказано ни слова. «Мы получали тоже по 125 граммов хлеба»<sup>1366</sup> – читать это неловко.

17 декабря 1941 г. исполком Ленгорсовета принял постановление, в соответствии с которым позволялось отпускать ужин без зачета продовольственных «карточек» секретарям райкомов РКП(б), председателям райисполкомов и их заместителям<sup>1367</sup>. Картина того, как относились к своим привилегиям «ответственные работники», была бы неполной, если не отметить, как они встречали просьбы о помощи другим людям. Вот здесь их «государственный подход» обнаружился наиболее выпукло. Всех удовлетворить, конечно, было нельзя, но на фоне излишеств чиновников становилось особенно заметным, сколь скупой рукой отпускались блага прочим блокадникам. В постановлении исполкома Ленгорсовета 23 декабря 1941 г. об организации детских елок разрешалось «выдавать бесплатные билеты детям семей рядового и младшего командного состава РККА и РККФ, семей пенсионеров и остро нуждающихся, но не свыше 30 % от общего количества билетов»<sup>1368</sup>. Стоил билет 5 рублей: даже здесь, где деньги мало что значили, занимались крохоборством.

И такие же сцены, где кажущиеся целесообразными доводы не в состоянии скрыть безразличия к судьбам тех, кого не допустили к «кормушке» и кто не умел постоять за себя, можно наблюдать не раз. Чаше отказывали горожанам, чей труд не имел практической пользы, не являлся значимым для жизнеобеспечения Ленинграда, для выживания его населения. Осуждать за это нельзя, «верхи» руководствовались той логикой, которая, даже будучи жестокой, могла иметь оправдания. Но нужно посмотреть и на то, как объяснялся этот отказ. Г.А. Князев писал, с каким усердием его знакомая пыталась «выхлопотать» ему «карточку» 1-й категории. «Везде ее энергия разбивалась о холодные, пустые сцены бюрократического аппарата»<sup>1369</sup> – фразу можно счесть риторикой обиженного, если бы не знать о подробностях этой истории. Составленные им заявления терялись, а когда речь зашла о повышении норм пайков не только для директора, но и для всех кандидатов наук, сразу услышали категоричное «нет». Пытаясь разжалобить профсоюзных служащих из Ленинградского обкома Союза высшей школы и научных учреждений, их спросили: «Что же им остается – умирать?»<sup>1370</sup>

«Возможно, что и умирать», – сказали просительнице. Когда «ответственные» люди ежедневно определяли, кому жить, а кому погибать, маскируя это бюрократической фразой о «решении вопроса о пайках», они могли и не почувствовать цинизма ответа. Притуплялось все, уставали от бесконечных прошений, от одних и тех же слов и жестов и, возможно, хотели быстрее закончить этот бесполезный и нескончаемый разговор – резко, наотмашь, без стеснений.

<sup>1366</sup> Стенограмма сообщения Кускова А.А.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 76. Л. 11 об.

<sup>1367</sup> Ковальчук В.М. 900 дней блокады. С. 91.

<sup>1368</sup> 900 героических дней. С. 241.

<sup>1369</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 34 (Запись 6 января 1942 г.).

<sup>1370</sup> Там же.

История «писем во власть» академика И.Ю. Крачковского полна такого же рода «отписками». Он был единственным академиком в городе и, вероятно, надеялся, что его положение, возраст, талант и заслуги станут залогом лучшего отношения к нему со стороны властей. Правда, просить о помощи он посмел, лишь находясь на краю смерти – и то обходными путями. Писал он своим друзьям – академикам в Казахстан, а те отправили телеграфный запрос в Ленгорсовет, заручившись поддержкой президента АН СССР В.Л. Комарова. Их просьба застала врасплох П.С. Попкова – в Смольном до этого, похоже, никто и не думал интересоваться судьбой ученого. Телеграмма президента – это не мольба безвестного блокадника, с которым обычно не церемонились. Она могла иметь неприятные последствия и никто не знал, к кому еще обратятся и у кого оно вызовет придиричivé вопросы об истинном положении в городе – бюрократические игры сложны. В конце февраля 1942 г. начальнику административно-хозяйственного управления академических учреждений (ЛАХУ) М.Е. Федосееву (до самого И.Ю. Крачковского не снизошли) позвонили из секретариата П.С. Попкова и сразу же объяснили чем это вызвано: получили телеграмму президента АН СССР. Игнорировать таких ходатаев не полагалось, им нужно было что-то отвечать. Спросили начальника ЛАХУ о том, жив ли академик. Получив подтверждение, прекратили разговор. Помощь ему никто не предложил, да, вероятно, и считали ее излишней. Ничего не произошло, никто не погиб, волноваться не о чем – так можно было и сообщить В.Л. Комарову. Работнику секретариата П.С. Попкова сказали, что у академика имеется телефон, ему можно позвонить – никто звонить не стал. Тогда начальник ЛАХУ позвонил сам – в секретариате ответили, что никаких телеграмм не получали<sup>1371</sup>.

Все типичные бюрократические ходы налицо. Виден «расклад» значимых и не значимых фигур: к одним необходимо прислушиваться, других не нужно замечать. Ни одного сбоя, все отшлифованные приемы «отписок» и умолчаний применены виртуозно и последовательно. И никого не поймать за руку, не попенять ему на черствость – всегда можно сослаться на обстоятельства.

В марте 1942 г. И.Ю. Крачковский почувствовал голод так остро, что презрев гордость и самолюбие, напрямую обратился к П.С. Попкову. Просил прислать врачей, говорил о лекарствах и витаминах – ответа нет. Пришлось унижаться снова. На жалость рассчитывать нельзя – он это понял. Чиновники пуще всего боятся ответственности – не сыграть ли на этом? И.Ю. Крачковский с какой-то отменной деликатностью, видимо, остерегаясь лишний раз обидеть чиновника или прослыть склочником, пробует объяснить П.С. Попкову, чем опасно это бездействие лично для председателя Ленгорисполкома: «...Было бы нежелательно, чтобы те неизвестные мне сведения, которые без всякого моего участия дошли до Президиума АН в г. Свердловске, стали распространяться шире в нашей или зарубежной среде, давая ложный повод к неправильным толкованиям об отношении к ученым, продолжающим работу на своем посту в г. Ленинграде»<sup>1372</sup>. Нет ответа – академик не является тем лицом, которое следовало бы бояться и чьи намеки обязаны воспринимать. Опасаться следовало гнева А.А. Жданова – а когда И.Ю. Крачковский обратился и к нему, события приняли неожиданный оборот. Академика навестили служащие Гоздравотдела, ему дали не только лекарства и витамины, но и свежее мясо, белый хлеб, крупу, масло, курагу, муку, печенье, шоколад... Оказывается, все можно было получить – требовалось лишь настойчиво и находчиво, прибегая то к одной, то к другой комбинации, обдуманно выбирая лучшие рычаги, успеть за полшага до смерти доказать свое право питаться так же, как «ответственные работники».

<sup>1371</sup> Долинина А.А. Невольник чести. СПб., 2004. С. 323.

<sup>1372</sup> Письмо И.Ю. Крачковского П.С. Попкову 19 марта 1942 г. цит. по: Долинина А.А. Невольник чести. С. 324.

Мы намеренно столь подробно осветили данный эпизод. Это лишь частный случай – а изучая его, кажется, что наяву слышишь скрежет проржавевшей бюрократической машины. И речь ведь шла не о каких-то несправедливо присвоенных привилегиях. Люди заслужили их, но чего стоило их добиться – и что говорить

о других ленинградцах, у которых не было влиятельных ходатаев и которые сгинули, не оплакиваемые никем. Можно, ссылаясь на трудности войны, попытаться оправдать это желание «ответственных работников» сократить ряды «льготников». Но почему же они не так придирчиво относились к себе?

Стремление их жить лучше, чем другие, понятно, и осуждать их, казалось, не за что – все хотели так жить. Но там, где у них появлялась возможность самостоятельно решать, как и за чей счет обильнее питаться, – там и дано нам отчетливее увидеть их нравы. Если бы необходимость усиленного питания диктовалась только законами выживания, в представлениях «ответственных работников» о допустимости привилегий для себя можно еще попытаться увидеть частицу «блокадной» правды, хотя и жестокой. Но мы знаем, что буквально обедались многие из тех, кто имел доступ к власти, а значит, и к продуктам. Мысль о том, что нельзя роскошествовать на виду у людей, не имевших крошки хлеба, как-то не прижилась у части «ответственных работников» – моральные запреты нарушались, как и в прошлом, нередко очень легко.

## Глава IV «Незнакомые» люди

### Беспризорные дети

#### 1

Помощь беспризорным детям приобрела особое значение со второй половины декабря 1941 г., когда смертность среди жителей города начала неуклонно и быстро возрастать. Ленинградские детдома оказались переполненными, а обычный порядок установления опеки стал малоприспособленным в тех условиях. Перестройка детских учреждений началась не сразу и не такими темпами, которые требовались в блокадной катастрофе – ее размеры, правда, не сразу смогли оценить. Постановление Ленгорсовета от 13 февраля 1942 г. нельзя не признать запоздалым. В нем предлагалось снабдить детские дома топливом, постельными принадлежностями и кроватями<sup>1373</sup>. Об этом следовало позаботиться еще до того времени, когда, если верить очевидцам, там пеленки примерзали к матрасам, а в кроватях спало по пять детей. Обычный ритуал принятия решений даже тогда соблюдался неукоснительно. На постановление Совнаркома СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей»<sup>1374</sup> городские власти откликнулись «подзаконным актом» лишь месяц спустя, когда в городе хоронили несколько тысяч трупов в день<sup>1375</sup>. Читая же постановление Секретариата Ленинградского горкома ВЛКСМ от 16 марта 1942 г. «Об ответственности комсомольских организаций за выявление и устройство беспризорных детей и подростков»<sup>1376</sup>, трудно избавиться от ощущения, что оно являлось инструментом начатой тогда кампании по очистке города. Здесь сказывалось не столько влияние этических норм, сколько боязнь эпидемий. В нем предлагалось руководителям ВЛКСМ вместе с представителями РОНО до 20 марта 1942 г. провести «сплошной обход квартир с целью выявления безнадзорных детей и подростков»<sup>1377</sup>. Быстрота, с которой намечалось осуществить его в огромном городе (всего три дня), наводит на мысль, что авторы постановления были хорошо осведомлены о том, сколько на самом деле осталось в живых детей и подростков, ждавших направления в детдома.

Разумеется, движение бюрократических документов во многих случаях слабо отражает жизненные реалии. Не получая внятных и быстрых указаний от верхов и не имея времени дожидаться их, местные руководители не боялись импровизаций, составленных, впрочем, по обычным методикам «партийной заботы о трудящихся». Много делалось и явочным порядком. Обязательный обход квартир руководителями райисполкомов и являлся такой импровизацией. Его, однако, восприняли как «одноразовое» поручение. Позднее мы редко видим в промерзших и запущенных квартирах чиновников: почти все делалось руками членов санитарных и бытовых отрядов.

Важным и дельным следует считать выступление П.С. Попкова на заседании Ленинградского горкома ВКП(б) 9 января 1942 г., где он, приводя примеры помощи детям, подчеркивал, что «эту человеческую заботу, внимание со стороны наших организаций нужно

---

<sup>1373</sup> Буров А.В. Блокада день за днем. С. 142.

<sup>1374</sup> Постановление СНК СССР № 75 от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» // Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. С. 18.

<sup>1375</sup> Решение Леноблисполкома № 50–47 от 23 февраля 1942 г. // Там же.

<sup>1376</sup> Буров А.В. Блокада день за днем. С. 156.

<sup>1377</sup> Постановление Секретариата Ленинградского горкома ВЛКСМ от 16 марта 1942 г. «Об ответственности комсомольских организаций за выявление и устройство беспризорных детей и подростков» // 900 героических дней. С. 258.

крепко поставить, от нее зависит многое»<sup>1378</sup>. И надо признать справедливым его реплику на совещании в Леноблсовете 24 февраля 1942 г. о том, что в ряде районов работа по снабжению детдомов «пущена на самотек», что это «безобразия и распущенность, которые нельзя оправдать ссылками на войну»<sup>1379</sup>.

Обычные советы, высказанные на разных совещаниях, силой начальственного окрика верхов не обладали. Они не сопровождались детальными планами «выполнения», были неясными, причем не назначали никаких сроков, не возлагали ни на кого никаких обязанностей. Не надо было отчитываться за них по каждому пункту программы – да и самой программы не было, только обычные житейские наставления.

Главным средством спасения детей стал обход квартир. Документы об этом – описания трупов умерших родителей, возле которых пытались согреться и которые обгладывали одичавшие дети, описания покрывавших их вшей и копошащихся рядом крыс, обгладывающих их самих, – читать особенно трудно<sup>1380</sup>. Возникает впечатление, что до начала января 1942 г. городские власти даже не интересовались, в каких условиях живут ленинградцы, не имевшие сил выйти из квартир.

Спасением детей занимались различные люди. Это педагоги, работники школ, детских садов и детских домов, ГОРОНО, РОНО, врачи, комсомольские санитарно-бытовые отряды, управляющие домами, рабочие предприятий, учащиеся старших классов, «тимуровцы», домохозяйки. Нередкими были случаи, когда истощенных детей приводили в детдом их братья и сестры, дальние родственники, соседи; существовал и контроль за новорожденными в детских поликлиниках.

До конца января 1942 г. тех, кто проверял квартиры, было намного меньше, чем позднее. О массовой кампании по спасению горожан речь тогда точно не шла. Могут возразить, что многие еще не знали всей правды о гибели людей, но ведь именно с конца декабря 1941 г. бесконечная череда санок с «пеленашками» стала повседневной приметой жизни в Ленинграде. В документах декабря 1941 – января 1942 г. имеется немало свидетельств о том, как ломались нравственные устои в отношениях даже близких людей, – что же говорить о помощи иным, незнакомым людям. На полном довольствии находились только санитарно-бытовые отряды. Для многих это было частью их служебных обязанностей, а их выполняли не всегда ревностно. Да и едва ли обходы квартир были возможны без разрешения властей, даже если в них захотели бы принять участие и просто сердобольные люди, сочувствовавшие чужому горю. В Ленинграде хватало мародеров, грабивших обессиленных горожан и на улицах, и в домах, в том числе и под благовидным предлогом оказания помощи.

Побуждая (а иногда и заставляя) оказывать помощь, власти ставили прежде всего практические цели – спасти как можно больше людей. Но опекая слабых, люди оказывались в сильнейшем «эмоциональном» поле. Многие из них впервые увидели такую бездну непередаваемого горя, чудовищные картины распада человека. Сколь бы ни были они привычны к подобным картинам, но нередко случалось и такое, что потрясало даже и их, и след этого потрясения не исчезал и многие годы спустя.

Секретарь партбюро фабрики М.И. Абросимова могла считаться образцом для партийных активистов. «Проводилась работа по популяризации... передовой авангардной роли партии... Я давала отпор неправильным слухам... Чтобы не было у народа неправильного

<sup>1378</sup> Выступление председателя Ленгорисполкома П.С. Попкова на заседании Ленинградского горкома ВКП(б) 9 января 1942 г. // Ленинград в осаде. С. 282.

<sup>1379</sup> Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. С. 33.

<sup>1380</sup> Информационная сводка оргинструкторского отдела Ленинградского горкома ВКП(б) А.А. Жданову // Ленинград в осаде. С. 414; Волкова А. Первый бытовое отряд. С. 182; Худякова Н. За жизнь ленинградцев. С. 55; Кудрявцева Т.И. Фотография, которой не было. С. 23; Информация Приморского райкома ВЛКСМ Ленинградскому горкому ВЛКСМ: ЦГАИПД СПб. Ф. К-118. Оп. 1. Д. 78. Л. 3.

восприятия этого момента, чтобы подготовить народ, нужно было подвести фундамент» – слова уверенные, движения энергичные<sup>1381</sup>. Ей до всего есть дело: поднимает упавших, порицает отстающих. Ей поручили съездить в детдом на ул. Подольской и забрать оттуда детей – она с честью выполнит и это партийное задание».

Там был ужас: «Детишки... – дистрофики второй и третьей стадии. Они не стояли на ногах, все почти страдали кровавым поносом... Лежали по 5–6 человек, скорчившись, грязные, завшивевшие, замерзшие, они не вставали. Ходили под себя – вид был жуткий. В помещении температура была +5 – +6. Возраст детей был от трех до пяти лет». Не остановиться: «Одеты они были кто в чем. У кого ноги обмотаны тряпками, у кого ботинки рваные, на босую ногу, у кого валенки. Чулок не было ни у кого. У кого летняя шапочка, у кого что!»<sup>1382</sup>.

И исчезли все эти заученные, кованные, «правильные» слова. Ее как будто бьет какая-то дрожь – речь с обрывами, повторами, восклицаниями. Главное – быстрее взять на руки этих несчастных детей, закутать, прижать к себе, донести до фургона: «Буквально по тебе течет, когда ты их несешь». И сострадание охватывает всех – несут в фабричный детдом игрушки и посуду. Сколько милосердия в этих простых и прозаичных рассказах: «Работницы в нерабочее время шили и перешивали белье и платица для этих ребят. Сшиты были костюмчики новые, платья, ботиночки сшили из сукна шинельного... Нагрели там баки с горячей водой... Одели в чистое белье, потом привели в чистую комнату, уложили в кровати, напоили и накормили горячим...» Внимательно смотрят, как поправляются дети, как начинают бегать, смеяться – «мы даже думали, что когда они вернуться, подрастут, мы их возьмем к себе на фабрику»<sup>1383</sup>.

Секретарь Приморского райкома ВЛКСМ М.П. Прохорова вспоминала позднее о том, как совершала обходы «выморочных» квартир. Тон ее записки чисто деловой (в описаниях того, когда, кому и как помогали), язык близок к канцелярскому лексикону – это обычный отчет о проделанной работе. Но вот что она обнаружила во время одного из обходов: «В квартире мальчик сидит среди трех трупов взрослых людей. Нам не удалось установить, сколько он так сидел, но, очевидно, трое суток». Она продолжает свой отчет привычными словами: «Мы тогда убедились, как нужна была наша помощь». Но ей не остановиться и не успокоиться – она опять возвращается к спасенному ею ребенку: «Мальчику этому было три года, совсем малютка, а он сидел среди трупов». По дальнейшей записи видно, как она пытается уйти от этого ужаса – «мы ходили, проверяли работу отряда. И вот тогда мы убедились, как нужна помощь нашего отряда», – и вновь через несколько строк описание все той же сцены: «Мальчик этот и сейчас у меня перед глазами. Замерзший весь, с посиневшими губами, казалось, еще несколько минут и он умрет. Вид у него был настоящего старичка. Он, видимо, хотел выразить радость, что увидел живых людей» – его страшная старческая улыбка поразила Прохорову сильнее, чем все другие приметы блокадного кошмара<sup>1384</sup>.

Есть что-то странное в повторении одних и тех же цифр: трехлетний мальчик в трехдневном одиночестве среди трех трупов. Может быть, первая деталь, бросившаяся ей в глаза – три трупа, – столь сильно обожгла ее, что это число подсознательно повторяется и в догадках о том, что ей не до конца было известно: о возрасте ребенка, сроке его голодовки. Повторы здесь примечательны. Это в бесхитростных, почти совпадающих дословно риторических обобщениях чувствуются окостеневшие каркасы. В последовательных наплывах образов несчастного ребенка, от которых никак не избавиться, улавливается изменение оптики взгляда. Он становится едва ли не микроскопическим – следя за ним, можно отчет-

<sup>1381</sup> Стенограмма сообщения Абрисимовой М.Н.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 307. Л. 23, 33.

<sup>1382</sup> Там же. Л. 40.

<sup>1383</sup> Там же. Л. 41–43.

<sup>1384</sup> Прохорова М.П. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 451.



ливо выявить, как возникает чувство сострадания. Общий, мимолетный взгляд на жуткую сцену сменяется более пристальным взглядом на мальчика и затем предельной концентрацией внимания на приметах его угасания. Внимание к губам, коже, улыбке, соединению несочетаемого, младенчества и старости – не оторваться от всего этого, не скрыть примитивным пафосом.

Читая отчеты обходивших квартиры людей, мы видим, что их деловой тон, с характерными канцеляризмами, перечнем одних лишь цифр и фактов не всегда выдерживается до конца. Он прерывается эмоциональными репликами и подробностями, которых никто не требовал, но о которых не считали себя вправе умолчать.

Вот дневник преподавательницы василеостровской школы, а позднее директора детдома А... Н. Мироновой. В записи 28 января 1942 г. вначале бесстрастно передаются данные об обнаруженном ею сироте: улица, дом, квартира, имя, фамилия, возраст. Здесь можно было и остановиться – не удастся: «Мать умерла в очереди... Мальчик ночь и день лежал с мертвой матерью – „Только холодно было мне от мамы“. Юра не хотел идти со мной, плакал, кричал. Трогательно было прощание Юры с мамой. „Мама, что с тобой сделали, что ты, мама, со мной сделала. Я не хочу идти в д/дом"»<sup>1385</sup>. Деловая запись сменяется сочувственным рассказом, прерывается эмоционально насыщенным диалогом и заканчивается почти что криком – и так до конца, пока автор дневника не выговорится, охваченный этим нарастающим переживанием.

## 2

Крик, шепот, обрыв рассказа, отбор «блокадных» эпизодов, ласково-уменьшительные слова – везде чувствуется этот надрыв, когда вспоминают о спасении детей: «Открываешь, бывало, дверь в квартиру, смотришь, ребеночек к материнской груди прижимается, есть просит, а мать... холодная. Завернешь дитенка во что потеплее и скорей в больницу»<sup>1386</sup>. «Дитенок», «ребеночек», «есть просит», «прижимается» – вот эмоциональный след этого акта спасения, не истершийся и десятилетия спустя.

Патетичность ряда записей в отчетных документах подчеркивает, сколь высоко оценивали подвиг спасения детей. Общение с ними оставляло у всех неизгладимый след. Дети трогательно благодарят, плачут, жалуются. Они цепляются за тело погибшей матери, рассказывают, как хорошо было с ней, они беззащитны и вызывают глубокое сочувствие – как здесь быть спокойным? У каждого ребенка свои, неожиданные, вопросы и ответы, каждый по своему переживает горе, просит о чем-то, особенно нужном ему, рассказывает о своем, глубоко личном – как здесь очерстветь? «Я оживел» – эти слова одного из спасенных мальчиков, которого обогрели и напоили горячим чаем<sup>1387</sup>, помнили и годы спустя – как это может уйти бесследно?

И дело не ограничивалось только обходом квартир. В «смертное время», когда ничто не было таким дешевым, как жизнь, создавался устойчивый настрой, который не позволял, несмотря ни на что, безразлично относиться к погибающим детям – и потому, что не могли избавиться от чувства ужаса, и потому, что испытывали гордость за свой благородный поступок. Рассказывали

о нем другим блокадникам, а их восхищение воспринимали как достойную оценку своего деяния. Дружинница Вера Щекина давала каждому спасенному ею ребенку свою фами-

---

<sup>1385</sup> *Миронова А.Н.* Дневник. 20 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 69. Л. 10 об.

<sup>1386</sup> См. запись воспоминаний А.Н. Тихоновой // *Кудрявцева Т.* Фотография, которой не было. С. 23.

<sup>1387</sup> *Худякова Н.* За жизнь ленинградцев. С. 55.

лию – и таких было более сотни<sup>1388</sup>. Сандружинницы слышали благодарность прикованных к постели матерей, надеявшихся, что их дети избежали смерти – едва ли их слова могли быть спокойными. Люди спасали сами и видели, как спасают другие, нередко жертвуя собой – и общее дело спланивало их. И мало было найти сирот. Надо было их согреть, бережно донести до стационара, вымыть, обогреть, утешить, накормить, вынести из-под обстрела<sup>1389</sup> – так, в последовательности этих шагов укреплялась блокадная этика.

И делали все, чтобы облегчить жизнь сирот. Собирали подарки, белье и одежду, обувь и посуду<sup>1390</sup>, создавали детские дома на фабриках и заводах<sup>1391</sup>. Помощь сиротам становилась делом сотен людей, в том числе и тех, чье положение было иным, кто не видел такой бездны горя. При этом взывали к лучшим чувствам людей и их состраданию, напоминали им о человеческом долге – и это не проходило бесследно. Это было не только спасение детей – это было и восстановление цивилизованности в нецивилизованных условиях. Целый каскад разнообразных чувств – скорбь, любованье малышами, гордость, сочувствие, желание помочь – позволял противостоять безразличию, жестокости, цинизму.

И возмущение людей при виде безобразий, творившихся в детских домах – тоже след еще не утраченной человечности. Помещение сирот и безнадзорных детей в детский дом не всегда являлось таким легким и отмеченным всеобщим сочувствием делом, как о том можно прочесть в некоторых публикациях о блокаде. По прошествии десятков лет спасенные в детских домах люди были склонны многое идеализировать, и это понятно. Когда читаешь их признания о том, как сытно их накормили в первый раз в детском доме, этому веришь, зная, что им пришлось пережить<sup>1392</sup>. Роль детдомов и ДПР в спасении детей трудно переоценить, но было и такое, о чем нельзя умалчивать. До января 1942 г. в детские дома старались брать только детей до 14 лет. Этот порядок, установленный еще до войны, имел, конечно, оправдание. Во время блокады он выглядел предельно абсурдным. В соответствии с теми же порядками требовалось передать ребенка в детский дом вымытым и в вычищенной одежде<sup>1393</sup>. В обычное время против этого вряд ли можно было возражать. Но зимой 1941/42 гг. отопления почти нигде не было, и многие прокоптились дочерна, стараясь не отходить от печек-«буржук». Дров не хватало даже для приготовления пищи, температура в квартирах составляла несколько градусов тепла, бани работали редко – не мыть же обесилевшего, истощенного ребенка в морозной стуже в корыте с ледяной водой.

Это безразличие к судьбам несчастных детей, боязнь ответственности, нежелание, несмотря ни на что, переступить бюрократические инструкции, страх лишиться «хлебных» мест работы (а многие детдома и были таковыми) отчетливо выявились в описанном Л. Ратнером эпизоде приема его в детдом. Он был крайне изможден, еле передвигался и, казалось, должен был умереть через несколько часов. Заведующая детдомом приказала его не принимать – тем самым и не «испортили» бы оптимистическую статистику выживаемости здесь детей. Ждали, когда он, лежавший на диване, умрет, ждали час, другой – а мальчик не умирал. Так и оставили его на диване, уходя домой – разумеется, происходило это без свидетелей, умиравшего ребенка не стеснялись. Через несколько часов его все же накормили и

<sup>1388</sup> Цукерман С. Дружинница. С. 35.

<sup>1389</sup> О спасении детей в Дзержинском ДПР во время обстрела см.: Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. С. 26.

<sup>1390</sup> Дзенискевич А.Р., Ковальчук В.М., Соболев Г.Л., Цамутали А.И., Шишкин В.А. Непокоренный Ленинград. С. 118.

<sup>1391</sup> См. воспоминания рабочего фабрики «Большевичка» А.Т. Пименова: «В январе 1942 года по указанию районных организаций фабрикой был открыт детский дом, где было помещено 75 детей сирот... Фабрика организовала этот детский дом своими силами... Работницы сами чинили сапоги для детей из остатков шинельного сукна» (Стенограмма сообщения А.Т. Пименова. 4 марта 1943: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 307. Л. 8).

<sup>1392</sup> См., например, воспоминания З. Аршакуни о жизни в детдоме после того, как умерла от дистрофии его мать (*Разумовский Л. Дети блокады. С. 57*).

<sup>1393</sup> Информационная сводка оргинструкторского отдела Ленинградского горкома ВКП(б) А.А. Жданову // Ленинград в осаде. С. 414.

повели к другим детям – видимо, страх ответственности за смерть мальчика пересилил страх наказания за нарушение «благополучной» статистики. И согласившись принять его, продолжали заботиться о все той же статистике выживаемости. «Первые дни я, по-видимому, был самым истощенным в детдоме, потому что один раз за обедом только мне принесли рюмку кагора», – вспоминал Л. Ратнер<sup>1394</sup>.

Такие случаи, конечно, являлись редкими – но ведь и возникали они не случайно. Жесткий контроль государства за сохранением жизни детдомовцев мог иметь и такие, неожиданные и омерзительные последствия. Работали в детских домах и те, кто не прочь был погреть руки на народной беде. Возможности для этого имелись: детдома и ДПР были переполнены и не все нуждающиеся могли быть пристроены в них. 12-летняя И. Синельникова, которую сестра решила сдать в ДПР, писала впоследствии: «Заведующая детприемником сказала, чтобы мы несли из дома ценные вещи, так как они нужны для покупки нашего питания. Мы с Фаиной сдали серебро и дорогой китайский сервиз. И другие дети несли кто что мог»<sup>1395</sup>.

Благовидная цель находилась всегда – но ни в одном блокадном документе мы не найдем никаких свидетельств о том, что сотни детей в ДПР содержались не государством, а частными лицами на средства, полученные от продажи серебра и сервизов. Горькой насмешкой все это могло показаться тем, кто хорошо знал нравы на полулегальных ленинградских рынках. Стараясь не замечать тех, кто обменивал 200–300 г хлеба, переодетые милиционеры здесь хватили всех пытавшихся продать целую буханку хлеба – сомнений в том, что перед ними вор, не возникало<sup>1396</sup>. И. Синельникова сообщает также, что ее сначала не хотели брать в ДПР (ей должно было вскоре исполниться 14 лет), а «потом сказали, что меня примут, так как я дистрофик»<sup>1397</sup>. Определять, кто «дистрофик», а кто нет, возможно, предстояло все той же «озабоченной» питанием детдомовцев заведующей...

Темные стороны жизни детских домов не являлись секретом для ленинградцев, да и невозможно было их скрыть<sup>1398</sup>. М.В. Машкова с горечью писала в дневнике о том, что в одной семье, где все умерли или слегли, «дочку, обовшивевшую, просидевшую в кровати под одеялом, чудом устроили в интернат»<sup>1399</sup>. Едва ли можно сомневаться, сколько негодования она вложила в это слово – «чудом», – приводя скорбные подробности события. Побывавший в детском доме 6 апреля 1942 г.

А.И. Винокуров без обвинений в чей-либо адрес, но с той же горечью передает в дневнике увиденное: «Кормят детей очень плохо: выдают по 300 г хлеба в день и плохой обед, состоящий из жиденького супа и очень небольшой порции каши. Дети истощены до крайности»<sup>1400</sup>.

Многие из них были закутаны в ветхое тряпье – это хорошо видно по сохранившимся фотографиям. Акты приемки детей, эвакуированных через Ладогу, показывают, как они были плохо одеты и истощены<sup>1401</sup>.

Было и другое. Здесь не всегда считались с чувствами детей и не всегда церемонились с ними. И может быть, зная об этом, некоторые дети прятались и требовались немалые усилия, чтобы их доставить в ДПР. «Мы попали в детприемник... Нас остригли и заставили

<sup>1394</sup> Ратнер Л. Вы живы в памяти моей. С. 148.

<sup>1395</sup> Запись воспоминаний И. Синельниковой // Разумовский Л. Дети блокады. С. 55.

<sup>1396</sup> См.: Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 240 (Запись 4 января 1942 г.).

<sup>1397</sup> Там же.

<sup>1398</sup> Именно за «безобразное состояние приемников» весной 1942 г. лишились своих должностей начальники Куйбышевского и Василеостровского ДПР (Там же. С. 24).

<sup>1399</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 17 (Запись 18 февраля 1942 г.).

<sup>1400</sup> Блокадный дневник А.И. Винокурова С. 257 (Запись 6 апреля 1942 г.).

<sup>1401</sup> Выдержки из этих актов см.: Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. С. 40.

таскать ведра с нечистотами»<sup>1402</sup> – навсегда ушел в прошлое тот мир, где была жива мама, где были уют, забота и ласка. В постановлении секретариата Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ 16 марта 1942 г. предписывалось, и вполне резонно, привлекать детей к работе «по уходу за более слабыми и младшими по возрасту детьми»<sup>1403</sup> – но все ли умели облекать приказы в щадящие достоинство и самолюбие детей формы?

Вид несчастных, обездоленных, оставшихся без надлежащей заботы детей рождал сильный эмоциональный отклик. Как обычно и бывает в этих случаях, отмечаются только самые ужасающие эпизоды, самые страшные муки детей<sup>1404</sup>. Бесполезно блокадникам, увидевшим горе детей, говорить, как сейчас все голодают, что это неизбежно, что лучше спасти двух, чем одного. На это один ответ: так делать нельзя. Безапелляционный, без всяких оговорок, без попыток понять «чужую правду» и слушать чьи-то громоздкие объяснения.

«Как это вы делаете? Так нельзя!» – ответили служащие исполкома работникам одного из детдомов, увидев, как они отбирают детей для эвакуации<sup>1405</sup>. О том, как проводилась эта «селекция», стоит рассказать подробнее. Прочитируем запись одной из ее участниц – она более чем красноречива: «Устроили испытание, возможное в тех условиях: ставили ребенка у стенки комнаты и предлагали пройти до другой стенки. Если ребенок нормально проходил это расстояние, мы считали испытание оконченным и оставляли его в списках на эвакуацию. Если же он несколько раз падал или вообще не доходил до стенки, мы его оставляли в детдоме, чтобы подправить и подготовить к следующей отправке»<sup>1406</sup>.

Характерно это слово: «подправить». Можно было сказать «подкормить» – но понимали, что по настоящему это могли сделать только в эвакуации. В Ленинграде же летом 1942 г. жители с ужасом ждали предстоящую зиму. Можно было сказать «подлечить» – но это вызвало бы насмешку, поскольку ассортимент блокадных аптек был хорошо известен. Так и нашли это диковинное и многоемкое слово «подправить» – и не надо отвечать на вопросы о том, где в осажденном городе могли найти продукты и лекарства, необходимые для спасения детей.

Заметим, что было немало случаев, когда уезжали люди обессиленные, требовавшие ухода. Многих жителей города нельзя было эвакуировать, а за них хлопотали. За ними уха-

<sup>1402</sup> Запись воспоминаний В. Тихомировой // *Разумовский Л.* Дети блокады. С. 60.

<sup>1403</sup> Постановление секретариата Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ «Об ответственности комсомольских организаций за выявление и устройство безнадзорных детей» 16 марта 1942 г. цит. по: *Котов С.* Детские дома блокадного Ленинграда. С. 32.

<sup>1404</sup> «Дети привозились грязные, вшивые, почти раздетые и истощенные до того, что жутко было брать ребенка на руки» (*Горбунова Н.Г.* Дневник: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 30. Л. 6); «Взяла девочку... рождения 1931 г. Отец на фронте, мать умерла. Тело матери лежит на кухне. Девочка грязная. На руках чесотка, нашла ее в груди грязного белья под матрацем. Карточки похищены» (*Миринова А.Н.* Дневник. 28 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 69. Л. 10 об.); «В доме на Ватениной лежит мать на кровати а вокруг нее ползают ребятишки. Грязища кругом невероятная! Закопченные, невыносимое зловоние в комнате. Картина жуткая. Света нет. Маленькая девочка хватает мертвую мать за руку и слабеньким голоском стонет: „Мама, кушать хочу!“ Другой ребенок смотрит бессмысленными глазами, с опухшим старческим личиком и... ничего не говорит» (Стенограмма сообщения Трифонова А.Я.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 123. Л. 17 об.); «Помню случай, когда привели к нам двух маленьких Филипповых... Девочка... 10 лет и мальчик, ее братишка, лет семи. Сперва мы услышали страшный плач, а потом увидели этих двоих детей с опухшими руками, с совершенно спутанными волосами, совершенно слабеньких. Особенно поразила меня девочка – худая, с отеком лица... Дети были настолько слабы, что идти по лестнице они не могли... Стали снимать валенки – дети страшно заплакали. Ноги были отморожены, и они, видимо, сильно болели. Ноги у них были страшно грязные, кроме того, совершенно синие, в пятнах» (Стенограмма сообщения Бронниковой Е. Г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 350. Л. 19); «Открыли вторую кровать – там шевелятся два малыша (2 лет и меньше) и в этой же кровати вместе с ребятами лежит объединенный труп женщины. У женщины объединено лицо, груди. Трудно сказать, дети это сделали или крысы. Но дети не были тронуты, а труп объединен. Одна нога этой женщины торчала в чулке, другая без чулка... Волосы их были буквально унижены, как бисером, вшами и гнидами» (Стенограмма сообщения Якуниной А.Д.: НИА СПб ИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 144. Л. 33–34).

<sup>1405</sup> Запись рассказа К.Н. Галченковой // Там же. С. 50.

<sup>1406</sup> Там же. О проведении отбора детей для эвакуации см.: *Котов С.* Детские дома блокадного Ленинграда. С. 200; *Магаева С.* Ленинградская блокада. С. 53.

живали, их везли на вокзал в санках, вносили в вагон буквально на руках, кормили с ложечки. Это было, конечно, труднее, чем устроить отбор, но куда честнее, чем говорить о возможности «подправить» здоровье блокадными пайками под жесточайшими обстрелами.

Люди, одернувшие «селекторов», вызывали у последних плохо скрываемое раздражение: «Явились две тетки из исполкома, стали шуметь». От них защищались исчерпывающими, как казалось, объяснениями: «Дайте на каждого ребенка по сопровождающему, тогда и будет как надо»<sup>1407</sup>. С этим спорить трудно, если не знать, что такая арифметика обрекала детей на гибель. «Тетки из исполкома» в своих действиях, направляемых бюрократическими инструкциями, оказались гуманнее тех, кому была доверена судьба детей. Известен случай, когда эвакуированная женщина несла ребенка в зубах, потому что обморозила руки – что, разве она требовала сопровождающих? Блокада тем и отличалась от обычного времени, что не находилось для каждого голодного целой буханки хлеба, для каждого большого отдельной койки, для каждого погибшего отдельного гроба, для каждого умирающего ребенка способной заботиться о нем матери. И никого бы не спасли, если бы выдвигали условия, ссылались на трудности, приводили «защитительные» доводы. А оправдать можно было все что угодно. В Доме малютки, как сообщал один из мемуаристов, «маленькие дети из-за холода примерзали к пеленкам»<sup>1408</sup>. Райисполком разрешил сломать на дрова пивные ларьки и заборы только после обращения рабочих, шефствовавших над младенцами, – и не узнать, кто и перед кем здесь оправдывался, стараясь не замечать, как страдали дети.

Но ничто не проходило незамеченным. Возникал своеобразный перекрестный контроль, имевший неизгладимый нравственный след. Контроль не утративших чувство сострадания идеалистов над прагматиками-бюрократами, контроль тех, кто еще не оправился от потрясения при взгляде на брошенных детей над теми, кто очерствел, видя их каждый день, и наконец, контроль государства над всеми, кто уклонялся от выполнения своего долга. Чувство боли от переживаний детей, чувство ужаса от того, что они оказались на блокадном дне, чувство неприязни к тем, кому они безразличны, чувство радости от их спасения, чувство жалости к их умиравшим родителям – все это возвращало человеку самоуважение, честь и достоинство.

## Ослабевшие люди на улицах

### 1

Пожалуй, нигде так отчетливо не выявлялись признаки деградации, как при оказании помощи ослабевшим людям. Безразличие к тем, кто обессилел в «смертное время», обнаруживалось, конечно, не только на улицах. Не всегда отмирание одного правила размывало другие, но оно создавало те условия, которые делали это более легким. Что же говорить о помощи незнакомым блокадникам, когда не делятся куском хлеба с родными, и это воспринимается как нечто рутинное и повседневное? И все-таки исчезновение именно такого обычая – обязанности протянуть руку упавшему человеку – имело особый смысл. Скупость, нежелание делиться с кем-либо наблюдались и в обычное время, но едва ли тогда могли бесчувственно пройти мимо тех, кто с криком и плачем просил помочь ему подняться.

Кратко и емко рассказано о таких сценах в дневниковой записи М.В. Машковой: «Вначале очень остро воспринималось: зашатается, упадет человек на улице... стараешься поднять, поддержать, позднее поняла, что самое большое – можешь прислонить к стене дома...

---

<sup>1407</sup> Запись рассказа К.Н. Галченковой цит. по: *Разумовский Л.* Дети блокады. С. 50.

<sup>1408</sup> *Федоров Б.П.* [Стенографическая запись воспоминаний] // *Оборона Ленинграда.* С. 467.

Таких падающих с каждым днем становилось больше и больше, падали на мостовой, панели, в булочных, магазинах... не было сил поднять, прислонить к стене и я стала проходить»<sup>1409</sup>.

Ссылки на то, что возможностей всех поддержать, имеются почти в каждом из скорбных повествований о блокаде<sup>1410</sup>. Трудно, однако, представить, чтобы даже слишком истощенный человек прошел мимо родных – родителей или детей – и не помог им подняться. Скорее можно говорить о безразличии по отношению к незнакомым людям. Голодный человек, еле бредущий, словно во сне, и не замечавший никого, думал, прежде всего, о том, чтобы дойти до дома, магазина, места работы. Все остальное являлось помехой и первой мыслью было одно: как ее устранить. Мимо упавших горожан начали проходить, не обращая на них внимания, и те, кто еще не был столь изможден. Обессиленных было столько много, что всякий, кто готов был оказать поддержку одному из них, отчаивался при виде десятка других, тоже ждавших помощи. И чувства стыда не было – так вели себя и прочие, находившиеся рядом.

«Я шел по городу, будто заболевшему – ему не до прохожих», – вспоминал о «смертном времени» Е. Шварц<sup>1411</sup>. Это отмечаемое всеми бесчувствие вскоре стало ощущаться всюду<sup>1412</sup>.

Ни стоны погибавших, ни крики о помощи – ничто не останавливало людей. «4.1-42. Иду домой. Угол Некрасова... На снегу навзничь лежит девочка 10–11 лет. Умирает, стонет перед смертью... У Дома Красной Армии замерзает плохо одетый мальчик лет 8. Рыдает, кричит: мама, мама. Никто не обращает внимания», – отмечал в дневнике Л.А. Ходорков<sup>1413</sup>.

Говоря о драматических сценах, человек обычно стремится представить себя в лучшем свете или хотя бы замолчать нечто, его позорящее. В рассказах об упавших на улице горожанах мы, за редкими исключениями, не встретим даже попыток очевидцев оправдаться. Они являлись скорее наблюдателями скорбных эпизодов, обычно бесстрастными. И более того, иногда откровенно отмечали в дневниках эпизоды, в которых выглядели непривлекательно. Это свидетельство того, сколь обыкновенной стала безучастность к умиравшему обессиленному человеку – заметим, что в позднейших мемуарах это безразличие не подчеркивалось столь прямо.

В.М. Глинка поведал и такую историю. Он помог подняться упавшему человеку, но сделав несколько шагов и обернувшись, увидел, что тот вновь осел в снег; возвращаться он не решился<sup>1414</sup>. «...Против нашего дома среди мостовой стояла на коленях, почти на корточках, женщина и кричала: „Помогите, помогите граждане, не оставьте умереть“. Народ в

<sup>1409</sup> *Машикова М.В.* Из блокадных записей. С. 15 (Запись 17 февраля 1942 г.). Ср. с воспоминаниями С. Готхарт: «Первое время люди, у которых еще были остатки сил, как-то реагировали на это. Если видели, что человек упал, но еще жив, то поднимали его и даже иногда помогали дойти до дома. А потом наступил такой период, когда людей охватило отупение, бесчувственность... Люди проходили мимо» (*Готхарт С.* Ленинград. Блокада. С. 43–44). Ср. с воспоминаниями Л.П. Власовой: «...Иду, и то одного подниму человека, идут по дороге, падают. А обратно иду – замерз. Ну мне-то не сташить, я же девочка была... Мужчина, прилично одетый... упал. Я помогла ему сесть... Говорю: „Отдохнете и пойдете на работу“. На работу ведь нельзя было опоздать... Иду обратно – он замерз... Это я первого увидела... потом... мимо... поля шла, там столько... попало. Я не касалась» (Интервью с Л.П. Власовой. С. 68). «В начале я помогала встать еще живым упавшим. Одного старика я тянула изо всех сил. Ничего не вышло» (*Эльяшева Л.* Мы уходим... Мы остаемся... С. 288).

<sup>1410</sup> *Махов Ф.* «Блок-ада» Риты Малковой. С. 227; *Верт А.* Россия в войне 1941–1945. С. 240; *Беляков А.* Блокадные записи // Нева. 2005. № 1. С. 225 (запись 15 сентября 1942 г.); Блокадный дневник Н. П. Горшкова. С. 60 (Запись 16 января 1942 г.); *Гредасов В.И.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 83; *Григорьев В.Г.* Ленинград. Блокада. С. 40; *Жданова-Степушина Т.* Из дневника // Память. С. 136 (Запись 2 января 1942 г.).

<sup>1411</sup> *Шварц Е.* Живу беспокойно. С. 617.

<sup>1412</sup> См. письмо Н.П. Заветновской Т.В. Заветновской 4 февраля 1942 г.: «Я в Алек[сандровском] парке упала в снег и никак не могла подняться, а прохожие так привыкли, упал человек, его не поднимают, значит пускай умирает» (ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 33); ср. с воспоминаниями Л. Эльяшевой: «К тому времени мы... привыкли – если к этому можно привыкнуть, – что лежат люди, которым ты не можешь помочь» (*Эльяшева Л.* Мы уходим... Мы остаемся... С. 208).

<sup>1413</sup> *Ходорков Л.А.* Материалы блокадных записей: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 9.

<sup>1414</sup> *Глинка В.М.* Блокада. С. 178.

молчании шел мимо, ушла и я, у меня не было сил, а предстояло вскарабкаться на пятый этаж», – читаем запись в дневнике другой блокадницы<sup>1415</sup>.

«Мы стали как каменные», – отметила в дневнике 2 января 1942 г. Т. Жданова-Степунина<sup>1416</sup>. Не только не поднимали людей – не боялись и переступить через них или их трупы<sup>1417</sup>. На многое смотрели прагматично и буднично – без переживаний и стыда. «В вестибюль вползает умирающий. Вахтер выталкивает его на улицу» – эта сцена, описанная Л.А. Ходорковым, вполне объяснима: погибшего надо хоронить за счет предприятия, а рядом лежат в штабелях не погребенные тела рабочих. «Утром будет еще один труп» – так заканчивается эта запись<sup>1418</sup>.

Считали, что упавших блокадников все равно нельзя спасти, а вот помощь им способна надломить и без того мизерные силы других людей. «Ну и что, что упал. А через час будет твой черед, ты упадешь», – вспоминала о времени января-февраля 1942 г. С. Готхарт<sup>1419</sup>.

Дело ведь не ограничивалось тем, что надо было помочь подняться ослабевшим горожанам. Иногда упавший человек не мог даже внятно назвать свою фамилию и адрес<sup>1420</sup>. Куда же вести его, особенно в то время, когда еще не были созданы обогревательные пункты на улицах? В переполненные больницы, куда мало кого принимали?<sup>1421</sup> Кто бы решился тратить на это время и силы, не будучи уверен в успехе и озабоченный больше собственным выживанием? Так и оставляли их на улице – приподнимая, присаживая на сугроб или ступеньки и, уходя, не решаясь обернуться.

История, рассказанная писателем В. Кочетовым, показывает нам все детали этой скорбной картины. Проходя по улице, он с женой обнаружил лежавшего на тротуаре старика. Поднять его не удавалось – он вновь и вновь падал на землю. Шедшая мимо «старушка с пустой кошелкой» предупредила: «Всех не подымете. Вон в том подъезде женщина лежит упавшая»<sup>1422</sup>. Рядом находилась аптека – они пошли туда вызывать «скорую помощь»: «... Продавщица вышла из-за прилавка, отодвинула подол юбки до колен и я увидел ее неподобно толстые, пугающие ноги... „Разве для всех нас «скорую помощь» вызовешь?... Ваш старик упал от голода, а я, вот, например, с него пухну, пухну с каждым днем, и может быть, завтра-послезавтра тоже упаду. А что делать?“»<sup>1423</sup>

<sup>1415</sup> Публичная библиотека в годы войны. СПб., 2005.

<sup>1416</sup> Жданова-Степунина Т. Из дневника // Память. С. 136.

<sup>1417</sup> См. запись рассказа «пожилой интеллигентной дамы», сделанную А. Вертом: «На улицах и на лестницах приходилось перешагивать через трупы. Их... просто не замечали» (*Верт А.* Россия в войне 1941–1945. С. 240); письмо М.И. Туркиной Д.П. Туркину 26 февраля 1942 г.: «У нас на глазах упадет человек, народ перешагнет через него и пойдет дальше, утром, идя на работу... перешагнешь не один труп, вмерзший в лед или просто в снегу лежащий» (*Лейберов И.П.* Не последние годы. С. 41); воспоминания З.В. Янушевич: «Поскользнувшихся и упавших никто не поднимает, все проходят мимо, переступая и не замечая никого» (*Янушевич З.В.* Случайные записки. С. 62–66).

<sup>1418</sup> Ходорков Л.А. Материалы блокадных записей. 13 января 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 13, 14.

<sup>1419</sup> Готхарт С. Ленинград. Блокада. С. 44. Ср. с интервью с одной из блокадниц: «А вот я иду, человек упал, и я понимаю, что если я начну этого человека поднимать, то я тоже упаду и тоже не встану. И я уйду и этому человеку не помогу. Очень часто именно так объяснялось». Другая из жительниц города передавала такой рассказ своей матери: «...Шла на завод... Мужчина живой, говорит...: „Дай мне руку, я же тут замерзну!“ А она наклонилась к нему и говорит: „Ты прости меня. Я не могу тебе дать руки. Я очень слабая. Я сама еле-еле иду. Мне сейчас надо на завод. Потом обратно. У меня же не хватит сил. Ты меня потянешь и я упаду. Прости меня“. Повернулась и пошла и руки не подала» (Память о блокаде. С. 114).

<sup>1420</sup> Кубасов А.Н. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 505.

<sup>1421</sup> См. реплику М.В. Машковой об упавшем человеке, которого она пыталась спасти: «...Он неизбежно умрет, ведь „скорая помощь“ умирающих не берет» (*Машкова М.В.* Из блокадных записей. С. 15 (Запись 12 февраля 1942 г.)); ср. с воспоминаниями Д.С. Лихачева: «...В регистратуре [поликлиники. – С. Я.] лежало на полу несколько человек, подобранных на улице... Я спросил: „Что же с ними будет дальше?“ Мне ответили: „Они умрут“. – „Но разве нельзя отвезти их в больницу?“ – „Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения“» (*Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 456).

<sup>1422</sup> Кочетов В. Улицы и траншеи. С. 190.

<sup>1423</sup> Там же. Ср. с дневником М.С. Коноплевой: «Заходила сегодня в аптеку на Кировной... В аптеке умирали двое

Обратились к постовому милиционеру, сказали ему, что нельзя оставлять человека в беспомощном состоянии: «„Нельзя, нельзя“, – соглашался милиционер, а в глазах у него тоже был голод»<sup>1424</sup>.

Когда он возвратился к старику, тот был мертв. У людей, которых просили о помощи, какое-то *неживое* спокойствие. Никто не волнуется, не злится, не обижается. Мягко объясняют, соглашаются без споров и сочувствуют старику – вынося ему молчаливый приговор. И старик все понимает: «Едва открывая рот, он ответил: „Не беспокойтесь. Прошу вас“». Конец был неотвратим, и все знали, каким он будет. «Много прошел испытаний, повидал всякого, но не было еще ни разу впереди столь глухой стены невозможности что-либо предпринять, что-либо изменить, остановить, предотвратить...», – так заканчивает свой рассказ В. Кочетов<sup>1425</sup>.

## 2

Он бывал в Ленинграде наездами и не был истощен, как не был подготовлен и к тому, чтобы безучастно пройти, не оборачиваясь, мимо чужих несчастий. Сколько людей в порыве сострадания пытались на первых порах помочь обессиленным блокадникам, и безуспешно: человек был мертв<sup>1426</sup>. А потом и не вглядывались пристально – уверяли себя, что и этот, упавший рядом, тоже погиб, а если и жив, то неизбежно и скоро умрет. И если даже захотят им помочь, то в одиночку сделать это будет не под силу, а кого еще позвать на пустынных улицах – оправдывались и таким аргументом. Как можно считать себя исполнившим нравственный долг, если рядом со спасенным лежат еще несколько человек, которых обходят стороной?

Именно в рассказах людей, приехавших в Ленинград издалека и ненадолго, эти попытки спасти горожан освещены очень подробно. Те, кто видел такие сцены каждый день, описывали их более скупой. Э. Постникова прибыла в Ленинград в начале 1942 г. и подобное зрелище ей было непривычно. Идя по Большому проспекту Петроградской стороны, она услышала стоны замерзавшего человека. Им оказался «дистрофик». Она поспешила к нему: «...На ступеньках парадного подъезда сидел скорчившийся паренек. Я нагнулась и спросила, что с тобой. Скрипучим голосом в растяжку он сказал: „Карточки украли, умираю“»<sup>1427</sup>.

Самое первое и благородное желание – помочь. Она, возможно, полагала, что в этом доме и живет подросток: надо найти его квартиру, позвать родных, соседей... В парадной было темно. Из первой квартиры, куда она постучалась, ей никто не ответил. Нашупав во мраке вторую и третью дверь, постучала и по ним – никто их не открыл. «Я вышла из дома. Паренек молчал. Я пошла дальше своей дорогой»<sup>1428</sup>. И оправдывала себя: подняться выше по лестнице сил нет, да и другие блокадники вряд ли могли его спасти. И уйти было, наверное, тем легче, что теперь он молчал, не стонал, прося о поддержке, ничего не требовал.

Уйти, быстрее уйти, не оглядываясь, успокаивая себя тем, что человек отдохнет и встанет сам. Уйти, боясь, что он снова закричит, и тогда малая толика еще не истребленной человечности заставит вернуться. И если кто-нибудь упадет прямо здесь же, на их глазах, подни-

---

мужчин и женщина, прося о помощи: старик аптекарь беспомощно разводил руками – у них не было лекарств от голода» (Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 16 января 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 24).

<sup>1424</sup> Кочетов В. Улицы и траншеи. С. 190.

<sup>1425</sup> Там же.

<sup>1426</sup> Молдавский Дм. Страницы о зиме 1941/42 годов. С. 357; Гредасов В.И. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 83.

<sup>1427</sup> Постникова Э. Записки блокады: ОР РНБ. Ф. 12.73. Л. 9, 9 об.

<sup>1428</sup> Там же.



мать еще и еще раз – лишь бы оставалась уверенность в том, что ему хоть в чем-то удалось помочь.

В. Семенова с сестрой упавшую женщину поднимали трижды: «Потом посадили ее на ступеньку у парадной дома. Возвращаясь через некоторое время, увидели, что она... мертвая»<sup>1429</sup>. В.М. Глинка, выйдя на улицу после долгой болезни, пытался помочь всем, кого он увидел лежащими на улице. Вначале он пробовал их поднять: «Двоих как-то посадили на ступеньки попавшихся подъездов». Отошел, оглянулся и увидел ставшую тогда привычной сцену: «Один... упал, скользнул по косяку и лежал на тротуаре»<sup>1430</sup>.

Так бывало не раз, но уверения в том, что человек не упал, а просто присел, что с ним случился обморок и, очнувшись, он продолжит свой путь, не являлись беспочвенными и не были только средством самооправдания. Случалось ведь и такое, и нередко. Педагог А.П. Серебрянников падал 9 раз, везя на санках свой архив в ГПБ, но все-таки довез<sup>1431</sup>. П. Капица рассказывал, как обходили те, кто шел на завод, упавшего рабочего: «А тот молчаливо лежит, в надежде, отдохнув, самостоятельно добраться до проходной»<sup>1432</sup>.

И чтобы сохранить силы, некоторые блокадники часть пути ползли, объясняя, что это легче, чем вставать после многочисленных падений. Может, тогда и не стоит остро переживать, увидев еще одного ползущего человека, и не спрашивать его ни о чем? А если он пытается двигаться, не просит помощи, не кричит, то, вероятно, он уверен, что он сумеет выкарабкаться в одиночку? И нужно ли тогда тревожиться? И потому отчасти объяснима картина, нарисованная Б. Михайловым, одним из самых эмоциональных очевидцев блокады: «На одной из улиц упал человек... Ему не встать. Он пытается кричать, но крика нет – лишь какое-то тоскливое молчание. Он царапает коченеющими пальцами следы еще живых людей, пытается привстать. К нему никто не подходит. Все идут на работу»<sup>1433</sup>.

Сколь бы не являлись спорными в ряде случаев самооправдания, но и они свидетельствуют о том, что нравственные правила не были окончательно размыты даже в «смертное время». Ведь могли, не обвиняя себя, безразлично пройти мимо упавших. Но нет, стремятся что-нибудь сделать для них, ищут доводы в свою защиту.

Не откликнулась мать одной из блокадниц на просьбу поднять обессиленного человека. Аргументы в пользу этого нашлись и казались неопровержимыми. Но снова и снова она обращается к этому эпизоду: «Пришла и дома рассказывала, плачет. Грех? Грех. А что делать»<sup>1434</sup>. В интервью особенно заметна эта напряженность, когда говорят о том, что не оказали помощь – в силу импровизированности рассказа, порой нескладного. В позднейших оправданиях заметны эти бесконечные повторы – знак стыда и раскаяния. Все сказано, но есть потребность еще и еще раз исповедаться, пусть одними и теми же словами – и не остановиться, слишком сильно волнение: «И потом, кроме страха, ужаса и жестокости, была еще и доброта. Доброта и человеческое отношение друг к другу. Это тоже было, и если кто-то говорит, что этого не было, то это неправда. Было это... Понимаете, было и добро было, и человеческое отношение друг к другу было. Все это было, понимаете, все это было»<sup>1435</sup>.

<sup>1429</sup> Семенова В. Легенда и быль // Память. С. 131.

<sup>1430</sup> Глинка В.М. Блокада. С. 178.

<sup>1431</sup> А.П. Серебрянников – сотрудникам ГПБ (Цит. по: *Алексахина И.В.* Из писем фронтовых лет // В память ушедших и во славу живущих. С. 25.

<sup>1432</sup> Капица П. В море погасли огни. С. 257 (Дневниковая запись 14 января 1942 г.).

<sup>1433</sup> Михайлов Б. На дне войны и блокады. С. 51.

<sup>1434</sup> Память о блокаде. С. 114.

<sup>1435</sup> Там же. С. 84–85.

## 3

И избегали вглядываться пристально в изможденные лица падающих людей, оценивать их жесты, следить за их поступками – оставалось чувство стыда за то, что нет возможности помочь. Не убедить себя никакими очевидными и простейшими доводами. Да, все были обессилены, все хотели спасти оставшихся дома детей, все желали выжить, все понимали, что «дистрофикам» на улице оставалось жить недолго, но, как точно выразилась Л. Эльяшева, «знали, что надо не смотреть»<sup>1436</sup>. Знали многие, в том числе и те, кто обязан был спасать: «Мы должны были, не останавливаясь, проходить мимо упавших от голода соседей, из опасения услышать просьбу о помощи отворачиваться от бывших сослуживцев», – вспоминал парторг ЦК ВКП(б) на заводе «Электросила» В.Е. Скоробогатенько<sup>1437</sup>. Характерная примета: во многих записках и дневниках именно в том случае, когда описываются обессиленные люди на улицах, рассказ становится менее подробным. Редко можно детально узнать, как они себя вели и что говорили. Кажется, что бояться еще раз взглянуть на них, стремиться быстрее их обойти, словно опасаясь услышать какую-нибудь просьбу.

В.Г. Даев был свидетелем того, как начал оседать находившийся перед ним в очереди мужчина. Его не удалось удержать. Никто не пришел на помощь: «Странно, но падающих людей старались не касаться, как будто они заразные»<sup>1438</sup>. Возможно, как считает он, это связано с общим истощением горожан. Боялись, что и спасающий, не рассчитав свои силы, рискует тоже упасть. Вспоминая об этой истории, он, однако, пытается найти ей и иное объяснение: «...Скорее всего, все-таки, таких людей старались не коснуться из-за того, что первое прикосновение накладывает какие-то моральные обязательства по оказанию дальнейшей помощи. А такой помощи никто не мог оказать без ущерба для себя: или очередь пропустишь, или домой к голодным детям опоздаешь»<sup>1439</sup>.

Субъективность этих замечаний отрицать нельзя<sup>1440</sup>, но, вероятно, они возникли не случайно. Очевидец мог точнее оценить жесты и взгляды людей, чего лишены мы, соотнести их со своими ощущениями. И увидев будто чем-то скованных, смотрящих в сторону, неожиданно ставших молчаливыми людей, мог приписать им те же мотивы поведения, которые были свойственны и ему. Такое бывало нередко: блокадники, которым помогли встать, просили после этого довести их до дома, помочь еще в чем-то, умоляли, требовали...<sup>1441</sup> Говорить о такте и деликатности тут неуместно – речь шла о жизни. Иного выхода нет, ведь мало кто соглашается помочь, и это редкая удача, и кто знает, когда еще найдется другой такой.

Была и еще одна причина этой сдержанности. В.Г. Даев откровенно пишет о том, что «хлопотавший мог подозреваться в неблаговидных намерениях, в частности в желании

<sup>1436</sup> Эльяшева Л. Мы уходим... Мы остаемся... С. 208.

<sup>1437</sup> Запись рассказа В.Е. Скоробогатенько цит. по: *Гранин Д.А.* Тайный знак Петербурга. СПб., 2002. С. 63–64.

<sup>1438</sup> Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 100.

<sup>1439</sup> Там же. Ср. с воспоминаниями Б. Михайлова: «Около спуска на Неве прорубь... Второй день у подъема лежит старик с кружкой в замерзшей руке. Ему никто не помог» (*Михайлов Б.* На дне войны и блокады. С. 51).

<sup>1440</sup> См. воспоминания М.А. Чернявской о том, как она упала в люк около «Пассажа»: «Женщины ахнули и отступили от люка. Да и не смогли бы мне помочь». Ее спас подошедший мужчина: «Молча вытянул меня из воды, молча наполнил мое ведро и так же молча ушел» (*Чернявская М.А.* Источник силы // Без антракта. С. 109); см. также воспоминания Л. Кошкина: «...Носили воду из реки Фонтанки, помогали ослабевшим людям подняться по снежному обледенелому сугробу на набережную» (*Кошкин Л.* На посту / Память. Вып. 2. С. 184).

<sup>1441</sup> См. рассказ В. Инбер: «...Мы... не шли, а бежали под сплошным заградительным огнем. И вдруг возле булочной на углу, на льду тротуара – дрожащая мольба:– Голубчики, родные, помогите! Старуха упала во тьме... Подняли ее и устремились было дальше. А она:– Родные, бесценные! Я карточки свои хлебные потеряла. Как же я без них? Дорогие, помогите! И шарит в темноте... На меня от страха и утомления нашло полное отупение. Говорю:– Ищите сами. Мы не можем. И Д. [ее знакомый] ничего не сказал... нагнулся, поискал, нашел... потом мы вывели ее на улицу» (*Инбер В.* Почти три года. С. 162–163).

похитить продовольственные карточки»<sup>1442</sup> – и, видимо, тоже небезосновательно. Он считает, что если бы оказывали помощь сразу несколько человек, то вели бы они себя более смело, не опасаясь наветов. И с этим можно согласиться. Если о таких подозрениях вынуждена была даже рассказывать О. Берггольц, выступая по радио, то вряд ли они являлись единичными.

#### 4

В записях В.Г. Даева есть одна немаловажная оговорка – о «моральных обязательствах». Они являлись добровольными и никто не мог принудить их выполнять. Но они существовали, они реально влияли на поведение ленинградцев – отсюда и боязнь выглядеть мародером, обирающим истощенных граждан. Все эти умолчания и объяснения были бы не нужны, когда бы люди не чувствовали силы этих «моральных обязательств», от которых не смели отказаться в одночасье. Даже отрекаясь от них, блокадники вынуждены были оправдываться – кто их заставлял это делать?

И едва ли случайным было то, что и в самые тяжелые дни блокадники все же находили возможности поддержать обессиленных – хотя бы отчасти.

Когда перечисляют многочисленные случаи помощи людям на улице, то не всегда отличают поступки обыкновенных горожан от действий сотрудников различных спасательных служб – милиции, «скорой помощи», дружин РОКК, санитарно-бытовых отрядов, обогревательных постов. Это различие все-таки необходимо – последним выделялись материальные средства, пайки, помещения, иногда транспорт. От них зависело многое, и изможденный милиционер мог также безучастно пройти мимо упавших или тратить время в спорах с работниками обогревательных пунктов о том, кому их поднимать<sup>1443</sup>. Роль этих пунктов трудно переоценить<sup>1444</sup>, хотя нельзя не отметить, что созданы они были все же неоправданно поздно. Кроме кипятка, на обогревательных пунктах предложить было нечего (хотя и это спасало многим жизнь), «скорая помощь» обычно сильно запаздывала, а упавших на улице приходилось везти на санках, а чаще – на носилках: в больницы их не всегда принимали.

У большинства блокадников, помогавших обессиленным на улицах, не было ни помощников, ни лишних пайков, ни печек, ни кипятка, ни санок. Не всегда они могли поделиться хлебом, не всем были способны помочь – но и они, сами истощенные, замерзшие, больные, стремились, насколько было можно, оставаться гуманными. Чаще всего помогали, если являлись свидетелями наиболее драматичных эпизодов, видели горожан крайне истощенных и беспомощных. «С мамой на мосту стало совсем плохо», – вспоминал Б. Михайлов. Именно тогда к ней подошла молодая женщина и дала кусочек хлеба<sup>1445</sup>. Предупреждали других о начинавшемся обморожении, об опасности для жизни, когда замечали, что человек на улице замедлял шаг<sup>1446</sup>. Поднимали беременных женщин<sup>1447</sup> и вообще старались помогать

<sup>1442</sup> Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 100.

<sup>1443</sup> Там же. Л. 84.

<sup>1444</sup> Так, городским отделением Российского общества Красного Креста было создано около 5 тыс. обогревательных пунктов, а его дружинниками подобрано на улицах в декабре 1941 – январе 1942 г. 12 735 человек (*Левитская Л.Н.* Стенограмма сообщения и доклад о работе Общества Красного Креста с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 276. Л. 16, 19).

<sup>1445</sup> Михайлов Б. На дне войны и блокады. С. 55.

<sup>1446</sup> См. запись в дневнике Н.П. Горшкова 24 января 1942 г.: «...Встречные обращают внимание прохожих на обмороживание, те начинают усиленно растирать... части лица» (Блокадный дневник Н.П. Горшкова. С. 64) и воспоминания Д. Молдавского: «Сколько раз, когда я тащился в университет и останавливался... ко мне приближалась незнакомая фигура и слабый голос говорил: „Не останавливайтесь! Идите!“» (*Молдавский Д.* Страницы о зиме 1941-42 годов. С. 355).

<sup>1447</sup> Капустина Е. Из блокадных дней студентки. С. 219; *Никифоров Г.И.* Из дневника заместителя директора по МПВО

на улице тем, у кого имелись дети<sup>1448</sup>. Об этом знали и рассказывали сердобольным людям свои бесхитростные истории, надеясь на помощь. Одну из них записал В. С. Люблинский: «... По пути... довел женщину, стоявшую зря за хлебом с 6 утра до 5 вечера и обессиленную. Она только достала (но частично расплескала) молоко для 1-месячного] в консультации»<sup>1449</sup>.

Обычно всегда оказывали помощь обессиленным милиционерам, внимательнее относились к людям молодым или хорошо одетым<sup>1450</sup>. Вероятно, считали, что они имеют больше шансов выжить и позднее получить надлежащий уход.

Среди спасавших мы часто встречаем красноармейцев<sup>1451</sup>, питавшихся лучше, чем многие блокадники, и способных быстрее им помочь. Б. Михайлову показалось, что женщина, поделившаяся с его матерью кусочком хлеба, была врачом<sup>1452</sup>, и, скажем прямо, желание подтвердить свою репутацию – интеллигента, артиста, медика, педагога, ученого, коммуниста – побуждало горожан, наравне с присущим им состраданием и милосердием, чаще идти навстречу обессиленным людям. И они не только сами помогали. Они зывали к милосердию других людей, нередко очерстневших, привычно воспринимавших скорбные приметы блокады и тогда, когда появилась надежда на спасение и начало ослабевать оцепенение «смертного времени».

13 марта 1942 г. профессор Библиотечного института Л.Р. Коган увидел, как на улице упал старик и не смог подняться. «Кругом шли и стояли люди и глядели на его попытки встать и никто шагу не сделал, чтобы помочь» – продолжался привычный ритуал блокадной зимы<sup>1453</sup>. Л.Р. Коган подошел и не без усилий сумел его поднять. Тот, кого он принял за старика, оказался 40-летним мужчиной. Он шатался и не сразу мог придти в себя – без шапки и варежек, растерявшийся, кажется, даже не поверивший, что нашелся хоть один, кто его поддержал. И тогда Коган взорвался.

«Я закричал на толпу». Стоявшие рядом люди словно очнулись. Одна из женщин подняла шапку, другой из прохожих – варежки. На крик прибежал милиционер, обещал довести «старика» до дома – «и повел бережно и вежливо»<sup>1454</sup>.

Конечно, такое чаще случалось именно весной 1942 г. В «смертное время» эта история не закончилась бы столь счастливо. Люди «оттаивали» не сразу и одно лишь увеличение пайка вряд ли было способно переломить инерцию безразличия. И все же этот случай очень примечателен. Как бы ни были блокадники погружены в борьбу за выживание, как бы ни были истощены, как бы ни привыкли они к реалиям осадного быта, но стоило проявиться хотя бы малейшему жесту милосердия и в них вновь проступает человеческое, которое не может заслонить никакой духовный обморок.

---

и охране завода им. Марти (Адмиралтейская судоверфь) // Выстояли и победили. С. 15.

<sup>1448</sup> См. дневник Н.Л. Михалевой 31 января 1942 г.: «Видела... молодую женщину, у которой подгибались ноги и она бессильно валилась на снег, и ее никак не могли поднять, а ее грудного ребенка держала другая женщина» (Михалева Н.Л. Дневник. С. 304); воспоминания одной из блокадниц, отправившейся после смерти матери с братом в детский приемник: «На Лиговском проспекте брат упал и не мог подняться. Проходивший мужчина на руках донес его до приемника» (Цит. по: Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. С. 199); см. также Михайлов Б. На дне войны и блокады. С. 74.

<sup>1449</sup> Люблинский В.С. Бытовые истории уточнения картин блокады. С. 155.

<sup>1450</sup> Инбер В. Почти три года. С. 173 (Дневниковая запись 3 января 1942 г.); Бочавер М.А. Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 61–62. В записках А.Н. Кубасова добротная одежда человека, упавшего в обморок у Аничкова моста, была подчеркнута особо. Отметим, что его пытались поднять сразу трое прохожих (Кубасов А.Н. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 505).

<sup>1451</sup> Змитриченко А.О. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 92; Шкряева Е.П. Искусство сражающегося народу // Без антракта. С. 139; Молдавский Д. Страницы о зиме 1941/42 годов. С. 357.

<sup>1452</sup> Михайлов Б. На дне войны и блокады. С. 55.

<sup>1453</sup> Коган Л. Р. Дневник. 13 марта 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1035. Д. 1. Л. 41 об.

<sup>1454</sup> Там же.

## «Дистрофики»

### 1

Слово «дистрофик» стало обиходным в Ленинграде зимой 1941/42 гг.<sup>1455</sup>. «Дистрофиком» мог быть признан любой горожанин, если он не имел обильных источников пропитания, обеспечиваемых «связями» и воровством. Но позднее содержание этого слова было уточнено, и оно стало использоваться для обозначения особой категории лиц – крайне истощенных, находящихся на грани физического и духовного распада и вследствие этого теряющих человеческий облик. «Как за полгода изменилась не только интонационная, но и смысловая нагрузка термина „дистрофик“, – писал

В.С. Люблинский жене в июле 1942 г. – Первоначально (в январе-феврале) оно звучало острой жалостью, означало жертву голода, призывало к помощи и состраданию или хотя бы каким-то льготам; затем оно начало приобретать все более иронический оттенок, стали говорить о „моральных“ и „умеренных“ дистрофиках – и не только применительно к тем, кто... опускался или под очень реальным предлогом бессилия уклонялся от своих обязанностей (даже к самому себе); наконец, за последние месяцы, когда двуногих дистрофиков осталось все меньше... слово это стало приобретать чисто ругательный смысл, в нем все более звучит презрение»<sup>1456</sup>.

О том же свидетельствуют и другие блокадники, иногда и более категорично, но обычно менее пространно. Их записи – это скорее импрессионистские зарисовки, в которых почти нет попыток объяснить странный феномен. «Дистрофиков – истощенных ненавидят, – рассказывал побывавший в Ленинграде Б. Бабочкин. – В вагоне ругаются: „Эх ты, дистрофик!“»<sup>1457</sup>

Б. Бабочкин, находившийся в городе лишь несколько дней, мог преувеличить значение частного эпизода, но ведь об этом говорили и люди, пережившие блокаду, – и весьма настойчиво. «Несколько лет тому назад, чтобы оскорбить человека, его называли колхозником, теперь появилось новое бранное слово – дистрофик», – писал в дневнике А.И. Винокуров<sup>1458</sup>. Эту привычку переняли и дети – с теми же интонациями и жестами, которые были присущи взрослым<sup>1459</sup>.

«Первый раненый истощает наше милосердие, ко всем прочим мы относимся с безразличием», – сказал некогда А.С. Пушкин.

---

<sup>1455</sup> См. дневник А.И. Винокурова: «Слова „дистрофик“ были неизвестны населению нашего города, теперь их можно услышать всюду, на службе, в очередях, в трамвае...» (Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 282).

<sup>1456</sup> В.С. Люблинский – А.Д. Люблинской. 29 июля 1942 г. // В память ушедших и во славу живущих. С. 180; см. дневник В. Базановой: «Ленинградцы!... Половина из них „дистрофик“ говорит в насмешку... Между прочим, голодающих называют так: „Дистрофия шротовка идет“. (Базанова В. Вчера было девять тревог... С. 143) и воспоминания В.Г. Даева: «Я вздрогнул на своей больничной койке, когда услышал веселый голос медсестры: „...Эй, дистрофики, готовьте ложки, обед несут...“ Как она не боится громко выкрикивать это слово» (Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 88).

<sup>1457</sup> Иванов В.С. Дневники. С. 203 (Запись 24 ноября 1942 г.).

<sup>1458</sup> Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 282.

<sup>1459</sup> См. рассказ В. Сусллова о ссоре с другом: «– Дистрофик ты! – ругается. – Сам ты дистрофик! – обижаюсь я» (Сусллов В. 50 рассказов о блокаде. СПб., 1994. С. 76). См. также воспоминания В. Головановой о блокадных детях: «„Дистрофик“ и „голодный“ у них были самыми страшными ругательствами» (Голованова В. «Дистрофик» // Петров Анат. Тетрадь в клеенчатой обложке. Нева. 1999. № 1. С. 399) и воспоминания Н. Тихонова: «Мальчишка, худой... с отеками на впалых щеках, швыряет в девчонку комьями земли с травой. И девочка, встав во весь рост, кричит ему звонким голосом: „Ах ты, дистрофик поганый...“ Слово „дистрофик“, жалобное, унылое, зимнее слово, стало ругательным даже у детей» (Тихонов Н. Ленинград принимает бой. С. 25). Отметим, что записки Н. Тихонова увидели свет в 1943 г., когда правду о блокаде старались дозировать.

Письмо В.С. Люблинского отчетливо показывает стадии омертвления человеческих чувств и сопутствующие им приметы. След первого потрясения изглаживался, позднее видели не одного «дистрофика», а сотни таких людей, и было теперь не до них: каждый пытался выжить сам. И приходилось делать работу за немощных «дистрофиков» и росло раздражение из-за этого, и сострадание начинало сменяться отвращением, поскольку сцены распада человека, утратившего чувство достоинства, становились более ужасными.

На них было невыносимо смотреть: «Шелушащаяся кожа, синеватый цвет лица, совершенно особенный запах тлена, излучаемый еще живым»<sup>1460</sup>. Многие старались отворачиваться и быстрее проходить мимо. У «дистрофиков» ослабевали все чувства, даже родственные<sup>1461</sup> – думали лишь о себе и не делились с другими. Они обычно вели разговоры только о еде и ради нее были готовы на все. Н. Иванова вспоминала, как один из «дистрофиков» согласился помочь ей бежать из детдома за две конфеты<sup>1462</sup>.

М. Пелевин стал свидетелем и такой сцены. В госпитале, где он лечился, лежал на койке и никогда не вставал «дистрофик». Когда один из пациентов, имевший привычку прятать хлеб в одежде, скончался, тот «вдруг... сполз... и на почти согнутых ногах чуть ли не ползком приблизился к умершему. Просунув руку под одеяло, он суетливо... начал шарить»<sup>1463</sup>. То, что случилось дальше, пересказывать невозможно; заметим, что он делал это на виду у многих больных и ничуть не стеснялся. Отсутствие стыда и чувства брезгливости, нежелание следить за собой и выполнять правила гигиены являлись «характерными приметами быта дистрофиков». Неприятными в общении делали «дистрофиков», как отмечали врачи, и особенности их психики: «Плаксивость, докучливость, постоянное недовольство окружающими, непрестанные жалобы и просительный тон».<sup>1464</sup> Они часто говорили не умолкая – «страшная, торопливая болтливость дистрофиков» сразу бросилась в глаза В. Бианки, когда он на несколько дней приехал в город<sup>1465</sup>.

Не все готовы были это оправдать, терпеть, прощать. Г. Кулагин заметил, что именно при встрече с голодными и больными у него проявлялась «нетерпеливая, почти враждебная раздражительность»<sup>1466</sup>; иначе он вел себя со здоровыми людьми. «Еще тошнее от дистрофиков ГПБ, которые вместе со мной отбывают трудовую повинность», – записывала в дневнике М.В. Машкова<sup>1467</sup>. Почему? Прямого ответа нет, есть лишь перечисление их поступков. Но именно те из них, которые отмечены, позволяют понять истоки неприязни к слабым: «Они... беспомощно копошатся во дворе и ноют от голода... мечтают о еде, цепляются жадно за жизнь»<sup>1468</sup>.

Раздражала сама немощность этих людей и не хотели спрашивать себя, почему они стали «дистрофиками». Никакие оправдания не принимались в расчет. Все голодали, но кто-

<sup>1460</sup> Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 88.

<sup>1461</sup> Хивилицкая М.И. Симптоматология. С. 164.

<sup>1462</sup> Запись воспоминаний Н. Ивановой цит. по: Разумовский Л. Дети блокады. С. 59.

<sup>1463</sup> Пелевин М. Повесть блокадных дней: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 36. Л. 57.

<sup>1464</sup> Хивилицкая М.И. Симптоматология. С. 164.

<sup>1465</sup> Бианки В. Лихолетье. С. 172. Ему же запомнилась и их «не сходящая с лица онемелая улыбка». Он также считал ее свидетельством распада: «Улыбаясь, сообщают... новости:– У меня мать умерла.– У меня дочь в убежище завалило... И улыбаются» (Там же).

<sup>1466</sup> Кулагин Г. Дневник и память. С. 218 (Запись 3 июня 1942 г.).

<sup>1467</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 45 (Запись 16 апреля 1942 г.).

<sup>1468</sup> Там же. Ср. с записями Э.Г. Левиной: «Дистрофия сейчас вызывает не сожаление, а слегка презрительное чувство... Они сейчас балласт. Узнаем их по силуэту, по голосу, по немытости, которая воспринимается брезгливо» (Левина Э.Г. Дневник. С. 172 (Запись 3 июня 1942 г.)). См. также ее описания одного из знакомых – «дистрофиков»: «Шел по Невскому в меховой пижамной курточке, в валенках с галошами, небритый и грязный, в теплый летний день» (Там же). О том, что «дистрофики», боявшиеся холода, «часто выходили, накинув на голову и тело ватные одеяла», писала и О. Гречина (Гречина О. Спасаясь спасая. С. 249).

то выстоял, а кто-то сломался – почему их надо жалеть? Кто-то помогает, а кто-то заботится только о себе, кто-то молча переносит трудности, а кто-то, не переставая, говорит, просит, жалуется, плачет, объясняет, умоляет. И почему к тем, кто сжал себя в кулак, но тоже страдает от голода, нужно относиться менее милосердно, чем к «дистрофикам» – разве это справедливо? И эта жадность, животная жадность, когда «дистрофик» отталкивает всех, и стариков, и детей, и требует еду себе, только себе – разве другие были согласны не замечать ее?

10 декабря 1941 г. И.Д. Зеленской встретился в столовой один из «дистрофиков», все с той же, отмеченной В. Бианки, «бессмысленной неподвижной улыбкой»<sup>1469</sup>. Говорил он неслышно, и «как-то странно падал на собеседника, точно старался прилипнуть к нему». Жалости у нее нет – но не только потому, что она видела эти сцены не раз и привыкла к ним. Есть другое чувство, которого она, пожалуй, даже стыдится: отвращение. И никак себя не перебороть: «У меня крепко держится все доброе по отношению к людям, которые проявляют хоть каплю... стойкости, в которых жив человеческий дух, но эти ходячие трупы. Тень человека и его аппетит – нет, не могу, от них и страшно и отвратно»<sup>1470</sup>.

## 2

Здесь справедливость, самопожертвование, самоотречение противоречат другим, не менее важным нравственным правилам, которые требовали проявлять милосердие, жалость, сострадание – и эти противоречия иногда являлись неразрешимыми. Люди боялись оказаться на месте «дистрофика», инстинктивно чувствуя, что им может стать любой, перенесший голод. И потому они придирчиво наблюдали за собой, опасаясь и у себя обнаружить те же признаки распада. «Дистрофик» стал зримым воплощением того состояния духа, с которым надо было беспощадно бороться, «выдавливать» из себя – но как можно было тогда сохранить уважение к больным и немощным. Г. Холопов рассказывал об одной женщине, управхозе, которая часто посмеивалась над «рахитиками», и говорила, что ей не грозит их судьба: ее отец поднимал на плечо тяжести до 16 пудов<sup>1471</sup>. Она гордилась тем, что не из их десятка – откуда же у нее возникнет чувство сострадания к этим «рахитикам»?

И внешний вид «дистрофиков» и их психика одинаково отталкивали всех, кто их встречал. Но что же было делать им, презираемым и гонимым? Они тоже хотели выжить, но встречали эту стену отвращения и безразличия. Их было легко оскорбить, не ожидая отпора – чем они могли ответить?<sup>1472</sup> Их нетрудно было обобрать, обмануть, оттолкнуть, пользуясь их слабостью. Сколько нечестных людей пытались поживиться за их счет – и «дистрофикам» надо было хоть чем-то защитить себя. Пугались их истошных криков, их несмолкаемой речи, «нытья» – а как добыть без усилий, без стонов, без истерики то, что принадлежало им по праву? Да, они были бесцеремонны – а как достать кусок хлеба, если, видя их состояние, от них утаивали «карточки». Где он будет искать правду – шатающийся от измождения, с нечленораздельной речью, в полуобморочном состоянии?

В Пушкинском Доме, как вспоминал Д.С. Лихачев, завхоз присваивал себе «карточки» слегших от голода сотрудников, ожидая их скорой смерти. Один из них все же нашел силы прийти в институт. «Вид у него был страшный (изо рта бежала слюна, глаза вылезли, вылезли и зубы). Он явился в дверях как привидение, как полуразложившийся труп и глухо

<sup>1469</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 10 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 40 об.

<sup>1470</sup> Там же.

<sup>1471</sup> Холопов Г. Невыдуманные рассказы о войне // Девятьсот дней. С. 234.

<sup>1472</sup> В. Базанова, считая себя «дистрофиком», не решалась даже поступать в театральную студию – опасалась, что ее обидят (Базанова В. Вчера было девять тревог... С. 146). И основания у нее имелись. Обучаясь в 1942 г. в ремесленном училище, она замечала, как часто обделяли ее в столовой: «Была дистрофиком, поэтому мне всегда доставалась одна вода» (Там же. С. 143).

говорил только одно слово: „Карточки, карточки“». Едва расслышав просьбу, завхоз «рас- свирепел, ругал его и толкнул»<sup>1473</sup>.

Искушение оттолкнуть обессиленного человека, отнять у него продукты и «карточки» не раз наблюдались во время блокады в разных, но одинаково отвратительных, жестоких и циничных формах. Не останавливались в ряде случаев и перед издевательствами над слабыми и даже избивали их – наиболее выпукло эти нравы проявлялись среди подростков<sup>1474</sup>. Было бы заблуждением считать, что «дистрофиков» не лечили, не оберегали, не кормили, не пытались спасти. Делали это, следуя не только служебным инструкциям, хотя иногда невозможно разделить проявление милосердия и выполнение своего профессионального долга. Но отчетливо видно и другое. Первичное восприятие внешнего вида и привычек «дистрофика» нередко подавляло все прочие чувства. Осознать необходимость мягкого и тактичного отношения к больным людям было дано не всем. Представления о том, что каждый должен отвечать за себя, а не ссылаться на обстоятельства, издавна сформировались в человеческих взаимоотношениях. Они, конечно, не могли быть полностью применимы в драматических обстоятельствах, но не всякий хотел делать поправку на военное время. И потому часто оценивали поведение человека по «мирным» меркам. Это был тот случай, когда жалость не сумела преодолеть отвращение. Парадокс состоял в том, что последнее во многом обуславливалось той же этикой, призванной предотвратить духовный распад человека.

### 3

В отношении к «дистрофикам», как в капле воды, отразилось и отношение ко всем одиноким блокадникам, которые нуждались в поддержке. Если членов семьи старались спасти во что бы то ни стало, если друзей стремились, насколько возможно, опекать, если для соседей соглашались хотя бы что-то сделать, то одинокие оказывались самыми уязвимыми. Это отмечалось повсеместно<sup>1475</sup>. «Каждый стремится сохранить только собственную жизнь и жизнь своих близких родных, не обращая внимания на окружающее», – записывал в дневнике 28 февраля 1942 г. А.И. Винокуров<sup>1476</sup>. Одиноким чаще всего оставалось надеяться только на помощь санитарных дружин, комсомольских бригад, обогревательных пунктов. Помощь эта нередко являлась ограниченной, либо и вовсе запаздывала.

Об одиноких (как и прочих) людях не всегда заботились на предприятиях, редко интересовались, как они живут в общежитиях. «В жилых комнатах грязь, вшивость. На лестницах и дворах уборки никакой не производилось», – сообщалось в акте проверки районных общежитий, составленном Приморским РК ВЛКСМ<sup>1477</sup>. Официальные отчеты отличались сдержанностью, в частных записях очевидцев подробности блокадного «общежитского» быта выглядят еще более ошеломляющим. «...Сегодня я зашла в наше деревянное общежитие, – отмечала в дневнике 4 января 1942 г. И.Д. Зеленская. – Там тоже страшно. Много уволенных каталей, которые предоставлены самим себе. Сидят вокруг жаркой печки с углем, удачники [так в тексте. – С. Я.] жарят дуранду, одна полупокойница лежит в постели и плачет неживыми слезами. У нее украли последний хлеб. Головой на столе лежит еще одна умирающая. Зрелище страшной безнадежности. У Шарандовой непрерывно кричит ребенок. Она наменяла на последние вещи, вроде пальто, одеяла и проч. несколько горстей овсяной

<sup>1473</sup> Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 475–476.

<sup>1474</sup> См. воспоминания А. Терентьева-Катанского: «Вот он, стационар для дистрофиков! Опять более сильные ребята. Бют...» (Терентьев-Катанский А. Неразорвавшийся снаряд. С. 217). См. также: Разумовский Л. Дети блокады. С. 43.

<sup>1475</sup> Цукерман С. Дружинница. С. 33; Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 100, 103; Латина Г.Л. Они говорили правду // 900 дней. С. 379.

<sup>1476</sup> Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 251.

<sup>1477</sup> Информация Приморского РК ВЛКСМ Ленинградскому ГК ВЛКСМ: ЦГАИПД СПб. Ф. К-118. Оп. 1. Д. 78. Л. 4.



половы, из которой ничего нельзя выжать съедобного, сеет эту полову и плачет над ней»<sup>1478</sup>. Запись кончается такой репликой: «И никому нет до них дела. Жестокость и разобщенность чудовищные»<sup>1479</sup>.

И похороны одиноких людей часто в горьких подробностях повторяли их последние дни: погребение без уважения к умершим, без совершения ритуалов, подчеркивающих человеческое достоинство<sup>1480</sup>.

Беженцы и учащиеся ремесленных училищ – еще одна группа преимущественно одиноких людей, до которых мало кому было дела. «Раньше начали умирать беженцы», – вспоминала начальник размещенного в школе эвакуопункта К.Я. Анисимова<sup>1481</sup>. Побывавший в другом эвакуопункте Б. Капранов обнаружил в комнате размером 30 кв. м проживавших там 16 человек: «...Все время подавленное настроение. Все раздражительные, голодные, едва передвигают ноги»<sup>1482</sup>. Еще одну историю поведала в дневнике М.С. Коноплева. В поликлинику доставили молодую женщину, трудившуюся на оборонных работах. Вскоре она умерла. Ее семилетняя дочь, оставшаяся сиротой, рассказала, что в городе они оказались зимой и никаких родных у них не было. Об этом можно было и не говорить – вот описание трупа погибшей: «Я увидела труп этой женщины, раздетой в травматологическом кабинете.

Он поразил меня своим видом – это был узловатый скелет, обтянутый серо-желтой кожей»<sup>1483</sup>.

У женщины позднее нашли спрятанные 1600 руб. Скорее всего эти сбережения, вызывавшие недоумение и подозрения в жадности, не след какой-то патологии, а свидетельство того ужаса, который пришлось пережить блокадникам, и того одиночества, в котором они оказались. Едва ли это случайно – откуда им ждать помощи, если не надеяться только на себя? Сегодня есть крошка хлеба, а завтра нет – и кому они будут нужны?

1500 руб. нашли и у умершего от истощения «ремесленника». Сообщивший об этом случае инженер Г.М. Кок удивлялся: их вроде кормили неплохо, давали горячую пищу три раза в день... Вероятно, он спекулянт, и, узнав о предстоящей эвакуации, которую осталось ждать недолго, стал копить деньги, продавая втридорога хлеб<sup>1484</sup>. Этому можно было бы поверить, если бы не противоречия в его рассказе: три раза в день кормили горячей едой, которую нельзя выносить из предприятия, – и вдруг скончался от голода<sup>1485</sup>. Можно согласиться, если не знать, как кормили «ремесленников» в столовых и как «заботились» об их быте. А документы об этом имеются – один страшнее другого.

<sup>1478</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 4 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 49.

<sup>1479</sup> Там же.

<sup>1480</sup> См. дневниковую запись Г.А. Князева 16 января 1942 г.: «Я спросил нашего бывшего академического извозчика... не знает ли он, чей этот труп везли вчера на санках в таком странном виде... – А это уборщицу увозили из Главного здания... Почему же она была в таком растерзанном виде, и даже волосы волочились по снегу? – Да она одинокая была» (Из дневников Г.А. Князева. С. 41).

<sup>1481</sup> Анисимова К.Я. Школы в дни блокады // Выстояли и победили. С. 48.

<sup>1482</sup> Капранов Б. Дневник. С. 45 (Запись 20 декабря 1941 г.). В спец-сообщении УНКВД ЛО А.А. Кузнецову 28 ноября 1941 г. отмечалось: «Жилищно-бытовые условия эвакуированного населения крайне неудовлетворительны. Большинство общежитий не отапливается, не обеспечено постельными принадлежностями, в общежитии грязь, воды нет, больные не изолируются. В общежитии эвакуированных на ул. Салтыкова-Щедрина, 10, холодно. На 362 человека имеется только 42 [комплекта] постельных принадлежностей, остальные спят на полу. Общежитие по Лазаретному переулку, дом 4, отапливается плохо, из-за отсутствия транспорта уголь не завезен, на 474 человека имеется 100 постелей» (Ленинград в осаде. Л., 1995. С. 274).

<sup>1483</sup> Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник. 9 июня 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 82.

<sup>1484</sup> Кок Г.М. Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 48. Л. 20 об., 21 об.

<sup>1485</sup> См. воспоминания В.Г. Даева о подвале, в котором грелись ремесленники и варили в котле собаку: «За целых два квартала ушли они от своего общежития! Видно, ближе собак... не было» {Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 82}. Но еще примечательнее его комментарий: «В ноябре мы, студенты... завидовали ремесленникам, у них, говорят, трехразовое питание в интернатах. Как видно, питание это было неважным» (Там же).

## 4

Положение, в котором оказались сотни «ремесленников» и «фезэушников», оставшихся в городе без семей, без поддержки близких, иначе, как трагичным, назвать было трудно. Условия их быта являлись очень плохими. В акте проверки ремесленного училища № 62, проведенной в январе 1942 г. Приморским РК ВЛКСМ, они выглядят весьма красноречиво: «Чрезмерная скученность, кровати размещены вплотную в два этажа, плохое состояние отопления, антисанитария учащихся (более полтора месяца не были в бане), все грязные, обовшивевшие»<sup>1486</sup>. В столовой этого же училища были выявлены случаи обвеса в хлебе, приготовления пищи из недоброкачественной крупы<sup>1487</sup>.

Одежда их была плохой. В.Г. Григорьев, встретив в магазине мальчика, «закутанного в тряпье и очень грязного», сразу предположил, что это «ремесленник»<sup>1488</sup>. В.Г. Даев увидел «ремесленника», поскользнувшегося на обледеневшем буфере переполненного трамвая, — на его оторванной ноге «кальсон не видно, из грубого ботинка торчит газета, которой парень, очевидно, обертывал ноги для тепла»<sup>1489</sup>.

Они шли на все, чтобы выжить<sup>1490</sup>. Чаще всего, пытаясь спастись, они выхватывали продукты в булочных и магазинах<sup>1491</sup>. И делали это не в одиночку. Группа «ремесленников», совершив нападение на булочную, разграбила целый воз с хлебом<sup>1492</sup>. Тот, у кого не было сил, кто не был привычен к таким действиям и не мог выпросить подаяния, питался суррогатами, кошками и собаками, отбросами. Трагедия, разыгравшаяся в стенах общежития ремесленного училища № 39 на Моховой ул. в декабре 1941 г., едва ли являлась случайностью — в описании ее видишь неумолимую последовательность распада человека<sup>1493</sup>.

«Среди эвакуированного из Ленинграда населения особо слабыми являются учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ», — писал заместитель председателя Совнаркома СССР А.Н. Косыгин А.А. Жданову 10 февраля 1942 г.<sup>1494</sup>. Один из переживших блокаду вспоминал, что зимой 1941/42 гг. «учащиеся РУ исчезли куда-то», считая, что они одели зимние пальто и перестали выделяться среди других ленинградцев своей «формой»<sup>1495</sup>. Можно предположить, что причины здесь были и менее прозаичными.

Работник эвакопункта Борисова Грива Иванов увидел «ремесленников» в декабре 1941 г., когда их пытались перевезти через Ладогу. Это не удалось, и они ожидали здесь, не

<sup>1486</sup> Информация Приморского РК ВЛКСМ Ленинградскому ГК ВЛКСМ. 15 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 118. Оп. 1. Д. 78. Л. 5.

<sup>1487</sup> Там же.

<sup>1488</sup> Григорьев В.Г. Ленинград. Блокада. С. 37–38.

<sup>1489</sup> Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 82.

<sup>1490</sup> Из документов НКВД (конец ноября 1941 г.) отмечалось, что около 300 учащихся из 12 ремесленных училищ и школ фабрично-заводского образования (ФЗО) в сентябре – декабре 1941 г. предприняли попытку перейти на оккупированную территорию (*Бидлак Р.* Рабочие ленинградских заводов в первый год войны. С. 192).

<sup>1491</sup> «Очень много ремесленных училищ у нас было, остались одни мальчишки голодные. Только продавец подает на прилавок — они хватили и в рот сразу» (Интервью с А.Г. Усановой. С. 251). «...Подростки-ремесленники на выходе сдавили и одну пайку вытащили» (Воспоминания С. Казакевича цит. по: *Чурсин В.Д.* Указ. соч. С. 133). См. также: *Гусарова М.А.* Мы не падали духом. С. 96; *Соколов А.* Эвакуация из Ленинграда. С. 116.

<sup>1492</sup> Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 244 (Запись 27 января 1942 г.)

<sup>1493</sup> Как следует из спецсообщения УНКВД ЛО, в общежитии жило до 25 человек: «Все они были оставлены... как недисциплинированные и уволенные по разным причинам с работы... Были предоставлены сами себе...продовольственными карточками на декабрь месяц обеспечены не были. В течение декабря месяца они питались мясом <...> кошек и собак. 24 декабря, на почве недоедания, умер ученик Х., труп которого учениками частично употреблен в пищу. 27 декабря умер второй ученик В., труп которого также был употреблен в пищу» (цит. по: *Ломога Н.А.* Известная блокада. Кн. 2. С. 276).

<sup>1494</sup> Ленинград в осаде. С. 288.

<sup>1495</sup> Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы. Л. 82.

получая пищи. Выхода не было – «дело доходило до того, что они ходили на озеро и подбирали от павших лошадей остатки костей и др. отбросы, варили их и этим питались»<sup>1496</sup>. Когда «ремесленников» отправляли назад в город, Иванову, переносившему их на руках (из двухсот человек могло ходить только 60–70), пришлось надеть плащ, «чтобы паразиты, которые кишели на них, не перелопали и меня»<sup>1497</sup>. Когда позднее «ремесленников» переправили в Кобону, ужаснулись и руководители этого эвакуационного пункта, казалось, многое повидавшие в «смертное время»: «Были они все легонькие, легонькие, высохшие... На пищу ребята набросились с жадностью, вырывали друг у друга из рук... Когда ремесленники ехали с населением, картины тоже были жуткие. Ребята отнимали еду у женщин и детей, пришлось даже отделять ребят от населения, потому что воровство началось страшное»<sup>1498</sup>.

И.В. Назимов записал рассказ начальника противопожарного управления об общежитии одного из ремесленных училищ: «Поделился кошмарными картинками. В двух комнатах общежития был *в силу необходимости* [курсив мой. – С. Я.] устроен морг. В нем большое количество трупов ремесленников, замерших в самых причудливых позах. Их было много. Они были свалены в беспорядке»<sup>1499</sup>. Характерный комментарий к этой сцене: в импровизированной мертвецкой была устроена уборная для учащихся<sup>1500</sup>. В другом училище морг был размещен в подвале. Живший рядом

В.Г. Григорьев весной 1942 г. увидел «большую грузовую машину, на которую из подвала грузили трупы ремесленников». Она была наполнена доверху<sup>1501</sup>.

Они несли на себе печать смерти – изможденные, одинокие, обворованные теми, кто обязан был их беречь. Есть воспоминания о том, как в одну из больниц привезли на лечение несколько истощенных «ремесленников». Их положили в ванну и они почти сразу же умерли – все, один за другим<sup>1502</sup>.

Впечатляющая картина вымирания «ремесленников» дана в записках медсестры А.А. Аскназий. В училище, где она работала, находились в основном подростки из Смоленской области, не имевшие в городе родных и близких. «Умирили ежедневно по несколько человек. Сначала, в начале декабря, в изоляторе на 6 человек заняты были не все койки, потом число комнат лазарета росло... весь второй этаж – сплошной лазарет и большой актовый зал весь уставлен койками»<sup>1503</sup>. Тела умерших до морга везли на фанерных досках сами подростки за дополнительный обед. Идти было далеко, и трупы нередко бросали на дороге: «Мы догадывались об этом, но, конечно, молчали»<sup>1504</sup>.

## 5

Пытаясь понять, почему одинокие люди оказывались на обочине блокадной жизни, отметим, что это не было лишь следствием безразличия властей и не всегда обуславливалось блокадной повседневностью с ее скудостью запасов хлеба и топлива. Не все действия

<sup>1496</sup> Стенограмма сообщения Иванова: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 79. Л. 38.

<sup>1497</sup> Стенограмма сообщения Былинского В.П.: там же. Д. 22. Л. 7 об.

<sup>1498</sup> Там же.

<sup>1499</sup> Назимов И.В. Дневник. 25 января 1942 г. // Будни подвига. С. 132.

<sup>1500</sup> Там же.

<sup>1501</sup> Григорьев В.Г. Ленинград. Блокада. С. 45.

<sup>1502</sup> Петровичева (Судакова) М.Е., Сапегина М.Б., Егорова (Королева) И.А., Платунова (Штейнберг) Е.П. Многому учились на ходу // Гладких П.Ф. Здравоохранение и военная медицина в битве за Ленинград глазами историка и очевидца. СПб., 2006. С. 93.

<sup>1503</sup> Аскназий А.А. О детях в блокированном Ленинграде: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 10.

<sup>1504</sup> Там же. О смертности среди «ремесленников» см. также: Интервью с В.Г. Григорьевым. С. 104; Информация Приморского РК ВЛКСМ 15 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. К-118. Оп. 1. Д. 78. Л. 5.

требовали от тех, кто должен был спасать обессиленных, большого самопожертвования или огромной затраты сил – а они не всегда были готовы выполнить и малую часть возложенных на них обязанностей.

Примечательно, однако, и другое. Вид голодных, просящих подаяние «дистрофиков», беженцев, «ремесленников», в том числе и детей, не всех горожан побуждал к состраданию; разумеется, речь идет о постоянной заботе, а не об одноразовой милостыне. В помощи иногда отказывали и блокадники, известные нам как люди исключительно порядочные, добрые и благородные в отношениях с семьей и друзьями.

Обычно мало кто решается помогать неизвестным людям, не зная подробностей их жизни, их помыслов и расчетов – или приписывая их поступкам чуждые им цели. Во время блокады эти сомнения, казалось, должны были рассеяться, поскольку все понимали, что такое голод и как в действительности выглядят оставшиеся без поддержки и нуждающиеся в уходе. Но всегда ли делились с ними хлебом? Помогали ли им устроиться в госпиталь? Нет. Всегда ли поднимали упавших на снег и доводили до дома? Нет. Разве не знали, как живут «ремесленники», варившие в котле собаку? Видели, удивлялись, страшились увиденного – и проходили мимо.

Граница между «своими» и «чужими» существовала всегда, но особенно ощутимой она стала во время войны. У одиноких было меньше всего шансов выжить. Невозможно никого обвинять. Почти все оказались у края пропасти: поделиться им было нечем. Многие не могли преодолеть отвращения, встречаясь с незнакомыми людьми, особенно если у тех проявлялись признаки распада личности. Да и не все можно было сделать: группы блокадников, рискнувшие самостоятельно и без всяких указаний сверху организовать помощь, неминуемо вызывали бы подозрения. Утешали себя и тем, что есть кому заботиться о «дистрофиках». Есть больницы, обогревательные пункты, комсомольские бригады, дружины РОКК: подберут, обогреют, вылечат. И привыкали к зрелищам нескончаемых бедствий – как привыкали ко многому, что считалось ранее невозможным, но становилось частью блокадной жизни.

## Блокадники в «очередях»

### 1

«Очереди» были символом военного Ленинграда. О них говорит почти каждый из очевидцев «смертного времени». Особенно заметными они стали в сентябре 1941 г., когда снизились нормы пайков. Страх, усиленный слухами о пожаре на Бадаевских складах и началом бомбежек, заставил горожан быстрее скупать еще имевшиеся в свободной продаже продукты. Магазины опустели. «Карточки» на мясо, сахар, крупу не удавалось «отovarить», даже обойдя несколько районов. Поскольку срок их действия был ограничен, люди искали любую возможность хоть что-то получить по ним. Горожане готовы были часами стоять даже у пустых прилавков и закрытых дверей магазинов – «держали место», не пропускали никого<sup>1505</sup>. У булочных «очереди» встречались менее часто, и, увидев одну из них в марте 1942 г., М.В. Машкова объясняла это тем, что «народ ждал и мечтал о прибавке и накануне

---

<sup>1505</sup> См. запись в дневнике И.Д. Зелинской: «У магазинов очереди стоят как приклеенные даже при запертых дверях» (*Зелинская И.Д. Дневник. 27 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 37*); запись 2 ноября 1941 г. в дневнике А.П. Остроумовой-Лебедевой: «...Везде... были длиннейшие очереди, которые стояли у... пустых магазинов... совершенно не зная, будут ли привезены какие-нибудь продукты» (*Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. С. 264*); воспоминания Л. Разумовского: «Выходит заведующий и говорит, что крупа не получена, мяса нет, макарон тоже. Взрыв возмущения. Никто не уходит. Все что-то требуют, что-то выкрикивают. Стоять тошно, но и уйти страшно. А вдруг? Стоим. Молчим... Проходит час, может быть, два. Многие не выдерживают, уходят» (*Разумовский Л. Дети блокады. С. 28*).

терпел, не забирал хлеба вперед»<sup>1506</sup>. Не менее гигантскими являлись очереди у городских столовых: здесь можно было еще в октябре 1941 г. получить «бескарточные» блюда. Большие скопления людей стали приметой столовых «усиленного питания», открытых в 1942 г. Остро ощущавшаяся с конца октября 1941 г. нехватка керосина привела к тому, что даже за стаканом горячего кофе или чая у кондитерских собирались сотни горожан<sup>1507</sup>.

Молчаливых «очередей» почти никто не видел<sup>1508</sup>. Сообщали оптимистические новости о «победах» Г.И. Кулика и И.И. Федюнинского, о скором снятии блокады, но чаще разговоры касались привычных житейско-бытовых вопросов<sup>1509</sup>. Передавались разнообразные слухи о грядущем повышении норм пайков – обычно накануне праздников или первого дня месяца<sup>1510</sup>. Учили друг друга как надо приготавливать суррогаты. А.И. Винокуров увидел в «очереди» женщину которая «уверяла своих соседок, что из столярного клея получается чудесное заливное»<sup>1511</sup>. Стойкий интерес вызывали рассказы о том, где можно «отovarить» нехлебные талоны. В.Г. Даев подчеркивал, что беседы в «очередях» в каждый период времени имели свою особую «болеву точку»: «Если в сентябре, например, разговоры касались ракетчиков, то в октябре говорилось... о пропитанной сахаром земле Бадаевских складов, о том, что милиция получила приказ расстреливать на месте спекулянтов. В ноябре говорилось об аферистах, подделывавших хлебные карточки... о баснословных ценах на хлеб. Постепенно совершенно прекратились разговоры о немцах, их считали чем-то вроде стихийного бедствия... прошедшего стадию кульминации»<sup>1512</sup>. Содержание разговоров менялось не только в зависимости от «злобы дня», но и потому, что люди «перегорали», уставали говорить об одном и том же.

## 2

«...Встретила на площади Льва Толстого неизвестного человека, который шел, плакал, смеялся, хватался за голову», – рассказывала одна из блокадниц о том, что увидела 25 декабря 1941 г.<sup>1513</sup>. В этот день повысили нормы пайка. «Очереди» могли быть и шумными, и сдержанными, но когда случалось нечто, вызывавшее небывалый прилив радости, люди не стеснялись своих чувств. Исчезали их угрюмость, чинность, раздражительность. Это наблюдалось и 9 декабря 1941 г., когда узнали об освобождении Тихвина. Никто в «очередях»

<sup>1506</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 22 (Запись 1 марта 1942 г.).

<sup>1507</sup> См. запись в дневнике А.П. Остроумовой-Лебедевой 16 ноября 1941 г. об одной из знакомых: «Утром идет на Невский и там становится в очередь перед кондитерской „Норд“, чтобы выпить стакан сладкого горячего суррогатного кофе. В эту очередь набираются тысячи людей, так как ни у кого нет керосина, нет дров, чтобы вскипятить чайник воды» (*Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. С. 264); ср. с отмеченными в спецсообщении Управления МВД по Новгородской области 29 января 1953 г. жалобами студентов на работу буфета в Новгородском педагогическом институте: «...Стоим за стаканом чая два часа в очереди, как во время блокады» (Новгородская земля в эпоху социальных потрясений. Кн. 4. Новгород, 2009. С. 132).

<sup>1508</sup> С.И. Малецкий писал позже, что в «очереди» не было ни шума, ни ссор, но в 1942 г. ему было всего три года (*Малецкий С.И.* [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 165). В.Г. Григорьев видел «полуживых людей... безучастных ко всему», стоявших в «очереди», но едва бы они оставались таковыми, если бы кто-то посмел, не имея прав, подойти первым к прилавку. «Очередь» «молча наблюдала» и за его схваткой с «ремесленником», пыгавшимся вырвать у него хлеб, но из других источников мы знаем, что «очередь» обычно участвовала в избивании грабителей (*Григорьев В.Г.* Ленинград. Блокада. С. 37).

<sup>1509</sup> См. воспоминания А. Томашевской: «Рядом со мной в очереди стояла молодая женщина лет 20–25... Вид у нее был, как у всех нас, – дистрофический. Она сетовала на то, что не может устроиться на работу и получает иждивенческую карточку. Я посоветовала ей зайти к моей маме. Говорили мы долго» (*Томашевская А.* Я услышала вздох толпы... // Память. Вып. 2. С. 197).

<sup>1510</sup> *Готхарт С.* Ленинград. Блокада. С. 46; *Машкова М.В.* Из блокадных записей. С. 22 (Запись 1 марта 1942 г.).

<sup>1511</sup> Блокадный дневник А.И. Винокурова. С. 244.

<sup>1512</sup> *Даев В.Г.* Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1274. Л. 89.

<sup>1513</sup> *Инбер В.* Почти три года. С. 167 (Дневниковая запись 25 декабря 1941 г.).

не ругается, ждут прибавки к пайку. «Делятся услышанным, громкие голоса, оживление на улицах», – вспоминал об этом дне Л. Разумовский<sup>1514</sup>.

Тот взрыв ликования, который произошел 25 декабря 1941 г., пожалуй, не имеет примеров в истории осажденного Ленинграда: такого не было даже во время снятия блокады. «Какое счастье, какое счастье! Мне хочется кричать во все горло. Боже мой, какое счастье! Прибавили хлеб!... Нет, это просто спасение, а за последние дни мы так все ослабли, что еле передвигали ногами... Ура, ура и еще раз ура. Да здравствует жизнь!», – запишет в дневнике Е. Мухина<sup>1515</sup>. З.В. Островская вспоминала о жившей в бомбоубежище с тремя детьми «девочке-маме»: «Руки у нее тряслись, она со слезами радости показывала всем кусок клейкой тяжелой буханки и все повторяла: „Прибавили, видите, прибавили! Будет теперь ребятам"»<sup>1516</sup>. Ленинградцы в «очередях» обещали, что теперь пойдут работать, обращались к тем, кто встречался на пути. Все вслух, все навзрыд, все с криком: «...Обнимались и поздравляли друг друга с большим праздником, в ряде булочных... кричали ура, качали от радости завмагов...»<sup>1517</sup>

Своеобразное «сцепление» людей в очередях, разрушавшее преграды между ними, возникало не только во время всеобщего ликования. Есть темы, которые обычно обсуждаются охотно многими людьми, о которых любому есть что сказать. Частыми в блокадных «очередях» являлись рассказы о несправедливостях,

о мошенниках, спекулянтах, ворах и грабителях, о «ловчилах», которые живут лучше прочих, не имея на это прав. Негодование соединяло горожан, упрочивало их моральные оценки и ведь это происходило каждый день. Когда однажды маленькая девочка с радостью сказала о смерти матери, давшей возможность питаться по лишним «карточкам», к ней «повернулись исхудалые лица всей очереди»<sup>1518</sup>. Здесь, под чужими взглядами, в скоплении людей человек должен был еще следовать нравственным правилам. А если не хотел этого делать, то встречал резкий и незамедлительный отпор – очередь дисциплинировала всех, порой жестоко, даже доводя их до гибели. Она сама обеспечивала порядок там, где и милицию никто давно не видел – равновесием людей разных возрастов, характеров, привычек.

### 3

«Психология очереди: завидуют передним и желают им всяческих бед, чтобы ушли из очереди... Презирают задних. Образуются симпатии и антипатии. Идут на маленькие хитрости – помогают „своим“, следят, чтобы то же не делали остальные. Система номерков, проверки, слежки. Публика сдержанна. Когда одна говорит, что дома умер муж и лежат распухшие дети – другая отвечает, что ее муж умер давно, а из троих детей умерло двое» – удивительно, как это удалось опубликовать в Ленинграде в 1947 г.<sup>1519</sup>. Автору данных строк, Э. Левиной, едва ли был известен внутренний настрой «очередников»: не публично же накликали беду на тех, кто стоял впереди. Но и по жестам, взглядам, случайным репликам, оговоркам и междометиям, чутко отмеченных ею, вероятно, можно отчасти предугадать мотивы ожиданий голодных горожан, часами мерзнувших на улицах. Э. Левина едва ли могла побы-

<sup>1514</sup> Разумовский Л. Дети блокады. С. 27.

<sup>1515</sup> Мухина Е. Дневник. 25 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 67.

<sup>1516</sup> Рассказ З.В. Островской цит. по: Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. С. 94–95.

<sup>1517</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 16. См. также дневник М.М. Кракова 25 декабря 1941 г.: «Радость у всех на лицах! Народ повеселел, поздравляют друг друга...» (Краков М.М. Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 4); дневник Ф.А. Грязнова: «Выходит заведующий магазином. Поздравляет с прибавкой. Целуются, не разбирая полов» (Грязнов Ф.А. Дневник. С. 167); дневник Н.М. Суворова: «В булочных кричали ура! Радовались...» (Суворов Н.М. Сирены зовут на посты. С. 39).

<sup>1518</sup> Лепкович А. Дневник. 24 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 11 об.

<sup>1519</sup> Левина Э. Письма к другу. С. 203.

вать во всех «очередях», но и какие-то из подчеркнутых ею «сцен нравов» все же оказывались типичными.

В «очередях» всегда настороженно всматривались в лица «чужаков», подозревая их во всяких прегрешениях: попытках вырвать хлеб, украсть «карточки», опередить других, обмануть их<sup>1520</sup>. Ругань, резкие разговоры, раздражительность – обязательные приметы «очереди»<sup>1521</sup>. У О. Берггольц есть стихи о том, как «очередь» поставила перед продавцом сдавленного ею умершего человека. Люди цепко должны были подхватывать друг друга при подходе к весам. «Я-то крепко держалась, вцепившись обеими руками в пальто впереди стоявшей женщины. Так с ней и качались, как волны, то влево, то вправо», – вспоминала Е.П. Ленцман<sup>1522</sup>.

В «очередях» вырабатывались свои правила поведения. Не всем было под силу терпеть мороз много часов подряд, но другого выхода не было. Так, М. Бубнова вынуждена была стоять, чтобы получить хлеб, с 3.30 до 12.40<sup>1523</sup> – в конце января 1942 г. задержали его выдачу. Н.И. Ерохина, придя в магазин в 4 часа утра, обнаружила, что «была... 33-я»<sup>1524</sup>. Те, кто приходил позднее, едва ли мог рассчитывать на удачу. «Вчера простояла на морозе 5 часов с 12 до 5 ч. Я была 2354 номером за томатным соком, но его, конечно, не хватило», – записала в своем дневнике Н.Л. Михалева<sup>1525</sup>. Выстоять в очереди чаще могли только те, кого сумели подменить. Попытку пропустить кого-нибудь вперед «очередь» встречала крайне враждебно: «Никто не пытается пролезть к прилавку... Знает, что очередь его все равно не пропустит, никаких знакомых или соседей для очереди нет»<sup>1526</sup>. Это не всегда спасало от ссор и споров. Неизбежным стало появление «номерков» на место в «очереди». Никем не уполномоченные люди сами устанавливали их порядок, но не все считали его справедливым. Самочинно выданные «номерки» отказывались признавать<sup>1527</sup>. Не всегда удавалось восстановить очередность после прекращения обстрелов – во время их магазины закрывались. Как правило, после «отбоя тревоги» у магазинов «очереди» выстраивались в прежнем порядке<sup>1528</sup>, но иногда случалось и иначе, особенно в первые блокадные недели, когда еще не все привыкли к новым правилам. «По окончании тревоги все бегом побежали обратно в булочную, очередь, конечно, спутали, становились по мере вбегания и я оказалась не первой у кассы, а двадцатой», – отмечала М.С. Коноплева в дневнике 10 сентября 1941 г.<sup>1529</sup>. Нравы быстро менялись и из ее записи 1 ноября 1941 г. мы узнаем о том, что образование новых, «незаконных», очередей «доводило домашних хозяек до рукопашных боев»<sup>1530</sup>.

Обычно в километровых «очередях» люди вели себя спокойно, но по мере приближения к прилавку, у дверей магазинов во время их открытия «нервность» толпы возрастала.

<sup>1520</sup> Михайлов Б. На дне войны и блокады. С. 61; Интервью с А.Н. Цамутали. С. 263.

<sup>1521</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 38 (Запись 29 марта 1942 г.); Пелевин М. Повесть блокадных дней: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 36. Л. 25; Лепкович А. Дневник. 5 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 2; Разумовский Л. Дети блокады. С. 28; Интервью с А.Н. Цамутали. С. 263; Кок Г.М. Дневник. 12–14 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11 Д. 48. Л. 12 об.

<sup>1522</sup> Ленцман Е.П. Воспоминания о войне: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 3 об. 4.

<sup>1523</sup> Из дневника Майи Бубновой. С. 230 (Запись 28 января 1942 г.).

<sup>1524</sup> Ерохина Н.И. Дневник. 24 ноября 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 490. Л. 31.

<sup>1525</sup> Михалева Н.Л. Дневник. С. 300 (Запись 24 января 1942 г.).

<sup>1526</sup> Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 80.

<sup>1527</sup> См. воспоминания Е.П. Ленцман: «...Когда... много людей соберется, кто-нибудь из активистов раздавал порядковые номера, вроде как узаконить очередь, и с этими номерками многие уходили домой попить теплой водички, а в это же время другой „активист“ раздаст свои номера. Мы приходим через какое-то время, нас в очередь... не пропускают, ибо номерки... не те, очередь бранилась» (Ленцман Е.П. Воспоминания о войне: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 3 об.).

<sup>1528</sup> Готхарт С. Ленинград. Блокада. С. 46; Ратнер Л. Вы живы в памяти моей. С. 140.

<sup>1529</sup> Коноплева М.С. В блокированном Ленинграде. Дневник: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 71.

<sup>1530</sup> Там же. Л. 156.

Всегда существовало опасение, что кто-то в последний момент опередит, и не удастся получить те редкие продукты, которые отсутствовали в прочих местах и ради которых стояли, обмороженные и изможденные, столько томительных часов. В магазине «Бакалея» на углу

Разъезжей ул. и ул. Марата во время продажи масла, как сообщал в дневнике Н.П. Горшков, 6 февраля 1942 г. «произошла давка, шесть человек раздавлено насмерть, шесть сильно перемяты»<sup>1531</sup>. То, как «толпа с криком буквально вламывалась в магазин», пришлось увидеть и И.Д. Зеленской<sup>1532</sup>. Н.П. Заветновская попросила «отоварить» свою «карточку» приятельницу, объясняя это так: «Упадешь, нет сил подняться и сомнут»<sup>1533</sup>. О том же говорит и С.Я. Меерсон: «...В магазин могли прорваться немногие. В дверях создавалась давка, сутолока»<sup>1534</sup>.

Ни «номерки», ни крики, ни мольбы не помогали. Люди хотели жить, и не у одного в ту минуту, когда открывался магазин, возникал соблазн оттолкнуть, воспользоваться случайно образовавшейся «прорехой» в толпе, замешательством у входа. Стоило здесь кому-нибудь на миг остановиться, решая, к какому прилавку подойти, и кто-то сразу обгонял его, за ним бежали, тесня, другие. Они увлекали за собой и тех, кто старался придерживаться порядка, но боялся потерять место – все перемешивалось. Впечатляющую картину «свалок» у прилавков мы находим в записках Л. Разумовского: «...Дверь открывается, и вся эта лавина, толкая и сшибая друг друга, врывается в помещение. Я вцепляюсь в пальто стоящей передо мной женщины. Толпа, напирая сзади, втискивает меня в магазин и отрывает от нее. Очередь внутри магазина загибается и под напором толпы ломается и перемешивается... Где-то заплакал ребенок... Слышен истошный крик: „Тише, ребенка задавите!“ Никто не слушает. Из передних я оказываюсь в конце. Пробриться к кассе нет никакой возможности... Каждый старается восстановить свою утерянную в свалке очередь и встать поближе к кассе. От этого происходят сутолока и перебранка»<sup>1535</sup>.

#### 4

Было ли это типичным для того времени? Могут возразить, что блокадники прежде всего отмечали самые драматические, а не рутинные эпизоды, и молчаливо стоящие «очереди», где не было ни драк, ни давки, меньше обращали на себя внимание. Доля истины в этом есть. Описанные нами истории стоит сверить со свидетельством В.М. Лисовской: «... Я могу отметить, люди никогда не лезли вне очереди, все спокойно стояли, никто никого не обзывал. Люди были как люди. В Ленинграде теперь народ не тот, я была там недавно»<sup>1536</sup>. Потребность сравнить прошлое и настоящее обычно ведет к идеализации былых времен: здесь ищут и находят больше благородства в человеческих отношениях. Нет нужды описывать все «очереди» как место постоянных склок. Мы почти не встретим в них горожан, обучающихся лишь животными страстями и отталкивающих других только потому, что они голодны

<sup>1531</sup> Блокадный дневник Н. П. Горшкова. С. 74.

<sup>1532</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 27 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 37.

<sup>1533</sup> Н.П. Заветновская – Т.В. Заветновской. 5 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 33.

<sup>1534</sup> Меерсон С.Я. Из дневника блокадной школьницы: ОР РНБ. Ф. 1273 Л. 4. См. также дневник Е. Скрыбиной: «Очереди колоссальные... Сильные выживают слабых» (Скрыбина Е.А. Страницы жизни. Л., 1994. С. 125 (Запись 12 октября 1941 г.); дневник Ф.А. Грязнова: «...Стоит человек четыреста, а с другой стороны человек семьдесят, если не больше, вытесняют стоящих в очереди от дверей... Крики, ругань, вопли...» (Грязнов Ф.А. Дневник. С. 129 (Запись 30 ноября 1941 г.)); дневник И.И. Жилинского: «Ругань, грубость. Втирание в очередь без очереди. Нахальство. Конечно, более слабые и интеллигентные вынуждены быть часто побежденными...» (Жилинский И.И. Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5–6. С. 24 (Запись 4 января 1942 г.)); дневник Э.Г. Левиной: «Давка, кручение на месте в месиве голодной толпы – разбили кассу и прилавок» (Левина Э.Г. Дневник. С. 154 (Запись 6 февраля 1942 г.)).

<sup>1535</sup> Разумовский Л. Дети блокады. С. 28.

<sup>1536</sup> Лисовская В.М. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 157.



и изворотливее тех, кто не может защитить себя. Как бы отвратительно не выглядели ссоры, они вызваны прежде всего нарушением принципа справедливости. Но речь шла не только о нравственности. Призыв к справедливости давал возможность слабому выстоять в борьбе с сильным и обеспечить себе право на жизнь. Отсюда и та настороженность, та нервность, та пугливость, с которыми оценивали любой жест людей, подозреваемых в попытке обойти других.

Не случайно драки и давка возникали именно у дверей магазинов. Чрезмерная поспешность, неосторожные действия, обусловленные стремлением не выпасть из толпы, но воспринятые как оскорбление – и начинался шквал обвинений.

Жена Г.А. Князева, стоявшая в очереди у лавки, видела, как здесь «по малейшему поводу поднимается крик, шум, брань»<sup>1537</sup>. Сильнее всех «истошным голосом орала» молодая женщина. Она разговорилась с ней позднее и узнала, что у той имелось четверо малышей – от 1,5 месяца до 4-х лет. Четверо детей в блокадной семье – это предсмертие. Что ждет их мать? Ужас близости развязки, плач ребенка, «тающего» на глазах: его не накормить и не успокоить, и никому она, голодная, не уступит своего места, любого оборвет криком. Нет товаров в лавке, никто не собирается ее опередить – но остается эта готовность дать молниеносный отпор обидчику.

Каждый хотел справедливости – но ведь защищая ее, человек не мог жить по волчьим законам. Нравственный канон сохранялся во всех этих горестных сценах, когда даже «дистрофик» цеплялся за любой довод, лишь бы его не втоптывали в грязь. И мы видим здесь же, в булочных и магазинах, другие сцены. З.А. Игнатович описывала, как находившаяся в «очереди» женщина участливо расспрашивала мальчика, которого никто не сменял<sup>1538</sup>. «Очередь» могла не откликнуться на смерть стоявших в ней людей<sup>1539</sup>, но к живым она еще проявляла сострадание. «...Видела старуху с иссиня-красными, кошмарными пальцами, цепляющуюся за свою авоську и бессильно сидящую на снегу», – отмечала в дневнике 31 января 1942 г. Н.Л. Михалева. Кто-то из сердобольных блокадников взял у нее «карточку», чтобы получить хлеб: «Вот, поест, говорят, тогда встанет»<sup>1540</sup>.

А. Томашевская рассказывала, как познакомилась в «очереди» с женщиной. В это время передали слух, будто в «филипповскую» булочную на ул. Введенской привезли круглый хлеб. Условились, что женщина пойдет туда и постарается купить хлеб на «карточки» девочки. Узнав об этом, в «очереди» ей посоветовали немедленно догнать «благодетельницу» и отобрать талоны. Растерявшись, А. Томашевская побежала в булочную на Введенской – женщины рядом не было. Она попробовала пройти внутрь. Обычная картина: толпа не пропускает никого вперед. Она заплакала, стала говорить о своей беде, И речи не шло о том, чтобы кого-то опередить у прилавка: «карточек» не было. Мошенников и воров ненавидели и готовы были помочь любому, кто стал их жертвой. Люди расступились: «Стоящие сзади кричали передним: „Пропустите девочку, пусть найдет, кого ищет“. „Ищи, девочка, ищи...“ – повторяли мне люди, продвигая меня вперед»<sup>1541</sup>.

Никого она не нашла и вернулась обратно. Пришло ее время подойти к весам – «карточек» не было. Выйдя на улицу, остановилась у дверей. Плакать не могла, стала ко всему без-

<sup>1537</sup> Князев Г.А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945. СПб., 2009. С. 359 (Запись 22 декабря 1941 г.).

<sup>1538</sup> «– А ты почему не пойдешь погреться? – спросила его стоявшая в очереди женщина. – Да все одно дома холодно. – Ну я сменить разве тебя некому, ты ведь не один живешь? – Нет, с мамкой живу, да она не может придти. – Больна, что ли? – спросила женщина. – Не больна, а мертвая...» (Игнатович З.А. Очерки о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 26. Л. 6).

<sup>1539</sup> См. воспоминания В.И. Гредасова: «Видим: стоит большая очередь... Продавали... хлеб по карточкам. Идем. Видим: один человек падает – женщина. Люди – никакого внимания, так как сами еле держатся на ногах. Мальчик кричит: „Мама, мама!“ А она, женщина... умерла» (Гредасов В.И. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 83).

<sup>1540</sup> Михалева Н.Л. Дневник. С. 304.

<sup>1541</sup> Томашевская А. Я услышала вздох толпы... // Память. Вып. 2.С. 198.

различной: «Женщины, выходя из булочной, качали головами, ахали, охали. Некоторые уходили, другие оставались, сочувствовали, жалели, спрашивали» – у каждой из них имелись, наверное, свои заботы, но как примечательно это первое движение: утешить, возмутиться алчностью... Можно долго говорить о жестокости и неуступчивости толпы у магазина, об окаменевших и мрачных лицах людей, готовых с кулаками броситься на нарушителей порядка – но вот эпилог этой истории. Хлеб ей женщина вернула, и радость девочки поделили те, которым, казалось, было мало дела до ее переживаний: «Люди задвигались вокруг меня, и я отчетливо услышала общий облегченный вздох всей толпы»<sup>1542</sup>.

---

<sup>1542</sup> Там же. С. 199.

## Часть третья Средства поддержания этических норм

### Глава I Представления о цивилизованном порядке: формы упрочения

#### Искусство, творчество, чтение

##### 1

Искусство, чтение, сам акт творчества препятствуют одичанию человека, при котором нет смысла говорить и об азах нравственности. Патетика лучших человеческих чувств, пафос справедливости, неприязнь к насилию и гуманизм, призывы к состраданию и помощи, проповедь добра – все это неизбежно должно было усваиваться даже теми, кто пришел в театр, кино и филармонию, движимый лишь прозаичными целями.

Тяга к искусству одновременно и подавлялась и упрочалась в блокадных условиях. Стремление выжить, сосредоточенность только на поисках хлеба обычно не оставляли место для иных забот<sup>1543</sup>. Но усвоенные с детства навыки и культурные потребности не могли исчезнуть мгновенно. Чтобы вытравить их, необходимо было время. Разговоры о хлебе, сколь бы ни важны они были для блокадников, становясь бесконечными и, главное, невыносимыми, могли вызвать и эмоциональные выпады против «бездуховности»<sup>1544</sup>.

Хронику трудов и дней человека, противостоящего, нередко безуспешно, разрушительному воздействию блокады, но неодолимо стремящегося к искусству, музыке, театру, мы находим в дневнике Б. Злотниковой. «...Никакая работа, как и никакой человек не погасит во мне искру природы – творить... Как хочется услышать музыку – она восстановила бы мои силы», – записывает Б. Злотникова в дневнике 1 октября 1941 г.<sup>1545</sup> Работа на заводе «бесплодна и ничтожна», из сослуживцев ей интересен только один, да и с ним она стесняется познакомиться. Искусство – это все; мысль об этом настойчиво повторяется почти в каждой дневниковой записи. Через месяц их тон резко меняется.

«Хочется есть», – отмечает она 5 ноября 1941 г.<sup>1546</sup> И стыдится этого чувства, и, как может, упрекает себя: «...Нет ужаснее состояния, чем то, когда мысли заняты едой. Тогда человек теряет свое истинное подобие»<sup>1547</sup>. Нет, она еще не упала столь низко, еще восприимчива к прекрасному, еще способна творить. В записи 7 ноября 1941 г. мы встречаем, помимо самообвинения, стихотворение об осажденном Ленинграде (с использованием самых оби-

---

<sup>1543</sup> Нарочито резко и, пожалуй, с вызовом писал об этом Л. Ратнер – для переживших «смертное время» нередко характерно весьма острое неприятие любых умолчаний о нем, даже если речь шла о символических фигурах и историях: «Теперь, когда слышишь или читаешь о блокаде Ленинграда, может сложиться впечатление, что главные ее события – непрекращающаяся деятельность Театра музкомедии, 7-я симфония Шостаковича и стихи Ольги Берггольц. Но никто из окружавших меня людей ничего об этом не знал, мы знали только голод, холод и горе» (*Ратнер Л.* Вы живы в памяти моей. С. 149).

<sup>1544</sup> См. дневник Г.А. Гельфера 30 января 1942 г.: «Все говорят все про одно: еду, смерти... Ничто не вдохновляет людей на высокие порывы» (*Гельфер Г.А.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 24. Л. 8).

<sup>1545</sup> *Злотникова Б.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Оп. 4000. Оп. 11. Д. 40. Л. 2, 2 об.

<sup>1546</sup> Там же. Л. 8.

<sup>1547</sup> Там же. Л. 8 об. (Дневниковая запись 7 ноября 1941 г.).

ходных средств поэтического лексикона) и хорошо известную всем цитату из романа Н.А. Островского о жизни, которая дается один раз и которую надо прожить достойно. Афористичность и свежесть приводимого в этой записи риторико-поэтического материала сомнительны, но назидательность его отрицать нельзя: «Тот самый человек пустой, кто весь заполнил мир собой»<sup>1548</sup>.

16 ноября 1941 г. она отмечает в дневнике, что живет только своими заботами – и это плохо: «Ведь нужно жить не для себя»<sup>1549</sup>.

Нервность записей усиливается, в них чувствуется и экзальтация. «Пять месяцев жить без театра... Мне становится понятной тупость, грубость людей на заводе... Скорее бы дожить до веяния театра. Я не могу жить без театра», – пишет она 9 декабря 1941 г.<sup>1550</sup> Что пересилит – дух или плоть? Она отталкивает все мирское и низкое – и молит о хлебе. Словно перед нами какой-то маятник: едва человек готов сдаться, отречься от высокого, признать хлеб главной и неоспоримой ценностью – и сразу же возникает мысль о театре, которая своей обнаженностью тут выглядит даже неестественной. Что пересилит?

«Постоянно сосет под ложечкой. Сегодня утром мне казалось, что я съем простыню. Боже, дай пережить... Хочется жить и творить, творить без конца. Главное в жизни человека – это еда. Боже, дай пережить! Хочется есть много хлеба, каши, картошки и всего, всего! <... > Только бы пережить. Боже, дай этому конец! Ужасно хочется в театр. Не верю, что когда-нибудь попаду в оперу»<sup>1551</sup>.

В ней что-то позднее оборвалось. Чувство усталости и безразличия усилилось, жизнь стала предельно монотонной: «Утром встаешь для того, чтобы поесть суп с хлебом и ходишь-бродишь целый день для того, чтобы поесть вечером и лечь скорее спать. И так каждый день. Ничего не хочется делать и никуда не хочется идти»<sup>1552</sup>. Собралась пойти в театр – и опоздала: встретила подругу, увлеклась разговором с ней; как это непохоже на прежние иступленные заклинания.

Происходит другое. После 25 июля 1942 г. в дневнике появляются записи нравственных поучений. Они сначала соседствуют с бытовыми записями, но далее начинают значительно теснить их. Их даже трудно назвать афоризмами. Откровенная их дидактичность делала неуместными остроумную игру слов и парадоксы. Кажется, что возникает своеобразное «вытеснение» театральной тематики морализаторской, при которой духовные искания не ослабевают, а приобретают иное оформление. Возможно, что-то взято из «Круга чтения» Л. Толстого или близких ему сборников, с их характерным языком и акцентом на проповеди. В однообразии повторяющихся поучений есть своя логика и последовательность: «Любить – значит жить жизнью того, кого любишь... Без любви никакое дело не приносит пользы и всякое дело, внушенное любовью, как бы оно мало и ничтожно не казалось, приносит изобильные плоды... Ты спросишь, каким путем достигнуть свободы? Для этого надо различать добро и зло самому, а не по указанию толпы... Делать добро есть единственный поступок, наверное, делающий нам благо»<sup>1553</sup>. У всех ее записей есть одна главная нота – подчеркивание того, что облагораживает человека, что ставит его выше утилитарной морали повседневного прозябания или противостоит ей.

<sup>1548</sup> Там же.

<sup>1549</sup> Там же. Л. 14.

<sup>1550</sup> Там же. Л. 18 (Дневниковая запись 9 декабря 1941 г.).

<sup>1551</sup> Там же (Дневниковая запись 6 января 1942 г.).

<sup>1552</sup> Там же. Л. 19 (Дневниковая запись 25 июля 1942 г.).

<sup>1553</sup> Там же. Л. 20.

## 2

«Посещение театров, конечно, незначительное, так как интерес ленинградского населения ограничивался главным образом добыванием необходимого питания» – сообщалось в докладе службы СД, составленном весной 1942 г.<sup>1554</sup>. В документе много предвзятости и идеологических оценок, что делает его похожим на пропагандистскую статью. Об интересе горожан к театру здесь вряд ли могли сказать что-то внятное. В 1941–1942 гг. в Ленинграде работал лишь один театр – Музыкальной комедии – который, конечно, не мог вместить всех желающих, даже если бы число таковых было ничтожным. Информатор СД явно не видел той «давки», которая наблюдалась у входа в театр<sup>1555</sup>. Полные залы иногда собирали и концерты в Филармонии; ее посещали и тогда, когда начался голод<sup>1556</sup>. В кружках, объединявших преимущественно интеллигентов, читали новые стихи, обсуждали работы художников<sup>1557</sup>. Порой трудно определить, всегда ли это диктовалось привычкой, заботой о престиже, страхом перед деградацией или стремлением представить себя одухотворенной личностью. Причины тут могли быть и более прозаичными – желание согреться, преодолеть одиночество в лишенных света и промерзших квартирах, заглушить тоску и чувство безысходности. «В театре были люди, такие же, как я, истощенные, закутанные, страшные», – вспоминала И.З. Дрожжина<sup>1558</sup>, хотя, истины ради, заметим, что не все посетители являлись изможденными. В блокадной повседневности, нищей, голодной и во многом лишенной духовных порывов, когда человек чувствовал себя униженным и раздавленным, приобщение к культуре было и способом выделиться себя среди других. Никто не хотел быть последним, быть презираемым, быть отверженным. Е. Шварц описывал, как в поезде, увозившем из Ленинграда артистов, каждый доставал из багажа и демонстрировал другим нечто, что должно было удостоверить его ценность: «Авилов показал газету, в которой был напечатан приказ о его награждении, и хвалебное письмо Репина, написанное с большим темпераментом. Я вытащил изданную театром комедии „Тень“. Шервуд... тоже зашевелился и предъявил монографию о нем... Предъявляли мы эти документы друг другу»<sup>1559</sup>.

Если нечего одеть, чтобы прикрыть лохмотья, если нет лишнего куска хлеба, чтобы сгладить заострившиеся, старческие, «дистрофические» черты лица, так хотя бы это – чувствовать себя и быть в глазах других одухотворенным человеком. Интерес к музыке и театру во время осады обычно описывался односторонне, эмоционально и патетично, но если мы и не всегда поймем его мотивы, то имеем больше возможностей оценить его роль в поддержании нравственности. Сочинение стихов являлось следствием различных обстоятельств, но при этом утверждалась не только поэтическая, но и этическая норма. Она ощущалась в выборе тем для стихотворений (милосердие, оптимизм, взаимоподдержка), в отборе поэтического словаря, соотношенного с нравственными ценностями и отражающими их, в единении, возникавшем между чтецом и взволнованными слушателями. И само это действие – символ разрыва с неприглядной рутинной повседневного прозябания. «Сидит по вечерам в темноте, пишет стихи», – сообщал об одной из блокадниц в своем дневнике Г.А. Князев –

<sup>1554</sup> Выдержка из доклада СД об обстановке весной 1942 года. С. 81.

<sup>1555</sup> См. запись в дневнике Н.А. Рибковского 15 марта 1942 г.: «Сегодня оперетта. Ни одного билета в кассе. У театра огромная толпа жаждающих... Всей оравой, давя друг друга, точно голодные на хлеб, набрасываются, готовые с руками вырвать билет, совершенно не спрашивая о стоимости». (Цит. по: *Козлова И.* Советские люди. С. 263).

<sup>1556</sup> *Коноплева М.С.* В блокированном Ленинграде. Дневник. 25 октября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 150; *Инбер В.* Почти три года. С. 158, 161, 165 (Дневниковые записи 26 октября, 10 ноября, 7 декабря 1941 г.).

<sup>1557</sup> *Вечтомова Е.* Вопреки всему. С. 245; *Инбер В.* Почти три года. С. 194 (Дневниковая запись 16 февраля 1942 г.).

<sup>1558</sup> Запись рассказа И.З. Дрожжиной цит. по: *Александрова Т.* Испытание. С. 191.

<sup>1559</sup> *Шварц Е.* Живу беспокойно. С. 668.

где тут место корысти, жадности, безразличию. «Удивительно стойкая женщина, ни на что не жалуется, не стонет, не ужасается» – таковы дополнительные штрихи ее портрета<sup>1560</sup>.

Не всегда поэтическая декламация являлась только средством оттенить свою духовность и не каждый раз она обуславливала образцовость поведения. Но она, несомненно, воспринималась как знак, удостоверяющий уникальность человека: это подчеркивалось, этим восхищались, об этом говорили другим<sup>1561</sup>. И чтение классической и советской литературы в «смертное время»<sup>1562</sup> упрочало нравственность. Здесь неизбежно либо посрамлялся, либо осуждался порок; читая ее, следили с симпатией за благородными поступками привлекательных героев. Попытки оценить книги возвращали их читателям навыки различения добра и зла, хорошего и плохого. Примечателен комментарий мастера заводского цеха Г.М. Кока к прочитанной им в декабре 1941 г. книге одного из советских «классиков». Лучшее тут, по его мнению – «психологическое становление» героя повествования: «Все остальное – балласт». Весьма желчно он порицает автора за то, что тот включил в книгу «всю обойму эпохи, Ломоносова, год войны, всех фаворитов, Баженова... без... заботы об архитектонике»<sup>1563</sup>. Было бы преувеличением считать работу литературного критика гарантией соблюдения им нравственных правил, но то, что такие упражнения могли защитить человека от полного распада личности, когда трудно было говорить даже о соблюдении примитивной этики – несомненно.

### 3

В каждом блокадном эпизоде, где отмечен интерес к искусству и творчеству, неизбежно прослеживается, пусть и в малой степени, особая моральная норма. Есть она и в проявлениях благодарности артистам и музыкантам. Шквал аплодисментов хотя бы на миг объединял людей в едином эмоциональном порыве и своеобразно «очищал» их от рутины блокадной повседневности<sup>1564</sup>. О. Иордан вспоминала, как она поделилась папиросой с пианистом В.В. Софроницким, лечившимся, как и она, в стационаре гостиницы «Астория». Он решил отблагодарить ее, и след испытанной ею экзальтации не исчез и спустя годы: «...Играл тихо, медленно, но с большим мастерством и чувством. Трудно описать волнение, охватившее меня. И я чуть не расплакалась»<sup>1565</sup>.

Кому-то это описание может показаться чересчур пафосным, а его язык несколько «театральным». Но есть и другие примеры. «Сильно доходят лирические, особенно сентиментальные места спектакля», – писала Э. Левина<sup>1566</sup>, удивляясь, что такое возможно после пережитых блокадных ужасов. Язык откликов на концерты и спектакли порой нарочито «красив», он отражает патетику театральных жестов. «Хочу пережить все <...> во имя прекрасного будущего, в которое я верю, как в дневной свет» – неудивительно, что мы встречаем такие строки в дневнике Б. Злотниковой<sup>1567</sup> наряду с выражением экзальтированного поклонения театру. В письмах М.Д. Тушинского Т.М. Вечесловой чувствуется даже нарочи-

<sup>1560</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 41–42 (Запись 16 января 1942 г.).

<sup>1561</sup> Берггольц О. Говорит Ленинград. С. 171; Левина Э. Письма к другу. С. 211; Инбер В. Почти три года. С. 191 (Дневниковая запись 16 февраля 1942 г.); Магаева С. Ленинградская блокада. С. 56.

<sup>1562</sup> Об этом см.: Злотникова Б. Дневник. 31 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 40. Л. 4 об.; Гусарова М. А. Мы не падали духом. С. 97; Кок Г. М. Дневник. 29 декабря 1941 г. – 1 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 48. Л. 29 об.

<sup>1563</sup> Кок Г.М. Дневник. 18 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 48. Л. 14 об.

<sup>1564</sup> См. воспоминания К.А. Гузынина: «И каждый горячо благодарил артистов за те хорошие минуты, которые он пережил во время их выступления (Гузынин К.А. Когда говорили пушки // Без антракта. С. 14).

<sup>1565</sup> Иордан О. Величие духа // Девятьсот дней. С. 113.

<sup>1566</sup> Левина Э. Письма к другу. С. 207.

<sup>1567</sup> Злотникова Б. Дневник. 8 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 40. Л. 3 об.

тое сгущение патетических излияний – из них убрано все бытовое и приземленное, хотя это и не сделало менее традиционным его словарь: «На вчерашнем концерте балетная музыка без балета... А все-таки она звучит... Жизнь живет... Звучит оркестр, звучат бодрые звуки серовской музыки... И хочется послать любимой артистке и уважаемой гражданке свой привет из родного, любимого города»<sup>1568</sup>.

В таком своеобразном подборе образцов «высокой» речи и происходит упрочение этических норм. Этот предельно насыщенный пафосными формулами язык возникает далеко не естественно – его трудно признать уместным в обыкновенном разговоре, отмеченном просторечием. «Возвышенные» слова неразрывно связаны с «возвышенными» нравственными правилами. Повторяя их, упражняясь в их использовании, человек заучивает и моральные уроки. Трудно сказать, всегда ли это удерживало человека от падений – но искусство и творчество во всех их проявлениях, и больших, и малых, поддерживали в нем чувство прекрасного, ставшее заслугой его очерствению. Это чувство могло упрочиться даже рассмотрением открыток. Перебирая их в «смертное время», в конце ноября 1941 г., Е. Мухина печалилась о том, что «теперь выпускают такие неаккуратные открытки, без всякого старания, без всякой заботы»<sup>1569</sup>.

То, что пришлось пережить в последующие месяцы, казалось, должно было заставить ее утратить интерес к подобным вещам.

Но нет, в мартовских записях 1942 г. это чувство, несмотря на голод, проявляется вновь. 18 марта она пошла на рынок продавать медный чайник – и безуспешно. Там же она увидела открытки: «Не утерпела и купила». Голод снова погнал ее на рынок: «Забрала все свои вещи... Я так хотела кушать, что я решила обменять свой алюминиевый бидончик на хлеб».

Эта история примечательна тем, что своим «бытовизмом» она обнаруживает борьбу духа и плоти намного более отчетливо и ярче, чем в отягощенных философскими раздумьями практиках придирчивого самонаблюдения. Она снова увидела открытки и опять не могла пройти мимо них: «Я не утерпела, стала выбирать и открытки такие, что утерпеть невозможно. Цветные, с разными видами и все больше заграничные, такие красивые, я не могла оторваться и купила 15 штук по 1 р. за штуку». Так ли ей следовало бороться за свое выживание? Нет, и она понимает это: «Если бы я кому-нибудь сказала бы о своем приобретении, то меня бы изругали бы на чем свет стоит и за дело»<sup>1570</sup>. Спорить не о чем – но не пройти мимо открыток, мимо красоты, мимо этих «видов», которые так непохожи на блокадные улицы. Неистребимое чувство прекрасного никак не подавляется неистребимым чувством голода. Потребность в красивых открытках оказывается столь же реальной и необходимой, как и потребность в хлебе.

#### 4

Ни оперетты, ни заграничные мелодрамы, ни советские кинокомедии не претендовали на то, чтобы предельно драматизировать повседневную жизнь. Они должны были быть занимательными и веселыми, сентиментальными и забавными – ни следа того, чем была примечательна блокада, мы тут не найдем. Это и привлекало. Наблюдая за перипетиями чужой, но обязательно «сытой» жизни, беззаботной или наполненной интересными приключениями, примеряли на себя ее мерки, подобно тому, как рассказами о прошлой мирной жизни пытались заглушить кошмар настоящего, голодного времени. Люди словно вновь учились тому,

---

<sup>1568</sup> М.Д. Тушинский – Т.М. Вечесловой. 13 апреля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 7–8.

<sup>1569</sup> Мухина Е. Дневник. 22 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 56 об.

<sup>1570</sup> Мухина Е. Дневник. 18 марта 1942 г.: Там же. Л. 94.

как надо достойно жить, каким должен быть приветливым и красивым язык, как обязаны выглядеть уют и безмятежность, как ярко и живописно могут проявлять свои чувства.

«Много жизни, красоты и музыки в этом фильме», – записывал в дневнике 23 февраля 1942 г. Н.А. Рибковский. – «Я с упоением слушал музыку, любясь прекрасными снимками природы лесного Севера и высоких гор Кавказа, с ручейками выступающей красавицы весны, с бурными потоками вод падающих водопадов, увлеченный игрой актеров»<sup>1571</sup>. Здесь все – и язык и чувства – «очищены», словно перед нами «правильное», нормативное школьное сочинение. Описание скорее следует типичным образцам театральных и путевых очерков в оформлении, присущем советской журналистике. Оно в меру патетично, прозрачно и не пугает провоцирующими метафорами. Важней тут, однако, не языковые трафареты, а своеобразная, если можно так выразиться, симфония примет цивилизации с ее упорядоченностью и умиротворенностью. Таков импульс, данный фильмами – впечатления переводятся в пафосные слова, в которых нет и намека на угасание и распад человека.

Еще сильнее это чувствуется в дневниковой записи Е. Мухиной 20 апреля 1942 г. Она посмотрела американский фильм и не может скрыть своего восхищения: «Замечательная картина. Так вдруг захотелось так же, как и героини этой картины, окружить себя таким же блеском и уютом. Так же, как и они, развлекаться музыкой, танцами, различными гуляниями, разнообразными аттракционами».

Описание словно убыстряется. Ей не остановиться, она как будто охвачена нервной дрожью. Только такая жизнь – без голода и холода, без ненависти, без темноты, без обносков – другой не надо. Ничто, даже самое мелкое, но обязательно «глянцевое», в этом фильме не упущено – каждая деталь прочитана особым, «голодным» взглядом: «Ведь вот жизнь-то, роскошь, красивые женщины, разодетые по последнему крику моды, женщины, обтянутые, прилизанные мужчины, рестораны, развлечения, джаз, танцы, блеск, вино, вино и любовь, любовь, бесконечные поцелуи и вино, шумные кричащие улицы, роскошные блестящие магазины, блестящие автомобили всюду, рекламы без конца, рекламы везде, рекламы грохот... визг, просто какой-то вихрь...»<sup>1572</sup>.

## 5

Ничего из этого ей не было дано в ее не блестящей блокадной жизни. Прошлое – мучительная смерть матери от истощения, неизбывная тоска и слезы. Настоящее – невероятные страдания из-за «вечного сосания под ложечкой». Ни радости, ни света, ни ярких «реклам» – так хотя бы на мгновение оказаться в этом нереальном мире уюта и изобилия, уйти куда угодно, только бы не видеть этого повседневного кошмара. Когда-то она составляла список блюд, которые окажутся на ее столе после войны: он поражал чрезмерностью. И здесь подробное перечисление самых привлекательных характеристик заморского быта – воплощения достойной жизни – помогало вытеснить чувство безысходности.

Той же цели служили и концерты. Имело ценность все – не только содержание, но и костюмы исполнителей, их внешний вид, полные достоинства жесты, плавная речь. Выступали «концертанты» в цехах, школах, даже в банях (обычно на фронте) и вообще в местах скопления людей. Можно сколь угодно долго говорить о неуместности представлений в бомбоубежищах, в грязи, среди криков испуганных детей и разрывов бомб, но едва ли это могло смутить тех, кто считал, что именно так удастся прекратить панику, приободрить и успокоить горожан.

<sup>1571</sup> Рибковский Н.А. Дневник. С. 216 (23 февраля 1942 г.).

<sup>1572</sup> Мухина Е. Дневник. 20 апреля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 108.



Чтобы понять, как «размораживались» ожесточившиеся в блокадном аду ленинградцы, как чувства недоверия и неприязни уступали место, хотя и не сразу, другим чувствам, стоит привести несколько описаний концертов актрисы А.В. Смирновой (Искандер). Начало одного из них, казалось, не сулило ничего хорошего: люди, столпившиеся у бомбоубежища, получали, видимо не без ссор, дрова. «Народу мало, лица усталые, кое-кто бросает на нас исподлобья недружелюбные взгляды. Сыро, зябко...»<sup>1573</sup> Собравшиеся спешили получить дрова до нового сигнала тревоги и приход артистов, возможно, вызывал опасения, что этого не дадут сделать, «загонят» слушать концерт.

Сценарий концерта, видимо, являлся традиционным. Одна из актрис стала читать газетные сообщения о том, «как борются сейчас мужья и сыновья этих женщин, чтобы не пустить врага в Ленинград». Это замечание не просто о солдатах, но и о родных тех, кто здесь собрался, было оценено. Все затихли и, вероятно, почувствовав перелом в настроении слушателей, другая актриса начала читать отрывки из дневника летчицы М. Расковой. Чтение, скорее всего, было эмоциональным – слушать стали внимательнее, затем попросили «прочитать еще что-нибудь».

Люди подошли вплотную. В такие минуты обычно чувствуют, что надо сказать еще что-то более волнующее и удержать прочнее внимание собравшихся. Стали читать стихи А.С. Пушкина: «Женщины откинули платки, пригладили волосы... И опять просили... читать. И когда мы прощались, дружеские потеплевшие голоса звали нас приходиться почаще»<sup>1574</sup>.

В другом бомбоубежище концерт начинался не менее драматично. Обстановка, как обычно, была убогой – вообще нигде так не чувствовалось безразличия к судьбам блокадников, как в бомбоубежищах-склепах: «Захламлено, на полу вода. Вокруг ветхие железные кровати, скамейки, искалеченные стулья». Среди этого хаоса и появились актрисы. Никто их не ждал и было не до них – одна из женщин даже не выдержала и закричала: «На что нам концерт? Лучше бы еды принесли». Другие молчали. Начали читать, как обычно, сводки о положении на фронте, но нужно было еще и такое, что сразу бы расположило людей, «разморозило» их: сводки были безрадостными и уклончивыми. Необходим был какой-нибудь театральный жест или что-то в этом роде. Пришедшая с А.В. Смирновой актриса В.Ф. Боровик сняла шубу и вышла «в концертном платье и лакированных туфлях».

«Это произвело впечатление» – А. Смирнова сразу отметила, как изменилось настроение одетых в тряпье людей. Они стали прислушиваться: «Поначалу женщины сидели по углам, а переднюю скамейку заняли мальчишки. Потом взрослые вытеснили мальчишек, придвинули поближе стулья, кровати». Нельзя утверждать, что все уходило с концерта «просветленными» – слишком беспросветной являлась блокадная повседневность, слишком много горя видели вокруг. Идиллия чтения прервалась приходом управхоза: «На него покосились, но промолчали. А когда концерт кончился... женщины ругали управхоза за грязь в убежище, за плохую подготовленность к зиме, а управхоз корил их и просил помочь»<sup>1575</sup>. Эта «жаркая перепалка» возникла бы в любом случае, и без чтения стихов, но кто знает, может быть и эта пропасть между прекрасным и отвратительным, которую нельзя было не почувствовать в похожем на хлев убежище, тоже делала стремление блокадников к «цивилизованности» более прочным.

---

<sup>1573</sup> Смирнова (Искандер) А.В. Дни испытаний. С. 192.

<sup>1574</sup> Там же. С. 192–193.

<sup>1575</sup> Там же. С. 193.

## 6

Рассказы о том, как творчество спасало ленинградцев, мы находим во многих дневниках и записках военной поры. Они не отличались ни подробностью, ни глубиной переживаний. Детальное освещение закоулков сознания, сомнений и размышлений могло казаться чем-то «гамлетовским» – важнее был яркий показ стойкости, без осложняющих обстоятельств. Характерный пример – известные кинокадры (они стали частью официозного фильма), демонстрирующие работу в трудных условиях композиторов Д.Д. Шостаковича и Б.В. Асафьева. Пафос публичного представления предполагал исключительно быстрое, без психологических нюансировок, чисто «внешнее» изображение. Его задачей было обнаружить не внутренние сомнения и борения художников, а их выдержку и цельность.

Статья Б.В. Асафьева «Моя творческая работа в Ленинграде в первые годы Великой Отечественной войны» – пожалуй, редкое исключение из этого правила. И оно также в значительной мере насыщено беглыми зарисовками «трудов и дней» в осажденном городе. Темп повествования существенно замедлился при описании «смертного времени». Нет ни суетливости, ни поспешности, есть долгое, нередко мучительное вглядывание в себя. И есть отчетливое понимание причин распада личности и сопротивления ему посредством творчества.

Главная причина деградации – голод. Он стал невыносимым. Наступил момент, когда Асафьеву и его родным пришлось питаться жмыхами: «они оказались злейшими врагами». Выход один – лежать, стараясь «сохранить тепло в себе». Света не было, слабость нарастала. Мысли о музыке возникают спонтанно и естественно, темы и сюжеты перемешиваются. Никакой патетики, подчеркивающей значимость творческого подвига. Он пытается сочинять песни, что «отвлекало от тяжелых ощущений», и обдумывает книгу о музыкальной интонации. «В моменты появления света я стал записывать мысли об интонации – почти афористически, спеша схватить их, как светящиеся в мозгу точки»<sup>1576</sup>.

Здесь есть сумбур впечатлений, есть обрывы, есть, наверное, и осознание необходимости вправить свой текст в традиционный канон рассказов о героизме. Не получается. Сложное, подвижное, парадоксальное мышление Асафьева не укладывается в прокрустово ложе моральных поучений и обнаруживается той или иной стороной подлинная история его духовного сопротивления. Он хочет «беречь волю» – используется несколько странное словосочетание, хотя, может быть, и точное. Остерегаться всего, что способно разрушить хрупкий внутренний мир музыканта, лишить его устойчивости – у чувствительного, всегда тяжело переносившего обиды и несправедливость Асафьева эта хрупкость, «мимозность», стала преобладающей чертой характера. Он чувствует тишину. Он видит, как на улицах люди везут санки с трупами – «беречь волю, только волю». Ему хочется спать. В полуобморочном состоянии он вновь сосредотачивается на мыслях об интонации: «требовалось воссоздавать в памяти много музыки». Что-то показалось ему зловещим в начавшем одолевать его «приливе сна». Надо было найти нечто, способное остановить его. «Я начал сочинять свою музыку, то фиксируя в кратких афоризмах – пьесках впечатления от слышанных по радио сообщениях с фронта, то вслушиваясь в линии хорового голосоведения и наслаждаясь красотой воображаемой звукологии партитур».

Перебивы мелодий – от внезапного включения света, когда он, стремясь успеть до наступления темноты, лихорадочно делал заметки о музыкальной интонации. Неожиданно концовка книги стала для него ясной. «Записав, я долго не мог придти в себя от слабости». Он почувствовал тьму и холод и не понимал, сколько времени это длится. Ему показалось,

<sup>1576</sup> Асафьев Б.В. Моя творческая работа в Ленинграде в первые годы Великой Отечественной войны // Советская музыка. 1946. № 10. С. 92.

что он умирает: «Сердце... стало уходить». Это был конец, нужно особое, невероятное усилие, чтобы вырваться из оцепенения – «и вдруг в мозгу возникла музыка и среди полного отсутствия различия – живем ли мы днем или ночью, помню, я начал сочинять симфонию „смен времен года“ вокруг быта русского крестьянства».

Как остановить ничем не сдерживаемый поток впечатлений, звуков, ощущений, захвативший человека и способный его разбить? Что противопоставить хаосу разнородных, спонтанно возникающих и быстро угасающих мыслей? Нечто соразмерное, со сложной, но не запутанной архитектурой, «классическое»: «Отчаянная попытка сочинения в строгой и стройной форме спасла мою потухающую волю»<sup>1577</sup>.

Постоянные художественные импульсы можно оценить как нечто, придающее ему необходимое равновесие. Ему не всегда ясно их происхождение, но отчетливо видны их последствия. Одни ощущения быстро сменяются другими, нередко «подхватывают» их, развивают, перебивают, раздробляют – но их ткань не рвется. Человек удержан этим сцеплением наплывающих музыкальных тем, размышлений, смутных картин и образов. Он пытается их отделить и различить, устранить присущий им хаос, вернуть им ясность – и возвращается ему чувство гармонии и порядка.

## 7

Рассматривая основные формы выживания во время блокады, мы едва ли можем отнести искусству и творчеству значительную роль. Интерес к творчеству неизбежно угасал там, где не было света, где коченели пальцы от мороза, где полуобморочные люди часами считали минуты, оставшиеся до «обеда» или «ужина», где обычным явлением стали нескончаемые очереди. Тот отклик, который получила художественная жизнь осажденного города, был вызван не столько ее масштабами, сколько ее необычностью в условиях войны. Особую роль сыграли и попытки у ленинградцев их одухотворенности. Посещение театров и концертов, сочинение стихов и очерков, создание музыкальных произведений вполне оправданно являлись их лучшей и яркой иллюстрацией.

Подлинное значение искусства, творчества и чтения проявлялось скорее в том, что они предлагали блокадникам, погруженным в пучину борьбы за существование, устойчивые нравственные опоры. Это далеко не всегда могло остановить процесс их деградации, но оно замедляло его. Безупречность и совершенство художественной формы – не они ли поддерживали шкалу оценок плохого и хорошего, заставляли подражать в сочинении стихов? Особая экзальтация чтения – не посредством ли ее человек сильнее ощущал свое достоинство и свою самобытность?

## Рассказы о блокаде

### 1

Рассказы о блокаде для близких и незнакомых людей являлись не просто обменом новостями: они высвечивали самое ужасное и патологичное из того, что обнаруживалось в эти дни скорби. Особенно это сказывалось в тех случаях, когда надеялись на помощь других горожан и потому сопровождали свои просьбы самыми драматичными описаниями блокадного кошмара.

В письмах, отправленных из Ленинграда родным и друзьям на «Большую землю», это не всегда удавалось сделать: мешала бдительность цензуры. Ее деятельность ни для кого не

---

<sup>1577</sup> Там же.

была секретом и это чувствуется по нарочитой осторожности высказываний в письмах: «Ни ты, ни москвичи не представляете отчетливо положение дел у нас. К сожалению, в письме я ничего не могу тебе сообщить по причинам, тебе понятным», – писал сотрудник Русского музея Г.Е. Лебедев своему сослуживцу, уехавшему из города.

«Спим мы все мало» – это единственная «негативная» деталь военной повседневности, которую он отметил. О чем же можно говорить? И об этом мы тоже узнаем из письма: «В общем, все хорошо и пока благополучно. Настроение у нас всех бодрое и оптимистическое»<sup>1578</sup>.

Отсутствие достоверных сведений из Ленинграда рождало порой за пределами осажденного города самые фантастические представления о происходивших там событиях. Как сообщала М. А. Бочавер, одной блокаднице, написавшей родным о том, что стала «дистрофиком», задали такой вопрос: «А что это у тебя теперь за специальность такая»<sup>1579</sup>. Лишь позднее, когда в тыл начали прибывать эшелоны с ленинградцами, чей облик красноречивее всего говорил об испытанных ими «бодрости» и «оптимизме», правду о блокаде стало скрывать намного труднее<sup>1580</sup>. Примечательно, что, отвергая нелепицы, блокадники еще детальнее описывали постигшие их бедствия. «Не был в городе целый месяц, – отмечал в дневнике в конце января 1942 г. М.М. Краков. – Говорят, что там кошмар... валяются раздетые трупы на улицах по несколько дней»<sup>1581</sup>.

«Когда я прибыл в Ленинград... мне почти сразу начали рассказывать о голоде», – вспоминал А. Верт<sup>1582</sup>. Обычно присущее людям желание удивить, потрясти, вызвать сочувствие, даже безо всяких иных, отчетливо видимых причин, увеличивало число этих рассказов. Для некоторых это был и способ выговориться хоть кому-нибудь – лучшими слушателями считали тех, для кого происходившее в городе стало шоком. Приезжих узнавали сразу: по одежде, цвету кожи и отсутствию следов отеков и опуханий на лице. Проходя мимо них, блокадники, случалось, не выдерживали и старались как-то «зацепить» их – если не разговором, то хотя бы репликой. В. Бианки, приехавший в Ленинград на несколько дней, увидел санки с «пеленашками» на Литейном проспекте, ожидая в машине своих знакомых: «Седая, сгорбленная женщина с бетонно-серым лицом и прядями выцветших волос... вдруг останавливается у машины и говорит глухим, провалившимся голосом: „Удивляетесь? У нас все так. Много. Все умрем“ – и, не дождавшись ответа, плетется дальше»<sup>1583</sup>.

«Все говорят про одно: еду, смерти и дальнейших невидимых перспективах нашего бытия», – записал в дневнике Г.А. Гельфер<sup>1584</sup>. И эти рассказы становились все более тягостными. То, что считалось невозможным сегодня, о чем говорили с ужасом и содроганием, завтра оказывалось поблекшим на фоне еще более страшных примет осады. «Теперь только и слышишь разговоры: „Там-то скончалась целая семья, там-то вымерла целая квартира“», – отмечал С.Я. Меерсон в декабре 1941 г.<sup>1585</sup>. Об этом же говорили, как вспоминал Л. Разумовский, и его знакомые, собиравшиеся в его квартире весной 1942 г.: о том, кто и где умер,

<sup>1578</sup> Письмо Г.Е. Лебедева цит. по: *Балтун П.К.* Русский музей – эвакуация, блокада, восстановление. М., 1981. С. 55. Явно с оглядкой на цензуру писали письма к родным А.Г. Беляков и В.А. Рождественский.

<sup>1579</sup> *Бочавер М.А.* Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 74.

<sup>1580</sup> Собственно, скрыть ее полностью никогда не удавалось: она просачивалась разными путями, и вследствие невнимательности цензоров, и посредством передачи писем «с оказией». См. письмо В.И. Гранского в ноябре 1941 г.: «Из Ленинграда сведения грустные, город бомбят... Голодно и холодно...» (*Гранский В.И.* Четыре года в Мелекесе (Из дневников уполномоченного по сопровождению, охране и наблюдению за состоянием эвакуированных фондов ГПБ как в пути следования, так и на месте назначения) // В память ушедших и во славу живущих. С. 227).

<sup>1581</sup> *Краков М.М.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 9.

<sup>1582</sup> *Верт А.* Россия в войне 1941–1945 гг. С. 241.

<sup>1583</sup> *Бианки В.* Лихолетье. С. 166.

<sup>1584</sup> *Гельфер Г.А.* Дневник. 30 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 24. Л. 8.

<sup>1585</sup> *Меерсон С.Я.* Из дневника блокадной школьницы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 6.

кто и что пережил, о том, какие дома разбомблены, о людоедстве и бандитизме<sup>1586</sup>. В блокадной повседневности, где трудно удивить кошмарами, обнаруживалось, однако, и то, что еще было способно потрясти даже ее очевидцев. Могла запомниться и отдельная деталь, показавшаяся символической – Е.П. Ленцман передавала рассказ отца о том, что он увидел на Пискаревском кладбище: «В одну яму... положили мужчину и женщину, а посередине мальчика, как наш Вова...»<sup>1587</sup>.

## 2

Рассказы о блокаде – это прежде всего рассказы о том, как менялся человек. Каждый этап его распада отмечен эмоциональным повествованием, прочувствован и скрупулезно изучен вследствие многозначительности подчеркнутых в бесконечных беседах примеров распада. Это внимание к патологии никак не могло быть устранено. Для чего ведут дневник – не для записи же только малозначащих и рутинных подробностей. Для чего встречаются и обсуждают события – не для того же, чтобы умолчать о наиболее драматичных новостях.

Патология – это и есть то необычное, всегда обращающее на себя внимание, независимо от его масштабов и форм проявления. Когда человек говорит о патологии, он старается дистанцироваться от него, и делает это нарочито резко – гневом, удивлением, отвращением. Он всякий раз подчеркивает, что он не такой, – но это и есть одна из форм контроля. Он видит сотни, если не тысячи сокрушенных блокадой горожан – тем быстрее и настойчивее могут проявляться у него попытки отделить себя от другого, здорового от больного, цивилизованного от потерявшего человеческий облик.

Чем чаще возникают рассказы о блокаде, тем отчетливее становится представление о цивилизации. «И это мы пробовали есть в смертное время», – услышал В. Бианки обрывок разговора между мужчиной и женщиной<sup>1588</sup>; эти люди, несомненно, знают, какими должны быть настоящие, не суррогатные продукты. Г. Кабанова сообщала в письме своей тете о том, какой грязной стала ее комната – она понимает, что это плохо<sup>1589</sup>. Художник Власов рассказывал писателю В. Иванову, как хоронили в ящике от гардероба и в детской коляске<sup>1590</sup>. Примечательно, что он запомнил именно эту деталь.

Молодая блокадница, получившая подарок от школьной подруги Е. Мироновой, позднее говорила ей о том, «как вставала даже ночью и варила себе кашу, не в силах утолить неотступное чувство голода»<sup>1591</sup>. И она, «страшная черная старуха лет на вид 60»<sup>1592</sup> осознавала это различие между нормой и патологией.

Рассказы о блокаде редко бывали бесстрастными и блеклыми. Их обжигающую эмоциональность можно нередко ощутить и в позднейших воспоминаниях – время не могло стереть следов потрясения. «Они казались какими-то тихими, боязливymi, – писала позднее о детях на «елке» Е.Н. Сорокина. – Особенно щемящие воспоминания остались у нас от того, с какой застенчивой радостью уходили дети из театра, крепко прижимая к груди маленькие подарки»<sup>1593</sup>. И сообщения о подробностях осадной жизни, и трогательные описания несчастных детей и многое другое, трагичное и радостное, что происходило в те дни – все

<sup>1586</sup> Разумовский Л. Дети блокады. С. 40.

<sup>1587</sup> Ленцман Е.П. Воспоминания о войне: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 6.

<sup>1588</sup> Бианки В. Лихолетье. С. 180.

<sup>1589</sup> Г. Кабанова – Н. Харитоновой. 10 апреля 1942 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1к. Д. 5.

<sup>1590</sup> Иванов В.С. Дневники. С. 208.

<sup>1591</sup> Миронова Е.И. Блокада и фронт. Из дневниковых записей. 25 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 449. Л. 13.

<sup>1592</sup> Там же. «Увидев ее, я заплакала, будучи не в силах сдержать неуместные слезы», – передавала свои впечатления Е. Миронова (Там же).

<sup>1593</sup> Сорокина Е.Н. Страницы блокадных лет // Без антракта. С. 160–161.

это, несмотря на привыкание к блокадному быту, люди нередко еще были способны воспринимать обостренно. М.К. Петрова писала о том, сколь «тяжело было выслушивать рассказ врача о том, как в соседнем доме голодный ребенок, чтобы утолить голод, стал грызть и есть только что скончавшуюся свою мать...»<sup>1594</sup> И эта эмоциональность, возникавшая прежде всего при виде немыслимых ранее, непредставимых картин, являлась неизбежной. То к чему притерпелись и в предыдущие дни, почти сразу же перечеркивалось новыми, намного более кошмарными свидетельствами, которые не могли не задеть порой даже очерстневшего человека. Узнав о каннибализме, Н.П. Горшков не преминул записать в дневнике: «Нельзя обойти молчанием еще одно явление, вызванное голодом, жестокостью и алчностью, наивысшее зверство которого превосходит все границы допустимого человеческим разумом»<sup>1595</sup>. Едва ли мы здесь найдем спокойствие нейтрального регистратора событий, а ведь многие страницы его дневника являются чуть ли не протокольной, лишенной какой-либо экзальтации подневной записью происшествий.

### 3

«Пришел маленький мальчик... Мальчику было лет семь...» – это рассказ о блокаде секретаря Приморского РК ВЛКСМ М.П. Прохоровой. «Бабушка умерла, сказал он, мы с управхозом не смогли свезти ее на кладбище, а стащили на Карповку и бросили в Карповку, и тетя умерла 4–5 дней тому назад, лежит в квартире...»<sup>1596</sup> Может, он говорил и не только об этом, но именно такие детали отобраны, укрупнены, выдвинуты на первый план. Выявлено самое драматичное, самое негуманное, самое нецивилизованное – вот суть всех этих рассказов, которые никогда не станут бессюжетными и не будут собранием всяких мелочей хроники дня. Они останутся историями – с завязкой, действием и развязкой, с кульминацией, с авторским комментарием. Историями, которым стараются придать вещественность и зримость. Историями, которые обычно сопровождаются нравственным приговором: «„Мы с управхозом бабушку бросили в Карповку, а тетю Таню оставили в квартире“ – это говорил маленький семилетний мальчик с котомочкой, весь исхудавший, грязный, закопченный, с личиком старика»<sup>1597</sup>.

Закопченные лица, слезы, страдания, грязь, неубранные улицы, мертвые тела, воровство – все отражается в рассказах о блокаде. Каждый поступок получал оценку, основанную на представлениях о цивилизованности. Казалось, привыкали к приметам осадного времени, но следующий день увеличивал их число, а сами они становились более ужасающими. С ними не сразу успевали свыкнуться. И разговоры о происшествиях с неизменным подчеркиванием отступлений от общепринятых обычаев становились нескончаемыми: этическая норма посредством этих рассказов продолжала оставаться актуальной и живой.

## Рассказы о прошлой и будущей жизни

### 1

Рассказы о прошлой и будущей жизни стали обыкновением в блокадные дни. В том, что они велись, ничего необычного не было – это характерный и традиционный повседневный ритуал. Иное дело их содержание и доминанты. Они весьма точно отразили ритм

---

<sup>1594</sup> Петрова М.К. В осажденном и свободном Ленинграде. Из воспоминаний: ОР РНБ. Ф. 576. Д. 5. Л. 2.

<sup>1595</sup> Блокадный дневник Н.П. Горшкова. С. 66 (Запись 24 января 1942 г.).

<sup>1596</sup> Прохорова М.П. Стенографическая запись воспоминаний // Оборона Ленинграда. С. 446.

<sup>1597</sup> Там же.

«смертного времени» с его упрощением быта и деградацией личности. Чаще и охотнее всего говорили о продуктах, причем все – писатели, артисты, школьники, рабочие, домохозяйки<sup>1598</sup>.

«Сейчас легко вести непринужденную беседу в гостях – достаточно заговорить о еде», – отмечал И. Меттер<sup>1599</sup>. Блокадники стали быстро осознавать патологичность этих разговоров, их продолжительность, страстность, однообразие и повторяемость<sup>1600</sup>.

Запрет на такие разговоры можно считать одной из форм самоконтроля, но едва ли он был эффективным. Бесконечным рассказам о еде трудно было что-то противопоставить в условиях «досуга», определенного болезнями, истощением, ограниченностью в передвижениях, отсутствием света, тепла и, наконец, бомбежками – именно в бомбоубежищах они начинались быстрее всего. В этом запрете было что-то искусственное, похожее на игру. Так, в одном из госпиталей во время ночных дежурств запрещено было говорить о еде, о себе и своих родных и даже о войне, а нарушившие правило подвергались штрафу<sup>1601</sup>. Наказанием грозила школьникам за такие разговоры и педагог К. Ползикова-Рубец – но едва ли она рискнула бы отнять у них, как обещала, «хлебные корочки» в виде штрафа<sup>1602</sup>.

Поиски хлеба являлись осью блокадного быта, и разговоры о нем не могли не возникнуть. Сначала это мог быть прагматичный обмен сведениями, а затем, неудержимое, всех захватывающее, не скоро кончающееся описание еды, – вкусной, сытной, обильной, – поражающее гастрономическими излишествами. Все прорывалось неостановимо, люди могли даже перебивать друг друга, чтобы и самим пережить этот хорошо знакомый психологам акт иллюзорного «замещения» недоступного им куса хлеба.

Во всех этих рассказах была одна особенность, которая стоит быть отмеченной. Обязательно говорилось именно о вкусной, и, что очень важно, «цивилизованной» пище – не о столярном клее, не о студне из ремня, не о соевых лепешках, не о супе из крапивы. Не просто еда, как таковая, а своеобразный отбор наиболее аппетитных яств – он определял последовательность этих, как выражался один из блокадников, «фантастических гастрономических повестей»<sup>1603</sup>. Наиболее откровенно это проявлялось

среди школьников. Им легче и привычнее было непосредственно выражать свои чувства, не маскируя их. Они готовы постоянно сравнивать различные продукты и предпочтение, оказываемое одному из них, высказывается особо эмоционально. «Что может быть вкуснее хорошей котлетки и к ней много-много макарон», – услышала в бомбоубежище, опекая детей, К. Ползикова-Рубец<sup>1604</sup>. В другом бомбоубежище школьница В. Базанова записала и такие разговоры учащихся: «Я бы съела сейчас сосисок с пюре или жареных макарон,

<sup>1598</sup> «Производственный день начинается, продолжается и кончается разговорами о еде» (*Гельфер Г.А.* Дневник 20 февраля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 24. Л. 14). См. также: *Друскин Л.* Спасенная книга. С. 126; *Голлербах Э.* Из дневника 1941 года // *Голоса из блокады.* С. 186; *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. С. 262; *Ползикова-Рубец К.И.* Они учились в Ленинграде. С. 58 (Дневниковая запись 30 ноября 1941 г.).

<sup>1599</sup> *Меттер И.* Избранное. С. 108.

<sup>1600</sup> «Бесконечными и удручающими» назвал их оказавшийся во время блокады в госпитале А. Поляков (*Поляков А.* Три эпизода // *Память.* С. 140); см. также запись в дневнике К.И. Ползиковой-Рубец 30 ноября 1941 г.: «Разговоры о еде приносят вред, разжигая чувство голода, но прекратить их трудно (*Ползикова-Рубец К.И.* Они учились в Ленинграде. С. 58); воспоминания Д.С. Лихачева: «Перед отъездом Юра обещал прислать еды. Отец ждал этой еды со страшным нетерпением: все время думал о том, что Юра пришлет копченой колбасы. Он все время говорил о еде» (*Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 485).

<sup>1601</sup> *Рончевская Л.А.* Воспоминания о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1249. Д. 14. Л. 4.

<sup>1602</sup> *Ползикова-Рубец К.И.* Они учились в Ленинграде. С. 58.

<sup>1603</sup> *Поляков А.* Три эпизода. С. 140. Фантастическими эти «повести» являлись, конечно, только по блокадным меркам. См. письмо Т.Д. Ригиной, отправленное из Ленинграда в декабре 1941 г.: «Мечтаем о всевозможных кашах, супах и вообще о съедобном, в особенности о масле, мясе, сладостях» (Цит. по: *Ригина Т.Д.* Карельское студенческое братство. С. 37).

<sup>1604</sup> *Ползикова-Рубец К.И.* Они учились в Ленинграде. С. 58.

знаешь, с корочкой. Если бы мне предложили пирожное или 100 грамм хлеба, я бы взяла хлеб»<sup>1605</sup>.

Имел значение и способ приготовления, который тоже своеобразно подчеркивал «цивилизованность» еды – сколько записей можно встретить в это время о том, как люди мечтали о «румяной корочке». Подчеркнем и интерес к поваренным книгам<sup>1606</sup> – энциклопедиям настоящей, не блокадной и не суррогатной, еды.

## 2

Главным эталоном цивилизации стала довоенная повседневность. Пусть она и не была сытой и богатой, но блокадники сравнивали свое настоящее именно с ней.

Рассказы о «вкусной» пище были первым шагом к разграничению цивилизованного и нецивилизованного. «Сейчас не кушаешь пельмени да яйца, а кушаешь все, что попадет, даже соевый суп, от которого тошнит», – писала А.Н. Боровикова 10 октября 1941 г., еще в то время, когда голод не проявлялся столь сильно<sup>1607</sup>.

И это четкое деление на хорошее и плохое остается в дальнейшем, оказываясь остовом представлений об обычной еде. Это может быть не только сравнением традиционных «аппетитных» кушаний и вызывающих омерзение пищевых суррогатов. Иногда мы видим, как место «вкусной» пищи занимают дуранда, жмых и заменители молока<sup>1608</sup>. Но и в измененной форме, на более низком, «блокадном», уровне эта оппозиция «вкусное-невкусное» все равно не исчезает. И это различие есть то, что не позволяет окончательно утратить представление о норме, хотя и основательно размытой военным временем. И любое улучшение качества еды также упрочает ее критерии. Сначала удовлетворялись любым куском хлеба, потом мечтали о вкусном хлебе вместо того сырого черного месива с опилками, который выдавали в январе. 27 февраля 1942 г. Е. Мухина записывает в своем дневнике: «В булочной всегда есть вкусный хлеб, но людям все мало. Все... жалуется... начинают мечтать о булке, о пряниках»<sup>1609</sup>.

Потребность во «вкусной» пище могла сохраняться и посредством «облагораживания» блокадной еды. Этим занимались повсеместно. То отвращение, которое испытывали к суррогатам, можно ведь рассматривать и как элемент сопротивления распаду. Требовалось преодолеть не только физиологическое, но и психологическое отторжение. Можно было сделать удобоваримый (другого слова здесь не подберешь) студень из ремней и особым способом приготовить нечто съедобное из столярного клея. И все равно, одна лишь мысль о том, что это клей и ремень вызывает почти непреодолимое чувство тошноты – сколь много других, не «пищевых», ассоциаций с ним прочно спаяны в сознании людей.

«Едим столярный клей», – записывает в своем дневнике 1 января 1942 г. А.П. Остроумова-Лебедева. «Ничего. Схватывает иногда первая судорога от отвращения, но я думаю, что это от излишнего воображения. Он, этот студень, не противен, если положить в него корицу или лавровый венок»<sup>1610</sup>. Даже при взгляде на это суррогатное месиво проявляются все те же приемы различения: что-то не так плохо, а что совсем плохо, то следует «подсластить» более вкусным. Такие же приемы характерны и для других блокадников. И.Д.

<sup>1605</sup> Базанова В. Вчера было девять тревог... С. 128 (Дневниковая запись 22 октября 1941 г.).

<sup>1606</sup> Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. С. 262.

<sup>1607</sup> Боровикова А.Н. Дневник. 10 октября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 58 об.

<sup>1608</sup> См. дневник Е. Мухиной: «Сегодня нам в школе дали не желе, а простоквашу из соевого молока... Очень вкусно, я принесла домой и поделилась... им тоже понравилось» (Мухина Е. Дневник. 18 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 1. Д. 72. Л. 65 об.).

<sup>1609</sup> Мухина Е. Дневник. 27 февраля 1942 г.: Там же. Л. 86.

<sup>1610</sup> Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. С. 271 (Дневниковая запись 1 января 1942 г.).



Зеленская задумалась над тем, нельзя ли дрожжевой суп, эту безвкусную белесоватую массу, сделать лучше: «Есть ее можно, насовав туда перца и горчицы»<sup>1611</sup>. В другой семье, возможно, в такой же суп положили «2 пластиночки лука»: «Это очень вкусно»<sup>1612</sup>. М.М. Краков хотел испечь лепешку из гнилой картошки: «... Плохо, но если попробовать поджарить на масле?»<sup>1613</sup>.

«Облагораживание» еды – все тот же способ сохранить в себе человеческое. Все через прошлое – представление о добротной еде, ощущение вкуса и безвкусыя, различение хорошего и плохого. Воспоминания о довоенном быте помогали осознавать вновь и вновь эталон «правильной» еды. Упрочался он и в бесконечных разговорах о том, кто, когда и почему не купил в «доблокадных» магазинах и аптеках еще имевшиеся там продукты и лекарства. Там не стали брать лук, здесь прошли миом банок варенья – и чувство непреходящей досады от этого: ведь многое продавалось свободно, все стоило относительно дешево. Каждый, кто почему-то не захотел (хотя мог) купить пачку горчицы, сахара, крупы, бутылку растительного масла, банку сгущенного молока, потом не раз вспоминал об этом. Л. Разумовский рассказы о том, как «месяц-полтора назад могли что-то купить и не купили», слышал ежедневно<sup>1614</sup>. Жена одного из руководителей Ленинградского отделения Союза советских писателей купила трехкилограммовую банку икры и по требованию мужа отдала ее в детдом. Через два года оба они признавались журналисту А. Верту в том, что «много раз потом об этом жалели»<sup>1615</sup>. Горечь от того, что не захотели приобрести, когда это было возможно, оказавшиеся столь нужными позднее продукты и витамины, ощущается и в воспоминаниях Д.С. Лихачева.

Близкими им оказывались и рассказы людей о том, как они ранее, будучи сытыми, не все хотели есть, капризничали. Рассказы, также возвращавшие к прошлому, к цивилизованной жизни и ее ценностям и столь же омраченные страданиями, невообразимыми приступами голода, полные горечи и упреков себе: «Я так пью, что даже опухла, и кроме жидкого нет ничего. В общем я теперь часто вспоминаю, когда ты мне говорила ешь гадина. Ляжешь спать, дак не спится, только думаешь об еде, а ты знаешь, как это тяжело. Ляжешь дак не знаешь о чем думать: старое вспоминать... и только еда, еда, еда. Все вспоминаешь, как хлеба я не ела, говорила, что он горький, а теперь мечта хлеба досыта поесть»<sup>1616</sup>.

### 3

Чем страшнее являлась блокадная действительность, тем пристальнее было это всматривание в прошлое, во всем многообразии мелочей, ярче передающих его колорит. Тем отчетливее было и выявление всего радостного, сытого, уютного в нем. Такова природа противостояния кошмару – уйти отсюда, хотя бы на миг, но уйти. «Мне иногда в голову приходят всякие прекрасные мысли, все они вертятся вокруг старого, пережитого...» – эти слова Г.А. Гельфера<sup>1617</sup> в различной степени, прямо или косвенно, отражены и в записях других блокадников.

<sup>1611</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 5 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 38.

<sup>1612</sup> Запись в дневнике А. Каргина 23 февраля 1942 г. цит. по: Буров А.В. Блокада день за днем. С. 147.

<sup>1613</sup> Краков М.М. Дневник. 23 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 8.

<sup>1614</sup> Разумовский Л. Дети блокады. С. 20.

<sup>1615</sup> Солсбери Г. 900 дней. Блокада Ленинграда. М., 2000. С. 310.

<sup>1616</sup> А. Кочетова – матери. 24 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-к. Д. 5. Сохранены орфография и синтаксис. См. также воспоминания Т. Куликовой о том, как 7-летний мальчик говорил бабушке: «Помнишь, как я не любил манную кашу даже с вареньем, а сейчас бы я всякую съел» (Куликова Т. Сын. С. 399).

<sup>1617</sup> Гельфер Г.А. Дневник. 30 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 24. Л. 8 об.; ср. с записью в дневнике Б. Злотниковой: «С какой радостью вспоминаю о прожитом и прошлом. Оно было невыразимо прекрасно» (Злотникова Б. Дневник. 4 ноября 1941 г.: Там же. Д. 40. Л. 7 об.)

И вот что примечательно. Рассказы и воспоминания о «мирной» еде часто помогали сохранить и память о других деталях довоенной жизни. Рассказ о вкусной еде оказывался ассоциативно связанным с рассказом о том, в какой теплой и уютной комнате тогда обедали и как щедро делились здесь хлебом. И он удерживался прочнее, потому что это жилье было так не похоже на обезображенные бомбежками, залитые нечистотами и заполненные трупами блокадные дома. Так укоренялись в сознании людей представления о нормах цивилизации. Они включали не только норму еды, но и норму обычных, не искаженных войной, человеческих отношений, норму домашнего уюта и чистоты, норму красоты, норму покоя, не нарушаемого никакими бомбардировками.

В письме библиотекаря ГПБ В.С. Люблинского жене А.Д. Люблинской эти нормы представлены очень зримо. Он вспоминает о их совместной прогулке в начале лета 1941 г.: «Мы еще сидели с тобой в каком-то новом гастрономическом магазине... где купили, кажется, печенье, плитку шоколада, и не то сыр, не то меренгу. Все это совершенно до мельчайших подробностей встало перед моими глазами – и как мне захотелось иметь возможность вновь сводить тебя в эту прогулку или снова съездить с тобой в город на пароходике, как за несколько дней до начала войны»<sup>1618</sup>.

Не блокадная еда, гастрономический магазин, столь непохожий на пункты «отоваривания» продкарточек, прогулка, немыслимая для истощенных людей на оледеневших улицах города с подброшенными трупами, путешествие на пароходе, в котором можно полюбоваться красивыми пейзажами – каждая деталь блокадного кошмара словно сдерживается, стирается цепочкой эпизодов мирного времени. Вернее, это даже один целостный эпизод, а не разрозненный конгломерат мало связанных между собой фрагментарных довоенных впечатлений. Это не только следствие ассоциативного построения рассказа. В этой целостности в особой «сжатости» деталей впечатление от счастливо прожитого дня воспринимаются ярче, рельефнее, эмоциональнее. Еда здесь является осью воспоминаний, но они не ограничиваются только ею. Действие не заканчивается. Прогулка и путешествие на пароходе могут быть связаны с ощущением уюта, тишины, умиротворенности, праздника<sup>1619</sup>.

В дневниковых записях Н.А. Рибковского тоже много говорится о продуктах, но почти пасторальный рассказ о летнем отдыхе в мирное время отводит им скромное место. Здесь нет натуралистических описаний: «Печальным выглядит уголок, в котором я прожил с семьей свыше пяти лет. Вот тут, под тенистыми деревьями, по густой траве, в часы досуга я частенько отдыхал с книгой или газетами... Бывало уснеш[ь]. Подбежит еще совсем маленький Сереженька. Разбудит и <...> не даст больше спать. Вот стоял на том месте, где часто отдыхал под окнами своей комнатухе [так в тексте. – С. Я.], казалось, вот сейчас откроется окно и моя супруга позовет: „Коля, иди обедать, в театр опоздаем“».<sup>1620</sup>

Чаще всего отмечается то, что связано с тишиной, покоем, тихим семейным счастьем. Это – апофеоз покоя, какого-то сладкого сна, когда не хочется пробуждаться. Тень, которая защищает, трава, на которой мягко спать, книга, газета, театр, забавный ребенок, заботливая жена, зовущая к обеду. В этой идиллии не должно быть не только ни одной приметы чудовищного блокадного времени, но и намек на трудности предвоенной эпохи – лишь самые милые сердцу образы минувшего. Только такое, предельно «очищенное», лишённое противоречий, идеальное прошлое делало возможным «замещение» блокадного быта.

Попытки хоть как-то перенести это счастливое прошлое в блокадное настоящее мало кому удавались. Чаще все это происходило во время празднования Нового года или дня рож-

<sup>1618</sup> Люблинский В.С. Бытовые истории уточнения картин блокады. С. 175.

<sup>1619</sup> Ср. описание «ночных» разговоров о довоенной жизни в одном из госпиталей: «Одна из нас рассказала о жарком лете в Сосновом Бору, о солнце, о запахе хвои, белках... дошла до грибов» (Рончевская Л.А. Воспоминания о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1249. Д. 14. Л. 4).

<sup>1620</sup> Рибковский Н.А. Дневник. С. 261 (Запись 15 августа 1942 г.).

дения. Покупали елки, чистили костюм, даже стремились облачиться в нарядное платье, копили какие-то крошки хлеба, берегли бутылку вина, откладывали случайно приобретенные «яства» – и чаще всего что-то ломалось, праздник не получался, не было даже иллюзии торжества. Кто-то заболел, кто-то не приносил обещанного, кого-то не отпускали с работы, кто-то оказывался под бомбами – оставалась горечь, слезы от того, что хоть раз, «по-человечески», не удалось отметить то, что хотя бы на миг вырвало бы из блокадной бездны. А. Аскназий рассказывала, как пыталась соорудить некое подобие праздника дня рождения для семилетнего брата. Она, как могла, убрала комнату, зажгла лампу, положила на стол игрушечный кораблик и шоколадку. Чисто, светло – готовился, может быть и не только для брата, но и для себя целый спектакль, позволявший ощутить радость близкого человека, ставшую для него неожиданной. Скорее всего, ее брат догадывался, что ждет его нечто чудесное.

Зайдя в комнату, мальчик заплакал. Это было не его прошлое. Не было хлеба, был кораблик, который его не обрадовал и не мог сравниться с хлебом, и была крохотная шоколадка – а если она такая, то ее нельзя есть, как когда-то: «... Шоколадку он сразу есть не стал, а отламывал по маленькому кусочку»<sup>1621</sup>. В этом «отламывании» боли было не меньше, чем радости. Боль оттого, что скоро этот крохотный кусочек будет съеден, боль потому, что надо неимоверным усилием сдерживать себя, чтобы не съесть его целиком и сразу...

Прошлое определяло и содержание рассказов о том, какой будет жизнь после снятия блокады и окончания войны. Программы будущей жизни создавались с оглядкой на самые привлекательные, самые «идеальные» характеристики довоенного времени. Можно даже отметить их чрезмерность. Ленинградцам хотелось не просто возвращения уютного и светлого прошлого, но и предельной концентрации всего того лучшего, что в нем было. И, прежде всего, это касалось еды – ее должно было быть очень много, она должна быть невиданно разнообразной, вкусной, питательной, хорошо приготовленной.

О том, что и как собирались есть блокадники после снятия осады, следует сказать особо. Наиболее подробно об этом говорится в дневниковой записи, сделанной Е. Мухиной 16 ноября 1941 г. Ее нельзя читать без волнения, зная, что это написано голодной 17-летней школьницей. Может быть, именно в силу ее эмоциональности описание отмечено драматичностью, и, скажем прямо, иступленностью доведенного до отчаяния человека: «Когда после войны опять наступит равновесие и можно будет все купить, я куплю кило черного хлеба, кило пряников, поллитра хлопкового масла, раскрошу хлеб и пряники, оболью обильно маслом и перемешаю, потом возьму столовую ложку и буду наслаждаться, наемся до отвала. Потом мы с мамой напечем разных пирожков, с мясом, картошкой, с капустой и тертой морковью. И потом мы с мамой нажарим картошки и будем кушать румяную шипящую картошку прямо с огня. И мы будем кушать ушки со сметаной, и пельмени, и макароны с томатом и с жареным луком, и горячий, белый, с хрустящей корочкой батон, намазанный сливочным маслом, с колбасой или сыром, причем обязательно большой кусок колбасы, чтобы зубы так и утопали во всем этом при откусывании. Мы будем кушать с мамой рассыпчатую гречневую кашу с холодным молоком, а потом эту же кашу, поджаренную на сковородке с луком, блестящую от избытка масла. Мы, наконец, будем кушать горячие, жирные блинчики с вареньем и пухлые, толстые оладьи. Боже мой, мы так будем кушать, что самим станет страшно»<sup>1622</sup>.

#### 4

Она дошла до такой степени голода, когда требовалось с максимальной и какой-то патологической полнотой отразить богатство пиршественного стола – только тогда акт

<sup>1621</sup> Аскназий А.Л. О детях в блокированном Ленинграде: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 8.

<sup>1622</sup> Мухина Е. Дневник. 16 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 51.

«замещения» становился действенным. Все меряется килограммами и литрами, все обильно поливается маслом, вызываются в памяти все не только запахи, но и звуки, присущие аппетитным кушаньям. Все лоснится от жира, всего много, очень много, разного, вкусного, свежего, и все можно есть, есть «до отвала». Блокадный кошмар заставляет заглянуть и в такие закоулки ушедшего времени, о которых раньше редко задумывались. Человек как будто нарочито собирает и прихотливо соединяет все известные ему приметы хорошей жизни. Он воссоздает цивилизованное бытие в почти нереальной громоздкости, максимально насыщенным близкими его сердцу символами. Норма, основанная на воспоминаниях о прошлом цивилизованном быте, словно удваивается. Прошедшее (а не только настоящее) должно быть превзойдено. Все в будущем должно быть необычнее, лучше, во много раз лучше, ни на что не похоже.

Один из блокадников, например, заключил пари, что в мирное время «после обеда из трех блюд выпьет еще литр постного масла с хлебом»<sup>1623</sup>. В записях В.Г. Григорьева приведены такие слова его соседки: «...Когда закончится война, куплю бочку квашеной капусты и как начну ее есть, так вы меня оттуда потом за ноги не вытаските, пока все не съем»<sup>1624</sup>. Чем голоднее человек, тем сильнее будут эти гастрономические излишества выявляться в его рассказах. И тем в большей степени, в разнообразии всех составляющих, немислимом в обычном «доблокадном» обеде, ярче, живописнее будут представляться ему цивилизованные виды еды, да и другое, связанное с цивилизацией. Везде в рассказе Е. Мухиной ощущается радость от того, что будет есть не только сама она, но и мать, столь же голодная. Кажется, иначе ей не ощутить всей полноты счастья, не удесятерить своего ликования, как только не испытал этого чувства вдвоем с ней. Это не дополнительная деталь описания. Это, если внимательно присмотреться, одна из главных его тем. Мать будет печь пирожки, есть гречневую кашу, наслаждаться блинчиками, пить молоко – все, что наиболее вкусно и является сейчас недоступным, она должна обязательно попробовать. Едва ли это случайно. Это отражение еще не распаянных скреп моральных эталонов, когда не замкнуты люди в предельном эгоцентризме, не прячут свои пайки по разным ящикам буфета. «Барочный», почти сказочный рассказ о невообразимой в «смертное время» цивилизованной еде и должна была отличать такая примета цивилизованного мира – щедрость.

Заметим, что эти рассказы повторяются не раз – может быть не с прежней восторженностью. Так, 3 января 1942 г. Е. Мухина вновь мечтает о светлой и сытной жизни после снятия блокады – на этот раз вместе с матерью (она умрет от голода через несколько недель): «Мы решили, что обязательно нажарим много, много свиных шкварок и будем в горячее сало прямо макать хлеб и еще мы решили побольше кушать лука. Питаться самыми дешевыми кашами, заправленными обильным количеством жареного лука, такого румяного, сочного, пропитанного маслом. Еще мы решили печь овсяные, перловые, ячневые, чечевичные блины и многое, многое другое»<sup>1625</sup>.

«Довлеет дневи злоба его». Теперь, после нескольких недель непрекращающейся голодовки, отмечаются даже не изысканные яства (впрочем, и в предыдущей «гастрономической» записи таких не очень много), а то, что едят каждый день, дешевые, «простые» каши. Ими можно легче «заместить» недостающее – они более осязаемы в блокадной повседневности. Доминанта остается прежней – обилие еды, но не той, разнообразной, из далекой прошлой жизни, а еды, ставшей обычной, именно той, которую сейчас постоянно делят, и чью нехватку ощущали вчера, ощущают сегодня и будут ощущать завтра. «После победы обязательно сварим чечевичной каши и наедемся», – мечтали мать с дочерью, получавшие

<sup>1623</sup> Шестинский О. Голоса из блокады. С. 52.

<sup>1624</sup> Григорьев В.Г. Ленинград. Блокада. С. 42.

<sup>1625</sup> Мухина Е. Дневник. 3 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 72 об.

от родственницы, работавшей в госпитале, кусочки этой каши в банке<sup>1626</sup>. Ничего другого, более вкусного, у них не было – только это, которое они ждали с нетерпением и которое неизбежно стало главным блюдом на будущих «пиршествах»<sup>1627</sup>.

Трудно сказать, все ли разговоры о будущем ограничивались только едой – свидетельств очень мало. Как правило, блокадники описывали детали ожидаемого послевоенного бытия более скупой и менее эмоционально – иногда одной-двумя строчками<sup>1628</sup>. Дневник Е. Мухиной в этом отношении все-таки уникален. Воспользуемся им еще раз, чтобы отметить своеобразие тех картин лучшей жизни, которые рисовались в воображении людей «смертного времени».

Пожалуй, чаще они были связаны с путешествиями и вообще с поездками. Это то, что в прошлом освобождало от рутины повседневных забот, от трудного быта – естественно было обратиться именно к ним, когда хотелось уйти от ужасов быта блокадного. Жалкий паек «замещался» гастрономическими излишествами, залитые нечистотами этажи промерзших домов – фантастическим уютом мягкого вагона. Е. Мухиной с матерью не удалось, как хотелось, совершить путешествие летом 1941 г. – и не воплощенное в реальности прошлое побуждает идеализировать будущее: «И это от нас не уйдет. Мы с мамой сядем еще в мягкий вагон, с голубыми занавесочками, с лампочкой под абажуром, и вот наступит тот... момент, когда наш поезд покинет стеклянный купол вокзала и вырвется на свободу, и мы помчимся вдаль, далеко. Мы будем сидеть у столика, есть что-нибудь вкусное и знать, что впереди нас ждут развлечения, вкусные вещи, незнакомые места, природа с ее голубым небом, с ее зеленью и цветами. Что впереди нас ждут удовольствия, одно лучше другого»<sup>1629</sup>.

Противопоставление настоящего и будущего здесь представлено особенно обнаженно. Голубое небо – и мрак голодных ленинградских зимних ночей. Зелень и цветы – и мертвящий мороз рубежа 1941–1942 гг. Немыслимый уют в сочетании с покоем. Ни голода, ни холода, ни бомб, ни яростных споров о хлебе – только чистое, ничем не нарушаемое наслаждение совершающимся действием. Абажур, приглушающий свет противостоит слепящей резкости прожекторов. Стеклянный купол тут, вероятно, тоже отмечен не случайно. Хрупкость стекла соотнесена с цивилизацией, а блокада – это чернота окон, заклеенных при светомаскировке, и обломки стекол, выбитых во время бомбардировок. Уехать далеко (отметим и это слово Е. Мухиной – «вырваться на свободу») – тем быстрее удастся изгладить следы пережитого. И, конечно, еда и еще какие-то неясные удовольствия – много должно быть в этом рассказе такого, что должно ослабить тиски блокадного кошмара. «Нам хочется кушать. И не только кушать, но и еще чего-то хочется. Сама точно не знаю, чего именно. Хочется чего-то хорошего, веселого, хочется увидеть блестящую елку» – эту запись Е. Мухина сделала в дневнике спустя шесть недель после предыдущей, когда выявились наиболее обнаженно все страшные приметы «смертного времени».

«Жизнь довоенная – другая эпоха, вспоминаешь трогательно, как о далеком беззаботном детстве... Послевоенная жизнь – сон необычайной красоты, каждый видит его по своему» – в этой записи в дневнике Э.Г. Левиной<sup>1630</sup> кратко, но емко отражены главные мотивы

<sup>1626</sup> *Вотинцева В.Г.* 1941–1942 год.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 2.

<sup>1627</sup> См. запись в дневнике Т.К. Великотной: «Папа все время мечтало каше из любой крупы. Он говорил мне каждую ночь, что перед уходом на работу заведем обычай есть кашу» (*Великотная Т.К.* Дневник нашей печальной жизни в 1942 г. С. 86).

<sup>1628</sup> См. воспоминания М.А. Бочавер: «Иногда, говоря о послевоенном будущем, мы... говорили о том, каким пиршеством ознаменуем окончание войны и как будет проходить „прием“ у нас дома» (*Бочавер М.А.* Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 53).

<sup>1629</sup> *Мухина Е.* Дневник. 22 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 57. В подлиннике в последней строке вместо слова «одно» – «один».

<sup>1630</sup> *Левина Э.Г.* Дневник. С. 180 (9 августа 1942 г.).

рассказов о прошлой и будущей жизни, характерных для Ленинграда 1941–1942 гг. Это и предопределило их распространенность – другого средства сразу и хотя бы на миг уйти из этого ада у людей, оказавшихся в осаде, не было. Человек в своих воспоминаниях, мечтах, устремлениях, надеждах вновь оказывался в той цивилизации, которой он был лишен – тем самым и возвращается ему понятие о чувстве достоинства, о традиционных ценностях, о мере прекрасного, проявлениях чистоты, умиротворенности, гармонии.

## Поддержание социального статуса

### 1

Трудно отрицать, что поступки многих людей в известной мере обуславливались их представлением о себе как об элите. В этом нельзя всегда видеть снобизм или пренебрежение к другим. Каждому свойственно думать, что если он выделяется среди прочих образованием, культурой, общественным положением, происхождением, героизмом и стойкостью, то он должен подтверждать свою репутацию: положение обязывает. Сколь бы ни были различны самооценки интеллигентов и коммунистов, стахановцев и комсомольцев, врачей и педагогов, в них всегда четко и прочно отмечен ряд обязательных моральных правил: быть честным, справедливым, порядочным, отзывчивым.

Осознание особого звания ленинградца-героя пришло не сразу. Очень точно суть этого явления выражена в записных книжках Л. Гинзбург. Исподволь у блокадников формировалось то, что она называла групповой автоконцепцией: «Ретроспективно они отбрасывают, вытесняют из своего поведения все, что было в нем от... колебаний, уклонов, раздражения, и оставляют ту схему действия, свод результатов, которая попадает в печать, в списки награжденных и т. п... Они устраняют из сознания... что многие оставались в городе по внешним, случайным или личным причинам, что боялись и отчаивались, что месяцами интересовались только едой, что были злы и безжалостны... что прошли через самые унижительные и темные психологические состояния»<sup>1631</sup>.

Образ ленинградца-героя тиражировался пропагандой – в прессе, на радио, в кино. К нему обращались в тех случаях, когда требовалось поблагодарить и поощрить горожан, призвать их бесстрашно переносить лишения и совершать новые подвиги. Тому, кто высоко оценивал свое поведение во время блокады, предлагались готовые идеологические образцы. «Изнутри трудно чувствовать себя героем... пока человеку не объяснили, что он герой, и не убедили его в этом», – подчеркивала Л. Гинзбург<sup>1632</sup>.

Она считала, что в 1941–1942 гг. «было не до того, чтобы вслушиваться в объяснения»<sup>1633</sup>. Но признание необычности, героизма блокадного жития возникло не после «смертного времени», а вместе с ним – именно тогда, когда вереницы трупов стали обычным явлением в городе. Оно упрочилось в бесконечных разговорах о том, что пришлось переживать в страшную зиму, об утратах, о холоде, о бомбежках – каждый понимал цену того, что пришлось вынести.

«И все-таки мы находим силу воли жить, бороться, работать» – в этой дневниковой записи Г.А. Князева, сделанной 31 октября 1941 г.,<sup>1634</sup> как раз выявляет те черты образа ленинградцев, которые вскоре станут общепризнанными. В дневнике Г.А. Князева вообще

---

<sup>1631</sup> Гинзбург Л. Записные книжки. С. 184–185. Ср. с воспоминаниями В. Сосноры: «...О блокаде лгут. Спроси, как я страдаю – отвечу миф» (Соснора В. Проза. СПб., 2001. С. 545).

<sup>1632</sup> Гинзбург Л. Записные книжки. С. 184.

<sup>1633</sup> Там же. С. 184–185.

<sup>1634</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 34.

заметно, как создается облик героя, человека порой неприметного, не свободного от сомнений и противоречий, но неизменно стойкого, воплощавшего в своих поступках идеи патриотизма<sup>1635</sup>. Отказ оценивать свои действия как подвиг<sup>1636</sup> был ведь тоже частью «идеального представления о самом себе», если воспользоваться выражением Л. Гинзбург – именно как о человеке скромном, не любящем громкие слова. Конечно, практики выживания в самое трудное время должны были в большей степени, чем позднее, отражать «негероическое» – безразличие, жестокость, обман, воровство. Но, повторим еще раз, люди знали, где они находятся и на что приходится им идти. И считали, что совершают подвиг, а он должен был быть по достоинству вознагражден. «Говорят (и это правда), что повсюду – в Тихвине, в Волхове, в Мурманске, особенно в Мурманске, – стоят эшелоны с продуктами. Ящики стоят там с надписью: „Только для Ленинграда\*\*“... Об этом говорят с восторгом, с жадностью, с нежностью... Передают, что там есть все, вплоть до бананов» – читаем мы в дневнике В. Инбер 3 января 1942 г.<sup>1637</sup> Л.А. Лившиц сообщал, ссылаясь на А.А. Жданова, об указании И.В. Сталина «беречь ленинградские кадры»<sup>1638</sup>, а М.М. Краков записал в дневнике 2 января 1942 г.: «Передают слова Сталина о том, что как только будет прорвана блокада Ленинграда, он предоставит жителям санаторный режим (в части питания)»<sup>1639</sup>.

Герои – ленинградцы более стойкие, они организованнее и не паникуют, как иные<sup>1640</sup> – эти представления цементировались не только пропагандой. Пережившие блокадную зиму люди хотели особо подчеркнуть свою значимость. «Это действительно ленинградцы», – писал Вс. Вишневский А.Я. Таирову о работе одной из театральных трупп в сентябре 1942 г.<sup>1641</sup> – и данная фраза теперь не требовала никаких разъяснений. В другом письме Вс. Вишневский счел нужным отметить, что Ленинград «первый показал, как остановить врага»<sup>1642</sup>. Не все были готовы правильно использовать пафосный язык, но редко кто бы согласился с тем, что он неуместен. Наблюдалось иногда раздражение от патетики, было желание подчеркнуть свою скромность – но страшные раны войны были видны всем. Принизить свои поступки означало дегероизировать действия других блокадников – согласилась бы с этим мать, находившаяся на грани смерти, но сумевшая спасти своих детей ценой неисчислимых страданий? Сказать, что она не совершила ничего необычного, не могло быть воспринято иначе как оскорбление в городе, усеянном трупами. Но признание собственного подвига, ссылки на него (в том числе и при решении «житейских» вопросов), гордость от того, что человек оказался среди выстоявших и не сломленных, выраженные именно публично, в разговорах, спорах и отповедях – все это и ко многому обязывало. «Это приобретенная ценность, которая останется», – писала Л. Гинзбург. – «Из нее будут исходить, на нее будут ссылаться... Здесь твердо выработалась средняя норма поведения, которой, как всегда, подсознательно подчиняются средние люди. Потому что оказаться ниже этой нормы значило бы оказаться неполноценным. Что человек плохо переносит. Эта норма, например, не мешает склочничать, жадничать и торговаться по поводу пайков, но она мешала – еще

<sup>1635</sup> См. записи в дневнике Г.А. Князева 29 сентября и 6–8 октября 1941 г. (Из дневников Г.А. Князева. С. 27, 29).

<sup>1636</sup> См. запись рассказа парторга ЦК ВКП(б) на заводе «Электросила» В.Е. Скоробогатенько (*Гранин Д. Тайный знак* Петербурга. СПб., 2002. С. 63) и воспоминания Э. Соловьевой (*Соловьева Э. Судьба была – выжить*. С. 215).

<sup>1637</sup> *Инбер В. Почти три года*. С. 173.

<sup>1638</sup> *Ходорков Л.А.* Материалы блокадных записей: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1-р. Д. 140. Л. 8.

<sup>1639</sup> *Краков М.М.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 6. Позднее, 3 мая 1942 г. Э. Левина сообщает в дневнике о первом майских подарках из других городов и сел с надписью «героическим ленинградцам» (*Левина Э. Письма к другу*. С. 209).

<sup>1640</sup> См. запись в дневнике А. Беякова 10 сентября 1942 г. (*Беяков А. Блокадные записи // Нева*. 2005. № 1. С. 245).

<sup>1641</sup> Вс. Вишневский – А.Я. Таирову. 26 сентября 1942 г. // *Литературное наследство*. Т. 78. Кн. 2. М., 1966. С. 216.

<sup>1642</sup> Вс. Вишневский – А.Я. Таирову. 10 октября 1942 г. // Там же. С. 220. Ср. с записью в дневнике А. Беякова 10 сентября 1942 г.: «Действительно – герои» (*Беяков А. Блокадные записи*. С. 245).

так недавно – сказать: „Я не пойду туда, куда меня посылают, потому что будет обстрел, и я боюсь за свою жизнь“. Такое заявление в лучшем случае было бы встречено очень неприятным молчанием. И почти никто не говорил этого, и главное – почти никто этого не делал»<sup>1643</sup>.

## 2

Отказ от эвакуации часто тоже признавался обязательным для ленинградца-героя. Многое тогда оценивалось самими блокадниками по фронтовым меркам. Покинуть город означало, по их мнению, проявить трусость и подлость, а уехавшие иногда даже назывались дезертирами; не стеснялись говорить и о том, что они «удрали»<sup>1644</sup>. Сказать, что эти настроения формировались только «сверху», нельзя. Власти вообще оказались в двусмысленном положении. Публично и постоянно призывая каждого дать отпор наступающему врагу, защищать до последнего родной город, они, вместе с тем, приложили немало усилий, чтобы очистить Ленинград от «иждивенцев», вынудить их (иногда и с помощью угроз) покинуть свои дома. Вид людей, уезжавших на «Большую землю», был дополнительным поводом еще раз подчеркнуть собственную стойкость, отделить себя от колеблющихся и слабых. Нежелание блокадников покидать город<sup>1645</sup>, возможно, в какой-то мере усиливалось и плохо скрываемым презрением к тем, кто стремился уехать<sup>1646</sup>. Такое чувство возникало нередко стихийно, если выяснялось, что эвакуированные находились ранее в первых рядах тех, кто призывал отстоять город<sup>1647</sup>.

«Это производит очень неприятное впечатление», – записала в дневнике Б. Злотникова, увидев уезжавших ленинградцев<sup>1648</sup>. Другие высказывались менее сдержанно. Их реплики отмечены все той же печатью нарочитой хлесткости, словно им нанесли личную обиду. «Что эти беглецы напишут после войны? И как они будут смотреть в глаза блокадников» – такие слова открыто произносились на совещании писателей в Политуправлении Балтийского флота в феврале 1942 г.<sup>1649</sup>. И даже в том случае, когда отъезд признавался разумным и необходимым, никакие доводы порой не могли истребить чувство отвращения к «беглецам». Э. Левина отмечала в дневнике, что эвакуация необходима для спасения жизни блокадников, что городу не требуются те, кто не может стоять на ногах, что эти люди будут трудиться и в иных местностях. Все это так, но с уезжающими она не хочет встречаться, чтобы «не сказать

<sup>1643</sup> Гинзбург Л. Записные книжки. С. 185.

<sup>1644</sup> Из дневника Э. Голлербаха. 24 сентября 1941 г. // Голоса из блокады. С. 182; О. Берггольц – М. Берггольц. 26 сентября 1941 г. // Берггольц О. Встреча. С. 199; Эльяшева Л. Одним бы глазом увидеть победу. С. 255; Протокол комсомольского собрания завода «Ленинская искра». 12 августа 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 12-118. Оп. 1. Д. 79. Л. 34; Каверин В. Эпилог. М., 1989. С. 258; Кулагин Г. Дневник и память. С. 233 (Запись 8 февраля 1942 г.).

<sup>1645</sup> См. об этом: Кок Т.М. Дневник. 6–9 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Д. 48. Л. 6 об.; Игнатович З.А. Очерки о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 26. Л. 1; Шварц Е. Живу беспокойно. С. 657; Друскин Л. Спасенная книга. С. 133; Капица П. В море погасли огни. С. 272; Меркурова-Маширова В.Я. Боевое крещение // Без антракта. С. 176.

<sup>1646</sup> Особенно едкие реплики можно обнаружить у И. Меттера: «...Улетает из Ленинграда и оказывается, что это – подвиг. „Достаточно встретиться в воздухе с одним мессером“» (Меттер И. Избранное. С. 110).

<sup>1647</sup> См. записки актера В.Р. Гардина, где это чувство выражено столь неподдельно, хлестко и резко, что можно предположить здесь и проявление личной неприязни, а не только патриотического настроения автора: «Эвакуация Ленфильма в тот момент, когда мой родной город становится ареной мировых исторических событий... Это было бы для меня чудовищно непонятным, если бы я не знал, как говорится, не только до глубины пяток, но и метра три под пятками почти каждого члена моей кинематографической среды. На митингах, в киностудии, все, как полагалось, с экспрессией в голосе и жестиками говорили все то, чему не только не верили, а хорошо знали, что будет сделано наоборот» (Гардин В.Р. Воспоминания о днях блокады: ОР РНБ. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 163. Л. 23–32 об.). Примечательно, что позднее он вычеркнул этот текст – вероятно, чтобы не задеть многих.

<sup>1648</sup> Злотникова Б. Дневник. 25 июля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 40. Л. 5 об.-б.

<sup>1649</sup> Капица П. В море погасли огни. С. 272 (Дневниковая запись 8 февраля 1942 г.).



им грубость»<sup>1650</sup>. Примечательно, что позднее вернувшиеся в город ощущали неприязнь к себе со стороны тех, кто остался в Ленинграде<sup>1651</sup>.

Объясняя свой отказ покидать город, музыкант К.М. Ананян говорил, что он не имеет на это «морального права»<sup>1652</sup>. Отношение к эвакуации служило именно нравственным оселком: отвергали трусость, предательство, безразличие к судьбам родных, эгоизм, подчеркивали смелость, стойкость, самопожертвование. Отчасти здесь повторялись азы официальной пропаганды, выраженные соответствующим языком. Иногда аргументация отмечена даже и неким лиризмом, признанием в любви к городу. Впрочем, она могла иметь и несколько нот: здесь нередко перемешаны патетика и «житейские» соображения, оправдывающие пребывание в Ленинграде.

Приводили, конечно, не все доводы, а они могли быть вполне прозаичными. Это и страх перед неизвестностью, нежелание быть нахлебником у чужих людей, опасение, что обворуют квартиру во время отъезда. Но показательно, что этические аргументы при этом быстрее всего выдвигались на первый план – нравственная норма тем самым поддерживалась и настойчивее и чаще<sup>1653</sup>. В «смертное время», когда вывозили из города тысячи людей, эти аргументы, разумеется, не могли обладать и толикой прежней силы. Но в сентябре-октябре 1941 г. они звучали весьма остро и позволяли в какой-то мере сдерживать начавшееся тогда размывание всех моральных ценностей.

«Стандартная фраза удирающих, улетающих и уезжающих мужчин: „Я только увезу семью и сразу же вернусь“. Эту фразу все труднее выслушивать» – читаем мы в записных книжках И. Меттера.<sup>1654</sup> Но оправдания уезжавших из города слышали не раз и в них тоже подчеркивалось, сколь многое и дорогое было связано с Ленинградом, как жалко его покидать, как долго не решались уехать, какое чувство раскаяния испытали после этого. Особо отмечали, что уезжали не из-за страха<sup>1655</sup>.

Главный мотив всех оправданий – человек чувствует себя лишним в городе, которому нет сил помочь. «Я мог только замерзнуть, погибнуть от истощения, пропасть... Я лежал под грудой тряпья, слушал по радио стихи О. Берггольц и плакал», – вспоминал Л. Друскин<sup>1656</sup>. Этот мотив особенно подробно рассмотрен в дневниковых записях Е. Шварца, датированных 1956–1957 гг. Свои блокадные дневники он уничтожил, покидая Ленинград в декабре 1941 г. Описание явно упрощено. В нем нет неожиданных поворотов, многозначительных умолчаний, парадоксов, свойственных дневниковой прозе Е. Шварца. Витиеватость в оправданиях неуместна: прямота слов должна соответствовать простоте объяснений – чем бы он смог помочь городу? «В бомбоубежище к детям, и женщинам, и старикам идти как будто бы и стыдно. Дома сидеть нельзя»<sup>1657</sup>. Он не сразу решил эвакуироваться – стал работать в Доме радио, надеясь хоть этим быть полезным. Уехал из Ленинграда не из-за страха смерти, нет – из-за бессмысленности своего жития в городе<sup>1658</sup>. На радио его почти не приглашали, нести

<sup>1650</sup> Левина Э. Письма к другу. С. 203 (Дневниковая запись 31 января 1942 г.).

<sup>1651</sup> Даев В. Г. Пинкевич, Зошенко и другие. С. 37.

<sup>1652</sup> К.М. Ананян – М.М. Ананян. 8 января 1943 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 9 об. См. также: Кочетов В. Улицы и траншеи. С. 325.

<sup>1653</sup> См. записи в дневнике члена ЛОСХ В.Н. Новикова, сделанные в мае 1942 г. о том, что «художники страшно устали, но признать это стесняются», а некоторые из них «хотят быть героями до какого-то конца» (Новиков В.Н. Дневники. С. 216).

<sup>1654</sup> Меттер И. Избранное. С. 106.

<sup>1655</sup> Ползикова-Рубец К. Они учились в Ленинграде. С. 34 (Дневниковая запись 16 сентября 1941 г.); Шварц Е. Живу беспокойно. С. 661; Кулагин Г. Дневник и память. С. 259 (Запись 16 июля 1942 г.).

<sup>1656</sup> Друскин Л. Спасенная книга. С. 133.

<sup>1657</sup> Шварц Е. Живу беспокойно. С. 560.

<sup>1658</sup> Ср. с объяснениями одной из уехавших блокадниц, заведующей интернатом в Молотовской области, содержащиеся в письме к К. Ползиковой-Рубец: «Мне стыдно, что я уехала из Ленинграда. Вы знаете, я уехала не из страха, но мне казалось, что я нужнее при детях, чем в обстановке Ленинграда» (Цит. по: Ползикова-Рубец К. Они учились в Ленинграде.

боевые дежурства на крышах домов было не нужно – последний сильный налет произошел 7 ноября.

Условность оправданий очевидна. Уезжая, он едва ли мог знать, не возобновятся ли сильные обстрелы на следующий день, а на радио его могли позвать в любую минуту. И дело в блокадном Ленинграде, наверное, нашлось бы каждому – но не это главное. Отказ оставаться в городе отчетливо воспринимается как нечто, что надо разьяснять еще и еще раз, за что надо извиняться. Он не боялся, но его «терзала бессмысленность положения». Где-то люди имеют возможность бороться: «Там, на переднем крае, ясны были обязанности каждого»<sup>1659</sup>. Здесь он должен прятаться вместе с больными, беззащитными, старыми, малыми – нравственно ли это? Что же остается делать – терпеть?

Оправдания других людей, может, были и не столь пространны, но это именно оправдания – всегда есть ощущение того, что нарушается нравственная норма. «Он говорил, что здесь родился и что ему бесконечно дорог Ленинград, но что на него... повлияла смерть сына» – так объяснял Г. Кулагину свое желание уехать начальник строительного цеха<sup>1660</sup>. Писатель В. Каверин главной причиной своего внезапного отъезда называл вербовку его сотрудниками органов госбезопасности – единственным средством избежать ее и стала эвакуация<sup>1661</sup>. Почему были нужны эти объяснения? Потому что иначе трудно выглядеть порядочным человеком – и не только спустя много лет после описываемых событий, но и тогда, во время блокады: «...Распространились слухи, что я уехал самовольно, из трусости, без ведома и разрешения начальства. В письмах блокадных лет могли сохраниться отзвуки этих слухов»<sup>1662</sup>. Проблема выбора здесь осложнялась тем, что соблюдение одной моральной нормы способствовало размыванию другой из них. Допустимо ли оставаться в городе и снять с себя обвинения в трусости ценой доноительства? Что подлее – покинуть в трудную минуту Ленинград или предать близких людей? Другого выхода нет – но и этот трудный выбор сопровождается обращением именно к нравственности и чести.

Причин для эвакуации могло быть много. Позднее и говорить о них не было необходимости. Уезжали все и потому не надо было ни на кого оглядываться и приводить оправдания. Нескончаемая вереница «пеленашек» явилась неотразимым доводом для тех, кто очищал город от «иждивенцев». Но само стремление остаться в нем, найти патриотические и моральные доводы в пользу этого и, конечно, ощущение стыда за свой отъезд удерживали в человеке представления о нравственных правилах, сколь ни трудно было им следовать в жизни.

### 3

Отнесение себя к политической элите, какой бы условной она не являлась – к коммунистам и комсомольцам – также становилось препятствием для разрушения моральных устоев блокадников. Трудно сказать, считали ли они себя достойным образцом для других горожан – прямых их высказываний на эту тему немного. Но они не могли, если бы даже и захотели, полностью отбросить предписанные им нормы поведения. В прессе, на собраниях и митингах, в устных беседах настойчиво разьяснялось, что коммунисты в первую очередь должны быть примером для колеблющихся. Они не могут вести себя иначе, они обязаны находиться в передовых рядах защитников города и не смеют быть «нытиками», паникерами, эгоистами – это воспринималось как закон. Одна из блокадниц вспоминала увещева-

---

С. 34 (Дневниковая запись 16 сентября 1941 г.).

<sup>1659</sup> Шварц Е. Живу беспокойно. С. 661.

<sup>1660</sup> Кулагин Г. Дневник и память. С. 254 (Запись 16 июля 1942 г.).

<sup>1661</sup> Каверин В. Эпилог. С. 258.

<sup>1662</sup> Там же.

ния коммуниста-отца, обращенные к жене. Он был недоволен тем, что она потеряла силу духа: «... Ты же коммунистка. Как ты лежишь. Нельзя, ведь ты будешь лежать, куда Таня [их дочь. – С. Я.] денется? Ведь Таня тоже умрет. Кто за ней будет ухаживать? Ты обязана встать. Ты обязана. Только мы, коммунисты, должны... как-то бороться. Мы... обязаны, мы должны друг другу помогать, мы должны поднимать...»<sup>1663</sup>. Примечательно, что это повторялось не один раз. Видимо, такие доводы и казались ему наиболее сильными, а в их пользу он смог и сам убедиться: «В общем, какие-то у него все вот речи такие были...: „Коммунисты, коммунисты. Мы обязаны, мы обязаны“. И моя мама встала»<sup>1664</sup>.

«Ведь мы же руководители и если мы будем ныть, то что же будут говорить рабочие», – отмечала в своем дневнике «смертного времени» А.Н. Боровикова<sup>1665</sup>. Секретарь Ленинского РК ВКП(б) принуждал свою жену эвакуироваться в первую очередь, чтобы не слышать упреков со стороны других людей: «Я говорю, что нужно показывать пример»<sup>1666</sup>. Конечно, демонстрация стойкости и самопожертвования имела и утилитарные цели – но даже и формальное соблюдение этических ритуалов в эти месяцы представляло особую ценность. Внешнее и внутреннее не разделялось непреодолимой перегородкой. Нельзя было все время жить на два дома, иметь два лица и две морали. Запись в дневнике партийного работника Н.А. Рибковского едва ли сделана, как выражались тогда, «для показа властям». Текст хаотичен, патетических выражений там мало (больше лирических), образ стойкого советского работника размыт картинками голодного быта и жалобами на свою немощь. Н.А. Рибковскому необходимо было приобрести «дефицитные» вещи для отправки жене и дочери, и это сразу же поставило его перед нравственным выбором. Он не очень заботится о репутации и иногда без стеснения пишет о том, что получает продукты, недоступные другим. Но тут иное дело: надо не ждать, когда окажут помощь, а прямо просить, требовать и при этом «ловчить». Поступать так он не хочет: «Конечно, можно быстро купить, по „блату“ через знакомых, но это не в моем духе. Неприятно даже слышать, когда говорят: вот достал, тотто устроил по, блату“». Есть и у него та граница, переступить которую он не станет: «Не хорошо, не честно»<sup>1667</sup>.

Положение обязывает. Один из подростков, единственный «кормилец» в семье, на просьбу матери не записываться в народное ополчение ответил: «...Я же комсомолец. Я не могу оставаться»<sup>1668</sup>. Вступление в ВЛКСМ вообще налагало на юношей и девушек ряд моральных обязательств, о которых им не однажды напоминали. «Вступая в комсомол, ты писал, что хочешь заменить брата, но ты не выполняешь того, что выполнял твой брат», – упрекали на собрании членов ВЛКСМ завода № 5 одного из комсомольцев<sup>1669</sup>.

Знакомясь с протоколами собраний ВЛКСМ, замечаешь, что обвиненные в недостойном поведении комсомольцы всегда оправдывались, но не протестовали, когда их порицали за нарушение устава. Даже описания блокадных ужасов, помешавших выполнить свой долг, не очень драматизированы. Комсомольцы готовы признать свою вину, невзирая на обстоятельства, и как можно быстрее исправить допущенные промахи. «Мое отсутствие на работе, а также и отсутствие других связано с трудным периодом января – марта месяца, когда приходилось спешить домой, и чувствовала я себя не совсем здоровой. В настоящий момент все эти трудности пережиты и нам, комсомольцам, необходимо включаться в работу», –

<sup>1663</sup> Память о блокаде. С. 111.

<sup>1664</sup> Там же.

<sup>1665</sup> Боровикова А.Н. Дневник. 15 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 90.

<sup>1666</sup> Григорьев А.М. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 413.

<sup>1667</sup> Запись в дневнике Н.А. Рибковского цит. по: Козлова Н. Советские люди. С. 266.

<sup>1668</sup> Запись рассказа И. Синельниковой цит. по: Разумовский Л. Дети блокады. С. 53.

<sup>1669</sup> Протокол собрания членов ВЛКСМ завода № 5 НКСП: ЦГАИПД СПб. Ф. К-118. Оп. 1. Д. 79. Л. 94.

оправдывалась на собрании членов ВЛКСМ завода «Красная Бавария» одна из комсомолок, словно не было в этот «трудный период» заваленных трупами улиц и домов и ползущих по земле людей, не имевших сил подняться<sup>1670</sup>.

Можно предположить, что эти покаяния отчасти являлись и следствием давления извне. Исключение из рядов ВЛКСМ заставляло многих чувствовать свою неполноценность и могло грозить неприятностями, иногда и весьма серьезными. Комсомольская дисциплина представлялась такой же обязательной и не допускающей прекословий, как дисциплина трудовая, школьная и студенческая. Обусловленная политической и идеологической дисциплиной своего времени, она и не могла быть иной.

Мы до конца так и не узнаем, являлось ли добровольным или вынужденным признание комсомольцами своего высокого политического и, следовательно, морального статуса. Документы, рассказывающие об этом, в большей степени, нежели другие источники, несут на себе сильный отпечаток мифологии советской эпохи. Но это признание тоже имело особый смысл. Оно упрочало канон поведения во время катастроф. Это не то, над чем стоит размышлять, а то, что надо выполнять беспрекословно. Едва ли все соблюдали его, но отступление от правил сопровождалось покаяниями, извинениями, объяснениями, обещаниями – а в блокадных условиях это было немало.

#### 4

Положение обязывает. А.С. Берман была назначена 6 декабря 1941 г. контролером по учету и выдаче продовольственных, хлебных и промтоварных «карточек». «На эту работу райком отбирал самых стойких и проверенных людей» – она явно гордится таким выбором. Она сама голодает и знает, что такое лишиться последнего куска хлеба. Она с честью выполнит свой долг: «Мы приставлены к величайшим ценностям – нам доверили беречь каждый грамм хлеба, распределять продкарточки»<sup>1671</sup>. Она знает, что кто-то «ловчит с чужими карточками и талонами и дошел до грани морального падения». Она на это не пойдет и недаром райком отобрал ее как наиболее честную: она готова полностью оправдать его характеристику.

Сотрудники продбюро кричат на посетителей и это происходит «в голодном то Ленинграде» – она возмущена. Она составила акт о махинациях с «карточками» в одном из домохозяйств, но начальница учетного бюро потребовала не делать из мелочей проблему. Какая же это мелочь? «Я борюсь за каждый грамм хлеба, а когда обнаруживаю украденный у голодающего населения грамм, расценивая это как мародерство на фронте. Иначе не могу, и не буду, если это даже кое-кому не нравится»<sup>1672</sup>.

Ей трудно, будучи истощенной, подниматься по лестницам бесчисленных чужих домов во время проверок заявлений об утрате «карточек». Она боится отойти от перил, останавливается на каждом этаже. Может быть, не нужно этим заниматься столь дотошно – нет, «иначе нельзя: ведь на учете каждый грамм хлеба».

То, что она встретила в первой же квартире, ошеломило ее: «...Все восемь человек – члены рабочей семьи – умирают от дистрофии. Карточки потеряли». Скорее всего, они не молчали – излишне говорить, какие бездны горя они могли раскрыть перед той, от которой зависела их жизнь. Милосердие А.С. Берман – не милосердие напоказ, не отчет перед

---

<sup>1670</sup> Протокол собрания членов ВЛКСМ завода «Красная Бавария» 14 мая 1942 г.: Там же. Л. 12, 12 об. Ср. с оправданиями комсомолки, которой грозило исключение из ВЛКСМ за неуплату взносов в течение трех месяцев: «Я не платила, так как у меня вытащили карточки и я теперь очень нуждаюсь, я болела... Я получу завтра деньги, уплачу взносы полностью» (Протокол собрания членов ВЛКСМ завода «Ленинская искра». 12 августа 1942 г.: Там же. Л. 33–34).

<sup>1671</sup> Берман А.С. Дневник. Цит. по: Будни подвига. С. 110 (Запись 9 декабря 1941 г.).

<sup>1672</sup> Там же. С. 179 (Запись 7 августа 1942 г.).

теми, кто давал ей столь лестные для нее оценки. Пришло время на деле показать, что она их достойна и рассказ А.С. Берман лишается присущего ей пафоса. Быстрота, с которой это происходит, – еще одно свидетельство ее искренности. Мелкие бытовые детали, приведенные ею, не затемняют и не запутывают описание и обнаруживают мотивы действий в их кристальной чистоте. «Форма содержательна, содержание формально» – говорил Гегель. Патетичная форма, посредством которой нам представлен образ исключительно честного человека, соответствует патетике его поступка. «Пошла в столовую и выпросила по своим талонам за вторую декаду три тарелки супа и принесла в стеклянной банке. Но хлеба у меня не было, потому что вперед не дают, а сегодняшнюю норму я... съела» – если нужно говорить о самых ярких свидетельствах человеческого сострадания, то вот одно из них, скромное, выраженное без рисовки и с трогательными оправданиями<sup>1673</sup>. Может быть, позднее ей не удалось быть столь щедрой, но вот оно, первое движение откликнувшейся на бедствия несчастных людей – без расчетов, без оговорок.

Положение обязывает. Г.А. Князев (и чаще всего именно он) писал о моральном долге интеллигенции. Кому, как не ей, хранительнице нравственных заповедей, необходимо достойно перенести это суровое испытание – он и сам старается соблюдать при встречах с людьми «предупредительность, мягкость, чтобы легче было»<sup>1674</sup>. Можно сколь угодно часто ссылаться на факты духовного распада интеллигентов – некоторые считали, что именно среди них и обнаруживался отчетливее всего упадок воли. Но отметим, что в сотнях блокадных документов, оставленных ими, ощущение своей личности прослеживается весьма явно. Кто-то поднял упавшего человека, кто-то поделился хлебом, кто-то утешил, помог перенести вещи – нет при этом тщеславного самолюбования, но есть твердая уверенность, что иначе интеллигент поступить не имеет права. Да и не мог он не чувствовать взгляда чужих людей, обычно выделяющих его среди других, ожидающих от него поддержки, передающих с недоумением и удивлением слухи о его моральных прегрешениях. Д. Шостакович, много раз отказывавшийся уезжать из Ленинграда, дежуривший на крышах, и лишь позднее неохотно подчинившийся «правительственному решению»<sup>1675</sup>, стал одним из символов блокадного города отчасти и потому, что каждый его шаг пристальнее всего сравнивали с нравственными эталонами.

Подчеркивание своего статуса обуславливалось еще и тем, что ссылаясь на него, оказавшиеся на дне блокады люди могли увереннее просить о помощи или воспринимать ее как должное. О.Р. Пето поведала такую историю. На улице она встретила мальчика, еле бредущего, с «неподвижным», безучастным лицом. «На вопрос – как звать – мальчик что-то невнятно бормочет. „Голоден, – внезапно и со злобой. – Чего спрашиваешь – не накормишь“»<sup>1676</sup>. Узнав, что она обещает дать еду, пошел за ней. Явно не верит ей, но другого выхода нет – идет молча, ни о чем не спрашивает. Путь был неблизким, и он начинал понимать, что дело не ограничится лишь выражением сочувствия – не поведут же ради этого так далеко.

«Внезапно останавливается, придерживая меня за рукав. „Подожди, тетя, я тебе все расскажу. Вовой меня звать“»<sup>1677</sup>.

Он не оборванец, не вор, он не виноват, что стал таким – грязным, опустившимся, выпрашивающим хлебные крошки. Он из приличной семьи. Он даже показал ей семейную фотографию, которую хранил завернутой в несколько бумажек. Может, и носил ее с собой

<sup>1673</sup> Там же. С. 111 (Запись 10 декабря 1941 г.).

<sup>1674</sup> Цит. по: *Адамович АГранин Д.* Блокадная книга. С. 52.

<sup>1675</sup> *Солсбери Т.* 900 дней. С. 294.

<sup>1676</sup> *Пето О.Р.* Дети Ленинграда: ОР. РНБ. Ф. 1273. Л. 10.

<sup>1677</sup> Там же. Л. 10 об.

потому, что чувствовал на каждом шагу пренебрежение к себе и никак не хотел с этим свыкнуться. У него отец на фронте, мать умерла от голода, сестра в больнице. «Карточки» украли, обокрали комнату, на новый месяц «карточек» не дали.

«Рассказывая, Володя грязным рукавом вытирал слезы. „Только поверь, тетя, – ни разу ничего не украл“», – никак не мог остановиться, и долго пришлось его успокаивать<sup>1678</sup>.

И такое случалось не раз. В. Инбер встретила в больнице, забитой «живыми трупами», рабочего. «Он еле шевелит языком и повторяет одну фразу: „Семнадцать лет... семнадцать лет на производстве“»<sup>1679</sup>. Политорганизатор Е. Шарыпина, разыскивая ослабевших рабочих, в одной из квартир встретила изможденную женщину, потерявшую «карточки». Подробно объясняла ей, как их «восстановить» и утратившая последние надежды женщина оживилась: «Я работала в „Швейнике“... Гимнастерки шила... Норму перевыполняла»<sup>1680</sup>. Трудилась для нужд фронта и изо всех сил, и кому, как не ей, надо помочь – нет, не зря пришла к ней политорганизатор, не зря заботятся о ней, она это заслужила.

Расскажем и еще об одном случае. Члены комсомольского бытового отряда Октябрьского района обнаружили 18 марта 1942 г. в одной из комнат неподвижно лежащего человека. «Мы сказали, что пришли ему помочь. Он не поверил. Безмолвно и недоверчиво следил за нами». Подозрительность беспомощного блокадника объяснима: чувствуя, что не может постоять за себя, он, вероятно, любое вторжение в свое жилище оценивал как угрозу. Бойцы отряда убрали комнату, вымыли его и забинтовали ноги, согрели чай – и его словно провало: «Человек заговорил... Он радист, работал, боролся до последнего, пока совершенно не обессилел»<sup>1681</sup>.

Нельзя было в одночасье снять грязный ватник, найти лучшую одежду, встать, прибрать квартиру, вымыться – но люди здесь же уверяли, что они не такие, они лучше. И уверяли, кто как мог, – ссылками на свое образцовое поведение, на то, что они из хорошей семьи, что они самоотверженно работали до последней минуты. Все здесь было, и понимание того, что нравственные добродетели должны оцениваться по достоинству, и представление о том, какими обязаны быть эти добродетели, – ожидание помощи как награды вело тем самым и к осознанию ценности моральных правил.

## Дневники и письма

### 1

Едва ли мы сможем точно определить, какую роль играли дневники и письма в упрочении стойкости ленинградцев в годы войны. Многое зависело от нравственной интуиции, понимания того, как мелкие трещины приводят к катастрофическим разломам от устойчивости приобретенных прежде навыков самоконтроля и длительности их формирования. Люди вели дневники – в силу привычки, усвоения чужих традиций, настойчивых советов, наконец, как средство заглушить тоску и чувство голода. Эти записи были попытками рассказать другим о своем самопожертвовании, о том, что пришлось пережить в блокадном аду – и этим, в частности, заслужить признание не только родных и близких. Дневники иногда использовали как хозяйственную записную книжку, где инвентаризовали и различные пайки и неожиданные подарки, где производились расчеты, позволявшие узнать, хватит ли продуктов на предстоящую декаду. То же следует сказать и о письмах – они, помимо про-

---

<sup>1678</sup> Там же.

<sup>1679</sup> *Инбер В.* Почти три года. С. 176.

<sup>1680</sup> *Шарыпина Е.* За жизнь и победу. С. 144.

<sup>1681</sup> Там же.

чего, содержали и просьбы о помощи, позволяли сохранять надежду на получение посылок, правда, зачастую беспочвенную.

Блокадники весьма скупо писали о причинах, побуждавших их вести дневник – вероятно, и в силу давности этой традиции, избавлявшей их от необходимости оставлять подробные объяснения. Драматичное блокадное время, конечно, заставляло их более подробно оттенять реалии эпохи: упражнения в самоанализе неизбежно уходили на второй план. Отбор сюжетов для дневника, как справедливо отмечал Э.А. Шубин, влияли и на содержание записей<sup>1682</sup>. О том, чтобы изначально создавать героические повести об отпоре врагу, заботились немногие. Будущее являлось неясным, а сам подвиг во всей полноте мог быть оценен только позднее. Некоторые дневники содержат предупреждение для читателя – там больше извинений, чем пафосных обещаний. Просили прощения за скучные и ненужные подробности, за хаотичность и фрагментарность впечатлений. Записи хотя и сумбурные, но честные – оправдывались и этим<sup>1683</sup>.

«Я вот здесь пишу сейчас все, что придет в голову» – это признание Т.А. Кононовой<sup>1684</sup> могли бы повторить и десятки других авторов дневников, которые обычно не разделяли описанные ими случаи на важные или незначительные. Она же бесхитростно сообщает, что составление дневника помогало ей отвлекаться от тяжелых мыслей; о том же говорили и другие блокадники<sup>1685</sup>. И, разумеется, не последним доводом в пользу ведения дневника было то, что он воспринимался как элемент самоконтроля. Говоря о своем дневнике, представленном в виде писем некоему «другу», Э. Левина отмечала: «Беседы с вами – постоянный контроль над собой»<sup>1686</sup>. Не все готовы были это признать ясно и твердо, но заметим, как много в этих, казалось бы, интимных записях самокритичных признаний, извинений, обещаний, разборов щепетильных житейских ситуаций, в которых приходится делать трудный выбор.

Патетическая форма, в которую обычно облачаются такие записи, в силу присущей им эмоциональности, быстрее способствует закреплению нравственных правил. Патетический язык – это язык цивилизации, а не распада, его клише отражают устоявшиеся традиции и навыки. Знание, повторение, заучивание такого языка тоже есть средство против одичания человека. Патетические вкрапления нередко отделены от «фактического» текста с цифрами, сведениями, описаниями реальных историй. Патетическое словно «приподнимает» человека, отвлекает его от рутины блокадного быта, где нравственных заповедей придерживаться значительно труднее. Патетическое – способ вписать определенное и наглядное свои поступки в общепризнанный канон «правильного» поведения. Архитектор А.С. Никольский намеренно показывал другому человеку запись, сделанную в дневнике 22 января 1942 г.: «Кругом люди слабеют и мрут... Но сдавать город нельзя. ...Я твердо верю в скорое снятие блокады и начал думать о проекте триумфальных арок для встречи героев – войск, освободивший Ленинград»<sup>1687</sup>. И все записи в его дневнике будут такими. Их можно будет варьировать, снижать или повышать их тон, перемежать со скорбными деталями блокады – но остов их останется прежним, их не стыдно показывать другим, ими можно гордиться.

Кому показывать? Людям близким, друзьям, знающим его, способным сравнить его высокие идеалы с теми, какие действительно присущи ему в жизни. Какой смысл представлять себя в дневнике порядочным человеком, если все окружающие знают его истинную

<sup>1682</sup> Шубин Э.А. Блокадные дневники писателей // Литературный Ленинград в дни блокады. М., 1973. С. 269.

<sup>1683</sup> Из дневников Г.А. Князева. С. 23 (Запись 10 сентября 1941 г.); Никулин А.П. Дневник. 14 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 48. Л. 26.

<sup>1684</sup> Кононова Т.А. Осажденный город Ленинград: ОР РНБ. Ф. 1273. Д.1.Л. 6.

<sup>1685</sup> Мансветова Н.В. Воспоминания о моей работе в годы войны. С. 357; Мухина Е. Дневник. 3 апреля 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 94.

<sup>1686</sup> Левина Э. Письма к другу. С. 204.

<sup>1687</sup> Учитель Е. Две встречи // Девятьсот дней. С. 155.

цену. С целью маскировки? Но ведь и она препятствует разгулу низменных страстей: от чего-то воздерживаются, что-то делают менее вызывающим и жестоким. Чем больше человек говорит о себе, как о героическом блокаднике, тем больше мостов он сжигает за собой: даже в минуту отчаяния и слабости ему нужно каяться, а не оправдываться.

## 2

Патетические вкрапления в текстах дневников и писем имели различное происхождение. Патетика неизбежно присутствовала в предисловиях к дневникам – тем самым задавая тон и определяя сценарий многих записей. Она возникает и как отклик на публикуемые сообщения о героях-ленинградцах – в ней повторяется присущий прессе эмоционально-пафосный настрой. К патетике обращаются и в тех случаях, когда необходимо отнести себя к числу наиболее стойких горожан, когда ощущают свое добытое немалым трудом право говорить от имени других. «Враг отступает... Так будем крепиться дальше, товарищи, осталось недолго... Пусть знает враг – ленинградец лучше умрет с голода, чем сдастся врагу» – это не призыв, прозвучавший на митинге, это запись, сделанная для себя в дневнике А.С. Уманской 19 декабря 1941 г.<sup>1688</sup> В дневнике А. Лепковича, не призванного в армию по состоянию здоровья, встречаем почти такую же агитационную речь: «Мы, инвалиды и труженики тылового фронта, будем переносить все страдания, все невзгоды... Умрем, поползем на четырех (на карачках), но не сдадимся»<sup>1689</sup>. Это местоимение «мы» придает его утверждениям большую ответственность. Быть героем оказывается не столько правом, сколько обязанностью – инерция слова, произнесенного жестко и убежденно, делает трудными последующие оговорки и отступления.

Вообще любое действие, необычное, призванное нагляднее и ярче подчеркнуть героизм и оптимизм, имеет по преимуществу патетический оттенок: форма подчиняет себе содержание. Домашняя газета – своеобразный открытый дневник – издавалась школьником Ю. Звездиным не для того, чтобы сеять пессимизм – и вот содержание помещенной в ней заметки с примечательным названием «Мы не унываем»: «13 [ноября 1941 г.] ввели новые нормы на хлеб. Несмотря на их уменьшение, вся семья спокойно встретила это известие. Мама говорит: «Мы не будем впадать в уныние. Мы терпеливо преодолеем все трудности». И слова не расходятся с жизнью: хлеб растягиваем на весь день»<sup>1690</sup>. Это не средство самовнушения, а отчетливо осознаваемая публичная демонстрация выдержки. Все лишнее – подробности, сомнения – убрано. Слова явно не отражают драматизма происходящего, да этого от них и не требуют: стойкости должно быть свойственно спокойствие, а не крик.

В частных письмах обычно патетические ноты звучат более приглушенно. Письмо не может полностью превратиться в агитационную статью: эпистолярный жанр имеет свои законы. Бывают и исключения – но и они характерны. Пафосные восклицания в письме М.Д. Тушинского Т.М. Вечесловой («Великая Родина, Государство Великого Народа, создавшего такие ценности, себя отстоит – воскреснет»<sup>1691</sup>) вообще обусловлена спецификой языка этого горячего поклонника театра, которому присущи именно возвышенные слова: «Я пишу любимому руководителю удивительного коллектива»<sup>1692</sup>. Но в прозаичных письмах патетические вкрапления в ряде случаев меньше могут ощущаться как нечто инородное и искусственное.

<sup>1688</sup> Уманская А.С. Дневник: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 72. Л. 39. Этот язык является доминирующим и во всем ее дневнике. См., например, запись 20 октября 1941 г.: «Я вообще не падаю духом и не хнычу. Все можно перенести во имя победы над врагом» (Там же. Л. 30).

<sup>1689</sup> Лепкович А. Дневник. 12 декабря 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 5 об.-6.

<sup>1690</sup> Цит. по: Буров А.В. Блокада день за днем. С. 84.

<sup>1691</sup> М.Д. Тушинский – Т.М. Вечесловой. 12–15 октября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 4 об.

<sup>1692</sup> Там же.



В письме М.Ю. Конисской И.В. Щегловой оптимистической фразе предшествует довольно подробный перечень постигших ее бед и потому «бодрая» концовка выглядит вполне естественной. В ней нет ложной велеречивости и экзальтации: «...Про себя могу сказать, что я совсем не унываю и верю в светлое будущее»<sup>1693</sup>.

Независимо от того, какой степенью эмоциональности обладал тот или иной жест авторов писем, его яркость неизбежно должна соотноситься с нравственными ценностями. Обычно патетическое – это концовка, итог рассказа. Обилие мелких подробностей и отвлечений способно запутать и адресатов, и самого автора – но заключительный вывод должен быть сформулирован четко и недвусмысленно<sup>1694</sup>. Это способ прямо заглянуть в себя, минуя рутину повседневных дел. Патетическое, возвышенное – вот те одеяния, в которых невозможно представить слабых духом людей. Примеряя их на себя, человек тем самым давал и обещания. Они не всегда могли быть исполнены, но их нельзя было обойти и не заметить.

### 3

В некоторых дневниках и письмах мы обнаруживаем предельную сгущенность всего «правильного» – оценок, поступков, самохарактеристик – словно они специально созданы для показа другим людям. Как это ни покажется странным, такие записи чаще принадлежали тем, кто мог лучше питаться в силу своего положения. Традиционное чувство благодарности, заставлявшее не единожды говорить о благодеянии, здесь значительно усилено. Еще и еще раз старались доказать, что ценят заботу о себе, что неизмеримо признательны за нее. Будто ожидали, что кто-то из власти имущих обязательно заглянет в этот дневник или прочтет это письмо – и удостоверится, что не зря была оказана им помощь, что они заслужили ее. Искреннее выражение политической лояльности, даже высказанное только в личном дневнике или лишь в частных письмах своим близким, давало, хотя бы и иллюзорное, ощущение устойчивости в настоящем и уверенности в будущем. И оно с радостью подкреплялось возможностью сообщить новые свидетельства о том, как их ценят и оберегают, как справедлива и гуманна Советская власть.

Кажущаяся излишней и фальшивой политизация блокадных документов имела, однако, несомненное достоинство. Она позволяла логично и последовательно выстраивать каноны своего поведения в соответствии с нормами коммунистической морали и политической дисциплины, которые унаследовали многие черты традиционной этики. Управляющий промкомбинатом Октябрьского района свой январский дневник 1942 г. озаглавил так: «Большевики – люди особого склада. Беглые заметки из жизни в непобежденном Ленинграде Никулина А.П.»<sup>1695</sup>. Это, несомненно, сразу определило особый тон повествования – мы увидим это на следующей странице дневника: «Я солдат революции, отдавший все свои силы служению своей матери родине, своему народу, наконец, я убежденный марксист-ленинец-сталинец... Я не отчаиваюсь, я не чувствую обреченности, нет, я борец, я большевик, на колени не встану... Я не сдаюсь»<sup>1696</sup>.

<sup>1693</sup> М.Ю. Конисская – И.В. Щегловой. 15 декабря 1941 г. // История Петербурга. 2006. № 6. С. 77. Ср. с записью в дневнике В. Кулябко 24 декабря 1941 г.: «Да, голод на все наложил свою властную руку. Но мне необходимо во что бы то ни стало перенести все это, пережить, чтобы увидеть своих, увидеть освобождение своей родины» (*Кулябко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 242).

<sup>1694</sup> Характерным в этом отношении является письмо В.С. Люблинского А.Д. Люблинской: «За последний месяц общее военное положение осложнилось... Воображаю, как последние недели были тягостны и тревожны для вас. Не унывайте, родные сестрички, и не

<sup>1695</sup> *Никулин А.П.* Дневник. 10 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 82. Л. 1.

<sup>1696</sup> падайте духом. Нужно еще немало терпения, выдержки и спокойствия. Ленинград этими свойствами обладает – и кроме того, непреклонной решимостью бороться. И эта последняя (решимость) разлита по всей

Написано это было в то время, когда тысячи людей умирали от голода и может показаться удивительным нарочитая отстраненность от «злости дня». Но первая запись появилась в дневнике 10 января 1942 г., в самые страшные дни – и, вероятно, не случайно. Стремление максимально воспользоваться риторическими средствами не может порицаться. Он выбрал язык, точно отражающий его настрой и его решимость не отступить. Такой язык задает целую программу поведения: он ясен и не отягощен многословными рассуждениями, ослабляющими способность к сопротивлению. Язык – суть этого человека, и, возможно, нечто, цементирующее его волю. Постоянные риторические упражнения становятся средством поддержания силы духа. «...Нет уныния, нет испуга, нет обреченности. Поступь тверда, шаг уверенный, хозяйский... Горожане испытывают величайшие трудности, но город живет, город борется, город героев здравствует»<sup>1697</sup> – такая тональность характерна и для других записей. Уникальная даже для этого дневника запись 21 января 1942 г. является не только свидетельством самоконформизации, но и средством проверки на стойкость. Выдержит ли он? «Сегодня день смерти „величайшего из великих“ В.И. Ленина. Дело Ленина живет. Дело Ленина победит. Быть ленинцем это значит любить социалистическую] родину, драться за нее не щадя жизни. Сейчас нас ведет [здесь его почерк становится трудночитаемым. – С. Я.] Сталин, под его руководством мы победим. Писать нет освещения»<sup>1698</sup>.

Никаких других записей в это день он не сделал. Он целеустремленно создает образ твердокаменного большевика в его почти что утрированном виде. Знание прописей политграммоты, очевидно, способствует этому. В каждой дневниковой записи настойчиво повторяются одни и те же клише. Кодекс примерного поведения, соотнесенный с собственными поступками, становится незыблемым. Он и самые страшные эпизоды блокады пытается отразить этим же языком: «...Видал сам, как сначала пошатывался мужчина, а потом упал... Недоедание сломило недюжинные силы богатыря. Падая, он протянул руку вперед и этим как бы сказал: „Даже умирая, падаю не назад, а вперед головой! Умираю не как трус, а как борец, но до полной победы над врагом силы у меня не хватило“»<sup>1699</sup>.

Патетика фразы способна вызвать у иных очевидцев блокады и ощущение неловкости<sup>1700</sup>, но она искупается несомненным и глубоким чувством сострадания, которое не тускнеет даже при передаче его таким языком. Ткань бюрократической речи рвется, когда он описывает увиденную в морге замерзшую женщину с ребенком: «Ее надорванные силы матери и гражданина не выдержали» – да, можно было бы сказать и проще, но искренность таких горестных строк в подтверждении не нуждается. И подчеркивая трагичность этой сцены, он все же находит слова другие, щемящие и трогательные: «...И она с поникшей головой любящей матери склонилась над своим родным и милым ребенком, но, как и сама, недвижимым и холодным»<sup>1701</sup>.

Патетическое не существует лишь в «очищенном» от житейских деталей виде. Оно обуславливает и эти прорывы в официозном языке. Экзальтация не может быть до конца скована холодной риторикой – она побуждает более остро, непосредственно и ярко отражать сострадание, горе, боль. Можно говорить об односторонности оптимистических записей: картины блокады не исчерпываются только проявлениями стойкости. Дневник секре-

<sup>1697</sup> Никулин А.П. Дневник. 13 января 1942 г.: Там же. Л. 22–23.

<sup>1698</sup> Там же. Л. 50.

<sup>1699</sup> Никулин А.П. Дневник. 14 января 1942 г.: Там же. Л. 30.

<sup>1700</sup> См. воспоминания В.Г. Даева: «Образ падающего от голода ленинградца часто используется в художественной литературе. К сожалению, иногда <...> заставляют их делать какие-то театральные движения, раскидывать руки, произносить высокие слова... Все гораздо проще. Ослабевший человек перед тем, как упасть, пытается подойти к какой-то опоре... Может он упасть и на середине улицы, но только в том случае, если предварительно поскользнется или споткнется» (Даев В.Г. Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 100).

<sup>1701</sup> Никулин А.П. Дневник. 14 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 82. Л. 32.

таря парткома фабрики «Рабочий» Е.М. Глазмицкой, подробно цитируемый М.А. Бочавер, сплошь заполнен примерами трудовых успехов, бодрости и несгибаемости горожан<sup>1702</sup>. Есть и другие образцы, достаточно посмотреть стенограммы сообщений партийных работников, составленные в 1944–1945 гг.<sup>1703</sup>. В письмах помощника коменданта ж.д. узлов А.Г. Белякова жене С.А. Беляковой много такого, что кажется привычным увидеть скорее в агитационной статье, чем в частной переписке. Особенно примечателен здесь подбор пафосных восклицаний – редкое письмо обходится без них. Даже асфальтирование проспекта, по его мнению, говорит «о большой силе русского народа»; встречается выражение «Великий Город-Воин» – именно так, каждое слово с заглавной буквы<sup>1704</sup>. Конечно, здесь есть оглядка на военную цензуру, но, возможно, она и делала нравственные обязательства, содержащиеся в письмах, более частыми и менее размытыми.

Но акцент на героическом и только на героическом имел и нравственный смысл. Из сотен деталей блокады выбирается то, что с особой полнотой соответствует этике – советской, партийной, традиционной. Мысль автора в этом случае прямолинейна, он может позволить себе не касаться тех бытовых происшествий, где выглядит не очень привлекательно. Ему не надо опускаться до унижительных оправданий, указующих на его слабости. И сосредоточенность лишь на патетическом – яркое самовоспитывающее действие, поскольку она предполагает описание не столько самого события, сколько отношения к нему.

#### 4

Патетизация дневников – явление все же редкое. Оно требовало умения, специфического настроения и определенного уровня политической культуры. Обычно дневник вели для того, чтобы отразить многообразие блокадной жизни, и где, как не здесь, имелась возможность сказать не только о хлебе насущном. Записи о посещении театра или концерта, о книгах и стихах, которые читали или сочиняли сами, мы непременно найдем в дневниках и письмах с лирическими и эмоциональными комментариями и отступлениями<sup>1705</sup>, может быть даже и не чуждыми рисовке. Это о куске хлеба часто говорят с прозаичной будничностью. В рассказах же о посещении театра или концертов чувствуется понимание необычности поступка – его особо выделяют, подчеркивают, сколь много он значит для зрителя и как он терпит при этом голод и холод.

Неудивительно поэтому и встретить письма с нравственными наставлениями. Их не так уж много, но каждое из них можно оценить не только как урок для других, но и как заповедь для себя. Целая серия назидательных писем принадлежит Ю. Бодунову – подростку, умершему от голода в феврале 1942 г. Одно из них, отправленное родным 16 декабря 1941 г. из Ленинграда, – соединение обычных житейских увещаний (несколько непривычных своей обстоятельностью для юноши) и закрепленных школой стереотипных героических символов. Наставления обязательно предполагают ссылки на собственный опыт стойкости – без этого нет уверенности в силе моральных поучений и приемлемости «бытовых» советов. Тон письма излучает благожелательность, терпение и понимание. Закрепленные ранее нравственные навыки подтверждались им еще раз, хотя голод и вытравливал в это время все человеческое: «Люся! Я советую тебе заниматься дома самой – книги у тебя есть. Читай их,

<sup>1702</sup> Бочавер М. А. Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7.

<sup>1703</sup> ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10.

<sup>1704</sup> Фрагменты блокадных писем А.Г. Белякова // Нева. 2002. № 9. С. 222.

<sup>1705</sup> Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2 С. 240 (Запись 20 декабря 1941 г.); Мухина Е. Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 41, 62 об.; Злотникова Б. Дневник. 7 ноября 1941 г.: Там же. Д. 40. Л. 9 об.; Коган Л.П. Дневник. 10 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1035. Д. 1. Л. 7 об.; Кок Т.М. Дневник. 29 декабря 1941 г. – 1 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 48. Л. 29 об.

разбирай, составляй конспекты... Помогайте маме. И еще раз советую вам не лить зря слез. Это очень плохо, когда человек, встречая на своем пути трудности, отступает перед ними. Не надо падать духом! Мы и то не падаем духом, а ведь нам больше лишений приходится переносить. Ты пишешь в своем письме, что вам приносят сметану, картошку, капусту, а мы все это-то только во сне едим. Но мы переносим все это: никто ни разу не плакал у нас. Вот кончится все это – тогда заживем еще лучше, чем до этого. Сейчас же надо работать, учиться, а не унывать. Еще ты пишешь, что когда тетя Ньюша надела лапти, то вы заплакали – а это нехорошо. Конечно, вы плохо сделали, что не взяли обуви – но ведь тогда вы собирались так быстро... Вот мне так приходится учить уроки при свечке, потому что стекол нет, а окна забиты фанерой – и ничего, учусь. Вспомни, Люся, как учился Киров и Горький и ты увидишь, что у них было больше трудностей, а они их всегда, не унывая, побеждали. Вот я беру с них пример и ты также бери с них пример»<sup>1706</sup>.

Могут сказать, что он повторяет бесхитростные семейные и школьные уроки, но в любом случае это выглядит как личная импровизация. Он не только наставляет – он самостоятельно подбирает слова, определяет, в каком месте их тон должен быть поучительным, директивным или пафосным. Он должен убедить – а как это сделать без яркости, горячности и исповедальности ответов? Он использует весь арсенал своих весьма простых утешений, – и тем самым вновь перечисляет азы этики, отстаивает их, обнаруживает их актуальность и силу.

Наставления не всегда были заранее обдуманной риторической декламацией. Они возникали часто стихийно как отклик на житейские невзгоды родных, о которых узнавали из писем, как средство успокоить и обнадежить их ввиду плохих новостей с фронта. Письма детям и подросткам по содержанию оказывались близкими к назидательным притчам; так, эпистолярной Ю. Бодунова в чем-то похожи на письма, отправленные В. Мальцевым сестре<sup>1707</sup>. Наставления во многих случаях вообще сводились к традиционным пожеланиям, обычно содержащимся в конце писем – но и они в какой-то мере поддерживали нравственный канон<sup>1708</sup>.

## 5

Среди разнообразных сведений, отмеченных в дневниках и письмах, мы нередко находим и сообщения о том, как помогали родным, друзьям и просто малознакомым людям. Иногда отмечается и цена подарка. Не стесняясь, говорили и о том, каким трудным являлся этот шаг, сколь важна была эта помощь – тем самым подчеркивалась гордость за то, что не прошли мимо них. Попутно говорилось и о других, кто также помогал попавшим в беду блокадникам – упрочалось понимание того, что сердобольный человек не одинок в выражении сочувствия пострадавшим.

Это не инвентарная опись подаренных вещей и продуктов. Каждый благородный поступок обрастает подробностями, обсуждается и оценивается как проявление нравственных качеств людей. Человек словно соразмышляет вместе с другими, как ему следует под-

<sup>1706</sup> Ю. Бодунов – родным. 16 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1к. д. 5.

<sup>1707</sup> «Я обещал написать тебе о молодом человеке, которого повстречал в садике во время военных занятий... У него тоже есть сестренка, но гораздо моложе, чем ты. Ему девять лет, а ей семь. Живут они дружно, хотя его сестра очень нехозяйственна. За хлебом ходит, в столовую тоже... Все это приходится делать молодому человеку» (В. Мальцев – И. Мальцевой. 1 мая 1942 г. // Девятьсот дней. С. 271).

<sup>1708</sup> См. фрагменты писем П.И. Рождественского: «Подними, мой сыночек, вопрос перед мамой и тетей Зиной об устройстве елки для наших малышей» (Письмо сыну 14 декабря 1942 г.); «Очень прошу тебя, уделяй внимание малышам и старшим ребятам – побольше внимания» (Письмо жене Т.И. Лейберовой. 22 июля 1942 г.); «Старайся, мой старший сынок, сделать свою жизнь и жизнь своих близких, родных хорошей» (Письмо сыну 27 ноября 1942 г. // Лейберов И.П. Непоследние годы. С. 43).

держат близких – иногда и с нотками отчаяния, не сдерживая своих чувств. Дневник или письмо превращаются в стенограмму рождения и закрепления чувства милосердия. Таковы, например, записи А.С. Никольского, лихорадочно пытавшегося уберечь от смерти жену в самые страшные дни начала января 1942 г.: «Чем кормить Веру?... Вера спит весь день. Сухари все съела. Хлеб есть боится. Ослабела» (запись 1 января 1942 г.); «Вера понемногу ест тощую плитку того, что зовется шоколадом. Боюсь, что это по преимуществу „моральная“ пища... В голове одно: где достать для Веры еду, еду и еду» (запись 2 января 1942 г.)<sup>1709</sup>.

Письмо В.С. Люблинского А.Д. Люблинской 23 января 1942 г. о спасении им библиотекаря ГПБ В.Э. Горонской можно с оговоркой даже назвать новеллой: четко выделены основные сюжетные линии, завязка и развязка истории. В.Э. Горонская, как могла, помогала своим родственникам, и вскоре слегла. «Не имея более ни света, ни дров, ни еды – ни даже последней юбки и туфель – свалилась бессильной, неузнаваемой, черной... не будучи в силах дойти до булочной», – пишет В.С. Люблинский, и мы чувствуем, как усиливается его волнение с каждой строчкой. «Помощи ей не было никакой» – сказав это, нельзя было не взять и на себя обязательств. И он досконально перечисляет все, сделанное им: «Я развил кипучую деятельность, делился с ней кашей и хлебом, несколько раз вытаскивал ее из полного отчаяния, устроил ее дочку в ясли (дело труднейшее)...» Ее отказались принять в стационар – и он совершил, по его словам, «второе чудо»: «Перетащил совершенно ослабевшую Веру Эфоровну на санях в библиотеку»<sup>1710</sup>.

Эта история не просто новость, переданная близким. Это закреплено письменным текстом, ярко и трогательно, и несомненно должно оставить след в сердце рассказчика. Это, возможно, получит одобрительный отклик и со стороны свидетелей, и со стороны родных: не отступил, не бросил, не испугался трудностей. И в записях, где блокадники приводят примеры благодеяний, совершенных по отношению к ним, мы обнаруживаем все ту же картину: отмечены ценность подарка, радость, испытанная теми, кто его получил<sup>1711</sup>. И само перечитывание дневников имело немаловажные последствия: при сравнении разных записей отчетливо становились видны их авторам этапы постепенной деградации<sup>1712</sup>.

## Государственный и общественный контроль

### 1

Сколь бы ни были сильны благородные устремления людей и привитые им навыки сострадания, не все и не всегда были готовы жертвовать собой ради других, помогать им и постоянно заботиться о них. Защита государством и общественными организациями ослабевших блокадников являлась средством не только спасения людей, но и поддержания у них навыков морали.

Ясной программы поддержки сотен тысяч ленинградцев до начала января 1942 г. у руководства города, похоже, не было. Отчасти это произошло потому, что не сразу осознали масштабы катастрофы. Когда их скрывать было невозможно, стали остерегаться нежелательной огласки. И не зря – неизбежно бы возник вопрос о том, кто виноват в случив-

<sup>1709</sup> Никольский А.С. Дневник: ОР РНБ. Ф. 1037. Д. 901. Л. 25.

<sup>1710</sup> В.С. Люблинский – А.Д. Люблинской. 23 января 1942 г. // Публичная библиотека в годы войны. С. 222.

<sup>1711</sup> Ползикова-Рубец К. Они учились в Ленинграде. С. 73 (Дневниковая запись 7 января 1942 г.); Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 20 (Запись 25 февраля 1942 г.).

<sup>1712</sup> «На днях прочитала свой дневник и стало стыдно за себя, до чего в нем все пошло и пусто» (Павлова Е. Из блокадного дневника // Память. Вып. 2. С. 182 (Запись 14 сентября 1941 г.); «Сейчас я перечла опять весь свой дневник... Как я измельчала. Думаю и пишу только о еде, а ведь существуют кроме еды еще масса разных вещей» (Мухина Е. Дневник. 22 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 56).

шемся. Отсюда импровизации и опасения придать общественной инициативе такой размах, который вызвал бы более пристальное внимание в «верхах» к тому, как работают городские власти. Призывы к общественности, нечеткие и осторожные, все же прозвучали в выступлении П.С. Попкова на заседании бюро Ленинградского горкома ВКП(б) 9 января 1942 г. «Надо развить общественную самодеятельность, привлечь население к этому делу. Надо сделать это в каждом районе... Если как следует поднять общественность, советский, партийный и профсоюзный актив, то это сохранит очень блокадникам жизнь»<sup>1713</sup>. Заведующий отделом торговли Ленгорисполкома И.А. Андреенко высказался даже более определенно и резко, дав понять, как он видит это «привлечение»: «Надо заставить работать общественность»<sup>1714</sup>.

Приемы подобного «расковывания» инициативы масс были опробованы в многочисленных агитационных и производственных кампаниях 1930-х гг. Общественности отводили роль статиста: по команде она должна была имитировать «активность», по команде же и прекращать ее. Любые не одобренные властями действия (особенно коллективные) по спасению людей казались подозрительными. Надежнее было бы «заставить» и еще лучше, если бы этим занялся прежде всего «актив».

Речь шла не только о гуманности. Утрата представлений о цивилизации вела к хаосу и делала немислимым установление элементарного правопорядка. Усиление помощи блокадникам во многом происходило своеобразным явочным порядком, по мере расширения масштабов ленинградской трагедии и часто без понуканий, в силу исполнения своего долга и взятых на себя обязательств. Целью парторганизаций являлась помощь ослабевшим коммунистам – и ее оказывали, насколько это было возможно. Как вспоминал секретарь молокозавода № 1 М.С. Краснов, у одной из коммунисток «муж... был на фронте, она была в очень тяжелом положении, заболела, у нее трое ребят. Мы решили по линии партийного бюро привезти ее на завод с ребятами в помещение комитета комсомола, где она прожила в течение месяца... Мы прикрепили к ней двух коммунистов, которые ухаживали за ней и помогли ей встать на ноги»<sup>1715</sup>. «Ухаживать» – это ведь не то же самое, что выполнить одноразовое партийное поручение. Здесь потребна немалая толика терпения, сострадания, доброты. И разве то, что ей дали комнату комитета комсомола, случайно? Возможно, там было теплее, чем в других местах. Тот же М.С. Краснов сообщал, как коммунисты, поддерживая ослабевшую женщину с двумя детьми, приносили ей с молокозавода «отходы от производства»<sup>1716</sup> – как это похоже на действия тысяч людей, спасавших таким же образом своих родных.

А.И. Кочетова писала матери, что комсомольская организация помогла ей восстановиться на работе, ввиду ее тяжелого положения – и это должно быть отмечено<sup>1717</sup>. Даже пионеры, следуя традициям тимуровского движения, разносили по домам письма<sup>1718</sup>.

Э. Соловьева, бравшая для дочери дополнительные продукты из детсада, вспоминала о разговоре с его заведующей. Та деликатно, но настойчиво попросила показать ей девочку, ссылаясь на то, что многие матери съедают паек детей<sup>1719</sup>. Отметим, что патронажные сестры посещали новорожденных на дому не только для наставления неопытных матерей, но и

<sup>1713</sup> Ленинград в осаде. С. 228.

<sup>1714</sup> Там же. С. 283.

<sup>1715</sup> Краснов М.С. [Стенографическая запись воспоминания]: ЦГАИПД СПб. Ф. 4006. Оп. 10. Д. 298. Л. 25–26.

<sup>1716</sup> Там же. Л. 25.

<sup>1717</sup> А.И. Кочетова – матери. 24 декабря 1941 г.: «На работе я была сокращена и почти месяц ходила без работы, но благодаря комсомольской организации меня опять восстановили. Ты знаешь, как мне было тяжело, ведь с моими знаниями никуда не устроишься, и сейчас нужна карточка» (РДФ ГММОБЛ. Оп. 1к. Д. 5). В письме, направленном во Фрунзенский РК ВЛКСМ, больная блокадница Т.И. Иванова сообщала о своем бедственном положении. На ее письмо секретарь РК поставил резолюцию: «Выдать ордер на 32 кг дров». (Цит. по: Худякова Н. За жизнь ленинградцев. С. 88).

<sup>1718</sup> Берггольц О. Пионеры города Ленина // Берггольц О. Собр. соч. Т. 2. Л., 1989. С. 354.

<sup>1719</sup> Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 219.

желая удостовериться, не стал ли ребенок жертвой голодных людей. И часто не довольствовались лишь формальным исполнением своих обязанностей.

Дружинница В. Щекина спасла десятки детей и хотела, чтобы каждому из них дали ее фамилию – нет, не чужым и постылым являлось для нее это дело. Любой «дистрофик», встреченный ею во время патрулирования улиц, вызывает у нее живейшее сочувствие и желание помочь. Ведь можно отвернуться, быстро пройти мимо – кто пойдет проверять? Но нет: «Видишь – еле бредет человек. Подходишь, спрашиваешь: „Что с вами?“ „Доченька, отойти не могу, силы нет“. Расспросишь, где живет, есть ли кто-нибудь дома и отвозишь на санках в больницу или домой». Звено В. Щекиной вынесло из квартир в стационары 480 человек – на плечах, которые были стерты от ремней тяжелых носилок<sup>1720</sup>.

Может быть, и не все из блокадных историй, часто жестоких, рассказывали другим, но о таких случаях самопожертвования говорили немало. «Медицинские работники детской сети проявили особую заботу о детях фронтовиков, помогали в получении жилплощади, дров, одежды, обуви, определяли нуждающихся детей в детские коллективы и в столовые лечебного питания, вели большую переписку с бойцами и командирами, посылали им фотографии детей, сообщали о состоянии здоровья детей», – читаем мы в отчете Отдела здравоохранения Ленгорисполкома за 1941–1943 гг.<sup>1721</sup>. И можем спросить: разве это являлось их обязанностью, разве кто-то требовал этого от них?

Посещение блокадников, нуждающихся в помощи, во многом спланивало людей, не позволяло им опускаться, пробуждало в них лучшие чувства, своеобразно «расковывало» их. Начинались подчас долгие беседы, где делились своими горестями, просили о поддержке, благодарили. Завязывались связи, люди становились друзьями и в дальнейшем опекали наиболее слабых. Случались, конечно, и ссоры, и не сразу удавалось рассеять подозрения. Но со временем блокадники лучше узнавали друг друга и след проявленного к ним милосердия остался в их благодарственных обращениях, в строках дневников и писем, в воспоминаниях.

И советы, которые охотно давали спасенным ленинградцам, – разве они не выходили за границы предписанных инструкций в силу многообразия и неожиданности различных житейских ситуаций? И вид голодных сирот – разве он не создавал у бойцов отряда устойчивого настроения, не позволявшего уклоняться от оказания поддержки и тогда, когда это было можно? Охваченные состраданием, они нередко шли дальше предписаний, иногда делились и собственным хлебом. О несчастных детях рассказывали и другим горожанам, и их почувствованный отклик утверждал решимость сделать все, чтобы смягчить их муки.

## 2

Стыдя и обличая, оказывать помощь побуждали и тех, кто не сразу откликнулся бы на горе других людей. Но не всегда блокадники, озабоченные собственным выживанием, соглашались помогать в такой мере, что это позволило бы спасти умиравших. На грани голодной смерти оказались тысячи горожан. Они не могли поддержать не только других, но и самих себя. Требовались иные, более масштабные меры, которые смогли бы предотвратить гибель людей. Так возникли комсомольские бытовые отряды. Желание высоко оценить подвиг комсомольцев, без всяких полутеней и оговорок, не позволило, однако, с необходимой полнотой рассмотреть все детали их работы. Действия комсомольцев порой оценивались исключительно как благородный порыв. Число отрядов, однако, не было бы столь велико и они не смогли бы многого сделать, если бы не получали ощутимую государственную поддержку. Можно сколь угодно долго говорить о желании вызволить ленинградцев из беды, но нужны

---

<sup>1720</sup> Рассказ В. Щекиной цит. по: *Цукерман С.* Дружинница. С. 33,36.

<sup>1721</sup> 900 героических дней. С. 358–359.

были средства для этого, иначе никакой человеческий порыв не увенчался бы успехом. Необходимы были дрова и продукты, но в первую очередь требовались люди, которые сумели бы накормить и вымыть блокадников, свезти их в больницу, убрать их комнату, постирать и почистить одежду.

Впервые комсомольский бытовой отряд создали в январе 1942 г. в Приморском районе. Прямой директивы «сверху» не было, но отмеченное нами выступление П.С. Попкова на заседании бюро Ленинградского горкома ВКП(б) 9 января 1942 г. могло быть сочтено, по традициям того времени, не советом, а инструкцией. Решение принимал райком комсомола, и не очень ясно, предшествовала ли ему «низовая» инициатива. Благие пожелания комсомольских комитетов защитить ослабевших неизбежно вылились бы только в редкие походы малочисленных групп по квартирам. Это не решало никаких проблем, а имело бы привкус всем знакомой «кампанейщины» с фиктивной отчетностью о проведенных с ошеломляющей быстротой рейдах.

Тут поступили иначе. Все 80 членов отряда (примечательно, что это были только девушки) получали паек за участие в помощи горожанам. Велся обязательно дневник о состоянии квартир и живших в них семьях, о выполнении заданий – ценный источник для изучения ленинградского быта в 1941–1942 гг. Подробность его отчасти вызывает недоумение, но едва ли кого-то подозревали в приписках. Здесь скорее сказалась обычная бюрократическая практика, требующая каждое действие подтверждать справкой или экспертизой. Бойцы отряда находились на государственном довольствии и должны были, как любое предприятие или учреждение, предоставлять сведения о своей деятельности.

Ознакомление с ними дает возможность понять различие между импровизациями сердобольных людей, в одиночку спасавших родных и близких, и системной государственной поддержкой, осуществлявшейся под жестким контролем. С 14 февраля до 19 марта 1942 г. отрядом были проверены 5354 квартиры и предоставлена помощь 3845 человекам<sup>1722</sup>. Бойцы отряда разносили горячие обеды в котелках, получали заработную плату для тех, кто не мог ходить, на санках везли больных в лечебницы и в бани (даже мыли их), убирали комнаты, привозили воду и дрова, топили печь, устраивали детей в детдома. Известен и случай, когда они отремонтировали помещение столовой<sup>1723</sup>.

Опыт оказался удачным и в конце февраля 1942 г. Ленинградские обком и горком комсомола обязали райкомы создать такие отряды во всех районах города<sup>1724</sup>. Их деятельность была прекращена 1 июля 1942 г.<sup>1725</sup>

Особо скажем о «Памятке бойцу» – своеобразной инструкции для работы комсомольцев. Прежде всего забота о людях, не обусловленная никакими конъюнктурными и прагматическими соображениями – вот ось документа. «Проведение политико-воспитательной работы» отмечено только в 8-м пункте. Прежде всего – помощь человеку: страшная блокадная зима вытесняла из этих наставлений дух казенщины. Перед нами перечень обязанностей бойцов – но все они основаны на нравственных правилах:

«1. Помогите местному активу и управляющему домохозяйством учесть ослабевших и больных жильцов, в особенности в семьях красноармейцев.

2. Организуйте доставку воды в эти семьи для приготовления пищи и мытья.

<sup>1722</sup> Волкова А. Первый бытовой отряд. С. 184; Худякова Н. За жизнь ленинградцев. С. 81.

<sup>1723</sup> Волкова А. Первый бытовой отряд. С. 184; Буров А. В. Блокада день за днем. С. 145; Худякова Н. За жизнь ленинградцев. С. 76–77.

<sup>1724</sup> Буров А. В. Блокада день за днем. С. 149.

<sup>1725</sup> Там же. С. 93.



3. Помоги больным приготовить чай и пищу, получить хлеб и продукты в магазине. Помоги получить дрова для особенно нуждающихся и доставить их на место. Организуй уборку квартир.

4. Окажи содействие в вызове врача к больному, а также в устройстве и перевозке больного в больницу или стационар.

5. Помоги, если требуется захоронить умерших.

6. Позаботься о получении денег для больных, зарплаты с места работы или пособия по бюллетеню.

7. Устрой детей-сирот в детский дом или ясли»<sup>1726</sup>.

### 3

Можно отметить и другие формы государственной поддержки. Это, в первую очередь, районные и фабрично-заводские стационары для самых слабых ленинградцев, существовавшие до апреля – мая 1942 г. Здесь смогли питаться десятки тысяч человек<sup>1727</sup>. Возникло большое количество санитарных постов и обогревательных пунктов, столовых закрытого типа<sup>1728</sup>. Высокая и безоговорочная их оценка понятна, но и проблемы здесь были. Стационары нередко плохо обеспечивались, иногда даже быстро закрывались из-за нехватки продуктов, сюда старались помещать наиболее ценных специалистов, мало заботясь о прочих<sup>1729</sup>.

Государственные и общественные организации следили за распределением продуктов в столовых и магазинах<sup>1730</sup>. К этому делу было привлечено много людей, учитывая размеры хищений. Н.В. Мансветова вспоминала, как на заседании районной комиссии по проверке столовых задавался и вопрос о том, «как работники должны относиться к посетителям»<sup>1731</sup>. Вопрос о человеческом достоинстве, даже получивший такой «гастрономический» оттенок, не мог не подразумеваться во время этих споров. Примечательно, что кое-где были открыты комсомольские булочные и столовые: надеялись пристыдить нечестных продавцов<sup>1732</sup>.

Контроль касался всех сторон повседневной жизни блокадников. Без созданной государством системы чрезвычайных мер по оказанию помощи число жертв в городе было бы куда более значительным<sup>1733</sup>. И примеров человеческого сострадания, которые поддерживали моральный канон, видели бы намного меньше.

<sup>1726</sup> Там же. С. 72.

<sup>1727</sup> Ковальчук В.М. 900 дней блокады. С. 92; Стенограмма сообщения Пименова А.Т.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 307. Л. 8.

<sup>1728</sup> Худякова И. За жизнь ленинградцев. С. 53; Левитская Л.Н. Стенограмма сообщения и доклад о работе Общества Красного Креста за время с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 276. Л. 16; Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. С. 63.

<sup>1729</sup> Соколов Г.Я. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 565; Краков М.М. Дневник. 28 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 15; Соловьева Э. Судьба была – выжить. С. 221–222; Рахмалев Н.А. [Стенографическая запись воспоминаний]: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 298. Л. 17.

<sup>1730</sup> Горбачев М.И. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 459; Мансветова Н.В. Воспоминания о моей работе в годы войны. С. 558; Змитриченко А.О. [Запись воспоминаний] // 900 блокадных дней. С. 93; Информация Приморского РК ВЛКСМ Ленинградскому ГК ВЛКСМ 15 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. К-118. Оп. 1. Д. 78. Л. 5; Отчет горкома ВЛКСМ о бытовой работе комсомольцев в 1941–1943 гг. // 900 героических дней. С. 324; Худякова И. За жизнь ленинградцев. С. 47.

<sup>1731</sup> Мансветова Н.В. Воспоминания о моей работе в годы войны. С. 558.

<sup>1732</sup> Горбачев М.И. [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 459.

<sup>1733</sup> Худякова И. За жизнь ленинградцев. С. 52–53; Из справки военного отдела горкома ВКП(б) «25 лет Обществу Красного Креста». 28 июля 1943 г. // 900 героических дней. С. 113. См. также: Лагуткин Е.С. Воспоминания // Оборона Ленинграда. С. 393; Кулябко В. Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 237 (Запись 7 октября 1941 г.); Пето О.Р., Вальтер Т.К. Записи выездов «Скорой помощи». 17 декабря 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 51. Л. 13 об.; Никифоров Г.И. Из дневника заместителя директора по МПВО и охране завода им. Марти // Выстояли и победили. С. 15; Шкroeва Е.П. Искусство сра-

Даже в «смертное время» следили, хотя и не всегда, за состоянием общежитий, детских домов, «очагов», детсадов. Особое внимание обращали, в значительной степени из-за опасности эпидемий, на чистоту квартир, домов, дворов, – не отказываясь от угроз и наказаний тех, кто нес за это ответственность<sup>1734</sup>. Призывы соблюдать личную гигиену, сколь бы унижительными они ни были, также помогали поддерживать представления о нормах, принятых в цивилизованном обществе. На совещании секретарей цеховых партбюро Кировского завода в начале января 1942 г. вопрос о личной гигиене рабочих являлся даже частью повестки дня. Отмечалось, что многие рабочие, находясь на казарменном положении, «в течение трех и больше месяцев не мылись в бане, завшивели», а после остановки водопровода им «негде умыть лица». Секретарям было предложено «изо дня в день наблюдать за чистотой»<sup>1735</sup> – последнее, конечно, оставалось часто лишь благим пожеланием.

Когда читаешь протоколы первичных организаций ВКП(б) и ВЛКСМ, кажется, что в них уделяется неоправданно чрезмерное внимание к графику собраний, уплате взносов, заполнению делопроизводственной документации, постановке и снятию с учета, проведению агитационной работы. Драматизма «смертного времени», как ни парадоксально, мы в этих документах часто не обнаружим, и в силу их краткости, и в силу пристрастия партийных и комсомольских инстанций к канцелярской рутине. Но это можно оценить и иначе. Все виды дисциплин – производственной, партийной, бытовой, этической – были связаны между собой. Партийная и комсомольская дисциплина принуждала и к соблюдению нравственных правил: не опускаться, помогать другим, следить за собой. Утрата представлений о системе идеологических и социальных ценностей, сколь бы надуманными они не казались нам сейчас, в то время делали поступки людей менее цивилизованными. «Опухшие от недоедания, с палочками, а все же явились на партактив», – описывал поведение заводских коммунистов инструктор парткома Кировского завода Л.П. Галько.<sup>1736</sup> И точно так же, невзирая на нездоровье, они шли на предприятия, выполняли задания, приободряли растерявшихся, одергивали «паникеров» – положение обязывает. А если члены ВКП(б) и ВЛКСМ не захотят быть образцом для других – заставят, пристыдят, пригрозят.

В столовой для железнодорожников коммунист унижался на виду у всех. «Надо его вызвать и крепко побеседовать... До чего распустился народ», – записывает в дневнике заведующий сектором пропаганды и агитации парторганизации Балтийского отделения Ленинградской железной дороги И.С. Намочилин. Вызывает у него тревогу и коллектив диспетчерской: «Опустился также, и разговоры о еде и эвакуации, надо вызвать»<sup>1737</sup>. Вызвать и распекать – это не только его прием, это универсальное средство. Он пытается, конечно, устроить наиболее истощенных в стационар<sup>1738</sup>, но там не хватит мест на всех. Помочь невозможно, но и опускаться коммунист не имеет права. Если он должен быть, в силу своего звания, примером для других, то как можно требовать за это плату? Л.П. Галько отметил в дневнике, что в инструментальном цехе работают семь «дистрофиков». Принять это во внимание, не требовать многого? Нет, ситуация в цехе оценивается им с нарастающим раздражением, без всяких скидок на обстоятельства. «Работа... вообще идет неважно, партийная в

жающегося народа // Без антракта. С. 139; *Аверкиев И.А.* [Стенографическая запись воспоминаний] // Оборона Ленинграда. С. 489; *Иванов В.А.* Особенности реализации чрезвычайных мер... С. 477.

<sup>1734</sup> *Бочавер М.А.* Это было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 59; *Иванов В.А.* Особенности реализации чрезвычайных мер... С. 473; *Григорьев В.Г.* Ленинград. Блокада. С. 37; *Тихонов Н.* Ленинград принимает бой. С. 315; Информация Приморского РК ВЛКСМ Ленинградскому ГК ВЛКСМ 8 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. К-118. Оп. 1. Д. 78. Л. 3–4; *Инбер В.* Почти три года. С. 222 (Дневниковая запись 18 апреля 1942 г.); Информация Приморского РК ВЛКСМ Ленинградскому ГК ВЛКСМ 15 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. К-118. Оп. 1. Д. 78. Л. 5.

<sup>1735</sup> Из дневника Галько Леонида Павловича. С. 515 (Запись 4 января 1942 г.).

<sup>1736</sup> Там же. С. 516 (Дневниковая запись 12 января 1942 г.).

<sup>1737</sup> *Намочилин И.С.* Дневник. 19 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 79. Л. 22 об.

<sup>1738</sup> Там же. Л. 23 (Дневниковая запись 21 января 1942 г.).

особенности. Секретарь партбюро... бездействует. Агитработа в загоне, профработа совершенно запущена»<sup>1739</sup> – это ведь не справка для направления в больницу, это скорее тезисы для знакомой нам «проработки».

#### 4

Несомненно, агитационная работа, при всех ее огрехах (примитивность, замалчивание правды о положении на фронтах и в городе, фальшивый оптимизм), также являлась одной из форм сохранения этики. Значение ее, конечно, не стоит переоценивать. Радио в первую блокадную зиму работало плохо<sup>1740</sup>. С января 1942 г. почти никто не видел газет. В киосках их было не купить и, как вспоминал Д.С. Лихачев, «первая газета стала расклеиваться на заборах только весной, кажется, раз в две недели»<sup>1741</sup>. Это вызывало удивление, и Л. Р. Коган, отметивший в дневнике 3 февраля 1942 г., что «радио не работает, газет не приносят», задавал вопрос, не орудуют ли в городе враги<sup>1742</sup>. Но даже и тогда радио и пресса внесли свою лепту в дело поддержания нравственных норм. Об этом свидетельствуют отклики блокадников на их сообщения. Чаще всего это случалось, когда узнавали о нацистских преступлениях.

Сведения о пытках и издевательствах содержались во многих сводках Совинформбюро. По городу были расклеены плакаты, изображавшие мучения мирных жителей, оказавшихся под пятой оккупантов<sup>1743</sup>. В газетных статьях сцены глумления над пленными красноармейцами, беззащитными женщинами и детьми нередко сопровождалась натуралистическими подробностями. «Сообщения о немецких зверствах вызывают у ленинградцев ярость. „Гады“ – только и слышишь возгласы возле газетных витрин», – вспоминал В. Кочетов<sup>1744</sup>. В дневнике П.М. Самарина, узнавшем из радиопередачи об осквернении имений Л.Н. Толстого и П.И. Чайковского, встречаем такую запись: «Вот бандиты! Нет слов возмущения такими варварами»<sup>1745</sup>.

У эмоциональной, остро чувствующей любую несправедливость Е. Мухиной ненависть к насильникам выражена наиболее ярко и категорично. Потрясенная обилием разнообразных свидетельств о нацистских злодеяниях, она каждое из них переживает особо, – и мы замечаем, как растет охватившая ее жажда мщения: «Нет, они заплатят за все. За погибших от бомб и снарядов ленинградцев, москвичей, киевлян и многих других, за... изуродованных... бойцов Красной Армии, за расстрелянных, растерзанных... раздавленных женщин и детей. Они заплатят сполна за изнасилованных девушек и маленьких еще девочек..., за изрешеченных разрывными пулями маленьких ребятишек и женщин с младенцами на руках,

<sup>1739</sup> Из дневника Галько Леонида Павловича. С. 531 (Запись 7 декабря 1942 г.).

<sup>1740</sup> См. также дневниковую запись М.С. Коноплевой 6 ноября 1941 г.: «Сегодня вечером по радио слушали из Москвы торжественное заседание в Кремле, на котором выступил Сталин, но речь его передавалась так плохо, что мы почти ничего не разобрали» (ОР РНБ. Ф. 368. Д. 1. Л. 161; дневниковую запись И.Д. Зеленской 16 ноября 1941 г.: «Разбудила меня московская передача, как всегда превращенная помехами в кошачий концерт» (*Зеленская И.Д.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 33). См. также: Из дневника Майи Бубновой. С. 229–230 (Запись 25 января 1942 г.); *Краков М.М.* Дневник. 12 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 7; *Никулин А.П.* Дневник. 12 января 1942 г.: Там же. Д. 82. Л. 14; *Кулябко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 243 (Запись 14 января 1942 г.).

<sup>1741</sup> *Лихачев Д.С.* Воспоминания. С. 473; см. также дневниковую запись М.С. Коноплевой 26 января 1942 г. (ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 30).

<sup>1742</sup> *Коган Л.Р.* Дневник. 3 февраля 1942 г.: ОР РНБ. Ф. 1035. Д. 1. Л. 2.

<sup>1743</sup> См. доклад немецкой службы СД о положении в Ленинграде (весна 1942 г.): «Гнусная пропаганда на картонных плакатах усиленно изображает страшно изувеченных женщин» (*Звезда*. 2005. № 9. С. 81).

<sup>1744</sup> *Кочетов В.* Улицы и траншеи. С. 160.

<sup>1745</sup> *Самарин П.М.* Дневник. 16 декабря 1941 г.: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 338. Л. 55; см. также: *Базанова В.В.* Вчера было девять тревог... С. 129 (Дневниковая запись 8 декабря 1941 г.).

за которыми эти дикари, сидящие за штурвалами самолетов, охотились ради развлечения – за все, за все это они заплатят»<sup>1746</sup>.

Во всех этих откликах, гневных и непримиримых, подтверждаются главные нравственные правила: нельзя причинять боль людям, истязать малолетних и беззащитных, нельзя безразлично взирать на преступления. Но и сильнейшее чувство мести не позволяло сразу отбросить привитые людям этические нормы. Примечательна реакция ленинградцев на публикацию стихотворения Б. Лихарева, где имелись следующие строки: «...и немки подлые рожать не будут немчуру». В. Инбер, передавая отклики горожан на это стихотворение («смеются, говорят с усмешкой»), предупреждала, хотя и в исключительно мягких выражениях, что оно «дискредитирует эту тему». По ее мнению, «тут нужен писательский такт, нужно какое-то воспитание»<sup>1747</sup>.

## 5

Значимым для поддержания моральных норм можно считать и радиосообщения о добрых поступках ленинградцев, их сострадании, готовности помочь близким. Их нередко сентиментальный тон сильнее прочего мог взволновать блокадников. «Вечером была передача по радио и такое, что щипало за сердце. Это о маленькой 5-летней девочке, просившей у матери шоколаду и как она в 1962 году будет изучать историю Великой Отечественной войны», – отмечала в своем дневнике А.Н. Боровикова<sup>1748</sup>. Помощь детям в радиосообщениях подчеркивалась особо, иногда с эмоциональными интонациями. В воспоминаниях В. Петерсона мы обнаружим свидетельства о том, как ждали в ее семье увеличения размеров пайка к новому, 1942 г.: «И вот долгожданное сообщение: прибавляют выдачу хлеба, еще что-то... В конце сообщения голос диктора стал еще более торжественным и с большими паузами он объявил: „Детям... шоколада... по двадцать пять граммов!“»<sup>1749</sup>.

Чаще всего о сострадании, о любви к людям, о попытках им помочь говорилось в выступлениях по радио О. Берггольц. Это и сделало ее символом блокады – ее, а не громогласного Вс. Вишневого, отдававшего в первую очередь дань патриотической риторике, и не Н. Тихонова, в чьих речах ощутимо излишне нарочитое равновесие трагичности и оптимизма.

Стершуюся от частого употребления патетику она оживляла безыскусным человеческим документом, трогательным и порой даже наивным, но неизменно вызывающим сочувствие к оказавшимся в беде людям. Конечно, и в ее рассказах чувствуется пафос, но для описания волнующих человеческих историй она находит слова не «казенные», а искренние, лишённые цветистости, почти «классические» – хотя и простые. Помощь, всегда помощь самым слабым, беззащитным, кто ничем не может отблагодарить за поддержку – это основной мотив выступлений Берггольц. Здесь нет крика, но воздействие ее речи неизменно сильно. Приведем почти полностью одно из ее выступлений в 1942 г. Все особенности языка Берггольц тут проступают наиболее выпукло: «Вот в январе этого года одна ленинградка, Зинаида Епифановна Карякина, слегла. Соседка по квартире зашла к ней в комнату, поглядела на нее и сказала:

– А ведь ты умираешь, Зинаида Епифановна.

– Умираю, – согласилась Карякина. – И знаешь, Аннушка...сахарного песочку мне хочется.

<sup>1746</sup> Мухина Е. Дневник. 8 сентября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 38 об.

<sup>1747</sup> Из стенограммы заседания правления ЛО Союза советских писателей 26 ноября 1941 г. // Ленинград в осаде. С. 504–505.

<sup>1748</sup> Боровикова А.Н. Дневник. 4 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 97.

<sup>1749</sup> Петерсон В. «Скорее было бы тепло». С. 171.

Соседка постояла над Зинаидой Епифановной, подумала, вышла и вернулась через пять минут с маленьким стаканчиком сахарного песку»<sup>1750</sup>.

Карякиной удалось выжить с помощью других, живых и мертвых – такое часто случалось в блокадные дни. Один из военных отдал ей продукты, которые привез в Ленинград, не зная, что его семья погибла. В рассказе Берггольц можно обнаружить главный мотив – он проясняет его цель: «...Подумала она: съесть это одной – нехорошо. Жалко, конечно... Но не хорошо есть одной, грех, и позвала она Анну Федоровну и мальчика из другой комнаты, сироту, и еще одну старушку, ютившуюся в той же комнате»<sup>1751</sup>.

Рассказ может показаться излишне сентиментальным, а его концовка и неправдоподобной – но слащавости в нем нет. Эти просьбы перед смертью, бесхитростные и лишённые пафоса, этот несчастный сирота и прибывшая к нему, всеми брошенная «старушка» – какая уж тут слащавость. Нам не дано увидеть все причины, которые обусловили добрые поступки. Расспрашивать, что испытали при этом дарители, никто бы и не решился. Счастливы были получить хотя бы маленький кусочек хлеба, а лишние вопросы могли вызвать сомнения, отказы, извинения... Но такие истории случались не раз. Они отражены и в дневниках, и в воспоминаниях. Выступления О. Берггольц не лишены художественной отделки, но источником их являлись письма самих блокадников. Пропитанные глубоким сочувствием и жалостью к самым беспомощным, отмеченные вниманием даже к мелким подробностям, часто лишённые идеологических примесей её слова в наибольшей степени оказались близки людям. Это знак того, сколь живыми ещё оставались нравственные заповеди у многих ленинградцев. И они быстро отделили «своего» от «чужого». И чаще всего именно ей говорили о своих горестях, о том, что сделали доброго, кому помогли<sup>1752</sup>.

В том то и была сила Берггольц, что она без крика и фальши говорила о вещах, всем понятных и всеми пережитых. И дидактика её речей была такой же простой и благородной, без надрыва: «И выжили и Зинаида Епифановна, и Анна Федоровна, и мальчик. Всю зиму делились – и все выжили»<sup>1753</sup>.

В её выступлениях нет лишних слов, они даже кажутся скупыми – но их точность и эмоциональная сила потрясает. Эта черта особенно ярко проявилась позднее, в 1943 г., когда город сотрясали наиболее варварские бомбардировки. Вот одна из рассказанных ею историй. Мальчику П. Дьякову во время обстрела оторвало обе руки. Его с трудом спасли врачи. Мать, чтобы как-то смягчить боль, повела его в кинотеатр. Началась бомбежка. Мальчику оторвало ногу, мать погибла.

Берггольц увидела его в больнице: «Он рассказывает чужим, деревянным голоском, подробно, бесстрастно». Идти ему некуда: «„Теперь я остался один“ – и отвернулся от людей к стене, не плача».<sup>1754</sup>

И наотмашь, как пощечина: «Еще одна победа генерал-полковника Линдемана».

## 6

Любой контроль был бы бесполезным, если бы оставался единственным средством поддержания нравственности. Спасали детей не потому, что чувствовали око контролера. Делились хлебом не оттого, что прочли передовую статью «Ленинградской правды». И упавших горожан поднимали не по приказу.

<sup>1750</sup> Берггольц О. Говорит Ленинград. С. 207.

<sup>1751</sup> Там же. С. 208.

<sup>1752</sup> Как вспоминал Г. Макогоненко, в письмах О. Берггольц «спрашивали о том, как жить в условиях жестокой, голодно-холодной зимы, как сохранить в себе достоинство человека» (Макогоненко Г. Письма с дороги. С. 122).

<sup>1753</sup> Берггольц О. Говорит Ленинград. С. 208.

<sup>1754</sup> Там же. С. 240.

Но во время великих бедствий достаточно было появиться малейшей трещине, как здание человеческой этики, построенное, казалось, на века, готово было осесть. Контроль и являлся тем цементом, пусть и не очень качественным, которым «склеивали» эти разломы. Они все равно бы возникли, но так, принуждением и поощрением, наказанием и похвалой, уменьшалось их число. Так, обращенными к людям просьбами удавалось пробудить в них благородные чувства. Так, жестко требуя от них выполнения долга, удавалось привить им стойкость – и свеча милосердия не угасала.

## Глава II Самоконтроль

### Программы поведения

#### 1

Во время катастроф естественным являлось желание людей выработать для себя устойчивые правила поведения. Они не были новыми. Главным доводом могло стать желание «оставаться человеком». Жить для других – этот нравственный эталон не возник в одночасье. Проверка себя на соответствие идеалу являлась приметой многих дневников 1930-х гг., особенно юношеских. В военные годы ощущение беды придавала ей особый смысл. Проявлялись, хотя и не всегда, отчетливость идеала и его политические мотивы.

Одной из побудительных причин могло быть ощущение себя как примера для подражания, как человека, чей подвиг признан, который должен каждый день подтверждать свои высокие нравственные качества. «Мы продолжаем смотреть великую пьесу и играть в ней. Она затянулась. Если акт считать за месяц, нарушены все законы мировой драматургии» – не все были готовы говорить столь высокопарно, как литератор А. Тарасенков<sup>1755</sup>, но признание беспримерности ленинградской эпопеи звучало повсеместно. «Где еще столь стойчески, столь героически ведется борьба и выносятся лишения за свободу» – дневниковая запись К.И. Сельцера<sup>1756</sup> выглядит не столь эффектной, но она более типична в ряду других документальных свидетельств. Создание программы поведения неотделимо от этого пафоса стойкости, иногда нарочито демонстрируемого себе и другим – в дневниках, которые, как считали, позднее прочтут потомки, в письмах, которые будут оценены сегодня не только родными. Все это так. Но велись и дневники, явно не предназначенные быть образцом назидательного чтения – с бесконечным перечислением граммов продуктов, которые удалось получить, уловок, на которые шли ради этого, мелких обид, слухов и подозрений, беспочвенность которых подтверждалась здесь же. То же можно сказать о письмах – порой не очень грамотных, с житейскими просьбами и жалобами.

Их авторы не претендовали на создание всеобъемлющих программ поведения. Для кого-то необходимость «держать себя в руках» диктовалась тем, что «события огромны, невероятны»<sup>1757</sup>. Обычно же составление программы поведения являлось скорее следствием оценок эпизодов собственной биографии. Как правило, эпизоды эти драматичны. Е.К. Белецкая рассказывала, как она случайно встретила одного из сотрудников НКВД, который ранее помогал ей. Тот был истощен, «едва передвигал ноги». При виде его Е.К. Белецкая не смогла скрыть своего испуга и причину его сразу понял ее знакомый. Было неловко, она укоряла себя позднее за то, что поступила неделикатно. «Эта встреча заставила меня по иному, более чутко, относиться к окружающим, стараться по мере сил и возможностей помогать всем», – писала она впоследствии<sup>1758</sup>. Очевидно, причиной был не только этот случай – человека черствого и целая череда таких эпизодов едва ли сделает добрым. Оценивать подлинную значимость той цепочки аргументов, которая определила нравственный выбор, весьма сложно. Здесь важна не столько точность деталей, сколько ощущение самого оза-

---

<sup>1755</sup> Тарасенков А. Из военных записей. С. 26.

<sup>1756</sup> Сельцер К.И. Дневник. Цит. по: Глезеров С. От ненависти к примирению. С. 48 (Запись 18 октября 1941 г.).

<sup>1757</sup> М.Д. Тушинский – Т.М. Вячесловой. 12–15 октября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 4.

<sup>1758</sup> Запись рассказа Е.К. Белецкой цит. по: Того В. Потерявший родину плачет вечно. М., 2001. С. 103–104.

рения. Яркость, наглядность и поучительность этой сцены может быть острее позволила почувствовать жалость к погибающему человеку, и потому это прочнее удержано в памяти и оценено по высшему счету – им и проверяются все другие поступки.

Для И.З. Дрожжиной вехой нравственного обновления стала весть о пожаре, в котором чуть было не погибла ее мать. Судьба ее семьи трагична. В одночасье она лишилась младенца, пришло известие о смерти на фронте мужа и брата, погибла при бомбежке ее дочь. Ставшая безучастной ко всему (а иначе как выжить), она плохо заботилась и о матери – пока не случился пожар. «Тут я почувствовала угрызения...: мало я уделяю внимания матери, ведь ей 73 года, а я даже редко ее вижу... решила, что буду больше беречь мать, ведь она одна осталась у меня»<sup>1759</sup>.

Крепость родственных связей не определяется лишь примитивной арифметикой – у нее другие, более сложные законы. Страх ежедневного ожидания сиротства, еще не испытанного, усиливается напластованием сцен блокадного быта – коротких и продолжительных, отчетливых и смутных – но одинаково подчеркивающих хрупкость человеческой жизни. Ввиду краткости рассказа И.З. Дрожжиной ее путь к обретению (или вернее закреплению) нравственных максим оказался несколько спрямленным; кроме того, здесь пропускают формы обычных житейских назидательных апологий. В этом коротком поучении для себя мы видим ряд правил семейной этики, выявленных с особой силой именно в виде программы поведения: мать нужно беречь, поскольку она одинока, необходимо заботиться о ней ввиду ее преклонного возраста, должно чаще встречаться с ней.

## 2

Этика – этому способствовала сама блокадная повседневность – в значительной мере обязана была быть избирательной. Надо заботиться о родителях, но мать иногда считали необходимым опекать лишь тогда, когда никто другой не был способен на это. Надо помогать детям – но паек приходится делить поровну, чтобы выстоять всем. Должно отдавать хлеб нуждающимся – но обычно в том случае, если это были самые близкие люди. Везде освященные традициями этические нормы поправлялись так или иначе «зlobой дня». Исполнять свой нравственный долг полностью и до конца вряд ли кому было под силу в это время.

Записи в дневниках, исповедь в письмах – все это обязательно предполагало некую толику самоанализа, а как при этом могли не касаться самых жутких примет осадного времени. Оценка стойкости, доброты, самоотречения – все через хлеб, кашу, дрожжевой суп. Человек слышит бесконечные разговоры о еде – и дает себе зарок не участвовать в них, не поддаваться общему унынию. Такие действия – и часть самопроверки. Б. Злотникова писала в дневнике, что хочет выработать в себе терпение. Она уверена, что это ей под силу – но что делать с «желудком»? «Здесь, к сожалению, запятая»<sup>1760</sup>, – отмечает она, но тот же вопрос задавали себе и другие и пытались ответить на него иначе.

«Слишком много людей вокруг хнычущих и ноющих» – записывает И.Д. Зеленская в дневнике 7 декабря 1941 г.<sup>1761</sup>. Как при этом не подчеркнуть свою особость, не дать почувствовать, что у тебя сильная воля и ты во многом отличаешься от других – ведь это одно из средств самоутверждения. «Ноющие» вызывают раздражение – а кто хочет оказаться среди презираемых и отверженных. Упасть ведь так легко – но пусть увидят и того, кто не упал, несмотря ни на что. Исполнить эту заповедь трудно. И.Д. Зеленская замечает, что и характер у нее «портится», она чаще «выходит из себя» и не может заглушать чувство голода, и ей

---

<sup>1759</sup> Запись рассказа И.С. Дрожжиной цит. по: *Александрова Т.* Испытание. С. 189.

<sup>1760</sup> *Злотникова Б.* Дневник. 15 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 40. Л. 23.

<sup>1761</sup> *Зеленская И.Д.* Дневник. 7 декабря 1941 г.: Там же. Д. 35. Л. 39.



трудно «сводить к минимуму съестные разговоры»<sup>1762</sup>. Как же себя вести? Что должно стать заслоном против блокадной повседневности, разъедающей все: и дух, и тело? Выход один: стоять прочно – и до конца. Слышишь раздраженные реплики о хлебе – не поддерживай их. Хочешь пожаловаться – остановись и следи, следи за каждым своим шагом, распознавая, откуда придет соблазн – и закрывай накрепко двери. Такова логика «оптимистических» записей в дневнике И.Д. Зеленской: «Ни одного слова подавленности или упадка»<sup>1763</sup>.

О них, правда, приходится говорить еще и еще раз, чтобы прочнее убедить себя в правильности выбора, отчетливее провести границу между человеческим и нечеловеческим. Дневниковая запись 22 ноября 1941 г. представляет своеобразный поток сознания, в котором есть все – настойчивость в отстаивании жизненного идеала, ощущение своих бед и, наконец, рецепт преодоления «животного начала» – не слишком подробный, но четкий. Он не был новым. И.Д. Зеленская только повторила его с присущей ей решимостью: «Нет, я все глубже убеждаюсь, что спастись можно только внутренней энергией, и я не сдамся до последнего, пока еще тело будет повиноваться воле. Что из того, что я тоже ощущаю эту отвратительную свинцовость в ногах, что я стала с усилием подыматься на второй-третий этаж, когда мне недавно и шестой давался легко. Все это можно преодолеть, если не прислушиваться к каждому минусу, заставляя себя двигаться быстрее, не думать о еде и особенно не жаловаться ни на что, ни себе, ни другим. Только так и можно продержаться, и я продержусь и еще помогу другим, кто сумеет и пожелает воспользоваться моим опытом»<sup>1764</sup>.

Школьница Аля, чьи записи цитирует К. Ползикова-Рубец, не обладала жизненным опытом И.Д. Зеленской и ее умением выявлять нравственный смысл каждого поступка. Она, как и обычно все дети, повторяла нравственные прописи, исходя из наставлений старших. «Надо быть выносливой и силой воли подавить чувство голода», – может, в этой дневниковой записи 15 декабря 1941 г. Аля пересказала то, что слышала на уроках. Но трудно не отметить созвучность ее слов обычным призывам к «очеловечиванию» в нечеловеческое время: выбор средств здесь был явно невелик. В дневниках подростков, где составляются программы поведения, можно обнаружить и обязательство повысить успеваемость – здесь влияние преподавателей кажется еще более заметным.

«Надо все-таки учиться и как можно лучше», – пишет в своем дневнике Аля<sup>1765</sup>, а в дневнике другой школьницы, Е. Мухиной, мы можем обнаружить даже целый свод правил, способных придать дополнительный импульс ее учебным занятиям. Они довольно просты, но с ними связано много надежд и они имеют обязательный характер: «Если я буду точно выполнять свой план, то я смогу много читать, дома я буду читать. Мне надо как можно скорее прочесть Диккенса „Большие надежды“ и начать читать что-то другое. Я хочу завести полочку Большевика, покупать разные брошюры. Да, потом мне надо купить русскую грамматику и повторить все правила правописания, чтобы не обесценивать свои сочинения по литературе безграмотностью»<sup>1766</sup>. В чем-то тут ощутимо влияние своеобразной «моды», некоего общего поветрия, что-то, несомненно, подхвачено из назиданий в школе, но многое пересказано импровизационно. Стержень здесь тот же, что и в других «программных» дневниковых записях – выстоять, не падать духом, заставить себя трудиться, стать лучше. Школьные же прописи угадываются в дневнике Е. Мухиной сразу. Они отделены от других записей категоричностью поучений и оценок, клишированным языком и почти дословным цитированием норм внутреннего распорядка: «Я хочу, чтобы мы жили, как говорил Ленин...

<sup>1762</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 29 октября 1941 г. Л. 25 об.

<sup>1763</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 7 декабря 1941 г. Л. 39.

<sup>1764</sup> Зеленская И.Д. Дневник. 22 ноября 1941 г. Л. 35.

<sup>1765</sup> Ползикова-Рубец К.В. Они учились в Ленинграде (Дневниковая запись 27 декабря 1941 г.).

<sup>1766</sup> Мухина Е. Дневник. 23 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 72. Л. 58.

Советский школьник должен бороться со списыванием, с картами, с папиросами и еще со многим»<sup>1767</sup>.

Иного языка, более богатого оттенками, более часто включающего в себя обороты «житейской» речи, у школьников (когда они намечают «правильную» канву поступков) в дневниках нет. Они его, кажется, не знают, и подозревать их в обдуманности выбора риторических приемов оснований нет. Правда, запутанных ситуаций было так много, что каждому приходилось поневоле самому (и не один раз) решать, что значить «жить по Ленину». Откровенный и подробный разговор о том, что можно и что нельзя делать в «минуты роковые», неизбежно разрушал примитивный школьный словарь, которому, однако, присущ иногда пафос и искусственность слога.

### 3

Письма В. Мальцева своему отцу М.Д. Мальцеву – характерный пример все той же патетизации программ поведения, очень простые образцы которых можно найти у школьников. Сценарий разговора задан письмом отца – может ли голод «оскотинить человека»? В переписке и отец, и сын нарочито избегают бытовых тем. Они явно неуместны там, где обсуждаются главные вопросы:

о жизни и смерти, о достоинстве, о цели бытия. Здесь необходима приподнятость тона, слова должны быть возвышенными, вульгаризмов и банальностей допускать нельзя. Единственная точная «бытовая» деталь – похлебка, за которую себя отдают – является символической и отсылает к библейскому сюжету о продаже первородства за чечевицу. Вопрос поставлен так: есть ли цена, за которую можно предать свои идеалы, перестать быть человеком. Никаких четких пояснений – неясно, что это за идеалы, кто и кого предает. Главное – определиться с принципами.

Ответ В. Мальцева может показаться на первый взгляд несколько манерным. В нем видна тщательная отшлифовка саркастических упражнений: «Продать себя за вкусную похлебку я не могу по двум причинам. Во-первых, боюсь, что такая в Ленинграде не варится, а во-вторых, я несколько скуп и боюсь продешевить»<sup>1768</sup>. Продолжать писать в том же тоне ему, все-таки, сложно. У него случаются и обрывы риторических фраз, хотя и далее его текст не свободен от пафоса и заметны попытки придать ему литературный лоск. Продолжая обыгрывать образ похлебки, он, однако, отказывается от роли записного остроумца – разговор становится более открытым и откровенным. «Знаешь, трудновато после того, как полопал котлы оной похлебки даром, только потому, что ты был советским человеком, отказаться от права быть им и лопать ее вновь и в будущем только потому, что сейчас съешь похлебку Я скорее издохну, чем откажусь от надежды хоть через десять, пятнадцать лет есть ее снова в неограниченном количестве. Клич гвардии – мой клич. „Гвардия умирает, но не сдается“. Это я тебе обещаю».

Логика изложения здесь кажется невнятной (отчасти и ввиду игры с символическими и абстрактными понятиями) и возможно, она где-то и запутана. Похлебка как символ капитуляции и как символ награды за стойкость – все тут смешано и возникает ощущение недосказанности. Но мысль его ясна: если выстоишь сегодня, не проявишь слабость, не согнешься – обретешь право на достойную жизнь в будущем. Эмоциональность ответа определяет его патетику – не подчеркивать же уникальность подвига обещанием следить за порядком в квартире. Независимо от того, причисляет он себя к «гвардии» или нет, свою особость он ощущает – и выделяет ее особенно ярко. Но удастся ли ему выстоять? Да, соглашается он,

---

<sup>1767</sup> Там же.

<sup>1768</sup> В. Мальцев – М.Д. Мальцеву. 21 декабря 1941 г. // Девятьсот дней. С. 273.

не хватает еще ему выдержки, он готов пожаловаться на голод и скуку, но это мелочи, а в главном он останется непреклонен: «Буду нести все, что потребуется, до самого конца... Жить по прежнему хочется... Но если для этого потребуется терпеть еще полгода, год, пять, десять лет – буду терпеть. До конца. Ни голодный, ни больной „главного редута“ не сдам. Разве с жизнью»<sup>1769</sup>.

Литературную «книжную» канву в такой исповеди, конечно, можно проследить, и где-то ее автор словно «встраивает» свои чувства в общепонятный сюжетный канон, свойственный повестям о героях. Это ответ отцу, а не только себе и, возможно, в нем смутным чувствам придана большая категоричность. Это не составленные по пионерским заповедям программы – все предельно обобщено. Но мотивы те же: чем страшнее становятся блокадные будни, тем лучше должен вести себя человек. Или так: вести себя достойно, как всегда – несмотря на блокаду. Можно даже сказать, что программы поведения возникали в известной мере стихийно. Замечали за собой недостатки, обнаруживали нерадение к учебе, ощущали страх или безразличие, стыдились своих бестактных поступков, получали наставительные письма – и утверждались, как отклик на это, нравственные ориентиры, которым надо следовать неукоснительно: вернуть утраченное достоинство, найти прочный заслон против преступлений в будущем.

#### 4

Для музыковеда Я. Друскина поводом представить в дневнике обширную программу поведения стали некие «безобразные сцены», которые произошли накануне. «Виноват я», – подчеркивал Я. Друскин<sup>1770</sup>, но что это были за «сцены», сказать трудно. Записи Я. Друскина даже отдаленно не похожи на другие дневники с их конкретным и нередко натуралистическим рассказом

о блокадных «трудах и днях». Его дневник почти весь наполнен религиозно-этическими размышлениями. «Осадный» быт прорывается в нем крайне редко, и, кажется, его автор намеренно избегает говорить о тех реалиях, которые его окружают. Обличений других людей почти нет, а если они и допускаются, то обычно в мягком тоне и с оправдывающими оговорками. Любую вину он охотно берет на себя, рассматривая свои поступки придирчиво и по высшему счету – не исключено, что какие-то сцены могли быть «безобразными» только из-за беспощадности его самооценок.

«Сегодня, 25 ноября, начинаю новую жизнь»<sup>1771</sup> – такими словами он предваряет выработанный им свод нравственных правил. Желание измениться и начать новую жизнь с точно определенной даты в общем-то свойственно любому человеку. В какой-то момент ощущение своей несправедности достигает такой степени, что потребность почувствовать себя «новым человеком», свободным от «заблуждений ума и сердца», становится особенно настоятельной. При смутности представлений о будущей новой жизни иные довольствовались двумя-тремя ориентирами, но у

Я. Друскина в силу длительности, устойчивости, глубины и фундаментальности его прежних религиозно-моральных медитаций, это отразилось в тщательно обдуманной кодификации этики.

«Во-первых, я постараюсь отбросить все мысли и разговоры, связанные с удовлетворением голода, который я ощущаю сейчас нередко очень сильно.

---

<sup>1769</sup> Там же.

<sup>1770</sup> Друскин Я.С. Дневники. С. 123 (Запись 25 ноября 1941 г.).

<sup>1771</sup> Там же. С. 122.

Во-вторых, постараюсь подавить в себе само ощущение голода. Для этого просто надо до и после еды думать не о ней, а или о других людях, заботиться о них, или думать о «Логическом трактате» [философский труд, который он в это время писал. – С. Я.] или о Боге...

В-третьих, постараюсь всегда быть радостным, не возвышать голоса, не сердиться.

В-четвертых, не обижаться и не считать несправедливым в отношении себя, если другие будут говорить и поступать не так, как мне бы казалось правильным. Тем более, что они могут быть правы и могут понять мои мысли лучше меня. Я буду соглашаться с ними, когда они будут осуждать меня, даже если вначале мне покажется это неправильным и не справедливым...

В-пятых, если же не удастся, или меня будут несправедливо осуждать, или мне покажется, что меня несправедливо осуждают, то я постараюсь найти в этом радость и радоваться. Ведь это одно из блаженств.

В-шестых, я постараюсь понять мысли и чувства близких мне людей, с которыми я сталкиваюсь, чтобы не говорить и не делать того, что им неприятно, если только это не противоречит моей совести. Я буду стараться развивать в себе деликатность и такт.

В-седьмых, если мне вообще чего-либо захочется или придет в голову какая-либо прихоть, то я не буду огорчаться, если придется отказаться от нее, в особенности если это делается ради других. Это значит: во-первых, понять, что всё хорошо – и прихоть, и отказ от нее; во-вторых, понять радость жертвы»<sup>1772</sup>.

Педантичная, на первый взгляд, обстоятельность, с которой перечисляются варианты возможных моральных действий в разнообразных случаях, является тут средством, призванным предотвратить любой, могущий возникнуть непредвиденно, соблазн. То, что кажется в этих пунктах повторами, на самом деле можно оценить как еще одно просчитывание (или угадывание) тех путей, которые ведут к утрате нравственных ориентиров.

Военная повседневность явно отражена только в первых пунктах кодекса. Остальное можно считать скорее продолжением (или обобщением) религиозных исканий, усиленных блокадным временем, но органически присущих автору дневника и в довоенные годы. Это религиозные истины, но переработанные для себя и тем самым приближенные к себе. Они дополняются к тому же целым рядом оговорок, раздумий, вопрошаний. Можно не думать о еде – но он спрашивает себя: «Когда я буду есть, я ведь могу ощущать ее вкус». Он готов соглашаться с теми, кто его будет осуждать – но здесь же подчеркивает, что это трудно. Данный нравственный кодекс он оценивает лишь как начало нового пути – не все вопросы еще решены. Свод правил начинает обрастать новыми этическими заповедями. Не надо уходить из дома, поскольку и там есть возможность успешно бороться с мерзостями. Надо искать заблуждения не у других, а у себя.

И еще: «Если же я почувствую, что не могу найти правильного выхода, или стану обижаться, или находить несправедливости в отношении себя, то лучше буду молчать, чем оправдываться, разъяснять, спорить. Вообще постараюсь: когда твердо не знаю, как или что сказать, – молчать; когда чувствую, что начинаю сердиться, или обижаться, или мне кажется, что меня несправедливо осуждают, или знаю, что разговор будет все равно напрасным, и вообще, когда нет обязательной необходимости говорить, – молчать»<sup>1773</sup>.

Мысль автора начала новый виток – в кругу тех же понятий, запретов, допущений. И, пожалуй, не случайно – расширяя число тех возможных ситуаций, когда придется отстаивать свой выбор, еще и еще раз утверждая незыблемость морали с той настойчивостью, которая позволяла уберечься от разнообразных искушений.

---

<sup>1772</sup> Там же. С. 123.

<sup>1773</sup> Там же.

В этом можно видеть и инерцию дневниковых и эпистолярных записей – если отмечаются всякие, подчас мелкие ощущения и впечатления, то естественно встретить здесь и перечисление тех целей, которые представляются важными. Нельзя исключать и другое. Запись таких программ – инструмент их закрепления, нечто такое, что сильнее может препятствовать попыткам их нарушить. Использование «торжественных» слов и пафоса в какой-то мере диктует необходимость более категоричного подтверждения своей решимости отстаивать нравственные идеалы. Значит, именно это и будет отмечено прежде всего и наиболее отчетливо – происходит, таким образом, кристаллизация всего «высокого» в человеке и остаются в тени «бытовые» элементы составленной им программы.

## Самонаблюдение

### 1

Самонаблюдение – обычный прием авторов дневников и писем, оно обусловлено особенностями самих этих документов. Каждодневный рассказ о своих поступках неизбежно завершается их оценкой – никаких особых усилий, сопровождаемых мелодраматическими жестами, здесь не требуется. Но оценка – это и один из элементов самопроверки. Она побуждает чаще, чем обычно, «прочитывать» себя. Разумеется, при этом важны степень откровенности, способность обобщать и обдумывать увиденное, устойчивость практики постоянного «взглядывания» в себя.

Можно выделить несколько видов самонаблюдения, в значительной мере обусловленных уровнем культуры, склонностью к философским и историософским медитациям, умением анализировать смыслы явлений, «играть» ими, переводить «живую, духовную незначительную достоверность» (по выражению Т. Манна) в усложненный мемуарно-художественный текст. Обычно там, где мало используются детально разработанные в мемуаристике сценарии автобиографических морализаторских рассказов, самонаблюдение не является расчетливо выстроенным и отчетливо осознаваемым приемом самовоспитания. Человек следит за собой, не особенно задумываясь о том, почему он это делает и к чему это приведет, – мораль бесхитростна, примеры наглядны, выводы очевидны.

Более сложные типы самонаблюдения блестяще разобраны Б.М. Эйхенбаумом в его знаменитой книге о молодом Толстом<sup>1774</sup>.

Самонаблюдение, отраженное в ранних дневниках Толстого, обладает систематичностью и назидательностью, оно откровенно дидактично, иногда казуистично сплетает собственно «дух» и упрочивающие его мелкие детали повседневного быта. Программы морального поведения у Толстого отшлифованы столь тщательно и педантично, что становятся порой, по мнению Эйхенбаума, анекдотически-прямолинейными. Здесь много общего с обычными приемами самонаблюдения, присущими большинству авторов дневников. Это обращения к себе, в которых выражено недовольство своими поступками, ригористичность вердиктов, их пафосность, поиск путей духовного обновления.

Сложные типы самонаблюдения в записях людей, оставшихся в осажденном Ленинграде, наиболее подробно изучены в литературе, посвященной «Запискам блокадного человека» Л.Я. Гинзбург. Говоря о заимствовании мемуарных образцов, на которые ориентируются авторы дневников и мемуаров, И. Паперно воспользовалась афоризмом М. Серто: «Это особый тип чтения, при котором чужой текст используется для проекции собственной

---

<sup>1774</sup> Эйхенбаум Б.М. Работы о Льве Толстом. СПб., 2009.

жизни: книгу заселяют, как чужую квартиру»<sup>1775</sup>. Записки Л. Гинзбург – это многослойный текст, происхождение которого не всегда ясно, а причины, обусловившие его создание, не до конца прослежены. То же относится и к определению источников тех приемов, которыми пользуется Л. Гинзбург. Влияние Герцена, чьей мемуаристике Гинзбург посвятила целую книгу, многим кажется здесь бесспорным.

Литературные приемы, впрочем, не всегда можно точно отождествить с каким-либо именем. Даже прямые указания тех, кто особенно глубоко испытал влияние чужого стиля, часто ничего не проясняют. Все переработано, осложнено, подчас замысловато перестроено не как парафраз классического канона, а как его антитеза, первоначальный замысел неотличим от позднейших влияний.

«Выстраивание» самонаблюдения по определенному литературному коду меняет его содержание и форму: здесь требуются отступления, там – моральные сентенции, здесь придается чувствам большая раскованность, там необходима экзальтация<sup>1776</sup>. Сохранить до конца основанную на литературных образцах схему повествования едва ли кому удастся (ее ломает сама логика последовательности описания биографических этапов), но она способна в значительной мере исказить подлинную картину самоанализа «блокадного человека».

Нами были выбраны те дневники и письма, в которых особенно заметно прослеживаются устойчивость и длительность самонаблюдения. Таких документов не очень много. Чаще мы встречаем в подневных блокадных записях краткие самооценки, не очень глубокие, нередко фрагментарные, высказанные мимолетно и не оставившие заметного следа в ткани повествования. В изученных нами дневниках и письмах М. В. Машковой, Я.С. Друскина, Е. Мухиной, Г.Я. Гельфера, В.С. Люблинского, В. Мальцева заметно, что они являются не столько средством описания мелочей блокадного быта, сколько формами самовоспитания. Типичны они или нет в ряду тысяч других документов 1941–1942 годов – на этот вопрос нельзя дать прямой ответ. Подчеркнем лишь, что те приемы самонаблюдения, которые характерны в целом для всей необозримой блокадной мемуарной и эпистолярной литературы, здесь более системны, более отчетливо проступают, а нередко и доминируют при освещении различных эпизодов истории города в военное время. Можно даже говорить о самонаблюдении как обязательном атрибуте таких документов. Его приемы являются здесь главной схемой, позволяющей сохранить последовательность, логичность и эмоциональность изложения событий.

Если воспользоваться известной формулой Толстого: «...цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, не есть единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету»<sup>1777</sup>, – то можно сказать, что целостность этих описаний как раз и обуславливается личной моральной оценкой, порой предельно жесткой и не признающей компромиссов. Внимание нередко обращается не на те эпизоды, которые были значимыми для опыта выживания, а на такие истории, где на первом плане оказывалось именно нравственное: по-человечески ли ты поступаешь или погряз в черствости и эгоизме. Зачастую они и выступают как остов рассказа. Необходимо поэтому «вчувствование» в повседневную жизнь «смертного времени» в сцеплении всех ее составляющих, осознание уникальности присущих каждому из авторов дневников и писем приемов самоанализа. Может возникнуть представление о фрагментарности изложения исследователем этапов самовоспитательного действия. В какой-то мере это неизбежно – не мы предписываем авторам дневников направ-

<sup>1775</sup> Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // НЛЮ. 2004. № 68. С. 104.

<sup>1776</sup> О выстраивании описания в соответствии с типологией жанров, стилей, персонажей и их поступков см. анализ Л. Гинзбург мемуаров Сен-Симона: *Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1977. С. 143–144, 160–163.*

<sup>1777</sup> Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 30. М., 1951. С. 18–19.

ление движения, но сами идем за каждым из них его же извилистым путем – то останавливаясь, то возвращаясь назад.

## 2

В повседневной жизни человек естественно реагирует на все, что происходит рядом. Его взгляд одинаково отмечает и необычные, и заурядные происшествя. Он всегда готов откликнуться на них, независимо от того, в силах ли кому-либо помочь. «Смертное время» было столь насыщено драматичными эпизодами, к которым невозможно было отнестись безучастно, что наблюдение (и связанное с ним самонаблюдение) становится особенно пристальным. Не пройти и шага, чтобы не увидеть падающего или упавшего человека – подать ли ему руку, если сам боишься упасть? Никуда не уйти от умоляющих просьб и родных, и друзей, и просто незнакомых людей – поделиться ли с ними хлебом, когда сам страдаешь от голода? И так на каждом шагу – везде самовопрошание, нередко сопровождаемое раскаянием и самооправданием. В центре внимания оказывалось то, что прежде едва бы заметили и что обычно считалось само собой разумеющимся.

Почему «отдача последней порции... табака товарищу или уделение кому-либо из больных домашних каких-нибудь 10–15 г из своей порции масла» рассматривается как самопожертвование? – спрашивал в одном из своих писем сотрудник Публичной библиотеки В.С. Люблинский. И почему подвиг не должен совершаться легко, просто, естественно – это ключевой для В.С. Люблинского вопрос.

В реплике Люблинского ощущается стремление удержать каркасы той, прежней, морали, которая оказалась размытой «смертным временем», но продолжала оставаться в сознании ленинградцев точкой отсчета для определения шкалы нравственной деградации.

Если нет эталона, нет и понимания нормы, а другой, куда более жесткий «блокадный» эталон еще не все готовы были признать как нечто обычное и приемлемое. Едва ли Люблинский в феврале 1942 г., после страшной зимы, мог не понимать подлинной цены всех таких «мелких» даров и, подчеркнем особо, естественности того, что он называет «смещением понятий». «Смертное время» действительно требовало от тех, кто готов был помочь, неимоверного напряжения сил и бесконечных метаний – где уж тут говорить о «легкости» деяния. Но диагноз поставлен точно: «...в итоге вместо столь нужной простоты во всем поведении – появляется повышенный самоконтроль или размышление над каждым неподделенным куском еды»<sup>1778</sup>.

Запись самонаблюдения в дневниках и письмах могла возникнуть в силу нескольких причин. Первая и, пожалуй, главная из них – страх деградации. Речь шла даже не о сохранении человеческого достоинства, а о самой жизни. Этапы гибели блокадников были для всех очевидны, поскольку не раз повторялись в одной и той же последовательности: бытовые неурядицы, голод, холод, бомбежки – и, как следствие, апатия, потеря интереса к окружающему миру, ослабление родственных и иных социальных связей, безразличие к собственному внешнему виду, к одежде – потеря цивилизационных навыков, готовность ради куска хлеба идти на любые унижения, сносить оскорбления, насмешки и презрение других людей, утрата воли к сопротивлению и, наконец, смерть.

В стремлении избежать этого блокадники нередко оценивали нравственные нормы не как самоцель, а как средство, придающее человеку большую стойкость. Уверенность, что выжили именно те, кто помогал другим и сами не утратили воли к жизни, в ряде случаев была отмечена особой убежденностью<sup>1779</sup>. Отголоски ее можно наблюдать и в современных

---

<sup>1778</sup> В.С. Люблинский – А.Д. Люблинской. 23 февраля 1942 г. // В память ушедших и во славу живущих. С. 174.

<sup>1779</sup> *Бочавер М.А.* Это – было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 157; Отчет о деятельности Ленинградского Союза советских композиторов с июня 1941 по ноябрь 1942 г. // Ленинград в осаде. С. 534.

дискуссиях о блокаде<sup>1780</sup>. Чудо спасения объяснено именно в этом ключе: жизнь как дар тому, кто сберегал чужую жизнь. Пусть это и был лишь один и самый простой способ истолковать случившееся, но он не казался парадоксальным в те годы.

В самонаблюдении нельзя было раззять «плотское» и духовное. Отсюда и обостренное внимание к этапам и формам распада личности. Пожалуй, наиболее последовательно это выражено в дневниковой записи библиотекаря ГПБ М.В. Машковой, датированной 18 февраля 1942 г.: «... Плохо то, что распадаются под влиянием острого голода дружеские, близкие, родственные отношения. Человек теряет человеческий облик, за собой замечаешь, как подло дрожишь над куском, даже кусочком хлеба, как его жаль уступить самому близкому, дорогому человеку»<sup>1781</sup>.

Очевидная причинно-следственная цепочка («голод– распад») здесь как будто бы намеренно игнорируется. Не убогость повседневной жизни и, как следствие ее, потеря человеческого облика, а по-другому: утрата человечности, выражающаяся в ряде низменных поступков. Различие, казалось, незначительное, но оно принципиально: после того как на первом месте оказываются голод и холод, падение становится легким и простительным. Никаких извинений для себя. Никаких ссылок на объективные обстоятельства. Рассказ о себе нарочито пристрастен, и это заметно в самом выборе слов. Вместо мягкого «колеблешься» – презрительное «дрожишь», а перед глаголом для усиления самообличения употреблено еще и наречие «подло». Прежде всего человеческий долг безотносительно к обстоятельствам, а не оправдание отступлений от него. Сегодня пожалеешь отдать крохотный кусок хлеба, а завтра все кончится нравственным очерствением – в этом логика размышлений Машковой, характерных для ее дневника в целом и отразившаяся и в этой записи.

### 3

В процитированной выше записи Машковой отмечен лишь один из признаков распада. В других дневниках мы видим более длительное и пристальное наблюдение за различными этапами своей деградации. Замечания по этому поводу могут быть рассыпаны по всему тексту дневника, охватывающего значительный период времени, но не менее часто и со скрупулезной тщательностью в них показано быстрое угасание человеческой личности в короткие, кризисные моменты. Гёте однажды заметил, что ничто так не приучает к норме, как патология. И поэтому очень важно, что человек в своем самонаблюдении чувствует ужас того положения, в каком он находится, вглядывается еще и еще раз в окружающие его бездны, пытаюсь угадать, откуда придет опасность.

Примечательны последние записи, которыми обрывается дневник Е. Мухиной. К маю 1942 г. она оказалась у края пропасти. Никого из близких в городе не было. Безысходность, отчаяние, последствия многомесячных голодовок стали быстро подтачивать ее волю. Ее обещали вывезти из города в конце мая 1942 г. Она с нетерпением ожидала этого каждый день – но нужно ли уезжать теперь? В дневниковой записи 25 мая 1942 г. дана удручающая картина ее самочувствия, главными приметами которой являлись апатия и слабость: «... Я настолько ослабла, что мне все безразлично. Мозг мой... ни на что не реагирует, я живу как в полусне». Слабость отмечается еще и еще раз – это лейтмотив и скрепы рассказа о себе. Слабость описывается как нечто необратимое и прогрессирующее.

Есть ли еще другие признаки угасания? Она вновь подробно описывает свое состояние, в чем-то повторяясь (или, скорее, усиливая прежде высказанные оценки), находя другие слова, подчеркивая в большей степени драматизм того, что с ней случилось: «Полное

<sup>1780</sup> Дзенискевич А.Р. Введение // Ленинград в осаде. С. 19; Пянкевич В.Л. Семья в осаде (Ленинград. 1941–1944) // Битва за Ленинград: Проблемы современных исследований. СПб., 2007. С. 220.

<sup>1781</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 17 (Запись 18 февраля 1942 г.).



отсутствие энергии... Безразличный тоскливый взгляд, походка как у инвалида 3-й степени, едва ковыляю, трудно на 3 ступеньки подняться».

Да, это угасание – но она сопротивляется, пусть и не очень активно, может быть, и не осознавая этого в полной мере. Сопротивляется, обращаясь к воспоминаниям о прежней жизни, замечая, как изменился ее облик, ища причины того, почему это произошло, – она удивлена, что, привыкнув к мизерной порции хлеба и не испытывая при этом чувства голода, продолжает слабеть. У нее есть ощущение нормы – она постоянно сравнивает прошлое и настоящее и отмечает постепенное нарастание симптомов распада: «С каждым днем я слабею все больше и больше, остатки моих сил с каждым часом иссякают. Раньше бывало, ну месяц тому назад, я днем остро чувствовала голод и у меня развивалась энергия, чтобы добыть что-нибудь поесть. Из-за лишнего куска хлеба или чего-нибудь съедобного я готова была идти на край света; а сейчас я почти не чувствую голода. Я вообще ничего не чувствую»<sup>1782</sup>. Ее язык отчасти метафоричен, она стремится сохранить цельность речи и не допустить ее невнятицы: предложения не оборваны и логичны.

#### 4

Те же приемы самонаблюдения можно обнаружить и в дневнике старшего мастера завода им. Сталина Г.Я. Гельфера. Есть основания даже говорить о близости содержания и последовательности исповедей Г.Я. Гельфера и Е. Мухиной, учитывая, разумеется, отличия, отражающие своеобразие личностей, опыта, культуры и возраста авторов дневников. И здесь мы встречаем взгляд автора на себя как бы извне – с той же метафоричностью, с безжалостным подчеркиванием наиболее ярких признаков своей деградации. «Могу в нескольких словах описать свой портрет. Представьте себе человека с мутными глазами (голодными, серыми, безразличными), на котором одежда висит мешком, медленные, старческие движения, вялый и тихий голос больного и внутреннее полное бессилие»<sup>1783</sup>.

В этих строках картина его распада подверглась заметной художественной отшлифовке. Мутный взгляд, голодные, серые глаза – это не точный и суховатый диагноз, а скорее заострение ряда внешних черт своего облика, позволяющее лучше отразить внутренний настрой. Раздражение чем-либо обычно сопровождается утрированием тех черт, которые кажутся неприятными. Г.Я. Гельфер предпочитает выделить именно их. Он не только видит свое угасание, но и всей интонацией рассказа порицает себя как можно сильнее: «Разве таким я себя когда-либо представлял, разве снилось мне когда-либо, что я дойду до такого состояния»<sup>1784</sup>.

Эти постоянные, пусть и неизбежно выдержанные в жалобном тоне, самокритичные замечания, подобно лекарству, горькому, но ведущему к быстрому исцелению, способны вырвать человека из оцепенения и вернуть ему силу воли. «Сгущенность» негативных самооценок, особый акцент на отвратительных подробностях, яркость их освещения могут считаться своеобразными формами сопротивления – человек не покорно подчиняется обстоятельствам, а бурно реагирует на них, сравнивая себя прошлого с собой нынешним.

Недовольство собой, своим внешним видом, приметами своего упадка можно в ряде случаев считать предпосылкой к упрочению воли – в них есть решительность, жестокость, неумолимость. В записи, сделанной несколько дней спустя, 23 января 1941 г., Г.Я. Гельфер продолжает описание подробностей блокадного бытия, уделяя больше внимания не столько себе, сколько тем условиям, в которых он живет: «Несколько м[есяце]в как я сплю не разде-

---

<sup>1782</sup> Мухина Е. Дневник. 25 мая 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 1. Д. 72. Л. 134 об.

<sup>1783</sup> Гельфер Г.Я. Дневник. 19 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 24. Л. 4.

<sup>1784</sup> Там же.

ваясь... 2 м[еся]ца я не был в бане». И эта запись вновь заканчивается эмоциональной репликой, в которой нет безнадежности, но есть бескомпромиссность самооценки: «Так можно дожить и до вшей. До чего я опустился и на себя даже противно смотреть»<sup>1785</sup>.

## 5

Чем более беспощадным, чуждым сентиментальности, даже жестоким выглядит описание своих «слабостей», тем более решительными являются заключающие его «moralia». Яркость картины крайнего разложения сопровождается похожим на приказ самонаставлением. «Я надоел сам себе, опустился порядком. Часто по утрам лень умываться. Просто какое-то животное существование. Поесть и поспать – вот и все, на что я способен», – сообщал 16-летний подросток В. Мальцев детали своего блокадного быта в письме матери и сестре<sup>1786</sup>. Означает ли это признание собственного поражения, несбыточность мечты вновь обрести человеческое достоинство?

Перед нами своеобразная исповедь, не свободная от самоуничижения. Разбор своих поступков односторонен, краток и упрощен. В. Мальцев не пытается глубже вскрыть их причины<sup>1787</sup> – но, повторим, важнее то, что он размышляет об истоках деградации. Она не только отмечает степень распада человека, но и является для него свидетельством опасности, которой следует избегать: «Если так пройдет еще месяца два, то я превращусь в пещерного жителя»<sup>1788</sup>.

Значимость «негативного» взгляда на себя можно оценить, знакомясь и с другими блокадными документами. Библиотекарь ГПБ М.В. Машкова записывает в своем дневнике 5 марта 1942 г.: «Я живу и действую на глазах повзрослевшего Вадика [ее сын. – С. Я.], так как же быть с тарелкой супа, если рядом голодный человек? Вадик на всю жизнь получает урок, он учится жить у меня, а я поступаю жестко, черство, собственнически»<sup>1789</sup>. Оценки ее предельно самокритичны, что мешает беспристрастно посмотреть на очевидные истины. Тарелку супа надо съесть самой, а не передать сыну – именно потому, что если мать умрет от голода, то погибнет и он, под безучастными взглядами других блокадников. Такими были единственно возможные правила выживания в блокадном кошмаре. Но соблюдение их приводило к тому, что рушились устои семейной этики. Безжалостные упорядоченность и обязательность «блокадного» распределения продуктов среди родных обособляли их друг от друга, делали их отношения менее эмоциональными и более грубыми.

Такова новая, «блокадная» этика – с ней еще трудно согласиться, но поступать приходится по ее правилам. Ее цель – спасти человека. Только спасти не так, как это ранее признавалось единственно допустимым, – отдавая все до последней крошки, отрывая от себя необходимое, не думая о завтрашнем дне. Формула спасения была другой: отказывать человеку в его просьбах, безразлично относиться к его стонам, мольбам и крикам, не учитывая возраст и состояние здоровья тех, кому необходима помощь, не лишая себя того, что можно отдать более слабым, по-своему определяя, что нужно просителю, а не поддаваясь на его уговоры.

Переход к новой этике представлялся разрушением всех тех нравственных правил, в которых с детства были воспитаны блокадники и которые стали неотъемлемой частью их самосознания, основой их поведения. Переживания Машковой – это метания впечатлитель-

---

<sup>1785</sup> Там же. Л. 7, 7 об. Дневниковая запись от 23 января 1942 г.

<sup>1786</sup> В. Мальцев – З.Р. Мальцевой и И. Мальцевой. 22 октября 1941 года // Девятьсот дней. С. 273.

<sup>1787</sup> «Раньше... нужно было что-то для кого-то делать... А теперь хоть убирай, хоть нет, все равно, кроме меня, никто не воспользуется» (Там же).

<sup>1788</sup> Там же.

<sup>1789</sup> Машкова М.В. Из блокадных записей. С. 18 (Запись 5 марта 1942 года).

ного и искреннего человека, противящегося этому переходу, но понимающего его неизбежность.

Новую этику вынуждены были признать реальностью, но свои шаги, насколько возможно, по-прежнему сверяли с этикой старой. Да, уравнительная дележка неизбежна. А как воспитать порядочным и нравственным ребенка, если он просит хлеба и видит, что его съедают у него на глазах, даже не поделившись, – вот в чем вопрос. И как быть с собственной моралью – разве не трудно очерстветь, отводя каждый раз глаза, когда встречаешь взгляды родных, истощенных и нуждающихся?

Здесь, казалось, можно было не замечать нравственной проблемы – от нее легко заслониться ссылками на незыблемость законов выживания, разговорами о благе самих близких. В записи М.В. Машковой – покаяние тех, кому не в чем себя упрекнуть, но для кого упрек выглядит более человеческим, чем самооправдание. Нравственный счет, предъявляемый себе Машковой, – это протест не против правил блокадного быта. Их надо устанавливать, без них не прожить, они отомрут, когда закончится война. Это протест против издержек «блокадной» морали. О них никогда не забудут, они станут цепко держать человека прошлыми обидами и несправедливостями, даже когда сотрутся и следы осадного времени.

## 6

Очень показательны то, с каким ужасом Машкова описывает деградацию людей из своего довоенного круга знакомств. В апреле 1942 года она случайно встретила двенадцатилетнего подростка Игоря. Вид мальчика ошеломил ее: «...Возбуждает не жалость, а ужас... выглядит стариком, еле волочит ноги, лицо предельно исхудавшее, под глазами мешки. Обросший, грязный». Это долгое перечисление примет распада подчеркивает, насколько потрясена была Машкова. Опустившийся, готовый прильнуть к любому, кто способен хоть чем-то помочь, Игорь рассказал ей свою горькую историю: «...Мать умирает и он дополз до магазина, чтобы получить 100 г масла»<sup>1790</sup>. Возможно, Машкова что-то пообещала Игорю, и на следующий день он пришел к ней домой: «...Голодный и жалкий, без палочки ходить не может... потерял хлебную карточку, обессилел от голода». И тот же ужас, как пишет Машкова, почувствовали ее сын и муж, увидев, как изменился до неузнаваемости знакомый им мальчик: «Вадик шепнул мне: „Мама, отдай ему мою котлетку“. Всеволод предложил свой хлеб, чудом оставшийся после обеда».

«Покормила его, он согрелся... окончательно ослабел, заговаривается, путает события» – эта была та грань, за которой начинается умирание. «На мать не жалуется» – последнее, очевидно, особенно задело Машкову: чтобы дойти до такого состояния, нужно быть совсем одиноким, а у мальчика все же есть родные. Чуть позднее Машкова навестила их, и то, что она увидела, стало для нее потрясением. В комнате было грязно, больная мать лежала в постели – этим, правда, было трудно кого-то удивить, что и отмечено в дневнике Машковой. Ее поразило другое: «Это волк, потерявший человеческий облик от голода, единственная забота – это вырвать кусок у Игоря, единственная тревога, как бы он не вырвал у нее крошку хлеба, не съел ложку супа, сваренного из ее крупы»<sup>1791</sup>.

Из всех тревог, которыми могла быть охвачена умиравшая мать подростка, подчеркнута только одна, наиболее омерзительная для Машковой. Описание приобретает ту особую страстность, при которой невозможны какие-либо «смягчающие» оговорки. Использованная автором дневника метафора отчетливо выявляет глубину испытанных ею ужаса и отвращения. И никаких уступок обстоятельствам, никакого желания понимать «чужую правду»

---

<sup>1790</sup> Там же. С. 20 (Запись 21 апреля 1942 г.).

<sup>1791</sup> Там же (Запись от 23 апреля 1942 г.).

– только гнев, презрение, боль. В этом можно было бы увидеть лишь одну из граней нравственного ригоризма, если бы он не имел еще одного последствия: высказавший такие обвинения преподал урок и себе. Машкова подмечает, что и сама часто «срывается в болото», но здесь же и обрывает себя: «Жить хорошо, но жить только по-человечески». Ей стыдно оставлять детям крохотные кусочки хлеба и с безудержной жадностью съедать утром свой хлеб: «Но до скотства... я не дошла и надеюсь не дойти».

Продолжение рассказа Машковой о матери Игоря отчетливо показывает, как рождались ее оценки. Она поняла, что слушают ее не очень внимательно и главное, что волнует мать Игоря, – не дать кусок хлеба сыну. Мать произносила слова страшные и безжалостные, никого не стесняясь, с ожесточением и ненавистью: «Я голодна, я хочу жить, мне нет дела до Игоря, до его голода. Он потерял карточку, пусть живет, как хочет, она ему ничего не даст. Она должна выжить». И присутствие сына не остановило ее. Вид его, жадно поедавшего здесь же кусочек хлеба, который дал ему из жалости сосед, молчаливого, обессиленного, стал заключительным штрихом нарисованной Машковой картины. Это ад, воплощенный наяву. «Не верьте его жалобам, смотрите, какой кусище хлеба он сожрал, а я лежу голодная и без сил», – кричала мать.

Бежать отсюда, бежать быстрее, чтобы не видеть этого «смрада», – вот главное желание Машковой. Она не скрывает жгучей потребности все это вытеснить, найти противоядие этому кошмару – и вытеснить как можно скорее, сейчас же. Может, и ее ожидает та же участь? Нет, она не одинока. У нее есть на кого опереться, есть близкий ей человек – ее муж Всеволод: «По дороге тепло думала о нем, о детях, Всеволод – замечательный человек, и после всего дерьма, которое я хлебнула за сегодня, мне особенно захотелось придти с лаской и светом домой»<sup>1792</sup>.

Такова природа противоядия: увидев картину человеческого падения, нужно тотчас же найти что-то, предельно противоположное ей. Машкова была в грязной, необустроенной комнате – в ее доме должны быть свет и ласка. Она ушла от закосневшей в ненависти женщины – ее терпеливо ожидает муж, который в последнее время сам помогает ей готовить обед. На ее глазах у ребенка пытались отнять последний кусок хлеба – она, напротив, скрасит голодные будни своих детей чем-то человеческим, добрым словом, подарком: «Дорогой – из разговора ребят на улице узнала, что в каком-то магазине продаются детские самокаты. Вадик давно и безуспешно обходит магазины в поисках самоката, поэтому я решила побегать, найти и доставить ему эту радость. Тянуло к обеду... пересилила себя, обошла все окрестные магазины.

Самоката все-таки не нашла, пришла все же радостная и счастливая к Всеволоду. В нашей семье есть человеческое, и оно главным образом у Всеволода. Этим я счастлива»<sup>1793</sup>.

## 7

Еще одной причиной самонаблюдения могли быть религиозно-аскетические практики. Они примечательны усилением внимания к символическому значению того или иного поступка, соотносением его с библейскими заповедями, нежеланием искать оправдание соблазнам. К сожалению, мы имеем мало источников, позволяющих наблюдать пропитанное религиозным духом самонаблюдение. Многие, способные прояснить мировоззрение человека, в сохранившихся блокадных дневниках скрыто, недоговорено, порой высказано одним словом – восстановить в подробностях последовательность религиозно-нравственных размышлений и их значимость для поведения людей почти невозможно.

---

<sup>1792</sup> Там же. С. 49.

<sup>1793</sup> Там же.

Наиболее пространный документ, содержащий религиозные медитации, – дневник христианского философа Я.С. Друскина («в миру» – преподавателя математики в вечерней школе) – весьма своеобразен и не имеет примеров в блокадной литературе. Он создан в русле иной традиции, нежели дневники других очевидцев «смертного времени». У него иная логика сцепления различных частей текста и необычная терминология. Если там внимание обращено в первую очередь на быт ленинградцев, то здесь главенствующим стал анализ предельно абстрагированной от времени диалектики духа. Содержание записей, сделанных им во время войны, мало отражает реалии тех страшных дней. Можно было попытаться понять их, прояснить их мотивы, подоплеку, причины возникновения, сверив даты записей с датами блокадной эпопеи. Здесь, однако, очень сложно отделить запись как отклик на реальное происшествие и запись как звено в цепочке постоянно усложняющихся и углубляющихся размышлений.

Многие из них кажутся отголоском каких-то других событий, не связанных с осадой Ленинграда.

Не всегда ясно и место какого-либо из тезисов Друскина в общей цепочке его размышлений. Даже отделенные от размышлений «конкретные» записи о том, что произошло с автором в 1941–1942 гг., обычно скупы, глухи и смутны. Его выводы часто неожиданны и не обусловлены предварительным подробным разбором аргументов и контраргументов: здесь в пору говорить об озарении.

Первая запись самонаблюдения, в которой непосредственно отражены блокадные реалии, относится к 25 ноября 1941 г. В ней содержится развернутая, педантично разделенная на пункты программа поведения во время осады Ленинграда. 1-е, 4-е и 7-е правила этого кодекса требовали отбросить разговоры и мысли о голоде, не обижаться на других, если они будут говорить и поступать не так, как он считает правильным, и не огорчаться, если придется отказываться от того, что хочется, особенно если это придется делать ради других<sup>1794</sup>. Он нарушил их в тот же день: «Поэтому возникло некоторое уныние: от омерзения к себе. Может это главный источник уныния? Как излечиться от него»<sup>1795</sup>. Позднее Друскин пишет о том, как его везли в стационар, усиленно кормили, оберегали – но эти события не сопровождаются яркими ощущениями, происходят в каком-то тумане; все впечатления раздроблены, оборваны, лишены последовательности, не детализированы.

Опустошенность, внутреннее безмолвие, невозможность сразу «включиться» в повседневный быт – таковы грани его духовного обморока в «смертное время». Нет суетных волнений, нет пороков, страстей – все «очищено». В записи 19 мая 1942 г. Друскин пытается соотнести свои ощущения с Евангелием – это естественно вследствие интенсивного и глубокого переживания религиозных текстов, свойственных всему его дневнику. Найдено точное соответствие – рассказ евангелиста Луки о стаде свиней, бросившихся в море: «Лк. 11.: 24–26. За эти четыре месяца что-то вышло из меня, из всех нас...»<sup>1796</sup>. Друскин использует слова, которые сложно дешифровать с помощью других записей, хотя он и пытается их уточнить, слегка проясняя аналогию: «Вышла некоторая конкретность, конкретность связей людей».

Трудно выявлять логику мысли того, кто намеренно предпочитает не использовать «готовые», привычные слова, а ищет другие, необычные, более адекватно отражающие его состояние. В этом отталкивании от повседневной, доступной всем речи есть нечто близкое к лексическим экспериментам дневниковой «философской» прозы Друскина. И там ощутим поиск какого-то нового языка с другой терминологией, не скованного академической традицией, позволяющего «извлечь» смысл явлений из-под обломков затемняющих его понятий.

---

<sup>1794</sup> Друскин Я.С. Дневники. С. 133.

<sup>1795</sup> Там же. С. 134.

<sup>1796</sup> Там же. С. 135.

Может быть, «конкретность связей» здесь есть символ скрепленных цивилизационными навыками структур человеческого общества – разрыв родственных и социальных отношений, обусловивший последующую деградацию человека, был, как признавали многие, главной приметой «смертного времени».

Далее Друскин делает в дневнике запись, составляющую с предыдущей единое целое именно как последовательное, хотя и чрезмерно краткое изложение результатов самонаблюдения. Запись о том, что пришлось заглянуть «по ту сторону жизни», а вернувшись, сохранить память о потустороннем: «Тени с того света... здесь». Все сжато, обобщено и, однако же, имеет отпечаток какой-то недоговоренности – словно автор опасается вновь вызвать эти тени и пережить то запредельное, чем было отмечено «смертное время». Впечатления о первой блокадной зиме нарочито фрагментированы: «Когда перестал работать... росла жадность. Я чувствовал, как сохнут желания и чувства»<sup>1797</sup>. Но это – и средство самоконтроля, несколько прямолинейного в выявлении цепочки причин и следствий, но четко обозначающего вехи падения.

## 8

Что произошло с ним? Почему голод так изменил его? Понять это надо, восстановив в памяти этапы деградации. «Об ощущении голода. Три периода: нисходящая линия – все чаще произвольные мысли о еде, которые трудно подавить. Но до января все же как-то держался»<sup>1798</sup>. Вечером Друскин пил кофе, недолго спал, «потом писал часов до четырех. Эти четыре часа совершенно не чувствовал голода. В январе падение – плоть победила, но победив, пала – потеряла силу. Это второй период, ощущение голода слабеет, даже не хочется вставать, чтобы поесть, иногда только вдруг отвратительная вспышка жадности, а потом снова безразличие. И в философии<sup>1799</sup> какие-то тени – и вдруг подъем... Третий период. Ощущения голода при выздоровлении снова возрастают, но их можно подавить настолько, что не чувствуешь голода. Голод в первом периоде – ослабление духа из-за ослабления плоти. Аскетизм – в третьем периоде – подавление плоти. Настоящий аскетизм возможен только тогда, когда поймешь святость пищи, а для этого надо пройти первый и второй периоды»<sup>1800</sup>.

Дух, плоть, аскетизм, святость, соблазн, грех уныния – в самонаблюдении Друскина используются преимущественно религиозно-психологические понятия. Они четки и ясны в силу стоящей за ними многовековой и коллективной традиции, они непреложны, они с большой определенностью очерчивают границы допустимых компромиссов. Из нагромождения сотен мелочей осадного быта, значение которых сразу трудно было оценить, двусмысленных, ведущих к соблазнам, проступает именно эта религиозная антитеза – дух и плоть; смысл и средства сопротивления распаду становятся тем самым яснее.

Через год Друскин попытается еще раз восстановить картину того, что произошло с ним в «смертное время». Ретроспективные впечатления, лишаясь остроты и хаотичности, становятся более продуманными и более подробными. Реконструируется с большей тщательностью последовательность событий, четче оформляется их причинно-следственная цепочка, описан маятник постигших его взлетов и падений: «В ноябре-декабре 1941<sup>1801</sup> – „Трактат о мысли“. Здесь была в самых сложных взаимоотношениях ясность и чистота.

---

<sup>1797</sup> Там же. С. 133.

<sup>1798</sup> Там же. С. 135.

<sup>1799</sup> Имеется в виду философский трактат, над которым Друскин работал в это время.

<sup>1800</sup> Друскин Я.С. Дневники. С. 134.

<sup>1801</sup> В тексте дневников опечатка. Исправлена на «1941 г.» в соответствии с приложенной к тексту дневников хронологией жизни и творчества Я.С. Друскина.

Это тоже далеко от земли, но соблазнов не было... В ноябре-декабре я перешел границу... В январе в новый мир вошла погрешность: я потерял часть себя и пришел в соблазн»<sup>1802</sup>.

И здесь описание, как и в записи 3 мая 1942 года, как будто бы делится на две части: диагноз болезни и попытки понять ее причины: «Как это случилось? Я видел, как слабеют силы, глохнет звук, гаснет свет, умирает ощущение, отпадают чувства. Я видел покойников на улице, смерть и свою собственную. Я – на границе; и возник соблазн. Появились призраки; люди призраки и миры-призраки. Они появились в действительности: опухшие или высохшие лица...»

Главное – описание искушений, которые должны преодолеть, – использованные здесь эмоциональные метафоры позволяют ощутить это ярче и сильнее: «Жадность, потеря чувств, утренняя полутьма и тени людей. Я был наблюдателем подземного мира, в вечерней же тьме – его участником»<sup>1803</sup>.

В периодизации распада заметно выявление «промежуточных» ощущений, переданных отчетливо именно вследствие придирчивого самонаблюдения. Различение этапов есть то, что позволяет не утрачивать способность давать объективные самооценки, – оно основано на осознании границ между нормой и патологией. Внимание к деталям в значительной мере помогает разделить и сравнить ряд состояний. Оговорка о том, что мысли о еде трудно подавить, – указание на дисциплинирующий внутренний контроль. Оценка жадности – «отвратительная» – способствует различению добра и зла. На поверку все это оказывается рассказом не столько о своем падении, сколько о сопротивлении ему и о таких формах этого сопротивления, которые представляются автору значимыми.

## 9

В самонаблюдении Друскина целое пространство запретов – поведенческих, бытовых, мировоззренческих и идеологических – намного более ясно очерчивает этическое поле, нежели перечисление позитивных примеров. Не поощрение, а порицание, подобно тому, как в исповеди отмечаются прегрешения, а не добродетели – вот главный самовоспитательный прием.

Предельная требовательность, можно даже сказать, недоброжелательность взгляда на себя естественно соотнесена с негативным отношением к неблагоприятным поступкам других. Они оцениваются все по тому же высшему счету, причем именно они, а нередко и только они, отмечаются прежде всего.

Трудно сказать, сколь значимым могло быть самонаблюдение для упрочения нравственных норм в «смертное время». Человек, сегодня подчеркивающий свою стойкость, мог сломаться завтра, и сломаться независимо от своей воли – в блокадном кошмаре это явление стало обычным. Человек мог нарочито бравировать своей стойкостью и спокойствием для того, чтобы получить одобрение общества, – и это нельзя исключать. Важнее другое. В чудовищной воронке народной беды люди инстинктивно искали любые способы уберечь себя, насколько это было в их силах, от неумолимо надвигающейся смерти. Понимали они это или нет, но самонаблюдение являлось своеобразным сейсмографом, обнаруживающим толчки, ведущие к распаду личности. Оно не было ни гарантией, ни инструментом спасения, но позволяло четче выявить механику деградации – и тем самым помочь найти защитные средства, индивидуальные для каждого человека, но одинаково упрочившие его стойкость.

---

<sup>1802</sup> Там же. С. 147.

<sup>1803</sup> Там же.

## Ленинградцы в «смертное время»: человеческое, сверхчеловеческое

«Блокада со странной ясностью выявила расслоение по принципу: человеческое – и нечеловеческое», – отмечал в своих записках В.М. Глинка<sup>1804</sup>. Не все блокадники были готовы признать это – либо стараясь не задумываться над моральной оценкой своих действий, либо выдвигая такие оправдания, при которых их поступки не выглядели безнравственными. Блокадная этика представляла собой не стройную систему норм, которая позволяла четко и недвусмысленно оценивать поведение людей, а хаотичное смешение прежних этических правил и тех аргументов, которые приспособляли мораль к военной повседневности. «Повреждение нравов» не являлось последовательным и необратимым. У разных людей оно происходило то быстро, то замедленно, и именно это делало невозможным одновременный распад всех моральных заповедей. Один и тот же человек мог быть и щедрым и скупым, сентиментальным и жестоким, отзывчивым и безразличным и это не объяснить лишь колебаниями размеров пайков. Имели значение уровень культуры человека, степень укорененности в нем нравственных заповедей, его положение в обществе, круг его друзей, знакомых и сослуживцев. Многое определялось состоянием его здоровья, тем, сколь велики были испытываемые им трудности, и какие потрясения ему пришлось перенести.

Каждое из этих условий само по себе еще не способно было обеспечить нравственную стойкость. Интеллигентность не означала, что человек не мог опуститься, стать жестоким и бесчувственным, пренебречь азами цивилизованного быта. Обманывали и обворовывали самых близких людей, не стыдясь того, что об этом узнают другие. Тот, кто отрывал от себя последний кусок хлеба для ребенка, не выдержав напряжения и не соизмерив свои силы, мог сломаться и отнять паек у своих детей.

Значение имела и «коллективность» блокадного опыта. Трудно было решиться первым на аморальный поступок. Когда же так поступали и другие горожане, безнравственное деяние не оказывалось столь запретным. И для этого не требовалось видеть всех и знать обо всем. Облик даже нескольких блокадников мог явиться побудительным мотивом для того, чтобы облачиться в тряпье, не мыться месяцами, не стесняться «лакать» из тарелки. Воровство, мародерство, обман стали возможными для людей, заботившихся ранее о чести, не только потому, что не имелось иного выхода, но и вследствие того, что их проявления видели на каждом шагу, и никого не нужно было стыдиться и остерегаться.

Нередко проявлялся в блокадной этике и жестокий прагматизм. Смысл его таков: должны выжить те, кто способен на это, кто более ценен и более талантлив. И это наблюдалось везде – в детских садах и ремесленных училищах, на предприятиях и эвакуационных пунктах, в госпиталях и больницах – правда, где-то в меньшей, а где-то в большей степени. Причастными к такому «отбору» оказывались тысячи людей, и его клеймо не могло не отпечататься и на других их действиях, на их этике в целом. И при этом часто ссылались на освященные временем нравственные истины. Разве не справедливо помогать лучшим, дать паек не десятерым, что никого не спасет, а одному, что обязательно поможет ему выжить? Вот почему прочнее удерживались именно те нравственные нормы, которые в наибольшей мере служили целям выживания. Они подверглись своеобразной шлифовке, приспособившей их к блокадным реалиям, они поддерживались часто стихийно, давлением «снизу».

Полностью разрушить нравственные традиции было нельзя. Тот, кто ничего не давал взамен, рисковал погибнуть – с ним никто бы не стал делиться в трудную минуту. Тот, кто

---

<sup>1804</sup> Глинка В.М. Блокада. С. 191.



выказывал грубость, кто откровенно презирал и унижал других, не смел надеяться, что ему пойдут навстречу Тот, кто опустился, перестал за собой следить, кто отталкивал одним лишь своим видом, не мог ожидать, чтобы пожали протянутую им руку И обязаны были знать, что человеку должно быть свойственно чувство жалости и сострадания – иначе как просить у него милостыню. А если в одиночку блокадник не мог выжить, то он должен был соблюдать кодекс поведения, принятый в обществе.

Говоря о причинах устойчивости моральных заповедей во время ленинградской катастрофы, нельзя не отметить одну особенность. То, что казалось, должно было подтачивать представления о цивилизованном, одновременно и укрепляло их. Бесконечные разговоры о еде, считавшиеся признаком упадка, способствовали тому, что сохранялась память о цивилизованном быте с яркими, выразительными подробностями, укрупненными деталями, прочувствованными описаниями пиршеств. Сообщая в дневниках и письмах об этих разговорах и «гастрономических» мечтах о будущем, ленинградцы упрекали себя за то, что так низко опустились, что их не интересует литература и искусство, наука и творчество – и это тоже исподволь подтверждало ценность моральных правил. Ненависть, раздражение, желание наказать – не лучшие, наверно, человеческие качества, но они помогали тверже заучивать нравственные уроки: непримиримость к воровству, обману, несправедливости, жестокости. И криком отстаивая свое место в очереди, ругаясь с продавцом из-за талонов, недоверчиво проверяя вес каши, полученной в столовой, блокадник прочнее удерживался в рамках тех представлений о справедливости, которые присущи цивилизованному человеку.

Скорбные и горестные записи тех, кто запечатлел блокадный кошмар, при всех их искренности и драматизме донесли до нас лишь частицу великого и общего для ленинградцев дела помощи родным и близким. Не все имена известны, не обо всем рассказывали. Стеснялись подробно описывать свои благородные поступки, упоминая о них скороговоркой, мимоходом, словно о чем-то обычном. Мало кто решался говорить и о чувствах, которые испытывал, помогая другим. Многие же – безвестные, молчаливо и безропотно выполнявшие свой долг – не скажут нам ничего. Не скажут ни они сами, ни те, кого они, жертвуя собой, безуспешно пытались спасти – погибли все. В этих драгоценных для нас свидетельствах мощи человеческого духа, позволившего преодолеть нечеловеческие страдания и остаться человеком, прежде всего заметна их простота. Никто и не скажет, что он совершил подвиг. И это ощущение обычности своих деяний, может, и есть одна из предпосылок беспримерной стойкости людей и непрерывности их труда по оказанию поддержки немощным и беззащитным. Его и поначалу не воспринимали как нечто, что должно быть достойно высоких слов. Ничто ведь не происходило в одночасье – город медленно погружался во тьму «смертного времени». Каждый день был труднее предыдущего, но ленинградцы привыкали жить в блокадные будни. Они часто оглядывались на других, опасаясь, не будут ли осуждены их поступки, хотя их некому было судить в домах, переполненных трупами, и на улицах с бесконечной чередой «пеленашек». И изо дня в день, по мере приближения катастрофы, развивались, усложнялись и упрочались формы и средства взаимопомощи. Люди в какой-то мере были готовы к новым испытаниям – это оказалось бы для них намного сложнее, если бы катастрофа наступила мгновенно. Но одно только это не может объяснить их нравственной стойкости. Корни ее более глубокие.

Ничего ведь и не было у этих людей, кроме горсти пшена и потрепанного платка, в который кутались от мороза. И никакие мортиры не смогли разрушить эту крепость человеческого духа – находился хотя бы один, кто, сам будучи голодным, поднимал упавших и утешал отчаявшихся. Город спасал себя великими и малыми делами – и самоотверженностью сотен людей, искавших сирот, и стаканом воды, переданном беспомощному соседу. Эстафета добра поддерживалась и сильными и слабыми, и родными и незнакомыми людьми – то поощрением, то осуждением, то ненавистью, то благодарностью. Понимали, что легче

выжить, не делясь ни с кем – но делились. Знали, что с ними не могут расплатиться – но давали, кто что мог. Голодали – но находили в себе силы покормить и других. Есть нечто непреложное в той цене, которую платили, чтобы продолжал жить другой человек. Это – жизнь, а большего, чем жизнь, никто отдать не мог.

Проявления сострадания, утешения и любви среди родных и близких в дни блокады, на первый взгляд, не сильно отличаются от того, что можно наблюдать и не в столь драматичные времена. И ныне точно так же переживают за их судьбу, сочувствуют их горю, испытывают боль после их утраты. Обычно и теми же словами и жестами: других нет. Уникальность описанных нами чувств – не в их проявлениях, а в том, что они стали возможны во время беспрецедентной катастрофы: сотни тысяч людей погибли за несколько месяцев в чудовищных муках. За это время, казалось, не могли не разрушиться все представления о человеческой морали. По мере того, как расширялась бездна блокадного ада, что-то подтачивалось и в человеке: не все готовы были жертвовать собой. Ломались самые стойкие люди – сколько рассказов

об этом можно встретить, читая блокадные документы. Инстинкт самосохранения подсказывал лишь сугубо ограниченный набор приемов, которые помогали выжить. Едва ли там могло быть место утешению и состраданию. Утешить – значит поделиться чем-то, а как это сделать там, где счет шел на граммы. Тот, кто проявил лучшие свои качества – бескорыстие, щедрость, доброту – в другой раз должен был поступаться какими-то нравственными заповедями. Когда мы говорим о ленинградской трагедии, то, может быть, главное состояло не в том, всегда ли человек был способен проявить сострадание, а в том, что он находил в себе силы хотя бы однажды выразить его.

Вот бездна блокадного ада, какой мы ее видим глазами очевидцев. Умирают в день от голода и болезней не один, не два – тысячи ленинградцев. Умирают долго и страшно – в бреду, нередко перед смертью прося хлеба. Умирают среди тех, кто его не имел, таких же страдающих и истощенных. Умирают один за другим, самые близкие, дорогие, родные – заставляя привыкать к тому, к чему, казалось, нельзя привыкнуть. Каждый день видят их муки, каждый день делят крохотный кусок хлеба на несколько частей, каждый день стоят в огромных очередях без всякой надежды, каждый день видят слезы и слышат мольбы голодных детей – вот бездна ада.

Вся блокадная повседневность свинцовой тяжестью втаптывала человека в грязь – как здесь быть готовым к сочувствию, милосердию и любви? И было сочувствие – у изголовья тех, кто умирал, мы видим их родных и друзей, если они еще были живы. И было милосердие – хлеб, оставленный для себя, оказывался в протянутой руке ребенка.

И было еще одно чувство, которое ощущает каждый, читающий блокадные записи. Это – боль, а точнее свидетельства человеческого сострадания мы не найдем. Боль – от начала до конца, боль в дневниках и письмах, боль погибающих и стремящихся их спасти, боль вчерашнего и сегодняшнего дня – везде боль.

### **Хроника войны**

**Дэвид Гланц**

**БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА**

1941–1944



Дэвид Гланц, крупнейший в мире специалист по истории Красной армии, подробно и убедительно рассказывает об одном из самых трагических событий Второй мировой войны – блокаде Ленинграда.

Повествование основано на материалах секретных архивов бывших противников. Книга содержит подробный анализ боевых действий и схемы, на которых детально воспроизведено передвижение советских и немецких войск под Ленинградом в период с 1941 по 1944 год, дается сравнительная характеристика состава войсковых соединений противоборствующих сторон, приводятся данные о потерях среди военных и мирного населения. Полноту и достоверность трагической картине придают редкие фотографии тех времен.

Переплет, формат 205x265 мм, объем 224 с.

МИР ИСКУССТВА

*в доме на Потемкинской*



Книга поведает об одном из счастливых домов, в котором много лет жили выдающиеся деятели искусства.

Значительное место в повествовании занимает история семьи режиссера и первого в истории советского кино народного артиста СССР, одного из основателей ВГИКа Владимира Ростиславовича Гардина, который был не только замечательным артистом и режиссером, но и крупным коллекционером.

Страсть к коллекционированию объединяла семью Гардиных, и плодом этой страсти стала великолепная коллекция произведений искусства. Это увлечение определило круг общения: гостеприимный дом на Потемкинской посещали искусствоведы, художники, известные литераторы и коллеги-собиратели. О наиболее интересных людях из окружения семейства В.Р. Гардина и рассказывает эта книга.

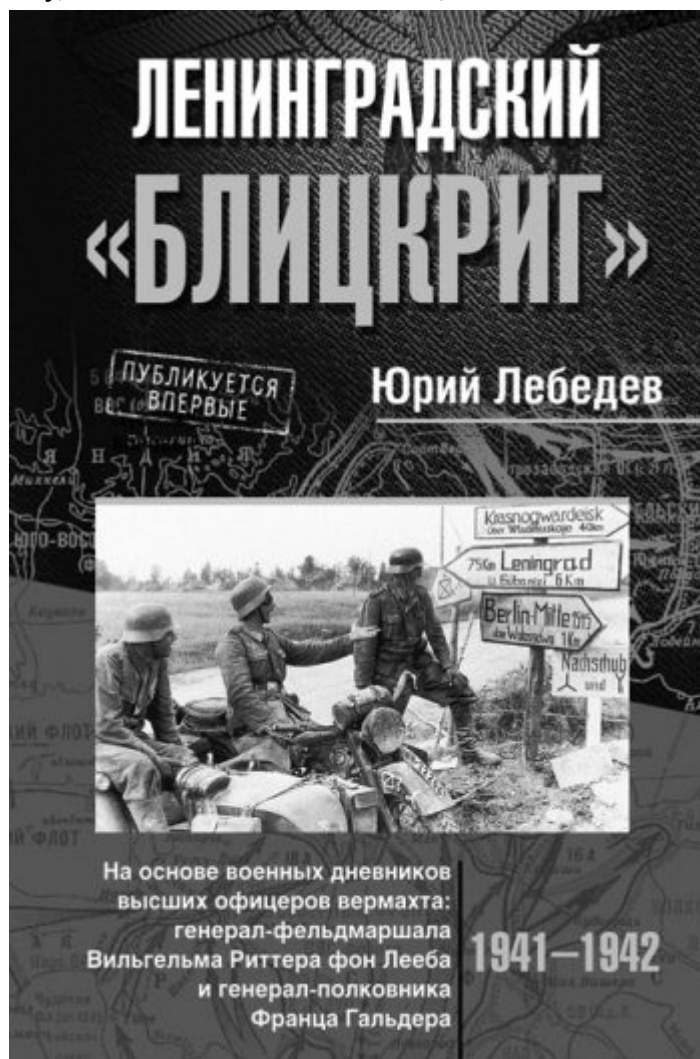
Особое место в ней занимает поразительный по своей искренности дневник Татьяны Булах-Гардиной, публикуемый впервые. Ее записи охватывают период 1929–1957 гг. Кроме сугубо личных переживаний и впечатлений, они отражают общественные настроения в стране в этот сложный период ее истории.

Наиболее интересны записи, относящиеся к годам блокады, которые семья провела в городе и на даче в Лисьем Носу. Взгляд автора дневника направлен на незнакомые для большинства наших современников стороны блокадной жизни, что имеет исключительный интерес для читателей.

Переплет, формат 1 33x206 мм, объем 256 с.

**Юрий Лебедев**  
**ЛЕНИНГРАДСКИЙ «БЛИЦКРИГ»**

В книге представлены отрывки из военных дневников двух высших офицеров вермахта: генерал-фельдмаршала Вильгельма Риттера фон Лееба и генерал-полковника Франца Гальдера. Во время Великой Отечественной войны первый из них был командующим группы армий «Север», второй являлся начальником Генерального штаба сухопутных войск (ОКХ). Ленинград стал ареной их личного противоборства. Победил в конце концов Гальдер, убедивший Гитлера отказаться от штурма Северной столицы. Ради захвата Москвы город на Неве был объявлен «театром второстепенных военных действий» и был обречен на бесчеловечную блокаду, а его жители – на лишения, голод и гибель...



Ежедневные заметки немецких военачальников, начиная с нападения на Советский Союз, и описание боев за Ленинград в 1941–1942 годах тщательно проанализированы и дополнены комментариями Юрия Лебедева. Материалы печатаются впервые, и книга, выходящая в канун 70-летия начала блокады Ленинграда, приоткрывает завесу над ее причинами.

Переплет, формат 133x206 мм, объем 464 с.

## 2